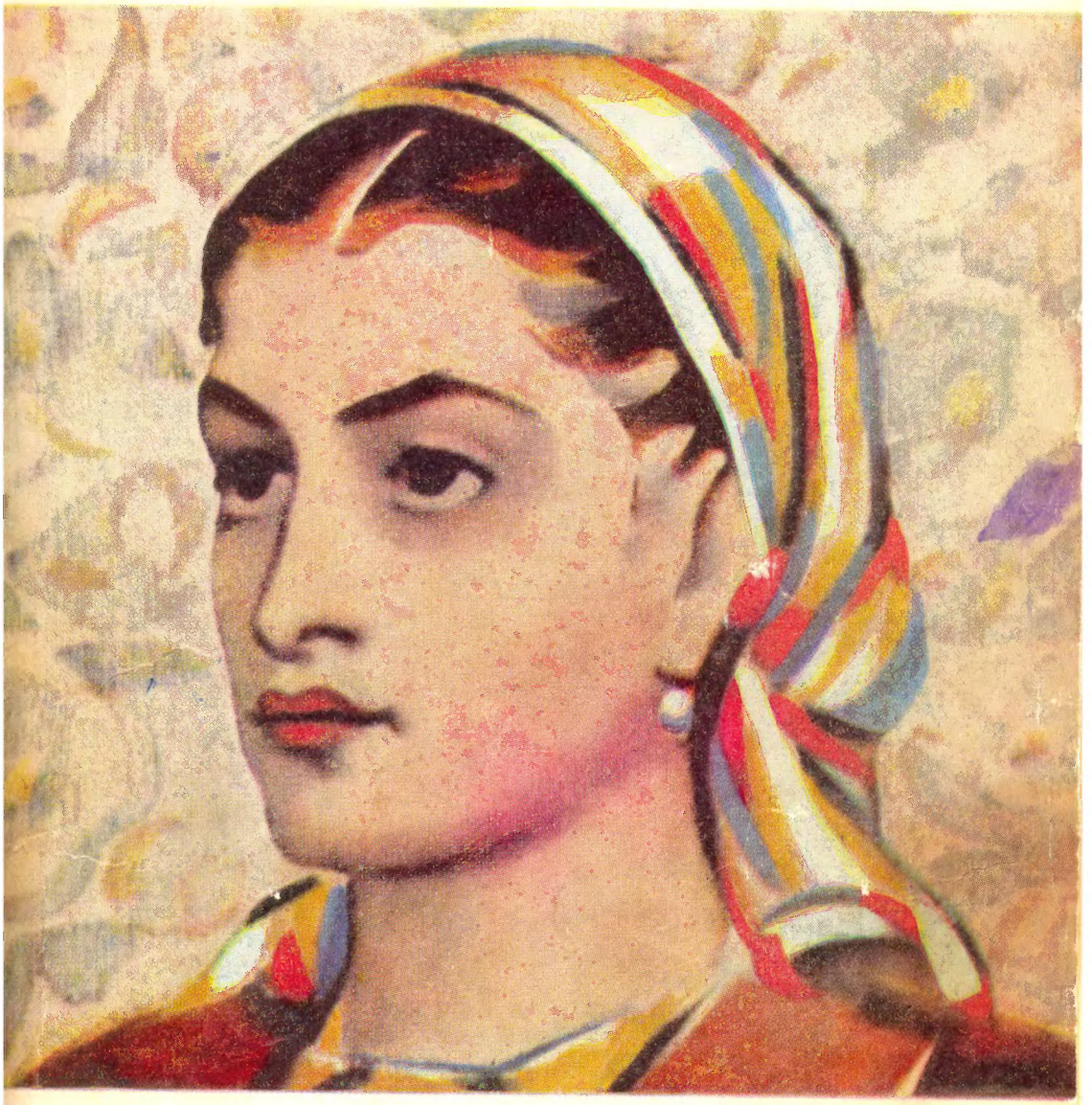


ИНОСТРАННАЯ литература

Иностранная литература

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

РОМАНЫ

МАКС ФОН ДЕР ГРЮН — Светляки и пламя 5
ЧИНУА АЧЕБЕ — Человек из народа . . . 118

ПОВЕСТИ

АНДЖЕЙ БРЫХТ — Дансинг в ставке Гитлера 61

КИНОСЦЕНАРИИ

МИКЕЛАНДЖЕЛО АНТОНИОНИ — Красная пустыня (Послесловие А. Караганова) . 157

СТИХИ

ИРЖИ ТАУФЕР — «Тема — память» 3
ВИКТОР ГАРСИА РОБЛЕС — Строфы надежд 58

ИЗ АМЕРИКАНСКОЙ ПОЭЗИИ

РОБЕРТ ЛОУЭЛЛ 114

КРИТИКА

Н. НАУМОВ — В социалистической перспективе 187

ПИСАТЕЛЬ И ВРЕМЯ

КАРТАР СИНГХ ДУГГАЛ — О пенджабской литературе наших дней 202

3

МАРТ

1967

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ»
Москва

АНКЕТА «ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ»

РЕАЛИЗМ СЕГОДНЯ 206
Л. НОВИЧЕНКО — К обсуждению проблем реализма 226

ЛЕТОПИСЬ НОВОГО МИРА

К 50-ЛЕТИЮ ОКТЯБРЯ

АЛЕКСАНДР ВЕРТ — Россия в войне . . . 234

ПУБЛИЦИСТИКА

ПРОЧТИ И ПЕРЕДАЙ ДАЛЬШЕ! 239

НАШИ ПУБЛИКАЦИИ

АНТУАН ДЕ СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ — Послание молодым американцам 248

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО ЗА РУБЕЖОМ

ГЕННАДИЙ ФИШ — Густав Вигеланн — скульптор Норвегии 251

КУЛЬТУРА И СОВРЕМЕННОСТЬ

Заметки на полях зарубежных газет и журналов

Л. ЗОНИНА — Трибунал справедливости . . 258
ЛЕВ ГИНЗБУРГ — «Судебное разбирательство» в Соединенных Штатах 260

НАШИ ГОСТИ

РЕВОЛЮЦИЯ ДЕЛАЕТ НАС БОЛЕЕ ЗРЕЛЫМИ
Лисандро Отеро в «Иностранной литературе» (Отчет Н. Булгаковой) 263

СРЕДИ КНИГ

ИЗДАНО В СССР

К. Азадовский — Новая встреча. ◇ Н. Миловидова — Романы Андре Моруа. ◇ Вл. Матусевич — То ли фантазия, то ли нет 265

ИЗДАНО ЗА РУБЕЖОМ

С. Шлапоберская — Традиция и современность в австрийской литературе. ◇ К. Атарова — Бунт в одиночку 270

ПАМЯТИ Л. В. НИКУЛИНА 275

ИЗ МЕСЯЦА В МЕСЯЦ

Хроника 276

АВТОРЫ ЭТОГО НОМЕРА 287

На обложке работа болгарского художника ВЛАДИМИРА ДИМИТРОВА-МАЙСТОРА «Девушка».

ИРЖИ ТАУФЕР

«ТЕМА — ПАМЯТЬ»

ОТРЫВОК ИЗ ПОЭМЫ

Перевод с чешского Д. САМОЙЛОВА

Вы, кто в любви
не видите темы,
не отлучайте ее
между тем.
Любовь не стала бы вечной поэмой,
когда не была бы
темнейшей из тем.

Никаких бы не было «будет»
или «есть»,
«было» даже б не было.
Безнадежности не было б
или надежды.
И не знали бы люди:
«Развёдрилось?
Задождило?»
Перед новым явленьем
стояли бы немы.
Мост
сто раз перешли бы —
не миновали бы мост.
Даже тема моя
не стала бы темой.
А память
не просто над прошлым помост.

Помните!
Если б не было памяти,
сколько было б беспамятных,
непонятных вещей
и имен:
и не знали бы люди,
где тикает маятник,
где звучит пресловутая поступь времен.

Не познали бы
люди
времен масштаб
с той поры, где глодал троглодит звероящера.
Эта тема
темою не была б.
Память?
В памяти прячется настоящее.

Зачем бы радоваться,
томиться? Вред!
«Летит себе времечко!»
Да, летит.
(Замечаете?)
Память! Память!
Без памяти темы нет.
А тема?
Нету темы без памяти.
Не было б воспоминаний,
даже беспамятства.
Не было б сновиденья.
Это тема просит:
«Искушай, пожалуйста!»
Умоляет:
«Вводи во искушенье!
Пробуди!
Развспоминайся!
...Мост?
Сто лет здесь стыл.
Сто мостов!
Пробуди!
Не теряя шанса,
пробеги по сотому!
Сожги мосты!
И сто первым мостом
утешайся!»

Не было б тоски возвращенья
и ухода в тень.
Не было б ясной яви и темной
теми.
Без памяти
вовсе не было б тем
и, значит, этой —
моей темы.
Падает, как Ариадна,
память-нить.
В беспамятство ада не падайте.
Можно ведь эту нить сохранить,
во тьме шагая
по памяти.
Тьма мерит по-старому:
«Тем есть тьма».
Есть ангелы рая
и черти ада.
А что с моей темой сделает тьма?
Ей этой темы
не надо.
Моя тема не тьма.
Моя тема —
не свет и темень,
а стык.
И словно на темя горы,
на тему
выводит меня стих.

МАКС ФОН ДЕР ГРЮН

Светлячки и пламя

РОМАН

Перевод с немецкого Е. ГРИГОРЬЕВА и Н. БУНИНА

Ночь была холодной и ясной. Уже много месяцев подряд моя смена начиналась в полночь. Как я ненавидел этот поздний час и эту смену! До шахты четыре километра по шлаковой дороге вдоль железнодорожной ветки, хочешь не хочешь — круги педали и зимой и летом. Ух, как я ненавидел эти ночные часы! Все, что днем прячется, в полночь вылезает наружу. Когда едешь на работу ночью, видишь изнанку жизни.

Надо поднажать. Без двадцати двенадцать, а впереди еще треть пути.

Неожиданно от железнодорожной насыпи отделилась фигура. Я инстинктивно нащупал в правом кармане нож, который всегда ношу при себе с той самой ночи, после войны, и соскочил с велосипеда. В разрывах облаков показалась полная луна, и я увидел перед собой женщину.

— Что вы здесь делаете? — спросил я хриплым от неожиданности голосом.

— Меня выгнал муж,— ответила она, ухватившись за руль моего велосипеда.

— Поссорились?

— Как вам сказать... он всякий раз, когда напьется, грозит свернуть мне шею. Бывает, что и поколотит, но чаще я успеваю удрать.

Надо ехать, подумал я, а то опоздаю.

— Ничего, обойдется,— сказал я незнакомке.

Такое случалось и у наших соседей. В поселке ничего не скроешь, блоха чихает — и то слышно. А вообще не мое это дело: свои собаки грызутся — чужая не приставай.

— Он уже, наверно, успокоился,— предположил я.— Ступайте-ка домой, а не то застудитесь.

Я обратил внимание на ее туфли. Для такой погоды они явно не годились.

— Боюсь,— промолвила она.— Он изобьет меня.

Надо спешить, подумал я, опоздаю к смене!

— Может, проводите меня? — вдруг попросила она.

— Я ведь вас не знаю,— ответил я.

Она погладила холодный металл руля:

— Разве это сейчас так важно?

— Что мне у вас делать, все равно я ничем не смогу помочь. А потом, ваш муж еще вообразит невесть что, когда увидит нас вместе. Вам же будет хуже.

— Я вас и не зову к себе.

Пора, опаздываю, подумал я.

— Не могу,— резко ответил я, теряя терпение, и убрал с руля ее руку.

— Только пока темно,— умоляла она.— К утру мне уже надо быть дома: дети в восемь отправляются в школу. Только пока темно. Ну, пожалуйста!

А смена вот-вот начнется! — подумал я.

— Пройдемся назад по этой дороге,— уговаривала она,— у поселка повернем обратно, и, пока дойдем сюда, наступит утро.

— Откуда это вам так точно известно?

— Я часто брожу здесь, почти каждую пятницу, когда у мужа получка. Налижется, а потом колотит или выгоняет, если сама не убегу. Вот так каждую пятницу...

Ну, хватит, подумал я, опаздываю!

— Летом еще куда ни шло, но зимой... ох...

— Я ни разу не встречал вас,— заметил я,— хотя езжу здесь вот уже скоро год.

— Верно. Я как завижу вас, прячусь в кювете или за кустами.

Часы на колокольне пробили полночь. Двенадцать глухих ударов. Все-таки опоздал! Однако я почему-то не разозлился. Лишь мельком подумал о неприятностях, которые ждут меня завтра на шахте, да о тридцати марках потерянного заработка.

— Ладно уж,— сказал я,— пошли прогуляемся по вашему маршруту.

Я спрятал велосипед в кювете, и мы двинулись по дороге. Шли молча, поеживаясь от холода. Снег поскрипывал под ногами, луна была такой же белой, как снег.

— Ноги промочила,— вздохнула женщина, когда мы добрались до окраины поселка.— Снег попал в туфли. Ничего. Отправлю детей в школу и приму горячую ванну. Здоровье у меня лошадиное.

Поплелись обратно. Я достал из портфеля бутерброды и флягу с уже остывшим кофе. Под мостом автострады мы поели, кофе я вылил в снег.

— Почему вы не заберете детей и не уйдете от него? — поинтересовался я.

Она вытащила мой велосипед из кювета и воткнула его колесом в сугроб.

— Уйти? Куда? — Оперевшись о мое плечо, она сняла туфлю и стала растирать закоченевшие пальцы.— Не знаю, как бы это объяснить... может, я нужна ему... да и он мне... он приютил меня... когда мне было трудно... и я не думала, что все... так обернется.

Черт возьми, подумал я, кончились сигареты. На востоке уже светлело.

Она пошла домой. Но, сделав несколько шагов, вдруг вернулась, схватила меня за рукав и сказала:

— Вы не жалеете? Правда? Мне понравилось. Собственно, надо бы вас поблагодарить, но это прозвучит, наверно, смешно...

Поблагодарить, подумал я, что мне с твоей благодарности, лучше бы вернула пропавший заработок. Тридцать марок! Для меня это куча денег.

— До свидания, до пятницы! — крикнула она.

Еще долго слышались ее торопливые, спотыкающиеся шаги. Возвращаясь к поселку, я пытался вспомнить лицо женщины. Но в памяти звучал только ее низкий голос. Где-то я уже слышал его.

Когда я свернул в поселок и завидел свой дом в длинном ряду горняцких домиков — безликих, как и их обитатели,— я наконец вспомнил, где слышал этот голос: в кино. Это был голос Сары Леандер... или Луиса Армстронга.

Дома меня встретили с недоверием. Жена — бог знает от кого она чуть свет об этом узнала — в упор спросила, где я пропадал всю ночь. Только не в шахте, это ей точно известно.

— Всю смену провозился в слесарной мастерской,— пояснил я за завтраком, который мне подали без обычной заботливости.

Ингеборг не представляет себе, в чем конкретно заключается моя работа. Она не знает, что подземного рабочего никогда не переведут на поверхность — разве что временно, по предписанию врача. Тем не менее, судя по ворчливым репликам, подозрительность ее не рассеялась.

С какой стати приходят ей в голову всякие несуразные мысли? За восемь лет супружеской жизни я ни разу не дал ей ни малейшего повода. Да и зачем мне это нужно? Ведь я люблю ее. Да, да, спустя восемь лет — по-прежнему люблю. Мне нравится, как она просто себя держит, как ходит, смеется, мне хорошо, когда она рядом. Ее достоинство, например, в том, что она не мешает мне думать, хотя и находится тут же, в комнате, рядом со мной. Ну и потом, она умеет экономно хозяйничать.

В понедельник пришлось расхлебывать кашу. Началось с того, что мне не выдали мой табельный номерок. Один начальник посылал меня к другому, другой — к третьему. А так как ночью в конторе начальства меньше, то оно выполняет свои обязанности гораздо строже. Наконец, в десять минут первого я вошел в клеть. Но под землей было не легче: штейгер язвил, товарищи зубоскалили. В довершение всего и работа не ладилась. Что это со мной стряслось, недоумевал я. За все время я не пропустил ни одной смены — ни из-за несчастного случая, ни по болезни, а уж о прогулах и говорить нечего. На меня можно было положиться.

Так или иначе, понедельник был испорчен. Вторник обещал быть несколько лучше хотя бы потому, что штейгер записал мне пропущенную смену в счет отпуска. Но клянчить пришлось отчаянно.

Жена все еще дулась на меня. Во вторник утром, когда я, усталый и разбитый, вернулся домой, она даже не соизволила подать мне завтрак. Только пробурчала из спальни:

— Мне нездоровится, приготовь себе чего-нибудь сам.

Я разозлился. Наверно, было бы все-таки лучше, если бы у нас был ребенок.

Надо сказать, что мое душевное равновесие зависит от погоды. В левом виске, у шрама, доставшегося мне от Великой Германии, периодически что-то стучит и ноет. При перемене погоды эта тупая боль беспощадно набрасывается на меня, словно по расписанию. Я становлюсь капризным, избегаю людей и с молчаливой покорностью поддаюсь недугу и раздражению.

В эти хмурые дни я неотвязно думал о пятнице. Не о прошлой — о следующей. Правда, мне казалось невероятным, чтобы та женщина опять появилась на прежнем месте.

Тем не менее я решил ехать на работу другим путем — более длинным, по шоссе.

Но вот подкралась пятница. На этот раз ночь была безлунной, цари-

ла кромешная тьма. Лишь огни шахтных построек виднелись за маленьким леском. Господи, во сколько же им обходится каждый день электричество!

К счастью, улицы были пусты. Стало еще холоднее. Но мне это было безразлично: под землей мы холода совсем не чувствуем, а дома тоже тепло — уголь нам, слава богу, экономить не приходится.

Ингеборг в восемь вечера ушла к соседке смотреть телевизор. Когда я поехал на работу, она еще не вернулась.

На развилке, где надо было сворачивать с шоссе на шлаковую дорогу, я почему-то затормозил и сошел с велосипеда.

Ругая себя за дурацкую заминку, я собрался было ехать дальше, но что-то словно сковало меня, между лопаток даже мурашки поползли. Я почувствовал: женщина — здесь.

— А вот и я, добрый вечер,— послышался ее голос.— Прошла немного вам навстречу, чтобы вы не опоздали на работу, как в тот раз.

«Как в тот раз». Это звучало так, словно у нас с ней было общее прошлое.

Неожиданно я расхохотался. На меня напал приступ смеха, я даже выпустил из рук велосипед и, корчась, схватился за бока. Глядя на меня, женщина тоже засмеялась, хотя и не понимала причины моего внезапного веселья.

Да я и сам ничего не понимал.

— Пошли,— сказал я, немного успокоившись.

Велосипед я вел за руль, и мы молча шагали под его поскрипывание. Как и в тот раз под мостом автострады, мне захотелось есть. Я остановился, протянул женщине половину завтрака, и мы поели, молча, как и в тот раз.

Потом я сказал, что заметно похолодало,— надо же было как-то начать разговор, ведь в сегодняшней встрече, в отличие от прошлой, уже не было ничего внезапного. Мы оба ощущали какую-то неловкость и скованность, вероятно, оттого, что всю неделю думали об этой встрече, понимали, что следовало бы ее избежать, и все-таки не избежали, потому что в душе стремились к ней.

— Ну, как, сегодня было мирно? — спросил я только для того, чтобы сказать что-нибудь. Я не знал, о чем говорить, но молчание угнетало больше всех дурацких слов, вместе взятых.

— Не стала ждать, пока дойдет до ругани и драки,— ответила она.— Сбежала сразу, как пришел. Конечно, опять нахлестался.

— Как это он, интересно, выдерживает?

— Если бы только выпивал, еще ничего, а то хлещет без всякой меры, до полного беспамятства. И ведь сам знает, что силы уже не те, а помочь ничем нельзя, ни во что не верит. Правда, когда он не пьян, то есть когда протрезвеет, случается, что хнычет, как малое дитя, и во всем кается. Но после раскаяния наступает очередная пятница.

— Откуда же у него берутся деньги?

— Он десятник, зарабатывает хорошо. Но все равно приходится экономить. Правда, мне с детьми хватает... Что поделаешь: когда у мужчины тяжелая работа, нельзя его так уж зажимать.

— Работа у всех тяжелая,— недовольно возразил я.

Мы пошли дальше. Я не знал, о чем еще говорить; она, вероятно, тоже не знала. Лица ее я до сих пор не сумел разглядеть, видел только бледный овал с темными пятнами глазниц; не успел рассмотреть и фигуру. Мы казались друг другу призраками. Я знал лишь ее голос, и теперь мне захотелось увидеть лицо. Остановившись, я схватил ее за руку. Она попыталась высвободиться, и меня это несколько озадачило, но в конце концов я привлек ее к себе. Она порывисто дышала мне в лицо...

Словно угадав мои намерения, женщина вырвалась и отскочила в сторону.

— Не надо,— прошептала она,— не надо...

— Да я и не думал...

Усилившийся ветер разогнал облака. Показались звезды, необычно яркие и большие.

— Вот такое небо в тропиках,— произнес я, лишь бы что-нибудь сказать.

— Чем дольше смотришь, тем больше кажется звезд,— откликнулась женщина. Она ушла немного вперед.— В детстве мать говорила нам, что каждая звезда — это душа умершего, и светит она для кого-нибудь из живых. Смешно, чего только не рассказывают детям!

— Да, времена меняются,— сказал я.— Нынче дети спрашивают, сколько летит ракета до той или другой звезды. Теперь можно побывать наяву в сказках наших матерей.

Я был раздражен, угрюм, злился на себя за этот идиотский разговор и вдобавок страшно замерз.

— Ночью опять будет очень холодно,— сказала женщина.— С этими холодами просто беда, угля осталось ведер пятнадцать — при таком морозе ненадолго хватит. А уголь опять подорожал.

— Могу подбросить,— предложил я,— стоит лишь сказать шоферу, который мне его возит.

— Да? В самом деле?

— Скажите только адрес.

— Ну, конечно.

За лесом на церковных часах раздалось три глухих удара. Без четверти двенадцать — значит, время еще есть. Мы находились примерно в ста метрах от задних ворот шахты. На худой конец можно пройти и здесь. Я заметил, что стал относиться ко всему флегматичнее.

Ни с того, ни с сего опять пришла в голову мысль, что нам с Ингеборг следовало бы завести детей. Без них в семье всегда разлад, каждый живет сам по себе.

— Так как же насчет адреса? — напомнил я.

— А у вас не будет неприятностей? Вдруг кто-нибудь...

— Нет. Мне полагается в год четыре тонны, а я пока взял только одну.

— Ах, вот так? Тогда другое дело...

— Говорите адрес.

Лишь сейчас я сообразил, что спрашиваю ее уже в третий раз.

— Ладно,— только и ответила она.

Взглянув на звезды, я вспомнил, что в детстве мне часто хотелось сосчитать их все до одной. С мужеством отчаяния я начинал отсчитывать от фабричной трубы, конька крыши или горы, вздымавшейся тенью в небе. Помню, как-то раз я точно угорелый примчался к отцу и сообщил ему, что в небе висит четыреста двадцать звезд — настолько я преуспел в арифметике. В награду мне достались лишь оплеухи за то, что долго торчал на улице.

Неожиданно мне почудились чьи-то шаги. Шуршал шлак, хрустели ветки, слышалось прерывистое дыхание. Чепуха, подумал я, это, наверно, завыл свою песню вентилятор на шахтном дворе. Я заговорил было, обращаясь к женщине, вернее, в ту сторону, где, по моему предположению, она находилась, как с колокольни донесся первый из двенадцати ударов. Я еще успел бы пройти через задние ворота, но почему-то не двигался с места, словно остолбенел. Меня вдруг бросило в жар, несмотря на холод. Опять пропустил смену, опять предстоит неделя, полная неприятностей. А вдруг пригрозят увольнением или, хуже того, сразу

дадут расчет? Последнее время многим прогульщикам присылали извещение об увольнении прямо на дом. Нет, со мной так не могут поступить: ведь у меня собственный дом, а увольнять домовладельцев, как заверяет производственный совет, не имеют права. К тому же за все пятнадцать лет работы под землей я ни разу не отсутствовал без уважительной причины.

— Ну вот, опять опоздал,— сказал я с наигранной веселостью и, рассмеявшись, добавил: — Но вы не огорчайтесь из-за меня. Все равно я сегодня поработал бы недолго. Может, только спустился бы — и тут же наверх. Уже несколько дней голова сильно болит. Без конца глотаю таблетки — не помогает.

Не получив ответа, я продолжал:

— Фронтовая рана. У кого к перемене погоды нога ноет, а у меня вот — голова.

Несу чепуху какую-то, подумал я. Сделав наугад несколько шагов и считая, что женщина рядом, я прошептал:

— С углем будет все в порядке. Но дайте адрес.

Молчание.

Ночь поглотила женщину; видимо, она ушла, когда я опять спросил об адресе.

Черт возьми, снова прогулял смену.

Бесцельно пробродив до утра, я вернулся домой. Руки окоченели, вместо ног — ледяные култышки в ботинках. Жены не было. Я заглянул во все углы. Судя по постели, Ингеборг ночевала дома. На зеркале в спальне я обнаружил приклеенную лейкопластырем записку. Несколько строк зелеными чернилами: «Уехала в Дортмунд к маме. Не вздумай являться, она выгонит тебя с треском. Лгун! Подлец! Кобель!»

Ни обращения, ни подписи!

На кухне было холодно, в других комнатах тоже. Но мне было не до этого; сейчас меня беспокоило только одно: что будет в понедельник на шахте? Впереди еще два дня. Столько времени ждать просто не вытерпишь, будь они прокляты, эти выходные дни. Мне было не по себе: первый раз очутился я в таком положении. Первый раз испугался, что могу потерять место, заработок. Столько вещей куплено в рассрочку, месяц прошел — плати; потом надо возвращать ссуду, полученную на строительство дома; а электричество, вода — за все это надо платить. К концу месяца набирается куча долгов.

О жене я почти не думал. Если и вспоминал, то лишь мельком, время от времени. Она повела себя просто смешно.

А вот для начальства надо придумать какое-то правдоподобное объяснение. Так и не сняв пальто и перчаток, я стоял у кухонного стола и пил кофе. Он оказался столь крепким, что пришлось разбавить горячей водой.

Как же объяснить прогул? Сказать правду — лопнут со смеху и назовут врагом. А если и поверят, то не поймут. Как объяснить, почему я не явился и в эту пятницу? Как убедить, что этого больше не повторится?

Что, если взять больничный лист? Дело несложное: у горняка всегда найдется какая-нибудь болячка. Врачи это знают, как знают и то, что людям иногда просто хочется отдохнуть денек-другой. Некоторые называют это симуляцией, но они не понимают нас. Пожалуй, это выход, объяснение прозвучит убедительно.

Но против такого выхода имелись основательные возражения: нужны деньги, долги напоминают о себе — надо платить. Мы купили в рассрочку диван и кресла, это удовольствие обошлось в восемьсот марок. Вероятно, мы были не в своем уме, когда подписывали кредитный лист.

Чертов агент, задурил нам голову своей болтовней. Может, штейгер еще раз запишет прогул в счет отпуска? Он ведь хорошо ко мне относится. Вот только бы товарищи не начали зубоскалить. Этого я боюсь, у меня еще не настолько одубела шкура, не могу я спокойно сносить крепкие словечки.

Было уже часа четыре, когда я очнулся от беспокойного сна. Все еще лежа в постели, я стал размышлять о том, как образумить Ингеборг и выманить ее из Дортмунда. Решил рассказать ей без утайки все как было, не прибавляя и не убавляя.

Но, приехав в Дортмунд, я понял, что выложить ей всю правду нельзя: то, что произошло, настолько нелепо, что и мужчина не поверил бы. Чего уж тут ждать от женщины, тем более от такой, как моя жена.

Я медленно брел по вечернему городу. Спешить некуда. Прошелся по Ганзаштрассе, долго рассматривал витрины универмага «Альтгоф», в Ганзейском павильоне поглазел на канцелярские товары, полюбовался красными гвоздиками, полыхавшими в цветочной лавке. Потом какое-то время стоял у деревянного забора, за которым строился новый городской театр, и глазел на проезжавшие автомобили.

Боже мой, чего только не строят в Дортмунде, даже городской театр! А сколько уже понастроено — новые заводы, тысячи квартир, повсюду широкие улицы. Да, Дортмунд производит впечатление. Следов войны почти не осталось, просто поразительно. А с тех пор как здесь открыли выставку садоводства, в городе полно цветов и зелени.

Уже поздно вечером я завернул в переулочек, где жила моя теща. Нерешительно нажал белую кнопку звонка.

— Это он,— донесся из-за двери шепот тещи.— Открой уж.

В дверях показалась моя жена.

— Входи. Поздновато заявился. Скорее, дуст! Что, заспался небось?

Когда я вошел в кухню, теща поздоровалась со мной кивком головы и тут же исчезла. Ингеборг поставила на стол один прибор.

— Мы уже поели,— сказала она,— мог бы приехать раньше.

Радио передавало местные новости, но я толком ничего не расслышал из-за канарейки, которая шумела в клетке на шкафу.

— Хочешь пива? — спросила Ингеборг.

Я покачал головой. Все же она принесла стакан и бутылку, и я с жадностью выпил. В ожидании неизбежного вопроса я ломал себе голову, пытаясь найти связь между милостивой встречей и гневной запиской, оставленной в спальне. Уж не постаралась ли тут теща?

— У тебя есть деньги? — поинтересовалась Ингеборг.

Я взглянул на нее.

— В понедельник срок уплаты. Пятьдесят шесть марок.

Будто сам не помню, подумал я, рад бы не вспоминать, да приходится.

— Найдутся,— ответил я, подсчитывая в уме, какие еще расходы предстоят до следующей получки.

— Мама советует переночевать здесь. Вернемся завтра вечером, спешить нам некуда.

Что верно, то верно, подумал я, спешить некуда. Но вот ребенка нам следовало бы завести.

— Конечно, оставайтесь,— раздался голос тещи. Улыбаясь, она вошла в кухню и протянула мне пачку сигарет.— Вы так редко бываете у меня вместе.

Мы молча сидели за столом и слушали радио, ни дать ни взять — образец семейного мира и согласия. Но во мне опять зашевелился страх

что, если я потеряю работу? И зачем только я, идиот, поехал в Дортмунд? Ингеборг сама бы вернулась в понедельник. Неужто нет?

Ссора вспыхнула внезапно. Не знаю, из-за чего. Просто началась — и все тут. Теща бросилась между нами, заклинала, ломала руки, рыдала, кричала истошным голосом. Не уйди я вовремя, наверняка озверел бы и избил обеих. Что еще там было, не помню.

Я метался по городу, не разбирая дороги. На Гильтропском валу остановился посреди перекрестка; с тротуаров мне кричали, машины сигналили, визжали тормоза, шоферы ругались и обзывали меня болваном. Тогда я кинулся в какой-то проулок между пивоварней Риттера и Хёвельпфорте и в конце концов оказался на вокзале.

Взяв пива, я глушил стакан за стаканом. Через час мысли спутались, а когда я поднялся, стали заплетаться и ноги. Будто в тумане, плавали передо мной предметы, покачивались входившие и выходившие люди. Меня это забавляло.

Вывеска смутно напомнила мне о том, что в понедельник — срок очередного взноса, что тяжело доставшиеся денежки сожрет эта ненасытная рассрочка. Но сейчас мне было плевать на долги, хотелось сбежать от всего, безразлично куда. Все опротивело. Хотелось блевать на прохожих — чего они таращатся на меня, как на падаль?

Прочь, бежать куда глаза глядят. Может, в ночной бар? Нет, для бара не хватит денег. Значит, куда-нибудь еще. Но куда? Я пьян, нализался, как свинья. И меня неудержимо влекло все дальше; ведь где-то будет конец, он непременно должен быть. Перейти улицу я не мог — движение было чересчур оживленным. Я побрел по тротуару в северном направлении. Под железнодорожным мостом меня стошнило.

— Вот вам рабочий! — сказал кто-то, проходя.

Так и двинул бы этого типа по морде. Откуда он знает, что я рабочий, а не служащий или чиновник?

Спотыкаясь, я пересек Штайнплац и завернул в темный переулок, в темный дом.

Вот так оно и получается. Пятнадцать лет ты честно и аккуратно делаешь свое дело, и все тобой довольны. А затем вдруг твоя репутация летит к черту — и только потому, что ты два раза не явился на работу без уважительной причины. Три тысячи коллег начинают смотреть на тебя с недоверием, как бы оценивая и взвешивая. Да, человеческим слабостям нет места на современном промышленном предприятии. Там не только хронометрируют производительность труда, но и калькулируют психологию.

Пятнадцать лет гнул я спину под землей и не испытывал отвращения к своей работе; воспринимал ее как неизбежное зло, утешаясь тем, что сотням тысяч приходится вкалывать так же; и все-таки каждый день мне бывало не по себе, когда я напяливал в душной раздевалке вонючую робу. Годами я носил в сердце защитный панцирь и убеждал себя: мой дорогой, ты же сам этого захотел, польстившись на высокий заработок. А теперь делать нечего, устраивайся, как умеешь.

Правда, богатое воображение несколько облегчало мне жизнь. С годами я взрастил в себе двух Адамов: один из них автоматически выполнял работу, другой начинал жить, когда за ним закрывались ворота шахты и он шел домой.

Хозяева и не подозревают, что мы, рабочие, носим в себе двух Адамов.

В понедельник я с тяжелым сердцем приехал на шахту незадолго до полуночи. Хотел взять свой табель, но оказалось, что он изъят. Меня

уведомили, что во вторник к восьми утра мне надлежит явиться к управляющему. Пришлось поворачивать назад.

Я стоял у велосипедного гаража, не зная, как быть. Дело дрянь, думал я, теперь можно ждать всего, так что готовься.

Во вторник утром мне стало окончательно ясно, что я ненавижу свою работу, ненавидел ее всегда, потому что ненавидел восседавшего напротив за письменным столом высокого, жирного, очкастого типа — этакий параграф во плоти. Он глазел на меня, как рыболов на дергающийся поплавок, пока я мямлил что-то в свое оправдание.

Потом я умолк, ожидая, что скажет он. Руки я заложил за спину — вытянуть их по швам не рискнул: чего доброго, надоумлю ввести новое правило. Рукам здесь нечего делать, разве что, будь на то моя воля, удавить этого типа или хорошенько вздуть его. Я сосредоточенно смотрел в окно, разглядывая четыре шкива, вращавшихся на башенном копре, и прислушивался к гулу шахтного вентилятора, расположенного почти у самой конторы. Он вытягивал загрязненный воздух из подземных лабиринтов и нагнетал туда свежий.

Очкастый спросил, чем я занимался обе пятницы и что намерен делать дальше.

— В первую пятницу у меня был отпуск...

— Но штейгер записал его задним числом, не согласовав со мною. Пришлось утвердить...

Меня не покидало желание придушить этого типа. Ну и дела, шахтное начальство уже суется даже в такую ерунду; подумаешь, один день отпуска! Так у штейгеров мало-помалу совсем отберут права и превратят их в обыкновенных погонял. Глядишь, пройдет год-два, и они станут рассуждать, как мы, горняки, уже давно рассуждаем: после нас хоть потоп.

Задрожали оконные стекла — от вибрации шкивов на башенном копре. Вдали виднелась радуга. Низкие облака придавили здания из потемневшего красного кирпича.

— Если бы трудовой дневник не говорил в вашу пользу, я уволил бы вас без промедления!

Ах да, «трудовой дневник». Есть такая штука, есть. Картотека преступника, следственное дело, уголовный розыск — вот что такое эти дневники. В этом кондуите отмечается каждый шаг рабочего как на предприятии, так и вне его. Кроме анкетных данных, в трудовом дневнике регистрируется каждый подъем из шахты до окончания смены, каждое опоздание, каждая пропущенная смена; записывается, когда ушел в отпуск, когда вернулся, взял ли его целиком или по частям; заносится оценка качества работы шахтера, а также сведения о том, строптив он или послушен, охотно ли соглашается на сверхурочную работу, видели ли его в шахте спящим, платит ли он по исполнительному листу, если таковой имеется. В эту желтую тетрадку аккуратно вносится буквально все, не исключая сплетен, слухов и наветов.

Редко в какой тетрадке не найдешь пометок зеленым, синим или красным карандашом. Красным — отрицательное, зеленым — положительное, синим — еще не доказанное.

В каждом дневнике что-нибудь да записано, каждый рабочий «на карандаше»!

Шахтера, вызванного или желающего попасть на прием к управляющему, не впустят в кабинет, пока начальство не проштудирует желтую тетрадку. Специальный служащий следит за картотекой и все заносит в дневники.

— Итак,— Очкастый поднялся и уперся кулаками в стол,— сегодня в полночь можете приступать к работе, но предупреждаю вас: повтор-

ный прогул повлечет за собой немедленное увольнение. При напряженном положении на рынке мы не можем позволить себе такую роскошь— прогульщики слишком дорого обходятся шахте... Вас аттестовали как разумного человека, докажите же это. Итак, желаю удачи!

С удовольствием задушил бы тебя, подумал я и сказал:

— Спасибо, что вошли в мое положение. Желаю удачи!

Вечно одно и то же: дерем глотку, когда нас никто не слышит, а когда надо постоять за себя, поджимаем губы. Да, трусоват стал наш брат-рабочий.

Сказать по-честному, не так страшно расстаться с жизнью, как вдруг потерять все, что приобретено за многие годы.

Куда идешь ты, рабочий?

Наверно, я произнес это вслух, потому что двое парней, стоявших на крыльце конторы, неожиданно рассмеялись и покрутили пальцем у виска.

Куда деваться — ума не приложу. Домой? Там пусто и холодно, жена надолго застряла у матери. Ну и пусть, мне теперь все безразлично, даже то, что Очкастый не уволил меня. Что делать в пустом, холодном доме? Попрошу Рози, чтобы затопила. Она это охотно сделает, у нее всегда найдется время для дяди Юргена.

Да, нам с Ингеборг следовало бы завести ребенка, подумал я опять. Вместе с ребенком рождается чувство ответственности. А так — каждый идет своей тропинкой, хотя порой и кажется, что мы шагаем в ногу. Ингеборг говорит, что нам еще столько всего надо приобрести, а ребенок — самое дорогостоящее приобретение. Может быть, она и права. Но ведь ребенок не вещь!

Задумавшись, я машинально вошел в трактир — один из тех, где прежде нашему брату-шахтеру отпускали в долг до получки. Нынче этого не дождешься!

Неожиданный порыв ветра сорвал у меня с головы шапку. Я спокойно взирал, как она покатилась по земле. Эх, если бы вот так же отделаться от всех неприятностей!

Постоянная гостья пустой пивной — сестрица-скука. Чертова зануда! Я прогнал ее, выцеживая кружку за кружкой и набивая музыкальный автомат монетами. Раз десять я прослушал песенку «Горячий песок», которую исполняет Саша Дистель под гитару. Удивительно, до чего ненасытной может быть маленькая щель в таком ящике.

Черт возьми, размышлял я под блеянье жирного голоса, какому-то очкастому типу позволено отмахиваться от человека, как от назойливой мухи, и только потому, что тот две пятницы подряд не был на работе.

Наверно, этот лицемер тоже выставляет на рождество свечи в окнах, чтобы мы не забывали о наших братьях в Западном Берлине.

Сколько отметок на картонной подставке? Шесть? Неужто столько выпил? Обсчитывает? А может, и правильно. Неохота связываться с этим верзилой за стойкой — выпитого все равно не измеришь.

А вот и солнце выползло. Этого еще не хватало. Убирайся прочь, пусть будет дождь, буря!.. Пусть рушатся копры и трубы... Эх, если б этот проклятый мир развалился и я мог бы остаться один... совсем один... Да, хороши деревья за окном, хороши. Весной здесь красота: каштаны с розовыми свечками, раскидистый клен, а под ним, в жару, холодное пиво... чудесное местечко... Кто это?.. Не может быть... Это она...

Моя знакомая!

Я поспешно вскочил, опрокинув недопитую кружку, кликнул хозяина и бросил на столик деньги, прямо в лужу.

Сомнений больше не было — это она.

Я побежал следом за ней, догнал, но не смог выговорить ни слова. Положил ей на плечо руку, она обернулась, и глаза ее вспыхнули. Кажется, она перепугалась.

— Я заметил вас из окна трактира,— произнес я, отдышавшись.— Доброе утро. Вот сюрприз! Не думал, что снова доведется встретиться.

— Что вам нужно? — вскрикнула она.

Никакого сомнения: голос Сары Леандер.

— Вот как, вы меня не узнаете? Уже забыли про наши ночные встречи? Конечно, мы виделись только ночью, но все-таки виделись. Я сразу узнал вас. По походке... а теперь и по голосу. У вас прекрасный голос.

Странно, даже в темноте походка запомнилась, а лицо — нет.

Она сбросила мою руку:

— Вы слишком много выпили, путаете меня с кем-то.

Она дрожала, взгляд ее лихорадочно обшаривал улицу.

— Я провожу вас немного,— сказал я. — Ну, как дела дома? Все в порядке? Тихо? Ах да, конечно, до пятницы, я и забыл. Если бы получку давали раз в месяц, было бы лучше и для вас, и для него. А как с углем? Могу подбросить, только дайте адрес... Да, кстати... вашему мужу не обязательно знать, откуда уголь, скажете, что купили, а деньги оставите в сумочке. Только давайте адрес...

— Вы что, спятили? Оставьте меня в покое, я тороплюсь. Вам же говорят, я не та, за кого вы меня принимаете.

Тут я разозлился, потому что сквозь строгие, красивые черты ее лица проступил очкастый лик того человека, который двумя часами раньше говорил о моем будущем, как о надоевшем старом пиджаке.

— Значит, не хотите вспомнить о пятницах? Вы... вы... просто стерва...— задохнулся я,— настоящая стерва...

— Я не та, с кем вы устраиваете ночные свидания или что-то там еще. Я фрау По...

— Кто, кто? — я схватил ее за руку и повернул к себе. Глаза ее бегали из стороны в сторону, обшаривая улицу. Женщина была воплощением страха.

— У меня нет времени. Пустите! Я позову на помощь!

Новый шквал ветра ринулся по коридорам улиц. Теперь уже трепетал не только ее взгляд — затрепетали полы пальто, головной платок. Она вырвалась и убежала.

Неужто в самом деле ошибся? Нет, тысячу раз нет! Но почему она не признает меня? Почему? Я стоял и обалдело смотрел ей вслед. Мелкий дождь сек лицо, ко лбу прилипли пряди волос. Удавить бы их одной петлей, подумал я вдруг, и эту бабу и очкастого дылду, который оглядывал меня, словно барана, решая, годен я на убой или еще нет.

Конечно, она. Голос Сары Леандер, походка убеждали меня в этом, но больше всего — ее глаза, испуганные, затравленные.

Я кинулся за ней следом. Видимо, она услышала мой топот, потому что прибавила шагу. На углу я догнал ее.

— Дайте же адрес, завтра пришлю вам уголь! — прохрипел я.

— Отстаньте, вы пьяны. Я вас не знаю, никогда не видела, и я не та, за кого вы меня принимаете.

— Вы фрау По... А как дальше? Черт возьми, да не разыгрывайте из себя невинного ангелочка!

— Убирайтесь! Я позову полицию! — крикнула она и топнула ногой прямо по луже.

Я отстал.

Черные тучи за шахтными копрами доползли до середины неба, налетел ветер, и завеса косого дождя опустилась над поселком.

Пойти домой? Или догнать эту женщину?

Вскоре на землю обрушился ливень. Водосточные трубы клокотали, как сифоны, у обочин тротуаров бурлили ручьи.

Пока я торчал под дождем, как афишный столб, женщина завернула у аптеки за угол. Я решил еще раз догнать ее. Изредка оглядываясь, она торопливо шла метрах в ста впереди меня, вдоль грязновато-красных домов и вдруг исчезла, будто сквозь землю провалилась. Что за чертовщина!

Гадая, куда девалась женщина, я не обращал внимания на дождь. Две первые буквы ее фамилии знаю, остальные выясню — это уж точно. На улицу выскочила собака и с бешеным лаем бросилась на меня, пытаясь вцепиться в штанину. Я стал отгонять ее пинками, но она еще больше рассвирепела. Эта тварь начинала действовать мне на нервы, а тут еще ливень.

Тогда я замер на месте и поманил ее. Она вдруг стихла и, поджав хвост, удрала.

Что, если зайти в адресный стол, подумал я, и просмотреть фамилии, начинающиеся на «По»? Вряд ли таких много. А можно выдать себя за представителя какой-нибудь фирмы и звонить у дверей, где есть табличка с фамилией, начинающейся на «По». Чепуха.

Но вот, кажется, открылись все шлюзы неба. Ливень обрушился с такой силой, что капли, ударяясь о землю, подпрыгивали, прежде чем слиться в ручьи. Я укрылся под навесом на крыльце первого попавшегося дома, но это не помешало мне промокнуть до нитки: дождь хлестал почти горизонтально. Опять появилась собака и, повизгивая, забегала перед домом. Ей, видно, хотелось ко мне, но она не очень доверяла перемирию.

Внезапно дверь отворилась, и я чуть не упал навзничь, но в последнюю секунду удержался, схватившись за женщину, которая стояла на пороге. Я увидел ее лицо и расширенные от ужаса глаза.

Это была она.

— Вы?!

— Да, я,— сказал я, оторопев от неожиданности.

— Вам нельзя здесь оставаться,— прошипела она. — Уходите!

— Разве можно выгонять человека в такой потоп!

— Меня это не касается. Убирайтесь... Быстро... Ну!

Я обалдело посмотрел на дверную табличку: «Виктор Поленц».

Ага, теперь адресный стол не понадобится. Впервые за эти дни я ощутил нечто вроде счастья.

Женщина толкнула меня в спину, и я, пролетев две ступеньки, упал возле водослива, куда устремлялись бурлящие ручьи. Только поднялся— рядом заскулил пес. Я протянул руку, он позволил себя погладить. Дверь захлопнулась.

Струи дождя барабанили по окнам, стенам и мостовой. В конце концов я снова забрался под навес — а куда еще деваться?— и отжал куртку и штаны. Пес, повизгивая, жался к моим ногам. Ощущение счастья улетучилось, я казался самому себе жалким бродягой. Хотелось есть, и в довершение всего давало себя знать выпитое натощак пиво. Возможно, я был пьян и не сознавал этого. Холод пробирал до костей. Неужели не будет конца проклятому ливню? Сколько еще придется торчать здесь? Да, а где я оставил велосипед? На шахте или, может быть, у трактира?

Тут я опять почувствовал, что валюсь навзничь, и хотел было обругать эту бабу, но, обернувшись, увидел перед собой здоровенного мужчину. Настоящего гиганта.

— Гоп-ля! — сказал он и засмеялся. На огромном туловище торчала удивительно маленькая голова. Шеи не было. Забавное явление, подумал я. — Да вы промокли насквозь, входите!

Я стал отказываться, но он втащил меня в прихожую. Собака вбежала за мной и с визгом запрыгала вокруг гиганта. От него разило пивом, но он, кажется, был трезв.

— Зачем вам мокнуть? Переждите, рано или поздно дождь кончится... Бедная собачонка, совсем замерзла.

— Кто мог ожидать, что так испортится погода,— сказал я.

— А теперь вообще все бывает неожиданно. Входите, жена высушит ваши вещи.

— Нет, нет, спасибо, не беспокойтесь... столько хлопот... Вот пережду ливень и пойду: я живу неподалеку.

— Заходите в тепло, заходите.

Гигант двинулся, подталкивая меня перед собой. Я ничего не мог поделать — он был силен, как горилла, и не терпел возражений.

В кухне я встретился с ней. Заметно испугавшись, она тем не менее оглядела меня с ног до головы и громко расхохоталась.

— Не вижу, чего тут смешного,— проворчал Горилла. Женщина тотчас смолкла. — Свари ему чашку кофе. Мне тоже.

Пришлось снять куртку; женщина принесла плечики и повесила ее над печкой, где уже сушилось детское платье. Собака легла у порога, женщина стала молоть кофе, Горилла уткнулся в утреннюю газету, а я протянул ноги к печке, чтобы обсохли брюки.

— Какой породы? — спросил он, выглядывая из-за газеты.

— Не знаю.

— Как же так? Хозяин не знает, что у него за собака.

— Хозяин? — удивился я. — А я думал, что это ваша.

— Так, значит, не ваша?

Горилла поднялся, схватил пса за шиворот и выбросил в окно.

— Что ты делаешь! — крикнула женщина.

— Заткнись,— буркнул он. — Позаботься лучше о кофе. Где это видано, чтобы держать в квартире чужую дворняжку.

Интересно, подумал я, что бы он сделал, если бы вместо дворняги оказалась овчарка... Что за чепуха лезет в голову.

Пробило одиннадцать. Мы пили кофе. Я чувствовал себя уже лучше, кофе согрел меня, разогнал пивной туман. Все постепенно прояснялось — и окружающие предметы, и мысли.

Дождь понемногу стихал. В кухне посветлело, где-то на цементном небе выползло солнце.

— На стройке сейчас дело дрянь,— произнес Горилла, лениво перелистывая газету.

— Вы работаете под открытым небом? — спросил я.— Каменщик?

Кажется, женщина что-то мне говорила о его работе. Впрочем, нет, она сказала только, что у мужа получка каждую пятницу; значит, он не на шахте — мы-то получаем раз в декаду.

— Я десятник. Нашу лавочку прикрыли. В такую слякоть полагается греть зад у печки. Только разведешь раствор, а тут то снег, то дождь. Слишком много простоев. А вообще-то неплохо и полентяйничать недельку-другую. Деньги все равно платят.

— Конечно,— поддакнул я. — А вот на шахте погода не имеет значения, под землей всегда одно и то же: ни дождя, ни снега, ни солнца.

— Хотите еще кофе? — спросила женщина.

Она подошла к столу и улыбнулась.

— Черт побери! — Горилла стукнул по столу. — Вечно эти твои дурацкие вопросы! Понятно, он хочет еще.

Горилла опять уткнулся в газету. Женщина испуганно съежилась и взяла мою чашку. Руки ее дрожали, от былой приветливости не осталось и следа. Она смотрела на меня сердито — вероятно, потому, что я дал мужу повод сорвать на ней злость. Она выглядела сейчас какой-то

безвольной, совсем не такой, как при наших ночных встречах, тогда я даже восхищался ею.

— Господи! — вздохнула она. — Кончилось молоко.

— А что у тебя, собственно, есть в доме? — Горилла снова ударил по столу. — Вечно чего-нибудь не хватает, за каждой ерундой надо в лавку бегать.

— Я сегодня еще не выходила за покупками,—сказала она плаксиво.

— А где ты была час назад? У своей любимой сестрицы? Вот и отправляйся теперь. Чем ты только занимаешься целый день? Язык чешешь?

— Не беспокойтесь,— вмешался я.— Мне больше нравится без молока.

— Вздор! Пусть принесет!

— Но ты ведь тоже пьешь черный кофе,— крикнула она.

— Шагом марш! — Он указал ей на дверь.

Женщина выбежала. Горилла не спеша перелистывал газету и что-то бурчал себе под нос. Потом вдруг улыбнулся во весь рот и зевнул.

Я внимательно разглядывал его. Судя по взъерошенным волосам, он сегодня еще не причесывался. Лицо его, несмотря на крохотную голову, не казалось детским. Вероятно, из-за носа и глаз — нос был кривым и слишком крупным, а глаза поблескивали бесцветно и холодно. На лбу у висков были желваки величиной с большую монету; когда он разговаривал, они то вспухали, то опадали. Голова, словно шарик, лежала на широченных плечах. В распахнутом вороте рубахи виднелась волосатая грудь. Да, такого испугаешься.

Кухня была обставлена — подобно тысячам других кухонь в тысячах рабочих квартир — без особого вкуса, но не без уюта, словом, во вкусе хозяев. Несмотря на утренний час, здесь было чисто; развешенная детская одежда и спецовка хозяина, требовавшая починки, не портили впечатления. На буфете лежали школьные тетради и несколько дешевых ковбойских романов.

Вернулась хозяйка с банкой молока.

— У вас дневная смена? — спросила она, тяжело дыша. Быстро пробив два отверстия в крышке, она поставила банку на стол.

Я налил себе молока и подвинул банку хозяину.

— Не надо, я пью черный,— проворчал он.

— Нет, ночная. Уже целый год,— ответил я женщине.

— Да ведь это каторжная смена! — буркнул Горилла.

— Пожалуй. Особенно, если ходишь в ночь не одну-две недели.

— А сейчас вы с работы? — поинтересовалась женщина и пристально поглядела на меня.

— Да.

Горилла быстро перелистал газету в обратном порядке.

— Сигареты принесла? — резко спросил он.

— Сигареты? Я думала...— Она опять задрожала.

— Думала! Уж ты придумаешь. Сейчас же принеси, мигом. Вот проклятье, за каждой ерундой она должна специально бегать.

Я протянул ему сигареты.

— Эти не курю! — отказался он и крикнул жене вдогонку: — Погляди, собака еще там?

— Не видела!

— Да у тебя, наверно, бельмо на глазу! — Он грузно опустился на стул и снова занялся газетой.

— Так,— сказал я,— куртка почти сухая. Пойду, а то в сон клонит. Брюки тоже подсохли. Минут за пятнадцать доберусь, у меня велосипед.

Я оделся. Протянул хозяину руку, но он, не замечая ее, буркнул:

— Не жалейте времени на сон.

Вероятно, он даже и не понял, что произнес какие-то слова.

Сквозь цементно-серые тучи прорвались первые солнечные лучи, осветив дома и людей. Две девочки, вернувшись из школы, скрылись за дверью. Их дети.

Я медленно побрел по стиснутой унылыми кирпичными домами улице и на углу неожиданно столкнулся с этой женщиной.

— Могли бы посушиться еще.

— Если б вы не вытолкали меня под дождь, я бы промок меньше.

— Господи, поймите же, он убьет меня, если узнает.

— А что он может узнать?

— О той ночи, в пятницу.

— Подумаешь, составил вам компанию и больше ничего.

— Но он же не знает, что я брожу по окрестностям. Думает, что пошла к сестре. Она живет в другом конце поселка.

— Неужели он ни разу не справлялся у нее?

— Она знает, что̀ ответить, не выдаст.

— В пятницу придете?

— Может быть... точно не знаю... пожалуй... да, лучше... если не приду. Сейчас он ходит отмечаться на биржу, в понедельник там дают пособие. В этот день большинство пивных закрыто. А добравшись домой, он уже никуда не выходит.

— Так вот, значит, какой у вас муж,— сказал я, глядя в сторону.

— Да, нет... хотя... нет...

— Что нет?

— Он мне не муж. Мы только живем вместе, понимаете, он заботится обо мне и о детях.

Она покраснела и смутилась.

— Вы вдова?

— Да... в общем. Мой муж далеко... очень далеко... туда нельзя попасть... Бауцен... на самом краю света...

— А это не рискованно? Соседи, сплетни...

— Почему? — Она в упор посмотрела на меня.— Надо же как-то жить. Прежде было совсем иначе... Формально я снимаю у него квартиру.

Мне вспомнились женщины, которые, узнав, что их мужья пали на поле чести за Адольфа, народ и отечество, первое время чуть с ума не сходили от горя, а спустя месяц обзаводились новым дружком.

— Если не трудно, вы все-таки пришлите уголь. Теперь вам адрес известен.

— Ладно, сегодня же скажу шоферу.

— Ну, тогда все в порядке.

— А почему вы убежали в прошлую пятницу? Даже не попрощались.

— Да вот я вспомнила, что забыла кое-что сделать... Кстати, у пивной стоит ваш велосипед — и не на замке.

Сегодня мы бурим шпуры.

Аппарат Шмидта всасывает пыль в металлический резервуар. Хорошо, что есть еще изобретатели, которые заботятся не только о техническом прогрессе вообще. Не будь этого аппарата, мы становились бы к сорока пяти годам инвалидами, с забитыми и разъеденными рудничной пылью легкими.

Бурят трое.

В уши врывается монотонный вой. Вокруг все грохочет, трясется, скрежещет, свистит, шипит. На несколько часов мы глохнем. Объясняемся только жестами.

Всего надо пробурить девять шпуров глубиной в два метра.

На каждого по три шпура. Я чуть отстал, работа не идет, потому что мысли далеко от инструмента, который у меня в руках; это плохо. Сбиваюсь с нужного направления, и только крепкий тычок под ребра, полученный от Карла, напоминает мне, что нельзя позволять мыслям сверлить голову, когда сверлишь породу. События последних дней выбили меня из равновесия. Да и чувствовал я себя неважно, болела голова, покалывало в спине.

Проклятье! Что случилось?

Оглушительное шипение, свист, крики!

Чего это Карл так разорался?

Сорвало всасывающий шланг! Сжатый воздух ударил по стенам, взвихрив пыль. Шланг извивался, как змея.

Бежать!

Шланг ведь может переломать кости, а то и убить, если удар придется в подбородок или в висок. Толкая друг друга, все кинулись к резервуару, но в туче пыли ничего нельзя было разглядеть. Тогда я помчался в штрек, метров на двести назад, к запорной задвижке и перекрыл подачу сжатого воздуха.

Постепенно шипение стихло, и пыль стала пушисто оседать. Когда я вернулся в забой, Карл с Вильгельмом уже возились у вентиля, пытаясь насадить сорванный шланг. Беспрерывно сыпались ругательства. Еще бы: время шло, а наша работа рассчитана до минуты. Вот-вот появится взрывник, у него тоже день расписан по часам и минутам.

Все должно быть сделано так, как определили в своих кабинетах господа калькуляторы, хотя они часто забывают, что машине легче соблюдать график, чем человеку.

— Только этого не хватало, ведь к четырем часам я вызвал взрывника, вот дьявольщина! — ругался Карл.— Оставаться на сверхурочные сегодня никак нельзя, штейгер опять разорется.

Карл заводился все больше и больше. Ремонт шланга от этого только затягивался. Но Карл успокоится лишь тогда, когда снова возьмет в руки отбойный молоток.

Половина третьего.

Значит, в запасе полтора часа. Пожалуй, успеем, если не стрясется что-нибудь еще. Карл и Вильгельм наконец справились со шлангом, я сбегал в штрек и открыл задвижку. Воздух зашипел, и, когда я вернулся в забой, они уже бурили.

Мы сверлим чрево Земли.

Под защитой и угрозой могучих каменных стен каждый день вгрызаемся на два метра в породу, в угольный пласт, и этому не видно конца. Каждый день на два метра, каждый день одно и то же. Чрево Земли необъятно.

Несмотря на отвратительное самочувствие, я принялся за третий шпур. Переставил двухметровую колонку, на которой закреплен отбойный молоток, и начал сверлить в левом верхнем углу. Болели руки. Все же работа подвигалась, бур легко вгрызался в породу, и было приятно смотреть, как тонкая штанга сантиметр за сантиметром уходит в камень.

Бурение, взрыв, установка креплений.

Таков ритм из трех третей суток. Если управимся с бурением и взрывами и до конца смены успеем поставить крепления, значит заработаем по тридцать марок плюс или минус несколько пфеннигов. Но больше тридцати марок в смену получаем редко — это максимальный заработок горняка.

Внезапно бур заело. Черт, неужели наткнулся на песчаник? Этого еще не хватало, и так задержались.

Время — деньги. Мягкая порода — много денег, твердая — мало. И надо же: сначала шланг, теперь песчаник. Будем надеяться, что это лишь конгломератная жила. Тридцать марок я обязан заработать, хоть кровь из носу. Если уж за горняцкий труд столько не получать, тогда лучше подметать улицы в Дортмунде или в Унне.

Карл и Вильгельм закончили бурение и взялись помогать мне. Надо было спешить изо всех сил. Взрывник уже несколько минут стоял возле нас, отпуская ядовитые замечания. И хотя мы мало чего расслышали, однако же с удовольствием вогнали бы в него самого бур, даже не причастив. Всем некогда, и начальству и рабочим, ну просто эпидемия какая-то.

Не удивительно, что происходят несчастные случаи.

Пыль то забивает поры, то вымывается потом, стекающим вниз по спине. Сколько раз это повторяется за смену? Никто не знает. А сколько мы теряем каждую смену в весе? Нас мучит жажда, из-за перенапряжения не хочется есть, и ко всему вечная спешка — бывает, что некогда пот вытереть; нас подгоняет сдельщина, ритм машины, нажим начальства, нормы, рассчитанные в кабинетной тиши. Один человек подгоняет другого и подгоняет себя самого, потому что ему надо заработать.

Мы погрузили бурильный инструмент на тележку, и я откатил ее до развилки. Опасное занятие; если опрокинется, провозимся — и притом бесплатно — целую смену, чтобы привести все в порядок.

Взрывник принялся за дело.

Достал забоечные патроны.

Вскоре из шпуров повисли красные провода, это напоминало кабельный распределитель. С помощью трехметровых штанг мы стали осторожно — как пекарь сажает в печь булки — забивать отверстия, проталкивая к патронам свернутую в колбаски глину.

Затем взрывник соединил все провода. Сколько я ни наблюдал за его манипуляциями, для меня и по сей день осталось загадкой, каким образом ему удается навести в этой путанице порядок и избежать несчастья. Я вывинтил из кровли висячую лампочку, собрал разбросанный инструмент и отнес все в безопасное место.

Наконец взрывник подключил провода к аккумуляторному ящику.

Он выбрал позицию метрах в пятидесяти от забоя, а наша тройка отошла подальше, к запорной задвижке. Там мы забились в ниши. Излишняя осторожность не помешает; чем черт не шутит — бывает, что камни летят даже за угол.

Мы молча стояли в укрытии.

Наконец сигнал тревоги — взрывник прокричал:

— Горит! Горит!

Секунды напряженного ожидания.

И вот гора содрогнулась. Задрожала крепь, деревянная и металлическая, вздрогнули и мы. Пронесло. Слава богу.

После взрыва мы сели завтракать. Бутерброды, холодный кофе. Время есть: пока из забоя вытянет серные газы, пройдет минут двадцать. Карл включил вентиляторы на полную мощность, они завертелись, как бешеные. Туча пыли, смешанной с ядовитыми парами, окутала забой. От сладковатого чада щекотало в носу.

— Вот сволочи! — заорал Вильгельм, вытащив бутерброды.— Мыши обгрызли.

— Чего ж ты не подвесил на проволоке? — спросил я

— Подвесил. Черт их знает, как они добрались! Гады!

Карл хотел поделиться с ним своим завтраком, но он отказался и продолжал честить мышей, шахту, работу и под конец самого себя.

Прошел взрывник.

— Содержание газа проверил, забой чист, можете приступать,— буркнул он. За плечами у него позвякивали два жестяных ящика из-под взрывчатки. Их стук еще долго раздавался в штреке.

— Э, ребята,— вздохнул Карл,— не знаю, как вам, а мне так неохота работать. Последние дни ломает всего. Верно, простыл, погода-то какая. Старуха гонит к врачу. А что мне это даст? Через три дня пошлют на повторный медосмотр в Хамм, а там тебя сочтут симулянтом, если ничего не смогут обнаружить. Просидишь три часа ради двух минут, которые тебе уделит врач. Выгоды никакой, а вылечиться при таких порядках нельзя.

— Наших участковых врачей скоро вообще лишат права лечить,— поддакнул Вильгельм,— разве что поручат только бюллетени подписывать да выдавать рецепты. А что у кого болит — будут определять в Хамме. Они, мол, лучше разберутся, чем участковый врач,— ведь у него на неделе сотни пациентов.

Мы пошли в забой.

Он раскрыл перед нами свой зев. Отдельные глыбы угля долетели до буровой тележки. Но в общем взорвали хорошо, ничего не повредили — все стойки новой крепи на месте, затяжки тоже целы. Такую работу мы любим, график не нарушен. Значит, будут деньги — тридцать марок за смену.

Мы укрепили несущие стойки, положили рельсовый верхняк, причем без всяких подмостей — на груде угля стоять куда удобнее. Действовать тут надо быстро, со смекалкой, чтобы сэкономить время, и у каждого — свои приемы. Утренняя смена откатит гору угля — двадцать тонн; а дневная поставит стойки, укрепит потолок и стены. А там опять ночная смена. Карл, Вильгельм и я снова пробурим девять шпуров и отобьем уголь. Все связаны друг с другом, как зубчатые колеса в передаче, стоит одному звену выпасть, как нарушается весь процесс — и работа, и настроение, и товарищеская спайка, и заработок.

Сегодня нам еще раз повезло: со шлангом справились, а такое всегда может случиться, и тридцать марок будут целы. Но если наша тройка хорошо сработалась, это еще не все. Две другие смены, утренняя и дневная, должны действовать так же слаженно, иначе все пойдет к черту.

В половине седьмого мы закончили. Вытерли пот и грязь, вытряхнули спецовки и не спеша направились в квершлаг, а оттуда в коренной штрек.

— Вчера у меня был судебный исполнитель,— сообщил Карл.— Наклеил свой ярлык на новый кухонный шкаф.

— Как же это так? — спросил я.

— Да ведь я прошлым летом купил телевизор. Ну и не рассчитал со взносами, когда брал шкаф, думал, обернусь. А после того несчастного случая, сам знаешь, три месяца не работал. Вот так и получилось. Сначала прислали напоминание, потом предписание о платеже, а вчера заявился этот господин.

— Не горюй, — посочувствовал Вильгельм.— Ко мне он в прошлом году тоже наведывался.

— Дело не в шкафе,— огрызнулся Карл.— Жена от злости зашлась. Машину судебного исполнителя знает ведь каждый на нашей улице. Как появится, все следят из-за штор: к кому? А жена, как нарочно, хвасталась перед бабами, что за все платит наличными! Черт, до чего ж неприятно! Нет, лучше ничего не покупать в рассрочку.

— Так-то оно так,— заметил Вильгельм,— да всякий раз попадаешься на удочку. А что прикажешь делать? Копить? Ни черта не выходит, пробовал. Только соберешь несколько сотен, как что-нибудь подвернется, и плакали твои денежки.

— Верно,— согласился Карл.— Слишком мало зарабатываем, в этом все дело. От получки до получки не хватает.

— Нет, — возразил я,— зарабатываем-то мы достаточно. Только, если сказать по совести, нам хочется слишком много сразу.

— Заткнулся бы. Разве покупаем то, что не нужно? — Карл рассердился.— Стиральную машину надо? Надо. Телевизор? Надо! А мопед? Ты что, хочешь всю жизнь топать на работу пешком или ездить на велосипеде? Пока доберешься до шахты, язык высунешь. Нет, Юрген, не в этом дело. Слишком дорого все, слишком много дерут торгаши. Ты вот послушай: сосед купил автоматическую стиральную машину, стоит она две тысячи, а он получил ее по знакомству за тысячу четыреста, прямо от оптовика. На разницу мог бы взять еще и холодильник. По какому же праву они столько дерут?

— Тут должно вмешаться государство,— заметил я.

— Государство? — закричал Карл.— Так оно же само зарабатывает на этом. Чем больше торговцев-посредников, тем больше налогов!

— Как бы там ни было, радуйся, что мы живем не в восточной зоне,— сказал Вильгельм, обращаясь ко мне.

— Что? И ты веришь этой брехне? — взорвался я.— Обычная пропаганда. Прожужжали все уши насчет золотого Запада, многие прежде верили и переходили. Правда, кое-кому из них суют такие подачки, что закачаешься! Есть тут один, на соседней улице. Не поверишь, чего только у него нет — я пятнадцать лет вкалываю и половины того не нажил... Может, скажешь, из-за свободы к нам перешел? А у нас с тобой она есть? Работай и помалкивай, а не то документы в зубы — и топай на все четыре стороны,— вот тебе наша свобода.

— Верно.— сказал Карл и хлопнул Вильгельма по плечу.— Ребята, ну и хохотал я, когда судебный исполнитель ушел. Ярлык наклеил, а шкаф-то еще не оплачен! Конфисковал, называется!

Тут уж мы все расхохотались.

— Теперь,— проговорил сквозь смех Карл,— не хватает только, чтобы прислали судебный лист на оплату шкафа.

Из боковых штреков в квершлаг плыли огоньки. Шахтеры выбирались из подземного лабиринта в откаточный штрек к поезду. Струя ледяного воздуха пронизывала насквозь. Ветер дул с такой яростью, что приходилось отворачивать лицо, чтобы не задохнуться. На восьмисотметровой глубине чувствовалось, какая температура на поверхности. Сегодня наверняка лютая стужа.

Лишь усевшись в крытый, защищенный от ветра вагончик, мы поняли, как дьявольски устали. Едва поезд тронулся, мы тут же заснули и, невзирая на тряску и грохот, спали все три километра до шахтного ствола так крепко, что нас пришлось будить.

У ствола обошлось без толкотни. В восемь утра поднимается только пятьдесят человек. Полсотни почерневших людей, изнуренных, едва не засыпающих на ходу, голодных, а главное, так истосковавшихся по дневному свету, что казалось, они тут же погибнут, если не выберутся на него. Мы вошли в клеть. Сквозняк пробирал до костей, сопротивляться уже не было сил, и мы покорно дрожали от холода.

Поднявшись, я постоял несколько минут в крытом переходе, соединяющем верхнюю площадку ствола с душевой. На дворе за ночь выпало много снега. Я не торопился. Да и куда? С тех пор как жена смылась в Дортмунд, в квартире стало холодно и неуютно. Попрошу Рози истопить в кухне и гостиной. Что ей стоит забежать к нам по дороге в школу. Кофе опять придется варить самому, а когда готовишь сам, да еще на скорую руку, вкус уже не тот. Десятнику Поленцу куда легче. Он может неделями сидеть, задрав ноги, почитывать газету и говорить всякие гадости своей жене-квартирантке.

В раздевалке я не спеша скинул робу, надел деревянные сандалии, взял мыло «Рейноль», мочалку и прошлепал в душевую. Вода с паром била по кафелю и голым телам. Поначалу даже дух захватывает. Какое же это блаженство для измученного, продрогшего горняка!

Под горячим душем он снова становится человеком. С мокрых тел стекают черные ручьи. Пещерный Адам меняет кожу.

Каждый моется по-своему. Один начинает с головы, другой с пяток, третий с шеи. Довольно занятная картина, когда видишь белое тело с черной головой. Сегодня почему-то никто не крикнул мне:

— Юрген, сымай свитер!

Что поделаешь, я очень волосатый, особенно грудь, и, входя в душевую, я обычно скребу ногтями слипшиеся от пота и пыли волосы.

Здесь, не стесняясь друг друга, моются сотни голых мужчин — отцы и сыновья, дяди и племянники, братья. Помнится, несколько лет назад один парнишка после своего первого рабочего дня вошел в душевую в трусах.

Он стеснялся.

Ну и досталось же бедняге! Его подняли на смех, начали дразнить. Еще бы, невероятный случай: горняк под душем — и в трусах! В конце концов кто-то сорвал их с него. Он вопил, призывая на помощь, но все только гоготали. Хохот грянул еще сильнее, когда несчастный предстал голышом, ибо под трусами оказались только намеки на мужественность.

— Бинокль! Дайте бинокль! — крикнул кто-то.— Ни черта не видно!

Мне было искренне жаль беднягу. Такое сразу разносится: через сутки на шахте об этом знали все, включая управляющего. С того дня парнишку прозвали Девицей. Вскоре после случившегося Девица уволился с нашей шахты, где ему не давали прохода, и устроился на другую. Рассказывали, что там он в первый же день появился в душевой без трусов. Значит, понял, что горняк горняка не должен стыдиться.

■

Перед дверью по щиколотку лежал снег, в квартире было холодно, в кухне от немытой посуды пахло кислятиной. Пока варился кофе, я обнаружил, что домашние запасы продовольствия почти иссякли. Придется после обеда идти за покупками. Топить не стану, улягусь сразу в постель.

Хорошо, что хоть не надо экономить уголь. Попрошу Рози заняться печками. Перед сном почитал газету. Как нарочно, первой попалась статья о повышении цен на молоко: литр стал дороже на шесть пфеннигов — и не просто так, а обоснованно.

Экономическое чудо дает нам все: благосостояние в рассрочку, собственный дом и долги, работу и угрозу увольнения, жен-квартиранток и десятников без шеи.

Дверь открыла Рози. Мне нравится эта девочка. Уже много лет она моя любимица; наверно, потому, что у меня самого детей нет, а с ее матерью я в давней дружбе. Рози исполнилось семнадцать. Она умна, быстро соображает и любит пококетничать. Таких теперь называют тинэйджерами. Девочка регулярно читает «Твен» и отдает должное этому журнальчику. Но джинсов не носит и под Брижитт Бардо не причесывается. Трезво смотрит на жизнь, знает цену деньгам и не строит иллюзий—желания и стремления у нее самые обычные. Правда, она мечтает когда-нибудь пережить «приключение» с мужчиной, «с настоящим», и частенько говорит мне, что не прочь побывать на оргии. Это слово она вычитала в иллюстрированном журнале, однако смысла его

себе не представляет. Иногда над ее коленками дразняще покачивается колокол из трех-четырех нижних юбок.

— Только бы не увидела мама,— сказала мне по этому поводу Рози.— Она ведь так старомодна. А папа ничего не имеет против, он только говорит: «Ветер, как это прекрасно! Столько ветра!»

Сейчас она носит узкие юбки — они удобнее для твиста. Каждое утро Рози едет поездом в дортмундскую торговую школу, часам к трем возвращается и сразу садится за книги. Если не считать словечка «оргия», от которого она не может отделаться и которое преследует ее даже во сне, Рози — обыкновенная девушка, скромная и трудолюбивая. Соседские парни ходят за ней хвостом, с мопедами и без. Ей это нравится. «Значит, во мне что-то есть»,— говорит она убежденно. О том, чтобы завести прочную привязанность, она и не думает — не потому, что против этого, а потому, что школа, наряду с «оргией», занимает все ее время и помыслы.

— Дядя Юрген! Наконец-то пожаловал!

Рози повертелась передо мной и спросила, идет ли ей новый пуловер.

— Хорошо, очень хорошо. Только, кажется, на номер меньше, чем следует.

— Ну и что? Так и должно быть. Иначе не выделяется грудь.

— Разве она обязательно должна выделяться?

— Что я слышу! Да ты никак вступил в Армию спасения?

— Пока нет,— ответил я, рассмеявшись,— просто поумнел.

— Ну да? За две-то недели? Быстро у тебя-то получается!

Ее мать, Вероника, сидела на кухне и вязала. Сдвинув очки на кончик носа, она поздоровалась со мной кивком головы.

— Карл в гостиной,— сказала она.

— Как он себя чувствует?

— Так себе. Погода, сам знаешь. Но пока не жалуется. Опять рисует, целую неделю.

— А что он рисует сейчас? — поинтересовался я.

Вероника тихо рассмеялась:

— Делит мир.

— Это что-то новое. И давно? Обычно он рисовал заборы.

— Три дня. Иди, сам посмотришь. Рози, приготовь дяде Юргену кофе.

— Мамочка, он с бóльшим удовольствием выпьет пива.

— Я сказала: кофе. Сама знаю, что ему пить!

Рози пожала плечами и принялась хлопотать у плиты. Я прошел в гостиную. Сдвинув скатерть, Карл сидел за круглым столом и малевал акварельными красками на большом листе бумаге.

— А, гости!— воскликнул он.— Мне даже снилось сегодня, что кто-то придет, но кто — так и не понял. Ведь оберштурмбанфюрер давно умер. Он посещал меня регулярно. В какой это было комнате — в четырнадцатой... или в пятнадцатой?

— Карл, штурмбанфюрера убило бомбой.

— Конечно, конечно... Как твоих родителей... раз — и нет.

— Да, так же, как их. С той разницей, что отец мой был шофером грузовика, а не оберштурмбанфюрером.

— Но оберштурмбанфюрер тоже сидел в грузовике.

— Как поживаешь, Карл? Побаливает?

— Господи, о господи, ты знаешь, Юрген, я тут запутался. Это адская работа, помоги мне. Господи, о господи.

— Разумеется, помогу. Чего ты там рисуешь?

— Я не рисую, а делю мир.

— Как же ты это делаешь?

— Очень просто, почему ты забыл, не понимаю, я же тебе объяснял когда-то. Гляди: красная — это Европа, ее отдают русским. Синяя — Америка, пусть берут американкашки. Желтая — Азия — пойдет китайцам. Черная — Африка — это арабам.

— Но ведь арабы не черные.

— Да? Значит, ошибся. Ладно, еще не поздно исправить, пусть ее забирают готтентоты.

— Ты забыл Австралию, Карл.

— Что я, дурак, по-твоему? Ее я про запас оставил, тут дело особенное. Видишь: черно-белая, полосатая,— это Австралия. Здесь снова будет колония для преступников. Жителей эвакуируют в другие части света, а преступников свезут туда.

— Крупных или всех подряд?

— Самых крупных. Политиков, атомщиков, промышленников и... нет... достаточно.

— Это было бы неплохо, Карл, но я думаю, что не все согласятся с таким решением.

— Обязательно согласятся. Я провел предварительные переговоры. Завтра у меня соберутся президенты, я уже велел Веронике расстелить перед домом ковер. Мы ведь не дикари какие-нибудь... Ковер у крыльца произведет впечатление, а?.. В общем, завтра выясним все детали.

— Они прибывают самолетом?

— А ты думал, поездом? Ясно, на «штукасе»... иииии-иииии... Помнишь, как он воет? Вот будет забава, пусть соседи рты разинут, а то они считают, что я не в своем уме.

— Нет, Карл, соседи так не думают, ты это просто вообразил себе. Где же будут садиться самолеты?

— Где? Конечно, на лугу за лесом. Коров оттуда придется убрать... в хлев или на бойню. Что такое коровы, когда мы делим мир!

— А какую ты получишь должность?

— Об этом уже договорились: я стану канцлером Австралии. И я уже придумал, что делать: заложу по всей стране шахты и загоню всю банду под землю. Господи, о господи, вот будет праздник!

— Что же они будут добывать?

— Камень, только камень. А его там предостаточно. Скажи-ка, Юрген, Австралия большая? Больше Дортмунда?

— Гораздо больше,— ответил я, проглотив засевший в горле комок.

— Это хорошо. Значит, можно заложить много шахт.

— А что ты будешь делать с добытым камнем?

— Тоже учтено. Построим дамбу — от Австралии до Южного полюса, через океан.— Он впился в меня нетерпеливым взглядом.— Думаешь, не получится?

— Задача нелегкая, это будет очень длинная дамба, Карл.

— Ничего, преступников хватит.

— А зачем тебе Южный полюс?

— Соорудим там всемирное кладбище. Во всех странах кладбища будут ликвидированы, их перепашут и засеют пшеницей.

— Но на Южном полюсе трупы не сгниют,— возразил я, постепенно теряя терпение.

— Это именно и нужно. Чтобы воскреснуть. Как же ты воскреснешь, если сгнил? Прежде... ну, тогда люди не знали об этом, а теперь есть Южный полюс. Я что-то читал, погоди-ка... впрочем, нет.

— Это действительно удачная идея. И откуда они у тебя только берутся, я бы ни за что не додумался.

— Еще бы! Ты ведь не бывал там, где я. Но ты меня понимаешь, Юрген, ты единственный, кто меня понимает. А знаешь, для тебя тоже

найдется должность. Ну, конечно! Что, если тебе стать председателем всемирного профсоюза? Начальный капитал будет тебе, само собой, предоставлен, кое-что выделю я... но только как задаток.— Он показал на тумбочку у окна.— Там у меня достаточно капитала.

Я знал, что в тумбочке хранилась его одежда узника концлагеря.

— Вот увидишь, я везде понастрою концлагери, везде, и каждого, кто туда попедет, прикажу кастрировать, а на спине выжечь надпись.

— Какую надпись, Карл?

— Ты же знаешь.— Он испуганно огляделся и, вздрогнув, прошептал мне на ухо:— Каждому свое.

— Правильно!— воскликнул я и хлопнул себя по лбу.— Ты же мне об этом недавно рассказывал.

— Недавно? В самом деле? Не говори так громко, они подслушивают за дверью. Даже ночью, когда все спят: а вдруг кто-нибудь заговорит во сне. Но я не выйду из барака.

— Они больше не стоят под дверью, Карл, их больше нет.

— Тсс! Все равно кто-нибудь да подслушивает, если не в черной форме, так в другой. Они только сменили одежду. И оберштурмбанфюрер с ними... впрочем, нет, его убило. Бомбой, как и твоих родителей. А надпись была ведь над воротами? Ну, конечно, над воротами. Такие большие, огромные ворота. В них можно было только войти, но не выйти. Тебе бы там побывать. Над воротами было написано: «Каждому свое». Я читал это каждый день, потому что мы ходили на работу в каменоломню; а когда вечером возвращались, то пели песню... Что же мы пели?.. А, вспомнил: хорал, его сочинил оберштурмбанфюрер. Ловкий был парень, на все руки мастер. И стихи сочинял и музыку. На обратном пути мы всегда пели хорал... Начинался он так: «Адольф Гитлер ниспослан богом, аллилуйя, его министры — двенадцать апостолов». Затем надо было пропеть «аллилуйя» двенадцать раз. Красивая песня, Юрген, очень красивая, но под нее плохо маршировать. У ворот нам приказывали задрать головы... наверху — метровые буквы... Кто не поднимал, того вздергивали на крюк. Над воротами...

— Ладно, Карл,— прервал я его... Господи, только бы перестал, я уже слышал все это тысячу раз.

— Юрген, по команде «Смотри вверх!» мы поднимали голову, а по команде «Три-четыре!» читали вслух: «Каждому свое». Громко.

Наконец-то Рози принесла кофе. Она улыбнулась мне и сказала:

— Папе сегодня опять лучше, это потому, что ты пришел, при тебе он веселее. Приходи почаще. Сегодня он читал газету. Понимаешь?.. Как только найдет что-нибудь про убийства и войну, говорит: «Австралия». Когда читает про Америку, говорит: «bye-bye» *, если про Россию — «нет», а если про Францию, то произносит мое имя.

— Твое имя? Не может быть!

— А что? Это же вполне естественно.

— Чего вы там шепчетесь за моей спиной, вечно у вас секреты,— крикнул Карл.— Господи, о господи, что за молодежь! Но у вас ничего не получится, поняли? Рози выйдет замуж за нового президента Европы.

— Пап, я думала, что президентом Европы станет дядя Юрген.

— Нет, он недостаточно красный.

— Вот как? Так пусть покраснеет побольше, это и не плохо и не сложно.

Карл Боровски уже не слушал, что говорила дочь. Склонившись над бумагой, он рисовал черное пятно и проводил по нему белые полоски.

Я не спеша попивал кофе и был доволен, что Карл молчит. Слава богу.

---

* Скороговорка, означающая по-английски «До свидания».

Время от времени у него капало из носа. Капли падали на бумагу, и он размазывал их вместе с краской.

Вошла Вероника и включила телевизор.

— Курс кройки и шитья для домохозяек,— пояснила она.

— Чему тебе учиться, ты и так все умеешь,— сказал я, искренне восхищаясь ею.

— Благодарю. Я только кажусь такой рядом с мужем. Он стал совершенным идиотом, Юрген. Вчера был трудный день, он хныкал без конца. Посылали за тобой, но у вас дома никого не было. Разве Ингеборг в Дортмунде?

Пришлось рассказать ей обо всем, что произошло со мной за последнее время, начиная с той полуночной встречи. Не упомянул я только о темном переулке в Дортмунде, куда я завернул под конец,— тут она не поняла бы меня. В остальном же ничего не скрыл.

Вероника взглянула на Карла — тот заснул над своими рисунками.

Рози рассмеялась:

— Какой ужас! Дядюшка Юрген на скользкой дорожке! Вот это да! Я начинаю проникаться к тебе почтением. Скажи, она хорошенькая? Как ее фамилия — Поленц? Ах нет, это фамилия десятника. Выходит, ты не знаешь ее фамилии. Жалко.

— Помолчи ты, девчонка!— прикрикнула на дочь Вероника.

— Что такое?— встрепенулся Карл.— Прибыли президенты?— Он растерянно оглянулся по сторонам. Из угла его рта стекала слюна. Вероника вытерла ему губы.— Разве их еще нет? Чертова погода, наверно, не могут приземлиться. Господи, о господи.

— Что же ты теперь собираешься делать?— спросила меня Вероника.

Она все еще была красива. Есть такие женщины, которые, несмотря на трудную жизнь, не теряют с годами привлекательности.

Во время войны Карл писал в шахте мелом на вагонетках: «Да здравствует Москва! Гитлер — грязная свинья!» Карл никогда не был коммунистом, но он не выносил Гитлера. Терпеть не мог коричневых.

Он настолько увлекся своим занятием, что перестал обращать внимание на предупреждения тех, кто знал автора надписей. Карл только посмеивался: надо же как-то вытравлять коричневый цвет. Через две недели после появления первой надписи два агента в штатском арестовали его прямо в раздевалке. Ему разрешили помыться — а то еще испачкал бы сиденье автомобиля, в котором его увезли,— съесть бутерброды и допить кофе. Брать с собой фляжку запретили: один из агентов сказал, что Карлу она больше не потребуется.

О нем долго ничего не было слышно, попытки Вероники навести справки оставались безуспешными: всюду, где она обивала пороги, только с сожалением пожимали плечами. А Карл тем временем сидел в городской тюрьме в Амберге. Позже его перевели в концлагерь, над воротами которого были укреплены метровые буквы. Все это произошло без суда и следствия.

Незадолго до окончания войны он вернулся. Еще до ареста его тело было покрыто черно-зелеными рубцами — следами шахтерской работы. Но после концлагеря оно выглядело так, будто по нему молотили цепом. У Карла появились странности: каждую неделю он разрабатывал новый план завоевания земного шара и точное расписание побед пролетариата. Как-то я сказал ему, что пролетариата больше нет и что рабочий, если его назвать пролетарием, обижается, ибо у каждого рабочего сейчас есть приличная квартира, а вскоре будет и автомобиль. Карл был поражен.

— Разве больше нет бедняков?— спросил он.

— Конечно есть,— ответил я,— но об этом нельзя говорить вслух. Профсоюзам и предпринимателям такие разговоры не нравятся.

— И бесправных тоже нет? — поинтересовался он.

На это я не знал, что ответить.

А иногда Карл разговаривает вполне нормально, и я начинаю сомневаться, болен ли он на самом деле. Затем опять наступают дни, когда он топает ногами, кричит, валяется по полу и вздрагивает всем телом, словно его бьют. Потом неделю-другую почти ничего не ест и не пьет, только лежит и часами рыдает без слез. Но самое страшное — это когда он молится, ибо его молитвы — ругательства и проклятья... Слушать его нет сил. Карл по нескольку часов стоит в углу комнаты на коленях и монотонно бормочет:

— Милый боженька, пошли нам своего Христа, чтобы знатным господам хоть было кого помучить, а то они нас в покое никак не оставят. Хотят превратить весь народ в христосиков, а мы хотим оставаться людьми и работать. Но выходит не по нашей, а по твоей воле. Выполни хоть разок наше желание, не такие уж мы плохие. Коли ты, милый боженька, посылаешь Гитлера, то тебе нет никакой нужды посылать палачей. И спаси попа, который был со мной в одном бараке. Он собирался сделать из всех нас мучеников, а мы этого не хотели. Мы хотели жить и работать, вернуться домой. Милый боженька, не гневайся на нас за то, что мы радовались, когда попа вздернули на виселицу: он нас всех чуть не свел с ума; после этого наконец-то покой наступил в бараке. Пошли снова на землю Христа, потому что земля стала коричневой и красной, ее надо избавить от ярких цветов, а попам это уже не под силу, они стоят в лакированных башмаках на кафедрах, болтают и грызутся из-за каждой запятой в библии — нужна она или нет. Господи, о господи, сделай меня генеральным директором всех шахт, всех концлагерей и всех ворот, над которыми написано «Каждому свое».

Но такие приступы случались редко, в последнее время их вовсе не было. Это просто счастье для Вероники и Рози, а то они очень страдают, видя, что ничем не могут помочь Карлу. Ложиться в больницу или в приют Карл ни за что не хочет.

— Они меня там кастрируют!— вопит он и прячется на чердаке или под диваном.

Вероника тоже против больницы. Но местные власти уже не раз пытались отправить Карла в психолечебницу. Не удивительно, что в сорок пять лет у Вероники седые волосы. Однажды я посоветовал ей всерьез подумать об устройстве Карла, ведь он проживет еще лет тридцать, потому что, несмотря на концлагерь, организм у него крепкий и сердце совершенно здоровое.

— Знаю,— ответила она.— Можешь не объяснять. Но ведь в жизни рано или поздно за все придется расплачиваться.

На улице снова повалил снег.

— Ты разве не поедешь за Ингеборг?— спросила вдруг Вероника.

— Не знаю. А ты что посоветуешь?

— Советовать? Тебе? И не подумаю. Но попытаться ты должен. Ведь вы ладили друг с другом. Ингеборг всегда была такая спокойная, рассудительная. Не понимаю, как она могла потерять голову от ревности, не поговорив с тобой и ничего не выяснив.

— Ладно, в следующую субботу привезу ее или напишу, что очень жалею о происшедшем.

— Я поеду с тобой! — воскликнула Рози. По-видимому, ей наша семейная ссора казалась комедией. Вероника влепила дочери пощечину. Рози бросилась на кухню.

— Напрасно,— заметил я.— Она уже не маленькая.

— Не твое дело. Глупая девчонка — совсем не умеет себя вести. И нечего за нее заступаться каждый раз.

— Она растет без отца. Надо бы все же делать скидку.

— С ней надо быть построже, и все. А тебе я вот что скажу: заводите-ка с Ингеборг детей, тогда многое будет по-другому. Без детей жизнь пустая.

— Ингеборг говорит, что дети нынче не в моде.

— Ну и что? Живите по старинке, а это сейчас опять модно.

Карл изрисовал уже шестой лист.

— Иногда он за день расходует бумаги на целых две марки,— сказала Вероника.

— Другие тратят по две марки на пиво, не считая сигарет.

— Но и зарабатывают.

— Кто бы жаловался, только не ты. На пятьсот марок пенсии можно жить, да еще при такой дешевой квартире. Я плачу в месяц восемьдесят, а ты — только тридцать пять.

— У нас старый дом.

— Зато площадь больше.

— А у тебя нет детей. Ты не представляешь себе, сколько уходит на Рози и ее учение.

— Есть семьи,— возразил я,— в которых по шестеро детей, и все учатся.

— Ты бы уж помолчал, многосемейный! — рассмеялась Вероника.— Эх, Юрген, что бы мы делали без тебя, совсем бы скисли. Да, чуть не забыла: заходил Бауман. Помнишь, был такой в здешнем комитете ХДС? Кто он сейчас, толком не знаю: не то страховой инспектор Общества по уходу за могилами павших, не то какой-то деятель в Имперском союзе...

— Бауман? Что его принесло? Действительно, он был в комитете ХДС, а когда-то прежде — в окружном руководстве нацистов. Эти типы, хоть на четвереньках, а куда-нибудь да пролезут...

— Дай досказать. Несколько месяцев назад я подала прошение об увеличении пенсии. Сам понимаешь, на учебу Рози уходит куча денег, а Карлу нужна особая диета. Бауман болтал сначала о том о сем и вдруг заговорил о «милости». Я его не поняла, Рози тоже глаза вытаращила. Тогда он пояснил, что пятьсот марок, которые мы получаем,— это милость: ведь, если разобраться, нам не полагается ни пфеннига, поскольку Карл действовал из чистого озорства, а не по политическим убеждениям. Если бы Карл попробовал сейчас написать такое о ком-либо из правительства, его бы тоже арестовали. Надо это учесть и не предъявлять слишком большие требования. По его словам, Карла справедливо арестовали не только по тогдашним, но и по нынешним законам.

— Вот сволочь! — возмутился я.— Неужели ты не осадила его?

— Я только ответила, что пенсию мы получаем не за то, что Карл сидел, а за то, что его сделали калекой. Рози распахнула дверь и сказала: «Выход здесь. Убирайтесь!» Она еще спросила, какая партия послала его — «коричневая, черная или, может быть, его привела к нам совесть?» А потом пригрозила, что подаст на него в суд. Он тут же заюлил, завертелся: ради бога, не надо устраивать шума, им движет только совесть, он просто решил посетить всех несчастных, получающих пенсии в результате таких вот случаев. Он еще раз повторил, что руководствовался исключительно совестью, потому что из-за прошлого, как он считает, пострадали более или менее все — одни морально, другие физически.

— Его совесть! — воскликнул я.— Уж не она ли подсказала ему срубить и сжечь большое деревянное распятие? Когда это было? Кажется, в тридцать четвертом... А что сказал Карл по поводу его визита?

— Не помню... Ах да... Часа через три он поинтересовался, кто приходил, и сказал, что это чудесный человек, надо записать его фамилию, так как нужен еще кандидат на пост министра по вопросам культов в Китае. Мне было совсем не до смеха, но тут и я не выдержала, расхохоталась.

Вероника предложила мне поужинать; это было кстати: дома, кроме хлеба и маргарина, ничего не осталось. Мы перешли в кухню. Карл опять заснул.

— Пусть Рози после ужина приберет у тебя немного.

— Сам управлюсь.

— Не сомневаюсь. Но мне хочется, чтобы ты с ней поговорил.— Вероника подошла ко мне вплотную и настойчиво повторила: — Ты должен с ней поговорить!

— О чем?

— Объясни, кто ее настоящий отец.

— К чему вдруг такая спешка? Мы же договорились, что скажем, когда ей исполнится восемнадцать.

— По уму ей уже все двадцать пять. Пусть узнает сейчас, пока не рассказали милые соседи.

— Ладно... будь по-твоему... хотя я считаю, что еще рано. В общем, мне это не по душе.

— Лучше, если скажешь ты, а не я. Тебя она слушается.

Вероника стала накрывать на стол.

Было уже семь часов вечера, на улице стемнело. Карл не захотел ужинать с нами. Проснувшись, он в седьмой раз принялся рисовать Австралию. Пожалуй, не стоит мешать ему, а то вдруг случится припадок, станет кататься по полу и кричать.

Вероника подала жареную рыбу, оставшуюся от обеда. Когда вернулась Рози — ее посылали за пивом,— мать сказала, чтобы она сходила ко мне прибрать в квартире. Рози хихикнула:

— Ой, молодая девушка с молодым человеком одни в квартире — как бы чего не вышло!

— Хватит дурачиться. Отправляйтесь.

На улице шел пушистый снег. Потеплело. Зимний вечер освещали неоновые рекламы. Рози, как обычно, взяла меня под руку и чуть прижалась ко мне. Только сейчас я заметил, что она на голову ниже меня. Не сговариваясь, мы решили сделать крюк по городу. Около ратуши стоял невероятный шум: десятка полтора парней на мопедах гоняли по улице, приставали к девушкам. Из транзистора ревел голос Криса Хоуленда. Парни табунком рванулись дальше и метров через сто, у сберкассы, резко затормозили так, что задние колеса занесло. Это им доставляло удовольствие. Один из парней окликнул Рози. Я поинтересовался, кто это.

— Из нашего класса,— ответила Рози.— Мечтает поехать корреспондентом куда-нибудь за границу.

— В таком случае ему не следовало бы тратить время попусту.

— Нельзя же день и ночь учиться,— возразила Рози,— да еще когда такой снег.— Она теснее прижалась ко мне.

— Я полагал, что вы не склонны к романтике.

— Дядя Юрген, ну при чем тут снег и романтика?

Мы молча продолжали путь. Хотелось бы прочесть ее мысли. А может, она и не думала в эту минуту ни о чем серьезном, завороженная множеством витрин?

Работать она умела. Это она сразу же доказала, как только мы вошли ко мне в квартиру. Пока я размышлял, с чего начать разговор, она вымыла грязную посуду, убрала на кухне, привела в порядок спальню, перестелила постель и вытерла пыль.

В кухне и гостиной потрескивал огонь, стало уютней. Правда, чтобы побыстрее растопить, Рози истратила целый тюбик мази для натирки полов. Дороговато, конечно — все-таки марка восемьдесят за тюбик, но жалеть не стоит, главное, что в квартире стало тепло. Закончив уборку, Рози устроилась в кресле и уткнулась в книгу.

— Мне надо с тобой поговорить,— начал я.

Она даже не подняла глаз.

— Что ж, валяй. Я не сомневалась, что меня послали сюда не для уборки. Речь пойдет обо мне?

— И о тебе.

— Хватит крутить, дядя Юрген. Выкладывай.

— Речь пойдет о твоем отце.

— О папе?

— Нет, об отце.

Я подошел к креслу и встал позади Рози.

— Значит, тебе известно, что папа не мой отец?

Растерявшись, я невольно положил руку ей на плечо и даже не заметил, как она прижалась к ней щекой.

— Откуда ты это знаешь? — спросил я.— Кто тебе сказал?

— Давно знаю.

— Соседи рассказали?

— Да, но уже после того, как я сама узнала. Посмотрела метрику и сделала кое-какие подсчеты. Целую ночь не спала, гадала — кто мой настоящий отец, а потом бросила думать об этом.

— Ну, знаешь, у меня просто камень с сердца свалился.

— Слишком много церемоний, дядюшка Юрген.— Привстав на колени, она обхватила спинку кресла.— Конечно, хочется знать, кто мой отец... Ты-то знаешь, у мамочки от тебя секретов нет.

— Я его лично не знал, да он и не живет здесь.

— Кто же он все-таки? — Рози опять опустилась в кресло.

— Он француз, был военнопленным, работал в усадьбе, где сейчас опытная сельскохозяйственная станция. Твоя мать тоже работала там, когда отец, то есть Карл, был в концлагере. Ей ведь никто не помогал, пришлось работать. Всех женщин, у которых не было детей, посылали на работу. Ты и не представляешь, какое тяжелое было время. Все голодали.

— Он был красивый?

Я украдкой покосился на Рози. Вот уж не думал, что она так все воспримет. А ведь я полагал, что хорошо знаю ее.

— Кажется, он был очень интересный мужчина. Я его даже в глаза не видел. Я тогда был в Италии...

— Разве мама не знает, где он живет? А Пьер или Луи, как его там зовут, он-то хоть знает, что у него есть дочь?

— Его зовут Гастон и живет он в Ангулеме.

— Где это?

— Недалеко от Бордо.

Она снова принялась перелистывать книгу, изредка поглядывая через открытую дверь на кухню, где я готовил себе бутерброды на работу. Кроме хлеба и маргарина нашлось немного ливерной колбасы.

Рози подошла ко мне и спросила:

— А как воспринял это папа, когда вернулся из лагеря? Ведь мне было уже два года.

— Не обратил внимания. Первые два года Карл жил как тень. Наверно, даже не сознавал, что он больше не в лагере.

— Но почему он произносит мое имя, когда читает в газете про Францию?

— Кто его знает, Рози. Трудно объяснить. Может, случайно. У него многое бывает случайным.

— Не верю я в случайности, вы все недооцениваете папу. Я часто наблюдаю за ним, он понимает больше, чем вы думаете. Он в своем уме и многое знает. Иногда мне кажется, что он только притворяется.

— Ты думаешь?

— Еще вопрос, дядя Юрген: как ты познакомился с мамой, как вы подружились?

— Почему ты не спросишь об этом маму?

— Пробовала, но она ничего не рассказывает.

— Ну, как знакомятся обычно! Перекинутся словом-другим, потом появляется взаимная симпатия и так далее.

Рози допрашивала меня как следователь, проверяя каждый мой ответ.

— Так-так, значит, тоже не хочешь рассказывать. Или, может, забыл?

— Ну да, уже не помню точно.

Конечно, я помнил все, что случилось той ночью. До малейших подробностей. Часто вспоминал во время работы, вспоминал, просыпаясь среди ночи. Я не мог забыть.

— Надо подложить угля в печку,— сказал я.

Рози удержала меня за руки. Глядя снизу вверх, она провела пальцем по шраму на моем лбу.

— Разве это с войны? — спросила она.— Мама говорила, что ты вернулся невредимым.

— Она хотела сказать, что не инвалидом. . .

Я прошел в гостиную, попросил Рози сварить кофе и наполнить фляжку.

— Успеется,— сказала она.— Сначала ответь. Раз уже начал, то давай до конца.— Она снова уселась в кресло и стала перелистывать книгу.— Ну, я слушаю.

И я рассказал, как познакомился с ее матерью.

■

— Это случилось вскоре после войны, тебе тогда было три года. Все голодали, настроение было подавленное. На фирму, где раньше я был конторским учеником и мечтал стать прокуристом, я не вернулся. Поступил на шахту. Отец с матерью погибли во время бомбежки в Дортмунде. Рухнули стены.

Горняков тогда называли становым хребтом нации. Сейчас, правда, мы всего только копчик, но тогда были хребтом, этого не отнимешь. Нас обхаживали, мы получали по карточкам самые большие пайки, молоко, специальные пакеты с продуктами, сигареты, шнапс. А пять тонн причитавшегося нам угля стоили больше пяти тонн крупных ассигнаций. По тем временам горнякам жилось очень хорошо, нам все завидовали. Разумеется, о шахтерской работе никто не упоминал — говорили только о том, что мы получали. По сравнению с другими рабочими шахтерам жилось лучше всех. Не представляю, сколько я получал бы в конторе. Даже ни разу не поинтересовался, возьмут меня назад или нет. В свое время я добровольно ушел оттуда, потому что мне не терпелось надеть мундир и сразиться за фюрера, народ и отечество. О том, что этот мундир запятнан позором и кровью, я узнал позднее, когда уже просидел несколько месяцев за колючей проволокой в плену.

Случилось это в зиму с сорок шестого на сорок седьмой год, тогда я тоже работал в ночную смену, кажется, это было в феврале сорок седьмого, но я могу и ошибиться, ведь столько лет прошло. Кругом голод, спекуляция, драгоценности меняют на хлеб. Здесь было много

поляков, которых миновал Освенцим. Они размещались в бывшем лагере для восточных рабочих. Не работали, но имели все, имели столько, что за масло и хлеб скупали у населения кольца, браслеты, часы.

Мне часто приходилось работать в ночную смену. Если подсчитать, то, пожалуй, из каждых четырех смен три я работал в ночную.

Как и сейчас, я ездил тогда на велосипеде вдоль шахтной железнодорожной ветки. Был у меня старый карбидный фонарь, его подарил мне сосед, а карбид я доставал на шахте. Тогда мы всё доставали на шахте — гвозди, доски, смазочное масло, медные обрезки. Выносили под полой, опыт-то ведь был, армия и плен оказались в таких делах хорошей школой. Надо было жить, каждый выкручивался, как мог. А кто в те времена не воровал? Начальство тащило по-крупному, грузовиками, а мы по мелочам, да и то дрожа от страха.

Да, беспокойное было время. Некоторые восточные рабочие не желали возвращаться домой. Они, да и немцы тоже, часто занимались грабежом. Мы, шахтеры, ездили поэтому на работу только группами, человек по пять, по десять. У каждого при себе был нож. Но однажды ночью я поехал один. Кстати, в те времена за насыпью рос небольшой лесок, он простоял до угольного кризиса. Потом его вырубили, расширили территорию шахты. Теперь там горы штыба. Так вот, как добрался я до того места, где недавно повстречал жену Поленца, мне вдруг показалось, что на дороге мелькнула тень и скрылась за насыпью. Немного погодя из леса — а может, откуда и подальше — донесся крик. Голос был женский, это я точно расслышал, так пронзительно может кричать только женщина, напуганная до смерти.

Я спрыгнул с велосипеда. Моросил дождь. Земля промерзла и от дождя тут же покрывалась скользкой ледяной коркой. По правде говоря, я и сейчас не знаю, почему остановился. Может, испугался — не помню. Короче, стою, затаил дыхание. И ясно слышу крики: «Спасите! Спасите!» Женский голос.

С войны у меня остался складной нож. Я сумел сохранить его даже в плену, несмотря на обыски. Выхватил его из кармана, раскрыл и, как сумасшедший, бросился вверх по насыпи. Наверху между рельсами остановился: соображаю, куда двинуться. Слышу опять крики, еще громче, отчаяннее.

Бросаюсь через лес, напролом, спотыкаясь на каждом шагу. Было страшно, даже нож в руке не избавлял от страха. Признаться, сейчас я думаю, что тогда меня подгонял только страх. В темноте с разбегу наскочил на дерево, упал оглушенный, поднялся и опять побежал на крики.

Услышав иностранную речь, я насторожился. А женщина все стонет.

Они заметили меня раньше, чем я их; вероятно, я орал во всю глотку, чтобы женщина услышала меня. Двое прыгнули ко мне, но я увернулся. Один проскочил мимо, а другого я, наверно, задел ножом; он заскулил как собака и побежал из леса к дороге. Темно, кроме теней, ничего не различишь — что дерево, что куст, что человек, одни тени.

Тот, что проскочил мимо, снова кинулся на меня. Но я уже был наготове и двинул его изо всей силы в пах. Сапоги на мне были солдатские, редко я слышал, чтобы мужчина так орал от боли. Тут я заметил две тени: мужчину, навалившегося на женщину. Видно, он хотел ее изнасиловать. Полагаю, что иначе он не стал бы срывать с нее одежду. Я схватил камень — как он мне подвернулся ночью в лесу, на мерзлой земле, не знаю. В общем, камень был у меня в руке, и я со всего размаху ударил им насильника по затылку. Услышал только хруст, будто стекло раздавили. Ужас.

Тот, кому я двинул между ног, опять бросился на меня, но женщина — она все еще лежала на земле — успела крикнуть: «Берегись!»

Я хотел ударить его еще раз, но он сбежал. Ночь поглотила его. Другой, которого я стукнул по голове, не шевелился.

Женщина с трудом поднялась. Я не мог ей помочь, выдохся вконец.

— Спасибо,— сказала она.— Вы подоспели в последнюю минуту. Свиньи, какие свиньи! Разве это люди?

Это была твоя мать.

Мне надо было спешить на работу, а ей поскорее уйти. Кто знает, может, в лесу были еще бандиты, а, может, первый побежал за подкреплением?

Вот как это было.

Недели через три в мясной лавке я встретил твою мать. То есть я, конечно, не знал, что это — та самая женщина. Когда я заговорил с продавцом, она пристально посмотрела на меня и вышла. Дождавшись меня на улице, она сказала:

— Я вас узнала по голосу.

Я проводил ее. Вот тогда я увидел впервые тебя и Карла. Теперь ты знаешь все: и как мы с твоей мамой познакомились и почему дружим.

Рози долго молчала. Пока я рассказывал, она ни разу не шевельнулась.

— А почему мама так поздно очутилась в лесу? — тихо спросила она.

— Очень просто. В тот день она пошла к родителям Карла. Хотела кое-что выменять в деревне, а заодно подыскать работу, чтобы больше получать по карточкам. Тебя она отвела к соседке. Карла можно было оставить одного, но доверить ему тебя мать не рискнула. Вероника задержалась допоздна и, хотя ее отговаривали, решила вернуться домой. Чтобы сократить путь, она поехала по дороге вдоль шахтной ветки. Там ей повстречались трое мужчин. Они шли и насвистывали. По мелодии мама догадалась, что это иностранные рабочие. Сначала они прошли мимо, но потом вдруг повернули, бросились на Веронику и потащили ее в лес. Кричать было бесполезно — до ближайших домов два километра; да и кто выйдет ночью на дорогу, зимой. Случайно там оказался я.

— Вот как, значит, это было,— произнесла Рози. Она встала и заходила по комнате из угла в угол.

— Да, вот так. А теперь приготовь-ка мне кофе, раз уж ты здесь, потрудись.

Вдруг она подскочила ко мне и, барабаня кулаками по моей груди, закричала:

— А мужчина? Тот, что валялся на земле? Он умер?

— Мужчина?

— Ну да! Что с ним, ты его убил?

— Не знаю, Рози. Надеюсь.

— Что?! Что ты за человек! — И, заметив мой недоуменный взгляд, она тихо добавила: — А что за человек был он? О других ты, значит, не думаешь?

— В то время каждый думал только о себе. А я подумал еще и о твоей матери.

Она пристально посмотрела на меня:

— А если бы ты знал, что убил его, ты пошел бы с повинной в полицию?

— Нет! Можешь падать в обморок: нет и еще раз нет! На войне мы видели вещи пострашнее, людей убивали просто так, ни за что. Такова жизнь...

Эта девочка довела меня до белого каления. Будь она мне дочерью, я бы уже съездил ей по мягкому месту.

Неожиданно Рози расплакалась. Бросилась ко мне, обняла за шею и принялась плакать, плакать.

Я дал ей выплакаться.

Так же неожиданно она поцеловала меня.

Я вытащил из чулана велосипед и поехал на работу.

В зале собралось семьсот горняков. Уже при входе я почувствовал, что атмосфера накалена. Над собравшимися сизой тучей повис табачный дым. Царила странная для производственного собрания тишина — обычно перед отчетными докладами и сообщениями специалистов стоял гул, как в турбинном зале.

Но сегодня семьсот горняков будто набрали в рот воды.

Слышалось только сдержанное покашливание да робкое шарканье ног. То тут, то там вспыхивала спичка. Кельнеры в белых кителях неслышно сновали меж столов. Молчал даже музыкальный автомат в баре перед входом в зал. А ведь обычно его без конца заводят те, кто презирает такие собрания, утверждая, что толку от них все равно никакого.

Усевшись на свободное место за одним из длинных столов в середине зала, я спросил у соседа, отчего сегодня так тихо, даже как-то не по себе становится. Он молча приложил палец к губам.

Шахтеры оделись по-воскресному. Многих можно было узнать разве что по голосу. Мы не привыкли к праздничным костюмам. Курильщики вместо трубок и сигарет посасывали тридцати-сорокапфенниговые сигары. Женатые почти все нацепили обручальные кольца. Кое-кто даже потягивал вино вместо пива. В воскресенье горняки жили по принципу: лопни, но держи фасон.

Что же, собственно, произошло? Тишина тревожная. Непривычно большое число собравшихся свидетельствовало о том, что надвигается гроза. По посещаемости собраний можно судить о положении на шахте: много пришло народу — дела плохи, мало — значит, все благополучно. Когда разразился угольный кризис и шахтеры стали получать уведомления об увольнении, зал собраний не мог вместить всех желающих; потом, когда стало легче, из трех тысяч человек являлось только сто — сто пятьдесят. В основном это были те, кто искал предлога улизнуть из дома в пивную, не вызывая упреков жены.

До открытия собрания я успел выпить три кружки пива. Наконец поднялся председатель производственного совета. Он попросил нас встать, чтобы почтить память товарищей, павших жертвами несчастного случая или скончавшихся от полученных травм. Не могу понять, почему каждый раз устраивают этот спектакль. Ведь в минуту молчания, ей-богу, никто не думает ни об умерших, ни о собственной смерти. Да и зачем думать? В шахте погибают без причастия, единственное милосердие — мгновенность смерти.

После того как председатель зачитал отчетный доклад, я почувствовал, что дело неладно. Сегодня 7 апреля, первый квартал закончился всего неделю назад. Странно! Члены производственного совета и служащие конторы не так уж сильны в математике и статистике, чтобы за шесть дней подвести итоги квартала. С другой стороны, цифры приведены вроде бы верные.

В зале по-прежнему тишина. Кашляют осторожно, прикрывая рот платком. Одни сидят, уставившись на президиум, другие разглядывают сквозь дым потолок, третьи с повышенным интересом наблюдают за тающей в кружках пеной.

Число несчастных случаев в нашей шахте, отметил докладчик, несколько превысило среднюю цифру по всей Рурской области; добыча угля за смену возросла на 80 килограммов на каждого горняка; в предстоящем отпускном сезоне опять предвидятся поездки в Верхнюю Баварию и в Тевтобургский лес. Снова нас строжайшим образом предупреждают, чтобы мы не продавали на сторону свой «угольный паек»; если кто не использует его, может сдать шахте по 40 марок за тонну. Учитывая, что за последнее время отмечались случаи, когда шахтеры продавали свой уголь посторонним лицам, дирекция оповещает: отныне будут устраиваться периодические проверки, и всякое нарушение инструкции повлечет за собой немедленное увольнение.

В зале послышался ропот.

Затем выступил представитель фирмы, у которой наша шахта приобрела сотню отбойных молотков. Четыре лавы уже оснащены ими. Представитель толково разъяснил, как надо обращаться с инструментом, и подчеркнул огромное значение этих молотков. Семьдесят процентов рудничной пыли, сказал он, смачивается благодаря вмонтированному в молоток пневматическому оросителю. Таким образом, опасность заболевания силикозом значительно снизится. Новый молоток можно сравнить с аппаратом Шмидта, который уже много лет с успехом используется в подготовительных выработках.

— А силикоз еще существует! — выкрикнул кто-то.

Докладчик, не обратив внимания на реплику, спокойно закончил речь, начиненную множеством технических терминов.

Председатель поблагодарил его за «содержательные сведения и разъяснения», хотя большинство слушателей ничего или почти ничего не поняло. Ну и что ж: докладчик получил свой гонорар, а мы — полагающуюся по программе лекцию специалиста.

Один из членов производственного совета объявил следующий пункт повестки дня: «Разное». Он предупредил, чтобы выступали только с «дельными» предложениями, которые могут принести «настоящую пользу» предприятию и шахтерам. А что под этим подразумевается, он не пояснил. Значит, любое предложение могло быть «дельным и полезным». В зале опять зашумели. Все поспешили допить пиво и тут же заказали еще. Кельнер получал деньги сразу, не делая отметин на подставке. Поэтому я не знал, сколько выпил. Кажется, немало — мысли и язык ворочались медленнее.

Но вот поднялся Эвальд Тюллер. Он был бригадиром в лаве Рётгерсбанк, где работало двадцать восемь забойщиков с этими самыми новыми молотками.

— Что происходит с нашими заработками? — спросил Эвальд.— Мы не знаем, сколько получим за март. Сегодня седьмое апреля, а штейгер ничего не говорит. Ссылается на то, что ведомости еще не утвердил управляющий. Я и мои товарищи хотим знать, сколько мы заработали в прошлом месяце. Это наше законное право, и я не понимаю, почему заработок надо сначала утверждать...

— Заработки всегда сначала утверждаются! — прервал его управляющий.

— Ого! — откликнулись в зале.

— Ничего не имею против,— спокойно продолжал Эвальд Тюллер,— но мы хотим знать, сколько заработали в прошлом месяце. Это наше законное право. Задержка, видимо, из-за этих молотков с оросите-

лями, про которые нам здесь только что говорили, будто это не молотки, а чудо.

— Ближе к делу! — перебил его управляющий. Он поднялся, как бы из вежливости, но на самом деле, наверно, хотел рассмотреть выступавшего. Никогда не угадаешь, что у Очкастого на уме.

— Давай, Эвальд! — подбадривали из зала.— Выложи им все...

— Тихо! — одернули из президиума.

— У нас,— продолжал Эвальд,— в прошлом месяце двадцать восемь часов не было воды. Это значит три с половиной смены. Будет ли оплачен простой?

— А при чем тут вода? — прервал его управляющий.

— То есть как при чем?! — возмутился Эвальд. Даже сквозь клубы дыма было заметно, как он побагровел.— Вы не хуже нас знаете, что молоток работает только при одновременной подаче воды и воздуха. Без воды он не действует. Значит, вина не наша. А штейгер заявил, что он не признает вынужденного простоя.

За председательским столом оживленное перешептывание. Слово взял управляющий:

— Ваши данные о двадцати восьми часах или трех с половиной сменах не верны, тут я вижу подвох. Вы сами сказали, что эти часы набрались за весь месяц, следовательно, на каждую смену приходится от одного до двух часов. Во время простоя вы могли делать что-либо еще— поверьте, уж я в этом разбираюсь,— можно было, например, заняться креплением или другой работой, для которой молотки не обязательны.

Разглядев Тюллера, он сел: на этом его вежливость иссякла.

— Неверно! — воскликнул Эвальд.— В том-то и дело, что мы не могли заниматься другой работой. Воду не подавали либо в начале смены, когда надо рубить уголь, либо в конце, после крепежных работ, когда полагается обрубать выступы в кровле.

В зале одобрительно загудели. Послышались выкрики, топанье.

— Чепуха! — вскричал управляющий.— Ребячество, а не серьезный разговор! — Правой рукой он придерживал очки, а левой рубил воздух.

Напряжение, сдерживаемое больше часа, выплеснулось наружу. Поднялся страшный гвалт. Члены производственного совета вскочили с мест и, надрываясь, призывали к тишине.

— Заткнитесь! — отвечали им.— Вы только пресмыкаетесь перед шефом да пьянствуете с ним втихомолку!

— Тихо! Успокойтесь!

Никто не слушал. Мой сосед крикнул:

— Ничего себе производственный совет, который не поддерживает горняков! Вот, оказывается, кого мы выбрали!

Топот. Свист. Гогот. Крики кельнерам: «Еще пива!»

Наконец Эвальд смог продолжать:

— Друзья, то, что здесь обсуждается, требует спокойного делового подхода...

— А разве управляющий говорит по-деловому? Или наши чистюли, члены производственного совета? Да они же пьют с шефом! Разве они посмеют сказать против него хоть слово? Он их всех купил за бутылку пива!

Я не знал, кто это крикнул, но реплика встретила шумное одобрение. Мой сосед надрывался:

— Члены производственного совета — дурачье! Дурачье...

— Управляющий сказал, что мы ленимся...— продолжал Эвальд.

— Морду ему за это расквасить! — послышался призыв.— Всыпь ему!

— Я считаю, господин управляющий,— Эвальд сохранял спокой-

ствие, и в зале стало тихо,— я считаю, что любую новинку надо как следует опробовать, прежде чем внедрять. У новых отбойных молотков не должно быть «детских болезней», эти болезни лишают нас заработка. В конце концов никто не вправе требовать, чтобы новинки испытывались за наш счет. Ведь шоферу разрешают выезд, только если машина в полной исправности. Но раз существуют правила для улицы, то для работы под землей они еще нужнее, черт возьми! Мы не подопытные кролики!..

— Дураки — вот мы кто! — рявкнул сосед.— Набитые дураки, все терпим да терпим.

— Мы благодарны,— продолжал Эвальд,— за каждый механизм, облегчающий труд и сохраняющий здоровье. Но не такими средствами. Мы не согласны оплачивать испытание новых машин из своего кармана...

— Почему мне не доложили об этом? — резко спросил управляющий. Он не встал, потому что любопытство его было уже удовлетворено.

— Не доложили?! — крикнул задетый Эвальд.— Да мы каждый день говорили о безобразии с молотками и штейгеру, и дежурному технику, и старшему штейгеру. Но если правда, как говорят, что шахта будет платить за молотки, только когда их опробует, то все ясно. Ясно, что платить за эту доводку должны мы. И не удивительно, господин управляющий, что вам не доложили — ведь вы сами отдали распоряжение...

— Кто распускает эти слухи? Кто? Отвечайте за свои слова!

— Кто? Да все говорят — в шахте, на улице, в лавках. О таком зря не стали бы болтать, дыма без огня не бывает.

— Я это расследую,— заявил управляющий. Считая разговор исчерпанным, он потянулся за пальто к вешалке, стоявшей позади президиума.

— Это ваше дело! — повысил вдруг голос невозмутимый Эвальд.— Но мы хотим знать о наших заработках, мы имеем на то право. Нас интересуют деньги, а не ваши расследования. Давно известно, какой от них толк: виноват всегда шахтер!

— Я не допущу вымогательств! — рявкнул управляющий и ударил кулаком по столу.

— Никто не собирается у вас вымогать, мы только отстаиваем наше право, и все. Мы не собираемся дарить вам ни одного пфеннига и знаем, что вы не подарите нам даже сотой доли его. Мы не хотим быть подопытными кроликами. Спору нет, молотки эти хороши — когда действуют. Но в том-то и дело, что они не действуют, во всяком случае не настолько действуют, чтобы с их помощью мы могли прилично заработать. Распылители постоянно засоряются, водяные шланги никуда не годны — рвутся и дают течь, как только на них упадет кусок угля, да и вентили выскакивают. В конце концов, здесь шахта, а не ярмарка с силовыми аттракционами...

— Надо осторожнее обращаться с техникой,— прервал его управляющий.

— Осторожнее! За письменным столом все выглядит иначе, ерунду городите...

— Я не допущу оскорблений...

— Это не оскорбления, а сущая правда.

В зале раздался хохот. Все орали, стараясь перекричать друг друга. Стучали по столам, топали.

— Бастовать! — кричали в одном конце зала.

— Заткнитесь, идиоты! — отвечали в другом.

— Долой их! — донесся чей-то звонкий голос.

В ту же секунду в баре запустили музыкальный автомат, и — то ли

случайно, то ли кто нарочно выбрал эту пластинку — певец сердито пробасил: «Детка, ты сошла с ума»...

Члены производственного совета безуспешно пытались навести порядок. Больше всех бушевали те, кто вообще не имел отношения к новым отбойным молоткам и, стало быть, не пострадал в смысле заработка. А забойщики, от имени которых выступал Эвальд, спокойно потягивали пиво.

Через несколько минут гомон начал стихать.

Тут поднялся Кристоф, старый горняк, проработавший на шахте лет сорок, степенный, всеми уважаемый человек. Он заговорил тихо, и в зале сразу успокоились.

— Перед рождеством задавило Германа Байля. А почему? Потому что вагонетки не вытягивают, а толкают в штрек, причем никто не идет впереди, как того требует инструкция. Вечная наша халатность. На тягу переходят, когда появляются горные инспектора, которые заблаговременно извещают о своем визите. К тому же наше начальство знает, куда желают пойти господа инспектора. Как только инспекция ушла, все опять как было. И я спрашиваю вас: неужто у нас на шахте человеческая жизнь ценится так дешево, почему начальство позволяет себе нарушать технику безопасности, лишь бы в порядке была бухгалтерия и добыча? О правилах безопасности много говорят, да только не всегда их выполняют... в том числе и мы сами.

— Погоди! — прервал Кристофа кто-то из членов производственного совета.— Водители электровозов получили категорическое указание вытягивать поезда в штрек. Так почему же они не выполняют его? Почему толкают вагонетки? Потому, что так легче, не надо долго маневрировать. Потому что, если делать по инструкции, надо потрудиться!

— Чепуха! — крикнул я, вскакивая с места. Это получилось настолько неожиданно, что я сам испугался собственной выходки. Сквозь сизый туман на меня уставились глаза — любопытные и удивленные.— Брехня! Каждый дрожит за свое место. Надеется, что если станет угождать штейгеру, то не будет повода выгнать его с шахты или перевести на более тяжелую и менее выгодную работу. Вот почему нарушаются инструкции...

Я чувствовал себя отвратительно, к горлу подступила тошнота, мучила изжога от пива. Хотел было сесть, но в зале раздались голоса:

— Давай еще!

— Скажи все!

— Дай им прикурить!

И я продолжал, чувствуя, как хмель бродит в голове:

— Каждый из нас может выбрать одно: либо молчать и приносить домой получку, либо возмущаться. Нам очень хотелось бы возмущаться, потому что не возмущаться существующими условиями нельзя. Но мы держим язык за зубами: деньги-то зарабатывать надо. Мы хотим жить, и жить хорошо. В каждом из нас скрывается маленький бунтарь, но бунтари в нашей стране перевелись, их встретишь теперь разве что за столиком в пивной или в газете. Мы ничего больше не решаем сами, все решают налоги. Кому не хочется иметь квартиру? А еще лучше — собственный домик? С садиком или, на худой конец, с балконом. А уж если сад, то с лужайкой, как у генерального директора. На полу, в комнатах, ковры — почему бы и нет? — линолеум слишком прохладен. Хочется иметь телевизор — футбол-то смотреть мы любим. Нужна и стиральная машина — наши жены тоже работают, чтобы приобрести все эти вещи, и не торчать же им субботу и воскресенье у корыта? Ну, и венец всему — машина. Тот, кто ездит на работу на велосипеде, либо идиот, либо пролетарий, а пролетариев теперь не осталось, их ведь уничтожили еще в третьем рейхе...

Я залпом осушил кружку пива. Это была самая длинная речь в моей жизни. Не будь я под мухой, никогда бы не произнес этих слов, да еще на многолюдном собрании. Но на сердце у меня сразу стало легче: прорвалось копившееся годами озлобление. Конечно, я был пьян, иначе ни за что не решился бы. Когда же, как не под пьяную руку, высказать все, что наболело?

Вопреки моему ожиданию аплодисментов не последовало. В ответ на мою путаную пьяную речь послышалось ворчание и приглушенный смех. Кто-то даже призывал заткнуть мне глотку. Но я уже завелся. Шлюзы, долго сдерживавшие во мне протест и возмущение, внезапно открылись с помощью нескольких кружек пива. Я не мог не высказаться, какая-то сила толкнула меня на это. Что бы мне ни угрожало, я был обязан выпалить все в лицо этим дрожавшим за свое благополучие трусам — и за столом президиума, и в зале. Я даже слегка прослезился — из-за пива, конечно.

— Вот поэтому-то мы и не рыпаемся. Мы уже не бунтуем, хотя этого требует долг человека и рабочего. Мы требуем, протестуем и поднимаемся на борьбу только по указке профсоюза, даже если сами не видим на то причины. Но профсоюз знает ее, и точка, он определяет, когда нам надлежит быть недовольными, и лучше нас видит, когда наше терпение истощается. Горе, если один, два, пять или десять человек возмутятся какой-либо несправедливостью или непорядками на производстве. Тут уж профсоюз наносит нам удар в спину; еще бы, он считает, что такая стихийная забастовка незаконна, а незаконная забастовка есть несправедливость по отношению к обществу. Вот так-то!

Теперь меня вдруг сразу поддержали. Все наперебой стали кричать, что я верно сказал и что надо хоть раз выложить им правду-матку!

Члены производственного совета — их было шестеро — разом вскочили с мест, заорали, замахали руками.

— Предатель! — бросил мне председательствующий.

Горняки в карман за словом не полезли:

— А ты кто? Вылизываешь задницу начальству!

Какой-то член совета крикнул, что меня надо исключить из профсоюза, таким типам, как я, нет места среди сознательных рабочих. Я, мол, подрываю профсоюз, являюсь в нем инородным телом. Мне бы, дескать, благодарить профсоюз за то, что я имею работу и отпуск, а не наносить предательский удар в спину. Председательствующий отчаянно тряс парламентско-коровьим колокольчиком, словно от этого зависела судьба государства.

Наконец, тишина восстановилась.

Все уселись. Остались стоять только я и председатель. Не повышая голоса, он заявил, что мое выступление выходит за рамки рабочего собрания, что это анархизм в наихудшем виде. Я кляузник и вдобавок, кажется, пьян. А цель у меня, дескать, только одна: возмутить спокойствие и сорвать с трудом достигнутый на нашем предприятии социальный мир.

Члены совета и управляющий зааплодировали. Семьсот шахтеров молча продолжали потягивать пиво и воскресные сигары.

— Его наверняка подослали из восточной зоны! — пропищал чей-то голосок. Все расхохотались. Послышались возгласы:

— Продолжай, Юрген!

— Вправь им мозги!

— Давай, жми!

Я был пьян, ненавидел Очкастого, презирал членов производственного совета и проклинал свою работу. Но особенно я презирал членов совета, которые пьянствовали с начальством и доносили ему все, чем делились с ними слепо доверявшие им шахтеры. Кроме того, я опьянел от

собственной речи. Моя смелость возрастала пропорционально количеству выпитого пива и слов, которые я выкрикивал в клубы табачного дыма. И поэтому я продолжал:

— Мы позволяем издеваться над собой потому, что печемся о материальном благополучии. Пообещай нам кто в конце месяца сумму, гарантирующую полную обеспеченность до конца жизни, мы позволим выпороть себя розгами. Мы помалкиваем, даже когда начальство обзывает нас дерьмом и идиотами, будто так положено. Не понимаю, неужели нельзя разговаривать иначе? Мы ругаемся друг с другом на потеху тем, кто наживается на нашем труде. Да, нам приходится зарабатывать деньги. Но чем больше мы зарабатываем, тем больше тратим и тем больше мельчает в нас Человек, тем больше уродуется наш характер, тем больше вылезает из нас зверь. Мы продаем наше человеческое достоинство за деньги. Наши отцы и деды считались врагами государства, потому что они боролись за то, чтобы рабочий стал Человеком! А чем занимаемся мы? Продаем наше человеческое достоинство и распускаем уши, когда нас уверяют, что «рабочий — любимое дитя демократии». Но ведь это говорится только во время предвыборной кампании! А как к нам относятся между выборами? Вот увидите, до чего мы еще докатимся, если все будет по-прежнему. Пропиваем мы нашу демократию...

Что тут началось! Настоящий содом. Каждый старался перекричать соседа, ничего нельзя было разобрать. Я заметил сквозь дым, что управляющий вместе с некоторыми членами совета покинул зал. За ними последовал представитель фирмы, поставляющей новые отбойные молотки. В полутысячном хоре смешались голоса протеста и одобрения.

— Сволочь! — выпалил кто-то мне в лицо.

Тут же подбежал другой и хлопнул меня по плечу:

— Молодец!

Говорить мне больше не дали, хотя я и порывался. Товарищи обиделись на меня за то, что я им сказал в глаза правду, которой они не желали знать. Никто не любит, когда ему наступают на старую мозоль привычек и косности. Я сообразил это, даже будучи сильно пьян.

Голова раскалывалась, боль судорожно стискивала череп от затылка к вискам. К горлу подкатывалась тошнота.

Вдруг чьи-то крепкие руки потащили меня от стола, хриплые глотки выплевывали вслед ругательства. Меня проволокли мимо стойки в баре, через фойе и, наконец, спустили по лестнице на тротуар. Покачавшись секунду на ногах, я грохнулся плашмя в мокрое снежное месиво.

Не знаю, сколько я провалялся. Сначала даже показалось приятным лежать и не ораторствовать. Затуманенным взором я видел, как шахтеры переступали через меня, слышал их громкий смех. Какая-то женщина кричала с другой стороны улицы, требуя, чтобы меня подняли, а не то я еще помру. Но проходившие мимо меня мужчины возражали ей, говоря, что пьяной свинье полезно полежать в снегу для протрезвления. Наконец я с трудом поднялся. Ни один человек не заговорил со мной. Некоторые смеялись и бросали мне вслед снежки, когда я, шатаясь, брел по улице.

У аптеки я повстречал четверых шахтеров. Их лица были мне знакомы: на большой шахте, как правило, знают друг друга только в лицо, редко по имени. Они потащили меня в пивную, усадили за столик и стали угощать пивом, как будущего члена производственного совета.

Они пили за мое здоровье и наперебой разъясняли мне, что и как будет сделано, чтобы на следующих выборах в производственный совет я прошел большинством голосов. Они уверены, что уж я-то сумею постоять за себя и никогда не стану гнуть спину перед начальством и пьянствовать с ним.

Один из этих парней жил в нашем поселке, его я тоже знал только в лицо; ведь в большом поселке, как и на большом предприятии, знают друг друга только в лицо: познакомиться по-настоящему нет времени. Не знал я и его имени, хотя звал его Юппом. В действительности его, может, звали Эгоном или Фрицем — какая в конце концов разница. На шахте он числится под определенным номером, в поселке живет на такой-то улице, в доме номер таком-то. Но для меня он безымянен, хотя мы, сдается, вообще неплохо чувствуем себя в безымянности, иначе что-нибудь предприняли бы.

Этот парень из поселка посадил меня потом к себе в машину, которую вел как бог, хотя выпил не меньше меня. Подъехав к своему дому, он поставил машину в гараж. Потом мы зашли в соседнюю пивную, ели шашлыки, жареных польских петушков за укрепление польско-германского взаимопонимания — и опять пили. Мельком вспомнил о предстоящих платежах по рассрочкам, но только мельком — подумаешь, рассрочки, пусть взыскивают через суд, черт с ними. Мы спорили шумно, с азартом и убежденностью пьяных забулдыг. Устав спорить, выпили водки, и она помогла на какое-то время забыть, что мы по частям продаем человеческое достоинство, как по частям оплачиваем купленное в кредит...

Сколько времени я ворочаюсь, отгоняя сумасшедшие мысли? Смутно припоминаю, что после вчерашнего собрания был поход по пивным. Те четверо пили за будущего члена производственного совета, даже не поинтересовавшись моим мнением на этот счет, моими убеждениями,— просто пили за меня.

А потом? Черт побери, что было потом? Пивная уже закрывалась, когда я заметил в дверях Рози. Она подошла, решительно схватила меня за рукав и потащила за собой. Кажется, она что-то говорила — нет, ругалась. Никогда бы не подумал, что она это умеет.

Как виртуозно она ругалась!

Кажется, за мной наблюдают. Или померещилось спьяну? Ну да, это Рози.

Дверь спальни широко открыта, и я вижу Рози у кухонной плиты. Она процеживает кофе.

Почему она не в школе? Сегодня же понедельник! Или еще воскресенье?

Рози подходит ко мне:

— Вставай. Кофе готов, ты ведь любишь его горячим.

Она раздвигает занавески и смотрит в окно.

— Как ты сюда попала?

— Вставай,— повторяет она,— горячий кофе вкуснее.

Мы молча выпили кофе. На столе лежала газета. Значит, все-таки понедельник.

— Почему ты не в школе?

— Прогуливаю. У нас сегодня контрольная. Не хочу схватить двойку.

— Не схватишь.

— Очень даже схватишь, когда приходится заботиться о дядюшке-пропойце.

— Отправляйся домой, я хочу побыть один.

— Сначала вымою посуду. В кухне воняет прогорклым жиром. Фу! Потом с тебя причитается восемнадцать марок за продукты — я кое-что купила. Счет на буфете. Записывай расходы, пока не помиришься со своей женушкой.

— Иди домой.

— В кармане пиджака у тебя двадцать марок. Забираю. На остаток сбегаю в кино.

— Ладно. Только уходи.

Она вымыла посуду, подкинула угля в печки и, не попрощавшись, вышла. Но тут же вернулась:

— Съездим в воскресенье в Дортмунд?

— Зачем?

— В «Рай цветов».

— Ладно, съездим.

В воскресенье мы отправились на выставку цветов в Дортмунд.

Цветы в павильоне слепили глаза, будто пламя электросварки. От аромата захватывало дух.

Я стоял, восхищался, шел дальше, наслаждаясь запахами и красками.

Рядом заплакал ребенок. Ему хотелось пить. Топая ножками, он требовал кока-колы; отец пытался утешить сына тем, что ему здесь тоже не все позволено, например, курить. Добавив, что, по его мнению, это явное неуважение к посетителям, он взглянул на меня, ожидая сочувствия. Навстречу прошла шикарная дама. Губы ее были такого же цвета, как тюльпаны, которые мне очень понравились. Обратив внимание своего спутника на резвившихся в бассейне форелей, она воскликнула:

— Very nice! Very nice!*

Рози потащила меня к главному экспонату — стеклянному ящику, в котором, греясь под инфракрасными лучами и скучая, лежал питон.

Неужто и змеи могут скучать? Я спросил, что думает на этот счет Рози, но она только пожала плечами.

Чуть поодаль стояла пышная белая и лиловая сирень.

— У тебя мороженое течет по руке,— сердито сказала какая-то женщина своей маленькой дочке.— С тобой никуда нельзя пойти!

— Мама, смотри, аисты! Какие они розовые!

Один посетитель клевал из пригоршни земляные орехи, я взглянул на его ладонь — почему-то захотелось узнать, соленые они или нет; другой громко ругался из-за того, что на выставке слишком мало скамеек.

— Всюду уже расселись матроны,— ворчал он.

Репродуктор хрипло объявил, что через несколько минут что-то покажут.

— Что покажут? — переспросил я Рози.

Она тоже не расслышала, увлекшись элегантными туфельками какой-то иностранки. А я был целиком поглощен кустом гортензии с розовато-голубыми цветами величиной с дыню.

— Наверно, их опрыскали розовыми чернилами,— предположил кто-то.

Словно боясь что-то упустить, посетители вдруг заспешили к лестницам, ведущим на ярусы. Заиграла музыка, и вверх ударили фонтаны, сначала прямой струей, а потом замысловатыми петлями. Зачем они тут, что общего между фонтанами и лазурными цинерариями? Эта лазурь мне еще приснится, как и аисты (впрочем, Рози сказала, что это фламинго). Птицы отошли в сторону, когда зазвучала музыка и потоки воды устремились ввысь. Наконец фонтаны угасли, музыка смолкла, но большая телесного цвета бегония у моих ног все еще взирала на меня.

---

* Очень мило *(англ.)*.

В клетке напротив сидел попугай и с философским видом поглядывал на толпу.

— Вон кафе! — женщина, истосковавшаяся по взбитым сливкам, двинулась вперевалку к выходу, перед которым гнездились азалии, желтые, как песок Ливийской пустыни.

— Эрих! Еще один павильон! — воскликнула пожилая дама.

В дверях второго павильона светился ярко-зеленый ковер.

— Вилли! Здесь можно курить!

В крытой галерее, соединявшей оба павильона, красовались огромные каучуковые деревья и широколистные сансеверии. Лицо закурившего Вилли чем-то было похоже на круглый кактус, росший среди фиговых кактусов около фонтанчика.

— Отчего это он такой круглый? — сердито просипел чей-то голос, с явными следами первого весеннего насморка. Чуть подальше опять крики, толкотня и нетерпеливые возгласы тех, кто не сумел пробиться к аквариумам с пестрыми рыбками, присланными каким-то заморским принцем.

Трудно себе представить, что все эти ароматы и краски могла породить обыкновенная кислая почва. Вокруг была вечная весна. Два аиста целовались. Большая толпа, собравшаяся возле клетки, требовала от «хохотуна», чтобы он наконец засмеялся. Но он не смеялся. Такой смышлености я не ждал от птицы.

Я взял Рози под руку, и мы не спеша направились к Рурской автостраде. За Лебединым прудом я оглянулся на выставку. Над главным входом большими разноцветными буквами было написано: «Рай цветов». Да, в самом деле рай цветов.

На автобусной остановке напротив полицейского управления я купил «Бильд ам зоннтаг» и начал читать спортивные новости. Случайно взглянув поверх газеты, я вдруг увидел свою жену. Метрах в ста от нас она переходила шоссе под руку с матерью. До чего же она легкомысленна! Вздумала переходить на красный свет. Рози их не заметила. Ее внимание отвлекла компания молодых парней, которые пытались заигрывать с нею. Она развлекалась.

Я снова уткнулся в газету и вдруг остолбенел, увидев крупный заголовок: «С 1 июня шахта «Абендшайн» закрывается».

Не может быть! Наша шахта? Ведь только недавно проложили новый шахтный ствол, он уже сожрал около четырех миллионов марок.

Но в газете черным по белому стояло: «С 1 июня шахта «Абендшайн» закрывается». Я показал статью Рози. Она ахнула. Подошел автобус. Мы сели.

— Неужели ты читаешь «Бильд ам зоннтаг»? — спросила Рози.

— А что? — спросил я.

— Ничего! — ответила она.

Фриц Ленерц постучал палкой в окно моей спальни.

— Вставай! Едем на шахту!

— Сейчас, ночью? Зачем?

— Какая, к черту, ночь! Уже пять утра. Собирайся. Проведем демонстрацию!

— Какую демонстрацию? Для чего?

— Не теряй времени! Пошли!

В самом деле, было уже пять часов. На востоке поднималось белесое солнце, гребни холмов Зауэрланда окутывал туман. Я быстро оделся, вытащил велосипед, и мы отправились. Вскоре нас набралась уже целая рота велосипедистов. Мы ехали, почти не разговаривая, растя-

нувшись друг за другом по узкой дорожке,— длинная, темная цепочка на фоне брезжущей зари.

Дорогой я понемногу узнал, зачем мы так рано едем и для чего устраивают демонстрацию. Было решено блокировать шахтные ворота и никого не пускать под землю, пока производственный совет и дирекция не соизволят разъяснить сообщение воскресной газеты.

Оказывается, вчера Фриц Ленерц, с которым обычно можно было говорить лишь о футболе и о команде «Шальке», встретился в пивной с несколькими друзьями. Они тут же решили уговорить всех, кого только удастся застать дома, не приступать в понедельник к работе.

У ворот шахты уже собралось несколько сот горняков, а народ все прибывал и прибывал. Многих мужчин и женщин я видел впервые, они не работали у нас на шахте. Поначалу все было относительно тихо, но вскоре монотонный гул перерос в громкий гвалт, когда один старается перекричать другого. Многие не понимали толком, для чего их позвали. Расспрашивали соседей, и каждый выкладывал свои соображения, по-своему комментируя причины столь внезапного собрания.

Возле меня вдруг появился Карл, из нашей смены.

— Вот гады! — заорал он.— Читал? Закрывают шахту, и все! Видал, как это просто нынче делается? Раз, два — и готово. Не успеешь оглянуться, как тебя выбросят на улицу!

Прошло полчаса, а люди все прибывали.

Уннское шоссе, ведущее к шахте, было блокировано двухтысячной толпой, машинами, мотоциклами, велосипедами. Маршрутный автобус полз как черепаха, с трудом прокладывая себе путь. Шофер давал громкие гудки, но люди расступались неохотно. Пешеходы грозили шоферу кулаками, а тот высовывал в ответ язык. Пассажиры смеялись, воспринимая все как дорожное развлечение — утром скучно ехать на работу.

Неожиданно кто-то вскарабкался на ворота. Солнце, как прожектор, осветило его фигуру.

— Товарищи! — крикнул он.— Все мы читали воскресную «Бильд». Нашу шахту собираются закрыть!

Многотысячный хор гневно загудел.

— Товарищи! Надо выяснить, так это или нет. Послушаем, что скажет управляющий. До тех пор за работу браться не будем.

— Давай его сюда! — потребовала толпа.

Надо привезти Ингеборг домой, подумал я, нечего ей делать в Дортмунде. Если шахту закроют, я некоторое время буду без работы. А долги останутся, проклятые. И чего мы с ней ссоримся? Все оттого, наверно, что у нас нет детей. Впрочем, Ингеборг в какой-то мере права: нам еще столько нужно приобрести, не до детей уж тут. Эти чертовы рассрочки как репей — смахнешь со штанины, цепляются к рукаву.

— Товарищи! — продолжал оратор. — Почему молчит профсоюз? Почему молчит управляющий и дирекция? Есть же у нас, черт подери, право участвовать в решении таких вопросов или нет?! Разве наши представители дали согласие закрыть шахту? Если дали, то плюем мы на такое право!

Общий смех. Кто-то крикнул:

— Да все они одним миром мазаны!

Гул возмущения нарастал, заглушая оратора. Когда чуть стихло, он продолжал:

— Товарищи! Нам все-таки дали право на соучастие в управлении. Ведь наш коллега Гейнц Браун заседает в наблюдательном совете. Пусть он объяснит, почему закрывают шахту — по экономическим соображениям или, может, потому, что акционеры уже не ждут больших

дивидендов. Почему он нам ничего не сказал, почему «Бильд ам зоннтаг» знает, а три тысячи рабочих не знают? И кто заплатит миллионы, израсходованные на новый шахтный ствол? Ведь его засыплют, если шахта закрывается!

В толпе раздавались реплики:

— Этот Браун разъезжает в «мерседесе» и чихал на наши заботы!

— Жалованье ему идет, чего ж не выпить с начальством!

— А что скажет рабочий директор?

Вот тут-то и началось! Этого рабочего директора — так называли представителя шахтеров по трудовым вопросам в дирекции — терпеть не могли. Во время угольного кризиса он услужливо подписывал предлагаемые администрацией увольнения, даже не проверяя, насколько они обоснованы. Все кричали наперебой. Неожиданно в ревущую толпу въехал белый «фольксваген» с укрепленным на крыше репродуктором.

— Освободите дорогу! — рявкнул динамик.— Освободите дорогу! Вы мешаете безопасности движения!

Трое полицейских-регулировщиков вышли из машины и стали уговаривать шахтеров разойтись.

— Кто-нибудь видел рабочего директора хоть раз под землей с тех пор, как он сел в кабинет? — продолжал второй оратор, тоже взобравшийся на ворота.

Толпа уже не реагировала на его слова. Но тут закричал первый оратор:

— Вы слышали? Мы мешаем общественному порядку! Они по телефону вызвали полицию. Мы угрожаем общественной безопасности! Но где наша безопасность, товарищи? Нам ее никто не гарантирует. Даже право на участие в управлении не гарантирует нам безопасности! Не расходитесь, товарищи, полиция не имеет права разгонять или запрещать нашу демонстрацию.

— Правильно! Не имеет права! — подхватила толпа.

— Товарищи! Зачем вообще явилась полиция? Мы ведь не бунтуем против государства, мы хотим только получить разъяснения. Чего тут надо полиции?

Снова поднялся невообразимый шум. В мужских голосах зазвучала угроза.

— Граждане! Будьте благоразумны!—призывал репродуктор.—Мы не собираемся разгонять вашу демонстрацию! Освободите проезжую часть. Вы мешаете движению. Освободите проезд!

Зачем, подумал я, провели это шоссе у самой шахты?

Толпу уже нельзя было окинуть взглядом. Рядом со мной вдруг оказался Поленц, Горилла. Он улыбался во весь рот, происходящее казалось ему веселой забавой. Ткнув меня локтем в бок, он присел на багажник моего велосипеда и заорал:

— Задайте им перца! Профсоюз вас продал, не иначе. Изоврались все. Они наверняка знают, в чем дело, но не говорят. С какой это стати мы должны очистить шоссе, пусть полиция направит транспорт в объезд. Она ведь делает так, когда бывают похороны или парад стрелкового союза.

— В объезд! — пошло по рядам, и вся толпа стала скандировать: — Транс-порт в об-ъезд!

Пока еще никто не вошел через проходную на территорию шахты. Те, что пришли только из любопытства, узнав, в чем дело, присоединились к демонстрантам.

На обширной площади за воротами показались управляющий, оберштейгер и несколько членов производственного совета. Управляю-

щий с трудом пробился сквозь толпу к полицейскому автомобилю, сказал что-то регулировщикам и вернулся на шахту. Вслед ему поднимались сжатые кулаки, но никто его не ударил.

Полицейские решили прорваться через плотно сбившуюся толпу. Взревел мотор, взвыла сирена, но люди по-прежнему стояли стеной. Машина не двинулась с места.

— Ваш управляющий сказал,— пробасил репродуктор,— чтобы вы приступали к работе. Тот, кто ослушается, будет немедленно уволен.

— Почему он сказал это полиции, а не нам? — поинтересовался Карл.

— Вероятно, потому,— ответил я,— что у полиции есть репродуктор.

— Подгонять нас у него хватает голоса,— возразил Карл.

— Если вы немедленно не очистите шоссе,— прогремел динамик,— мы вызовем по радио подкрепление!

Конец фразы едва можно было разобрать. Все снова разбушевались, кричали, размахивали кулаками. В какой-то момент, как это бывает на стадионе, толпа навалилась на полицейскую машину. Из репродуктора неслись заклинания, но никто их не слушал.

Возбуждение нарастало. Оба оратора на воротах что-то кричали в толпу, но никто никого не слушал и не хотел ничего слушать.

— Надо опрокинуть эту дурацкую машину! — сказал Поленц.

Не успел он это произнести, как машину перевернули. Под напором толпы несколько человек оказались прижатыми к кузову, других подмяло машиной. К воплям гнева примешались крики боли.

Тут на какой-то миг воцарилась тишина, в толпе прокатилась волна испуга. Но вскоре многие беспечно рассмеялись, как дети, которые нашли развлечение в бессмысленной затее — то-то будет о чем порассказать дома.

Загудела полицейская сирена. От деревни и со стороны Унны показались белые и зеленые машины. Подкатили два водомета. Через репродуктор потребовали прекратить демонстрацию. В толпу брызнула струя воды.

Все поначалу восприняли это как забаву, как неизбежное наказание за перевернутый автомобиль. Но вскоре дело приняло серьезный оборот. Полицейские стали хватать людей и заталкивать их в зеленый автобус. Толпа рассвирепела, весь гнев ее был обращен теперь против полиции. Какого черта ее сюда вообще принесло, мы только решаем здесь свои проблемы, не восстаем же против властей.

Полетели камни. Что ж, если нас поливают водой, почему бы нам не ответить камнями? Сначала бросали беспорядочно, а затем все точнее и точнее. На водометы и поваленную машину обрушился град камней. Толпа, казалось, срывала накопившуюся ярость на белой машине, хотя ни одного полицейского в ней уже не было.

Теперь толпа горланила просто потому, что ей была охота поорать.

Из подленького чувства страха я не кричал вместе со всеми. Не то чтобы я боялся полицейских, зеленого автобуса или увольнения, нет; я вдруг испугался смелости толпы, частицей которой был сам, испугался ее безрассудной смелости, ибо никто не знал, что и как надо делать. Все кинулись вслед за вожаком-бараном, слепо, не рассуждая, и никто не знал, где этот вожак. Вот так мы и стояли на шоссе — стадо блеющих овец. Ворота шахты заперли, в дверях проходной опустили решетку. Мы оказались отрезанными со всех сторон. Даже если кто и захотел бы приступить к работе, идти было некуда.

Неожиданно полиция уехала.

— Дали мы им как следует, а? — крикнул Фриц Ленерц.— Даже полиция смылась!

— Маловато еще получили! — заметил Поленц. Он по-прежнему восседал на багажнике.

— Фриц,— спросил я,— а что дальше?

— Дурацкий вопрос. Мы же добились, чего хотели.— Он посмотрел на меня с победоносным видом.

— Добились? Чего ж мы добились? Чего мы, собственно, хотим добиться?

— Ну, разъяснений, закроют шахту или нет! — ответил Фриц.

— Так что же, закроют?

— Конечно! — огрызнулся он.

— Откуда ты знаешь?

— Чего проще — господа-то молчат.

Та-ти-та-ти...та-ти... та-ти та-ти-та-ти...

Полицейские сирены.

Толпа замерла. Вернулись! Уннское шоссе перегородили два грузовика, с которых быстро соскакивали полицейские. Дорогу, ведущую в поселок, перекрыли пожарные машины.

Три тысячи мужчин и женщин стояли молча. Никто не двинулся с места. Перевернутая машина белела в толпе, как туша убитого зверя. На шахтном дворе в нескольких метрах от ворот встали цепью служащие охраны, держа руку на кобуре. Неужели пистолеты заряжены? Да нет, они не станут стрелять. Если шахту закроют, они тоже останутся без работы, разделив нашу судьбу. Управляющий не может приказать открыть огонь. Что было бы, если любой управляющий мог распорядиться стрелять по рабочим, когда они требуют разъяснений?

— Что делать? — тихо спросил Фриц Ленерц.— Нельзя же просто стоять.

— Разумеется, можно! — громко возразил Поленц.

— Держаться! Ни с места! — побежал по рядам шепот.

Когда он достиг тех, кто находился возле опрокинутого автомобиля, какой-то шахтер взобрался на кузов и громко крикнул:

— Всем оставаться на месте!

Тишина становилась мучительной, мне она причиняла почти физическую боль. Другим, вероятно, тоже, ибо никто не знал толком, что произойдет и как себя вести. Молчаливому выжиданию когда-то наступит конец: либо мы сдадимся, либо начнется схватка. Мы видели, как нескольких шахтеров уже втолкнули в зеленые автобусы и увезли. Но это были пока цветочки.

Цепь полицейских не трогалась с места. Пожарники быстро и бесшумно раскатывали шланги.

— Немедленно очистить дорогу! — скомандовал репродуктор зеленого «фольксвагена».

Толпа стояла безмолвно и неподвижно.

— Если через три минуты проезд не освободят, пожарные приступят к действию!

Толпа стояла безмолвно и неподвижно. Струйки воды стекали из брандспойтов в канаву, пока еще никому не причиняя боли — пока!

— Две минуты!

Три тысячи мужчин и женщин стояли безмолвно и неподвижно. Только Поленц заерзал на багажнике.

— Пошли,— шепнул он,— пора смываться.

— Заткнись,— цыкнул на него Ленерц.

Никогда в жизни я еще не чувствовал такого напряжения, как в эти минуты. Что будет? Откроет ли полиция огонь? Профсоюз, наверно, снова бросит нас на произвол судьбы. Нарушение уличного порядка — на это не отвечают стрельбой. Но... но что, если это нарушение

расценят как выступление против безопасности государства? Что тогда? Станут стрелять?

— Последняя минута!

Толпа стояла безмолвно и неподвижно. Из наконечников брандспойтов стекали струйки воды, но они никому не причиняли боли — пока.

Женщины заволновались, робко поглядывая на мужчин, но не решаясь раскрыть рот.

— Тридцать секунд!

Десятник Поленц соскочил с багажника и помчался вверх по откосу железнодорожной насыпи, крича и ругаясь. Несколько человек оглянулись на него, а через мгновение почти вся толпа уже смотрела на бегущего. Двое или трое бросились вслед за ним, потом десяток, сотня, и вот вся масса пришла в движение.

Я стоял как оглушенный и глядел на бегущих. Вверху на насыпи они растянулись длинной вереницей, казавшейся издали на фоне голубого утреннего неба движущимся забором с частыми просветами и штакетником различной высоты и ширины. Толпа накатилась на меня, вырвала из рук велосипед, потащила вверх на гребень насыпи, через рельсы, затем вниз по откосу к небольшому ручью Зезеке и вынесла на шахтерские садовые участки и засеянные поля.

На бегу я почему-то вспомнил о Наполеоне и его драпающей армии. Смешно. Но мы-то бежали не из горящей Москвы и не через Березину. Мы бежали от страха перед собственной смелостью, бежали, не выдержав напряжения. Мы неслись через маленький ручеек Зезеке, впадающий у Люнена в речку Липпе. Мы не были разбиты, ибо вообще не сражались, а струи из наконечников брандспойтов так и не причинили никому боли. Собравшись продемонстрировать свою силу, мы бежали, прежде чем дело дошло до испытания. Мы не имели никакого представления о том, что делаем. Мы были поистине жалки, и громкие слова только подчеркивали это. Смешно. Мы могли бы узнать, закроют шахту или нет, в производственном совете или у управляющего. Может быть, на черной доске уже висело соответствующее объявление. Но никто не успел прочесть его.

Впереди, сзади и с боков тяжело пыхтели бегущие. Женщины ахали, охали и проклинали мужчин, которые втянули их в такую историю. Я бежал, не зная куда. Через некоторое время я поравнялся с Фрицем Ленерцем и Гориллой — почти у того места, где когда-то выручал Веронику.

— Пошли ко мне,— сказал десятник.

— К тебе? Ах ты сволочь! Если б ты не сорвался, победили бы мы, а не полиция! — крикнул Ленерц в бешенстве.

— Что ж ты убежал со всеми, печальный рыцарь? — пропыхтел Поленц.

— Убежал, убежал! Да меня толпа потащила! Если б не ты, никто бы не сошел с места.— Фриц поднял кулаки.

— Мое дело сторона, я ведь не из вашей компаний.

— Не из нашей? Так какого же дьявола ты приперся к нам, да еще орал во всю глотку?

— Катись ты к...— огрызнулся Поленц и свернул в сторону.

— Идем,— крикнул он мне на ходу.— Позавтракаешь у нас.

Я согласился, хотя мне было совестно перед Фрицем. Не следовало бы оставлять его. Тем не менее я ушел с Поленцем, который не вызывал у меня симпатии.

Мы не спеша брели по поселку.

— Как тебя звать? — спросил Поленц.

— Юрген.

— А меня Виктор.

Сегодня при свете солнца улица выглядела куда приятней, чем в прошлый раз, когда я стоял здесь под дождем, рядом со скулящей собакой.

Когда мы вошли на кухню вместе с Поленцем, моя ночная знакомая сначала побледнела, потом покраснела. Она казалась приветливей, чем в тот раз, даже протянула мне, улыбаясь, руку, но я все же почувствовал в ней скованность. Похвалив Виктора за то, что он пригласил меня зайти, она поинтересовалась, как это мы так быстро добрались домой, ведь полиция патрулирует по всему поселку.

— Откуда ты знаешь? Уж не бегала ли ты к шахте? — повысил голос Виктор.

— Что ты! Я только...

— Значит, все-таки бегала.— Он замахнулся на нее.

— Да нет же, нет! Мне обо всем полчаса назад рассказала соседка.

— Ладно, хватит болтать. Мы еще не завтракали. Давай кофе.

Поленц занялся газетой, а я стал наблюдать за женщиной. Детей дома не было, вероятно они в школе. Заметив мой взгляд, она тоже стала посматривать на меня и наконец улыбнулась. Некоторое время мы беседовали глазами, затем она заговорила о всякой всячине, о погоде, затянувшейся зиме, о том, что в саду нельзя работать — земля еще слишком сырая.

Кофе был крепкий, булочки свежие и пышные. Несмотря на множество морщинок, придававших ей строгий вид, женщина была привлекательна. Не будь морщинок, она выглядела бы совсем молодой. Но самым привлекательным был ее голос — низкий, грудной. Он придавал ей какую-то таинственность, даже экзотичность.

— Как думаешь, что теперь будет? — спросил, чавкая, Виктор.

— Ничего особенного. Мы же действовали законно.

— Законно? Это вам еще разъяснят полиция и профсоюз, особенно профсоюз.

— Ну, прочтут мораль, и все.

— Держи карман шире. Уж если профсоюзники сейчас не хотят связываться, то вряд ли они потом полезут за вас в драку.

— К черту! — вспылил я.— Для чего тогда существует профсоюз, если он не будет помогать нам в трудном положении?

— Для чего? Чтобы властвовать! Да они, браток, хотят через ваши головы вести борьбу за власть с правительством и предпринимателями. Скажи мне, зеркальце, в ответ, кого в стране сильнее нет...

— Не зеркальце, а я скажу тебе: если на то пошло, мы куда сильнее,— вставила женщина.

— А ты помолчи! — рявкнул на нее Виктор.

Я выпил еще чашку кофе и съел булочку. Пока женщина подавала на стол, мы опять поговорили с ней взглядами. Грубости Виктора, кажется, не производили на нее впечатления, должно быть, она и не к такому привыкла.

— Ты, наверно, слыхал,— сказал Поленц,— что теперь творится на строительстве? Всем нам приходится страдать оттого, что профсоюзные вожаки вбили себе в голову: мол, больший отпуск должны получать только организованные рабочие. Требуют, чтобы мы бастовали ради этого. А что мы теряем заработок, никому дела нет.

— Все новшества поначалу натыкаются на сопротивление,— вставил я.

Поленц вскочил с места и стукнул кулаком по столу:

— Черт возьми! Разве рабочий до вступления в профсоюз не был рабочим? «Организация, дисциплина!» А сами вожаки лезут из кожи вон и орут «Караул!», как только правительство заикнется о необходи-

мости организации и дисциплины. Тут они вопят, что демократия в опасности. Но разве сами профсоюзы не угрожают ей?

— Не кипятись, Виктор, это же без толку, все равно наверху делают что хотят,— заметила женщина.

— Заткнись, тебе этого не понять.— Горилла пренебрежительно махнул рукой.

Пора было уходить, дома накопилось много дел. Рози была в школе и не могла прибрать квартиру. Надо было заняться этим самому.

— Погоди,— сказал Поленц,— фараоны еще бродят вокруг.

— Ничего, доберусь.

— Ну, как хочешь. Впрочем, тебе ничего не смогут пришить, раз ты в ночной смене. Хуже тем, кто в утренней, кому сегодня надо было спускаться в шахту. Теперь они попались. А тебе-то ничего не будет.

Поленц был прав, меня действительно не удастся ни в чем обвинить. Скажу, был в постели, а о случившемся узнал от соседей. Горилла, оказывается, соображает, не так уж он глуп, как выглядит.

— Ты прав,— сказал я.— Ну, пока. Пойду тропинкой через поле, будто гуляю.

Тут я вспомнил о своем велосипеде. Наверно, его смяли в лепешку.

— Будь себе на уме и помалкивай,— посоветовал Поленц на прощание.

Женщина проводила меня до двери. Я впервые заметил у нее обручальное кольцо. Зачем оно ей? Пожав мне руку, она тихо сказала:

— Уголь мы получили, и вовремя.

— Как вас зовут?

Почему-то я вдруг вспомнил, как она толкнула меня со ступенек. Словно угадав мои мысли, она опустила глаза:

— Извините, что тогда все так получилось. Но вы не представляете себе, как он иногда звереет.

— Я даже не представляю себе, как вас зовут.

— Ирена.

— А фамилия?

— Это неважно. Бывают обстоятельства, когда лучше не иметь фамилии.

— Почему вы не уйдете? Не можете обойтись без него?

— Да, иногда... В пятницу я приду к насыпи. Уплачу вам за уголь.

Дорогой я думал о том, что опять пропущу смену, если Ирена придет в пятницу. Авось трава не будет такой сырой, а земля — холодной как в ту ночь.

Через два часа я беспрепятственно добрался домой. Там меня ждал сюрприз: вернулась жена, а с ней и теща. Обе занимались уборкой квартиры.

Ингеборг бросилась мне на шею:

— Слава богу, ты пришел. Я так беспокоилась, все уже вернулись, только Мюллера арестовали.

Пришлось еще раз позавтракать. Без всякого удовольствия. Едва теща отправилась в магазин, как Ингеборг взволнованно сообщила, что устроилась работать на машиностроительном заводе в Унне.

— Знаешь, только на полдня — с семи до двух. Ты все равно в ночной смене, не успеешь проснуться, как я уже вернусь и все успею сделать.

— Так-так, значит, устроилась работать?

Перспектива приближающегося благополучия, казалось, должна была настроить меня на счастливый лад. Да, теперь мы заживем, наконец-то и в нашем доме произойдет чудо. Раз женщина работает, благополучие немецкой семьи гарантировано. Вот это и есть экономическое чудо: муж и жена, оба работают, оба зарабатывают. Не обременительны ли такое счастье?

Вечером я отправился на шахту, взяв велосипед Ингеборг. Выехал чуть пораньше, чтобы незаметно поискать свой велосипед — а вдруг цел. По пути я присмотрел местечко, где в пятницу Ирена могла бы оплатить долги. Потом вспомнил, что у Рози остался ключ от нашей квартиры. Только бы не вздумала явиться рано поутру, а то не миновать скандала с Ингеборг. Женам не нравится, когда в их отсутствие другие женщины помогают их мужьям по хозяйству. Но мать Рози, конечно, уже знает о возвращении Ингеборг. Вероника сообразительная. Сумела же избежать неприятностей, хоть и жила, пока муж сидел в концлагере, с французским военнопленным. А в те времена это было не просто.

Велосипеда своего я, конечно, не обнаружил. На широкой площадке перед воротами не было ни души, и ничто не напоминало о том, что сегодня утром здесь бушевала трехтысячная толпа. Разбитую полицейскую машину убрали.

У проходной дежурили двое полицейских. Они остановили меня.

— Предъявите паспорт, пожалуйста!

— Какой еще паспорт? Документов с собой на работу не беру.

— Фамилия? Имя?

— Форман... Юрген.

— Домашний адрес?

— Камен, Леопольдштрассе, 20.

— Это новый поселок у автострады?

— Да, это новый поселок у автострады.

— Вы были здесь утром на демонстрации?

— Я? Нет. На субботу и воскресенье уезжал к теще в Дортмунд, вернулся только сегодня днем.

— Проверим. Можете идти.

Я взял табель, прошел в раздевалку и переоделся. Будем надеяться, что полиция не нагрянет ко мне ночью. Ингеборг легко может проговориться.

В раздевалке все обсуждали утренние события, но я только прислушивался, не вмешиваясь в дискуссию.

Один знакомый по виду горняк спросил меня:

— Как тебе понравилось сегодня утром?

— Утром? Меня здесь не было, никто мне ничего не сказал.

Взяв лампу, я медленно побрел к клети.

Там меня остановил штейгер:

— Ну как, Форман? Подрали глотку утром? Вы уж, конечно, не упустили случая.

— Да нет, представьте, меня никто не предупредил.

Разговор со штейгером прервал вой сирены, похожий на хриплый петушиный крик. Аварийный сигнал.

Стоявший рядом горняк сказал, обращаясь к штейгеру:

— Когда дело серьезное, этих толстозадых днем с огнем не сыщешь.

За работой я все забыл. Думать некогда, в конце концов у нас сдельщина.

— Так дальше продолжаться не может. Просыпаюсь — тебя нет, возвращаюсь домой — тоже нет. Не пойдет.

Я высказал Ингеборг все напрямик. За последние недели я извелся. Возвращаешься с работы, измотанный до смерти, высунув язык,— жены нет дома; встаешь днем, разбитый, с ужасом думая о предстоящей ночи,— жены еще нет. На что мне пустой дом? Тут не поможет ни девчонка в юбке для твиста, ни женщина, обещавшая платить долги по пятницам. Кстати, в прошлую пятницу у нее не оказалось денег, а трава была чересчур сырой и земля — холодной. К тому же не хотелось опять прогуливать смену, хотя сейчас это уже не имело бы значения.

— Не ори, соседям не обязательно слышать каждое слово.

— Плевать, пусть слушают. Плевать мне и на твои деньги, мне от них не легче.

— Ишь ты какой! А кто уплатил очередные взносы, кто заплатил маляру, кто купил продукты на пасху? Я! Все на мои деньги.

— Хватит чепуху городить.

— Чепуху? Если хочешь знать, несчастных грошей, которые ты приносишь, ни на что не хватает...

— Вот тебе на. Все время хватало, а теперь вдруг нет.

— Да, хоть наизнанку вывернись, не хва-та-ет. Когда в последний раз у вас повышали зарплату? Когда? Два или три года назад. Зайди-ка в лавку, со дня на день все дорожает. В газетах об этом не прочитаешь. Все стало дороже.

— Это уж от меня не зависит...

Ингеборг рассвирепела.

— А что мы приобрели за эти годы? Почти ничего. Посмотри-ка на других: чего у них только нет! Даже в автомобилях разъезжают. А мы? Полеживаем да время понапрасну тратим. Никак тебе не вдолбишь, что каждую минуту надо использовать с толком. Другие давно это сообразили.

— Ну и что? Они ведь почти ничего не едят. Посмотри на иных мужчин — на ладан дышат, тряхнешь и рассыплются. И это ты называешь «уметь жить»?

— Ты-то уж, конечно, ни в чем себе не откажешь, ты ведь особенный.

— Да, я могу обойтись без автомобиля и похвальбы перед соседями,— вскричал я.

— Не ори. Небось сам бы с удовольствием сел за руль.

— Одно дело хотеть, а другое — мочь,— тихо сказал я, надеясь, что мягкость тона скорее подействует на нее.— Пойми же, мы не можем пуститься на авантюру, которая закабалит нас на многие годы.

— Но я подсчитала, все получится, если я тоже буду работать. Смотри, как хорошо выходит. Через два месяца мы погасим долг за мебель. При одной твоей зарплате пришлось бы маяться еще целый год.

— Да, да, будто я не знаю, чем все это кончится. Потом еще что-нибудь захочется, только оплатишь и снова залезешь в долги. Это бездонная бочка. Все лучшие годы промучаемся с долгами. Что у нас за жизнь? Ты возвращаешься и без сил валишься в постель, когда я собираюсь на работу, и наоборот. Вот жизнь, о которой ты мечтаешь и ради которой хочешь работать.

— Не устраивает — поищи другую жену, получше...

— Да не о том разговор. Если б дело было за этим, мог бы каждый день иметь другую, не связывая руки семьей.

— Вот как! — воскликнула она.

— Да, именно так, чтобы ты знала. Это не жизнь, так мы загоним себя в могилу. Не успеваешь даже отдохнуть. Теперь мне уже приходится мыть посуду, стирать белье, варить обед.

— Что я могу поделать, если последнее время у нас то и дело сверхурочные. Не останешься — выгонят. Сам знаешь, как это делают сначала тебе ничего не скажут, а потом при случае придерутся. Не вечно же будут эти сверхурочные.

— Все равно, так дальше не пойдет.

— Ах,— вздохнула она и села.

— Нет, так жить нельзя.

— Черт подери! — Ингеборг неожиданно вскочила и заметалась по кухне.— Нельзя, нельзя! Другие почему-то могут и не устраивают

вечных скандалов. Видно, другие мужья умней, знают, каково обходиться одной зарплатой. А тебе непременно нужно орать на меня.

— Я ни разу не орал на тебя за все восемь лет нашей семейной жизни.

— Еще бы, я же тебя обслуживала как горничная, всегда была дома, под рукой. А теперь, когда тебе пришлось кое-что делать самому, орешь как зарезанный. Другие прирабатывают на стороне, а ты сверх положенного ни одного пфеннига не принес. Зимой валяешься на кушетке и почитываешь, летом гуляешь или копаешься в саду.

— И это говоришь мне ты?

— Да, я. Если не расслышал, могу повторить.

— Вот оно, значит, как. Что ж, и на этом спасибо. Хорошенький итог семейной жизни.

— Ты, вероятно, нравишься себе в такой роли. А ты подумал, что будет с нами после 1 июня? Ведь всех вас уволят.

— В Рурской области не останешься без работы. Ее тут сколько угодно.

— Да, но другие уже подыскали себе. А ты, конечно, воображаешь, что кто-то придет и скажет: «Господин Форман, мы припасли для вас самую лучшую должность». Жди, жди, пока все хорошие места расхватают. Впрочем, тебе безразлично. Что может быть грязнее шахтерской работы? Наверно, опять устроишься на шахту, только километров за тридцать от дома.

— Не твоя забота.

— Почему же не моя? Твой заработок принадлежит и мне, стало быть — моя забота.

— Не беспокойся, найду что-нибудь подходящее. До закрытия шахты больше месяца. За это время можно многое сделать.

— Подумаешь, месяц! Один взнос за квартиру, два по рассрочкам — и пусто. Все тебе надо вдалбливать.

— Позаботилась бы лучше о доме. У меня осталась одна чистая рубаха, и та не глажена.

— Не могу же я, в конце концов, разорваться на части. Вот купим стиральную машину....

— Ну, разумеется, а к ней еще гладильную и посудомойку, наймем горничную и няню и наконец купим автомобиль, чтобы тебе не вставать рано к автобусу и скорей возвращаться домой. Впрочем, няня нам не нужна.

— И слава богу! Такого глупца, как ты, я еще не видывала. Неужели у тебя совсем нет честолюбия?

— На что мне оно?

— Почему после войны ты не вернулся на прежнюю работу? Ты мог бы стать уже главным бухгалтером или доверенным фирмы. Так нет же, тебе захотелось на шахту из-за дурацких пайков и дармового угля.

— В то время это было совсем не глупо, с их помощью многие сумели перебиться. Ты, наверно, уже забыла, сколько стоила тогда тонна угля. Не меньше...

— Опять завел старую пластинку. Брось.

— Ладно. Но если я, по-твоему, дурак, как фирма возьмет меня к себе доверенным?

— С тобой невозможно разговаривать.

— Да, в таком духе невозможно.— Я встал, собираясь уйти.

— Как бы там ни было, работу я не брошу. Хочу получить, наконец, что-нибудь от жизни и не трястись над каждым пфеннигом. Если вечно скаредничать, не заметишь, как и состаришься.

— Черт возьми, чего ты, собственно, хочешь от жизни? — вскричал я.

— Не притворяйся. Ты просто не хочешь признать, что твоего заработка на все не хватает. Ты меня хорошо понимаешь. Даже очень хорошо.

— Ладно, сдаюсь. Попробуем, пусть будет по-твоему.

— Что? Я не ослышалась? — Ингеборг подошла ко мне вплотную.— Тут что-то не так. Хитришь?

— Ну чего ты хочешь? — взорвался я.— То недовольна, что я против твоей работы. Согласился — опять не так, хитрю. Свихнулась ты, что ли, на своей фабрике?

— Ты что-то от меня скрываешь.

— Ничего. Просто хочу посмотреть, как ты будешь жить по-новому, изматываться и стареть. Отныне я буду спокойно взирать, как мы приобретаем одно за другим, пока не приобретем все, что ты считаешь нужным. Хотел бы я только знать, когда это будет и кому все достанется?

— Ты думаешь, у нас не будет детей?

— Кто-то здесь, кажется, заговорил о детях?! — воскликнул я.

— Я, я заговорила! — Ингеборг схватила тарелку, собираясь трахнуть ее об пол.

— А ты подсчитала, сколько тебе будет лет, когда мы все приобретем и захотим, наконец, ребенка?

— Ну и подлец же ты!

— При чем тут я? Это правда,— спокойно возразил я.

В комнату неожиданно влетела Рози.

— Дядюшка Юрген! — задыхаясь, проговорила она.— Пойдем скорее. Мама не знает, что делать. Папе очень плохо!

— Сейчас!

— Иди, иди! — истерически закричала Ингеборг и с размаху швырнула тарелку оземь. По кафельному полу разлетелись мелкие кусочки.— Для чужих у тебя всегда находится время!

— Тетя Ингеборг, ну, прошу вас,— взмолилась Рози.

— Идите! Идите! Не хочу вас больше видеть.

— Что с ней? — спросила Рози на улице.

— Потом объясню.

— Узнала, наверно, что я помогала тебе, пока она была в Дортмунде.

— Не исключено, что соседи уже что-нибудь наплели. Но тут другая причина.

Карл Боровски лежал ничком на ковре, широко раскинув руки и ноги, словно его привязали. Он беспрерывно кричал, стонал и всхлипывал. В бессвязных звуках, вылетавших из его горла, уже не было ничего человеческого.

Вероника стояла у стола, беспомощно заломив руки:

— Юрген! Боже мой! Это невыносимо. Что же делать? Позвать врача? В больнице он умрет. Сил больше нет слушать этот вой.

Мать и дочь смотрели на меня, словно на волшебника, способного исцелить все болезни. Неожиданно мне пришла в голову мысль.

— Рози,— тихо попросил я,— принеси из сарая старую плетку.

Девушка с ужасом взглянула на меня.

— Быстрей, делай, что говорит Юрген! — крикнула сквозь слезы Вероника и вышла вслед за дочерью.

Слышать, как воет Карл, было и впрямь невыносимо. Мороз подирал по коже. Я отвернулся. Помню, на фронте одного ранило в живот, он кричал точно так же. Какими мы были тогда юнцами! Удрали, испугавшись больше, чем при первом артобстреле. Но где же Рози? Хоть бы

плетка нашлась. Вдруг она и впрямь окажет целительное действие? Дай бог. Ну, где же эта Рози?

Наконец-то!

Скинув пиджак, я схватил плетку. При первом ударе женщины вздрогнули и заплакали. Я изо всей силы хлестал по ножке стола, стараясь бить как можно быстрее. Плетка со свистом рассекала воздух. Карла я и не думал трогать. Главное, чтобы он слышал свист и удары. Одновременно я считал вслух:

— Раз... два... три... четыре... привет от фюрера... шесть... семь... восемь... девять... привет от фюрера... одиннадцать... двенадцать... тринадцать... четырнадцать... привет от фюрера... шестнадцать... семнадцать... восемнадцать... девятнадцать... привет от фюрера... двадцать один... двадцать два... двадцать три... двадцать четыре... хайль Гитлер!

О чудо!

После пятнадцатого удара Карл стал спокойнее. Крики перешли в бормотанье, а бормотанье в тихое всхлипывание.

При двадцать пятом ударе Карл лежал неподвижно, как труп.

— Помогите перенести его на диван. Быстрей! Теперь уж он проспит несколько часов.

Мы подняли его и уложили на диван. Карл стонал, как от сильной боли.

— Во-о-ды,— пролепетал он.

Вероника, разжав ему губы, влила в рот воды, и Карл заснул. Через несколько секунд он храпел, как человек, наконец-то, дорвавшийся после тяжкой работы до желанного отдыха.

Я так вспотел, что рубашка прилипла к телу.

— Спасибо, Юрген,— сказала Вероника, взяв в обе ладони мою руку, которая еще недавно держала плетку.

— Не за что. Если припадок повторится и меня не будет дома, сделай то же самое. Запомни: после десятого удара самое главное — громко считать, он тогда уже не слышит свиста плетки, только голос и счет. Спрячь плетку подальше, чтобы он ее не увидел.

— Может, все-таки отправить его в больницу? — спросила Вероника.

— Не надо, он не болен.

— А что, если поместить его в психиатрическую лечебницу в Аплербеке? — предложила Рози.

— Он не сумасшедший.

— Что же с ним тогда, если он и не болен и не сумасшедший? — спросила Вероника.— Здоровым ведь его не назовешь?

— Да, он не здоров. Но от своей болезни должен вылечиться сам, тут мы ничем ему не поможем.

— Что это за болезнь? — спросила Вероника.

— Она у него еще с той поры. Из концлагеря.

— Может, ему положена бóльшая пенсия? — Взглянув на меня, Вероника сделала неуверенное движение рукой.

— Деньгами его не вылечишь, нет, только не деньгами.

(Окончание следует)

ВИКТОР ГАРСИА РОБЛЕС

СТРОФЫ НАДЕЖД

Перевод с испанского ЮРИЯ ИСАЕВА

Гимн Латинской Америке

1

Встань, Латинская Америка,
родина дикого меда.
Ты бесконечна, Америка,
как твой бесконечен голод,
как бесконечна мелодия,
что струны гитары выводят,
дрожа от тоски и горя.

На ноги, Юг и Север!
Надо достойно встретить
желанной свободы ветер,
мужчин настоящих время,
бурю надежд и песен.

Встань же во имя свободы.
Пусть капли горячей крови —
что льется в сердцах народа
единым, бурлящим потоком —
зажгут долгожданные звезды.
Вставай как весна, как солнце.
Лети по горам и долинам,
пусть голос твой понесется
навстречу судьбе счастливой.

2

Пусть будет солнце и свет над
миром.
Будет!
За Боли́вара и Сан-Марти́на.
Будет!
За Марти, Сапату и Сандино.
Будет!
Пусть равными люди будут,
женщины и мужчины.
Пусть дети счастливы будут.
Будут!
Будут!..

3

Все, кто свободу любит,
все, кто забит и обманут,
вставайте!
Латинской Америки люди,
с молотом и лопатой,
вставайте!

Для сокрушительного удара —
вставайте!

Все,
кому не заработать неба,
хоть по́том лицо затопит.
Товарищи, компаньерос,
мы сами добудем и хлеб,
и далекие звезды.

На ноги,
реки, горы!
Вставай,
народ миллионов!

4

Солнце из дерзкой меди,
согрей лучами надежды.

Воздух, трава и камень,
на ноги — вместе с нами!

Встаньте за нашу историю,
встаньте за наших мертвых.

Пусть по рукам проходит
чаша вина молодого,
настоенного на свободе.

В шквале огня и грома
неситесь, желаний волны.
неситесь, победы волны,
в шквале огня и грома.

5

Недра земли, вставайте!

Мчись по далеким пампам
настойчивый и упрямый
ветер желанного завтра.

Плечи расправь, крестьянин,
земли настоящий хозяин.

Вижу, как в вихре стремительном
рождается день удивительный.
Работе слагают гимны
мускулы налитые.

Пусть ненависть в каждом встанет
яростным ягуаром,
что пролетает молнией
сквозь заросли ночи темной.
Слейтесь в единой воле
усилия миллионов!

Молодость, в общем марше
тверже шаги печатай.
Будет победа нашей!

Прокатывается по странам,
прошлое сотрясая,
летит многоцветным хором
Латинской Америки голос:
люди, вставайте скорее,
настало героев время!

Боль моей родины

Попросил меня один горожанин.
принести стихи на площадь Италии,
ту, что в сердце Буэнос-Айреса,
сказать слово правды об Аргентине.

Эти строки родились в молчании,
в нищете Аргентины...
Их пока что никто не знает,
они без размера, рифма сырая.
Никто их не ожидает,
но они пришли на площадь Италии
и говорят об Аргентине.

Свежим утром принес я строки,
наполовину готовые.
В них — птиц свободных
полет высокий,
простое слово.
В них — гнев народа,
могучий, древний.
Они — злободневны.

Вильяс Мисериас *.
Два только слова.
Для тех, кто не знает,
повторяю снова.

Вильяс Мисериас —
Буэнос-Айреса окраины,
район нищеты
вокруг чудного рая.
Вильяс Мисериас
звучит набатом.
Поговорите с братьями
в трущобах голых.
У них дома́
из картона в заплатах,
и тучи сквозь крыши
смотрят сурово.

* Буквально — поселки нищеты *(исп.)*.

Я вам советую:
посмотрите,
чем на окраинах
питаются дети,
как они играют,
как вырастают
и спрашивают взрослых
там, на Вильяс Мисериас.

Или эксперимента ради
поговорите с простым рабочим —
в его кармане не прозвенит и
сентаво,—
расскажите ему о прогрессе,
мечтах красивых, о прочем,
спросите, как говорят по радио
или как пишет пресса:
— А демократия?..
Он рассмеется в лицо вам,
как этот вот стих смеется,
и ответит:— Хватит!
Он-то знает, как все дается.
Он попросит, чтоб вы посчитали,
сколько лет в общей сложности
ушло на обещания, обещания...
И скажет спокойно, без всякой
истерии:
— Вы лучше придите в дождливый
год,
тогда увидите, что за потоп
в каждой Вилья Мисериа.

В пожар лачуги горят, как дрова,
в каждой Вилья Мисериа.

И что за голод бывает, когда
нет хлеба в Вилья Мисериа.

И что за холод приносит зима
в каждую Вилья Мисериа.

Как дорог доктор бывает, когда
болеет Вилья Мисериа.

А сколько горечи, зла и обид
в каждой Вилья Мисериа.

Мне больно вот так говорить
о каждой Вилья Мисериа.

Но в стихах — никакого обмана,
даже в малом.
Стих — это правда, и он желает,
чтоб счастьем светились лица.

Солнце — для каждого аргентинца.
Хлеб — для каждого аргентинца.
Школы и книги — детям,
другу — вино и ласка,
Я сказал это просто и ясно.

Пусть навсегда проникнет в память:
можно много сказать стихами,
каждый стих — это пламя,
оно сердца зажигает.

Не смейтесь, поэты — не дети,
что роют песок
на дорожках скверов.
Поэты — за жизнь и за землю
в ответе.
Они в ответе
за Вильяс Мисериас.

■

АНДЖЕЙ БРЫХТ

Дансинг в ставке Гитлера

ПОВЕСТЬ

Перевод с польского Ю. АБЫЗОВА

ласков котик бел воркотик
мышка тоже загляденье
догоняшек будет досыта
кочевряжек будет до отвала
потягушек будет от зуба до зуба
аж запляшет мышка ножки навыверт
доиграется окрасит кровью очи
выдаст свои лапки в клочьях тела

Тимотеуш КАРПОВИЧ

Два года пришлось мне ждать, пока минует стыд, два года — это очень много времени; столько пришлось ждать, пока он пройдет, столько я носил его в себе, будто запаршивевшую кошку за рубахой, пока он прошел, пропал, навсегда исчез, и теперь я могу выложить все, как оно было, сейчас уже могу это рассказать, хочу и даже обязан похоронить шелудивую кошку, как в детстве уже похоронил одну, которую убил еловым горбылем, сырым от смолы, пришиб из-за того, что она меня сильно поцарапала.

А похоронил я ее что надо, с почестями, под высоким забором из серых от дождя досок, в ямке не мелкой и не глубокой, выстланной длинной мясистой травой, поставил над нею крестик из выструганных палочек и три раза подряд, без перерыва, сыграл на губной гармошке, покрепче нажимая языком на басы, «Вот приехали уланы», потому что я тогда только это и умел играть на маленькой, первой в жизни гармошке-пикколо.

Вот и нынче я хочу устроить такие же похороны; на гармошке я уже наловчился играть, в армии меня за это ребята любили, из-за гармошки и началась вся эта история с Анкой — из-за того, что я играл, сидя над озером, золотым и грустным августовским вечером, так как осенью мне надо было идти в армию, а я еще не знал любви и времени мало оставалось, и от этой грусти все надрывнее звучала моя гармошка с регистром, хороший это был инструмент, известной марки «Хонер», все равно что «мерседес» среди автомобилей, и репертуар у меня уже был большой, едва что-нибудь на слух поймаю, тут же и играю в разных тональностях, с трелями, с вариациями, с подголосками — я еще не встречал, кто бы лучше меня это делал.

— Вам надо выступать по радио,— сказала Анка,— а то и по телевидению, только у них обычно с акустикой плохо и не очень-то звучит...

Не сыграл я по радио и не сыграю, потому что там все-таки получше играют, даже серьезные произведения и по нотам, а я нот вовсе не знаю, и гармошки у них там большущие, что твои трубы, а когда для себя играешь — и так сойдет, но она раздразнила мое воображение, и я увидел себя на стеклянном экране и еще больше скис, что осенью в армию идти.

И когда она так красиво сказала, подойдя сзади к тому месту, где я сидел на свае разбитого мола, над тихой темнеющей заводью Белого озера с водой, мерцающей последним светом, а воздух уже сгущался от опускающейся ночи, когда она стала сзади и сказала эти слова, голос ее как будто был не девичьим голосом — хихикающим, с придурью, идиотским, а голосом моей матери, которой я совсем не знал, потому что она погибла в последний день войны, когда мне был всего год.

— Откуда вы? — спросила она, потому что нас там со всей Польши собралась орава, и важно было знать, лапоть ты или из большого города, а уж варшавяне у девочек железно шли первым планом.

— Из Варшавы,— сказал я, даже не обернувшись, потому что до той поры ни разу не взглянул на нее.

— О! — грустно вздохнула она.— Жалко. Я-то из Лодзи.

— И я из Лодзи! — откликнулся я, и только тут обернулся, и посмотрел на нее впервые, и еще сказал: — Родился-то я в Варшаве, а жил в Лодзи, там ведь много варшавян после восстания живет...

При этом я смотрел на нее снизу, все еще сидя на свае, а в глазах ее играли отблески мелкой волны, и неуловимый последний отсвет дня весь осел на ее волосах легким, как пыль, серебром.

Я медленно поднялся и встал перед нею; мы долго смотрели друг на друга, не знаю, сколько времени, но, наверное, долго, если я разглядел ее всю и себя успел разглядеть так, как еще никогда раньше, хотя на себя и вовсе не смотрел. Просто на меня страх нашел, и от этого все мои недостатки мне открылись, все мое уродство, вся потешность положения: голый тип в плавках, в руке гармошка, стоит босиком, одна ноги на маленьком срезе бревна умещаются, высокий и тощий, будто аист,— страх, а понравлюсь ли я таким, потому что мне больше всего в жизни захотелось быть с нею.

— Я чувствовала такой же страх, а может, и побольше,— сказала она позднее,— потому что парню всегда легче, всегда как-нибудь выпутается, отделается, а девушка это тяжелее переживает.

Она уже тогда засекла меня, хоть я и не знал об этом. Тут мне случай помог: она видела меня еще днем, я на велосипеде сюда приехал, пятьсот километров рванул за три дня, один, а ведь это тяжело, на пару куда легче,— и меня видела и мой велосипед, гоночный, «ураган»; я только шины поставил другие, потолще, чтобы не часто спускали, и по бездорожью легче, и пять шестеренок от тринадцати до двадцати двух, и два переключателя — игрушка, а не машина; Анка видела, как я через Августов гнал, а посадка у меня классная, «гонщик от бога»,— говорили в клубе, может, я бы мог далеко пойти в этом спорте, да тренировки скуку нагоняют, другое дело — для себя ездить, это я любил, как и играть; увидела меня Анка, и взяла на мушку, а уж это прямо чистый случай, потому что девушки больше предпочитают тех, что на моторе, там два места и скорость, ну и всегда это как-то красивее выглядит; послушать их, так каждый сотню жмет, я сам знал такого, который спидометр подкрутил и если жал восемьдесят, то у него сто десять показывало, и он каждый день девочек менял; а на велосипеде что: на раме девушку везти? — но Анка была чудная, на редкость чудная, она сама на вело-

сипеде ездила, одна из Лодзи на велосипеде к Белому озеру прикатила! Правда, не за три дня, а едва за неделю, но для девушки и это неплохо, кто понимает.

Машина у нее была дамская, спортивная, марки «сказка», тоже с переключателем, правда, всего три шестерни и передача одна, но приличная в общем-то машинка, лак свеженький, красный, гоночные петли Анка сама приладила, спортивная жилка у нее была, ничего не скажешь! Потому-то я ей так и показался, все поглядывала, с кем я, а я все один — и на велосипеде, и на пляже днем, и на байдарке, и тогда вечером с гармошкой... Это ей смелости придало, не перед кем ее было высмеять, если бы я подлецом оказался.

— Вы мне не поможете? — спросила она, и я спрыгнул с бревна на мокрый гравий, сквозь который пробивалась трава.

— С удовольствием,— сказал я, и так мне захотелось, чтобы просьба ее была самая большая, какая только может быть у человека к человеку.

— Вообще-то ничего особенного, только ужасно мешает: переключатель у меня барахлит. Я уж сама пробовала, но... вы понимаете...

Она улыбнулась, и зубы ее сверкнули в темноте.

— Вам не холодно? — спросила она вдруг и накинула мне на плечи большое мягкое полотенце, которое до этого держала в руках, а я его и не заметил.

Мы пошли к кемпингу, там у нее был свой домик и у меня свой, только немного подальше.

По дороге она выпытала у меня, что я делаю, как меня зовут, на кого хочу учиться и буду ли учиться вообще, а если нет, то какая мне профессия нравится; говорила она со мной совсем как с ребенком, хоть мы и были в одних годах, только что на аттестат она сдала — вернее, была она на год меня моложе, я-то в седьмом два года сидел, и на голову ниже, а голос какой-то мягкий, добрый, беспомощный. Я ее о том не спрашивал, похвастаться-то было нечем, другое дело теперь, после армии, было бы о чем рассказать, только я уж знаю, что женщины не любят воспоминаний про армейскую жизнь слушать, да оно и неудивительно. И так вот за несколько минут мы уже знали друг о друге все, что можно было узнать, да еще перекинулись двумя словами насчет культурных запросов, насчет книжек, кинофильмов, актеров — я-то кино не люблю, актеров и того пуще, разве что книжки, но это когда как.

— А приключения?

— Кто его знает... Не было у меня приключений. Да я их и не ищу. Упасть с велосипеда и руку сломать — тоже приключение, только не дай бог...

Она задумалась.

— Странный вы какой-то.

— Почему? Впервые мне говорят такое. И друзья и девушки знакомые — все в один голос твердили, что я самый заурядный. Середнячок, мол, из тех, что на пятачок пучок.

Я засмеялся, удивившись своей разговорчивости — редко такое со мной случалось. И говорю:

— Не удивляйтесь, что я так разболтался, но мне еще никогда не было так приятно поговорить.

— Я ничему не удивляюсь,— отпарировала она.

Мы остановились перед ее домиком.

Открыла она дверь и вошла туда.

— Пошла умываться, да так и вернулась неумытая! — крикнула она из домика голосом, приглушенным фанерой.— Это вы виноваты!

Я не знал, что сказать. А она:

— Закурите?

— С удовольствием,— сказал я.

Я не курил, но девушка спрашивает, значит, хочет, чтобы я закурил. Она выбежала из домика в темном тренировочном костюме, волосы, раньше подобранные кверху, были распущены, в далеких отблесках костра, который на краю поля развели яхтсмены, она выглядела куда красивее, чем там, на берегу.

— Жаль,— сказала она грустно,— что у нас всего одна сигарета. Придется курить вместе...

— Как трубку мира,— сказал я, так как ничего лучшего мне в голову не пришло, и тут же подумал, что все-таки я ужасно серый.

Она тем временем щелкала зажигалкой.

— Хорошая штучка,— сказала она,— два режима: при одном короткое пламя, при другом высокое. Вот!

Наконец-то огонь зажегся.

— Видите, надо только покрутить вот это колесико.

Я нагнулся, а она медленно двигала колесико, и действительно, пламя то вырастало, то опадало. Я все разглядывал — меня такие штуки интересуют, и она раз десять повторила фокус, но вот я взглянул на нее поверх пламени и увидел такой пристальный взгляд, устремленный на мое лицо, что сразу понял: вся эта игра для того, чтобы меня лучше разглядеть.

Я отстранился. А она:

— Курите первый,— и подала мне сигарету.

Она все время из меня дурака строила, потому что сигарета была с фильтром, а я по глупости ее не тем концом в рот сунул и, когда она дала мне прикурить, стал тянуть изо всей силы, а она держала зажигалку, смотрела на все это, и даже рука у нее не дрогнула; наконец фильтр загорелся, и тут я как затянусь! — даже кашель на меня напал, но я хоть бы что, говорю:

— Крепкие вы сигареты курите.

Тут она выхватила у меня сигарету, оторвала фильтр и велела мне еще раз прикурить, но я так и прокашлял все время, вернее, пока сигарета до половины не сгорела, а уж другую половину она выкурила сама.

Ей захотелось пройтись, и мы пошли к моему домику; там я тоже надел спортивный костюм, мы вернулись на берег, и она велела играть, но мне что-то не игралось, робость одолела. Она вытащила из кармана целую пачку сигарет, и мы опять курили, а я и внимания не обратил, что курева у нее было хоть завались и что с первой сигаретой она меня разыграла. Только потом, уже дня через два, она сказала:

— Я хотела проверить, опытный ли ты — ведь если девушка хочет курить на пару с парнем, значит, она хочет с ним целоваться. Но ты оказался темный-претемный, и это мне даже понравилось.

А на берегу я спросил:

— Почему вы сказали, что я странный?

Она рассмеялась.

— Потому что странный.

— Это потому, что я такой тощий? Что не на моторе езжу? Или что

— Нет... Какой-то такой... несовременный.

— Это значит — не модерный?

— Нет. Не то. Хотя...

Она задумалась. Комары влетали в дым. Сонно плескалась рыба. По небу пробегали серо-голубые сполохи, словно откуда-то, из-за трех девяти земель надвигалась гроза.

Мы сели на бревно и долго сидели, я, наверно, пять сигарет выкурил, но зря их извел, стараясь не затягиваться, все равно меня мутило и голова кругом шла. Наконец она даже рассердилась:

— Может, вы хоть расскажете, как ехали сюда или какую профессию собираетесь выбрать?

Она снова закурила и несколько раз жадно затянулась.

Я долго и спокойно рассказывал ей, как проехал пятьсот километров за три дня, как латал камеру под дождем, как собака стащила у меня на привале последний кусок хлеба, как меня погнали ночью из сада, где я натряс яблок,— и она даже слушала с интересом, и злость у нее прошла, но когда я спросил, как ей ехалось, она буркнула:

— Это не тема для разговора.

Я уж и не знал, о чем говорить, да вспомнил, что она еще и о профессии спрашивала, и ни к селу ни к городу сказал:

— Что бы мне ни привелось делать, я все буду делать как следует.

— Это чудесно. Так вот, сделайте мне завтра как следует переключатель, там пружина барахлит. А теперь спите спокойно.

Я не понял.

— Ступайте, ступайте, я и сама доберусь.

Я чувствовал себя последним дураком.

— Как же так, мы ведь вместе пришли...

— Ну и что? А приехали порознь. Спокойной ночи,— сказала она таким тоном, что я едва пробормотал:

— Спокойной ночи.

Я поклонился, хотя она уже отвернулась, и быстро пошел в гору, к своему домику — одуревший от курения, с хаосом в голове, весь измочаленный и потерянный.

А теперь я буду хоронить память о ней, как паршивую кошку, которую убил тяжелым горбылем, когда мне было не то восемь, не то девять лет.

Утром я всюду искал ее, раз пять обежал залив, перед запертым домиком торчал, потом, наконец, в полдень вскочил на велосипед и помчался в город.

На базарной площади я увидел ее, она медленно ехала с этим злосчастным переключателем, пружина и верно сдала, цепь болталась, как хвост у старой коровы; я догнал Анку, она была в том же тренировочном костюме, что и вчера, хороший был костюмчик, бордовый, классный костюмчик, я медленно поехал рядом с ней, наконец мы свернули [illegible], там она остановилась, остановился и я, и в первый раз мы [illegible] друг на друга так близко при дневном свете, а день был холодный, [illegible], тяжелые тучи быстро плыли по небу, воздух отдавал влагой.

— Я [illegible] — сказала она.

А когда [illegible] промолчал, добавила:

— Если [illegible] вместе пообедать.

Она прислонила велосипед к стене, рядом с вереницей автомобилей и мотоциклов, врывшихся в песок на маленькой площади, и пошла к лестнице.

— Нельзя так оставлять велосипед,— сказал я.— Украдут.

Она пожала плечами и не обернулась.

Я поставил свой велосипед рядом, достал из кармана цепочку с замком, который на числовой [illegible] запирается, и скрепил оба передних колеса — если скрепить одни [illegible], могут открутить барашки и свистнуть передние колеса, минутное [illegible], один раз со мной уже такое было.

Я догнал ее в холле. Мы выбрали столик у окна, там стояла бутылка лимонада, липкая и красная, Анка откупорила ее и налила в стаканы.

— За твое здоровье, Аист,— сказала она и засмеялась.— А ведь мы могли бы и на «ты» перейти, называть друг друга просто по имени, я

же все равно за ремонт не заплачу... Анка,— представилась она, подняв стакан.

— Аист,— сказал я, ведь мы же еще со вчерашнего дня знали, кого как зовут.

— Долго здесь пробудешь? — спросила она.

— Увидим. Погода не для купания, может, лучше уехать куда-нибудь, на что-нибудь поглядеть.

— А на что тут глядеть? Занудство эта Августовщина. Тоска. Памятники старины... Есть они тут, не знаешь?

— Никаких не знаю. Может, и есть. Хотя вряд ли, откуда им тут взяться.

— У меня домик только до сегодняшнего числа,— сказала она.

— У меня до завтра. Ну, это ерунда, всего несколько монет...

— Какое благородство!

— Это для тебя.

Рядом засуетился официант с тарелками в руках.

— Кто тут отбивные заказывал? Отбивные кому?

Никто по соседству не отзывался.

— Нам,— сказала Анка, хотя мы еще ничего не успели заказать.

— Ловкая ты,— сказал я жуя.— В момент подзаправились.

— Ты бы и час прождал,— отрезала она.

Потом мы вернулись к велосипедам, и я отыгрался за вчерашний трюк с зажигалкой.

— Открой,— показал я на замок.— Надо только колесики покрутить.

Она присела на корточки и принялась крутить колесики, пытаясь подобрать правильный набор цифр, чтобы замок открылся, но этих комбинаций девятьсот девяносто девять тысяч, и в таком виде спорта не очень-то отличишься. Я все смотрел на нее, а она увлеченно возилась, впервые не я ее занимал.

— Нет,— сказала она, поднимаясь, даже лицо ее покраснело.— Предпочитаю колесико моей зажигалки.

Мы вернулись к себе, и там, сидя на ступеньках домика, я поч[illegible] переключатель — достаточно было подтянуть пружину и дожать [illegible] но в этом надо малость соображать, не каждый до этого дойд[illegible] ключатель штука тонкая; наконец я сказал:

— Теперь можно ехать вокруг света.

— Очень надо,— огрызнулась Анка.— Свет — он све[illegible]

— Тогда куда же? — спросил я и встал перед нею, [illegible]рные от смазки руки. Мы поглядели друг другу в глаз[illegible]ельная, спокойная, даже не моргнула.

— Хватит и на Мазуры съездить. Там зелень [illegible]

Мы быстро уложились, у меня были два [illegible]задних вилок, они хорошо держались, Анка прикреп[illegible] багажнику рюкзачок, и мы молча сели на машины; я [illegible] по тропинке, она за мной, пока не выбрались на шоссе, [illegible]

ПУТЕШЕСТВИЕ

к месту моего позора, к месту, где [illegible]жусь, чтобы убить тот мой позор и похоронить его ка[illegible] злобную кошку, которая давно уже сгнила и перестала [illegible] дыхание, рассыпалась на белые, хрупкие, как мел, кост[illegible]

Погода, как я уже ска[illegible]ная и ненадежная, но для велосипеда в самый раз, л[illegible] в спину, плоская равнина Августовщины до сумерек о[illegible], не спеша мы накрутили шестьдесят километров и, [illegible] пошли мягкие холмы Мазур, остановились на ночлег.

Теперь я уже знаю, что совершил ошибку,— надо было той ночью в сарае, снятом за десять злотых у мазура, сразу сделать то, что надо делать с девушкой, если только есть место и время, и то, что зовется настроением, и если она хоть немножко расположена, а я допустил ошибку, ужасную и нелепую, потому что было место и время, целая вечность времени, а места — гора свежего сена, наваленного саженными пластами, солнечный, медовый дух бил из его нутра, а я лежал и городил чушь, хотя в общем-то довольно толковое и нужное: насчет техники езды на велосипеде в дождь. Сено под нами жужжало, кишело миллионами мелких насекомых, сонно копошащихся мушек, божьих коровок, и все эти крохотульки вели свою игру смело и решительно, в минуту молчания я мог даже различить отдельные, чего-то настойчиво домогающиеся попискивания и потрескивания, а уж всего громче доносилось сладкое стрекотание сверчка — и вот эти самые букашки, маленькие и неведомые, где-то там в недрах заваленные тяжелой горой сена, орудующие и кишащие, именно они и создавали настроение, не зная о том, что мы живем, не чувствуя нашей тяжести, и вовсе не надо быть насекомым, чтобы уловить, понять эти сигналы жизни, для этого не надо быть насекомым, но кем же надо быть, чтобы их не понять?

Так вот этим кем-то и был я, рассуждающий о технике езды, но что я мог знать о технике жизни, о ее основных и первейших технических правилах, о том, что если смешать некоторые элементы в определенное время, в определенной последовательности и пропорциях, то получится уже та, а не другая смесь — это любой учителишка химии знает, так как знает эти свои составные наизусть, и умеет проделать свои дешевые фокусы перед изумленным классом: блеск, треск, дым, он и живет ими и умрет с ними, как со своими десятью пальцами, а я-то откуда мог знать, все это вместе взятое — так же просто, как дважды два, эта гора сена, пусто жужжащая насекомыми, и ночь, и девушка, и парень...

Ну откуда я мог это знать: все было хорошо, здорово, но все потом — настроение, место, время, каждый элемент на особицу, и что толку, что они были, если я никогда не делал таких опытов, не мог ура[illegible] результатов, не мог их себе представить, а моя дерзость открыт[illegible] была точно букашка, придавленная горой сена.

[illegible] была ошибка — ведь, может, вовсе не пришлось бы стыдиться, [illegible] иначе, а может, и опозорился бы куда больше, если бы это не [illegible] стыда, который я сейчас должен похоронить? И может, бы[illegible] вдвойне, потому что мужской стыд куда тяжелее, чем дет[illegible] ческий стыд.

Она [illegible] ворочалась перед сном, долго возилась на шуршащем сен[illegible] женно спросил:

— Т[illegible] Может, мое одеяло хочешь...

— Не[illegible] на раздраженно и с минуту лежала неподвижно.

А потом о[illegible] я думал, что она уже спит, громко вздыхала, точно ей не хват[illegible] воздуха, и вертелась с боку на бок — всего на расстоянии руки от [illegible] от она приблизилась так, что я чувствовал ее дыхание, и сам ле[illegible] неподвижно, чтобы она наконец заснула, боялся даже пошевелиться, [illegible] немного погодя резко отвернулась от меня, как будто прорвалась [illegible] сдерживаемая ярость.

— Тебе душно? — спросил я.— Может, ворота открыть?

Она промолчала, а когда я подумал, что она уже погружается в сон, чуть не крикнула:

— Не беспокойся обо мне... Какое тебе до этого дело!..

Я приподнялся, глядя на [illegible] шуршащий мрак, мне казалось, что я вижу черный блеск ее [illegible] но после этого уже ничего не было — ни слова, ни легкого движения, [illegible].

В Гижицке было по-другому, о, там она была куда веселей, но это тоже не моя заслуга, просто было светло, тепло, солнце сверкало в набухшей от росы листве, и люди, люди... Не обыкновенные люди, как в Августове или на шоссе, нет: ровесники, в мягких заграничных куртках, в штанах из белой как снег парусины — ну, словом, подонки; два таких красавчика приехали на мотороллере марки «ламбретта TV-175», эта «ламбретта» неплохая кобылка, дисковый тормоз на переднем колесе, выжимает за сотню, четыре скорости вручную, как положено чистокровному роллеру,— но что делать, если все равно как-то смешно, человек, будто обезьяна на самокате, по мне уж лучше нормальный мотор, хоть бы наш SHL-175, тоже хороший вид имеет, а на виражах безопаснее, потому что колеса девятнадцать дюймов, и с запасными частями легче, любой деревенский кузнец починит, или «юнак» — двигатель четырехтактный верхнеклапанный, тоже неплохо, триста пятьдесят кубиков, а на всю катушку да по шоссе сто двадцать пять легко жмешь, особенно если на хорошем бензине — тут каждого стиляжонка на мотороллере можно сделать. Теперь-то я куплю себе моторчик в рассрочку, а тогда и не думал, и роллера с меня хватило бы по многим причинам, и когда они с гомоном подкатили, то я позавидовал не роллеру, а этому гомону, позавидовал, что они могут так громко, так свободно и по-обезьяньи орать при виде Анки, а потом, когда один из них ставил машину на подпорку и запирал, я позавидовал второму, который подбежал со своим доморощенно-американским воплем, схватил и подкинул Анку, в то время как я держал наши запыленные велосипеды, а потом позавидовал еще одному, потому что он тоже бежал с этим биг-битным воплем и перестал вопить, только чтобы расцеловать ее, а она тоже что-то завопила — первый раз я услышал такой ее вопль, и от этого мне будто между ребер нож всадили.

И тут громко, на всю площадь перед кафе, посыпались разные имена, целую школу можно было собрать из этих имен, но это была не школа, а высший свет, мир дорогих блузок, черт-те каких штанов, нейлоновых рубашек по девять долларов штука, сигарет марки «[illegible] рис» — у меня прямо голова кругом пошла, и я хотел отъехать, [illegible] и отъехал бы, но я держал Анкин велосипед, боялся его оставить, боялся обратить на себя внимание, они бы уничтожили меня взглядами, я знал, что это все равно случится, но лишь бы не сейчас, не сейчас — и я торчал у столбика на свободном месте паркинга около [illegible], сверкающих и чертовски дорогих, держал оба велосипеда за руль, как собак за сворки, так и стоял между ними, сам понемногу [illegible] не то в столбик, не то в собаку.

А они тем временем играли в свой пинг-понг, [illegible] на одной ноте, на одном горловом вопле, с целым набором то резких, то мягких однотипных движений, выражающих радость и возмущение, силу и самостоятельность и снисходительное превосходство над всем миром,— тут вот, на паркинге перед кафе, в солнечном Гижицке, большое собрание богов; этот божественный вопль — вопль [illegible] глупой силы и глупой глупости, задиристый, вызывающий [illegible] на одной ноте, а мотороллер «ламбретта» с синевато-красными [illegible] полосками, с передним колесом слегка, пренебрежительно [illegible] в мою сторону, был олицетворением этого величия.

— Когда ты приехала, чувиха, а мы сегодня дадим копоти!

— Одна или с мальчиком?!

— А мы на той неделе [illegible] дрили!!!

— Дела — во идут! Все в жилу, только накалывай!

— Хата законная, обязательно посмотри!

— Лена тут, с одним немцем, рыжий, но с машиной!

— Роберт женится!
— На ком, вот жалко малого?!
— На дочке директора. Бригида, ну, знаешь, та зажигалочка!
— Ого, это карьера, может и не работать!..
— Липа, старик нищий, еле пять косых жалованья тянет!
— Поночевки здесь правильные, тайгер-рэг выдают!
— Портки-то итальянские, Капри написано, глянь!
— А что с Ежи, сделал тот фильм, наконец?!
— Януша не видала?!
— Должен был поехать во Францию!
— Экзамен засыпал, но предки обещали уладить!
— Бобек в Югославии крутит!
— Пхе, Стефан в Риме, во! «Фиат-1 100» привезет, так и грозил!
— А мой предок «пежо» привез из Парижатина!!!
— Выглядишь ты — бомба, только волосы смени!
— Лёлек — чокнутый ходит!
— Все еще влюблен в Кицю?
— С ума сходит, а она налево работает, с киношниками.
— Они в Закопе, в июле вместе ошивались!
— Ленка на десять косых его расколола!
— Вот так, старик дал на пошлину, выписываю «ситро-2CV».
— Скинут пошлину, у старика есть рука!
— Ты умеешь танцевать кисс-ми? А по мне так лучше сёрф!
— В Сопоте жажа!
— Муть, в Гранде — тоска зеленая!
— Объехали с Витеком взморье и заскочили сюда!
— А ты знаешь, у Баськи искусственные ресницы, зеленые и ры-
!
— Зенон ей прислал, полдоллара пара, сто пар!
— А тот мулат, что с ним?!
— Вернулся на Кубу, Янку обставил, теперь Ром ее утешает!
— Кадришки у вас есть?!
— Есть, тут товара хватает!!!
— На будущий год на машине подорвем, это производит!
— Пропускная способность увеличится сама знаешь как!
— [illegible] что Парижатин удастся наколоть!!!
— [illegible]ои ноги, Анка, поправляются?
— [illegible] как у ней ноги поправились!
— [illegible]е тип-топ, Болек тебе хорошо посоветовал!
— [illegible]евиденья, забеги к ним!
— Об[illegible] вход!
— Зако[illegible]
— Нет, с [illegible]
— Шутишь!!!
— А то!!!

Я держал наши вел[illegible]ал, как испуганная собака, всей своей шкурой, а те расста[illegible] свой необычный, плотно бумажный, непроникаемый мир, кото[illegible]т солнце и не пропускает воздуха.

В какой-то момент я забыл, [illegible] чувствую, равнодушие обволокло меня, будто теплая вода, я [illegible] велосипеды к столбику, достал из кармана цепочку с замком и [illegible] чтобы сцепить передние колеса.

Тогда они увидели меня и вдруг з[illegible]; тишина эта резнула, как скрежет разваливающейся машины, а они подош[illegible]ли, стали рядом и

смотрели, как я продеваю цепочку сквозь спицы, как хитро запутываю ее и как защелкиваю замок.

Потом я поднялся — я был выше их на голову,— они смотрели на меня с холодным, враждебным любопытством, я испортил им всю игру, потому что это был я, потому что если бы был кто-нибудь другой, тогда бы нет! — тогда бы им было еще веселей, а это был я... даже если ты всего лишь на велосипеде, и то можно одеться шикарно или хотя бы с броской придурью; они быстро оценили мое невзрачное барахлишко, прикинули, что на большее я просто не тяну, что родители мои наверняка в шестом часу тащатся на работу сонным и затхлым трамваем, все это я увидел в их глазах и уже имел над ними то преимущество, что родителей моих не было в живых, я даже лиц-то их не помню, да и откуда мне помнить.

— Это мой приятель,— сказала Анка своим нормальным голосом, и они подали мне руку каким-то неживым движением, а я пожал эти руки, резко этак, даже судорога у них по губам пробежала.

— Что будем делать с этим прекрасно начатым днем? — спросил один, а другой равнодушно разглядывал мой велосипед.

— У меня такой был,— проворчал он,— только французский, «элиет», с переключателем Симплекса и ступицами Брантона. Лучшими в мире.

Это обрадовало меня.

— Вы ездили? — спросил я, оживившись.— Может быть, в клубе?

Он пожал плечами и скривился.

— Э-е... Мне было тогда тринадцать, я в седьмой перешел, и старик мне из Парижатина привез. Я его тут же махнул на магнетик.

— Какой магнетик? Что это такое?

Он посмотрел на меня как на психа.

— Магнитофон,— быстро пояснила Анка, несколько растерянная.

— «Филипс», четырехдорожечный, три динамика, микрофон с присоской...— Произнеся это, он повернулся и медленно, покачивая бедрами и сверкая буквами «Капри», вышитыми на заднице, пошел к «ламбретте».

Подошел, пнул ее, так что она сразу зафырчала, и прыгнул в седло.

Второй за ним, уже на ходу.

— В семь здесь! — крикнул он.— Бай!

— Бай! — крикнула Анка, помахав точно так же, как они.

И снова я почувствовал боль, будто от удара ножом.

Я-то за погнутым колесом, за обручем, на [illegible]м, бегал, подгонял его проволочным крюком. Хорошая [illegible]рошее колесо — это уже так много в тринадцать лет, [illegible]же ты мой, эту мечту я окупил работой, целый год пом[illegible]ко с Вульчанской улицы в душной пекарне,— когда пекли хлеб, я [illegible]тел, таская мешки с мукой, раскладывая хлебы по по[illegible], потом [illegible]шни выскребал, выполаскивал из шланга, подметал [illegible] дал мне за это добрый пекарь Ситко с Вульчанской у[illegible] старый велосипед марки «громада», сразу после войны выпущенный, за [illegible] велосипедом люди тогда месяцами стояли, особый та[illegible] надо было иметь, записаться в очередь, добрый Ситко целую лекцию мне об этом прочитал, чтобы подчеркнуть цену своего вознаграждения,— на этой «громаде» с побитой в двух местах рамой, с «восьмерками» вместо колес я выиграл первенство неохваченных спортобществами юниоров всего два месяца спустя. Тогда-то занялся мною клуб, и я получил неплохой велосипедик, а после нескольких соревнований уже по второму разряду получил этот «ураган»

как приз лучшему юниору округа. Но это потом, а сначала был велосипед пекаря Ситко марки «громада» — тяжелый, как танк, и этот велосипед я добыл трудом, а были такие, что и понятия не имели о работе, о пекарне, о мечте, распирающей тебя, об обруче, о рухляди марки «громада» и даром, ни за что получали «элиеты» с переключателем Симплекса и ступицами Брантона, с пластиковыми контейнерами — те «элиеты», на которых профессионалы, лучшие гонщики мира Фаусто Коппи, Бобе, Эрнандес побеждали в Тур-де-Франсе на лучших машинах в мире.

Мне вдруг стало как-то зябко, я стоял как вкопанный и дергал тормозной тросик от моего велосипеда.

— Пойдем поедим что-нибудь,— сказала Анка и легко коснулась моей руки.— Не переживай ты из-за них, это же юнцы, страшно забавные... и ничего больше,— резко заключила она, обрывая всяческую дискуссию.

Мы пообедали в том кабаке, где «правильные поночевки», потому что там «выдают тайгер-рэг», а потом перешли пить кофе в кафе напротив паркинга, там был музыкальный автомат, я четыре раза завел одну и ту же штучку, «Мария-Хелена», в исполнении Нат-Кинг-Коула, обошлось это в восемь монет, по паре за раз, но зато я выучил эту песенку наизусть и мысленно уже играл ее на своей гармошке.

В кафе мы сидели долго, мне уже надоело, и я все тянул Анку к выходу, но она то и дело смотрела на часы и говорила:

— Посидим еще минутку, торопиться некуда.

— Надо же ночевку организовать,— напомнил я.

— С этим делом здесь легко,— махнула она рукой.— Любой пустит.

Я посмотрел на нее пристально:

— Ты хочешь встретиться с ними в семь?

— Ну что ты! — засмеялась она, слегка оскорбившись.— Это же [illegible]яки.

— Тогда чего мы сидим?

— [illegible] тебе плохо? Чудная музыка...

[illegible]наяривал без передышки. За столиками, небрежно разва[illegible] в низких креслах, сидели компании подонков, бородатых [illegible]стриженных, штаны непременно белые или джинсы из твер[illegible]го твердого, что их можно было посреди комнаты поставить [illegible], это мне показывал в клубе один тип, рубашки «поло» [illegible] с большими карманами, из которых торчали трубки или [illegible] серебром пачки американских сигарет. Девушки то[illegible] только до колен, на ногах сандалии, вернее, одни подошвы, [illegible] помощью ремня между пальцев, а ногти на этих пальцах бы[illegible] серебряным или голубым лаком, и у всех девушек было одно [illegible]ражение лица, как будто только одна девушка и сидела в за[illegible]ством зеркал.

И я увидел вдруг, что на [illegible] появляется такое же выражение какой-то чрезмерной сытости, [illegible]покойствия, граничащего с легонькой брезгливостью, но гра[illegible] прямо, а так, что тут еще была целая река скуки. В этом [illegible] что-то неведомое, настораживающее, словно за пустотой эт[illegible]р сверкающих глаз скрывалось и творилось что-то поразите[illegible]красное: преступление из-за любви? убийство из-за любви? смерть из-за любви? а может, только смерть и только любовь? или то и друго[illegible], смерть и любовь переплелись, спутались во что-то такое, чего и не [illegible] и не распознаешь?

Все равно, это было что-то бо[illegible]ое, красивое и таинственное, и я, человек, который не делал химических опытов и не знал всяких этих

эффектов, чувствовал, как во мне все больше нарастает любопытство, ожидание необычности и страх перед этой магмой горячей живой крови, заключенной в упругих, здоровых телах, пока что лениво-спокойных, так терпеливо ожидающих того, что заставит их вибрировать, бросит в бесконечно нарастающую тряску... Нет, тогда я ничего не знал, это только теперь мне так кажется — теперь, спустя два года, когда я уже все хорошо узнал, настолько хорошо, чтобы стремиться познавать это постоянно, как можно чаще, без конца.

И все же мы связались с этими подонками, произносящими «элиет» и «магнетик» таким тоном, каким сытый человек говорит: хлеб и вода. Анка ведь знала, чего она хочет, пусть это и не спортивно, и хотела этого, и стало быть иначе и быть не могло, и я тут не мог помешать. Мы пошли с ними на танцы в ресторан напротив кафе и почти весь день и ночь провели в дыму, визге, в жуткой глупости и винном перегаре, в тошнотно-остром запахе голых, потных от танца ног, влажных девичьих плеч, вздрагивающих грудей.

Анка танцевала. Она словно плыла на облаке волос, колышащихся вокруг ее лица, вся в еле уловимых микрожестах, микродвижениях, микровращениях; только блеск зубов, краткая вспышка ногтей давали знать, что она живет, что движется; весь танец происходил внутри нее, был чем-то несравненно большим, чем танец, но я только теперь знаю, что это было.

Я сидел за столиком, стиснутый десятком таких же, как те двое, как будто они вдруг размножились делением,— достаточно было взглянуть на одного, чтобы знать, что говорят и что делают остальные,— я чувствовал себя потерянным, обложенным, так что порой даже хотелось, чтобы они уже кинулись на меня и принялись топтать своими мягкими, плетенными из ремешков башмаками с золотой надписью на подошве «Made in Italy». Они показывали пальцами на танцующих девушек и произносили много самых диковинных кличек; только сейчас, после армии, я знаю, что означают эти клички, и знаю, что все они всем принадлежали сразу, по очереди, на выборку, это была конюшня чистокровных кобылиц и стадо жокеев, это был редкостный семейный клуб и редкостное сожитие, они знали все свои особенности и маленькие прихоти, эти отличия, выпархивающие с темнотой, как бабочки из окраски; только теперь я это знаю и не знаю, лучше ли это; но об Анке они ничего не сказали, они говорили о ней «Анка», без всякой клички без определения ее особенностей — и только теперь я знаю, что это было из-за меня, они меня чертовски боялись, я был обычный, из нормального мира, и, значит, опасный: я не пил, не курил, тренировался как гонщик, силы и выносливости у меня было больше, чем у всей этой шатии, они это знали и брызнули бы, как зайцы, если бы я на них бросился, но я не знал об этом, я сам боялся их, как заяц, и только теперь я поумнел, и, хоть сволочи этой не убоялось, я уже с ними никак не стыкуюсь.

Столько шуму, воплей и музыки — что же из этого получится, думал я, тут какой-то колоссальный матч, какие-то утомительные состязания, должен же тут быть какой-то результат, кто-то проиграет, кто-то выиграет, но кто, как я это узнаю? Тайгер-рэг был действительно хорош, я запомнил наизусть «Saint James Infirmary», старую негритянскую погребальную штучку, дьявольски грустную, трубач без левой руки хрипел, будто пилил зазубренным ножом потное горло; чем все это кончится, думал я, столько водки и вина, столько дыму, воплей и глупости, столько загубленного здоровья, и ради чего? Меня уже здорово клонило в сон, и я думал о наших велосипедах, оставленных в ветхом чуланчике по соседству, там петля выскакивала из треснувшей доски, могли про-

пасть наши велосипеды со всеми привязанными к ним вещами, эта мысль не давала мне покоя, я хотел встать и взглянуть на них, как вдруг раздался крик девушки:

— Сколько? Со сколькими?

Какой-то парень, высокий и толстый, одной рукой бил ее по лицу, голова ее отлетала то в одну, то в другую сторону, несколько других парней стояли, засунув руки в карманы, и ждали, чем это кончится.

— Сколько! — кричала девушка.— Я уже не могу, хватит с меня, у меня все болит... Я зарежусь, бритву мне, бритву!

А он все бил ее, и она кричала все громче, и те все внимательней следили, какой эффект это произведет, а за нашим столиком кто-то пробормотал:

— Ого, гоношится, цену себе набивает...

Все лениво засмеялись, а один добавил:

— Радоваться должна, все равно уже с круга сходит...

Вдруг она перестала кричать, и этот тип перестал ее бить, она улыбнулась окружающему миру сквозь сумрак и дым, поправила волосы и спокойно пошла к выходу, а за нею между столиками двинулся ее укротитель и еще несколько типов в белых штанах и полосатых рубахах.

Анка все время танцевала, в перерывах выпивала полбокала вина и снова шла в толкучку, наконец она схватила меня за руку и потянула с собой — играли что-то медленное, можно было танцевать как танго, я топтался на месте, чувствуя в голове пустоту, руки у Анки были липкие от прикосновений тех типов, мне было немножко противно, а она прижималась ко мне, бормоча что-то длинное-длинное, но я не понимал ни слова, чувствуя запах ее волос, смешанный с дымом. Вдруг заиграли быстро — медленное это было только вступление,— и я беспомощно остановился, танцевать я умею только танго, ненавижу все эти выкрутасы, когда ягодицами чокаются, будто звонари в колокола наяривают, когда хватают дым растопыренными руками и кривят морды в мутном воздухе, я остановился, она немножко еще попрыгала передо мной, делая глупо-блаженные мины, но потом спохватилась, притормозила и, только чуть заметно подергиваясь, спросила:

— Почему ты не танцуешь?

— Завтра надо ехать дальше,— сказал я, подталкиваемый со всех сторон расходившимися подонками.— Мы же сто километров хотели сделать...

Она вдруг переменилась, припала ко мне, влипла в меня всем телом и пальцами затеребила мою рубашку, как в любовном фильме, который я видел года два назад.

— Я хочу быть твоей,— громко шептала она сквозь вопли музыки,— только твоей, понимаешь?

Я не знал тогда, как надо отвечать и сказал:

— Понимаю.

В любовном фильме тогда не дрались, но я повторил:

— Понимаю.— И добавил: — Ты, наверно, чертовски устала.

— Идиот,— сказала она.— Ну ведь ты же идиот!

Рассвет был слегка подкрашен розовым цветом, вся эта орава вывалилась из кабака, те типы вскочили на мотороллеры и уселись в машины, разные у них были: «осы», «вески», «вятки», «трабанты», «сирены», «дофины», а у одного белая «рено-флорида» с черной складной крышей, девушек погрузили на все эти машины, и поднялся дружный, пронзительный рев:

— Утреннее омовенье! Умываться! Умываться!

Разные типы махали Анке, показывая, что еще найдется место, многозначительно хлопали по заднему сиденью своих роллеров, распахивали дверцы машин, один даже высадил свою девицу, чтобы взять Анку, но она смеялась, качала головой и шла вдоль паркинга, и я за нею, будто живая тень, а в самом конце стоял «мерседес-220SE» с немецким регистрационным знаком: большое «D» над задним номером.

Огромная это была колымага, с серебристо-сизой лакировкой, широкая, как два дивана, удобная, как дом, под ее лоснящейся шкурой скрывался целый табун лошадей, а одна лошадь — это сила, способная поднять семьдесят пять килограммов на метр высоты в течение одной секунды, и я быстро подсчитал, сколько могла поднять эта великолепная зверюга, названная именем жены конструктора, эта прекрасная, дорогая мадам Мерседес, но тут нечего было поднимать, тут был только привод на задние колеса со скоростью шестьдесят метров в секунду, что дает в сумме двести шестнадцать километров в час, выверенные на тормозном стенде, а в обычных условиях, с полной нагрузкой прекрасная мадам Мерседес мчится по свету со скоростью около двухсот.

Рядом стояли несколько белоштанников, они разглядывали это чудо с благоговением, ловко скрываемым иронической ухмылочкой, и снова посыпались уже знакомые фразы, только на этот раз шепотом:

— У Збышека тоже есть «мерседес», только 220....

— А это 220SE...

— Лена крутит с тем рыжим, тоже на «мерседесе», только 220S...

— А это 220SE...

— Мой старик, может, привезет через год из Парижатина...

— Ты! Эта штука стоит четыре с половиной...

— Чего?

— Тысячи. Долларчиков.

— В Европе из серийных только «роллсы» дороже...

— Это у англичан, а на континенте «мерседес» первое место держит...

Треск, свист и облачка выхлопов вздымались к небу, наливаясь, мутясь солнцем. Мотороллеры и машины бешено рванули, заполнили все шоссе, перетасовываясь по дороге, к большому озеру Мамры.

— Идем,— сказал я Анке, когда мы насмотрелись.

Она взглянула на меня так, словно все еще не очнулась, и в глазах ее пламенело все небо.

— Красивый какой цвет,— прошептала она, проведя ладонью по сверкающей ручке.— Кремово-песочный...

И тут, когда мы так стояли около «мерседеса», почти опершись на него, будто владельцы, появился он, хозяин, виновник моего позора.

Он был высокий и сильный, в мягком костюме стального цвета, воротничок на коричневой шее оттенял голубизной белизной.

— Виноват,— сказал он и удивился, все даже на нас не глядя.

Мы вдруг отпрянули, как спугнутые голуби, а он, милостивый и благородный коршун, вложил маленький, невидимый ключик и открыл дверцу, мягко, таким красивым и привычным движением, сел в машину, и сразу шестицилиндровый мотор тихо заработал под капотом.

«Тихо работает,— подумал я,— шестерка всегда на холостом ходу тихо работает».

А может, я сказал это вслух, потому что он выставил голову в окно:

— Подвезти?

Тогда я увидел спереди его лицо, выделанное, как хорошая кожа,— ни одной морщинки лицевой, ровно столько, сколько надо, чтобы было красиво; виски, подернутые сединой, или, может, это никель блики отбрасывал.

Я испугался и покачал головой из стороны в сторону, я просто трясею, даже когда он исчез в пустой улице, когда исчезла легкая пыль после него и запах чистого, «десертного» бензина.

Теперь, когда я здесь, чтобы спихнуть, скинуть, свалить с себя воспоминание о моем позоре, похоронить его под развалинами величайших бункеров и сыграть над его убогой, хотя и фундаментальной, могилой «Saint James Infirmary» и «Вот приехали уланы», а может, и «Марию-Хелену» вдобавок, если будет охота и не пойдет дождь,— теперь-то я знаю, что совершил тогда вторую ошибку, не поняв по лицу Анки, по лицу неподвижному, устремленному в поворот улицы, где еще трепыхался отброшенный машиной клочок бумаги, не поняв по ее лицу того, что она думала, чувствовала, чем жила, чем была, и вообще всего. Это была ошибка.

А не было бы ошибкой пойти в снятый у хозяина чулан, отвязать велосипеды, отделить от ее машины свою, сесть на этот старый, добрый, любимый велосипед, который был частью меня самого, и рвануть отсюда финишным спуртом, пройти на шестидесяти километр, а то и два, миновать пару поворотов, сменить пару дорог, вернуться в Августов, сесть на берегу Белого озера в туманных сумерках и, играя на гармошке, утопить воспоминание обо всей этой истории, которая не больше чем камешек в прибрежной воде.

Не было бы ошибкой сбежать вчера, после встречи с мотороллером «ламбретта». Не было бы ошибкой сказать этой девушке, когда она подошла ко мне, сидящему на свае разбитого мола,— не повернув головы, а только перестав играть:

— Катись отсюда, цыпочка.

Да, все это не было бы ошибкой.

Только разве тогда пришлось бы чего-нибудь стыдиться? И о чем-нибудь так вот думать? И было бы тогда от чего поумнеть?

Мы тут же поехали к озеру Мамры, там на берегу стояли мотороллеры и машины, длинный пирс гудел от босых ног, вся эта публика прыгала в воду, над которой вздымался тонкий, молочный и редеющий слой тумана, вода на рассвете теплее всего именно в тот момент, когда встает солнце, это было утреннее омовение с воплями и бултыханием, потом они уплывали парочками к далекому островку, становившемуся с рассветом все отчетливее, и оставались там подолгу, машины терпеливо ждали, я тоже прыгнул в воду и почувствовал себя прекрасно, Анка плавала быстро, прежде чем я заметил, она уже отмахивала к острову, а за ней, будто акулы, кролем шли трое.

Я поднажал и догнал ее, но она не хотела возвращаться, я боялся, как бы не случилось что-нибудь неладное — она же столько пила, уморилась от танцев, судорога могла схватить и утащить ее на дно, я плыл с нею, все время внимательно глядя на ее лицо, исчезающее и выныривающее из воды, она плыла классическим брассом, те трое, как акулы, шли за нами, и я даже рад был этому — если бы с Анкой что случилось, было бы легче дотащить ее до берега.

На острове я увидел, что это малорослые и хлипкие парнишки; Анка криво усмехнулась и махнула им рукой, мы отошли в густой, царапающийся лес, но наткнулись на полянку с палатками и потому пробрались подальше, сели там на пеньках, немного дрожа от холода и растирая гусиную кожу.

— Не грусти,— сказала Анка, легонько хлопая меня по спине.— Ты странный, но ведь и я тоже. Может, по-иному, но тоже.

— И вовсе ты не странная,— сказал я, растирая ей плечи.

А сам думал: «Черт знает, до чего странная».

— Ты меня не понимаешь,— сказала она, стуча зубами.

— Понимаю.

А сам думал: «Нисколько я ее не понимаю. Ну нисколько».

Она крепко прижалась ко мне, я ее обнял, в первый раз мы прикоснулись друг к другу вот так, почти без одежды, так что меня просто затрясло, листва на деревьях почернела, деревья зашумели тяжело, и стало так душно, словно самый воздух исчез.

Это был наш первый поцелуй. Анка засмеялась и дернула меня за мокрые волосы.

— Ах ты, ребеночек, да ты же ничего не умеешь...

Я до того обалдел, что даже не понял.

— Ты знаешь, как этот остров называется? — спросила она.

— Нет.

— Остров Любви.

Она опустилась на землю, влажную и шершавую от хвои, раскинув руки, а одной рукой держала меня за щиколотку и смотрела в небо. Она щекотала мне ногу, а я сидел неподвижно, внимательно глядя на нее.

— Очень красиво называется.

— Что?

— Этот остров,— сказал я.— Я много островов на озерах видел, и каждый так называется. Остров Любви. Или Чертов остров. Здорово, только ничего другого люди будто и не могут придумать.

— А что бы ты хотел? — Она уже начала злиться.

— Откуда я знаю! Как-то иначе. В Картузах я видел один — я тогда на байдарке шел и разбился на камнях,— Дьявольский Назём назывался. И правильно.

— Это там у тебя байдарка разбилась? — спросила она странным голосом, как будто с другого конца света.

— Там.

— Ага.

И тут я снова совершил ошибку, потому что, когда она начала подниматься — неловко, точно усталая донельзя,— я подал ей руку, и помог встать, и отряхнул ей спину от прилипшей хвои, травы, кусочков коры и маленьких прутиков, и сказал, действительно озабоченный:

— Как бы ты не простудилась...

— Болван! — крикнула она.

Так мы стояли друг против друга, и тут я задрожал, попытался обнять ее и поцеловать второй раз, и она тоже дрожала от возбуждения и от озноба, но она отшвырнула мои руки и, пожав плечами, медленно, осторожно ступая, пошла к берегу.

Мы быстро приплыли обратно, и там, на пирсе, когда я скакал на одной ноге, ковыряя пальцем в ухе, чтобы вытряхнуть воду, Анка ехидно спросила:

— А одеваться ты сам умеешь?

Вся эта публика с машинами куда-то разбрелась, часть уже уехала, мы сели на свои велосипеды и добрались до молочного бара, а после завтрака я достал карту, чтобы посмотреть, куда нам двигаться. Можно было и в Миколайки, и в Венгожево. В Миколайках база яхтсменов, наверняка у Анки там опять знакомые, поэтому я схитрил:

— Красивое место Венгожево, знаешь его?

Она поморщилась.

Нет. А вот Миколайки знаю. Там интересно.

— Весь город ремонтируется,— брякнул я наобум.— Парень один говорил. А Венгожево ближе.

Она не очень охотно, но согласилась.

Я проверил резину, немного подкачал, и мы поехали.

За Гижицком расходятся три дороги.

— Сворачиваем направо! — крикнул я.

Но тут, когда я входил в вираж, а она была в каких-то двадцати метрах позади меня, мимо промчался быстрый, сверкающий, как ракета, «мерседес», увлекая за собой дымку, влетел на шоссе, идущее прямо, только мигнул еще знак «D» над регистрационным номером сзади, а жал он по меньшей мере сто двадцать, потому что только в глазах мелькнуло, будто отблеск на воде.

— Это тот немец! — крикнула она, проезжая мимо поворота.

Я оглянулся, Анки за мной не было. Она быстро уходила по тому шоссе, куда скользнула машина, изо всех сил крутя педали, будто хотела ее догнать.

— Стой, ты куда едешь?! — крикнул я.

Но она не слышала или не хотела слышать, деревья уже заслоняли ее.

Я притормозил, повернул обратно, переключил шестеренку и, стоя на педалях, спуртанул. Вираж-другой, и я догнал ее — все это время она бешено крутила,— схватил сзади за седло, придержал, и мы остановились на обочине.

— Куда ты едешь?

Она молчала.

— Едем обратно.

Я повернул, но она снова поехала прямо. Я рассвирепел:

— Ты хочешь ехать со мной? Или одна? Говори!

Я медленно ехал рядом с ней, она подбавила скорости, и мы вошли в поворот, она срезала его и вышла на левую сторону шоссе.

— Сходи направо! — крикнул я.

Хоть бы что.

— Сворачивай,— говорю,— а то столкнешься!

— А тебе что! — крикнула она.

Я-то знаю, что может получиться при такой неправильной езде. Промчалось несколько автомобилей. Раза два я похолодел. С какого-то грузовика ее крепко обложили. Наконец мы въехали в маленькое селение, шоссе перешло в разъезженную улочку. С Анкиной стороны тянулась длинная красная стена. Поворот! Анка едет у самой стены. Едем быстро. Поворот крутой, чуть не под девяносто градусов. И тут сбоку, из-за стены, вылетает парень на мопеде. Анка в метре перед ним. Оба резко тормозят. Машина парня пляшет то влево, то вправо. Он проносится мимо Анки, почти задевая ее. Анка сваливается с велосипеда. Парень взлетает в воздух и падает на середине дороги. Машина его крутит колесами, юзом съезжает в канаву на моей стороне, чуть не сшибив мой велосипед — сантиметра не хватило.

Парень лежит неподвижно. Анка вскакивает и бежит к нему. Он встает, зеленый от страха. Руки содраны в кровь.

— Живой? — кричит Анка.

Я бегу к ней. Оттягиваю ее с середины дороги. Поднимаю велосипед. Парень прыгает в канаву, вытаскивает свою машину. Я вижу, что она целая, никаких поломок.

Кричу:

— Как ты ездишь, дерьмо этакое!

Он пытается что-то сказать, потом только машет рукой и выправляет руль, зажав колесо между коленями.

— Садись! — кричу я Анке, подавая ей велосипед.

Она быстро усаживается на седло.

Парень запускает мотор и, виляя, уезжает. Мы тоже едем.

— Газуй! — кричу я.— Как только можешь!

Три километра быстро остались позади. Потом я подал знак, и мы свернули в лес. Тут было прохладно.

Мы сели на мох, и Анка стала разглядывать разбитое колено. Ничего страшного. Она легла.

— Спать хочется,— сказала она.

Тут я достал из левого контейнера книжечку и бросил ее на мох перед Анкой.

— На-ка, почитай, поучи правила движения, а потом и поспать можешь!

Что началось! Анка вскочила и разодрала книжку в клочья, швырнула их в меня и закричала:

— Не командуй мною, идиот! Глуп ты еще для этого. Дурак, олух! Хам!

И она кинулась на меня с кулаками. Я крепко сдавил ее кисти. Она начала лягаться. Я прогнулся, чтобы она не могла меня достать, резко дернул ее к себе, повернул спиной и завел назад руки. Она визжала и выла.

— Ударь меня, ты, хамюга! Ну, бей!

— Не ударю,— спокойно сказал я.— Не ударю. Ты расшиблась, когда слетела с велосипеда. Если бы это был автомобиль, тебя бы уже не было в живых...

— Избей меня! — кричала она, и этот крик перешел в рыдание.— Избей, молю тебя!

Она кричала все тише, пока не умолкла совсем, и вырываться перестала; я отпустил ее, она упала на землю и заплакала дико, судорожно.

Я сел и стал ждать, когда это кончится, потому что ничего больше не мог сделать.

Наконец она успокоилась, полежала минутку неподвижно, потом подняла опухшее, красное, запорошенное мхом лицо и спросила:

— Почему ты меня не ударил?

— Потому. Я дал себе слово, что никогда в жизни не ударю ни одной женщины. Это не противник.

Она посмотрела на меня с иронией и презрительно скривилась.

— Ну, круглый дурак! Круглый,— повторила она подчеркнуто, вскочила и быстро пошла в лес.

Я подождал немного, и все это время во мне нарастало странное, неприятное чувство, будто я был принижен до невозможности или будто сам совершил величайшее свинство, после которого даже в зеркало нельзя посмотреться. Это ощущение было какое-то живучее, и сильное, и злобное, как кошка, оно прыгало в самом моем нутре, и я думал, что с ума стронусь. Я быстро схватил свой велосипед и пошел к тропинке, а велосипед Анки остался в кустах; я подумал, что какой-нибудь прохожий может забрать его, и крикнул:

— Я ухожу! Велосипед остается!

Даже эха не было, так что я крикнул еще раз:

— Твой велосипед остается!

И, прыгнув в седло, медленно поехал по рытвинам к шоссе.

Вдруг сквозь шелест ветвей до меня донесся ее крик:

— Стой! Подожди!

Я не остановился. Она ехала за мной, ехала быстро, потому что голос ее все приближался:

— Вернись! Любимый! Я не буду! Аист, вернись!

Я выскочил на шоссе и оглянулся на эту лесную дорогу. Анка выехала из-за поворота и увидела меня:

— Аист, вернись! Я люблю тебя, Аистенок!

Я резко нажал на педали и помчал по шоссе, оно как раз шло под горку, а за мной еще долго летел этот крик, пронзительный, словно ее убивали:

— Я люблю тебя! Люблю...

И снова я совершил ошибку — надо бы тут же свернуть куда-нибудь, спрятаться и переждать с час или поехать в сторону, неведомо куда, каждая дорога куда-то ведет, остановиться у какого-нибудь озера и провести там остаток лета,— так нет же, я, как болван, летел по середине шоссе, обогнал пару мопедов, пока не почувствовал, что ноги у меня стали мягкие, просто вата вместо мышц: слишком резкий был этот спурт после бессонной ночи, помнится, я переключил шестеренку на двадцатку и даже на меньшую передачу, и теперь, спокойно крутя педали, приводил дыхание в порядок и мягко покачивался на мазурских взгорках.

Что я думал тогда, во время этой дурацкой поездки, трудно припомнить. Я ведь толком и не думал, как отношусь к Анке, а она — ко мне и на что нужна вся эта нервотрепка, куда лучше сидеть спокойно в Августове у Белого озера, отдыхать перед армией и играть на гармошке. Впервые в жизни стряслось со мной этакое, и, хотя я удрал и оборвал эту идиотскую историю, она все еще скреблась во мне, как живучая кошка.

Хлопок, шипенье, полетела резина. Передняя! Нормальную «шоссейку» на гонках меняешь за двадцать пять секунд, во всяком случае у меня такое время бывало, тренер засекал, наилучшее время по всему округу. Но сейчас шины у меня были побольше, проволокой армированные и с камерой, и торопиться было некуда; Анка, хоть бы третье колесо надела, все равно меня не догонит. Я, не торопясь, делал свое дело — сменил камеру, поставил другую, проверил ее и уже собирался садиться, как из-за поворота вылетел грузовик «форд-канада», старый, как мир, с плоской мордой, даже удивительно, что такое еще ходит и так хорошо выглядит. Грузовик тоже засек меня, притормозил и медленно подкатил ко мне, остановившись у обочины.

Я отступил к самой канаве. «Может, контроль,— подумал я,— может, дорожный инспектор на грузовике рыскает для маскировки», но тут дверца открылась и из кабины выскочила Анка, а шофер смеялся и этаким восточным говором тянул:

— Значит, барышня догоняй, да? А кавалер, значит, от нее драпает, красиво, да?

Шофер грозил мне пальцем, толстым, лоснящимся от смазки, даже солнце блеснуло на нем. Из кузова каких-то два типа спустили Анкин велосипед, она подхватила его, и грузовик с ревом покатил дальше. Анка, смеясь, подходила ко мне, ведя свою «сказку» иначе, чем обычно, и тут я увидел, что передняя резина тоже пустая, а вместо обода — «восьмерка».

Я молча взял ее велосипед, положил в канаву, снял колесо, сорвал резину, отыскал у себя ключ для ниппеля и небольшой кусок мела, пустой обод посадил в вилку, дал оборот и пометил мелом места, где колесо давало перекос, и там ниппель с одной стороны надо было подтянуть, а с другой отпустить, хорошо еще, что спицы были целы и нарезку не сорвало. Анка сидела в канаве и курила, внимательно глядя на меня, будто каждое мое движение хотела запомнить до самой смерти, а у меня за этой работой вся злость на нее прошла, мне уже было как-

то легко и весело, краем глаза я поглядывал на нее, но тут меня опять разозлило то, что камеру клеить надо: запасной у Анки, известное дело, не имелось, даже заплаток для заклейки не было; наконец, я все сделал, в рекордном темпе — не больше чем за полчаса, а она все это время просидела почти неподвижно, подтянув колени к подбородку, и выкурила три сигареты. А тут еще пришлось ниппельную резинку сменить — перегорела от быстрого накачивания. Это меня совсем допекло, я психанул:

— И зачем только ты ездишь на велосипеде?

Я хотел еще сказать, что она не имеет об этом никакого понятия, что ездит она как деревенская баба: какой ногой жмет на педаль, в ту сторону и вихляется — многое еще у меня на язык просилось, а она спокойно:

— Ноги.

— Что, ноги?

— С ногами плохо. Приходится ездить, чтобы ноги выправить.

— Как это, выправить?

— Так. Выровнять. Чтобы одинаковые были. Велосипед для этого лучше всего годится.

— Ты что... того?..

Тогда она вытянула свои красивые ноги и, показав на них пальцем, серьезно сказала:

— Одна тоньше другой. Сам видишь.

Я внимательно всмотрелся, она тоже смотрела, будто в первый раз видит свои ноги, но я ничего не мог увидеть, никакого изъяна, ноги у нее были на редкость красивые, это я уже тогда знал.

Я пожал плечами:

— Дура ты. Приснилось тебе.

— Да ты посмотри! — крикнула она чуть не со слезами.— Одна тоньше другой!

— Которая тоньше?

Она посмотрела опять.

— Левая. Погоди, нет... правая.

— Левая?! Правая?! Которая?!

— В зеркале это хорошо видно,— сказала она грустно.— Жалко, что зеркала нет.

Я велел ей встать и хорошенько разглядел ее, в двух шагах, вблизи — ноги были совершенно одинаковые.

— Возьми веревочку и смерь,— сказал я.— Щиколотку, икру и под коленом. И не городи ерунду.

Она поморщилась.

— Веревочка ничего не даст. На глаз видно. Веревка — фу! Все мне говорили. Знакомый врач посоветовал лето на велосипеде провести, это выровняет ноги. А может, уже выровняло... Хотя нет.

Как-то на лагерном сборе мы разыграли одного лопуха.

— Ты видал когда-нибудь белую мышь? — спросил его приятель.

— Видал,— похвастал лопух.

— Тю, он видал белую мышь! — крикнул приятель другому и постучал себя по лбу.

— Что, белую мышь? — закричал другой со смехом.— Идиотина!

— А вот и видал,— упирался лопух.

— Белую?!

— Белую.

Тогда пришли тридцать парней, и один у другого спрашивал, есть ли белые мыши, и каждый отвечал, что нету — ни в книжках, ни вооб-

ще. Каждый стучал себя по лбу. Все божились и клялись чем попало, что белых мышей нет, пока не пришли к выводу, что лопух спятил и скоро, того и гляди, начнет на велосипеде задом наперед ездить.

— Да где ты видал белую мышь, тютя?

— Разве что с перепою!

— Во сне!

Шуму было, гаму, заморочили лопуха так, что он поверил, а через час после такого балагана приятель снова спрашивает:

— Ну, скажи правду, видал белую мышь?

Задумался глубоко лопух, лоб наморщил, скрипел мозгами, чуть глаза не вылезли, и признался со стыдом, всерьез:

— Нет. Не видал. Всякие были, а белых нет.

— Это ты морскую свинку видел,— крикнули ребята.

— И верно! — обрадовался лопух.— Морскую свинку видел, а потом у меня перепуталось...

Я рассказал об этом Анке, посмеялись мы как следует, и больше она о ногах уже не вспоминала.

— А куда же мы едем? — спросила она наконец.

— Не знаю, ты сама это шоссе выбрала.

— Вот здорово! — крикнула она.— Поедем в неизвестность!

Снова замелькал какой-то городок.

— На базарной площади будут какие-нибудь указатели,— сказал я.— Надо бы все-таки в Венгожево.

Мы свернули в узкую мощеную улочку, ведущую к базарной площади.

И верно, в центре стоял указатель с тремя стрелками. Назад — на Гижицк, прямо — на Кентшин, вправо — на Венгожево.

— Придется повернуть,— сказал я.

Анка стояла под указателем как зачарованная. Но смотрела куда-то в другую сторону. Я тоже взглянул туда.

На другой стороне площади стоял кремово-песочный «мерседес-220SE».

Хозяин его маленьким сверкающим аппаратом снимал узкий кирпичный дом.

«Наверно, «лейка»,— подумал я,— в комиссионке был такой на витрине, двадцать тысяч стоит. Или «кодак-ретинетт», была в Лодзи немецкая экскурсия, и у всех «кодак-ретинетт».

— Смотри,— сказала Анка.

Я увидел, что немец подошел к киоску, взял бутылку желтого лимонаду и стал пить прямо из горлышка, вскинув голову к солнцу. Несколько капель заиграли у него на подбородке. Потом быстро сел в машину и уехал, рванув как на пожар, но шума мотора я отсюда не услышал. Он свернул на Кентшинское шоссе, и снова за ним трепыхались какие-то бумажки.

Анка быстро села на велосипед, переключила шестеренку и рванула вперед.

— Куда ты едешь! — закричал я со злостью, потому что она поехала туда же, куда и он.

Она не ответила и, пригнувшись к рулю, вовсю крутила педали; мы уже проехали последние домики и опять по шоссе, по этому паршивому шоссе добрались до какого-то Кентшина.

«Что за черт,— думал я,— что ее так тянет за ним?» Но говорить больше ничего не хотелось, это уже не имело смысла. Я терпеливо тащился рядом с нею — а мне-то какое дело: одним капризом больше, сейчас лето, главное, что есть воздух, солнце, можно крутить ногами,

еще немного времени остается до армии, безразлично, куда ехать, все равно в последний день августа я должен быть дома, в Лодзи, а до дома из любого конца Польши, что бы ни стряслось, проедешь не более трех дней.

Эти мысли успокоили меня, и я начал размышлять о том типе в «мерседесе». Видно, малый — ловкая штучка, если у него такая машина и он колесит в ней по Польше — один, свежий и отдохнувший, будто выехал за город воскресным утром и к обеду должен вернуться к жене. А по-польски говорит хорошо, как все вокруг, пару словечек бросил в Гижицке, у киоска болтал с бабой, шутил с нею, и она смеялась, высунув нос из окошка.

— Этот немец, пожалуй, не немец,— сказал я громко.

— Откуда ты знаешь? — спросила Анка.

Мы ехали уже медленнее, солнце пригревало сбоку, шоссе блестело, как стекло.

— По-польски говорит.

— Любой может говорить по-польски, если выучится.

— Ты думаешь, охота им учиться по-нашему?

— Может, это его хобби,— сказала она.

Я задумался.

— Нет, пожалуй, не хобби, они делают лишь то, что приносит деньги. У того, кто на довоенной «декавке» ездит, может быть подобное хобби, на большее его не хватит. Но такой вот мерседесник только и старается заполучить новый «мерседес», а на это уйма средств требуется...

— Ну, уж это ты хватил. Может быть, он наследство получил.

— Наследство! Тогда бы сюда не приехал. Скорее в Испанию или во Францию. Там теплее и виды получше.

— А ты там был?

— Да что ты! С чего ты взяла?

— Тогда откуда ты знаешь? Тут тоже красиво.

— А ты где-нибудь еще была? Во Франции?

— Нет.

— Откуда же ты знаешь?

Так мы трепались, потом я сказал:

— Может, он родных навестить приехал, тут их много до войны жило, а потом переселились на Запад. И теперь охота на старые пепелища взглянуть. Ничего удивительного, что он умеет говорить.

— Может, он дезертировал из вермахта,— сказала она.— И перешел к польским партизанам. Выдал планы секретного оружия и в награду получил «мерседес».

— Таких «мерседесов» тогда не было.

— Ну и что, обменял на новый. По виду он человек с головой.

— Это верно,— согласился я.— С головой. Без смекалки такое не заимеешь. Какой-нибудь деляга. Котелок варит, по деньгам ходит. Пройдоха.

— Пройдоха — это тоже надо уметь. Не каждый может пройдохой быть,— сказала она.

Это меня разозлило.

— Не каждый! А вот твои дружки, в Гижицке, они пройдохи. И им это легко дается. Родились такими. Подвалило — и все. Готовый литер на счастье.

— Ты не прав,— засмеялась она.

— Как это не прав! Они зато правы! Ездят, пьют, шикуют дни и ночи, а на какие деньги? На свои?! Умеют что-нибудь путное?! Зарабатывают?! Если им посчастливилось родиться в богатых семьях, так это еще ничего не значит! Пыжатся, будто им весь мир принадлежит! А почему? По какому такому праву?!

И я рассказал ей об «элиетах» и о пекаре Ситко, о магнетиках и велосипеде «громада», и сказал ей, что приличные ботинки и штаны всего лишь два года ношу, а раньше у меня пальцы вылезали и дыры проволокой приходилось затягивать, потому что ни один сапожник не брался чинить, а штаны я сам штопал желтой шерстинкой и в гимназии давал дубам уроки, по десятке с урока, чтобы как-то платить родной тетке за комнату, вернее, только за раскладушку — в той же комнате спали тетка и дядя, их сын и дочь и разбитая параличом бабка, высохшая и жилистая, как ветка, прихваченная заморозком, и еще я сказал ей, что тетка запирала буфет на ключ и хлеба вдоволь я наелся только у пекаря Ситко, и то еще, когда тот не видал, теплого и мягкого хлеба, который бродил и разбухал в животе так, что я орал на всю пекарню, как пьяница с прогнившим нутром, и за все это мне надо было платить если не работой, то хотя бы готовностью услужить; только школа была даровая, только школа меня поддерживала, а то пошел бы воровать, но эту школу, это дармовое учение, будто с неба тебе свалилось, эту единственную возможность добиться чего-то ни мне, да и ни себе не даровали эти господа, эти баричи в белых штанцах, швыряющие в кабаках сотенные, хвастающиеся марками мотороллеров и машин и названиями далеких стран, эти подонки, превращающие свою страну в лавочку и втаптывающие в дерьмо свои молодые годы,— все они ради тех же сверкающих машин покинули бы эту страну, хоть пропади она без них пропадом, навсегда бы покинули, только бы не взмокнуть от труда, не запачкаться, делая какую-то честную работу, только бы не оторвать свои дурацкие морды от водки и жратвы; они, получающие «элиеты» и магнетики за то, что хорошо растут, за то, что съели весь суп или хорошо пописали, они, устраивающие попойки и драки, бьющие по лицу своих девушек, ничуть не лучших, чем они сами, но все-таки девушек, они хуже паршивых собак, потому что собака — она собака и есть, верный друг, независимо от того, есть у нее парша или другая какая зараза, а у них вся душа в парше, они нарочно ею заражаются, это для них удовольствие, они гордятся этим и хвастают, надо всем потешаются, издеваются из зависти, из ненависти, из страха, Париж зовут Парижатином, чтобы показать, что мир для них навозная деревушка, где можно сбегать за сарай и навалить вот такую кучу, а дурак-хозяин еще молоком угостит, и оркестр пожарников на прощанье сыграет — говорят Парижатин, чтобы показать, что и там, в этой великой столице, полно лопухов, которых можно сделать, выставить, расколоть, без труда и капли пота раздобыть машину и не платить за французскую водку, они упражняются в этом своем искусстве «делать дураков», облепляются этими своими словечками, улыбочками, подмигиваниями, чтобы стать как можно более скользкими, чтобы их не ухватить ни за одно слово, ни за одну усмешку, ни за один взгляд, вся их тактика сводится к тому, чтобы избегать открытой борьбы, разговора начистоту, настоящего действия, все в них работает на мягких резиновых амортизаторах, всегда уход и укол с подскока и снова уход; единственное их желание, чтобы все вдруг ослепли, оглохли, охромели, стали горбатыми, оборванными и голодными, чтобы легче было ошеломить, высмеять, провести, чтобы другие были не способны защищаться, определять наказание им, этим барчукам в белых штанах, восемнадцати- и двадцатилетним, хорошо сложенным и красивым, крикливым и вихляющим бедрами, на которых свободно висят широкие кожаные пояса мужественных ковбоев, им, с головешками, каждый сезон причесанными иначе, под какого-нибудь киногероя; и не ведомо им, что ковбои дни и ночи гоняли скот, тысячи голов скота, в зной, под дьявольским солнцем, в проливной дождь, и задницы у тех ковбоев кровоточили — сутками без передыху в седле, на руках у этих ковбоев были мозоли, как сучки, а трещины такие, что там муравьи могли жить,

и умирали ковбои в среднем лет тридцати пяти от роду, не от пуль Черных Джимов и не с перепою, а только от тяжелой работы, от нехватки витаминов, от нехватки лекарств и врачей, от грязи, от чахотки, которая нещадно косила их — каждый шестой ковбой погибал от чахотки, я-то это знаю, прочитал научную книжку о ковбоях, об этих коровьих пастухах, о парнях, возившихся с коровами, мясом которых откармливалась Америка и в кожи которых она одевалась, знаю это из серьезной книги, которую прочитал сразу после нескольких ерундовых рассказцев о приключениях ковбоев-револьверщиков и забулдыг, меня эти рассказики просто разозлили — я-то знаю, а они того не знают, ходят на фильмы о Диком Западе и слушают ковбойские баллады, которые станция «Люксембург» передает, и им даже подумать неохота, как оно там было на самом деле, правда им ни к чему, даже правда о труде актеров, которые работают там, где кино приносит миллионы, так что у них есть машины и виллы, но они вкалывают дай бог, дрессируют себя как обезьян, с рассвета до полуночи, а то ведь другие обойдут, те, что получше, каждый ведь хочет быть лучшим, хочет зарабатывать лучше, лучше жить, хочет жить по-человечески, иметь дом, жену и детей, и этих детей воспитывать, чтобы они могли что-то дать и что-то за это взять для себя,— нет, эти гаденыши ничего не знают, хотя немного надо, чтобы узнать, я в кино редко хожу и не всякую книжку читаю, а это знаю, они же не знают, не хотят знать, с них хватает белых штанов и мотороллера от родителей, каждый месяц другой гривы на башке и мечты о машине, которую вроде бы можно заполучить где-то там в далеком мире, от какого-нибудь миллионера, за то, что просто подошвы протирал, или на командировочные купить, если за границу пошлют,— о машине, которую можно раздобыть прямо из рук в руки где-нибудь под столиком или у буфетчика, подмигнув ему, ведь они думают, что этого именно так и добиваются; таковы их правила, единственные, кроме правил уличного движения, которые они соблюдают, чтобы преждевременно не отправиться на тот свет; и если у меня когда-нибудь будет сын, то я сделаю все, чтобы заставить его уважать работу, настоящую работу, поднимающую города из развалин, изменяющую несправедливый строй,— работу, которая чем-то служит другим людям, как можно большему числу людей, и плоды ее не исчезают, как уличный мусор от дождя, а все равно остаются и всегда стоят одинаково, всегда в цене; и если мой сын должен стать таким, как они, то пусть мне хоть обе руки отрубят и вырвут зубы, я и тогда переломаю ему кости, потому что увечье и боль учат уму-разуму или по крайности усердию.

Это вот я и сказал Анке, даже гораздо больше того, только теперь уж не помню, я даже не заметил, как получилось, что в конце мы уже не ехали, а стояли посреди шоссе, друг к другу лицом. Анка бледная, почти зеленая, а я кричал во все горло, потому что тишина потом отдалась в ушах, как выстрел.

Мы медленно отошли к обочине, Анка ничего не сказала, только закурила сигарету, а я сел в канаву и сжевал два листика щавеля.

Я не знал, согласна она со мной или нет, трудно было что-нибудь понять, поэтому мы поехали дальше, и тут она сказала:

— Спорить я не буду, но при чем тут немец? Он совсем другой.

— Не знаю. Тоже не буду спорить. Может, другой, а может, в точности такой же.

— Нет. Наверняка не такой же.

— Ручаешься?

— Ручаюсь,— без запинки ответила она.

Я опять разозлился.

— И чего ты ручаешься, если не знаешь! Чего вдруг?

Она подумала.

— Потому что те подонки. Сопляки. А он...

— А он?! Почти что старый хрыч.

— А он... он — мужчина.

Я не понял, тогда я не мог понять. И это тоже была ошибка. Основная. Но нынче уже понимаю.

— Какая разница,— сказал я пренебрежительно.— Они тоже когда-нибудь смогут такими сделаться. Смогут так же под дипломатов одеваться и иметь «мерседесы». Даже еще лучше, ведь через столько лет машины будут куда лучше. А может, машин и вовсе не будет, только ракеты. Кто его знает.

Она улыбнулась и покачала головой.

— Конечно, может, он честно работает,— сказал я, желая как-то задобрить ее.— Я слышал, что там, на Западе, надо еще похлеще работать, чем у нас. Каждую минуту высчитывают, срезают заработок. И с работы легко вылететь, потому что безработные только того и ждут. Даже за меньшую плату возьмутся. У нас на этот счет легче. Сама же, наверно, знаешь, по своим родичам. Не так, так этак, свое всегда выколотят. Они ведь у тебя работают, а?

Она промолчала и даже немного прибавила скорость.

Мне пришло в голову, что я ее совсем не знаю, как есть ничего о ней не знаю. И меня охватило любопытство.

— Ну, скажи, что твои родители делают? Есть у тебя брат или сестра?

Она ничего не ответила.

— Не хочешь говорить? Что с тобой, может, стыдишься? Не ломайся, я тебе столько о себе рассказывал...

— Отвяжись,— сказала она резко, будто ей стало очень неприятно.— Я скажу... попозже,— добавила она мягче.

Вдруг она остановилась. И я тоже. Она прислонила велосипед к дереву.

— Поставь велосипед,— сказала она.— И йди сюда.

Я так и сделал, а она притянула меня к себе, закинула мне руку на шею, пригнула мою голову, и мы стали целоваться, долго и крепко, с грустью, закрывая глаза, как перед дальней дорогой, перед вечной разлукой.

— Скажи,— спросила она тихо,— а много девушек...

— Три,— ответил я, не раздумывая, потому что в эту минуту я бы ей все сказал.

Она отпрянула, глядя на меня большими глазами.

— Три? Только три?..

— Да,— сказал я серьезно.— Всего трех и целовал...

Она попятилась от меня и покатилась со смеху, хохотала она так, будто десять лет не смеялась, согнувшись и привалясь к дереву, у которого стояли велосипеды, они упали в канаву, она ничего не заметила и все смеялась, пока я не начал трясти ее за плечи, потому что я подумал, не спятила ли она.

— Успокойся! — кричал я.— Что случилось?

Она перестала смеяться, подняла руку и погладила меня по лицу со словами:

— Любимый мой, хороший, золотой, Аистенок ты мой! Какой ты у меня красивый! Ах, как я тебя люблю, ты даже не представляешь!

И мы опять стали целоваться, Анка то и дело прерывала поцелуи и говорила мне такие слова, каких мне ни одна девушка не говаривала, каких мне никто на свете не говорил, потому что кроме влюбленных девушек так говорят, кажется, только матери, а откуда мне это было

знать. Она ворошила мне волосы, дергала за уши, хлопала по щекам, щипала их, мы сели на край канавы, над упавшими велосипедами, и Анка целовала меня в глаза и в шею и говорила так, что я вдруг ясно и отчетливо увидел слова: это и есть счастье. Я увидел эти слова, будто вспыхнули багровые и золотые неоновые буквы, в которые слились огни всего мира, ярче солнца и молний. Вот оно, счастье, это именно оно и есть, я счастлив, в голове у меня гудело это ощущение счастья, первое и единственное в жизни, потом-то такого уже никогда не бывало. «Хорошая штука жизнь,— думал я, вернее, видел мои светящиеся мысли,— хорошо жить, ах, как хорошо. Никакая смерть, никакая беда, никакие годы мучений, да, никакая смерть этого не сотрет, не уничтожит, не отнимет. Теперь и смерть не страшна. Ничто не страшно, даже смерть».

Так думал я, так светилось у меня в мозгу, и это было прекраснее всего, что я видел и знал, и сейчас еще знаю и, наверно, всегда, до конца буду знать и не сумею забыть, но нынче мне уже понятно, что как раз потому-то смерть и страшна, потому-то страшны беды и годы мучений, именно потому теперь только и страшна смерть и все, что не связано с этим золотым, пламенеющим видением.

Дальше все было как во сне. Перед моими глазами промелькнул другой городок, будто лет десять назад виденный фильм; знаю, что на площади стоял большой светлый автомобиль, который я когда-то уже видел, это могло быть где-то в далеком детстве, а быть может, в стране, где я никогда не бывал, потом автомобиль этот обдал нас тучей пыли как раз в том месте, где шоссе ремонтировали, может быть, я что-нибудь говорил, а может, и ничего, много времени прошло, прежде чем я снова ясно и четко осознал, что я живу, и что есть Анка, и что я рядом с нею, что мы едем по зеленой, грузной от зелени, набухшей солнцем местности; солнце, процеженное сквозь листву старых деревьев, освещало нам дорогу, яркие лучи, сквозь кроны, смыкающиеся над гладким узким шоссе, как высоченный шалаш, зеленоватое марево над асфальтом, золотые вспышки на крупнозернистом песке вдоль обочины, глянцевитая пушистость травы в обеих бесконечных канавах, точно потоки зеленого тяжелого света плыли с нами и вели нас с тихим шелестом шин; наконец голос Анки вырвал меня из этого полузабытья:

— Слушай, ну, послушай же, куда мы едем?

— Не знаю куда. Я знаю, что шоссе ведет на Кентшин.

— А что это такое, Кентшин?

— Откуда мне знать. Звучит солидно, наверно, город. Да, наверняка город, припоминаю, и большой. Видел на карте.

— Давай посмотрим еще раз.

Мы остановились, и я развернул карту: действительно, Кентшин был городом и довольно порядочным, с одним недостатком, что поблизости не было озера и что он вообще был нам не нужен.

— Смотри! — сказала Анка.— Из Кентшина есть дорога на Венгожево. Вправо наискось. Мы можем...

— Нам вовсе не нужно доезжать до этого города. Достаточно свернуть вправо на какую-нибудь дорогу и срезать тот угол, зачем делать лишний крюк?

— Мы уже так близко...

— Ничего. Каждый километр что-то значит. А на что нам лишние?

Она согласилась. И мне не хотелось сегодня долго ехать. Я хотел быть с Анкой наедине, без этих чертовых велосипедов, которые мешают, за ними надо присматривать, заботиться о них, как о живых существах. Я хотел наконец очутиться в чистой, нагретой воде и поплыть с Анкой на

остров, на какой-нибудь остров, который наверняка найдется и называться наверняка будет Чертовым или островом Любви. Это желание все сильнее билось у меня в голове, как кровь, и мы ехали быстро, а я все время высматривал дорогу вправо, хоть бы тропинку, лишь бы только пробраться через лес, срезать этот чертов угол с городом Кентшином на его острие.

Какой-то парень с девчонкой на WSK-125, оба в красных шлемах, обогнали нас, окутав дорогу густым синим дымом, который медленно растекался во все стороны, сползал в канавы и цеплялся за низкие ветви.

— Много масла подбавил в бензин, осел! — сказал я.

— А разве масло в бензин подбавляют? — спросила удивленно Анка.

— Для двухтактных — да, надо смешивать с бензином, литр на двадцать пять или больше...

— Ага, так вот что у бензоколонок смешивают в таких больших банках, забавно! — воскликнула она.— А зачем вообще-то?

Я собирался прочитать ей обстоятельную лекцию о смазке двигателей, о разнице между двухтактным и четырехтактным двигателями, о работе коленчатого вала в картере двигателя, о сгорании смеси в камере сгорания цилиндра и смазке поверхности цилиндра стекающим маслом, хотел честно сказать ей все, что я только знал, чему научился на курсах и во время четырехлетней практики в мотоциклетной мастерской, я загорелся этим и мог бы говорить долго, снова довольный жизнью, как вдруг Анка крикнула:

— Смотри!

Оказалось, что мотоциклисты не успели уехать далеко и теперь шли по правой стороне шоссе, шли, понятное дело, на моторе, девушка держала правую руку вытянутой в сторону, и сзади горел красный сигнал, это значит, что парень притормаживал и собирался повернуть.

— Чудесно! — крикнул я.— Есть дорога!

Мы поднажали, так что выхлопной дым еще висел у поворота, когда мы туда подъехали.

Дорога шла в гору, довольно широкая, каменистая, между камнями пробивалась жесткая трава, кое-где даже торчали высокие стебли — похоже, что этой дорогой никто не пользовался, а та пара на мотоцикле, верно, потому по ней и поехала в сумрачный и старый лес, тянущийся от самого шоссе, по обе его стороны.

Указателя не было. Я огляделся, и вдруг мы с Анкой, как по команде, залились смехом, таким безумным, дурацким, обезьяньим смехом, какой иногда, но не чаще, чем раз в году, находит в школе на весь класс. Мы выли от смеха, смотрели друг на друга и снова выли, так что у меня слезы покатились из глаз и живот заболел, пока наконец я не придушил в себе этот смех, утер вызванные им слезы и еще раз посмотрел на дерево, которое нас так рассмешило, потому что на том дереве, прибитая старым гвоздем, висела узкая деревянная дощечка в виде стрелы, и на ней красной краской было написано: «К штаб-квартире Гитлера».

И больше ничего, ни слова, только то, что эта дорога ведет в штаб-квартиру Гитлера, а там, наверно, квартирует Гитлер и ждет, пока ему дадут в руки атом. У Гитлера длинная белая борода, и он заводит магнетик с немецкими маршами, переделанными на твист, сёрф, кисс-ми, халли-галли, мэдисон и ча-ча-ча, он часами подряд танцует, чтобы согреться, потому что в квартирке у него сыро; так во всяком случае утверждала Анка, мне-то откуда было знать, мне казалось, что эта дощечка осталась, пожалуй, еще с войны, потому что у нас все надписи сохраняют для потомков, и флаги от Первого мая висят до июля, а от июля до мая, еле-еле остается время, чтобы их постирать и под-

красить,— вот я и думал, что дощечка эта настоящая, но почему же тогда по-польски? Неужто к Гитлеру должны были являться делегации польских крестьян, коренных жителей, преследуемых гестапо? И был ли вообще Гитлер тут, в этом лесу, может, только провел одну ночь в палатке, как Наполеон перед какой-нибудь большой битвой, но ведь тут никаких больших сражений и не было, тогда откуда все это?

— Поехали,— сказал я Анке.— Гитлер — это интересно, поищем следов, может, там все выяснится.

Несколько раз в гору и вниз, дорога все хуже, узкая, в рытвинах, каменистая, дальше там действительно никто не ездил. Анка сказала:

— Это розыгрыш, та дощечка.

Но вдруг мы вырвались на ровную и гладкую местность и поехали по широкой бетонной полосе, посреди леса, рядом пошли другие бетонные полосы, уходящие в стороны, какой-то старый аэродром, я еще подумал, что надо будет его весь объехать, только почему же им военные не пользуются?

И тут я увидел слева лесную дорогу, довольно широкую, а в просвете между деревьями, в конце этой лесной дороги сверкнуло шоссе, красные и желтые автобусы, послышались клаксоны машин и гул толпы, какие-то люди с рюкзаками шли и сворачивали на эту лесную дорогу...

— Туда! — крикнул я.

Поворот — и мы очутились на шоссе, оказалось, что мы все время ехали по плохой дороге, по которой никто не ездит, а по бетонным полосам вообще ездить нельзя, можно только ходить с экскурсоводом и осматривать, да, осматривать, потому что тут было что осматривать, поэтому мы втерлись в толпу у шлагбаума в красно-белую полоску, возле будки с кассой, чтобы купить билеты и осмотреть

МЕСТО

моего позора, два года меня терзавшего, который я теперь тут, на том самом месте, должен уничтожить и избыть, а это значит—пережить еще раз, все прочувствовать и понять.

За все надо платить, вот и тогда мне пришлось выложить какую-то деньгу, семь или восемь монет за себя и за Анку, и еще около шести за велосипеды, и было в самом этом факте нечто страшное — теперь я это понимаю, а тогда: маленькая деревянная будка за красно-белым шлагбаумом, перед которым толпятся мотоциклисты в ярко сверкающих шлемах, зеленые и рыжие автобусы, останавливающиеся где попало поперек дороги, «волги», «варшавы», «вартбурги» и всякая другая мелочь ждут своей очереди, на обочинах — уйма людей, потных, усталых, говорящих слишком громко, пронзительно смеющихся, они едят крутые яйца и булки с ветчиной, пьют чай из термосов и винных бутылок, запах еды смешивается с запахом пота и выхлопных газов, за длинным бревном шлагбаума — небольшая деревянная будка, нагретая солнцем и такая сухая, что чуть не трескается, в ней — столик, пестрые билетные книжки, смазливый тип с усиками продает билеты, люди толпятся, кричат, толкаются, так что столик с билетами ерзает, то и дело шлагбаум поднимается и какая-нибудь машина с шумом въезжает на забитый, серый от пыли паркинг.

Дело шло к грозе, но пока не совсем, и солнце еще пробивалось между тучами, из конца в конец запыленной площади тянулись группы экскурсантов, пыль взвивалась мелкими клубами, гиды, потные и охрипшие, сменялись на бегу, по очереди брали группы по тридцать, пятьдесят человек — шум, гам; ошеломленные, мы с Анкой проталкиваемся сквозь эту толпу, ищем надежного угла, чтобы поставить велосипеды, чтобы

как-то оглядеться и освоиться, поэтому мы пошли по узкой тропинке вниз, к зданию с надписью «Волчья яма»; это был ресторан, из распахнутых дверей било кухонным чадом, бетонные глыбы в рост человека торчали у входа, дальше — деревья, зелень густого, непролазного кустарника, прямо-таки отяжелевшая и темная, налитая соком, свисала с откоса над кремово-песочной крышей «мерседеса-220SE».

Он стоял спокойно, как усталый обитатель пустыни над источником в оазисе, но то была легкая усталость, разве что шкура чуточку запылилась, а под этим смехотворным, пустяшным налетом играла мощная, почти неисчерпаемая сила.

Мы остановились перед ним, как у цели долгого путешествия, Анка совсем оцепенела, мне даже пришлось придержать ее велосипед — я побоялся, что она его упустит.

— Это он,— прошептала она.

— И верно,— поморщился я.— Я уж привык к нему, словно он мой.

Мы привязали наши велосипеды к дереву рядышком с этой колымагой. Меня ничуть не удивило, что он тут стоит. Каждый может ехать, куда ему нравится. Я был какой-то равнодушный, немножко утомленный всем этим днем и ошеломленный необычайностью этого места; я предчувствовал, что тут произойдет что-то любопытное, что-то необычное, но это совсем не радовало меня, ведь мы приехали вовсе не туда, куда надо было, и совсем не туда, куда я хотел.

Мы немного привели себя в порядок, и Анка сказала:

— Пойдем пристанем к какой-нибудь группе и все узнаем.

Мне это не очень понравилось — над экскурсантами висели тучи пыли, но что делать; тут как раз подоспела группа школьников, потных, запыленных, пахнущих прокисшими сливками, у гида была мокрая от изнеможения лысина и длинные ноги, на парусиновой рубахе темнели пятна пота, этот тип передвигался с места на место, как машина, а детвора бежала за ним, расталкивая друг друга и падая на узких тропинках, стараясь держаться как можно ближе к нему — словно в этом и был весь смысл экскурсии,— некоторые хватали его за руки, за ноги или обнимали, заглядывая ему снизу в лицо заискивающим, умоляющим взглядом, а он вдруг жал на все тормоза, круто и резко поворачивался, как солдат на учении, и, раскидывая влажные руки, покрытые рыжим тонким волосом, рассказывал этим маленьким, запыхавшимся грязнулям с пафосом школьного учителя или проповедника, рассказывал так, что я этого рассказа до конца жизни не забуду.

— Я покажу вам величайшие на свете бункеры. Во всем мире нет таких бункеров, только здесь. Вы знаете, что это такое — бункеры? Кто не знает, пусть хорошенько посмотрит. Это именно то, что отсюда видно.

Мы с Анкой очутились в странном, точно сон, мире. Между деревьями, просто истекающими соком, между густо переплетающейся и шелестящей зеленью просвечивали серым бетоном бункеры — огромные, как пирамиды, такие, ясное дело, какие только можно было скрыть в этой зелени, но куда более интересные и важные для судеб мира, чем настоящие пирамиды.

— Бункеров этих двести,— говорил гид.— Стены у них толщиной в восемь метров. И перекрытие тоже восьмиметровое. В этих стенах — так, словно коробка вставлена в коробку,— другие стены, другой потолок. В промежутках насыпан гравий. Вы знаете, что такое гравий? Это такие камешки, как на железнодорожных насыпях...

— Я знаю! — крикнул какой-то мальчик.— У меня дядя железнодорожник.

Остальные стали над ним смеяться, толкать в спину, дергать за уши. Гид махнул рукой.

— Это для амортизации. Чтобы внутрь не проникло никакое сотрясение, никакой шум. Если бы сюда попала самая большая бомба, внутри все равно ничего бы не случилось На крышах, как видите, растут разные деревья. Специально насыпан толстый слой земли. И трава растет. И кусты. А зачем все это, мы поймем со временем. Теперь смотрите сюда, видите эту проволочную сетку? Ну, вон ту, которая свешивается с того дерева. Так вот, на этой сетке есть маленькие листики из пластмассы, искусственная листва цвета нужного времени года. Значит, летом были зеленые листья, осенью желто-красные, весной бледно-зеленые, и так далее. Трижды в год все стены бункеров красили в другой цвет. Сколько на это шло краски, трудно подсчитать. И все это для маскировки. Маскировка — это значит вроде как видимость. Немцы хотели сделать вид, что тут ничего нет, сплошной заповедный лес. Если летчик пролетит, то чтобы видел одну зелень и больше ничего. Лес. И действительно ни один летчик ничего не заметил. Каждый думал, что тут ничего нет. Но, как видим, все они ошибались. Потому что тут было нечто очень важное. Тут был Гитлер...

Анка бормотала что-то себе под нос и шипела, потому что детвора наступала ей на ноги, а особенно все начали толкаться у расколотого надвое бункера Гитлера — из толстых бетонных стен густо торчали стальные усы арматуры, искривленные, причудливо изогнутые, а в середине, на осевшем перекрытии, легко трепетали белые, нежные березки, искрящиеся на солнце мелкой, глянцевитой листвой. Мальчишки с воплями и визгом начали взбираться на покатые стены, хватаясь за стальные рельсы и красные от ржавчины прутья, гид взглянул на нас и спокойно, усталым голосом произнес:

— За несчастные случаи не отвечаю.

Потом дважды хлопнул в ладоши и снова громко сказал:

— Вы, наверно, знаете, кто такой был Гитлер. Наверно, не у одного из вас Гитлер убил папу. Или маму. Ну, понятное дело, не сам Гитлер, а его войско. Гестапо и СС, убийцы в мундирах.

— Что он говорит,— ткнула меня в бок Анка.—Этим соплякам всего по двенадцать лет. Если бы Гитлер убил у них отца или мать, то их и на свете бы не было, они родились вон через сколько лет после войны...

— И верно,— засмеялся я.— Но он, видимо, так говорил с самого конца войны. Еще тем рассказывал, кто до войны родился. Привык и не замечает, что времена-то уже изменились.

— Это была главная штаб-квартира, ставка предводителя всех этих убийц, Гитлера,— продолжал гид.— Гитлер боялся, Гитлер все время находился тут. А теперь тут мы. Но тогда, когда тут был Гитлер, мы бы не могли войти сюда беспрепятственно. Нас бы тотчас схватили и убили. Решили бы, что мы хотим что-то разведать, что мы шпионы!

Дети сразу навострили уши. Особенно мальчишкам хотелось что-нибудь этакое разведать, даже с риском для жизни, назло девчонкам, которые презрительно поморщились — эта, мол, игра не для них. Зато их воображение потряс бассейн Евы Браун, красавицы жены Гитлера, особенно то, что Ева Браун была не женой Гитлера, а обыкновенной любовницей, и женой стала только в последний день, перед самой смертью; они ведь что сделали, эти молодожены,— облили себя бензином и сгорели; но бассейн был потом, впрочем, гид сразу же объяснил, что насчет красавицы Евы это выдумка, а бассейн просто противопожарный, соединенный трубой с озером, чтобы в случае пожара в нем была вода. Но девчонки в такое никогда не поверят, навсегда у них в памяти останется бассейн прекрасной Евы Браун, с высокими бетонными краями, под густой завесой искусственной и настоящей листвы, охраняемый рослыми и красивыми мальчиками в мундирах, вооруженными с головы до ног, и тут же Ева Браун, светловолосая секс-бомба

вроде Брижитт Бардо, одиноко плещется в серебристой воде, как сирена, почти обнаженная, в зеленом сумраке маскировки, единственная женщина, которой разрешается сюда входить,— и каждая из этих девчонок мечтала хоть минутку побыть Евой Браун, даже рискуя жизнью; так что и мальчишки и девчонки нашли для себя что-то интересное во время этой экскурсии, хотя то и другое было связано со смертью. Но что значит смерть, когда тебе двенадцать лет и единственная настоящая смерть — это мертвая птица на садовой тропинке или собака, задавленная автомобилем.

Я не смотрел на Анку — мог ли я предполагать, что она еще более девчонка, чем все те вместе взятые девчонки, что годы, на которые она была старше их, прибавили ей не ума, а лишь непостижимых девчачьих мечтаний, которые нормального человека поражают и пугают.

А гид хрипел дальше:

— ...поэтому немцы разделили территорию на секторы. Вы знаете, что такое сектор?

— Знаем! — завопило несколько человек.

— Ну?

— Это такие ножницы кусты обрезать!

Гид засмеялся и постукал себя по лбу.

— Это секаторы! А секторы — это части. Понятно? Каждый сектор был огорожен и имел свою охрану. Было четыре сектора. Сколько было секторов?

— Четыре! — хором завопили дети.

— Хорошо. Кто сюда приезжал — разумеется, кроме Гитлера,— мог получить пропуск только на час. В один сектор. На этом пропуске должна была стоять подпись Гитлера или его заместителя по важным делам. Если кого хватали в другом секторе — шпион. А шпионов сразу убивали. Кроме того, каждый должен был отдать оружие, пистолет, или нож, или что там у него было. Но это еще не все, его еще вели на рентген. Вы, верно, не знаете, что такое рентген. Это просвечивание.

— Знаем! — закричали они, задетые за живое.— В школе мы каждый год ходим на просвечивание.

— Хорошо. Очень хорошо,— сказал гид, кивая головой.— Ну и как, легкие в порядке?

— А то! — выкрикнул парнишка в красном свитерочке с продранными локтями.— Был один чахоточный, да загнулся!

— Ну тебя!..— зашипели девочки, с возмущением отодвигаясь от него.

— Очень хорошо,— сказал гид.— Так вот, немцы просвечивали каждого, чтобы он вдруг не спрятал где-нибудь оружие. Потому что от просвечивания ничего не скроешь.

— Нет, только одни мослы видать! — подтвердил малец с подбитым глазом.— Я у него видел!— И он указал пальцем на другого мальчишку.

Все громко засмеялись. Тот, на которого показали, покраснел до ушей.

— А у тебя еще хуже, я тоже видал,— буркнул он.

— Тихо!— захлопал в ладоши гид.— Обслуживающий персонал насчитывал четыре тысячи человек. Сколько насчитывал обслуживающий персонал?

— Четыре тысячи человек! — закричали вразнобой ребятишки.

— Хорошо. И ни один из них не знал, зачем он здесь находится. Как узнавал, так сразу и погибал. У Гитлера была тут своя электростанция и свои водопроводы. Свое центральное отопление...

— Свое...— прошептала Анка.

— Прямой телефон с Берлином. Но не такой, как вы думаете, чтобы проволока шла над землей. Какая же тогда тайна? По проволоке

узнать легко. Кабели идут все время на два метра под землей. Отсюда до самого Берлина. Возьмите дома карту и посмотрите, сколько это километров. И кухонного дыма никто не видел. Специальные фильтры очищали дым, так что у него не было ни цвета, ни запаха, ничего. Прозрачным был, как воздух. Вся территория занимала восемь квадратных километров. На этих восьми километрах было размещено полмиллиона мин. Вы, наверно, знаете, сколько это тысяч?

— Пятьсот!

— Да. Пятьсот тысяч. Только на дорожках мин не было и на бетонных поясах аэродрома. А вы знаете, что такое мины?

— А то! — закричал тот, что с подбитым глазом.— Как наступишь, так вверх тормашками взлетишь!

— В воздух,— поправил гид.— И на кусочки.

— А то! — обрадовался мальчишка.— Я по телевизору видел.

— Мины были повсюду,— продолжал гид.— И до сих пор найдено и извлечено только пятьдесят тысяч мин. Остальные в любой момент могут взорваться. Сколько осталось, кто знает?

— Четыреста пятьдесят тысяч! — закричали все, даже Анка зашевелила губами, как будто повторяя это длинное число.

— Да, четыреста пятьдесят тысяч, хорошо. Почти полмиллиона без пятидесяти тысяч. Все, что мы здесь видим, строили сто тысяч человек, но не по своей воле, а принудительно. Потому что эти люди были узниками Гитлера. Им не давали есть, и они падали с голоду. И вот, чтобы не возиться с ними, немцы стреляли в них. Если бы мы разрыли телефонную линию, то нашли бы там человеческие скелеты. Как знать, не стоим ли мы сейчас на чьих-нибудь скелетах. Никто не знает. Вы видели когда-нибудь человеческий скелет?

— Я видел,— робко произнес малец, по уши перепачканный шоколадом.— В докторской книге. У меня папа доктор.

— А я в школе! — пропищала выросшая из линялого платьица худышка с тонкой косичкой на плече.— В кабинете естествознания стоит! Из каждого человека можно такое сделать, учитель говорил, надо только его про... пропорывать или как-то там...— И она вдруг покраснела.

— Препарировать,— подсказала ей Анка, но слишком громко, и девочка со страхом отодвинулась от нее.

— Мясо от костей лучше всего в муравейнике отходит, муравьи все сгложут! — крикнул кто-то из-за глыбы бетона, но гид уже шел дальше.

— Взамен этих людей привозили новых. Гитлер преследовал поляков, арестовывал их. Наверно, не у одного из вас он арестовал папу или маму. Или старшего брата. Ну, не в этом дело. Если кто работал здесь уже долго и мог, не дай боже, догадаться, зачем все эти сооружения, то его или убивали, как я уже говорил, или посылали в лагерь. Вы, наверно, слышали о лагерях? Освенцим, Майданек и так далее. Наверно, у многих из вас отец или мама сидели в Освенциме или в Майданеке. А кто скажет, сколько людей погибло в Освенциме?

Неожиданно наступила тишина, наконец-то можно было услышать щебет птиц.

— Сто,— тихонько и робко выдавила одна из девочек.

— Тысяча,— произнесла несколько смелее другая.

Гид крутил головой и довольно улыбался тому, что через минуту произведет необычайный эффект.

— Ну, ну? — подбадривал он.

Один мальчишка с шумом набрал воздуху и во все горло крикнул

— Сто тысяч!

— Да ты что, дурак?! — заволновалась детвора.— Ну и брякнул Во всех Кельцах столько нету!

— Ты не прав, мальчик,— сказал гид.— Но и остальные тоже не правы. Кельцы — это для немцев чепуха! В Освенциме они убили от четырех с половиной до пяти миллионов людей. Запомните это.

Ребятишки скисли, так как не могли себе представить, сколько это будет. Наконец один сказал:

— Простите, а сколько это будет? Мы еще до столька не учили...

— Это столько, как если бы взять пятьсот Кельцов, понимаете?

Наступила тишина, они все еще не понимали.

— Э-э-э...— с презрительным недоверием протянул кто-то.

— И это было страшно,— продолжал гид,— потому что следом за таким человеком отсюда шел приказ, чтобы его сразу отравить газом и сжечь в крематории. Вы знаете, что такое крематорий? Это такая печь, в которой сжигают людей.

Девочки с визгом сбились в кучку.

— Ой, как, наверно, больно!— шептались они.

— Нет, не больно, потому что жгут не живых, а трупы, но все-таки... Неприятное чувство, правда?

— Правда,— признали дети.

— Никто бы из вас такого не хотел, правда?

— Правда,— зашептались снова.

— А я бы хотел! — крикнул мальчишка с поцарапанным носом.

— Да иди ты, дурак! Все умничаешь! — набросились на него остальные в порыве благородного негодования.

Гид вытаращил глаза.

— Ты действительно хотел бы такого? Подумай, мальчик!

— Понятно, хотел бы! — упирался мальчишка.— А что мне, жалко?

— А почему бы ты такое хотел?

— А мне нравится! — крикнул тот и спрятался в кустах.

— Очень некрасиво. Не обращайте на него внимания и не думайте так, как он,— сказал гид,— потому что это ведет к фашизму. Мы должны радоваться, что Гитлера уже нет. О его жестокости может свидетельствовать такой факт, что крупнейших итальянских инженеров, которые спроектировали ему эту штаб-квартиру, он сразу же после окончания работы велел посадить в самолет, где была бомба с часовым механизмом, и самолет разлетелся на куски над морем, так что никто даже пуговицы не нашел. Гитлер хитро обвинил в этом убийстве англичан, но англичане тоже люди хитрые и всю войну записывали каждый самолет, который они сбивали, и вот после войны проверили, и выяснилось, что они вовсе самолет с итальянскими инженерами не сбивали, это только Гитлер коварно убрал их, желая сохранить тайну. Не было такого оружия, такой бомбы, такой пушки, которая могла бы разбить хоть один из этих бункеров. Только атом, но атом появился позже. Так вот, немцы были хитрые, они не хотели допустить, чтобы кто-нибудь после войны узнал, чем они тут занимались, и поэтому в каждую стену такого бункера они еще во время строительства поместили по двести тонн тротила. Тонна — это тысяча килограммов. Значит, двести тысяч килограммов тротила было в каждой стене. Вы знаете, что такое тротил? Не знаете? Это взрывчатое вещество.

— Знаем, знаем,— запищали вокруг.— Им лед на реке разбивают, если половодье начинается! По телевизору показывали зимой...

— Вот видите. В нескольких километрах отсюда был такой пункт, где все это соединялось проволочками и только ждало своего часа. И вот в январе сорок пятого года один немец нажал кнопку, и все разлетелось. В городе Кентшине все стекла вылетели, два человека навсегда оглохли, а все подземелья бункеров залила вода из озер, которые тут рядом и называются Мой и Серче. Одно — Мой, а другое —

Серче. Запомните это. И никто не знает, что было под землей в бункере, а было там, наверно, очень много всего, потому что над землею в бункерах — только такие маленькие комнаты без окон и больше ничего. Значит, там должны были находиться большие помещения и лестницы, этажа два-три вниз, и спальни, и кабинеты, и музыка там, наверно, играла... А теперь только сетки с искусственными листьями у окрестных хозяев можете найти, которыми огорожены поля и садики, потому что на эти сетки шла проволока тонкая, но зато очень крепкая. И очень хорошая. Если бы Гитлер знал, что эта проволока его переживет, интересно, что бы он подумал, а?

Ребятишки разразились смехом, а Анка сказала довольно зло:

— Интересно, что бы Гитлер подумал, если бы увидел, что этот баран его пережил...

— Какой баран? — спросил я, оглядываясь.

— Тот, что такие занятные сказочки детям на сон грядущий рассказывает.

Я пожал плечами. Мне все это в общем понравилось. А как еще прикажете с этими босяками разговаривать? Насчет политики им толковать? А тут они слушают, хоть и не очень соображают, что к чему.

Гид потер руки.

— Я расскажу вам еще об одном жестоком поступке Гитлера. Так вот, когда ему начали, как говорится, бить по сопатке...

Мальчишки засмеялись, услышав хорошо знакомое им выражение.

— ...и с востока и с запада, то его генералы крепко взбунтовались и решили устроить на него покушение. Потому что они его считали виноватым во всех поражениях. Так вот, приехал на совещание из Берлина один высокий чин, имя его я вам не буду называть, что вам до него, все равно забудете, и пронес в портфеле бомбу с часовым механизмом. Совещание проходило в охотничьем домике, который был весь из дерева и стоял вот здесь, как раз где мы находимся, на этом самом месте.

— Так Гитлер был охотником? — вежливо осведомился один мальчик.

— А ты как думаешь? — принялся поучать его другой.— Тут еще как здорово было охотиться, этакие леса! Даже кабаны, наверно, есть лес болотистый...

— Охотился Гитлер или нет — неизвестно, но у него был охотничий домик, и там он проводил совещания со своими офицерами. И вот, когда они уже все собрались, тот, кто пронес в портфеле бомбу, поставил этот портфель на полку возле Гитлера и сказал, что ему надо выйти по своим делам. И вышел. Если бы бомба тогда взорвалась, все было бы хорошо, Гитлера бы черти забрали. Но один офицер разозлился, что ему портфель мешает, взял его и переставил в другой угол зала, а зал был довольно длинный. И тут бомба взорвалась, но не убила Гитлера, а только оглушила его и выбросила в окно, вон на ту елку, которую вы видите. Елка была тогда маленькая, потому что это было девятнадцать лет назад, вас еще на свете не было. Гитлер уцелел, только брюки у него сзади порвались, и вот он пришел в ярость и приказал по телефону изменников в Берлине схватить, отвезти на бойню и повесить на тех крючках, на которых туши вешают, вы, наверно, не раз видели в мясной лавке...

— Я видала,— сказала толстая девочка.— У меня папа бригадир колбасной.

— Очень хорошо. Вот так и сделали,— продолжал гид,— повесили всех этих генералов, зацепив их подбородками за острые крюки...

Дети покатились со смеху, забавная же картина: генералы на крюках. Только Анка посмотрела на меня со злостью и недовольно поморщилась.

— ...и они мучились, пока не умерли, а на другой день Гитлер со своими людьми сидел в кино, вот тут, рядом, и смотрел все это на экране, потому что всю эту казнь снимали на пленку.

— А где теперь это кино показывают? — спросил мальчик с фонарем под глазом.

— Нигде, это кино было секретное. А если бы и показывали, то только тем, кому уже восемнадцать лет, и тебя бы никто не пустил...

— Э-э-э, скажете тоже, я на любое кино пройду,— засмеялся мальчик.

— Нехорошо. Кроме того, всех родных и всех знакомых этих бунтовщиков тоже убили. Ученые подсчитали, что из-за всей той истории погибло свыше семи тысяч человек. Много, правда? Ваш городок, пожалуй, столько не насчитывает?

— Насчитывает! — послышались возмущенные крики.

— Насчитывает? Тогда очень хорошо. Но не в этом дело. А самую большую жестокость Гитлер проявил сразу, как только вылетел в окно в этих своих порванных штанах. Так вот, один молодой эсэсовец заметил это и быстро подбежал к Гитлеру, чтобы поднять его и почистить. Так он и сделал, а Гитлер, когда пришел в себя, тут же велел его расстрелять. Ему стыдно было, что кто-то видел его в разорванных брюках. Что для него была человеческая жизнь по сравнению с таким вот глупым стыдом, ведь это был человек, который даже за вежливые поступки убивал.

Тут дети очень заволновались, особенно девочки, потому что их учили в школе, что старшим надо помогать, уступать место в трамвае или в поезде, то и дело говорить «пожалуйста», «спасибо», и вот за такую вежливость их должна когда-нибудь постигнуть жестокая смерть?!

— Хватит,— сказала Анка с уже нескрываемой злостью.

Группа уходила куда-то все дальше в глубь территории, а территория была большая, и бункеры были самые большие в мире, в этом не могло быть сомнения, я и в жизни не думал, что увижу что-нибудь подобное, а тут еще буйная, сочная и дикая природа, никто не нарушал ее покойствия двадцать лет, люди, опасаясь мин, пробирались по тропинкам, поэтому все росло во всю мочь, набухало соками, и группа уходила все дальше: гид длинными прыжками, дети мелкой рысцой вокруг него, иль с узкой дорожки оседала на кустах и низких ветвях, а мы остались на том месте, где еще блуждал и рассеивался запах пыли и устатых детей.

Я взглянул на Анку, лицо у нее было серое и глаза утомленные.

— Там у входа был киоск с сувенирами,— сказала она тихо,— упим какую-нибудь брошюрку, не этот же дурак ее писал...

— Что ты хочешь от него, это ведь тяжелая работа. Видела, как он парился, а сегодня не так уж жарко.

— Упарился, потому что пару рюмок пропустил,— вздохнула она.— бы полежала минутку,— она посмотрела на высокую траву у доро-.— Да вот...

— Мины,— подсказал я.

— Нет. Лягушки.

Мы вернулись к велосипедам, чтобы проверить, не украли ли их, они спокойно стояли рядом с великолепным «мерседесом», и мы сели глыбу бетона, чтобы решить, что делать дальше.

Я хотел уехать отсюда, но Анка увидела на том доме, где ресторан, ленную вывеску «Гостиница» и сказала, чтобы мы взяли номер и остась до утра, ведь тут очень интересно, а кроме того, собираются тучи, ез час начнется гроза, так что и ехать незачем. Я немного струхнул,

мне никогда не приходилось жить в гостиницах, в Лодзи есть несколько, и я не раз видел, какая публика из них выходила, кавалеры разутюженные — картинка, а бабы раскрашенные, наглые, как будто у них были мешки с долларами, поэтому я боялся гостиниц, меня могли оттуда выставить, я был плохо одет: выгоревшие штаны и велосипедные башмаки уже третьего сезона, не похоже, чтобы я был при деньгах, а что таким в гостинице делать?

— Я никогда не жил в гостинице. А ты?

Она пожала плечами.

— Да разве это гостиница! Паршивая дыра. В Польше всего несколько гостиниц и есть. Варшавский «Бристоль», «Гранд-отель», «Европейская», вот это класс! Еще «Меркурий» в Познани, ну и, может, «Французская» в Кракове. А остальные — ночлежки дешевые. Вот это,— она кивнула на здание,— шалаш, только что из кирпича.

Меня поразило, что она так хорошо разбирается в великосветской жизни, и теперь я как-то особенно почувствовал ее превосходство.

— Но ты-то там не жила? — спросил я с надеждой.

— Где?

— Ну, в этих всяких... «Гранд-отелях».

— Почему же. Иногда.

У меня пересохло в горле. Мне не раз доводилось слышать, что там творится, в этих гостиницах. А какие такие у нее там могли быть дела?

— И как,— продолжал я,— одна? Совсем одна?

Она внимательно посмотрела на меня, взгляд ее иронически сверкнул.

— Н-ну... не совсем.

И через минуту добавила:

— С мамой. Ну, идем, договоримся насчет ночлега в этой халупе.

Так я подошел уже совсем близко к моему позору, возможно, он как раз и начался в комнате администратора, где надо было предъявить паспорт и заполнить небольшой желтый листок,— в той комнате, где сидел какой-то там делопроизводитель, лысый, с мордой кретина, и молодая барышня с нарисованной улыбкой и серебряными зубами, и некий тип, пожилой, лет эдак тридцати пяти, а то и больше, скандалил, добиваясь, чтобы ему с его женщиной разрешили поместиться вместе. Может, именно тут и начался мой позор, может, надо было выйти и уехать на своем безотказном велосипеде марки «ураган», может, было еще не поздно, не зря гостиницы внушали мне отвращение и страх, но что я мог сделать, когда стоял с желтым листком в руках и слушал, как сволочится этот тип, что?

А этот тип хотел получить один номер со своей женщиной, которая скромно стояла у двери, в белом шлеме на голове и держала рюкзак и шлем своего дружка, потому что они приехали на мотоцикле SHL-175, я их и до этого видел,— малый был высокий и коренастый, а женщина закутана в шмотки, этакая тумба, мотоцикл прямо-таки прогибался под ними, и вот этот тип кричал теперь во все горло:

— Одного номера не хотите дать? Ах, не женаты?! А мы лучше других женатых живем! Мы вместе проживаем! И отпуск вместе взяли! А как спать вместе, так нельзя?! По какому-такому праву?

— Если вы так хорошо живете, то и женитесь,— сказала барышня и широко разинула рот, то ли смеясь, то ли зевая.

— А если я не хочу жениться?— возмутился тип.— Женюсь — бить буду!— кричал он, показывая на женщину своим толстым пальцем.— А так не имею права, и нам хорошо! Ну, скажи,— обратился он к своей бабе,— скажи, хорошо нам или нет?

— Хорошо,— сказала женщина сильным и чистым голосом.

— Вот видите! А вы номер не хотите дать!

— Я уже все сказала, и дискуссия ни к чему,— возразила дежурная.— Только женатые имеют право проживать совместно. Для нас вы считаетесь посторонними, и если вас вместе поместить, это будет разврат!

— Разврат?!— завопил тип.— Я бы вам показал разврат! Да мы таким развратом то и дело занимаемся! Ну, скажи, Зюта, занимаемся?

— Занимаемся,— честно призналась женщина.— Занимаемся, Зютек, где только удастся. И уже не первый год, чтоб вам завидно было,— адресовалась она к дежурной.

— Мне завидно?!— презрительно возмутилась та.— Еще чего!

— Да где там не первый год!— кричал тип.— Уже пятнадцатый год идет с божьей помощью!

— Значит, еще тот у вас запал, если не надоело,— вставил с каким-то кудахтаньем делопроизводитель.

Так они трепались еще немного, полусердито-полушутливо, но тут вмешалась Анка:

— Тогда я возьму номер с этой дамой, а вы с этим человеком.

И подала наши заполненные листки.

Дело быстро было улажено, и тот тип перехватил меня в коридоре:

— Это ваша, такая деловая?

— Что значит ваша?

— Я спрашиваю: ваша баба?

Мне пришлось кивнуть, иного не оставалось.

— Так вот,— продолжал он,— сейчас мы пока трали-вали, а вечером, по-тихому, вы к своей, а моя ко мне, хи-хи! Вот и обставим их, бюрократов, чтоб им кисло было!

Он пожал мне руку, хлопнул по плечу, все время приглушенно смеясь от радости.

Я не знал, сказать ли об этом Анке, чтобы не вышла какая-нибудь глупость, но она сама вскоре спросила:

— Тот битюг уже говорил с тобой?

— Какой битюг?

— Да не строй ты дурака! Кто к кому переходит?

— Я к тебе,— сказал я, и в животе у меня как будто что-то оборвалось.

Поднялся довольно сильный ветер, толстые и округлые тучи низко передвигались по небу, белая пыль летела со стороны бункеров, когда мы с Анкой вышли пройтись, умытые и причесанные, Анка даже юбку надела, единственную, которую захватила с собой, немнущуюся; в волосах у нее была красная ленточка, и она вовсе не походила на такую, что целые дни гоняет на велосипеде, а больше годилась для «мерседеса», я сказал ей об этом, и она нисколько не удивилась, как будто и на самом деле с завтрашнего дня собиралась ездить на «мерседесе».

Мы шли той самой дорогой, как и тогда, с группой, теперь тут было пусто, и сырой от листьев и влажной земли воздух и бункеры даже производили большее впечатление, можно было хоть кое о чем подумать.

В бассейне Евы Браун стояла зеленая вода, подернутая густой ряской и лягушечьей икрой, на обломках бетона, чуть торчащих над поверхностью, сидели большие лягушки—грузные, серые, с черными крапинками и совсем розовые, я впервые таких видел, поэтому поплевал сверху, пытаясь их спугнуть, чтобы посмотреть, как они плавают, но они сидели неподвижно, словно мертвые или выбитые из камня.

Я попытался представить себе казнь генералов там, в городской бойне на крюках, но как-то не получалось, верно у меня воображение

слабое, как-то отчетливее мне представился Гитлер, когда он смотрит фильм об этой казни, интересно, что он, Гитлер, тогда думал, что чувствовал, может, радость, а может, неизвестно что. Во всяком случае, только тут я почувствовал, что Гитлер был такой же человек, как я, то есть, что у него было тело, кости и кровь, руки и ноги, и одежду он носил, а под нею белье, какие-нибудь там майки и трусы, так же, как каждый мужчина, и это меня так взволновало, будто я открыл новый континент. Я много слышал о Гитлере в школе и везде, но всегда слово «Гитлер» означало что-то неуловимое, жуткое, как сон в душной комнате, как вездесущий кошмар. «Гитлер» — это были разрушенные города, фильмы о войне, памятники жертвам, лагеря, целые кладбища, целые армии, сражения и фронты, вся современная история; а тут вдруг я почувствовал, что это был человек, всего лишь человек, что он дышал тем же самым воздухом, в этом самом месте, ощущал ту же самую сырость, слышал тот же шорох ветра в ветвях, ходил по тем же самым дорожкам, прикасался к тем же самым стволам и стенам, существовал тут недавно так же реально, как теперь я, и отделяет нас друг от друга какое-то число солнечных восходов и заходов, которые выглядят так же, как всегда, всегда, с тех пор, как существует мир...

Я почувствовал для себя этого Гитлера так, как никогда никого не чувствовал, и понял, что история мира проста, что она простенькая и примитивная, если творят ее не люди-призраки, люди-боги, каких множество в учебниках, а обыкновенные, слабые люди-человеки, которым кто-то штопает носки, кто-то стряпает пищу, которым жмут ботинки, у которых болит живот, которые носят в карманах рядом с планами завоевания мира засморканные, влажные носовые платки...

Меня это просто потрясло, но только сейчас я могу об этом рассказывать, а тогда на меня затмение нашло, и я чуть не свалился в бассейн Евы Браун, тот самый, который не мог быть бассейном никакой Евы Браун, а был всего лишь пожарным водоемом при продовольственном складе неподалеку, надо только трезво поразмыслить, и сам это сообразишь. И тут я почувствовал весь ужас преступления этого типа, всю громаду войны, о которой я знаю по книжкам, фильмам и школьным урокам,— все это обрушилось на меня своей ужасной тяжестью, придавило меня всеми своими картинами, всем дымом, гулом, воплем и огнем, голодом и плачем, и я подумал про себя, какие счастливые и глупые эти розовые лягушки, которые сидят тут неподвижно и бесстрастно, и мы, глядящие с праздным любопытством на этих розовых лягушек...

— Это современные пирамиды,— сказала Анка, когда мы подошли к бункеру Гитлера.

— Это больше, чем пирамиды,— сказал я.— Фараон воздвигал пирамиды, чтобы о нем память не угасла, а Гитлер это сооружал, чтобы бросаться отсюда на целый мир. И из-за пирамид не погибло столько людей, сколько из-за этих нор.

Она покачала головой.

— Я, во всяком случае, предпочла бы осмотреть пирамиды, а не это...

Я рассердился.

— Скажите, какой снобизм! Именно сюда должны бы приезжать люди со всего света, если у них хоть немножко в котелке варит! Сюда надо совершать паломничества, особенно тем старикам, над которыми Гитлер измывался сколько влезет, им надо увидеть, в каком местечке готовилась для них смерть...

— Это уж ты слишком, миленький. Древняя история гораздо больше значит для мира, чем этот примитив. Нынче тебе любой инженерик такой бункер соорудит, а как воздвигали пирамиды и чем втаскивали

камни на вершину, до этого еще никто не может додуматься. И климат там помягче, бр-р...

Она вздрогнула и прижалась ко мне. Я обнял ее узкие и сильные плечи, и мы медленно пошли дальше, но тут из кустов вылетел комар, большущий, как слепень, и жиганул Анку в щеку.

Она завопила и скорее достала зеркальце, чтобы выдавить комариный яд, потом долго смотрела на себя и строила всякие рожи, пока я не сказал:

— Хватит уж, и без того хороша.

— Хороша — этого для меня мало.

— По мне,— сказал я,— женщина даже и не должна быть особенно красивой. Лишь бы характер был хороший и прежде всего — специальность, это главное.

Она рассмеялась.

— О, дорогой мой! Мало же ты от жизни требуешь. Хорошенькая женщина со специальностью еле-еле добивается самостоятельности. А красивая женщина со специальностью делает карьеру.

— Ты хочешь быть красивой?

— Я хочу сделать карьеру.

— Зачем?

— Мама меня так научила.

— А мама сделала карьеру?

— В некотором смысле.

— В каком?

Она немного поколебалась.

— Она может себе многое позволить.

— Что именно?— настаивал я.

— Собственную квартиру, выезды за границу, меня воспитывать...

— А отец?

— Что, отец?

— Не помогает? Не работает?

— Нет. Отец не работает.

— Больной?— догадался я.

— Ну что ты! Он никогда не работал.

— Так что же он делает?

— Ничего не делает. Он артист.

— Артист?— удивился я.— А разве артисты ничего не делают?

Она махнула рукой.

— Какая это работа! Песенки сочиняет. О любви. Дурак.

— Дурак, потому что о любви?

— Да. И вообще. Он не живет с матерью.

— Тогда почему? Каждый имеет право не жить.

— А он ушел,— крикнула она,— потому что непременно хотел иметь детей, идиот! Понимаешь? А мать была в лагере, и там у нее все изнутри вынули, и она не могла иметь!

Мы с минуту помолчали, и я понял все эти отношения.

— По-моему, он должен был любить твою вторую мать, если уж хотел от нее детей, хотя у него уже была ты...

— Осел, я не была у него ни от первой, ни от второй матери, потому что у него вообще до этого не было жены, понимаешь?

— Нет. Начисто не понимаю.

— Они поженились, и тут же началась война. Вот они на всякий случай и решили, что ребенка заведут только после войны. Чтобы с ним чего-нибудь худого не случилось, понимаешь, ну и вообще. Мать посадили в лагерь и делали на ней эксперименты. Вернулась она с пустым животом. Они уже не могли иметь детей. И вот через пару годиков он

смотал удочки. Не мог выдержать — подавай ему разросшийся его сперматозоид.

— Тогда... откуда же ты взялась?

— Ниоткуда.— И она пожала плечами.— Если бы я знала, откуда. Нашли меня где-то. Удочерили. Люди говорили, что я еврейка. Приглядись, похожа?

Она вдруг повернулась ко мне лицом, вздернула подбородок, выпятила грудь, ноздри ее дрожали от ярости, потом повернулась профилем, все время приговаривая:

— Вот так, вот-вот теперь смотри, так лучше видно...

— Ничего не вижу. Да и какое мне дело, по мне можешь быть хоть негритянкой, хоть эскимоской.

Но я и в самом деле ничего не видел. Красивая, и все.

Мы пошли дальше, и Анка с грустью пожаловалась мне:

— Я даже не знаю, столько ли мне лет, сколько считается. Может, больше.

— А может, меньше.

— Вообще-то всегда больше. Я чувствую, что мне больше. Да, я гораздо старше тебя, мальчик! И куда опытнее!

Она обхватила мою голову и помотала ею, смеясь и подпрыгивая. Как-то так получилось, что мы опять поцеловались, но я не почувствовал в этом такого вкуса, как днем, да и вообще-то, по правде говоря, мне вовсе не хотелось целоваться. Настроения не было. Каждую минуту на ум приходила какая-нибудь новая диковина, все это путалось у меня в голове, слишком много для одного дня, слишком. А кроме того, я был влюблен — ужасно, смертельно, и в таком состоянии поцелуй был вроде глупой, ненужной шутки, портящей самое главное, самое хорошее.

Я легко отстранил Анку и отвернулся, мы были возле длинной, узкой расселины в бетонной стене, Анка потянула меня за руку и втащила туда, мы сели в этой тесной глубокой воронке из бетона, устланной травой и мягкими кустами, она расстегнула мне рубашку и положила руку на грудь, там, где сердце, потом повалила меня на спину, и нагнувшись надо мной, слушала, как оно бьется, прикладывая свое холодное ухо, и крепко, как-то покусывая, целовала меня, а я думал о том, что нахожусь в самом потайном месте на земле, в ставке Гитлера, величайшего в мире убийцы с тех пор, как существует мир, и не верилось, что лежу тут безнаказанно, в расселине треснувшего бункера, развороченного раз и навсегда, но еще не настолько, чтобы я не испытывал тут страха, чтобы не чувствовал всеми своими порами, что и на меня поднималась отсюда огромная лапа смерти и она, наверно, ухватила бы меня, как ухватила мою мать в последние дни войны, когда мне был всего год от роду, и что я обязан моей жизнью чистой случайности.

Глаза у меня были широко открыты, и я смотрел в небо, в узкую полоску неба, темного, как расплавленный свинец, залившего просвет между бетонными краями, откуда вырастали жутко изогнутые тросы стальные прутья, рыжие и разбухшие от сырой ржавчины, и когда Анка заглянула мне в глаза, то увидела все, что видел я, и ее словно током от меня отбросило, она поправила волосы и вышла на дорожку, там я догнал ее, и мы вместе, в злом молчании, какие-то вдруг озябшие, пошли в ресторан «Волчья яма», чтобы выпить горячего чая и почувствовать себя людьми.

Там было душно и жарко. Муторный запах свекольника, толкучка у стойки и занятые, заставленные посудой столики, яростные официанты мечущиеся, как слепни, пронзительный писк детворы — мы лишь заглянули туда, сделали один только шаг, и все это шибануло, как молотом по нас грохнуло...

— Это же пытка будет,— сказала Анка.— Ты только глянь, сколько его набилось, простолюдья этого. Лучше уж три дня не есть...

Я хотел сказать, что мы такое же простолюдье, потому что господа все за границу сбежали, и если бы нашелся столик, Анка первая бы за него уселась, и кто-нибудь тоже мог бы сказать «простолюдье»,— так я хотел сказать, уже было рот открыл, да вдруг в конце зала у колонны увидел пустой, почти свободный столик и над ним руку, машущую нам, и, прежде чем я сообразил, Анка уже шла туда, сквозь склонившуюся над жратвой ораву, ловко прогибаясь в талии, шла к этому столику у колонны, где мужская рука в сверкающей манжете покачивалась над красиво прилизанной головой, над коричневым лицом, кожа которого была выделана коньяком и соками наилучших фруктов, эта призывающая рука, этот сигнал, которым никто не мог пренебречь, даже я, потому что Анка была уже возле него, потому что это был он, виновник моего позора, моего двухлетнего терзания, это был как раз

ОН,

немец. Хозяин «мерседеса» встал со стула и сказал на чистом польском языке:

— Прошу вас, тут есть свободные места.

При этом он ослепительно улыбнулся, и зубы у него были белые, как воротничок его нейлоновой рубашки, которую не надо утюжить и которая стоит в комиссионке восемьсот пятьдесят злотых, и разве только сумасшедший купит этакое за половину месячного жалованья.

— Спасибо,— сказала Анка, и мы чинно и настороженно сели, как дети на трудном уроке.

Это была ошибка, это была величайшая ошибка, тем более что самая последняя, ведь после нее я уже не делал ошибок, все пошло своим чередом, как и положено, и каждый мог это предвидеть, каждый, но только не я. Было еще время, пока Анка туда подходила, повернуться, толкнуть дверь и смотаться, вскочить на верный мой велосипед и скрыться, никто бы меня не догнал в этом лесу, на этих тропинках и мазурских дорогах, никто и на ста «мерседесах».

А я хоть бы что, сидел, тихо понурив голову, будто ждал приговора. Вот и дождался...

И теперь вот расхлебываю...

— Я пригласил вас, поскольку все места заняты. Прекрасно понимаю, как это досадно,— все еще улыбался он.

Я не смотрел ни на Анку, ни на него, а только на свои руки, лежащие на запачканной скатерти, на свои загорелые, сильные, но неуклюжие пальцы, которые годятся только для центровки колеса, для починки передачи, не более, да и что они еще могли по сравнению с пальцами этого господина, ловкими быстрыми пальцами, добывающими автомобили и чеки, берущими визы и заграничные паспорта так равнодушно, как мои пальцы берут трамвайный билет в старой громыхалке, что битый час тащится с Видзева на Балуты; к чему только эти пальцы ни прикасались — мне бы хоть половину, хоть частичку того потрогать!

Я не смотрел на Анку, но знал, какой у нее вид, ее волнение передавалось мне, как тепло от солнца, подернутого тонкой тучкой. Она сказала:

— Мы так вам благодарны.

И это было последнее, что она сказала от нашего общего имени, потому что после этого она говорила уже только от себя, как будто меня не существовало, как будто нас ничто не соединяло, как будто она действительно забыла, что мы днем целовались...

— Вы, кажется, приехали на той большой машине?— спросила она равнодушно.

Немец посмотрел ей в лицо и загадочно улыбнулся.

— На этой... кремово-песочной? — добавила Анка, уже не так уверенно.

Выражение его лица не изменилось, он знал, что она хорошо помнит вид и марку его машины, и ждал, пока название этой отличной, наилучшей марки сорвется с ее губ, как перышко райской птицы, как сладчайшая музыка.

— На этом... «мерседесе»? — произнесла она быстро, как будто впервые припомнила это слово после долгих лет.

— Да, да, это верно.— Теперь и он припомнил.

— Вы немец?

— Конечно,— он все еще улыбался и поглядывал на Анку внимательно и ласково, будто поощрял ее задавать дальнейшие вопросы.

— Вы так хорошо говорите по-польски... вот я и подумала...

— Мои дела требуют этого,— сказал он ласково.— Впрочем, я знаю его с детства...

Он потирал ладони, словно умывался.

— Странно устроена жизнь,— сказал он с деланной краткой задумчивостью.— Я и не предполагал...

— Чего?— с готовностью откликнулась Анка.

— Что будет так приятно,— оживился он.— Погода для поездки — лучше и не придумаешь. Не выношу жары. А вы?

— Я тоже не выношу.

Так это у них мило получался разговор, а я был голоден и ухватил официанта за полу.

— Что вы, что вы!— возмутился официант.— Мы сейчас группы обслуживаем! Не видите разве? Экскурсия!

— Я жду уже около часа,— сказал немец, глядя на часы.

— И еще час подождете,— заорал официант сердито и убежал, звеня тарелками.

— Обслуживание у вас ужасное,— сказал немец.

— Экскурсия,— пробормотал я.— Надо же им поесть. Тоже люди

— Я умираю с голоду,— вздохнула Анка, глядя немцу в глаза.

— У меня есть предложение,— сказал он,— и я буду счастлив, если оно встретит у вас поддержку.

— Ну, конечно же, слушаю,— так и встрепенулась Анка.

— Нам не остается ничего иного, как только поехать в город.

— В какой город?

— Растенбург,— сказал он. И заметив наши удивленные взгляды добавил:— Это рядом. Теперь он Кентшин. Так ведь? Так он теперь называется?

Ну и жал он! Мы неслись по аэродрому, бетонированные полосы шелестели под нами, как река, сто пятьдесят, сто шестьдесят в окошечке спидометра — стоп,— тормозит мягко и быстро, конец, разворот, машина давно бы уже взлетела, будь у нее крылья, в старину самолеты стартовали при ста двадцати, и еще громадный запас скорости оставался у «мерседеса», только негде было ее развить, аэродром короткий, а немец смеялся, одной рукой держал руль, другой искал хорошую музыку в радио, наконец нашел, и тут он еще раз развернулся от начала полосы на первой передаче дал шестьдесят, вторая передача — девяносто, третья — сто двадцать, на четвертой дал духу так, что лес превратился в две плотные зеленые стены, и сказал:

— Вот теперь легче!

Красная стрелка показывала сто восемьдесят, слегка притормозив, мы выскочили на шоссе и на ста двадцати тут же подъехали к Кентшину.

В ресторане я сидел пьяный от скорости, которой не чувствовал, будто летел самолетом, земля ускользала как в кино, ни единого толчка, ни ветра, ни вибрации кузова — ничего, я точно сидел дома на диване перед большим экраном телевизора, а эта скорость, эта сказочная, баснословная сила существовала словно сама по себе.

— Это лучший автомобиль в мире,— тихо и убежденно сказала Анка, глядя на немца, немного бледная от впечатлений, как бы желая сказать, что это он сам наилучший.

— Ну, зачем же преувеличивать,— сказал он.— Есть еще «мерседес-300SL», у которого скорость двести пятьдесят, кроме того, «мазерати GT», итальянская машина, двести семьдесят в час, но это уже, пожалуй, спортивные, даже на наших автострадах тесновато для таких гонок, потому что у остальных скорость куда меньше...

Я слушал это как сказку, просто не верилось, что автомобиль может быть такой замечательной штукой. Я принялся подробно расспрашивать немца о его машине, а он отвечал охотно, ему это доставляло удовольствие, он помнил все наизусть, знал все, что живет и действует внутри этого чудесного кузова.

— Шесть цилиндров, рабочий объем двигателя две тысячи двести, мощность сто двадцать лошадиных сил при пяти тысячах оборотов коленчатого вала в минуту,— говорил он,— питание впрыскиванием при помощи двухсекционного насоса, электрооборудование двенадцативольтное, прерыватель-распределитель с центробежным регулятором и вакуум-корректором, принудительная смазка, масляный насос шестеренчатый, щелевой масляный фильтр подключается последовательно, со сменным фильтрующим элементом типа «Микроник», воздушный фильтр сухой, свечи «Бош-В225» или «Беру 225/14 Lu3», привод на задний мост, сцепление сухое однодисковое, с механическим управлением, но у моего экземпляра автоматическое сцепление,— говорил он,— типа «Даймлер-Бенц» системы «Гидрак», состоящее из сцепления гидравлического, сухого однодискового сцепления, действующего в одном направлении для блокировки гидравлического сцепления, что дает возможность тормозить двигателем или заводить двигатель буксировкой, а также из фрикционного выравнивателя, регулирующего скорость включения фрикционного сцепления в зависимости от временных условий движения автомобиля,— говорил он,— то есть в зависимости от ускорения или замедления; во время переключения фрикционное сцепление выключается благодаря вакуумному устройству с электрическим управлением через выключатель в ручке рычага переключения скоростей,— говорил он,— коробка скоростей с четырьмя бесшумными и синхронными передачами, главная передача гипоидальная с передаточным числом 4,10,— говорил он,— а что касается шасси, то рама представляет одно целое с низом и одновременно самонесущим шасси, к которому приварены продольные и поперечные лонжероны, к подрамнику прикреплена передняя подвеска, силовой агрегат, иначе говоря, двигатель сблокирован с коробкой скоростей и рулевым управлением; передняя подвеска,— говорил он.— независимая, на трапециодальных поперечных рычагах, пружины цилиндрические с дополнительными пружинящими элементами, стабилизатор, помещенный впереди передней подвески, гидравлические телескопические амортизаторы помещены с наружных сторон подвески между пружинами и колесами,— говорил он,— задняя раздельная качающаяся ось подвешена на удлиненных балансирах, выполняющих роль реактивных тяг,— говорил он,— цилиндрические пружины вертикальные с до-

полнительными резиновыми пружинящими элементами и одна цилиндрическая пружина, выравнивающая, помещена горизонтально над задней осью, между балансирами и колесами,— говорил он,— главный тормоз гидравлический с вакуумным усиливающим устройством системы ATE; тормозные барабаны — диаметром двести тридцать миллиметров, тормоз на передних колесах с двумя действующими в одну сторону колодками, турбинное охлаждение тормозных барабанов, саморегулирующиеся колодки,— говорил он,— рулевой механизм, самостоятельно возвращающийся в нейтральное положение с шариковым зацеплением и с гидравлическим демпфером рулевого колеса, шины «Найлон-Спорт» размером 6,70 на 13,— говорил он,— собственный вес тысяча двести пятьдесят пять килограммов, вместимость топливного бака шестьдесят пять литров, в том числе пять резерва, система охлаждения — одиннадцать, объем системы смазки двигателя — пять с половиной,— говорил он,— скорость вы сами видели, расход десять-одиннадцать на сто километров, горючее, разумеется, октановое, какого в Польше почти и нет.

За этой поучительной и умной беседой мы вкусно пообедали в кентшинском ресторане, названия которого я уже не помню, и немец за всех заплатил, я удивился его щедрости, говорят, немцы вроде бы прижимисты, чуть ли не скупы, но мне это было на руку, чего бы ради я стал выбрасывать свои гроши, он же был богаче меня.

Анка не сводила с него глаз, со мной держалась пренебрежительно и грубо, но там я еще не уловил этой перемены, только потом, после второго такого же полета на этой машине, когда мы вернулись на старое место и «мерседес» бесшумно и мягко скользнул под нависшие ветви рядом с нашими послушно ожидающими велосипедами, только там, когда я взглянул из окна этого дворца на колесах на наши велосипеды, встревоженный, что их тем временем могли украсть,— только тогда я сообразил, что происходит, и подумал, что Анка за что-то на меня сердится, а я не знал за что, поэтому мне стало грустно и как-то не по себе, какая-то непонятная тоска меня охватила, я выскочил из машины и подбежал к велосипедам, стал подтягивать и поправлять тросик тормоза у своего «урагана», в то время как они сидели еще там, в машине и о чем-то болтали, за опущенным стеклом радио громко играло мелодию «Адьос, амигос», кто-то ужасно тоскливо пел по-испански, и вот тут, под эту тягучую мелодию, доносящуюся из «мерседеса», я увидел вдруг всю свою судьбу — всю: то, что было, и то, что будет, жизнь моя сделалась вдруг маленькой и легкой, так что я охватил ее, охватил одной мыслью, стиснул даже до боли, чуть не до крови, и осталась у меня от этой моей жизни сухая серая скорлупа, какую часто видишь на свалках и даже трудно сообразить, на что это когда-то годилось; и тогда меня как-то озарило, я понял, что надо делать, чтобы спастись, а вернее, чего не делать, чего опасаться, от чего бежать куда только можно, и мне захотелось сбежать от этого благоухающего кожей автомобиля, слишком дорогого даже для моей фантазии, сбежать от немца, от этого придуманного, невсамделишного немца, который говорит по-польски лучше всех моих знакомых, сбежать от Анки, да, от нее сбежать прежде всего потому что она-то и есть самое страшное, в ней весь яд, весь страх, и только она может действительно меня уничтожить.

Но было уже поздно: они вылезли с разных сторон из машины, радио замолчало, и остались лишь серые, сырые сумерки, предвещавшие дождь.

Я встряхнулся, как мокрая собака, и сказал Анке:

— Надо бы убрать велосипеды, дождь будет.

Она махнула рукой, пожала плечами и при этом презрительно надула губы, как маленькая школьница, которой предлагают поиграть дошколята. Даже немец засмеялся — этот все подмечал.

— Ничего с ними не случится,— сказал он.— Не размокнут.

Я сердито взглянул на него, а он:

— Отличные у вас велосипеды. У меня такого не было, когда я в вашем возрасте ездил по этим дорогам,— и он обвел рукой вокруг.— А теперь уже поздно на велосипеде кататься. Да и по этим дорогам,— добавил он и рассмеялся.

Прежде чем я успел что-нибудь сказать, он легко, но решительно взял меня за плечо и повел ко входу в ресторан, где уже ждала Анка.

Я позавидовал ребятам на сцене. Отрывали они что надо, в темпе и ловко, не глядя на мелкие фальшивинки, которые часто вырывались из их стареньких дешевых инструментов. Их было четверо на возвышении в углу зала, все одинаковые, как вырезанные из журнала мод: расклешенные зеленые рубашки «поло», челочки а-ля Титус, как говорят местечковые парикмахеры, и штампованные морды — наглость и тупая мечтательность; они сели за старые инструменты, парень со взъерошенной рыжеватой бородкой потянулся за желтым тромбоном, дунул в эту изогнутую трубу, пара мягких, хриплых тонов, взмах руки... И тут же причудливо откликнулось пианино, ободранное, точно с морского дна добытое, у ударника инструменты — будто их с крыши сбросили, одна гитара еще как-то держала фасон, красиво инкрустированная, блестящая, с зеленым попугаем, сверкающим красным глазом...

Я завидовал этим ребятам-музыкантам, хоть и вовсе не знал их,— мне казалось, что у них нет никаких забот, что у них нет такого страха и такой грусти, как у меня, хотя мне всего лишь какой-то час назад стало скверно, а до этого я был вполне доволен жизнью, беспечален и почти счастлив. Они такие свободные, самостоятельные, зарабатывают на себя, подрядились тут на весь нынешний сезон, прошлый они провели где-то в другом месте, кто знает, где проведут следующий, играют свои джазовые оркестровки идиотских песенок, получают за это деньги и место, где спать, и армия их не ждет, и о жизни они наверняка знают больше моего...

Я думал о них растроганно, потому что пропустил уже несколько рюмок. Бог свидетель, я не хотел пить, это как-то само собой вышло, оттого, что на столе появилась бутылка коньяку, которого я в жизни не пил, я вообще-то пил мало и пробовал только водку, вино «Тур» и вермут «Зелена Гура» — семнадцать злотых бутылка, а тут вижу вдруг перед собой обычную поллитровку с золотой наклейкой и звездочками, и бутылка эта стоит пятьсот злотых — простому человеку десять дней работать, все равно где: на фабрике или в конторе, меня при виде ее прямо в дрожь кинуло, и я сначала не хотел пить, слово себе дал, что не буду, потому что это ужасная гнусность — лакать такую дорогую штуку, когда другой дай бог как вкалывает и в жизни не сможет себе позволить этакую сумасшедшую роскошь, но потом, когда немец начал выкобениваться из-за рюмок — ему, видите ли, рюмки не понравились, коньяк-то, оказывается, пьют из маленьких круглых или из больших на короткой ножке, тоже круглых, только сужающихся кверху, а тут подали стаканчики по сто граммов, как для простой водяры, ну я и подумал про себя: если уж ты так выдрючиваешься, то я тебе покажу, в конце концов, парень я молодой и такая дорогая водка, будь то хоть коньяк, хоть кобыльяк, наверняка послабее нашей пролетарской, и я не окосею, поэтому я быстро налил эти стопки дополна и, прежде чем они успели что-нибудь сказать, поднял свою бадью и сказал:

— За здоровье гостя из соседней страны!

И одним махом плеснул себе в глотку, и гладко так прошло, разве что горько, будто пробки в этом коньяке размачивали или еще что. Тост мой был ехидный, потому что какой она нам сосед, Западная Германия, мы же с ГДР граничим, но немец не разобрался, во всяком случае не обиделся, только смеялся во все горло и хлопал меня по спине, словно я подавился. Зато Анка пнула меня под столом и сказала:

— Как ты себя ведешь? Мне стыдно за тебя!

— Виноват,— говорю,— а я что, обидел кого?

Она на это:

— Никого не обидел, а пьешь, как сапожник! Это же коньяк, благородный напиток, его пьют медленно, вот так...

С этими словами она взяла свой стаканчик и обмочила губы, раза два языком поцокала, прикрыла глаза и улыбнулась немцу.

Потом появился толстый, низенький тип в черном костюме, осыпанном перхотью, и достал из кармана маленькие круглые рюмки.

— Я заведую здешним рестораном «Волчья яма»,— представился он.— Если вы иностранный гость, то я принес специальные рюмки для коньяка,— обратился он к немцу и подчеркнул: — Собственные. Личные.

И видя удивленное лицо немца, добавил по-немецки, чтобы немец полностью оценил его подвиг:

— Дер привате рюмкен, ферштейн?

Потом обратился к Анке:

— Я вообще-то из иностранных языков только русский знаю, но с грехом пополам и с немецким справляюсь. Особливо с западногерманским.

Он ухмыльнулся, опустил глаза, быстро поклонился раз пять и уходя бросил:

— Покорнейше прошу не побить, иначе меня жена дома побьет...

Тут-то и началось питье. Назло Анке я одним духом опорожнил свою рюмку, а немец то и дело подливал мне, ужасно довольный. Вскоре появилась вторая бутылка, и я без промедления поднабрался — так приятно мне стало, я откинулся на спинку стула и стал разглядывать зал, а ребята как раз начали играть. Сходу посыпались заявки, потому что пьяных было уже порядком, и каждый хотел хорошенько потискать свою дамочку...

Пары танцевали смешные, подобранные нелепо: толстый тип с низенькой тонкой девчонкой, пугающейся огромного брюха своего партнера, желторотый деревенский парнишка с красоткой из Белостока, увешанной сверкающим чешским стеклом. Уже немолодые гуляки из-под Кельцов то и дело выкрикивали:

— Да здравствует Келецкое воеводство!

И как только они не танцевали — красные, взмокшие. То мизинчик этак отставлен, а то палец круто вверх торчит, то левая ножка подрыгивает, и с пришаркиванием-то и с притопом... А какие тут моды, какие стили, что за ужимки и выкрутасы, и вроде каждый из высших сфер, и словно всяк значит больше, чем на самом деле, так что и весело глядеть и тошно. Но больше весело.

Кончилась музыка, почтенная компания, набравшаяся местным дешевым вином и мятным ликером, покачиваясь, расходится к столикам с висящими над ними пластами дыма, хлопает в потные ладоши и кричит:

— Бис!

Тогда малый с тромбоном обращается к дорогим гостям:

— Миуточку вни'ания, по осо'ому заказу пана ди'ектора Юзека для пьелестной пани Яси к'асивая песенка пон'названием «Может, в Мексику кинет нас судьбою...»

Снова аплодисменты, все бросаются в середину зала, заведующий Юзек танцует в кругу с прелестной пани Ясей, это лично их танец, оплаченный сотенной, их интимная поэзия.

Тромбонист поет в слегка потрескивающий микрофон, прижимая его к себе, как собачью морду, вроде и близко держит, а все же на расстоянии:

Может, в Мексику кинет нас судьбою,
голос прерий зовет нас и манит!
Где костры, где индейцы — мы с тобою,
и два сердца любовь соединит!

Тринадцать куплетов у этой песни, мне-то известно, я ее теперь наизусть знаю, весь наш взвод в армии ее пел, но тромбонист оторвал только три куплета, больше его не устраивало, и все равно аплодисменты, крики восторга...

Тогда худой тромбонист с козлиной бородкой исполняет свой коронный номер, этаким проникновенным говорком, с этим чудным особым акцентом:

— Миуточку н'имания! С той поры как финикийцы п'идумали деньги, вы'ажение одоб'ения аплодисментами ста'о абсаютна из'ишним...

Восторг в зале:

— Верно говорит. дать ему водки!

Немец смеется и радуется, как ребенок.

— Весело у вас! — говорит он.

— А у вас? — цепляюсь я.

— У нас? Весело!

— Вот и у нас тоже! — говорю я и начинаю смеяться.

Играют блюз, спокойный, медленный. Немец встает и кланяется Анке. Она вдруг краснеет, вставая, задевает меня взглядом, но опускает глаза и уходит в толпу танцующих, уже заслоненная рослой фигурой немца.

Я остался один, выпил две рюмки и время от времени смотрел на танцующих; немец был самый высокий, голова его покачивалась над сопящей толпой, улыбающееся лицо, загорелое, с белоснежными зубами, ритмично покачивалось из стороны в сторону, будто отрезанное от туловища и подвешенное в пустоте. Анки вовсе не было видно, кажется, раз только мелькнула прядь ее волос, но это могли быть волосы совсем другой женщины.

Одну руку он положил на Анкину руку, другую — на мою. От него шел крутой, плотский жар. Он сказал:

— Любите друг друга. Это хорошо. Это очень хорошо. Ничто на свете не значит так много, как любовь. Я хотел бы, чтобы вам...

— Откуда вы знаете,— перебил я,— что мы любим друг друга?

— Это мне по секрету сказала пани Анка. Но я не сохраняю таких тайн. Любовь не должна быть тайной. Ее нужно высоко нести над собой, как знамя. Так говорят поэты, и так говорят люди пожилые, опытные, которые многое повидали. И так говорю я. Я хотел бы, чтобы вам...

— Вы вовсе не старый,— засмеялась Анка.— Значит, тогда вы поэт?

— Нет,— ответил он.— Я простой человек, но в жизни многое видел. Так вот, я хотел бы, чтобы вам...

— Расскажите что-нибудь о себе,— сказала умильно Анка и положила свою ладонь на его руку, так как он все еще не отпускал нас.

— Человек вообще-то всегда и исключительно говорит о себе,— сказал он, мягко выпустив наши руки, коротко пожав их на прощанье, и закурил сигарету.

Анка, не спрашивая, потянулась к его пачке.

— О, виноват,— сказал он.

— Ничего. Откуда же вы знаете польский?

Он сперва дал ей прикурить, потом сам глубоко затянулся и, выпуская дым, ответил:

— Я родился в селении Шварцштейн. Это очень старая деревня. Там когда-то была священная роща пруссов, а на месте ее крестоносцы построили небольшую готическую церковку. Тогда дьявол страшно рассердился, схватил огромный черный камень и бегом побежал с ним, чтобы разрушить церковь. Но прежде чем он успел подбежать, запели утренние петухи, и дьявол бросил камень в лес. От этого черного камня и возникло название деревни — Шварцштейн.

Мы внимательно слушали его сквозь винные пары, потому что он говорил полуироническим-полусказочным тоном, будто старое предание рассказывал.

— Это очень красивая легенда,— сказала Анка.— Но откуда польский язык?

— Дьявола вообще очень привлекал Шварцштейн,— продолжал он.— Еще в девятнадцатом веке в церкви висели подковы как доказательство других бесовских козней. Как гласит предание, жила в Эйхмедиене корчмарка, обманывавшая своих клиентов. Едва начинался спор, она обычно призывала в свидетели дьявола. И вот как-то он примчался на ее зов и в наказание превратил ее в коня. Превратил и помчал на этом коне к кузнецу в Шварцштейн, чтобы подковать своего скакуна. Когда в кузнице конь заговорил человеческим голосом, перепуганный кузнец бросил инструмент, но дьявол заставил его продолжать свое дело. Подковывали заколдованную корчмарку до самой полуночи, а когда запел петух, волшебство перестало действовать, и конь опять превратился в человека. Разгневанный дьявол в сердцах ударил корчмарку, которая из-за этого скончалась спустя полгода. А выкованные для нее подковы повесили в церкви.

Он глубоко затянулся, довольный своим рассказом.

Анка вежливо улыбнулась, но явно чувствовала, что он над нею подтрунивает.

— Так этот самый дьявол и научил вас польскому? — спросила она с издевкой.

— Признаюсь, что лично я не имел чести знать того самого дьявола, хотя со многими другими и познакомился... И жаль. А Шварцштейн, простите, находится возле самой ставки. Теперь он называется Черники. А Эйхмедиен — это Накомяды, несколько километров отсюда. Дьяволу не пришлось долго гарцевать на заколдованной корчмарке. А что касается камня, который упал в лес...

Нас прямо-таки тряхнуло от изумления.

— Так вы тут родились? — воскликнули мы одновременно.

— Да,— ответил он спокойно.— Камень упал в лес возле Гёрлиц который сейчас должен называться скорее Погожельский или Сгожельский, но уж никак не Герложский... Так или иначе, это тот самый лес в котором мы сейчас находимся, тот самый, который так надежно укрыл эту огромную ставку.

Сейчас светит солнце, и земля, набухшая зеленью, тяжело курится воздух такой гнетущий, что думать невозможно, но я должен продумать все до конца, как и тогда, приближается конец, к счастью, трудно предположить, чтобы что-то длилось вечно. Сейчас я совершу погребение с отвращением закопав, словно падаль, свой позор, а потом пройдусь немного по всей этой огромной штаб-квартире, и если не буде

людей, то присяду где-нибудь на обломке бетона и сыграю «Лили Марлен», ведь я и это умею играть, красиво и с чувством, но, наверно, скоро хлынет дождь, дороги между бункерами осклизнут от грязи, нанесенной за это время на потрескавшийся, выщербленный бетон, так что к чему обувку портить, лучше отправиться восвояси, в свою жизнь.

Это было давно, никто уже об этом не помнит, ни Анка, ни тот немец, который вообще-то дал Анке визитную карточку, скользкую, с красивой надписью, но я эту карточку изодрал в клочки и расшвырял по измятому мху, в лесу, на том месте, откуда началось

ВОЗВРАЩЕНИЕ,

и никто не знает, как этого немца звали и был ли он вообще.

А ведь он был. Танцевал с Анкой, а я сидел за столиком, напившийся за его счет, отравленный насквозь. Он делал разные мины и жесты, как наилучший в мире актер. Он смеялся, показывая свою силу. Он там был и жил, и никогда уже этому не помешаешь, потому что факт — он факт и есть, а в жизни считаются только с фактами.

Он рассказывал про свою жизнь.

— Надо ценить любовь, дорогая Анка, и вы, молодой человек,— говорил он, пожимая нам руки,— только любовь чего-то стоит. Мне хотелось бы, чтобы вы были счастливы. Я не очень хорошо разбираюсь, какие возможности для достижения счастья имеются в вашей стране, потому что в нашей они неограниченны. Но только сейчас. Раньше бывало тяжело, у меня, например, первая половина жизни была исполнена горечи, и только во второй осуществляются мои мечты. Первая половина жизни связана с этим краем, где я родился, вырос и страдал. У меня был приятель, его звали Ганс...

— У немцев приятелей всегда зовут Ганс или Фриц,— сказала Анка, уже крепко набравшаяся.— Почему?

Но он не обратил на это внимания и как-то очень быстро рассказал нам свою жизнь, вернее, рассказал о первой ее части, самой трагической. Это тоже была ошибка, что я попался на эту удочку. Вот что он рассказал:

— Мы ходили в одну школу, в одну гимназию. Ганс был приверженцем Гитлера, а меня политика не интересовала. И как-то я из мальчишеского духа противоречия отпустил несколько язвительных замечаний по адресу фюрера. Ночью за мной пришли молодые эсэсовцы, новые друзья Ганса. Я угодил за решетку маленькой тюрьмы в Растенбурге, а потом меня перевезли сюда, на строительство ставки. Я был одним из тысяч невольников, возводящих этот памятник. Работал я с год. Ганс был командиром отряда, который караулил нашу группу. Я видел его ежедневно. Но мы не обмолвились ни единым словом, хотя на других заключенных он кричал и всячески к ним придирался. Сам он ни в кого не стрелял и не приказывал расстреливать, хотя, я думаю, он должен был знать обо всем, что творят его подчиненные. А они пристреливали ослабевших узников, которые не выполняли положенной нормы, и закапывали трупы почти там же, где они падали. Больше всего народу погибло при прокладке телефонной линии, если кабели откопать, то прямо на них увидите скелеты. Завтра я покажу вам места, где они лежат, я запомнил их навсегда. Так оно и продолжалось — работа и смерть. Несколько раз вокруг меня сменились люди, целые группы погибали, а я оставался в живых. Я знаю, что обязан этим Гансу. Вообще-то он был очень хороший парень.

Немец потушил сигарету и снова пригласил Анку танцевать.

Я в каком-то полусне разглядывал зал, стараясь обнаружить тут следы прошлого, о котором вспоминал немец. Здание это было гостини-

цей для офицеров СС, те же самые комнаты и те же самые уборные, а ресторан внизу — это гараж, боксы на восемь автомобилей, только стенки сломали, и там, где раньше стояли защитного цвета «оппели», «ганзы», «ханомаги», «адлеры», «кюбельвагены», «кайзеры», «курьеры» и «мерседесы-170», теперь веселится наш польский народ. Запах масла, горючего и резины, пыли и кожаных сидений навсегда выветрился, остались только те самые большие электрические выключатели в стенах, крепкие и надежные, как любое немецкое изделие, когда-то их поворачивали убийцы и шоферы, теперь — официант и уборщица.

— Потом я был в лагере,— продолжал немец, когда оркестр перестал играть.— В Освенциме я видел тысячи трупов и живых, которые выглядели как ходячие трупы. Я сам должен был стать трупом. Но добрые люди все подкладывали мое направление в газовую камеру под кипу других направлений, и в камеру шли другие, а я оставался жить. Наконец, во мне принял участие один высокий лагерный чин, который когда-то играл со мною в футбол на школьной площадке, он перевел меня в маленький лагерь, где заставляли работать до упаду, но смерть уже не грозила, во всяком случае не в такой степени.

Анка вглядывалась в него с явным обожанием в глазах. Теперь она пила больше и курила сигарету за сигаретой. Немец видел, какое он производит на нее впечатление: красивый, сильный и богатый мужчина, который когда-то был на волосок от смерти.

— Однажды я видел, как привезли триста беременных женщин. Все должны были вот-вот родить. Они ждали своей участи в лесу, а мы копали для них могилу. Глубокую яму на поляне посреди весенних деревьев. На дно бросили старые шасси от грузовиков, они служили колосниками. А под ними горели дрова, облитые бензином. Потом по пятьдесят человек выстраивали в шеренгу надо рвом, а мы, опершись на лопаты, смотрели со стороны, как взвод расстреливает их из автоматического оружия. Женщины падали в дым и клокочущее пламя уже мертвые, но дети, так и не родившиеся дети, еще жили в их шипящих телах. И тогда я увидел нечто такое, чего уже никогда не увижу, и немногие такое видали: от жары, которая была внизу, животы женщин вздувались, их распирало давление пара, в который превращались околоплодные воды, и животы лопались, точно бутылки, и в этих кровавых, огненных дырах корчились маленькие, съежившиеся, бесформенные младенцы...

Анка закрыла лицо руками. Он посмотрел и улыбнулся. Потом осторожно прикоснулся к ее волосам.

— Нет! — крикнула она.— Не прикасайтесь ко мне!

Я быстро выпил свою рюмку, чтобы освободиться от спазма, сводившего горло. Меня стало мутить.

Он посмотрел на меня и снова улыбнулся.

— Сейчас я расскажу такое, что заинтересует вас, молодой человек. Так вот, неподалеку находилось нечто вроде амбулатории или небольшой клиники. Мы прокладывали там широкую, удобную дорогу. И как-то солнечным и ветреным днем, когда война уже шла к концу, мы увидели на нашей, еще не законченной дороге огромный грузовик марки «хорьх». Он ехал очень медленно, со скоростью прогуливающегося человека, огибая кучи гравия и выбоины. В кузове стояли десятка два молодых, красивых, смеющихся девушек. Они махали нам руками, платками, посылали воздушные поцелуи. На вопросы — куда едут, они ответили, что на курсы, окончив которые, станут сиделками. Девушки были разных национальностей, но раненых становилось все больше из-за поражений на Восточном фронте, и поэтому неудивительно, что не хватало сиделок. Они проехали мимо нас, как волшебное видение, и еще

долго каждый из нас выполнял свою работу, словно в сонной одури, спрашивая себя, сможет ли он еще когда-нибудь в жизни пойти с такой девушкой выпить рюмочку вина. И вот через несколько часов грузовик показался снова. Возвращался он так же медленно, мы прервали работу, чтобы приветствовать девушек, но их не было. Машина везла что-то, прикрытое большим зеленым брезентом. Вдруг грузовик остановился прямо возле нашей группы из-за какого-то препятствия, и один из нас, подгоняемый любопытством, подбежал к машине, откинул брезент... они лежали там...

— Убили,— охнула Анка.

— Не только,— усмехнулся он.— Они лежали голые, все серо-синие, скорчившись. У них взяли всю кровь, до последней капли. Для армии. На фронте было много раненых, не хватало крови...

Тогда я вскочил со стула и, расталкивая людей, выбежал в холодную темноту.

Выблевать все это из себя, выблевать! Скорчившись в три погибели, я стоял у бункера Гитлера, держась руками за шершавый сухой бетон, по небу пробегали яркие, беззвучные сполохи, надвигалась гроза, лягушки пронзительно вопили в бассейне Евы Браун, у гостиницы охрипшая овчарка, запертая в проволочной клетке, лаяла утробно и жутко, а из меня с кашлем и воем выходил весь этот день — все, что влезло в меня силой, непрошенно: сивуха, рассказы немца, любовь к Анке, кровь девушек, сжигающее людей пламя — все это я извергал в ужасных муках, словно потрошил себя. Зачем мне это, кричал я, ведь я живу сейчас, а не тогда, живу на целую свою жизнь позже, так по какому праву вся эта пакость хочет меня уничтожить, зачем?.. Я отошел подальше, пошатываясь, спотыкаясь о щебень и железные рельсы, влез в расселину — ту самую, где мы с Анкой сидели днем, и упал ничком.

Проснулся я в воде. Гроза бушевала, слепили молнии, с покатой стены на меня низвергался поток, продрогший, я долго скользил по грязным дорожкам, пока не добрался до ресторана «Волчья яма» и открыл дверь.

Резкая тишина после окончательного аккорда. Одобрительные нескладные вопли. Молодой тромбонист с обтрепанной бородкой выступает на просцениуме:

— Уважае'ая публика! Насколько я 'азби'аюсь в ме'ицине, одними ап'адисментами нынче не п'аживешь...

Снова вопли, толпа разбредается по столикам. Наш столик у колонны пуст, официант суетится возле него, собирая грязную посуду...

Тогда я выскочил на дорогу и сквозь проливной дождь увидел два красных сигнала «мерседеса», мягко колыхающихся на выбоинах, медленно, как будто это человек шел, гуляючи...

Я погнался за ним, с головой, гудящей от вспышек молний и стука крови в висках, но в тот самый миг, когда я шлепнул ладонями по его скользкому раскачивающемуся заду, яркие лучи фар полоснули по косым струям дождя, автомобиль вырвался из моих рук с быстротой света, и я упал, ткнувшись мордой в холодную грязь, и увидел все звезды на свете в одну крохотную секунду, большую, как целая вечность.

— Вы что, спятили? — закричал тип со скрежещущей кровати, когда я вошел в номер, держась за разбитую голову.

Женщина в ужасе охнула и натянула на себя одеяло, съежившись под ним.

— Договаривались мы или нет? — вскинулся тип в сетчатой майке.— Вы же должны были перейти...

Я быстро смотал удочки, конечно же, договаривались, я совсем забыл, комната Анки была холодная и темная, железная больничная койка пронзительно скрипнула, когда я свалился на нее в мокрой и грязной одежде, дождь шелестел и чавкал за окном, потом все стихло, теплый, душный туман набился в комнату, собака уже не лаяла, только настырное зуденье комаров приближалось и отдалялось, кружило надо мной, как далекий рокот бомбардировщиков.

За окном было серо, словно в него вставили плиту из тонкого свинца, какая-то птица, всего одна, время от времени прорезала тишину навязчивым свистом, свинцовая плита понемногу светлела, блекла, пока не зашумел, точно далекий прибой, мотор «мерседеса» — шесть цилиндров, на медленных оборотах он работает ровно и тихо. Хлопнули дверцы с обеих сторон машины, раздались шаги на склизкой дорожке, шаги в бетонном коридоре гостиницы...

Анка стояла перед тонкой, изрезанной щелями дверью, а шаги немца стихали в конце коридора, дверь его номера слегка скрипнула, и тогда Анка появилась в мутном свете слабой лампочки, сквозняк шевельнул откинутой занавеской...

Она спокойно приблизилась и села на мою кровать, закурила сигарету, обратясь лицом к окну, дыма почти не было видно в этой серой мгле.

Наверно, она думала, что я сплю, а я смотрел на нее из-под прикрытых век и терпеливо ждал, пока она докурит свою сигарету с фильтром...

Потом я поднял руку и крепко схватил ее за шею, притянул вниз, на себя, и так, будто это было вполне естественно, будто я знал это давным-давно, все произошло в полнейшем молчании, без единого слова.

Сейчас то светит солнце, то моросит, а в тот час, когда мы выезжали, тоже было солнечно, но прежде тяжелые шаги эхом отдались в каменном коридоре. Немец шел, навьюченный чемоданами, которые, вероятно, поблескивали черным лаком или желтой кожей, мотор снова великолепно зашумел под окном, и чмоканье шин по грязи медленно стихло; солнце было в зените, мы ехали, не говоря друг другу ни слова, и я думал о том, что произошло в серой сырости на больничной койке, и о том, что произошло в «мерседесе» под дождем, посреди ночи, в лесной чащобе, а может, и где-нибудь далеко — что для него расстояние, может, отвез ее в Гижицк, может быть, в местечко, где он фотографировал узкий дом с тяжелыми карнизами, может быть, там, в этом доме, где до войны жила его невеста... Но все это ничего, ничего все это не значит, думал я, ничего особенного, в самом деле, это химический или физический опыт, это естественная реакция, да и что это, собственно, такое — да просто ерунда, и из-за чего только люди огорчаются и руки на себя накладывают, создают книжки и фильмы, картины и песни, о чем мечтают и из-за чего сходят с ума, ведь это же плевка не стоит, ровным счетом ничего, только немножко стыдно, когда встаешь и не знаешь, что сказать, а кроме этого ничего, просто ничего.

Он обещал показать места, где лежали скелеты, а сам сбежал чего-то боялся, и зачем, ведь я бы ему все простил, я и простил ему все.

Мы поехали после скромного завтрака в ресторане «Волчья яма» и вскоре начался чужой, незнакомый лес, отходящие в сторону дороги и поляны, устланные пухлым мхом, и мы остановились на одной такой

поляне, и повторилась эта самая ничтожная, ничего не стоящая вещь, повторилась красиво, и хорошо, и бурно, и страшно, так что мир перевернулся вверх дном, и тогда я понял все, что в этом надо было понять: понял, что уже теперь, после этой поляны и после той ночи я не смогу любить Анку, эта поляна и та ночь — как огонь и вода, как яд и кровь, и они никогда во мне не примирятся.

Анка пристально смотрела на меня, только мгновенье, и она уже знала все, что я знал, даже больше, она же была такая опытная, такая умная.

Она поправила волосы, застегнула блузку и молча села на свой красный велосипед марки «сказка», тот самый велосипед, о котором я последние дни заботился, как о своем собственном, починил передачу, заклеил камеру и отцентровал колесо, который знал уже как свои пять пальцев, — села и медленно поехала прочь, не оглядываясь, а я стоял неподвижно и чувствовал, что так и надо стоять, не двигаясь, пока она не исчезнет за деревьями, пока не уедет далеко, стоять, пока она не уедет так далеко, что я уже никогда не смогу ее догнать.

Два года мне пришлось ждать этого солнечного и ненастного дня, когда все наконец стало простым и ясным и когда позор развеялся, как туман в огне полудня. Я не сыграл на гармошке на могиле моего позора, игра эта перестала меня веселить, я возвращался спокойным, ровным шагом взрослого человека из огромной штаб-квартиры Гитлера, уходил от черных от сырости бункеров, от этих пирамид смерти, чтобы уже никогда к ним не вернуться.

Дорога сухая и гладкая, машины проносятся резко, красивые, современные машины: «мерседесы», «оппель-рекорды» и «оппель-капитаны», «фольксвагены 1200 и 1500», «таунусы 12М и 17», «BMW», «NSU-спортпринц», «авто-унион» и «глас» — все великолепные немецкие изделия мчат по польским шоссе, сверкая свежим лаком, оставляя запах «десертного» бензина. В каждой машине, снабженной сзади знаком «D» возле номера, сидит толстый или тонкий человек в белой рубашке и непременном галстуке, а рядом красуются золотистые, рыжие или черные волосы девушки.

Проносятся они быстро, так что даже лица невозможно отчетливо разглядеть, но я стараюсь уловить взглядом то, что помню и что должен забыть. Лицо Анки. Может быть, она и пронеслась мимо меня, за стеклом иного мира, при такой скорости любая на нее похожа, любая может показаться ею.

Оборы, май 1965

Из американской поэзии

РОБЕРТ ЛОУЭЛЛ

Перевод с английского
АНДРЕЯ СЕРГЕЕВА

Июль в Вашингтоне

Жесткие спицы этого колеса
вонзаются в язвы земного шара.

На Потóмаке белыми лебедями
катера грудью взрезают сернистые воды.

Выдры ныряют, выныривают, прилизанные,
еноты полощут мясо в ручье.

На кругах площадей — зеленые всадники, словно
освободители Южной Америки

над остриями буйной тропической поросли,
которая унаследует мир.

Избранный и вступивший в должность приходит сюда,
как новенький гривенник, и уходит, как тряпка.

Мы не можем назвать их имен и дат —
круг за кругом, как кольца на пне,—

о если бы за рекой был иной берег,
далекий хребет очистительных гор,

холмы, подсиненные, словно веки у девушки...
Кажется, чуть подтолкни — и мы там,

что всего лишь ничтожное противление
непокорного тела нас тянет вспять.

В сорок пять

Зима пронизывает
меня. Нью-Йорк
сверлит мои нервы:
я иду
по прожеванным улицам.

Куда мне, куда
в мои сорок пять?
На каждом углу
встречаю отца,
живого, моих лет.

Отец, прости мне
мои обиды,
как я прощаю
тем,
кого сам обидел!

Ты никогда не всходил
на Сион, но оставил
динозавровы
следы на пути,
по которому я иду.

Готорн*

Пройдитесь по главной улице, что лениво
тянется от богадельни до Висельного холма
по однообразию плоской земли
с деревянными домиками,
запаршивевшими от желтой сухотки,
словно шкура старой собаки.
Вы ни к чему не пришли
в готорновом Сэйлеме.

Как я восстановлю облетевшее серебро?

Зайду на таможню к чиновнику Готорну —
он дрогнет, но уголь в камин подбрасывает
по кусочку;
посмотрю на унылую южную пристань,
на убогую черную шхуну,
на покрывшую грузы морозную плесень.
Солнечные часы
с колокольни на Государственной улице,
по долгу службы, невзирая на лица,
отсчитывают часы.

Даже он, застенчивый, неуверенный,
порою бродил по гребню горящей крыши,
подставляя под вспышки
разряженные клеточки мозга.

---

* Натаниэль Готорн (1804—1864) — американский писатель-классик, автор романа «Алый знак».

Взгляните на лица
Лонгфелло, Лоуэлла, Холмса, Уиттьера! *
Какие серебряные эти седые их бороды!
А у Готорна
на портрете усы светло-русые
и золотистый скальп генерала Кастера.
Писатель похож на офицера
Гражданской войны. Его строгую
улыбку видавшего смерть озаряют огни камина.

Оставьте его на минутку в покое —
и увидите, как он опустит голову,
остановится пристальным
взглядом на щепочке, травке,
задумываясь, задумываясь
над виденным-перевиденным,
над каким-нибудь листиком,
будто это причина причин.
Он поднимет глаза, встревоженный,
обескураженный, разочарованный
размышлениями об истинном
и обыденном.

Буэнос-Айрес

В номере отеля «Континенталь»
за тысячу миль от никуда
я услыхал,
как грузно, мясисто дышат стада.

Они давали мне поневоле
новую каштановую куртку из
замши,
новые остроносые туфли,
в которых я тотчас набил мозоли.

Уродливая лепнина конца века
наваливалась на Буэнос-Айрес,
убегала в пампасы,
огибая казармы.

Весь день я читал о газетном
перевороте,
о свинцовой усобице генералов —
солдатское мясо на шахматном
поле,—
но так ни разу и не увидел
танков.

** Лонгфелло, Лоуэлл, Холмс, Уиттьер — бостонские поэты середины XIX века

Под солнцем вдоль кипарисной
аллеи
на кладбище Мучеников за
Республику
однокомнатные неоримские храмы
охраняли классические саркофаги.

Буквы мемориальных бюстов
увековечивали честь мундиров
и мелких морщинистых лбов
этих солдат-бюрократов.

У медных дверей их сотни
богинь, склонившихся ивами,
плакали. Я обретал покой,
касаясь их твердого мрамора
мягкой рукой.

Мне нужен был отдых,
и мой вздох оправдал этот
зимний воздух,
когда назавтра Буэнос-Айрес
наполнили
хмурые беломанжетные толпы.

■

ЧИНУА АЧЕБЕ

Человек из народа

РОМАН

Перевод с английского Е. ПРИГОЖИНОЙ

Глава первая

Никто не станет отрицать, что достопочтенный М. И. Нанга, министр и член парламента, был самым демократичным политическим деятелем в стране. Кого бы вы ни спросили в городе или в его родном селении, Анате, вам сказали бы, что он поистине человек из народа. Я должен оговорить это с самого начала, иначе история, которую я собираюсь рассказать, не имела бы смысла.

В этот день он должен был выступить перед учителями и учащимися средней школы в Анате, где я тогда преподавал. Но, как нередко случалось в то время, когда политическая жизнь била ключом, жители селения стеклись со всех сторон и заполнили школу. Актовый зал был набит битком. Многие сидели на полу, у самых подмостков. Заглянув в дверь, я не пожалел, что нам не удалось протиснуться внутрь — пока, во всяком случае, лучше было оставаться на свежем воздухе.

Во дворе там и тут кружились группы танцующих. Девицы из «Женской лиги» щеголяли в новых форменных платьях из дорогой ткани. Звонкий и чистый, как у певчей птицы, голос их солистки, которую они в знак восхищения прозвали Громкофон, перекрывал шум толпы. Лично я не большой любитель наших женских танцев, сопровождаемых пением, но если бы вы только слышали, как поет Громкофон! Она восхваляла в своей песне красоту Мики, сравнивая его с выточенным из эбенового дерева величавым орлом, и его популярность, которой позавидовал бы легендарный путешественник, открыватель дальних стран, повсюду на своем пути покоривший сердца. Мика был, конечно, не кто иной, как достопочтенный М. И. Нанга — министр и член парламента.

Появление членов охотничьего союза привлекло всеобщее внимание. Даже Громкофон умолкла, правда, ненадолго. Эти люди показывались в селении, только когда хоронили одного из своих или по случаю какого-нибудь важного, из ряда вон выходящего события. Не припомню даже, когда я их видел в последний раз. Со своими заряженными ружьями они обращались, как с игрушками. То и дело сходились двое охотников и в воинственном приветствии со стуком скрещивали стволы ружей. Матери хватали детей и оттаскивали их в сторону. Время от времени какой-нибудь охотник прицеливался в пальмовую ветку и выстрелом срезал ее. Толпа разражалась аплодисментами. Но стреляли лишь немногие. Большинство охотников приберегало патроны до прибытия министра, которому они хотели салютовать: цена на порох, как и на все другие товары, не раз удваивалась за последние четыре года — с тех пор как нынешнее правительство пришло к власти.

Стоя в сторонке и наблюдая за всей этой кутерьмой, я испытывал острое чувство горечи. Эти глупые, невежественные люди готовы были танцевать до упаду и палить из ружей в честь одного из тех, по чьей вине страна покатилась по наклонной плоскости инфляции. Мне хотелось, чтобы свершилось чудо, чтобы раздался голос, который прервал бы нелепое празднество и поведал этим жалким людям какие истины. Но даже это ничего бы не изменило. Они были не только невежественны, но и циничны. Скажите им, что такой-то использовал свое положение для собственного обогащения, и они спросят вас, как спрашивал мой отец: уж не думает

ли вы, что разумный человек захочет выплюнуть лакомый кусочек, который, по счастью, попал ему в рот?

Я не всегда питал неприязнь к мистеру Нанге. Лет шестнадцать назад он был моим школьным учителем, и я даже считался его любимым учеником.

Молодой красавец учитель, каким он мне запомнился, весьма импозантный в своей форме начальника отряда бойскаутов, пользовался у нас в школе всеобщей симпатией. В одном из классов на стене висел портрет идеально красивого юноши в точно такой же безупречно пригнанной форме. Я не уверен, что учитель рисования, написавший картину, хотел изобразить мистера Нангу. В чертах лица сходства не было, но мы тем не менее считали, что это портрет мистера Нанги. Оба, молодой человек на портрете и наш учитель, были красивы, внушительны, одеты в одинаковую форму — и этого нам казалось достаточно. Юноша на картине стоял во весь рост со скрещенными на груди руками, легко и изящно опираясь ногой на удивительно гладкий пень. Раму по углам украшали красные цветы гладиолуса, а внизу стояло изречение: «Величие мое не в том, что я имею, а в том, что я делаю».

Это было в 1948 году.

Очевидно, вскоре после этого Нанга решил заняться политикой и был избран в парламент (в то время это не составляло труда: мы еще не знали, что парламентская скамья — теплое местечко). Несколько лет спустя я стал встречать его имя в газетах и даже по-своему гордиться им. Я тогда только что поступил в университет и был активным членом студенческой организации ПНС — Партии Народного Самоуправления. Но в 1960 году в партии произошли постыдные события, заставившие меня разочароваться в ее деятельности.

Нанга был в то время всего лишь мелкой сошкой в правящей ПНС. Приближались очередные выборы. ПНС прочно сидела в седле, и не приходилось сомневаться, что она удержится у власти. Оппозиционная партия — Партия Прогрессивного Союза — была слаба и не отличалась сплоченностью.

Однако перед самыми выборами на мировом рынке резко упали цены на кофе. Совершенно неожиданно, как нам тогда казалось, правительство очутилось перед лицом серьезного финансового кризиса. Кофе был основой нашей экономики, а владельцы кофейных плантаций — оплотом ПНС.

Пост министра финансов занимал в то время опытный экономист, доктор наук, получивший свою степень за работы по вопросам финансовой политики. Он представил кабинету министров развернутый план действий, который диктовало создавшееся положение.

Премьер-министр решительно отверг этот план. Он вовсе не собирался в такой критический момент урезать цены, выплачиваемые хозяевам плантаций, и таким образом ставить под удар результаты выборов. По его мнению, следовало дать распоряжение государственному банку пустить в обращение банкноты на сумму пятнадцать миллионов фунтов. Две трети кабинета поддержали проект министра финансов. На следующий день все его сторонники получили отставку, а вечером премьер-министр выступил с речью по радио. Он заявил, что отстраненные от должности министры — изменники и предатели, вступившие в сговор с контрреволюционными элементами за границей, чтобы уничтожить молодую республику.

Я прекрасно помню эту речь. Разумеется, правды в то время никто не знал. Газеты и радио преподносили нам события в таком виде, как это угодно было премьер-министру. Мы были возмущены. Наша студенческая организация на внеочередном собрании приняла резолюцию с выражением доверия главе правительства и требованием покарать преступников. Страна стояла горой за своего вождя. Повсюду устраивались митинги и демонстрации протеста.

И вот тогда-то я впервые уловил в негодующих голосах, которые раздавались со всех сторон, новые, зловещие ноты, внушившие мне серьезные опасения.

«Дейли кроникл», официальный орган ПНС, поместила передовую, из которой явствовало, что все отстраненные министры, или шайка преступников, как их теперь принято было называть,— эрудированные специалисты с университетским образованием. У меня сохранилась вырезка из этой передовой:

«Мы должны раз и навсегда вырвать, как гнилой зуб, из нашего государственного организма этих лжеученых, этих начетчиков, знакомых с вопросами народного хозяйства только по книгам, этих растленных марионеток, которые в своих речах и замашках изо всех сил подделываются под белых. Мы гордимся тем, что мы африканцы. Наши истинные вожди — это те, кто говорит языком народа, те, кто не развращен учеными степенями, пожалованными им в кембриджах, оксфордах и гарвардах. Довольно выбрасывать деньги на никчемное обучение в университетах, которое только отчуждает африканца от его богатой и древней культуры, ставя его над народом».

Этот клич был немедленно подхвачен. Некоторые газеты указывали, что даже в Англии, где «шайка преступников» получила «так называемое образование», не обязательно быть экономистом, чтобы занимать пост министра финансов, или врачом, чтобы стать министром здравоохранения. Главное — это преданность партии.

Я присутствовал на заседании, когда парламент подавляющим большинством голосов выразил свое доверие премьер-министру. В тот день правда вылезла наконец наружу. Но никто не захотел ее услышать. Я не могу забыть, какая глубокая скорбь

была написана на лице бывшего министра финансов, когда он в сопровождении группы приверженцев проходил через зал под свист и улюлюканье всех присутствующих. Несколько дней назад разъяренная толпа, собравшись перед его домом, выбила камнями стекла в окнах и разнесла на куски его автомобиль. Другого министра вытащили из машины, избили до потери сознания и, волоком протащив несколько метров, связали, сунули в рот кляп и оставили лежать на дороге. В день заседания парламента он еще находился в больнице.

Я присутствовал на заседании парламента в первый и последний раз в жизни. И вот тогда-то я снова увидел мистера Нангу, с которым не встречался с 1948 года.

Премьер-министр говорил три часа, и его речь то и дело прерывалась аплодисментами и восторженными выкриками: его называли бесстрашным тигром, благородным львом, солнцем, могучей океанской волной, единственным и неразменным. Он заявил, что шайка преступников «поймана с поличным» и что теперь уже «полностью разоблачен их гнусный замысел, заключавшийся в том, чтобы с помощью наших врагов по ту сторону границы свергнуть правительство из народа, для народа и руководимое народом».

«Их мало повесить!» — крикнул из глубины зала мистер Нанга. Этот возглас прозвучал так громко и ясно, что был потом включен в парламентский отчет с указанием имени того, от кого он исходил.

На протяжении всего заседания мистер Нанга и свора «заднескамеечников», которую он возглавлял, заливаясь лаем, рвались на поводу, чтобы как-нибудь изловчиться и куснуть свою жертву. Если бы кому-нибудь пришло в голову собрать воедино все выкрики мистера Нанги, его тявканья хватило бы на час. Он то вскакивал с места, чтобы прервать оратора, то откидывался на спинку скамьи, присоединяясь к издевательскому смеху зала, напоминавшему хохот голодной гиены; по лицу его ручьями струился пот.

Когда премьер-министр сказал, что эти неблагодарные, которых он вытащил из безвестности, вонзили ему нож в спину, у многих выступили на глазах слезы.

«Они кусают руку, которая их кормит!» — крикнул мистер Нанга. И это тоже было отражено в отчете — я до сих пор храню экземпляр. Однако никакой отчет не может передать наэлектризованность царившей в тот день атмосферы.

Мне трудно сейчас припомнить, какие чувства я испытывал в эти минуты. Вероятно, все происходящее казалось мне совершенно непостижимым. Ведь тогда еще ни у кого из нас не было оснований подозревать, что нас попросту обманывают. Премьер-министр продолжал говорить. Заканчивая речь, он сделал свое известное (вернее было бы сказать «небезызвестное») заявление: «Впредь мы должны беречь и ревниво охранять с таким трудом завоеванную нами свободу. Нельзя доверить нашу судьбу и судьбу всей Африки кучке интеллектуальных снобов, воспитанных за границей, этим оборотням, готовым продать свою родную мать»...

Мистер Нанга еще раз или два требовал смертной казни для изменников, но это уже не было занесено в отчет — по всей вероятности, потому, что его голос потонул в общем гуле.

Я, как сейчас, вижу перед собой бывшего министра финансов доктора Макинде в ту минуту, когда он поднялся на трибуну, чтобы произнести ответную речь,— высокий, сдержанный и уверенный в себе человек с печальным выражением лица. Трудно было расслышать, что он говорит, потому что присутствовавшие, включая и премьер-министра, что-то кричали со своих мест, пытаясь заткнуть ему рот.

Нельзя сказать, чтобы это было возвышающее душу зрелище. Спикер сломал молоток, с показным усердием наводя порядок,— на самом деле вся эта заваруха доставляла ему удовольствие. С галереи вопили: «Предатель! Трус! Доктор филологических наук!» Последний эпитет принадлежал редактору «Дейли кроникл», сидевшему неподалеку от меня. Эта острота была встречена веселым гоготом, и на следующий день окрыленный своим успехом редактор напечатал ее у себя в газете.

Хотя доктор Макинде прочел заранее написанную им речь, в парламентском отчете она была до такой степени искажена, что ничего невозможно было понять. О проекте пустить в обращение пятнадцать миллионов фунтов в отчете не упоминалось, и этого, собственно, следовало ожидать, но зачем понадобилось приписывать доктору Макинде слова, которых он не говорил, да и не мог сказать? Короче говоря, те, кто составлял отчет, заново переписали всю речь в духе, достойном самовлюбленного негодяя, каким должен был выглядеть бывший министр финансов. Так, например, в этой сфабрикованной для отчета речи он сам себя называл «блестящим экономистом, пользующимся всеобщим признанием и авторитетом в Европе». Когда я читал эти строки, я не мог удержаться от слез, что, надо сказать, случается со мной не часто.

Я так подробно описал этот постыдный эпизод, чтобы показать, что у меня не было причин ликовать по случаю приезда достопочтенного М. И. Нанги, который в свое время, учуяв вакансии в кабинете министров, без зазрения совести визжал и тявкал, чтобы получить подачку пожирней.

Директор нашей школы Джонатан Нвеге, сухопарый, жилистый, подвижной человек, принимавший активное участие в деятельности местной организации ПНС, считал себя несправедливо обойденным, потому что его заслуги перед партией не были

до сих пор вознаграждены какой-нибудь синекурой, как это обычно практиковалось в таких случаях, но, хотя самолюбие его было уязвлено, он не отчаивался, о чем свидетельствовали торжественные приготовления к предстоящей встрече. Быть может, он надеялся, что ему предоставят какую-нибудь должность в проектируемом ведомстве по использованию вышедшего из употребления государственного имущества (старых матрасов, поломанных стульев, негодных электровентиляторов, отслуживших свой век пишущих машинок и прочего хлама), которое до сих пор сбывали с аукциона. Я от всей души желал ему получить это назначение — по крайней мере он не торчал бы все время в школе.

Нвеге потребовал, чтобы учащиеся выстроились в почетный караул от самого шоссе до дверей школы. А у дверей, тоже шеренгой, должны были стоять учителя, которых он представит министру.

Наш директор вечно читал какие-нибудь брошюры о том, что и как положено делать, например, «Как провозглашать тосты» или еще что-нибудь в этом роде, и был очень щепетилен в вопросах этикета. Когда процедура встречи обсуждалась на школьном совете, я решительно возражал против того, чтобы выстраивать нас в линейку, как школьников, и надеялся, что другие учителя поддержат меня. Но я с тем же успехом мог бы попытаться расшевелить мертвецов. Даже мой друг и коллега Эндрю Кадибе не встал на мою сторону, якобы только потому, что он и министр были земляками. Я бы сказал, довольно примитивное понимание лояльности.

Как только к школе подъехал «кадиллак» министра в сопровождении вереницы машин, охотники с новым рвением возобновили свои игры: ни минуты не оставаясь на месте и с устрашающей легкостью манипулируя ружьями, они расстреливали последние патроны. Танцоры кружились и притоптывали на выжженной солнцем земле, вздымая тучи пыли. В общем шуме и гаме потонул даже голос Громкофона.

Из «кадиллака» вышел министр, разодетый в шелка, с золотой цепью на груди, и приветственно помахал веером из звериных шкурок, с которым он никогда не расставался, потому что, по народному поверью, такой веер развеивал злые чары и козни недоброжелателей.

Мистер Нанга был все таким же красивым и моложавым, как в прежние времена, это сразу бросалось в глаза. Директор одного за другим представлял ему учителей, начиная со старшего преподавателя, стоявшего во главе шеренги. Я не успел разглядеть физиономию старшего преподавателя, но уверен, что из носу у него, как всегда, торчали крошки табака. Министр говорил каждому по очереди несколько любезных слов, и в искренность его приветливой улыбки невозможно было не поверить. Казалось бы, только заведомо злонамеренный человек мог в эти минуты не почувствовать себя растроганным. Подошла моя очередь. Испытывая некоторую неловкость, я протянул ему руку. Мне и в голову не приходило, что он соблаговолит узнать меня, и я отнюдь не собирался напоминать ему о нашем знакомстве.

Наши руки встретились. Я посмотрел ему в лицо. Он задумчиво наморщил лоб и нетерпеливым жестом оборвал директора, успевшего уже в который раз повторить, словно попугай, готовую формулу: «Я имею честь, сэр, представить вам...»

— Ну, конечно,— произнес министр, ни к кому не обращаясь, а как бы нажимая кнопку спрятанного у него в голове запоминающего устройства,— это Одили.

— Да, сэр.— Я едва успел вымолвить эти слова, как он заключил меня в объятия и прижал к облаченной в шелка груди.

— У вас удивительная память,— пробормотал я.— Ведь прошло не меньше пятнадцати лет...

Он разжал объятия, но рука его еще покоилась на моем плече. Повернувшись к директору, он не без гордости провозгласил:

— Я учил его в...

— Третьем классе,— подсказал я.

— Верно! — воскликнул министр. Он был так взволнован, будто после долгой разлуки вновь обрел своего утерянного сына.

— Он наша надежда и опора,— сказал директор в тон министру. Это была его первая похвала за все время моего пребывания в школе.

— Одили Великий,— пошутил министр, задыхаясь от восторга,— где же ты пропадал все это время?

Я сказал, что окончил университет и вот уже полтора года преподаю в школе.

— Молодчина! — похвалил он.— Я всегда знал, что его место в университете. Помню, я говорил мальчишкам из его класса, что из него когда-нибудь выйдет большой человек и им еще придется величать его «сэр». Что же ты не написал мне, когда кончил университет? Нехорошо.

— Мне не хотелось вас беспокоить по пустякам, я ведь понимаю, как занят министр,— отвечал я, стыдно признаться, весьма польщенный.

— Занят? Ерунда! Да будет тебе известно, что министр — только слуга. Как бы он ни был занят, он всегда к услугам хозяина.

Все вокруг засмеялись и зааплодировали. Он хлопнул меня по плечу и велел непременно подойти к нему после приема.

— А не то прикажу привести тебя под конвоем,— сказал он.

Я стал героем дня. Я просто не мог прийти в себя от изумления. Все вокруг вн запно отступило на задний план, шум и голоса доносились до меня словно издале Я понимал, что должен быть недоволен собой, но никак не мог убедить себя в это Я даже поймал себя на мысли, что, быть может, судил до сих пор слишком стро подходя к политике с моральными критериями, которые к ней неприменимы. Я усл шал, как министр говорит одному из учителей:

— Это прекрасно. Иногда я жалею, что оставил педагогическое поприще. Хо я занимаю теперь пост министра, клянусь богом, я чувствовал себя счастливее, ког был учителем.

У меня вообще хорошая память, но в тот день она оказалась просто превосхо ной. Сам не могу понять, как это получилось, только я запомнил слово в слово вс что говорил министр. Я мог бы целиком повторить его речь, которую он произн немного позднее.

— Видит бог,— продолжал министр,— я до сих пор не перестаю жалеть о то времени. Ничего нет благороднее профессии учителя.

И тут все рассмеялись, просто покатились со смеху, в том числе и сам достопо тенный министр, да и я, признаться, тоже. Уверенность, с какой держался этот чел век, была просто непостижима. Только он мог позволить себе столь рискованную шу ку в такое время, когда повсюду среди учителей царило нескрываемое недовольств Впрочем, он, вероятно, и не ожидал, что это будет принято как шутка. Когда сме утих, мистер Нанга, придав своему лицу серьезное выражение, сообщил доверител но:

— Можете не сомневаться, те из членов кабинета министров, которые когд нибудь работали в школе, полностью солидаризируются с вами.

— Кто был учителем, всегда им останется,— громогласно заявил старший препо даватель, поправляя рукава своей вылинявшей мантии.

— Золотые слова,— сказал я.

Теперь мне хотелось бы думать, что это прозвучало саркастически, но, по правд говоря, я вовсе не иронизировал. Чтобы понять, какой притягательной силой облада этот человек, нужно было испытать ее действие на себе. Будь я суеверен, я бы сказал что его обаяние служило ему амулетом.

Желая, очевидно, переменить тему, министр сказал:

— Только учителя могут оказать такой прекрасный прием.

Потом он повернулся к стоявшему в его свите корреспонденту:

— Посмотрите, сколько пришло народу!

Корреспондент тотчас выхватил записную книжку и принялся что-то строчить

— Такого скопления народа в Анате и не припомнят,— заявил мистер Нвеге.

— Вы слышали, Джеймс? — обратился министр к корреспонденту.

— Нет, сэр. А что такое?

— Этот джентльмен говорит, что в Анате не помнят такого скопления народа,- сказал я. На сей раз я и правда посмеивался про себя.

— Как зовут этого джентльмена?

Мистер Нвеге назвал себя и продиктовал свою фамилию по буквам, присово купив к ней полный титул — директор анатской средней школы. Затем, снова обра щаясь к министру, он сказал, чтобы уточнить свою роль в этой многолюдной встреч

— Мне пришлось лично обойти всю деревню, чтобы сообщить о вашем... я хоч сказать, о приезде министра.

Тем временем мы уже вошли в зал; министра и его свиту усадили на расста ленные на подмостках стулья. Появление министра было встречено оглушительны овациями. Мистер Нанга, поворачиваясь во все стороны, приветственно махал веером

— Благодарю вас, сэр, благодарю вас,— кивнул он мистеру Нвеге.

Огромный свирепого вида детина из свиты министра, стоявший вместе с нами н подмостках, позади стульев, во весь голос сказал:

— Вот то-то и оно. Сыщите-ка еще такого министра, чтобы говорил «сэр» вс кому, кто его старше. Нипочем не сыщете.

И все согласились, что человека, который, несмотря на свой высокий пост, отда вал бы дань уважения старшим, встретишь не часто и что мистер Нанга в этом смы сле — исключение. От такой грубой лести мне стало как-то неловко за министра, и тут я понял, насколько изменилось — или, быть может, правильнее было бы сказать, еще только менялось — мое отношение к нему.

— Министр, не министр, все равно — каждый должен почитать старших,— про молвил мистер Нанга.— Пусть другие ведут себя как им угодно, а мой девиз: посту пай, как совесть велит, и посрамишь дьявола.

Пожалуй, мне даже нравилось в нем такое полное отсутствие скромности. Вед скромность — не что иное, как оборотная сторона гордыни. Все мы про себя думаем что мы ребята хоть куда. Скромность мешает нам заявить об этом вслух, однако ми не прочь выслушать то же самое от других. Быть может, отказ от лицемерия подоб ного рода и помогает таким людям, как Нанга, добиться успеха, в то время как мя

котелые идеалисты только тешат сами себя, пытаясь привнести в политику неуместную щепетильность и деликатность.

Пока я предавался подобного рода размышлениям, вокруг пышным цветом расцветала откровенная лесть.

Мистер Нвеге, воспользовавшись случаем, взобрался на своего конька. Умение себя держать, которое отличает нашего министра, заявил он, объясняется тем, что достопочтенный мистер Нанга успел получить образование еще тогда, когда оно чего-то стоило.

— Да,— охотно согласился министр,— я постоянно говорю, что наши шесть классов стоили больше, чем теперешний Кембридж.

— Кембридж? — изумился мистер Нвеге, добросовестно окончивший, как и министр, свои шесть классов.— Кембридж? Куда там! Вы хотите сказать — не меньше, чем нынешняя степень бакалавра.

— Надеюсь, ты не обиделся,— заметил министр, обернувшись ко мне.

— Разумеется, нет, сэр,— отвечал я в том же добродушно-шутливом тоне.— Я добиваюсь стипендии для продолжения образования за границей, чтобы оправдать надежды мистера Нвеге.

Я помню, что при этих словах красивая девушка, которую я сразу заметил среди сопровождавших министра лиц, взглянула на меня. Наши глаза встретились, и она тотчас отвернулась. Мне показалось, что министр заметил это.

— Мой личный секретарь получил степень бакалавра в Оксфорде,— сказал он.— Он должен был приехать со мной, но потом пришлось оставить его разобраться в бумагах. Кстати, Одили, по-моему, ты зарываешь в землю свой талант. Я хочу, чтобы ты приехал к нам в столицу и занял какую-нибудь государственную должность. Нельзя все предоставлять людям других племен. Вот хотя бы мой секретарь — он с нагорья, но ведь и наш народ должен потребовать свою долю общественного пирога, которая ему причитается по праву.

Эта избитая формулировка «доля общественного пирога» для многих из нас была еще внове и потому вызвала взрыв аплодисментов.

— Вот образованность! — раздался чей-то восторженный голос, что должно было означать преклонение перед искусством изъясняться на языке белых, которым сумел овладеть достопочтенный министр.

Министр обернулся и одарил улыбкой того, кто это крикнул.

И тут мой друг Эндрю Кадибе совершил бестактность, особенно непростительную потому, что он и мистер Нанга были из одной деревни,— назвал министра прозвищем, которое закрепилось за ним, когда он был учителем: «М. И. без пяти минут»*.

Министр метнул на своего земляка взгляд, напомнивший мне того мистера Нангу, который четыре года назад возглавлял неистовствовавшую свору «заднескамеечников».

— Простите, сэр,— жалобно сказал Эндрю.

— За что? — рявкнул министр.

— Не обращайте внимания на этого дуралея, сэр,— вмешался встревоженный мистер Нвеге,— он всегда был глуп.

— Мне кажется, пора начинать,— сказал министр, все еще хмурясь.

Хотя мистер Нвеге начал свою речь с того, что нашего почетного гостя нет надобности представлять, он продолжал говорить еще добрых полчаса, главным образом восхваляя самого себя за все, что он сделал для партии в Анате «и ее окрестностях». В зале нарастало нетерпение, которое выражалось все более недвусмысленно, в особенности после того, как министр стал поглядывать на часы. Сначала послышался недовольный гул, потом несколько голосов потребовало, чтобы Нвеге наконец замолчал и дал им послушать человека, ради которого они пришли. Нвеге и в ус не дул — казалось, его ничем не прошибешь. Наконец какой-то парень посмелее встал во весь рост посреди зала и крикнул: «Убирайся, а не то я спихну тебя за три пенса». Это помогло. Заключительные слова мистера Нвеге потонули в громовом хохоте. Смеялись так, что, верно, было слышно за целую милю, и успокоились только тогда, когда министр встал со своего места, собираясь говорить.

Дело в том, что много лет назад, когда Нвеге был всего только бедным учителем начальной школы и вечно ходил голодный, то есть еще до того, как он построил свою собственную школу и разбогател, хотя, видимо, еще не насытился, он разъезжал на дряхлом, разваливающемся велосипеде, который в деревне называли драндулетом. Тормоза, разумеется, никуда не годились. И вот однажды, когда он неудержимо летел вниз с откоса прямо к узкому мосту, он увидел, что по противоположному склону навстречу ему катит грузовик — по тем временам большая редкость. Столкновения на мосту, казалось, не миновать. В отчаянии Нвеге завопил во все горло: «Спихните меня, ради бога!» Но никто из прохожих не спешил ему на помощь, и тогда он решил чем-нибудь подкрепить свою мольбу. «Спихните меня,— закричал он снова,— дам три пенса». С тех пор «спихни меня — получишь три пенса» стало в Анате излюбленной шуткой.

* М. И.— магистр искусств.

Министр говорил непринужденно и просто, и его речь произвела должное впечатление. В ближайшее время не предвидится выборов, заявил он под общий смех, и он приехал сюда не для того, чтобы заручиться голосами избирателей, мы «просто собрались здесь одной большой семьей» — только и всего. Он предпочел бы выступать перед своими сородичами не по-английски, потому что это как-никак язык чужестранцев, он уже знает по опыту, что речь, произнесенная на его родном языке, непременно будет переврана во всех газетах. К тому же в этом зале присутствуют гости, которые не говорят на нашем языке, и он не хотел бы, чтобы они почувствовали себя здесь лишними, потому что все мы — и те, кто живет в низинах, и обитатели нагорья — граждане одной великой страны. И дальше все в том же духе.

Говоря о гостях, он, вероятно, имел в виду миссис Элеонору Джон, весьма влиятельную партийную деятельницу с побережья, приехавшую вместе с министром. Она была уже не молода, но ярко накрашена, благоухала духами и, несомненно, принадлежала к тому роду женщин, которые в случае необходимости сумеют постоять за себя. Она восседала по левую руку от министра, непрерывно курила и обмахивалась веером. А рядом с ней сидела та красивая девушка, о которой я уже говорил. Я не заметил, чтобы они за все время обменялись хоть словом или взглядом. Как-то странно было видеть такую молоденькую девушку в компании этих видавших виды людей. Казалось, они просто остановились по дороге в каком-то монастыре и вызвались подвезти одну из послушниц до соседней обители.

После речи министра он и его свита были приглашены в «резиденцию» директора, как мистер Нвеге называл свой дом — незатейливую панельную коробку. При появлении мистера Нанги танцы во дворе возобновились. Охотники, израсходовавшие свой последний порох, смиренно дожидались обещанного им пальмового вина.

Министр обходил танцующих и, присоединяясь то к одной группе, то к другой, с неизменным достоинством делал несколько па и налеплял красные однофунтовые бумажки на потные лица отличившихся танцоров. В одной только группе он роздал таким образом целых пять фунтов.

Тот парень, который счел необходимым обратить наше внимание на скромность министра, не упустил случая отметить еще одно его достоинство. На этот раз я повнимательнее взглянул на верзилу и заметил, что у него бельмо на глазу — «ракушечный глаз», как у нас говорят.

— Сразу видно,— разглагольствовал одноглазый,— что деньги для него — тьфу. Небось люди ему завидуют, думают, министру на государственные денежки неплохо живется, а он вот так все и раздает.

Позднее, когда мы уже сидели в «резиденции» директора, я сказал мистеру Нанге:

— Вы потратили сегодня кучу денег.

Он улыбнулся, задумчиво глядя на стакан холодного пива, который держал в руке, и ответил:

— Потратил, говоришь? Сразу видно, что ты, брат, еще многого не понимаешь. Я все раздаю, себе ничего не оставляю. Если когда-нибудь придет к тебе человек и скажет: «Хочу сделать тебя министром»,— беги от него со всех ног. Правду тебе говорю, видит бог.— И в подтверждение своей божбы он, как велит обычай, высунул кончик языка.— Быть министром — на вид сладко, да на вкус горько. Уж твой покорный слуга это знает.

— Умный человек — умные речи,— вставил одноглазый.

Только Джошиа, владелец лавчонки, которая служила и пивной, позволил себе, хотя бы в шутку, не согласиться с министром.

— Что до меня,— сказал он,— так мне денежки оскомину не набьют. Уж я бы от министерского жалованья не отказался.

Все засмеялись. А миссис Джон возразила:

— Нет, мой друг, отведали бы вы, как живется богачу, иначе заговорили бы. У моего народа есть пословица: «Богатым быть — забот не избыть».

Миссис Джон, если верить слухам, была близким другом министра, и она действительно держалась так, словно имела на него особые права, да и недаром же она приехала из Покомы в такую даль, за триста пятьдесят миль. Я знал о ней из газет: она была членом Библиотечной комиссии, одного из ведомств, подчиненных министру. Ее массивное коралловое ожерелье стоило сотни фунтов, как шепотом передавали друг другу присутствующие, пока она рассуждала о преимуществах бедности. Она была «королевой коммерции» par excellence. Нищее детство — кажется, она была сиротой,— никакого образования, но зато смазливое личико и железная воля — вот все, с чем она начинала. Сперва простая лоточница, она со временем стала хозяйкой маленькой лавочки, а потом и владелицей крупного дела. Теперь она держала в руках всю торговлю импортным подержанным платьем и ворочала сотнями тысяч фунтов.

Я подсел к корреспонденту, который, казалось, знал всех и каждого в свите министра, и, указывая глазами на молоденькую послушницу, спросил его на ухо:

— Кто эта девушка?.

— О-о,— предостерегающе протянул он, округлив губы,— не вздумайте подъезжать к ней. Это лакомство не про нас.

Я сказал, что вовсе не собираюсь подъезжать к ней, мне просто интересно, кто она такая.

— Министр никого не знакомит с ней. Наверно, его возлюбленная, а может, родственница,— ответил мой собеседник и добавил:— Я и сам на нее смотрю, смотрю — все глаза проглядел. Что за девушки в этих краях, бог ты мой!

Я тоже заметил, что, когда министр знакомил учителей со своими спутниками, он не представил ее нам.

Вероятно, это звучит глупо, но мне вдруг захотелось расспросить, что сталось с миссис Нанга, которую я знал еще в те дни, когда нынешний министр был начальником нашего отряда бойскаутов. Тогда они были молодожены. Я особенно хорошо запомнил ее потому, что она носила белый тропический шлем: в то время это считалось большим шиком; мы, мальчишки, по невежеству своему называли его «шлен».

Глава вторая

После освобождения у нас вошла в обиход поговорка: «Не важно что, а важно кого ты знаешь». И, поверьте, это не были пустые слова. Такому человеку, как я, который не желал лизать пятки начальству, приходилось туго. Собственно, я не поступил на какую-нибудь государственную должность с бесплатной городской квартирой, машиной и другими удобствами, а стал учителем в захолустной частной школе, отчасти и потому, что это давало мне хоть какую-то независимость. И когда я сказал министру, что добиваюсь аспирантской стипендии, чтобы поехать в Лондон, у меня и в мыслях не было просить его о поддержке. Я считаю несбходимым подчеркнуть это. И в школе, и в университете я был удостоен стипендии не по протекции, а только за свои собственные заслуги. Да к тому же я и не так уж стремился попасть в аспирантуру. Меня привлекала главным образом поездка в Европу, которая сама по себе расширила бы мой горизонт. Мой друг Эндрю Кадибе, окончивший тот же аспирантский курс в прошлом году, все еще не мог прийти в себя от восторга. И дело тут было вовсе не в белых девушках — их и здесь теперь можно заполучить, а в тысяче разных пустяков и мелочей. Помню, он рассказывал, например, какое ни с чем не сравнимое чувство он испытал, когда белый — кажется, водитель такси — в первый раз поднес ему чемодан и назвал его «сэр». Он был так потрясен, что дал шоферу на чай десять шиллингов. Мы очень смеялись, слушая эту историю, но его нетрудно понять.

Как ни хотелось мне поехать в Европу, я вовсе не намерен был унижаться или продавать свою душу. Министр сам еще раз вернулся к вопросу о стипендии без какого-либо намека с моей стороны (я даже, напротив, всячески старался не попадаться ему больше на глаза). И то, что он предложил, не показалось мне оскорбительным. Он пригласил меня приехать к нему на каникулы, обещая за время моего пребывания в столице выяснить у своего коллеги, министра зарубежного образования, как обстоит дело с моим ходатайством.

— Приезжай сразу, как только кончатся занятия в школе,— сказал он.— У меня есть комната для гостей с гостиной, ванной, уборной — все изолировано. Будешь жить сам по себе и делать все, что только захочешь.

— Не слушайте его,— вмешалась миссис Джон.— Я вижу, что вы хороший мальчик, так не позволяйте ему вас портить. Эти отдельные спальни да ванные до добра не доведут. Все знают, что он человек безнравственный, с ним лучше не связываться. Если он говорит тебе «стой» — беги от него бегом.

Все засмеялись.

— Элеонора,— взмолился министр,— зачем вы меня позорите? Что я вам сделал? Почему вы порочите мое честное имя? Я примерный христианин — это всякий вам скажет, не правда ли, Джеймс?

— Ну, конечно,— с улыбкой подтвердил корреспондент.

Однако, несмотря на все это веселое подшучивание, настойчивое приглашение министра оставалось в силе. Он хотел, чтобы я приехал как можно скорее, потому что месяца через два он собирался в Соединенные Штаты.

— Мне хотят присвоить докторскую степень,— с гордостью сообщил он,— я буду доктором прав.

— Вот это здорово,— сказал я.— Поздравляю.

— Спасибо, мой друг.

— Теперь нашего министра будут величать «достопочтенный доктор М. И. Нанга»,— проскандировал корреспондент новый титул, который уже вертелся у меня на языке. Мы все выразили свой восторг будущему обладателю громкого звания.

— Вам кажется, это хорошо звучит? — по-мальчишески радуясь, спросил министр, и мы все сказали, что да, к его имени этот титул очень подходит.

— Но все же не так, как к некоторым другим. Вот, например, «достопочтенный мэр доктор Монго Сего, член парламента»,— с легкой завистью произнес министр.

— И это неплохо,— согласился никогда не теряющийся корреспондент,— но нисколько не лучше вашего, сэр. «Член парламента достопочтенный доктор М. И. Нанга» — до чего же складно!

— А как насчет «миссис доктор»? — спросил я лукаво.

— И не выговоришь,— ответил министр.— Во рту застревает.

— Это еще почему? — возмутилась миссис Джон.— Если женщинам не дают этих званий, так уж и не выговоришь! Я всегда твержу, что у нас в стране женщины пользуются равными правами только на выборах.

— Да нет, мадам,— возразил журналист,— вы сами попробуйте сказать «миссис доктор». Шершаво, как наждачная бумага. Разве вы не чувствуете — язык поцарапаешь.

Перед отъездом министр заставил меня записать его городской адрес. Пока я писал, мистер Нвеге сверлил меня злобным взглядом. И не успели гости уехать, как он с издевкой спросил, считаю ли я по-прежнему, что представляться министру было излишне.

— Я ведь только возражал против того, чтобы нас выстраивали в линейку, как школьников,— пробормотал я немного смущенно.— Но уж если на то пошло, меня можно было ему и не представлять — мы ведь уже знакомы.

— Благодарите бога, что я не злопамятен,— продолжал Нвеге, не обращая никакого внимания на мои слова,— а не то я рассказал бы ему...

— Ну что ж, бегите скорее,— разозлился я,— вы еще успеете догнать его.

Я повернулся и пошел прочь от старого подлипалы.

Однако потом, вспоминая все, что произошло в этот день, я не мог не признать, что старания и хлопоты мистера Нвеге не были должным образом вознаграждены. Насколько мне известно, ему так и не удалось улучить минутку, чтобы поговорить с министром о том, что его волновало. К тому же со стороны министра было, мне кажется, невеликодушно смеяться вместе со всеми, да еще так громко, над этой шуткой насчет трех пенсов. Он должен был хотя бы из приличия сделать вид, будто ничего не слышал. Но, очевидно, этот великий оратор не выносил людей, которые отнимают у него время своими собственными речами. До самого конца приема он подчеркнуто не замечал директора. Бедняга, вероятно, упустил, таким образом, возможность получить вожделенную должность в новом ведомстве по сбыту пришедшего в негодность государственного имущества, которым, я уверен, он надеялся заменить еще менее пригодное к употреблению оборудование своей школы. Не приходится отрицать, что у него были причины злиться, хотя, конечно, ему не следовало срывать свою злость на мне.

Да и учителя доставили ему в этот день немало неприятностей. Я уже не говорю о себе, но взять хотя бы это «М. И. без пяти минут», почему-то рассердившее министра даже больше, чем длинная речь директора,— по крайней мере в последнем случае он дал выход своему раздражению, вволю посмеявшись над мистером Нвеге. И в довершение всех этих огорчений старший преподаватель, человек уже пожилой — на седьмом десятке, покидая «резиденцию» директора, торжественно унес с собой две бутылки пива, сунув их под мышки, что очень позабавило всех, кроме самого мистера Нвеге, который расстарался и невзирая на сумасшедшие цены накупил столько пива вовсе не для того, чтобы снабжать им своих учителей. Наш старший преподаватель был вообще весельчак и плут, которому все сходило с рук, потому что он умел, когда нужно, прикинуться шутом. Он частенько заглядывал в пивную Джошуа напротив школы и со свойственным ему чувством юмора говорил, что не понимает, зачем молодые люди отправляются в Англию слушать разных профессоров, когда в баре Джошуа они сами могут стать профессорами по части выпивки.

В этот вечер, когда я уже заправлял лампу, ко мне постучали.

— Входи, если ты красива,— сказал я.

— Одили дома? — раздался неестественно пискливый голос.

— Входи уж, дуралей.

Эта глупая шутка никогда не надоедала нам с Эндрю, и мы то и дело разыгрывали таким образом друг друга, надеясь, что при звуке девичьего голоска, под который мы старательно подделывались, у приятеля екнет сердце.

— Как дела? — спросил я.

— Ничего.

— Ты узнал, кто эта девчонка?

— Девчонка, девчонка — у тебя только и разговору. Ни о чем серьезном с тобой не потолкуешь. Ничего я не узнавал.

— О'кей, мистер образцовый джентльмен,— ответил я, зажигая лампу,— кто первый скажет еще хоть слово о девушках, тому отрежут язык. Какая сегодня погода?

Эндрю рассмеялся. В это время вошел мой слуга Питер, пятнадцатилетний малый с веселой и проказливой рожицей. Он хотел узнать, что приготовить мне на ужин.

— Ты разве в три часа не слушал последние известия? — спросил я с притворным изумлением.

— Нет, сэр.

— Вышел новый правительственный указ: есть только два раза в сутки — утром и в полдень. Точка.

— Неправдоподобнейшая вещь,— смеясь, сказал Питер. Он любил длинные слова. Он окончил шесть классов, что два-три года назад дало бы ему возможность

устроиться посыльным в какой-нибудь конторе, а может быть, даже и учителем начальной школы. Но теперь для таких ребят, как он, просто не было никакой работы, и ему еще повезло, что я взял его к себе вести мое несложное хозяйство. Он получал у меня фунт в месяц и, разумеется, бесплатное жилье и питание. Большую часть свободного времени он проводил за книгами, однако его излюбленное чтение было довольно сомнительного характера. Однажды я застал его за книгой с весьма странным названием—если не ошибаюсь, «Загадка прекрасного пола». Он только что получил ее из Индии, заплатив за нее, вероятно, не меньше десяти шиллингов, не считая расходов на пересылку из Нью-Дели. Я задал ему тогда хорошую взбучку.

Я никак не мог решить, что заказать на ужин, и в конце концов попросил поджарить мне немного батата.

— Жареный батат перед сном? — вскричал Эндрю.— Смотри, если ты вздумаешь ломиться ко мне среди ночи, я не стану вставать для тебя с постели.

Намек был достаточно ясен: как-то ночью у меня начались ужасные колики в животе оттого, что я съел полдюжины жареных кукурузных початков, и я так перепугался, что прибежал к Эндрю и попросил отвезти меня в больницу на его колымаге.

— Что же мне, по-твоему, есть? — спросил я.

— Что я, жена твоя, что ли,— рассердился Эндрю.— Мало тебе девушек вокруг — они все только и мечтают выскочить замуж.

— Не беспокойся, я уже присмотрел себе невесту.

— Ну да! Кто она? А как же насчет стихов?

— Стихи те же,— сказал я, и мы хором продекламировали четверостишие, которое один из наших знакомых сочинил для пригласительных билетов на свою свадьбу:

О, счастье! Настала пора возвестить,
Что мы, от любви пламенея,
Решили союз наш навеки скрепить
Узами Гименея.

— Нет, вы только посмотрите на этого шалопая,— набросился Эндрю на Питера, притворяясь рассерженным.— Как ты смеешь смеяться над старшими?

— Простите, сэр,— с комическим испугом пробормотал мальчик.

— Питер, что бы мне такое поесть? — спросил я.

— Что будет угодно моему господину. Может быть, рис, сэр?

Так я и знал. Если спросить его совета, он неизменно предлагал вам рис — свое любимое блюдо.

— О'кей,— сказал я.— Сваришь чашку риса — не полторы, не одну с четвертью, а ровно чашку.

— Слушаюсь, сэр,— ответил Питер и вышел из комнаты, очень довольный.

Я знал, что он сварит по крайней мере две чашки.

— Кто она такая? — спросил я.

— Кто?

— Эта девушка, которая приезжала с министром.

— Его возлюбленная.

— Вот как!

— Собственно, даже больше, чем возлюбленная. Он собирается жениться на ней, так сказать, по всем правилам, как велят наши законы и обычаи. Видно, старая жена уже не годится по теперешнему его положению — неотесанная, вот он и берет себе еще одну, новую, с иголочки — для гостиной. Будет «хозяйкой дома» на вечерах и приемах.

— Ну и ну! Кто это тебе рассказал?

— Да уж рассказали.

— Скверно. Хоть я о ней ничего не знаю, но уверен, что она заслуживает лучшего. Ей бы быть чьей-нибудь первой женой, а не утехой старика. А, впрочем, что мне за дело?

— Он посылал ее учиться в женский колледж,— сказал Эндрю.— Значит, он давно задумал эту женитьбу, по крайней мере уже несколько лет назад. Мне ее жаль. У этого человека нет ни капли совести.

Я промолчал.

— Подумать только, что такая красотка достанется этому пустоголовому ослу. Очень рад, что немножко сбил с него спесь. Ты видел, как он обозлился?

— Да,— сказал я,— ты его здорово поддел.

Но в душе я посмеивался над тем, как Эндрю изо всех сил старался убедить себя самого и меня, будто он шел встречать министра с твердым намерением осадить своего пустоголового земляка. Он, кажется, уже успел забыть, что отказался поддержать меня на педагогическом совете, когда я возражал против дурацких планов министра Нвеге.

— И этот некультурный болван поедет за границу, да еще будет фигурировать там как министр культуры. Просто нелепо. Вот потому-то весь мир и смеется над нами.

— Ты прав,— сказал я,— но разве так уж важно, что о нас думает весь мир? Во всяком случае, таким людям, как Нанга, на это наплевать. Его интересует, что думают

у нас в стране и как сохранить за собой голоса избирателей, а уж на этом деле, надо признать, он собаку съел. К тому же ты ведь слышал от него сегодня — Черчилль не получил даже законченного среднего образования.

— Я вижу, приглашение пожить в квартире министра уже дало свои результаты.

Я рассмеялся и Эндрю тоже. Сразу видно было, что Эндрю знает меня куда лучше, чем мистер Нвеге. Я легко мог снести поддразнивания насчет квартиры министра, но никто не смел думать, что Одили Самалу способен пасть так низко, чтобы добиваться стипендии окольными путями. Как говорит мой слуга Питер, это — «неправдоподобнейшая вещь».

Эндрю, конечно, знал, что я давно собираюсь в столицу, и про Элси он тоже знал.

Да, я ведь еще должен рассказать про Элси. С чего мне начать? Вся трудность в том, что когда рассказываешь подобные истории, то уже задним числом видишь все совсем в ином свете, чем в то время, когда это происходило. Если, например, писатель вводит новый персонаж, ну, скажем, Элси, он уже заранее знает, в какую минуту она появится на страницах его книги, что будет говорить и делать и на чем он с ней расстанется. И часто это накладывает отпечаток на все, что он о ней пишет, с самой первой строки. Остается только надеяться, что, сознавая эту опасность, я сумею избежать ее. Насколько это в моих силах, я постараюсь рассказать все по порядку, не забегая вперед.

Я встретил Элси на вечере, устроенном студенческой организацией «Христианское движение» и овладел ею в первый же день, вернее, в первый же час нашего знакомства. Никогда, ни до, ни после этого, ничего подобного со мной не случалось. Я знаю, что это еще не рекордный срок, и уточняю его вовсе не потому, что хочу похвастать своей победой или как-нибудь опорочить Элси. Я просто рассказываю, как было дело. Я учился в то время в университете. Последний семестр подходил к концу, и время было горячее, потому что я, как всегда, откладывал подготовку к экзаменам до последней минуты. Однако я все же решил позволить себе передышку и пошел на тот вечер, хотя и совсем зашивался. Не могу сказать, чтобы мне везло в любовных делах, но на сей раз меня ждала удача. Войдя в зал, я заметил Элси, которая стояла в кучке других медичек, и сразу же подошел к ней. Элси оказалась веселой и разбитной девицей. В школу медсестер она поступила совсем недавно. Мы протанцевали с ней два танца, после чего я предложил ей пройтись, чтобы отдохнуть от этого шума и гама, и она охотно согласилась. Если бы Элси предоставила мне самому раскидывать сети, вероятно, в этот день так ничего бы и не произошло, но она, разумеется, не имея никакого умысла, пришла мне на помощь. Она сказала, что ей хочется пить, и я привел ее к себе в комнату, чтобы дать ей стакан воды.

Некоторые женщины имеют обыкновение в кульминационный момент издавать пронзительные крики, и Элси принадлежала именно к такому типу женщин. Это случалось с ней всякий раз, но в тот первый день меня больше всего поразило, что она кричала: «Ральф, милый Ральф!» Я никак не мог понять, почему, собственно, Ральф. Только несколько недель спустя я узнал, что она помолвлена с каким-то беспутным парнем, студентом Эдинбургского медицинского института, по имени Ральф. Самое забавное в этой истории, что мой сосед по общежитию, учившийся на филологическом факультете и слывший самым отъявленным и беззастенчивым бабником во всем университетском городке, с того самого дня стал называть меня не иначе, как Ральф. Его самого студенты прозвали Непуть — сокращенно от «непутевый». Наибольшую известность ему принесла его победа над студенткой старшего курса, которая до тех пор считалась такой недоступной, что ее называли «необъезженной лошадкой». Непуть она приглянулась, и он заявил друзьям, что быстро оседлает ее. Через несколько дней мы увидели, как она вошла к нему в комнату. Слух об этом распространился мгновенно, и мы все столпились в коридоре, возбужденно шушукаясь и выжидая, что будет дальше. Спустя полчаса дверь распахнулась, и на пороге появился Непуть. Лицо его блестело от пота. Он неторопливо прикрыл за собой дверь и непристойным жестом показал, что все в порядке. Таков был этот Непуть — настоящее чудовище. Пожалуй, мне показалось даже лестным, что человек с такой славой оценил по достоинству вопли моей Элси. Когда я признался ему позднее, что Ральф — ее жених, он стал величать меня и. о. Ральфа, а в присутствии Элси — и. о. Р.

Несмотря на столь стремительное начало, между мной и Элси установилась ровная и прочная дружба. Не могу сказать, чтобы я когда-нибудь думал о женитьбе, и должен признаться, что всякий раз, когда я видел, как она достает письмо из конверта со штемпелем английской воздушной почты и красными сургучными печатями с изображением королевы Англии и здания парламента и как она читает и перечитывает это письмо, я испытывал легкое чувство ревности. Элси была такой красивой девушкой, такой веселой и легкой подругой, к тому же она никогда ни на что не претендовала.

Когда я окончил университет и уехал, она ужасно огорчалась, да и я, надо сказать, тоже. Мы писали друг другу каждую неделю или уж во всяком случае не реже чем раз в две недели. Помню, как во время забастовки почтовых служащих 1963 года я больше месяца не получал от нее писем. Я тогда едва не загнулся, как сказал бы мой слуга Питер.

Теперь Элси работала в больнице всего в двенадцати милях от Бори, и мы договорились, что я проведу каникулы в столице и буду приезжать к ней из города на автобусе, а в выходные дни она сможет навещать меня в Бори. Вот потому-то предложение министра и пришлось как нельзя более кстати. У меня, правда, были в городе холостые друзья, у которых я мог остановиться, но едва ли кто-нибудь из них сумел бы предоставить мне отдельную комнату со всеми удобствами.

После посещения министра я еще долго раздумывал о том, отчего его так рассердило старое прозвище «М. И. без пяти минут». Сам не знаю, почему эта ерунда меня занимала. Так уж бывает: какая-нибудь глупая шутка или пошлая песенка, которую просто стыдно напевать даже про себя, что-нибудь вроде радиорекламы глистогонного средства, вдруг привяжется к тебе и никак не можешь выкинуть ее из головы.

Когда я впервые познакомился с мистером Нангой в 1948 году, он как будто ничего не имел против этого прозвища. Я даже подозреваю, что он сам его придумал. Во всяком случае оно ему нравилось. Когда учителя с дружеской фамильярностью называли его просто инициалами — М. И., он добавлял: «Без пяти минут», чего он, конечно, не стал бы делать, если бы считал это для себя обидным. Почему же теперь он вдруг разозлился? Поразмыслив, я пришел к выводу, что дело тут все в тех же враждебных по отношению к интеллигенции настроениях, которые царили у нас в стране. В 1948 году Нанга еще мог хотя бы в шутку признавать, что втайне сожалеет об отсутствии высшего образования, в 1964 году он уже самозабвенно доказывал излишность университетских наук для таких людей, как он. Разумеется, ему не удалось вполне убедить в этом самого себя, иначе он не стал бы так радоваться докторской степени, которую ему обещали присвоить в каком-то захудалом провинциальном университете.

Глава третья

Перед тем как отправиться в столицу, я решил ненадолго съездить к себе в Уруа — деревушку, расположенную милях в пятнадцати от Анаты. Мне нужно было кое о чем переговорить с отцом, а главное, я хотел отвезти Питера на время каникул к его родителям, как обещал им, когда брал мальчика к себе.

Питер не помнил себя от радости — ведь он не был дома почти год, а теперь приедет самостоятельным человеком, который зарабатывает себе на хлеб. В лавочке Джошиа он купил шелковый головной платок для матери и пачку табаку для отца. Это было забавно и мило, но трогательные подарки моего слуги, мальчишки, которому я платил двадцать шиллингов в месяц, лишний раз напомнили мне о том, что у меня в семье все иначе, и я невольно позавидовал ему. Мне некому покупать платки, потому что у меня нет матери, а дарить подарки отцу — все равно что лить воду в сухой колодец.

Моя мать была второй женой моего отца. Она умерла от родов, а, согласно поверью моего народа, это означало, что я, ее злополучный сын, если не исчадие ада, то уж во всяком случае родился под несчастливой звездой. Правда, от отца я никогда не слышал об этом ни слова, впрочем, он вообще не особенно интересовался мною — у него было слишком много жен и детей. Но я был чутким ребенком и рано понял, что я не такой, как все. Первая жена отца, которую мы все называли Мамой, растила меня наравне со своими детьми. И все же мне чего-то недоставало. Однажды, играя ребятами, я с кем-то из них повздорил, и он мне крикнул: «Ты чертов выродок! Ты бил свою мать». Так вот, значит, в чем было дело.

Я вовсе не хочу сказать, что был несчастным или одиноким ребенком. Когда в семье такая орава ребят, в ней нет места для грусти и одиночества. И нужно сказать, что отец никогда не позволял своим женам проводить хотя бы малейшее различие между их собственными детьми и всеми остальными. У всех нас была только одна мама; других двух жен отца (теперь их больше) мамой никто не называл; родную мать нашу звали матерью, а неродную — матерью такого-то или такой-то.

Правда, как только я достаточно подрос, чтобы проникнуть в смысл некоторых наших поговорок, я понял, что было бы лучше, если бы я умер, а моя мать осталась живых. Когда соседи приходят утешить женщину, потерявшую новорожденного, они говорят ей, чтобы она осушила глаза, потому что лучше разлить воду, чем расколоть горшок. При этом имеется в виду, что целый горшок всегда может снова вернуться к источнику за водой.

Мой отец был окружным переводчиком. В те времена, когда никто не понимал слова на языке белых, начальник округа был подобен верховному божеству, а переводчик играл роль божка помельче, передававшего ему молитвы и жертвоприношения смертных. Всякий разумный проситель понимал, что этого маленького божка можно умилостивить и привести в хорошее расположение духа — только тогда он будет за вас ходатайствовать перед владыкой небес.

Поэтому переводчики были в то время могущественны и очень богаты, их все

знали и многие ненавидели. Там, где чувствовалась власть начальника округа — а это значит повсюду,— одно только имя переводчика внушало страх и трепет.

Подрастая, мы уже знали, что мир полон врагов. У нас в доме и во дворе были развешаны амулеты, охраняющие от дурного глаза. Один такой амулет, помню, висел у нас над входной дверью, но самый большой был спрятан в пустой тыкве, которая стояла у отца в углу спальни. Детям не разрешали одним входить в эту комнату, и тому же она всегда была заперта на ключ. Нам строго-настрого наказывали не заходить в такие-то дома и не принимать угощения от таких-то людей.

Но и друзей у нас тоже было немало. Нам приносили дары: коз, овец, кур, груды батата, кувшины пальмового вина и бутылки европейских напитков. Нам отдавали в услужение своих сыновей и их будущих невест, которые обучались у нас современному искусству вести хозяйство. Несмотря на многочисленность нашей семьи, у нас в доме всегда было мясо. Я помню время, когда отец каждую субботу резал козу, а ведь в большинстве семей козлятины не видели годами — не удивительно, что такое несомненное свидетельство нашего богатства вызывало у соседей недоброжелательство и зависть.

Но тогда я еще не знал, как страшна и неумолима может быть ненависть к переводчику: мне случайно довелось это понять лишь несколько лет спустя. Я уже учился в то время в средней школе. Наступили рождественские каникулы; до дому было далеко, а оставаться в школе мне не хотелось, и потому я согласился погостить у своего приятеля, жившего всего в четырех-пяти милях от школы. Его родители были нам очень рады, и мать тотчас же побежала варить батат нам на ужин.

Когда мы поели, отец моего приятеля вышел купить себе табаку, но очень скоро прибежал, запыхавшись, назад и, к моему удивлению, попросил сына повторить, как меня зовут.

— Одили Самалу,— отвечал мой приятель.

— Из какой деревни? — нетерпеливо продолжал расспрашивать отец, и голос его был сухой и напряженный. Мне стало страшно.

— Уруа, сэр,— сказал я.

— Вот как,— холодно произнес он.— А кто твой отец?

— Хезекиа Самалу,— выдавил я из себя, и тут же добавил: — Бывший окружной переводчик.

Уж лучше было сказать все сразу и покончить с расспросами.

— В таком случае ты не можешь оставаться у меня в доме,— заявил он тем спокойным и ровным тоном, который, по понятиям моего народа, надлежит сохранять человеку с положением в критическую минуту, когда люди помельче или женщины могли бы себе позволить кипятиться и шуметь.

— Но почему же, папа, что он сделал? — в полном смятении вскричал мой друг.

— Ты слышал, что я сказал... Ты ни в чем не виноват, мой сын, и ты, мальчик, тоже. Вас никто не предупредил. Но с сегодняшнего дня вам должно быть известно, что сыну Хезекиа Самалу нет места под моей крышей.— Он взглянул в окно и добавил:— Сейчас еще светло, ты успеешь вернуться в школу.

Вероятно, я так никогда и не узнаю, какое зло причинил мой отец этому человеку. Несколько месяцев спустя, приехав домой на летние каникулы, я пытался расспросить отца, но в ответ он только накричал на меня: я должен сидеть за книгами и учиться, а не шляться по чужим людям, как бездомный бродяга, не для того он посылал меня в школу.

Мне было всего пятнадцать, и прошел еще не один год, прежде чем я научился давать отпор отцу. Мне следовало бы сказать ему тогда, что никуда он меня не посылал, а учился я в школе потому, что сам сумел добиться стипендии, и в университет я попал точно так же.

Беда моего отца — его ненасытное желание иметь как можно больше жен и детей или, вернее, детей и жен. Сейчас у него пять жен, младшая из которых еще совсем девочка — он женился на ней в прошлом году, а ему уже не меньше шестидесяти восьми, если не все семьдесят. Он получает скромную пенсию, которой ему хватало бы, не будь у него тридцати пяти детей. Разумеется, теперь он даже не пытается делать вид, будто может прокормить семью. Каждая из жен изворачивается как умеет. Старшим женам живется не так уж плохо, им помогают их взрослые дети, а младшим, чтобы платить за ребят в школу, приходится разрываться между полем и базаром.

У отца только и забот, что покупать себе каждое утро кувшин пальмового вина, а время от времени — бутылку виски. Не так давно он вдруг приохотился к политике и стал председателем местной организации ПНС.

Самая крупная моя стычка с отцом произошла года полтора назад, когда я прямо заявил ему, что брать себе в дом пятую жену — чистое безумие. В пылу ссоры я сказал, что он не хочет подумать о других. Конечно, это было непростительно с моей стороны. Ведь смысл моего замечания заключался в том, что ему, как я полагал, уже недолго осталось жить, а напоминать об этом неделикатно и невеликодушно. Если не вмешалась Мама, он, вероятно, проклял бы меня, но благодаря ее заступничеству он ограничился клятвой никогда не брать у меня ни пенни, потому что он ведь до

жен подумать и обо мне. Мама уговорила меня вступить в переговоры о мире, и я на коленях выпросил у отца прощенья, задобрив его бутылкой виски, двумя бутылками «белой лошади» и бутылкой мартеля. Теперь мы находились в состоянии перемирия, и я собирался поделиться с ним своими планами относительно аспирантуры. Впрочем, я заранее знал все, что он скажет. Он обязательно скажет, что я и без того достаточно учен и что все важные шишки у нас в стране — министры, коммерсанты, члены парламента — учились вдвое меньше, чем я. И еще он скажет, уже в сотый раз, чтобы я бросил «свою дурацкую школу», и поискал бы себе какую-нибудь приличную государственную службу, и купил бы себе машину.

Я приехал в столицу Бори ровно через месяц после неожиданного приглашения мистера Нанги. Хотя я предупредил о своем приезде письмом и потом еще уточнил день прибытия телеграммой, тем не менее, садясь в такси и торжественно объявляя шоферу адрес, я испытывал смутное беспокойство. Мне пришло в голову, что такой обходительный человек, как мистер Нанга, пользующийся к тому же всеобщей любовью, вероятно, раздает подобные приглашения направо и налево, в тот же день забывая о них. Разумно ли с моей стороны ловить его на слове? Правда, я на всякий случай уже написал своему другу, свежеиспеченному адвокату, намеревающемуся обзавестись частной практикой в столице. Я решил, что посмотрю, как меня встретит Нанга, и в случае чего уберусь на следующий день, будто вовсе и не собирался оставаться дольше. Когда мы подъехали к дому министра, опасения мои возросли: одноглазый верзила, остановив такси у ворот, оглядел меня с головы до ног.

— Вам кого? — буркнул он.

— Мистера Нангу.

— Он вам назначил?

— Нет, но...

— Поставьте машину вот тут, за воротами. Пэйду спрошу. Как звать?

На мое счастье, министр, очевидно сидевший в это время со своей семьей в гостиной, подошел к окну и, увидев меня, тут же выбежал и кинулся меня обнимать. Вслед за ним появились его жена и трое детей, и все они шумно меня приветствовали.

— Заходи же,— сказал министр,— мы с утра тебя ждем. Мой дом к твоим услугам.

Я хотел было задержаться, чтобы заплатить за такси.

— Нет, нет,— вскричал мой хозяин,— иди прямо в дом. Я сам расплачусь с шофером. Мы с ним друзья, верно?

— Да, сэр,— подтвердил водитель такси, обнажая в широкой улыбке свои желтые от табака и колы зубы, а ведь до этой минуты он казался мне угрюмым.

Для матери семерых детей, старшему из которых исполнилось уже шестнадцать или семнадцать, миссис Нанга была еще очень моложава, да она и сейчас все такая же. Ее, в отличие от мистера Нанги, я помнил очень смутно, теперь же прежний ее облик снова всплыл передо мной. Конечно, она располнела, пожалуй, даже ее можно было назвать дородной, но такого приветливого лица мне еще не приходилось встречать.

Она провела меня в предназначенные мне апартаменты и, можно сказать, приказала принять ванну, пока она приготовит что-нибудь поесть.

— Это недолго,— сказала она,— суп уже сварен.

Я сразу же обратил внимание на такую, казалось бы, мелочь: мистер Нанга всегда изъяснялся по-английски или на пиджин, его дети, посещавшие, как я потом узнал, самые дорогие частные школы, в которых преподавание вели англичанки, говорили на безукоризненном английском языке, и только миссис Нанга никогда не изменяла родному наречию, лишь время от времени вставляя какое-нибудь английское слово.

Мой хозяин даром времени не терял. Часов в пять он уже предложил мне отправиться вместе с ним к министру зарубежного образования, достопочтенному Симону Коко. Только что прошел один из тех редких для декабря ливней, которые всегда сопровождаются холодным и резким ветром — харматтаном; улицы были усеяны опавшими листьями и обломками веток, и нам то и дело приходилось объезжать валявшиеся на земле телеграфные и высоковольтные провода.

Мистер Коко, толстый и благодушный на вид человек в огромном красно-желтом свитере ручной вязки, как раз собирался пить кофе. Он спросил, налить ли и нам по чашечке или мы предпочли бы что-нибудь спиртное.

— Уж эти мне чернокожие европейцы,— сказал мистер Нанга.— И охота вам распивать чаи да кофе в такую жару! Виски с содой для меня и мистера Самалу.

— Ничто так не согревает внутренности, как горячий кофе,— возразил мистер Коко и, шумно отхлебнув большой глоток, с удовлетворением выдохнул: «а-а». Но в ту же минуту он чуть не выронил чашку из рук и, грохнув ее на столик, стоявший возле его кресла, вскочил как ужаленный.— Они убили меня! — завопил он, заламывая руки. Глаза у него закатились, он задыхался. Мы с Нангой в ужасе подбежали к нему и в один голос стали допытываться, что с ним случилось. Но наш хозяин продолжал кричать, что **они** убили его и теперь могут радоваться.

— Что с тобой, Коко? — обняв друга за плечи, повторял мистер Нанга.

— Они подсыпали мне яду в кофе,— вымолвил наконец мистер Коко в полном отчаянии.

В это время прибежал слуга, привлеченный криками хозяина.

— Кто насыпал мне яд в кофе? — набросился на него министр.

— Это не я, сэр, боже упаси!

— Зови повара! — громовым голосом заорал Коко.— Давай его сюда! Я убью его прежде, чем умру сам! Ступай притащи его!

Слуга бросился вон из комнаты, но через минуту вернулся сказать, что повар куда-то вышел. Министр рухнул в кресло и, держась за живот, принялся издавать душераздирающие стоны. От ворот прибежал телохранитель в ковбойке и джинсах, которого мы уже видели, когда подъезжали к дому, и, узнав, в чем дело, кинулся со всех ног разыскивать повара.

— Надо сходить за доктором,— сказал я.

— Верно,— обрадовался Нанга и, оставив друга, побежал к телефону. О телефоне я как-то совсем забыл.

— Зачем мне доктор? — простонал наш умирающий хозяин,— Что он понимает в здешних ядах? Они убили меня. Что я им сделал? В чем я виноват? О-о-о!

Тем временем Нанга пытался дозвониться доктору и, очевидно, безуспешно, потому что теперь он орал в трубку, грозя немедленным увольнением своему невидимому врагу.

— Говорит министр Нанга,— кричал он снова и снова.— Я доложу о вас кому следует. Идиот! Это наше бедствие — такие болваны. Подожди, я с тобой разделаюсь. Проклятый дурак!

В эту минуту в дверь ввалился телохранитель, таща за шиворот повара. Министр подскочил к нему с проворством, весьма неожиданным для человека его комплекции, да еще в таком состоянии.

— Обождите, хозяин,— взмолился повар.

— Я тебе обожду! — взревел мистер Коко, набрасываясь на него с кулаками.— Ты зачем подсыпал мне яду? — Всё его огромное тело тряслось, как желе.

— Я?! Подсыпал хозяину яд? Помилуй боже! — воскликнул повар, уклоняясь от увесистого удара. И тут с непостижимым присутствием духа он прибег к самому верному средству доказать свою невиновность — очевидно, телохранитель уже успел рассказать ему, в чем его подозревают. Одним прыжком очутившись у столика, он схватил чашку с кофе и залпом выпил ее. Воцарилась мгновенная тишина. Мы растерянно переглянулись.— Зачем бы я стал убивать хозяина? — вскричал повар, обращаясь к уже поостывшим зрителям.— Что я, спятил, что ли? Да если бы я и впрямь рехнулся, я скорее бросился бы с обрыва в море, чем травить своего господина.

Его речь показалась нам убедительной. Между тем он продолжал говорить, и таинственная история с кофе наконец прояснилась. Сегодня за завтраком кончился кофе, который всегда подавали министру, а новую коробку не успели купить. Поэтому повар сварил ему чашечку своего собственного кофе, местного производства, который, по его уверениям, продавался в ТОПе.

Во всей этой истории была своя смешная сторона, хотя, по-видимому, ни тот, ни другой министр ее не заметили. Сокращение ТОП — товары отечественного производства — прочно вошло в обиход: по всей стране проводилась широкая правительственная кампания в целях содействия потреблению продукции местной промышленности. Газеты, радио, телевидение призывали всех граждан поддержать это важнейшее патриотическое начинание, ключ к экономической независимости, без которой наша свобода, завоеванная такой дорогой ценой, была бы только фикцией. По городам и селам разъезжали грузовики с установленными на них репродукторами, из репродукторов неслись бодрые рекламные песенки, и под эту музыку с грузовиков распродавались товары. Именно эти грузовики, а не рекламируемая ими продукция получили в народе название ТОП. Очевидно, в таком ТОПе повар и купил свой кофе, чуть не стоивший ему жизни.

Теперь, когда происшествие разрешилось столь благополучным образом, мне стало неловко за мистера Коко. Если бы это зависело от меня, я настоял бы, чтобы мы тотчас ушли. Но меня никто не спрашивал. Мистер Нанга, напротив, даже принялся поддразнивать своего коллегу.

— Оказывается, и ты боишься смерти,— сказал он.— Чуть что уж орешь: «Они убили меня! Они убили меня!» Точно скорпион тебя укусил.

Он обернулся ко мне, вероятно, ожидая, что и я расхохочусь вместе с ним, но я поспешно отвел глаза и стал смотреть в окно.

— Да как тут не испугаться? — отвечал Коко, смущенно посмеиваясь.— Сам небось напустил бы в штаны.

— Вот еще! Чего мне бояться? Что я, убил кого-нибудь, что ли?

Они еще долго продолжали в том же духе. Я потихоньку тянул свое виски, стараясь ни на кого из них не глядеть, но про себя я знал, что, несмотря на все его теперешнее бахвальство, мистер Нанга и сам перепугался до смерти — потому-то он так кричал и бесновался у телефона. И, пожалуй, дело тут было вовсе не в Коко. Очевидно, ему показалось, что и его особе угрожает опасность. Как гласит пословица, когда вешают одного злодея, другой чувствует на шее веревку.

Разумеется, о моей стипендии разговор так и не зашел. Домой мы ехали в полном молчании. Один только раз за всю дорогу мистер Нанга обернулся ко мне и сказал: «Если кто-нибудь захочет сделать тебя министром, беги от него без оглядки».

В этот вечер я ужинал с миссис Нанга и детьми — министр отправился в какое-то посольство на прием, а оттуда на партийное заседание.

— Жена министра что жена ночного сторожа,— сказала миссис Нанга, когда после ужина мы сели смотреть телевизор.

Мы оба рассмеялись. В ее словах не прозвучало и тени недовольства. Было сразу видно, что она непритязательная и верная жена, готовая безропотно нести бремя, налагаемое на нее высоким положением мужа. Ее преданность невозможно было поколебать.

— Должно быть, это очень приятно — бывать на дипломатических приемах и знаться с важными птицами,— заметил я с лукавым простодушием.

— Ну, что там хорошего? — возразила миссис Нанга.— Пустые разговоры на пустой желудок: «Здравствуйте. Как вы поживаете? Как я рад вас видеть» — все одно вранье.

Я от души рассмеялся и встал, делая вид, что рассматриваю семейные фотографии на стенах. Расспрашивая миссис Нанга то об одном, то о другом снимке, я постепенно подвигался к фотографии, стоявшей на радиоприемнике, которую я заметил, как только вошел в дом. Это была фотография той самой девушки, которая приезжала с министром к нам в Анату.

— Это ваша сестра? — спросил я.

— Нет. Это Эдна. Наша жена.

— Ваша жена? Что это значит?

Она засмеялась.

— Мы берем себе вторую жену — мне в помощь.

Всякий, кому вздумается ругать наших министров, первым делом вам скажет, что у любого из них в доме семь спален и семь ванных комнат — по числу дней недели. Что касается меня, то в эту первую ночь, проведенную в доме министра, мне было не до критики: я был зачарован роскошью моих апартаментов. Когда я улегся на мягкую двуспальную кровать — словно вознесся на облако, зажег лампу на ночном столике и снова, уже в другом ракурсе, увидел ослепительной красоты мебель, а через приоткрытую дверь — сверкающие стены ванной и белоснежные полотенца шириной с женскую шаль, я сказал самому себе, что, если бы сейчас меня вдруг сделали министром, я, без сомнения, пожелал бы остаться им на всю жизнь. И, может быть, мне следовало благодарить бога, что этого не случилось. Нельзя, забывая о человеческой природе, утверждать, подобно некоторым писакам, что такого политика, как Нанга, который из нищеты и безвестности был вознесен на вершины богатства и славы, нетрудно будет уговорить отказаться от своего благополучия и снова стать тем, чем он был.

Человека, который только что мок под дождем и наконец обогрелся и надел на себя сухое платье, куда труднее заставить снова выйти на дождь, чем того, кто все время сидел в тепле.

Беда нашего народа, как я понял тогда, лежа на этой двуспальной кровати, заключается в том, что никто из нас еще не побыл в тепле достаточно долго, чтобы сказать: «А ну его к черту!» Мы все до вчерашнего дня мокли под дождем. А потом какая-то горстка — самые ловкие и самые счастливые, но далеко не самые достойные — с бою захватила единственное укрытие, которое осталось после ухода наших прежних правителей, и, забравшись в него, забаррикадировала все двери. Из-за закрытых дверей эта элита через бесчисленные репродукторы обращается теперь к остальным, объясняя, что первая фаза борьбы победоносно закончена и начинается следующая, еще более важная, задача которой — раздвинуть стены нашего дома, и что в связи с этим необходима совершенно иная, новая тактика: все разногласия должны быть отныне прекращены, народ должен быть сплочен и единодушен, потому что любая разноголосица, любой диссонанс в общем хоре могут расшатать и разрушить наше здание.

Надо ли говорить, что эти возвышенные мысли не занимали меня всю ночь напролет. Засыпая, я думал об Элси, и во сне мне рисовались самые соблазнительные картины.

Глава четвертая

Я без труда могу не ложиться допоздна, но терпеть не могу рано вставать. Наутро после приезда я еще спал крепким сном, когда над ухом у меня раздался голос министра. Я открыл глаза и попытался улыбнуться и сказать «доброе утро».

— Соня,— добродушно проворчал министр.— Ладно, лежи. С дороги, наверно, устал, как собака. Ну, пока, я поехал в министерство.

В своей просторной белоснежной одежде он выглядел свежим и отдохнувшим и весь сиял, как новенькая монета. А ведь он вернулся вчера, вернее, уже сегодня, в два часа! Меня разбудил скрип колес — дорога к дому была усыпана гравием,— и я

взглянул на свои шестигранные ручные часы, с которыми никогда не расставался, забывая снимать их даже в ванной. Я только недавно купил эти часы и наивно верил в их пресловутую герметичность. Теперь-то я знаю, чего она стоит. Но вернемся к мистеру Нанге. Служба в учреждении как-то не вязалась с обликом этого человека. Вероятно, глупо говорить так о министре, но я никак не мог представить его себе за письменным столом. Казалось, жизнь его должна состоять из разъездов, встреч и знакомств с людьми, которых он очаровывал бы своей улыбкой. Тем не менее он ежедневно, ровно к восьми, отправлялся в министерство.

За завтраком я узнал, что через три дня миссис Нанга уезжает с детьми в Анату, и про себя обрадовался, хотя успел уже искренне привязаться к ней. По ее словам, министр настаивал, чтобы детей хотя бы раз в год возили домой, в деревню.

— Это очень разумно,— одобрил я.

— А не то они стали бы совсем англичанами. Вы заметили, они даже не говорят на родном языке? Что-нибудь спросишь — они отвечают тебе по-английски. Малыш, Мика, обозвал мою мать «деревенщиной».

— Ужасно,— рассмеялся я, хотя смешного тут было мало.

— Само собой, я надавала ему оплеух,— не без гордости продолжала миссис Нанга.— Мать накинулась на меня: она ведь не поняла, что он сказал.

— Да, это хорошо, что вы возите детей в деревню. А когда вы думаете вернуться?

— После рождества. Вы же знаете — отец Эдди в январе едет в Америку.

Эдди был их старший сын.

Нетрудно понять, почему известие об отъезде миссис Нанга так меня обрадовало: ни одна замужняя женщина, как бы снисходительна она ни была, не может благожелательно отнестись к тому, что я замышлял,— ведь я собирался привести Элси и оставить ее у себя. Мои изолированные апартаменты не спасли бы положения. И даже если бы миссис Нанга посмотрела на все сквозь пальцы, то сама Элси ни за что бы на это не пошла. Я по опыту знаю, что любая женщина, даже самая свободомыслящая, боится уронить себя в глазах других представительниц своего пола. О проститутках я не говорю — тут у меня нет опыта.

Мой хозяин принадлежал к типу людей, которые всегда варятся в гуще событий. Я должен быть навеки благодарен ему за то, что, находясь в его доме, смог проникнуть в самую суть политической жизни страны. С того дня, как я с тяжелым сердцем покинул заседание парламента, меня, как и многих моих соотечественников-интеллигентов, не оставляла мысль, что неладно что-то в нашем государстве, хотя мы и не сумели бы сказать, что именно. Мы говорили, что страна остановилась в своем развитии, что она отреклась от руководящей роли, по нашим понятиям, предназначенной ей на африканском континенте, мы возмущались, когда до нас доходили слухи о скандальных аферах, в которых были замешаны высокопоставленные лица, оперировавшие поистине баснословными суммами. Но нам не за что было ухватиться — недоставало реальных фактов. Теперь же, можно сказать, сидя у ног министра Нанги, я кое-что понял, многое начало вырисовываться из сплошного тумана — одно оказывалось не таким страшным, как я полагал, другое превосходило худшие из моих подозрений. Однако выводы я сделал значительно позже, в то время я еще не сумел бы их сформулировать. Я только зачарованно следил, как передо мной раздвигается завеса, скрывающая от взоров непосвященных политические таинства; так когда-то я наблюдал закат над Килиманджаро и внезапно увидел белоснежный купол, выступивший из-за рассеявшихся облаков. У меня тогда перехватило дыхание. Я не воскликнул: «О! Вот она — самая высокая гора Африки!» или «Это совсем не так грандиозно, как я ожидал!» В ту минуту мне было не до того.

Уезжая в Бори, я ничего не захватил с собой почитать, а библиотека министра оказалась не совсем по моему вкусу: на полках стояло парадное издание американской «Энциклопедии», и тут же примостились «Она» и «Эйша, или Ее возвращение» Райдера Хаггарда, а также две-три книги Мэри Корели и Берты Клей — мне запомнилось одно название: «Скорбь сатаны». И это было, собственно, все, если не считать разрозненных брошюр, например, «Как произносить речи».

Полистав один за другим несколько томов «Энциклопедии», я с необычным для меня рвением принялся изучать утренние газеты. И, поверьте, я убедился, что ежедневно лишал себя немалого удовольствия. В «Дейли кроникл», например, я обнаружил следующее объявление:

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ.

Согласно параграфу 12 постановления муниципалитета города Бори, 1951

1. Все жильцы обязаны иметь в наличии кадки для испражнений. Размеры кадок и материал, из которого они должны быть изготовлены, утверждаются главным инженером города.

2. Количество таких кадок для каждого двора определяется главным инженером. Самовольное увеличение установленного для данного двора числа кадок не разрешается.

В нашей великой стране вас на каждом шагу поджидают самые неожиданные контрасты. Сидя в уютной, комфортабельной гостиной великолепного особняка с семью ванными комнатами и семью сверкающими чистотой унитазами с бесшумным спуском, я читал в столичной газете постановление о кадках для испражнений!

Большую часть моей жизни (за исключением тех нескольких лет, которые я провел в университете, где я впервые познакомился с современной уборной) мне приходилось пользоваться отхожими местами с выгребной ямой — такой сортир был и у нас дома, в Анате. Что говорить, это не бог весть какая роскошь, но при желании подобные уборные нетрудно содержать в чистоте и порядке. Кадушки — совсем другое дело. Я впервые познакомился с ними двенадцатилетним подростком, когда попал в услужение в семью своей замужней сводной сестры, жившей в Джилиджили — маленьком торговом городке. Этот год был самым мерзким в моей жизни. Кадушки внушали мне такое отвращение, что я иногда по целым суткам не освобождал желудок. А потом забастовали ассенизаторы. Забастовка продолжалась неделю, и всю неделю я почти ничего не ел. Как шутили тогда коренные жители, город можно было «учуять» за десять миль.

Единственным моим развлечением в Джилиджили была ночная охота на крыс. Мы занимали две комнаты в большом, крытом железом доме с земляным полом и земляными стенами. Сестра с мужем и двое малышей спали в одной комнате, а мы, трое мальчишек,— в другой, где стояли мешки с рисом, фасолью и прочими продуктами и где, конечно, водились крысы.

Крысы прорыли ходы в полу и по вечерам, когда мы все сидели вокруг очага на кухне, вылезали полакомиться нашими запасами. С ними ничего нельзя было поделать, потому что, как только кто-нибудь входил в комнату с лампой, они скрывались в свои норы. Мы пытались ловить их железными крысоловками, купленными у кузнеца, используя в качестве приманки кусочки сушеной рыбы. Двух-трех нам удалось поймать, но зато другие стали осторожнее и уже не прикасались к приманке.

Тогда мы решили устроить на них охоту. Кто-нибудь из нас на цыпочках прокрадывался в темную комнату и затыкал ходы тряпками, а остальные в это время, вооружившись палками, дожидались за дверью. Переждав какое-то время, мы врывались в комнату, плотно захлопывали за собой дверь, и начиналось настоящее побоище. Мы били без промаха. Но самых маленьких мы обычно не убивали — оставляли на будущее. Теперь мне казалось, что это было сто лет назад.

Мистер Нанга вернулся домой к завтраку часа в два, и я сразу заметил, что он чем-то озабочен. Он поздоровался со мной с обычной сердечностью, но как-то чересчур лаконично и тут же, направившись к телефону, стал звонить кому-то из своих коллег — как я вскоре догадался, это был министр общественных работ.

Тогда я мало что понял из их разговора, да ведь и слышал я только одного из собеседников. Мой хозяин очень горячился по поводу какой-то дороги, которую нужно было заасфальтировать до следующих выборов. Он упомянул сумму в десять тысяч двести фунтов. А потом я с удивлением услышал, как мой министр говорит своему коллеге:

— Послушай, Т. К., мы же решили, что дорогу нужно асфальтировать. К чему же вся эта канитель? Какой еще эксперт? Так, значит, теперь тебе понадобился эксперт? Ты прекрасно знаешь, что этим мальчишкам нельзя доверять. Я всегда говорю, что лучше иметь дело с европейцами. Что? Об этом не беспокойся, я позабочусь, чтобы газеты не напечатали...

Положив трубку, он буркнул: «Дурак»,— и обернулся ко мне.

— Это член парламента Т. К. Кобино. Невероятно глуп. Кабинет еще в январе постановил закончить дорогу от Джилиджили до Анаты, а этот дурак до сих пор тянет. И все потому, что это не его избирательный округ. Будь дорога в его округе, он не стал бы слушать никаких экспертов. И кто этот эксперт? Мальчишка из его деревни, которого мы сами в прошлом году продвинули. Теперь он утверждает, что нужно подождать сухого сезона, потому что ему, видите ли, угодно взять пробы почвы. Земляной червь — вот он кто.

Я засмеялся.

— Ну, слышал ли ты что-нибудь подобное? — продолжал мистер Нанга.— Первую дорогу мы строим, что ли? Теперь видишь, почему я говорю, что народ у нас завистливый и привык думать только о себе.

Впоследствии мне довелось много чего узнать об этой дороге, которая, кстати сказать, проходит через мою деревню Уруа. Но тогда я отнесся сочувственно к планам мистера Нанги, хотя и не разделял его пренебрежения к мнению экспертов. Впрочем, мистер Нанга уверял, что этому парню вовсе никто и не поручал производить экспертизу. Он еще долго разглагольствовал на эту тему, без конца повторяя то, что я уже слышал, но одну новость я все же узнал: он заказал десять автобусов, которые начнут курсировать по этой дороге, как только она будет готова. Каждый автобус стоил шесть тысяч фунтов. Таким образом, у него были две весьма веские причины торопиться с асфальтированием дороги — предстоящие выборы и автобусы, которые он ждал со дня на день.

— У меня, конечно, нет шестидесяти тысяч в банке,— поторопился он уточнить.— Я получил бессрочную ссуду от «Бритиш амальгамейтед».

Я не очень-то понял, что значит бессрочная ссуда, и, кажется, подумал, что он получит автобусы как безвозмездный дар или что-то в этом роде — в то время от «Бритиш амальгамейтед» этого можно было ожидать.

В тот день на завтрак нам подали пюре из батата, и после плотной еды меня стало клонить ко сну. Я всегда был не прочь вздремнуть после полудня, но в доме Нанги, где жизнь била ключом и одно событие опережало другое, это показалось бы если не постыдным, то по меньшей мере неуместным. К тому же, вспомнив, что Нанга лег вчера в два часа ночи, к восьми уже был в министерстве и вернулся домой бодрый и свежий, как огурчик, я решил, что мне, по сравнению с ним еще юнцу, не пристала такая непозволительная слабость. И потому я остался сидеть в кресле, мужественно борясь со сном, пока мой хозяин обсуждал с женой ее поездку. Миссис Нанга спросила мужа, нашел ли он себе повара на то время, пока ее не будет, и он ответил, что ему обещали прислать сегодня двух-трех человек на выбор. И тут только я сообразил, что у них не было повара — они обходились одним слугой, и я с удивлением подумал: как же они устраиваются со званными обедами?

В это время за окном послышался шум подъехавшей машины, и в комнату впорхнула молодая американская пара. Вернее, впорхнула жена, а муж появился вслед за ней.

— Привет, Мика, привет, Маргарет,— воскликнула американка.

— Привет, Джин, привет, Джон,— отвечал министр.

Я был поражен. Эти двое выглядели не старше меня, и у них хватало нахальства называть мистера Нангу просто по имени, как его уже давным-давно никто не называл. Но больше всего меня поразила его реакция. Я сразу же повернул голову и со страхом взглянул на него, ожидая увидеть искаженное гневом лицо. Ничего подобного. Он с милой улыбкой ответил: «Привет, Джин, привет, Джон». Этого я не мог понять. Я был уверен, что если бы я или любой другой африканец осмелился назвать его Микой, он бы просто взбесился. Впрочем, мне, вероятно, не следовало так удивляться: все мы сносили от белых то, чего не спустили бы своим.

Миссис Нанга, чье имя я только теперь впервые узнал, видимо, была отнюдь не так польщена.

— Добрый день,— сказала она и почти тотчас повернулась и направилась к двери. Глядя ей вслед, я заметил, что юбка у нее задралась.

Пока Джин вовсю флиртовала с Микой, я затеял серьезный разговор с ее мужем, оказавшимся членом консультативной группы при нашем правительстве, в задачи которой входило помочь нам укрепить наш престиж в Америке. Он производил впечатление человека смирного и, как мне показалось, немного побаивался своей красивой и развязной жены. Однако оба они, каждый в своем роде, без сомнения, были отличными дипломатами. Когда мы коснулись, наконец, неизбежной темы — кстати сказать, не по моей инициативе,— Джон проявил необычайное красноречие.

— Как и в любой стране, у нас есть свои больные вопросы,— сказал он.— Некоторые из моих соотечественников поразительно узколобы — это надо признать. Но кое-чего мы все же добились. Я не говорю, что этого достаточно, но успехи уже налицо.

Он привел какие-то факты и цифры, которых я не запомнил. Помню только, он сказал, что линчевание — изначально явление не расового порядка и что до какого-то года, кажется, 1875, насчитывалось больше случаев линчевания белых, чем негров. И еще, что за пять лет последнего десятилетия линчеваний не было совсем, он не сказал — «за последние пять лет».

— Так что видите, мистер... Простите, я не расслышал, как вас зовут.

— Одили Самалу.

— Одили. Как это красиво. Можно, я буду называть вас просто по имени?

— Валяйте,— фамильярно, совсем на американский манер сказал я.

— Называйте меня Джон. К чему звать друг друга мистер такой-то и такой-то, как англичане?

— Ни к чему,— согласился я.

— Так вот, я говорю,— продолжал Джон,— что мы, конечно, не идеальны и сами это знаем, но за последние годы мы так шагнули вперед, что я не вижу причин отчаиваться. Главное, продолжать в том же духе, не останавливаться на полпути и не прозевать момент, когда можно переключить скорость.

Я еще смаковал этот необычный, но, как мне показалось, великолепный технический образ, когда голос Джона вывел меня из задумчивости. До меня не сразу дошел смысл его, я бы сказал, удивительного заявления. Не стану утверждать, что оно было ложным: для этого я недостаточно знаком со всемирной историей.

— Америка,— сказал Джон,— не идеальная страна, я с этим согласен, но не забывайте, что мы единственная великая держава за всю историю человечества, которая, будучи достаточно сильна, чтобы завоевывать другие государства, не делала этого.

Должно быть, вид у меня был весьма озадаченный, хотя в первую минуту я еще не сумел в полной мере оценить эту несколько странную похвальбу. Я только подумал, что, быть может, когда-то, очень давно, какая-нибудь богом забытая страна уже имела случай проявить подобного рода непостижимое великодушие.

— Да,— продолжал Джон,— в 1945 году мы могли покончить с Россией, сбросив парочку атомных бомб на Москву и Ленинград. Однако мы этого не сделали. Почему? Не спрашивайте меня — я и сам не знаю. Вероятно, мы очень наивны. Мы все еще верим в такие устаревшие понятия, как свобода и право каждого человека решать свою собственную судьбу. Американцы никогда не любили вмешиваться в чужие дела...

Как я уже говорил, у мистера Нанги была какая-то предрасположенность к драматическим перипетиям. Казалось, над его гордо посаженной головой всегда витают непредвиденные события, которые одно за другим обрушиваются на него, как шлепаются на землю крылатые муравьи, когда в дождь они кружатся вокруг фонаря.

В то время как Джон произносил свои воззышенные речи, а его жена, судя по выражению ее лица, уже готова была средь бела дня увлечь министра в постель, в дверь постучали и вошел молодой человек в белых шортах и туго накрахмаленной белой рубашке. Это был повар, явившийся предложить свои услуги.

— Что ты умеешь готовить? — спросил мистер Нанга, разглядывая протянутую ему пачку рекомендательных писем, скорее всего, поддельных.

— Всякую европейскую еду: бифштекс, паштет из почек, пури из кур, рагу, омлет...

— А африканскую еду ты разве не умеешь готовить?

— Это нет, не могу,— признался он.— Хозяину врать не стану.

— А дома ты что же ешь? — спросил я, обозлившись на этого дурачка.

— Дома? — переспросил он.— Что все едят, то и я.

— А что же все-то едят? Не африканские блюда?

— Ну да,— согласился повар.— Так ведь дома не я готовлю. На то у меня жена.

При этих словах мое раздражение исчезло, и мы с министром дружно расхохотались. Ободренный нашим смехом, он продолжал:

— Разве станет женатый человек торчать на кухне и стряпать эгузи? Это уж надо стыд потерять.

Мы охотно с ним согласились, но места он не получил, потому что мистер Нанга предпочитал эгузи какому-то пури из кур. Впрочем, надо признать, что в рассуждениях этого парня была своя доля истины: пока человек возится со всякого рода чужеземными варевами, он может преспокойно считать, что не унизил свое мужское достоинство такой сугубо женской работой, как стряпня.

Глава пятая

Джин и Джон пригласили министра и меня на неофициальный обед в субботу — день отъезда миссис Нанга. К сожалению, Джону пришлось неожиданно вылететь в Абаку, где он должен был присутствовать на открытии цементного завода, построенного с участием американского капитала.

В субботу после завтрака Джин позвонила, чтобы сказать, что обед все же состоится. Министр обещал прийти.

Но около семи часов прикатила весьма независимого вида молодая особа и нарушила все наши планы. Мистер Нанга представил ее как адвоката миссис Акило. Она только что приехала из другого города, расположенного в восьмидесяти милях от Бори. По ее словам, она даже не успела остановиться в гостинице и смыть с себя дорожную пыль. Однако дорожная пыль не помешала мне заметить, что она очень красива, и я вспомнил деревенскую пословицу-шутку о женщине, которая в ответ на похвалы красоте ее дочери сказала: «Вы ее еще не видали; вот когда она помоется...»

— Вы занимаетесь частной практикой? — спросил я миссис Акило, когда министра вызвали к телефону.

— Да, у нас с мужем общая практика.

— Ах, вот как, он тоже адвокат?

— Да, у нас своя контора.

Должен признаться, что ее независимая и уверенная манера держаться внушала мне некоторую робость. Судя по ее выговору, она провела детство в Англии. Однако робость моя скоро прошла. В конце концов, сказал я себе, она, наверно, нынче ночью будет спать с мистером Нангой, а уж он-то образованностью не блещет.

— Послушайте, Агнесса, почему бы вам не воспользоваться комнатой моей жены? Зачем зря выбрасывать деньги? — сказал, возвратившись, мистер Нанга.— Она только сегодня уехала в деревню.

Его английское произношение заметно улучшилось — он старательно подражал своей гостье. Это могло даже показаться умилительным, но я понимал, что он попросту забавляется.

— Спасибо, М. И., но я думаю, мне все же лучше остановиться в «Интернэшнл». Почему бы вам не заехать за мной? Мы бы где-нибудь вместе пообедали.

— Охотно. В котором часу?

— Часов в восемь — я должна еще принять ванну и прилечь на минутку.

Я уже начал опасаться, что мне придется провести субботний вечер одному в пустом особняке с семью спальнями. Мне показалось, что мой хозяин начисто забыл об обеде, на который мы были приглашены. Но он этого не забыл. Как только уехала миссис Акило, он сказал, что завезет меня к Джин и Джин сама доставит меня обратно.

— Агнесса — это «Она», а «Ей» нельзя не повиноваться,— заявил мистер Нанга.

Мне было интересно, станет ли он цитировать Райдера Хаггарда или кого-то там еще — уж не знаю, кому принадлежит это достопримечательное изречение,— когда будет объясняться с Джин; но он только сказал, что у него срочное дело. Само собой, Джин была ужасно разочарована. Тем не менее она сразу же с присущей ей экспансивностью выразила готовность доставить меня домой или попросить кого-нибудь из гостей меня подвезти.

Вечер у Джин миссис Нанга, вероятно, отнесла бы к категории «пустых разговоров на пустой желудок». Однако разговоры были не лишены интереса. Джин сумела завязать оживленную беседу, заведя речь о мистере Нанге. Никогда не знаешь, чего от него ждать, уверяла она, и в этом, если не говорить о красоте, главный секрет его обаяния.

— Если вы спрашиваете, придет ли он к вам обедать, он отвечает на пиджин: «Постараюсь».

— Какая прелесть! — воскликнула пожилая дама, по-видимому англичанка, слегка повернув голову ко мне.— Я просто обожаю пиджин!

— «Постараюсь»,— продолжала Джин,— может означать все, что угодно: либо он не придет совсем — вот как сегодня,— либо явится с тремя друзьями.

— Как интересно,— сказала все та же дама, и только теперь я заподозрил насмешку в ее словах.

Кроме Джин и меня за столом находилось еще пять человек: англичанка с мужем, пожилой американский негр, собиравшийся писать книгу о нашей стране, и двое белых американцев — муж и жена.

На обед была курица с рисом и земляными орехами — на мой взгляд, слишком тяжелая пища для такого позднего часа. Но сладкое мне понравилось — возможно, потому, что я еще никогда такого не ел. Не помню уж, как оно называлось. Кофе я пить не стал, я пью его вечером только в том случае, если мне надо работать — чтобы «промыть мозги», как говорили у нас в университете.

Беседа, как я уже упоминал, текла весьма живо. Моя дружба с министром придавала всему, что я говорил, особый вес в глазах гостей и хозяйки. Не знаю, как на других, но на меня сознание, что к моим словам прислушиваются, всегда действует магически — я сразу становлюсь красноречивым. Так и теперь, когда речь зашла об искусстве и его понимании, мне довелось высказать, как мне кажется, очень уместное и веское соображение.

На площади в Бори только что была установлена огромных размеров деревянная скульптура, изображающая какое-то божество, работы одного из наших известнейших мастеров. Я еще не видел ее, но много читал о ней в газетах. Скульптура, надо сказать, так нашумела, что уже стало модно ругать ее и обвинять автора в отступлении от африканских традиций. И сейчас, за обедом, англичанин принялся уверять, что ей чего-то там недостает.

— На днях,— рассказывал он,— проезжая мимо, я видел, как какая-то старуха смотрит на статую и, не в силах сдержать возмущения, грозит ей кулаком. Я был очень доволен..

— Это любопытно,— заметил кто-то.

— Я бы сказал, это больше чем любопытно,— возразил англичанин.— Перед нами старая женщина, невежественная язычница, быть может, сама поклоняющаяся этому самому божеству,— не то что наш просвещенный друг, обучавшийся в европейских академиях художеств, и эта старуха вправе судить...

— Вот именно.

И тут меня осенило.

— Вы сказали, она грозила кулаком? — переспросил я.— В таком случае вы заблуждаетесь. У нас в народе показывают кулак, когда за каким-нибудь человеком или предметом признают могущество и хотят оказать ему уважение и почет.

Это была чистая правда. Отклоняясь немного в сторону, замечу, что мне случилось впоследствии встретить другого критика, совершившего ту же, с моей точки зрения, непростительную ошибку: он приписывал жестам и мимике африканца значение и смысл, которые они имеют для человека европейской культуры. Этот критик, француз, в статье об африканском искусстве, опубликованной в одном модном журнале, писал о знаменитой священной маске: «Обратите внимание на эти полузакрытые веки, напряженно и резко сдвинутые брови, в болезненном экстазе сжатый рот...»

Это был просто позор. Маска не выражала никаких иных чувств, кроме величественного равнодушия и презрения к людям. Если бы повстречавшаяся мне африканка глянула на меня так, я не усомнился бы в значении этого взгляда.

Однако вернемся к обеду у Джин. Положив на обе лопатки знатока искусств, я очень вырос в глазах всех. Я уже не был теперь для них просто человеком, кото-

рый гостит у министра культуры. Супруги-американцы, особенно жена, буквально ловили каждое мое слово. Их интересовало, учился ли я когда-нибудь в Англии, в какой области специализировался в университете, что преподаю в школе, бывал ли я в Соединенных Штатах и что думаю об американцах и т. д. и т. п.

Самую забавную историю в этот вечер рассказал негр писатель. Однажды, когда он завтракал в отеле «Интернэшнл», который, как всем известно, представляет собой своего рода международную биржу, где нашему народу сбывают все виды иностранной продукции — от тракторов до политических доктрин,— к нему подошел белый американец и очень учтиво спросил:

— Могу я подсесть к вам, сэр?

— Конечно,— ответил негр.

— Как вы относитесь к Корпусу Мира?

— Ничего не имею против. Одна из моих дочерей состоит в нем

— Так вы американец?

— Ну да. Я приехал...

По-моему, это было великолепно. Я представил себе, как этот белый, поспешно извинившись, вскочил и зашагал между столиками в поисках настоящих африканцев.

К концу обеда негритянский писатель предложил подвезти меня, чтобы не затруднять Джин, но она, к моему великому облегчению, не захотела об этом и слышать: она сбещала министру доставить меня до двери в целости и сохранности, к тому же она и сама не прочь проветриться перед сном.

Когда все гости ушли — почти одновременно,— Джин, заложив руки за голову и лениво потягиваясь, сказала:

— Пожалуй, и нам пора.

— Но мы с вами и словом не успели обмолвиться,— запротестовал я.

Джин подошла к проигрывателю, поставила долгоиграющую пластинку с негритянским джазом, и мы стали танцевать. Должен сказать, что получалось у нее неплохо, хотя, как и все иностранки, помешанные на африканских ритмических танцах, она чересчур уж извивалась. Не то чтобы мне это не нравилось — напротив. Я просто хочу поделиться своими наблюдениями.

Все дело здесь в том, как нас себе представляют другие народы, и я вам скажу, что во многом виноваты мы сами. Помню, как мы взбесились, когда в университете нам показали фильм, выпущенный соседним африканским государством и демонстрируемый за границей под маркой африканского балета: на экране молоденькие негритянки трясли грудями и виляли бедрами. Очень может быть, что Джин видела этот фильм в Америке. Во всяком случае, откуда бы она ни понабралась всех этих выкрутасов, ее манера танцевать, в данном случае вполне уместная и по-своему привлекательная, имела мало общего с настоящим негритянским танцем, который, хотя и таит в себе тот же смысл, выражает его не столь прямолинейно и грубо.

Пока мы танцевали, Джин преподала мне небольшой урок психологии. Она, видите ли, заметила, что, сидя за столом, я подрагивал ногой, а, по ее словам, это означало, что я изнемогаю от страсти.

— Кто на вас так подействовал, я или Элси? — спросила она.

— Элси?

— Ну да, Элси Джексон — американка.

— Ах вот как. Ну нет! Бог мой, конечно нет! Вы отлично знаете, что я хочу вас.

И это была правда.

Собственно, насчет подрагивания ногой я услышал впервые — я имею в виду объяснение этого дела. Насколько мне известно, у меня всегда была эта привычка, и в детстве мне не раз попадало за нее. Мама говорила, что я еще накликаю на себя падучую.

Не помню, протанцевали ли мы до конца хотя бы один танец, очень сомневаюсь. Помню только, как на ночном столике возле кровати вчезапно зазвонил телефон. Я вздрогнул, будто кто-то, прокравшись по темной лестнице в спальню, вонзил мне в спину нож.

— Не шевелись,— приказала Джин, крепко обхватив меня снизу обеими руками. Я повиновался.

Тогда, извиваясь всем телом и продолжая прижимать меня к себе, она на спине пододвинулась к краю кровати и сняла трубку.

Она говорила с такой спокойной непринужденностью, как если бы только что, приняв святое причастие, вернулась на свое обычное место в церкви.

— Привет, Элси,— сказала она.— Нет-нет, пожалуйста... Очень рада, что ты осталась довольна... Все в порядке, я отвезла его домой. Сию минуту вернулась...

Повесив трубку, она дала волю своим чувствам и в сердцах обозвала Элси «дрянью», после чего мы оба покатились со смеху.

— Она для того только и звонила, чтобы узнать, здесь ли ты.

— Ты думаешь, она догадалась?

— Ничего я не думаю, что мне за дело?

Позднее, много позднее, держась за руки, мы спустились на кухню, и Джин заварила кофе. Должен признаться, это было как нельзя более кстати.

— Для женщины сексуальные отношения значат куда больше, чем для мужчины,— задумчиво произнесла Джин, помешивая ложечкой свой кофе.

— Ты так думаешь?

— Конечно. Ведь все происходит у нее внутри.

Меня подмывало сказать ей, чтобы она помолчала, но для этого мы еще были недостаточно хорошо знакомы. Я ничего не имею против разговоров до и даже во время боевых действий, но терпеть не могу никакой болтовни постфактум. Лучше всего молча пить кофе, или курить, или сидеть просто так. Но уж если вам приспичило поболтать, выберите себе какую-нибудь постороннюю тему.

Должно быть, Джин почувствовала мое настроение — она ведь была далеко не глупа.

Около половины второго я заметил, что Джин украдкой пытается подавить зевоту.

— Пожалуй, мне надо идти,— сказал я, вставая.— Мне очень жаль вытаскивать вас в такое время из дома.

— Да не будь ты таким церемонным — прямо англичанин! — с негодованием воскликнула Джин.

Я не видел ничего специфически английского в том, что я сказал, и не совсем понимал, что ее так рассердило, но предпочел воздержаться от дальнейшего обсуждения вопроса. Разыскивая ключи от машины, она спросила, должен ли я сразу ехать к себе или хотел бы сначала покататься по городу.

— Ночью Бори изумительно хорош,— сказала она.

— Но ведь вы, наверно, устали?

— Вот уж нисколько.

Надо отдать ей справедливость, город она знала вдоль и поперек — от современных, дышащих свежестью и чистотой прибрежных улиц до вонючего, гнилостного чрева столицы.

— Сколько времени вы уже здесь? — спросил я с нескрываемым восхищением.

— Одиннадцать месяцев. Когда город тебе по душе, с ним быстро знакомишься.

Проехав по широким, хорошо освещенным улицам, которые все названы в честь наших крупных политических деятелей, мы свернули в мрачные переулки, носящие имена каких-то безвестных чинуш. Даже самым незначительным членам городского муниципалитета (Джин, похоже, знала их всех) были отведены свои улочки — одна, помнится, называлась улица Стивена Авандо.

Побывав в этих темных закоулках, я бы мог убедиться, если бы меня еще требовалось убеждать, насколько актуальным было объявление городского муниципалитета, напечатанное в утренних газетах.

Я никак не мог решить, действительно ли Джин доставляла удовольствие эта поездка, как она уверяла, или у нее была какая-то другая, тайная причина возить меня по таким местам: быть может, ей хотелось, чтобы мне стало стыдно за столицу своей страны. От нее всего можно было ожидать — в этом я не сомневался, хотя едва ее знал: уж очень она была не проста.

Мы вернулись, наконец, в благопристойную, зажиточную часть города.

— Эти десять домов принадлежат министру общественных работ,— сказала Джин.— Они сдаются различным посольствам за три тысячи в год каждый.

«Ну и что,— подумал я про себя,— может быть, ты и права, но не тебе судить нас. Предоставь нам самим стирать наше грязное белье и не примазывайся к нашему делу — ты только оскверняешь его».

— Это уже вторая улица Нанги,— сказал я вслух, указывая налево.

— Нет, та, около фонтана, называлась проспект Нанги,— возразила Джин, и мы оба расхохотались — мы уже снова были друзьями.— Я не уверена, что нет еще и шоссе Нанги. Бульвар есть.

Тут меня опять покоробило. Какого черта, она над нами потешается и что она о себе воображает! Могла бы и у себя на родине найти, над чем посмеяться. Или поплакать, если это ей больше нравится.

— Не могу понять,— продолжала она, явно не замечая моего безмолвного недовольства,— почему у вас не называют улиц в честь исторических деятелей, как во Франции и других странах, например, в честь тех, кто возглавлял вашу борьбу за независимость?

— Потому что это Африка, а не Франция,— раздраженно и даже с вызовом сказал я.

Но она, очевидно, приняла мои слова за горькую иронию и опять засмеялась. На самом деле я просто хотел повежливее послать ее к черту. Мне казалось, я понял теперь, почему ей так нравится разъезжать по нашим трущобам. Она, верно, сделала уже сотни снимков и рассылает их всем друзьям и знакомым. А, кстати, у себя на родине захотела бы эта горячая поклонница Африки хотя бы близко подойти к чернокожему?

— Когда вы ждете Джона? — спросил я, внутренне кипя от злости.

— В среду. А что?

— Я подумал, не можем ли мы увидеться опять?
— А вы бы этого хотели?
— Очень.
— Ну что ж. Я вам завтра позвоню, хорошо?

Глава шестая

Всякий, кто хоть сколько-нибудь внимательно следил за моим рассказом, вероятно, уже недоумевает, что же случилось с Элси, из-за которой я так стремился в Бори. Так вот: я написал ей, как только приехал, и в первую же субботу с утра навестил ее в больнице. Элси спала после ночного дежурства. Правда, в нарушение больничных правил, ее разбудили ради меня, но я не мог оставаться у нее долго. Да, собственно, и приезжал-то я только за тем, чтобы договориться, что она проведет у меня два свободных дня, которые полагались ей за ночные дежурства, и захватит с собой свою приятельницу — для мистера Нанги, хотя так прямо это не говорилось.

В нашей стране приземистая американская машина с шофером в белоснежной форме за рулем и с развевающимся министерским флажком проедет сквозь угольное ушко. У ворот больницы привратник поспешил поднять железную перекладину, преграждавшую въезд, и по-военному отдал нам честь. Пожилой санитар, которого я подозвал кивком головы, кинулся к машине с таким проворством, словно сразу сбросил десяток годков. И, как я уже говорил, вопреки всем правилам, меня впустили в помещение для больничных сестер и разбудили спавшую Элси.

У Элси был еще совсем сонный вид, но она так явно обрадовалась моему приходу, что мне захотелось, отбросив благоразумие, остаться у нее подольше. Повязка, которую она надела на волосы, чтобы не растрепать их во сне, закрывала ей лоб и уши. Но несмотря на эту повязку и на припухшие от сна веки, она показалась мне не менее соблазнительной, чем всегда. Она тут же засуетилась — это было так на нее похоже,— собираясь раздобыть для меня что-нибудь выпить и закусить, но я наотрез отказался.

Я уже встал, намереваясь уйти, когда вошла ее приятельница. Она, очевидно, была не так уверена в своей красоте, как моя Элси, и потому задержалась, чтобы привести себя в порядок. Элси уверяла, что познакомила меня с ней на студенческой вечеринке, но я, хоть убей, не мог ее вспомнить. Она была довольно хорошенькая, но при взгляде на ее острый профиль мне почему-то пришла на ум птица ткач, и я подумал, что, верно, она так же болтлива, как ее пернатый двойник. Однако за все время она не сказала почти ни слова и, когда я уходил, даже не пошла вместе с Элси проводить меня до машины. Такое полное отсутствие любопытства, подумал я, не часто встретишь среди наших женщин.

Шагая рядом с Элси к машине, я шутливо заметил:

— А что, если Нанга скажет: «Махнем»?

— Что скажет? — удивилась Элси.

Я понял, что она, вероятно, впервые слышит это словечко, и мне пришлось объяснить ей, что оно означает «поменяемся»; мы оба рассмеялись.

— Я думала, он зовет тебя куда-нибудь поехать,— выговорила наконец Элси, и мы опять засмеялись. Но она тут же спохватилась и поспешила добавить, что мистеру Нанге и в голову не придет меняться, потому что ее подруга красивее ее.

— Если ты напрашиваешься на комплимент, то от меня ты его не дождешься,— ответил я, нагибаясь, чтобы сесть в машину: шофер распахнул дверцу, как только увидел, что я выхожу из больницы.— Кстати,— сказал я и снова выпрямился,— вчера на вечере я познакомился с одной американкой, ее тоже зовут Элси. Всякий раз, как кто-нибудь называл ее по имени, я вспоминал о тебе.

— Это еще что за Элси? Увидишь ее, скажи, что твоя Элси единственная на свете. И хорош же ты, нечего сказать! Не успел приехать, уже раскопал себе еще одну Элси! Смотри!

— Спокойно, бэби,— сказал я, подражая Джин,— что тут плохого, если я встретил на вечере твою тезку?

Признаться, мне было приятно, что Элси меня ревнует. Я уже открыл было рот, чтобы сказать, что та, другая, Элси и в подметки ей не годится, но вовремя удержался — из чисто тактических соображений. Я только заметил, что, если бы мне вздумалось завести себе еще одну подружку, я бы выбрал девушку с другим именем, хотя бы для того, чтобы их не путать.

— Ври больше,— с кокетливой улыбкой оборвала меня Элси; когда она улыбалась, на обеих щеках у нее появлялись ямочки.— Будь у тебя десяток Элси, тебе все было бы мало — по глазам видно.

— Вот еще! Нарочно, что ли, я себе выискиваю девчонок по имени Элси? — ответил я, смеясь.

— Кто тебя знает? — пожала плечами Элси.

— Ты меня знаешь.

Шофер захлопнул дверцу машины, недвусмысленно давая мне понять, чтобы я посторонился, но я решил не обращать на него внимания.

— Как называется эта машина? — спросила Элси.

— «Кадиллак».

— Так это и есть знаменитый «кадиллак»! Я никогда его не видела,— совсем по-детски обрадовалась Элси.— Ну и машина! Ой-ой-ой! Живут же люди! Им и на земле рай.

— Как сказать, дорогая. Человек никогда не бывает доволен.

Я сам открыл дверцу и сел в машину.

— Так я приеду за тобой в четверг ровно в четыре,— крикнул я на прощание.— Иди, дорогая, досыпай.

Я с видом вельможи, привыкшего к роскоши, откинулся на спинку сиденья. Элси махала мне вслед, пока машина не скрылась за поворотом дороги.

В четверг в шесть часов вечера мистер Нанга должен был открывать первую выставку произведений наших отечественных писателей. Для меня эта выставка представляла особый интерес, поскольку я сам мечтал написать роман — о тех временах, когда в нашем краю появились первые белые.

Около половины третьего министр пришел домой завтракать и принес с собой подготовленную для него речь. По его словам, у него за весь день не было даже времени пробежать ее, и я полагал, что он захочет сделать это теперь, но он положил папку с речью на книжную полку и принялся расспрашивать меня о «нашей» предстоящей поездке в больницу. Я очень удивился, потому что до этой минуты мне — да, вероятно, и самому министру — и в голову не приходило, что он поедет со мной.

— Надеюсь, к нашему приезду они уже будут готовы,— сказал он.

— Конечно. Я предупредил Элси, что в шесть мы должны быть в другом месте.

— Послушай, Одили, я хотел тебя спросить, у тебя серьезные намерения относительно этой Элси?

— Вы хотите сказать, собираюсь ли я на ней жениться? Боже мой, конечно нет. Я просто встречаюсь с ней время от времени — надо же иногда позабавиться.

Хотя я и, правда, вовсе не собирался жениться на Элси, с моей стороны было нехорошо говорить о ней в таком тоне. Дело в том, что мы с Нангой успели уже обменяться рассказами о наших многочисленных победах, и мне почему-то казалось, что я должен теперь отзываться пренебрежительно о всех женщинах вообще. Я даже поделился с Нангой воспоминаниями о своем первом знакомстве с Элси, разумеется, не называя ее. В ответ не каждую из моих историй у министра было наготове не меньше пяти. Больше всего насмешил меня его рассказ про молодую замужнюю женщину, которая ни за что не хотела снимать лифчик. Лишь после нескольких свиданий мистеру Нанге удалось наконец выпытать у нее, что муж, как видно большой ревнивец, чтобы запугать ее, нарисовал у нее на груди священные знаки — нечто вроде заклинания; очевидно, он полагал, что она не осмелится теперь обнажать эту часть тела в присутствии постороннего мужчины, уж не говоря о большем.

— Вот дурак,— сказал я,— хотел всех перехитрить.

— Еще бы не дурак,— подтвердил Нанга.— И с чего это он взял, что нужно непременно снимать лифчик? Чепуха какая.

— А жена-то не растерялась. Откуда только смекалка взялась!

— Смекалка? — переспросил мистер Нанга.— Не верь тому,— продолжал он назидательно,— кто скажет тебе, что у женщин нет здравого смысла. Это все одна болтовня. Уж если женщина чего не добилась, так, значит, не хочет, а не потому, что ума не хватило.

«Как это верно»,— подумал я.

Я был не очень доволен, когда услышал, что Нанга собирается ехать со мной в больницу; лучше бы он остался дома и почитал свою речь. Но не мог же я так прямо сказать ему это. Впрочем, я подозревал, что он попросту забыл об этой речи, и мне казалось, было бы нехудо напомнить ему о ней. Я стал обдумывать, как завести об этом разговор, не слишком выдавая себя, и я нашел выход.

— Мне бы очень хотелось,— сказал я,— помочь вам просмотреть вашу речь, но я не умею читать в машине.

— Ах, эта речь,— откликнулся он довольно вяло.— Не имеет значения. Я покончу с ней за десять минут. Знать бы раньше, послал бы вместо себя своего секретаря. Ну да не беда. Говорить я теперь мастак: сначала школа, потом политика—только и знаешь, что языком болтать.

Собственно, я и сам не знал, почему мне хотелось поехать одному. Правда, я уже заранее рисовал себе, как все произойдет, но ведь это было не так уж важно и никто не остался бы в накладе, если бы что и изменилось. Мне было бы приятно, например, сидеть в машине между двумя девушками, теперь же придется, вероятно, сесть рядом с шофером, а впрочем, мы с Элси могли бы оба поместиться впереди — места хватит,— предоставив министру возможность поближе познакомиться с его девушкой.

Однако все мои расчеты рухнули. Подруга Элси — ее имя выскочило у меня из головы — внезапно заболела и не поехала с нами. Я был страшно разочарован и даже немного сердился, хотя Элси и клялась, что подруга не притворяется. К счастью, мистер Нанга не принял это известие близко к сердцу, что было вполне естественно для человека, всегда имеющего к своим услугам сколько угодно женщин.

Когда, усадив Элси между собой, мы возвращались в город, он, помнится, раза два или три повторил, что ему предстоит на следующий день очень важное заседание кабинета министров, которое может продлиться всю ночь, и что он постарается сегодня как следует выспаться. Я было подумал, что он просто выхваляется перед Элси, но потом решил, что он со свойственной ему грубоватой откровенностью дает нам понять, чтобы мы не стеснялись: он не станет мешать нам. Чтобы как-нибудь отблагодарить его, я принялся объяснять Элси, как мало времени ему удается урывать для себя и своей семьи.

— Если тебя захотят сделать министром,— подхватил мистер Нанга,— не соглашайся. Плохая это жизнь.

— «Короны бремя клонит выю»,— заметила Элси.

— Что верно, то верно.

— Я уже, кажется, говорил тебе, что сегодня в шесть мистер Нанга открывает книжную выставку? — спросил я.

— Книжную выставку? Это что за штука?

— А кто его знает,— засмеялся Нанга.— Я сам впервые такое слышу. Но мне говорят, раз я министр культуры, я обязан там быть. Что поделаешь. Все люди сидят себе сейчас дома, а я должен в такую жару что-то молоть. Беда, да и только.

Мы все расхохотались и шофер тоже — я видел его лицо в зеркале. И так мы шутили и смеялись всю дорогу. В обществе мистера Нанги все и всегда были настроены на веселый лад.

У входа в выставочный зал нас встретил Джалио, председатель Общества писателей. Я был довольно близко знаком с этим парнем в университете. В то время он еще не стал писателем и казался мне вполне нормальным. Но, очевидно, с тех пор как он напечатал свой роман «Песня черной птицы», он очень изменился. Прочитав его интервью, опубликованное в одном популярном журнале, я узнал, что он сам придумывает фасоны для своих костюмов, потому что ему ненавистен всякий конформизм. Теперь же, когда я увидел его, я подумал, что, вероятно, шьет свое платье он тоже сам. На нем был какой-то бело-голубой балахон с круглым вырезом, без пуговиц, и коричневые в полоску мешковатые брюки из легкой парусины того сорта, который мы называем «полощись на ветру». Это одеяние дополняла длинная и неопрятная борода.

Я полагал, что в стране, где так мало писателей, министр культуры должен быть лично знаком с каждым из них. Оказалось, однако, что мистер Нанга впервые слышит имя председателя.

— Он автор «Песни черной птицы»,— сказал я.

— Вот как,— рассеянно ответил Нанга, явно поглощенный чем-то другим, и после небольшой паузы, на мгновение возвращаясь к разговору, спросил:— Так в ваше общество входят и композиторы?

Однако не успел еще Джалио сказать «нет», как он уже снова забыл о нас.

— Хелло, Джалио,— произнес я, с невольным сочувствием протягивая ему руку. Он ответил «хелло» и пожал мне руку, но было ясно, что он меня не помнит. Я обиделся и сразу решил, что он слишком много из себя строит.

— Вы не сказали мне, мистер...— вдруг обратился к нему Нанга.

— Джалио, сэр,— подсказал он.

— Спасибо, мистер Джалио. Почему вы не сказали мне, что ждете к себе на торжество дипломатических представителей? — спросил мистер Нанга, оглядывая стоявшие у входа машины: на некоторых из них были посольские номерные знаки, а на двух развевались флажки.

— Простите, сэр, но...— начал было Джалио.

— И вы собираетесь председательствовать в таком виде? — оборвал его мистер Нанга, гневно ткнув в него пальцем и оглядывая его с головы до ног.— Откуда вы родом?

Я испытывал разноречивые чувства. Если бы Джалио ничего из себя не корчил, мое сочувствие, несомненно, было бы на его стороне, но он так задавался, что, признаться, я даже порадовался его унижению.

— У вас там, может, воображают, что это и есть наше национальное платье? — безжалостно продолжал мистер Нанга.

— Как мне нравится, так я и одеваюсь, сэр,— вспылил писатель.

— Позвольте вам сказать,— несколько сбавив тон, но достаточно твердо возразил мистер Нанга,— что, если вы хотите, чтобы я присутствовал на ваших торжествах, вы должны быть одеты, как положено. Надевайте либо обычный костюм, либо национальное платье. Надо соблюдать этикет.

Я чувствовал себя очень неловко, в особенности когда мистер Нанга, упомянув о костюме, кивнул на меня: как ни претила мне дурацкая претенциозность Джалио, я вовсе не хотел служить примером для назидания.

Внезапно перейдя на отечески-миролюбивый тон, министр напомнил нам, людям молодого поколения, что мы являемся будущими руководителями нашей великой страны.

— Мне все равно, уважаете вы меня или нет,— сказал он,— но есть народная пословица: «Чтите правителей своих, и вас будут чтить, когда настанет ваш черед»... Ну что ж, пойдемте.

Несмотря на такое начало, не предвещавшее ничего хорошего, все обошлось как нельзя лучше. Мистер Джалио в своей вступительной речи сказал много лестного о мистере Нанге, хотя вид у него был при этом довольно хмурый. Он заявил, что предстоящее присвоение министру почетного звания доктора наук — достойное признание его заслуг перед африканской культурой, заслуг, которые хорошо известны во всем мире.

Мистер Нанга величественно поднялся и непринужденным движением выпростал руки из широких рукавов своего одеяния. Он не сразу принялся читать заготовленную речь, а сначала сказал несколько слов от себя. Он поблагодарил председателя, смерив его при этом таким взглядом, что я испугался, как бы он снова ни вернулся к вопросу об одежде. К счастью, он этого не сделал. Он только улыбнулся снисходительно и чуть-чуть лукаво и сказал, что высоко ценит честь, которую оказал ему мистер Джалио, пригласив открыть эту выставку.

— Как вы знаете, мистер Джалио является председателем этого общества, которое уже много сделало, чтобы отразить в искусстве африканский характер. Если не ошибаюсь, сам мистер Джалио сочинил прекрасную песню под названием... э... э... Как, вы сказали, она называется? — обратился он к мистеру Джалио.

По счастью, это было принято за шутку, и зал разразился хохотом. Я услышал знакомый заливистый смех и сразу узнал Джин. Она сидела прямо передо мной, и рядом с ней был ее муж — я и не знал, что он вернулся. Я шепнул на ухо Элси, что это хозяйка дома, где был вечер, о котором я рассказывал.

— Это и есть та самая Элси? — спросила она, тоже шепотом.

— Нет, ее подруга.

— Ах вот как! Сколько же их? — сказала она с улыбкой.— Оди Великий.— Она часто называла меня Оди вместо Одили.

Я не очень-то прилежно слушал речь мистера Нанги. То я перешептывался с Элси, то думал о предстоящей ночи, то разглядывал, кто как одет. Мое внимание привлек один из присутствующих. На нем было национальное платье из какого-то, по-видимому, дорогого европейского материала, что само по себе в то время не казалось таким уж странным. Но вот что меня поразило: портной, кроивший платье, оставил желтую кромку, на которой четко выделялись черные буквы многократно повторяющегося фабричного клейма: «100% шерсти. Сделано в Англии». Эту кромку он использовал в качестве орнамента на обоих рукавах.

Я подивился — уже не в первый раз — неистощимой изобретательности нашего народа, которая особенно ярко проявляется во всем, что касается нарядов. Я заметил, что человек в платье из чистой шерсти, подбирая сползавшие рукава — а он это делал каждые две-три минуты,— заботливо следил за тем, чтобы надпись, свидетельствующая о качестве материала, не терялась в складках одежды. В довершение всего у него на груди красовалась золотая цепь.

Глава седьмая

Мистер Нанга был прирожденным политиком; что бы он ни сделал или ни сказал — ему все сходило с рук. И пока люди прислушиваются к голосу сердца и желудка, а не разума, господам Нанга по-прежнему будет все сходить с рук. У него был редкий дар внушать симпатию к себе, и, даже когда он говорил людям неприятные вещи, никому и в голову не приходило заподозрить в нем недобрые чувства. Помню, как, разговаривая в моем присутствии со своим коллегой, министром общественных работ, он заявил, что не доверяет нашим молодым специалистам и предпочел бы иметь дело с европейцем. Я понимал, что он говорит чудовищные вещи, но почему-то не мог всерьез рассердиться на него. Он был так дружески расположен ко мне и так откровенен — душа нараспашку. По-видимому, в нашей стране такой человек, как он, не рисковал встретить осуждение: а худшем случае о нем скажут снисходительно: «Бог с ним, не обращай внимания».

Личное обаяние — это могучее и надежное оружие, позволяющее тому, кто им владеет, оградить себя от естественных последствий своих предосудительных поступков или своего постыдного невежества. Как еще объяснить тот факт, что министр культуры, публично заявив, что он никогда не слышал о самом знаменитом в его стране романе, стяжал аплодисменты, как он снова стяжал их, когда предсказал, что в ближайшем будущем в нашей великой стране появятся великие писатели, равные Шекспиру, Диккенсу, Джейн Остин, Бернарду Шоу и — добавил он, подняв глаза от бумаги,— Майклу Уэсту и Дадли Стэмпу.

Когда министр кончил говорить, Джалио и редактор «Дейли мэтчет» подошли выразить ему свое восхищение и попросить текст его речи. Мистер Нанга достал из

папки два машинописных экземпляра и собственноручно внес в соответствующих местах свои поправки, добавив к списку известных английских писателей оба упомянутых им имени.

С редактором я уже был знаком — несколько дней назад он заходил к министру. Этот неприятный человек с вкрадчивыми манерами был тогда, как мне показалось, обескуражен моим присутствием, и я только и ждал, чтобы мистер Нанга дал мне какой-нибудь повод покинуть комнату. Однако он этого не сделал. Напротив, мне показалось, что он решительно не хочет, чтобы я уходил, и я остался. Наш гость, прежде чем перейти к делу — я так и не разобрался, в чем именно оно состояло,— долго ходил вокруг да около. Насколько я понял, в его распоряжении были какие-то материалы, которые он в угоду министру воздерживался печатать.

Однако министр явно не придавал этим материалам серьезного значения. Он, как видно, не прочь был поскорее отделаться от назойливого посетителя, но не решался выставить его за дверь. Между тем журналист болтал без умолку, и в уголках его рта противно пузырилась слюна. Он выпил две бутылки пива, выкурил несчетное количество сигарет и наконец сорвал с министра пять фунтов, поведав ему о своих неладах с хозяином квартиры, которому он задолжал. По его словам, дело было, впрочем, не столько в этой задолженности, сколько в том, что он и его домохозяин происходили из разных племен — не следовало забывать о трайбализме.

— Вот видишь, что значит быть министром,— сказал мистер Нанга, как только посетитель ушел.

Меня поразила прозвучавшая в его голосе усталость, и мне вдруг стало жаль его. Он как-то сник — таким я его еще не видел.

— Если бы я ничего не дал этому типу,— продолжал министр,— он завтра же напечатал бы обо мне какую-нибудь чушь. Это у нас называется свободой печати. А по-моему, это не что иное, как свобода распинать ни в чем неповинных людей и губить их репутацию. Не понимаю, почему наше правительство так боится обуздать этих газетчиков. Я не говорю, что они не имеют права критиковать — в конце концов один только бог без греха,— но нам нужна конструктивная критика...

И теперь, когда этот журналист, подойдя к мистеру Нанге, воскликнул: «Первоклассная речь, сэр! Я помещу ее на первой полосе вместо статьи, которую я обещал министру общественных работ»,— я подумал, подозревает ли он, что стало бы с ним и с его статьями, если бы это зависело от мистера Нанги.

Было, вероятно, часов восемь, во всяком случае уже стемнело, когда мы покинули выставку и поехали домой. Как только машина тронулась, я отыскал руку Элси, лежавшую у нее на коленях, и наши пальцы переплелись, другой рукой я уверенно, как человек, не сомневающийся в своих правах, обнял ее за плечи.

— Вы произнесли прекрасную речь, а ведь у вас не было даже времени подготовиться,— сказал я просто так, чтобы прервать молчание, а сам между тем весь дрожал от нетерпения. Я мысленно видел Элси в моей комнате, вернее даже не видел, а только угадывал ее во тьме, потому что — я как-то никогда раньше об этом не думал — она сливалась с чернотой ночи в отличие от Джин, которая, одеваясь, смутно, как призрак, выступала из мрака.

— И старуха танцует, когда музыка велит,— ответил мистер Нанга на нашем диалекте.

Я нарочито громко рассмеялся и перевел пословицу Элси, которая говорила на другом диалекте. Смеясь, мы как бы невзначай подвинулись поближе друг к другу, моя рука, соскользнув с плеча Элси, легла ей на грудь, и я прижал ее к себе.

Когда мы приехали, Элси поднялась наверх переодеться, а мистер Нанга и я остались в гостиной выпить виски.

Надо сказать, что, когда из больницы мы заехали домой и мистер Нанга приказал слуге отнести вещи Элси в комнату жены, я не на шутку испугался. Однако я быстро успокоился, убедив себя, что мистер Нанга просто хотел проявить такт и деликатность и, вспомнив, как он говорил о предстоящем заседании кабинета министров, которое, быть может, продлится всю ночь, снова почувствовал благодарность к нему.

Моя комната помещалась на первом этаже, а комната, которую отвели Элси, была расположена прямо над моей. Я решил, что, когда в доме все утихнет, я поднимусь по лестнице, постучу к ней, что, конечно, не будет для нее неожиданностью, уведу ее к себе, и все будет шито-крыто, будто наш хозяин ни о чем не подозревает.

Нам подали превосходный ужин — рис, бананы, жареную рыбу. Элси, возбужденная и очень соблазнительная в своем желтом переливающемся платье, завела разговор о председателе Общества писателей и его нелепом наряде. Я сделал слабую попытку вступиться за него:

— У писателей и художников бывают свои странности.

— Я думаю, он прислушается к моему совету,— сказал мистер Нанга.— Он благовоспитанный молодой человек.

Это замечание очень удивило меня. Я полагаю, оно было вызвано лестными словами, которые Джалио сказал о мистере Нанге в своей вступительной речи, а еще вероятнее, от мистера Нанги не ускользнуло, с каким уважением, если не почтительностью, один из послов, протягивая Джалио экземпляр его книги, обратился к нему,

чтобы попросить автограф. Помню, я в ту минуту посмотрел на мистера Нангу и понял по его лицу, что он изумлен и не верит своим глазам, но я не думал, что этого эпизода окажется достаточно, чтобы после недавней стычки он назвал Джалио «благовоспитанным молодым человеком».

Само слово «благовоспитанный» поразило меня почти так же, как и смысл, который в него вкладывал мистер Нанга. Не знаю, можно ли назвать Джалио благовоспитанным человеком или нет, но в данном случае такая характеристика была совершенно неуместна. Мистер Нанга принадлежал к тем счастливым людям, которые владеют английским ровно настолько, чтобы, не заботясь об оттенках, высказывать свои чувства в сильных и колоритных выражениях. Как-то раз он сказал мне, что на пути из Анаты в Бори с ним произошел несчастный случай с «роковым исходом». Поскольку он был жив, я решил, что погиб кто-то другой. Но, когда он рассказал эту историю, я понял, что под «роковым исходом» он подразумевал серьезные неприятности.

Вскоре после ужина я ушел к себе, надеясь, что Элси и Нанга последуют моему примеру. И Элси меня поняла. Когда через некоторое время я заглянул в гостиную, ее уже не было там. Но мистер Нанга сидел на прежнем месте, устремив взгляд на раскрытую папку с текстом произнесенной им речи. Через каждые две-три минуты я заглядывал в дверь — мистер Нанга и не думал уходить. Может быть, он уснул? Нет, видно было, что он пробегает глазами страницу. Я уже начинал злиться. Почему бы ему не забрать эту проклятую папку к себе в кабинет? Но, пожалуй, больше всего меня злило, что у меня не хватало смелости пройти через гостиную и подняться в комнату Элси. Быть может, он полагал, что я так и сделаю. Позволю себе заметить, что обычно я не проявляю нерешительности в подобных ситуациях. Но мистер Нанга заставил меня изменить моим правилам, с самого начала привнеся в это дело элемент деликатности, и теперь вопрос был не столько в моей нерешительности, сколько в моем нежелании выставить Элси перед посторонним человеком обыкновенной шлюхой. Таким образом, мне не оставалось ничего другого, как ждать и злиться. Я то садился на кровать, то вставал и босиком, в пижаме принимался ходить взад и вперед по комнате.

Прошло, должно быть, не меньше часа, прежде чем мистер Нанга наконец погасил свет в гостиной и ушел к себе. Я выждал пять-десять минут, чтобы дать ему улечься в постель, а тем временем немного прийти в себя после только что пережитого волнения и отделаться от легкой нервозности, которая всякий раз нападает на меня перед приближающейся развязкой. Потом я начал на цыпочках подниматься по лестнице, держась за перила, чтобы не споткнуться. Когда я добрался до площадки, мои глаза уже привыкли к темноте, и я без труда нашел дверь Элси. Я уже взялся было за ручку, но тут услышал доносившиеся из-за двери голоса. Я застыл на месте. Потом послышался смех, и я повернулся и стал спускаться вниз. Я не сразу вернулся в свою комнату, а несколько минут постоял в гостиной. Мне трудно сейчас сказать, о чем я думал в эти минуты,— в голове у меня был какой-то сумбур. Но, помнится, в конце концов я сказал себе, что делаю слишком поспешные выводы и что, по всей вероятности, мистер Нанга просто приоткрыл дверь между смежными комнатами, чтобы пожелать Элси спокойной ночи и перекинуться с ней шуткой. Я решил подождать еще две-три минуты и потом, отбросив предосторожности, смело подняться и постучать к Элси. Я вернулся к себе в комнату, зажег лампу на ночном столике, дернув за серебряный шнур, заменявший обычный выключатель, снял часы и положил их перед собой. Было около одиннадцати. Я не думал, что уже так поздно. Вскочив как ужаленный, я бросился в гостиную и хотел было взбежать по лестнице, как вдруг услышал приглушенные крики Элси, самозабвенно повторявшей мое имя. Теперь, оглядываясь назад, я с трудом понимаю, как я мог оставаться в бездействии в ту минуту. На меня напал какой-то столбняк, хотя грудь мою распирало от негодования. Но закипавшая во мне ярость мало-помалу улеглась, сменившись чувством полной опустошенности. Я стал взбираться по лестнице, в непостижимом затмении воображая, что Элси зовет меня на помощь. Но, подойдя к двери, я тут же отпрянул, охваченный отвращением и ненавистью, и спустился вниз, чтобы уже не возвращаться.

Я сидел на кровати, сжав голову руками, и пытался собраться с мыслями. Но в висках у меня стучало, словно кузнечный молот бил по наковальне, и мысли рассыпались и гасли, как искры. Наконец я понял, что нужно действовать, действовать быстро и решительно. Сделав над собой усилие, я встал и принялся собирать свои вещи. Я еще и сам толком не знал, что буду делать потом, но это меня не заботило — я был слишком потрясен тем, что произошло. Раскрыв шкаф, я стал снимать с вешалок свою одежду и аккуратно укладывать ее в чемодан, затем я принес все, что оставалось в ванной, и тоже уложил. Эти простые действия, должно быть, заняли у меня пропасть времени. И все это время, я, собственно, ни о чем не думал. Я только до боли закусил губу, и время от времени у меня непроизвольно вырывалось: «Боже мой» или что-нибудь в этом роде. Кончив укладывать чемодан, я тяжело опустился в кресло, но тут же встал и пошел в гостиную послушать, что происходит наверху. Но там теперь царили тишина и мрак. «Да, черт возьми!» — сказал я и ушел к себе ждать Элси. Я был уверен, что она придет, сгорая от стыда и обливаясь слезами, а я выставлю ее за дверь и забуду о ее существовании. Я ждал, ждал и, в конце концов, как ни странно,

задремал. Я очнулся с тяжелым, гнетущим чувством, сознавая, что произошло нечто ужасное, но не в силах вспомнить, что именно. Конечно, это состояние продолжалось всего какую-нибудь секунду. Память сработала достаточно быстро, и я с новой остротой ощутил всю горечь унижения. Мои часы показывали начало пятого. Элси не пришла. Я едва сдержал слезы, уже выступившие у меня на глазах — впервые бог весть с каких пор. Я снял пижаму, оделся и вышел из комнаты через заднюю дверь.

Я долго бродил по городу, придерживаясь освещенных улиц. Предрассветный туман мелкими каплями оседал на моих волосах, охлаждал мой пылающий лоб, и чувства мои тоже остывали. Скоро у меня потекло из носа и, так как я не захватил с собой носового платка, я высморкался в сточную канаву, поочередно зажимая каждую ноздрю большим пальцем. Мало-помалу голова моя начала проясняться, и я стал замечать, что происходит вокруг. Бори просыпался. Навстречу мне попался ассенизатор, который нес на голове кадку с нечистотами. Верхнюю часть его лица закрывала помятая фетровая шляпа, низко надвинутая на лоб, а нос и рот были завязаны, как у гангстера, черным платком. Прямо на тротуарах, под маркизами роскошных магазинов спали нищие. Сумасшедший сидел возле урны, которую считал своей собственностью, и бдительно охранял ее. Первые автобусы, еще пустые, обгоняли меня, а около шести погасли уличные фонари. Я вбирал в себя все эти картинки вместе со свежим утренним воздухом. Может показаться странным, что человек, у которого такая тяжесть на душе, способен был обращать внимание на всякие мелочи, совсем как в пословице — неся на голове слона, я ногой старался нащупать в траве кузнечика. Но так уж бывает. Видно, ни одна мысль, даже самая неотступная, не вытесняет других.

Возвращаясь назад, я тщетно пытался найти те слова, которые я должен сказать мистеру Нанге. Что до Элси, мне следовало бы знать, что она обыкновенная потаскушка, и о ней не приходилось говорить.

Когда я свернул на улицу, где жил мистер Нанга, я увидел, что он стоит у ворот своего особняка, по-видимому, поджидая меня. Как раз в эту минуту он смотрел в противоположную сторону и не заметил моего появления. Моим первым движением было повернуть назад. По счастью, мне удалось овладеть собой, к тому же он обернулся, увидел меня и пошел мне навстречу.

— Где ты пропадал, Одили? — спросил он.— Мы... я уже разыскивал тебя, еще немного и позвонил бы девять-девять-девять.

— Я не желаю с вами разговаривать,— сказал я.

— Что? Час от часу не легче! Что случилось, Одили?

— Я уже сказал, что не желаю с вами разговаривать,— ответил я холодно.

— Чудеса, да и только! Это ты из-за девчонки? Но ведь ты сам мне сказал, что между вами нет ничего серьезного. Я нарочно спросил тебя, потому что во всем люблю ясность... И я думал, ты устал и лег спать.

— Послушайте, мистер Нанга, уважайте хотя бы самого себя. Не испытывайте моего терпения, если не хотите, чтобы наши имена попали в газеты.

Даже для меня самого это прозвучало дико. А Нанга был просто ошеломлен, в особенности когда я назвал его «мистер».

— На этот раз ваша взяла,— продолжал я,— но хорошо смеется тот, кто смеется последний. Я вам этого не забуду.

Когда я подошел к воротам, Элси стояла в дверях, скрестив руки на груди. Завидев меня, она поспешила скрыться.

Я вынес свой чемодан. Мистер Нанга, не произнесший ни слова с той минуты, как я обрушился на него, подошел и примирительно положил мне руку на плечо.

— Не прикасайтесь ко мне,— вскричал я, отстраняясь от него как от прокаженного.

Он попятился назад, улыбка застыла на его лице. Я был доволен.

— Не ребячься, Одили,— сказал он отеческим тоном.— Ведь в конце концов она тебе не жена. Чего ты валяешь дурака? Она мне сказала, что между вами ничего нет, да и ты мне сказал то же самое. Но, как бы то ни было, мне очень жаль, если ты обиделся, это моя вина. Я приношу свои искренние извинения, хочешь, я сегодня же пришлю тебе полдюжины девочек? Можешь баловаться с ними, пока хватит силенок. Сам запросишь пощады. Ха-ха-ха!

— Что за страна! — сказал я.— И это министр культуры. Помилуй нас бог.

И я плюнул. Это был скорее символический плевок, но все же плевок.

— Послушай, Одили,— зарычал Нанга, как рассвирепевший леопард,— я не потерплю дерзостей от такого сопляка, как ты, из-за несчастной девчонки, понятно? Если ты посмеешь еще раз оскорбить меня, я задам тебе перцу. Неблагодарный мальчишка! Вот она, нынешняя молодежь. Подумать только! Ладно, что с тобой говорить... Но если ты еще раз оскорбишь меня...

— Руки коротки,— оборвал его я.— Вы неотесанный, старый...— Я махнул рукой и пошел к воротам, задев чемоданом Дого, одноглазого верзилу, который, видимо, услышал наши голоса и выбежал из пристройки для слуг в одной набедренной повязке узнать, в чем дело.

— Что это он тут раскричался, хозяин? — спросил Дого.

— Не обращай внимания на этого идиота,— ответил Нанга

— Как это так, он обругал моего господина и останется цел? Эй, приятель! — крикнул Дого мне вслед и бросился за мной.— Слышишь, что ли? — В голосе его звучала угроза.

До ворот оставалось уже недалеко. Я повернулся, чтобы дать ему отпор, но потом решил, что не стоит связываться, и зашагал дальше.

— Оставь его, Дого. Он и без тебя свернет себе шею. Я сам виноват, что позвал его сюда. Неблагодарное животное.

Я был уже у ворот, но он говорил так громко, что я слышал каждое слово.

Я взял такси и поехал к своему другу Максвелу. Максвел Куламо, адвокат, в школьные годы был моим одноклассником. Мы звали его тогда Кулмакс или Куль Макс, и его друзья продолжали его так называть и теперь. Он был признанным школьным поэтом, и я до сих пор помню знаменитое двустишие, которым заканчивалось его стихотворение, написанное по случаю победы нашей школы в соревновании по футболу.

Ура нашим доблестным нападающим!
(Писал Куль Макс, стихи сочиняющий)

Когда я приехал, Максвел завтракал. Он собирался в суд и был уже в полном параде — брюки в полоску и черный пиджак. После того, как я сказал Нанге несколько «теплых» слов и проехал в такси изрядное расстояние, я уже несколько успокоился и по лицу моему ни о чем нельзя было догадаться.

— Боже мой,— воскликнул Макс, с жаром пожимая мне руку.— Дотошный! Ты ли это?

Дотошный — было мое школьное прозвище.

— Куль Макс, стихи сочиняющий! — в свою очередь приветствовал я его.

Мы долго смеялись, и у меня выступили слезы на глазах, но на этот раз я их уже не сдерживал. Макс ничего не заподозрил, он думал, что я приехал к нему прямо из дома. Я с виноватым видом признался, что я уже несколько дней в городе, но не мог связаться с ним. Он понял меня в том смысле, что я не мог ему позвонить,— у него не было телефона, а это, как ему казалось, создавало невыгодное представление о его клиентуре.

— Мне уже два месяца обещают поставить телефон, меня уже включили в список,— сказал он, как бы оправдываясь.— Все дело в том, что я никого не подмазал: блата у меня нет... Так, значит, ты остановился у этого пустоголового, неграмотного продажного деляги. Прошу прощения.

— Что поделаешь,— сказал я.— Ты же знаешь, он был моим учителем.

Я с удовольствием макал хлеб в горячее какао, которое приготовил для меня слуга Макса. Вся эта история с Нангой и Элси как-то отодвинулась от меня, и я уже мог говорить о них, как о случайных знакомых. Но я не собирался ни о чем сейчас рассказывать, чтобы не задерживать Макса. К тому же мне не хотелось, чтобы он подумал, что я вспомнил о нем только теперь, когда не мог больше пользоваться гостеприимством министра.

Я приехал к Максу всего лишь час назад, а уже чувствовал себя у него как дома и не мог понять, какой черт меня попутал связаться с Нангой.

Глава восьмая

Около девяти Макс уехал в суд, и только тогда, наедине с самим собой, я осознал всю глубину унижения, которому подвергся прошлой ночью. Я остыл, ярость улеглась, и остался один голый факт: другой мужчина отбил у меня подругу и, можно сказать, у меня на глазах лег с ней в постель, а я ему это спустить вынужден был спустить. И почему? Только потому, что он — министр, чванящийся своим богатством, нажитым не от трудов праведных, живущий в роскошном особняке построенном на народные деньги, и разъезжающий в «кадиллаке» под охраной своего одноглазого наемника. Мало того, что он переспал с моей девушкой, у него еще хватило наглости сказать мне, что я выглядел слишком усталым! Человек, которому перевалило за пятьдесят, у которого сын кончает школу, а жена ходит по-старушечьи в затрапезном виде, платья не одернет, считает меня слабосильным! А я сижу сложа руки и только гадаю, вернется ли Элси сегодня в госпиталь или проведет с Нангой еще одну ночь. У меня даже мелькнула идиотская мысль позвонить из автомата в госпиталь и, не называя своего имени, попросить к телефону Элси, но я, конечно, и не отказался от этого постыдного намерения.

Теперь, уже зная, как в дальнейшем развернулись события, я полагаю, что и эти мелкие и тривиальные мысли были своего рода дымовой завесой, за которой помимо моего сознания вызревали важные жизненные решения. Это напоминает мне теорию одного из преподавателей колледжа, где я учился. Он говорил, что на письменных экзаменах лучше всего сперва прочесть подряд все вопросы, отметить те из них, на которые вы готовы отвечать, а затем приступить к работе, начав с самых лег-

ких. Пока вы отвечаете на легкие вопросы, в вашем сознании происходит незаметная для вас самих работа, подготавливающая вас к ответу на трудные. Я попробовал этот метод на выпускных экзаменах — результаты оказались неблестящими, но ведь могло быть и хуже. Зато теперь, когда мне надо было ответить на вопрос, который поставила передо мной эта история с Элси и мистером Нангой, мое подсознание, или как это там называется, по-видимому, само пришло в действие. Я беспомощно трепыхался, точно птица, попавшая в силки, как вдруг увидел просвет. Я понял, что дело вовсе не в Элси. Дело в том, что Нанга поступил со мною так, как никто не вправе поступать с другим человеком — даже хозяин со своим рабом, и мое мужское достоинство требовало, чтобы я заставил его в полной мере заплатить мне за оскорбление. Короче говоря, я решил, что должен вернуться в Анату, найти ту девушку, которую Нанга собирался сделать своей «парадной женой», и, что называется, взять ее в оборот. Все это пронеслось в моем мозгу неожиданно для меня самого — то было какое-то озарение.

Когда вернулся Макс, я уже весело напевал. Он было набросился на мальчишку-слугу за то, что тот не накормил меня, но я вступился за него, заявив, вопреки истине, что он предлагал мне позавтракать, но я отказался, потому что хотел дождаться Макса.

За столом я рассказал ему историю с Элси и мистером Нангой, опуская некоторые подробности и вообще стараясь показать, что не принимаю ее близко к сердцу — не столько даже потому, что мне не хотелось выдать чувство унижения, которое я испытывал, сколько потому, что для меня действительно уже ничего не имело значения, кроме мести.

— Надень на девчонку амулет, и старый распутник испугается,— сказал Макс, выслушав мой рассказ.

— Я слышал об одном человеке, который так и сделал, но старый распутник и глазом не моргнул,— ответил я со смехом и рассказал про женщину, не снимавшую лифчика. Я думал позабавить этим Макса, но тот даже не улыбнулся.

— Все они таковы,— с мрачным видом произнес он.— Только и думают о женщинах, «кадиллаках» и земельных участках, которые можно прибрать к рукам. Да чего же и ждать, когда образованные люди чураются политики и предоставляют свободу действий невежественным хамам вроде Нанги?

Утром дом Макса показался мне тихой обителью, но это впечатление было обманчивым. А быть может, мне передались те качества мистера Нанги, благодаря которым вокруг него всегда кипели события и теснились люди, как вокруг пчелиной матки роится улей, и я сам превратился в некое бродило, что и обнаружилось на новом месте. Так или иначе, я в тот же вечер не только узнал о том, что рождается новая политическая партия, но и стал одним из ее членов-учредителей: Макс и его друзья, видя с глубокой горечью, как нашу свободу, завоеванную столь дорогой ценой, своекорыстно используют продажные и бездарные политиканы, решили объединиться и основать Союз Трудящихся.

В этот вечер у Макса собралось восемь человек. Все они, кроме одного европейца, были мои сограждане, главным образом молодые люди из среды интеллигенции: врач, адвокат, учитель, журналист, профсоюзный деятель. Единственная женщина, очень красивая, юрист по профессии, была, как я потом узнал, невеста Макса — они познакомились еще в Лондоне, когда учились в Высшей экономической школе.

Макс представил меня как «товарища, заслуживающего полного доверия», и, не сочтя нужным предварительно осведомиться, будет ли мне это приятно, добавил, что только вчера один министр, имени которого он не назовет, отбил у меня подругу.

Мне, разумеется, не улыбалось фигурировать в такой роли, и я поспешил заметить, что, строго говоря, девицу, о которой идет речь, нельзя назвать моей подругой — так, случайная знакомая, которую я, в свою очередь, познакомил с мистером Нангой.

— Так, значит, это был мистер Нанга, да? — спросил европеец, и все расхохотались.

— Кто же еще способен на это? — сказал сквозь смех один из присутствующих.

Белый, по-видимому, приехал из какой-то страны Восточной Европы. Он не преминул шепнуть мне, что он здесь просто как друг Макса. Пока остальные обсуждали разные формальности, связанные с регистрацией новой партии, мы с ним вполголоса толковали о всякой всячине. Мне было интересно не только то, что он говорил, но и то, как он говорил. В его речи то и дело мелькали какие-то экзотические обороты. Например, он сказал, что приятно видеть, как интеллектуалы вроде Макса и меня покидают «башню из слоновой кости» и приобщаются к активной политической деятельности. И каждую фразу он кончал словом «да», произнесенным с вопросительной интонацией.

Идея создания Союза Трудящихся сразу захватила меня. Помимо всего прочего, такая партия могла послужить запасной тетивой к луку, с которым я выйду сражаться против мистера Нанги. Однако я старался скрыть свою радость, чтобы Макс и его друзья не сочли меня несерьезным, легко увлекающимся человеком. К тому же я не мог забыть, как нелепо представил меня Макс. Хоть и неумышленно, он выставил меня перед всей компанией в самом невыгодном свете, каким-то жалким слизняком,

и, чтобы сгладить это впечатление, я подготовил про себя и произнес маленькую речь как мне казалось, остроумную и слегка скептическую.

— Джентльмены и леди, я вполне сознательно обращаюсь сначала к джентльменам, а уж потом к леди, потому что мы находимся не где-нибудь, а в Африке. Благодарю вас за то, что вы с такой готовностью приняли меня в свою среду. Постараюсь полностью оправдать ваше доверие. А сейчас, хоть мне и не хочется, уподобившись коту, забравшемуся на голубятню, спугнуть ваши легкокрылые мечты, я должен сделать одно замечание. Несколько странно, что партия, именующая себя Союзом Трудящихся, состоит из одних лишь интеллигентов...

Тут меня сразу прервало несколько голосов. Но вот все умолкли, и слово взял Макс.

— Это не совсем так, Одили,— сказал он.— Люди, собравшиеся здесь,— лишь авангард партии, а партия, как таковая, еще только формируется. Когда подготовительный период закончится, мы вовлечем в нее рабочих, фермеров, кузнецов, плотников...

— И, конечно, безработных,— прибавила молодая леди с обескураживающим апломбом красивой и умной женщины, которая знает себе цену.— Кроме того, я хотела бы обратить внимание нашего друга на тот факт, что зачинателями всех великих революций в истории были интеллигенты, а не простой народ.

Профсоюзный деятель захлопал в ладоши и закричал:

— Правильно, правильно.

Остальные тоже, каждый по-своему, выразили моей оппонентке свое одобрение.

«Ну-ну, вам, видно, палец в рот не клади»,— подумал я и решил воздержаться от второго вопроса, который собирался задать: кто будет финансировать всю эту затею?

— Однако,— сказал Макс, вошедший в роль образцового председателя,— я отнюдь не осуждаю Одили за его замечание. Он всегда был приверженцем абсолютной точности и досконального изучения каждой проблемы. Знаете, как его прозвали в школе? Дотошный!

Все засмеялись.

— А я, со своей стороны, могу вам сообщить, что его у нас звали Куль Макс,— вставил я.— Его было мудрено расшевелить и уж тем более вывести из себя. Воплощенное хладнокровие!

— Таким он и остался,— сказала молодая леди, подмигивая Максу.

— Я бы попросил вас...— с шутливой строгостью остановил нас Макс.— Итак, леди и джентльмены... Впрочем, следуя примеру нашего друга, скажу лучше джентльмены и леди...

— Ну, Макс, тебе я этого не прощу! — с притворным возмущением воскликнула девушка.

— Мне кажется, я нашел выход из положения... Да?.. Отчего бы нам не называть друг друга просто товарищами?.. Да? — с нервным смешком предложил европеец и я понял, что в отличие от всех остальных он принимает всерьез этот спор.

— Правильно, правильно! — поддержал его профсоюзный деятель.

— Это было бы неплохо,— сухо сказал Макс,— но я уже не раз говорил, что не надо давать повода объявлять нас коммунистами. Нам ни к чему этот ярлык, больше того, он нам смертельно опасен. Наши противники будут показывать на нас пальцами и кричать: «Посмотрите на этих безумцев, они хотят, чтобы все было общее, даже жены». И тут нам крышка, это факт.

— Не знаю, не знаю,— сказал профсоюзный деятель.— По-моему, главная беда нашей страны это то, что уж больно мы пугливы. Мы называем себя нейтральными, но стоит нам услышать слово «коммунист», мы начинаем трястись от страха и готовы наложить в штаны. Прошу прощения,— прибавил он, обращаясь к нашей единственной даме.— В январе я был в России. Недавно кто-то спросил меня, почему я туда поехал. Я ответил: потому что нельзя все время смотреть в одну сторону — шея одеревенеет.

Все громко рассмеялись, а европеец громче всех.

— Я понимаю, Джо, однако...— начал Макс, но Джо было не так-то просто унять.

— Нет, извини, Макс,— продолжал он,— я говорю серьезно. В конце концов, мы свободные граждане или нет?

— Нет,— сказал Макс, и снова все засмеялись, не исключая и Джо, у которого, видимо, сразу пропал запал.

Я был поражен спокойной уверенностью Макса. Он прекрасно ориентировался в обстановке, и вера в наше дело в нем счастливо сочеталась с практическим чутьем и здравым смыслом.

Помню, как-то раз он сказал мне: «На очередных выборах нам не победить». Вообще говоря, это было довольно очевидно, и такое предсказание само по себе не свидетельствовало об особой прозорливости. Но сколько мы видели партий, которые вырастали, как грибы после дождя, громогласно возвещали, что в ближайшем будущем одержат полную победу по всей стране, а вслед за тем, как грибы на солнцепеке, усыхали и рассыпались.

— Наша задача,— говорил он,— дать первый толчок движению, пусть даже слабый — рано или поздно это приведет к взрыву. Не знаю, когда и где именно произойдет этот взрыв, но он неизбежен. Застой и разложение бесконечно продолжаться не могут.

— А откуда вы рассчитываете достать деньги?

— Кое-что наскребем,— улыбнулся Макс,— во всяком случае на предвыборную кампанию хватит. А подкупом избирателей предоставим заниматься ПНС и ППС. Мы только забросим несколько кошек на их голубятню и посмотрим, что из этого выйдет. Как раз сейчас я собираю материалы о коррупции в верхах. Трудно себе представить, что там творится.

— Надо думать.

Мы уже собирались ложиться, когда я в шутку спросил Макса, продолжает ли он сочинять стихи. Порывшись в бумагах, он отыскал листок со словами песни на популярный мотив, которую он написал семь лет назад, в дни упоительной надежды — вскоре после провозглашения независимости. Теперь он пел эту песню, как панихиду. И поверьте, слезы выступили у меня на глазах — я оплакивал надежду, которая умерла, едва родившись. Если хотите, назовите это сентиментальностью.

Сейчас, когда я пишу эти строки, стихи Макса «Танец в честь Матери-Земли» лежат передо мной на столе, и я мог бы привести их целиком. Но мне не передать словами трагическое чувство, овладевшее мною в тот вечер, когда Макс пел свою песнь, отбивая ногою ритм, и в памяти моей воскресали всеобщий подъем и светлые ожидания, воодушевлявшие нас семь лет назад. Теперь эти семь лет казались мне целью столетиями.

Много веков я бродил — бездомный,
измученный странник,
Но ныне к тебе я вернусь, милая, нежная
мать,
Снова отстрою твой дом, разрушенный
хищной ордою.
Терракотой, и деревом черным, и бронзой
украшу его.

Я читаю и перечитываю эту заключительную строфу. Бедная черная мать! Как долго ждала она, что сын ее вырастет, утешит ее и воздаст ей за долгие годы позора и притеснений, а сын, на которого она возлагала такие надежды, оказался мистером Бенгой!

— Бедная черная мать! — сказал я вслух.

— Да, бедная черная мать! — отозвался Макс, глядя в окно.

После долгой паузы он обернулся ко мне и спросил, помню ли я еще Библию.

— Не очень. А что?

— Понимаешь, это сидит во мне, тут уж ничего не поделаешь. Ты ведь знаешь, мой отец англиканский священник... Вот ты сказал: «бедная черная мать» — и мне сразу вспомнилось:

Глас в Раме слышен,
Плач, и рыдание, и вопль великий:
Рахиль плачет о детях своих
И не хочет утешиться, ибо их нет.

Это любимый стих моего отца. Между прочим, он до сих пор думает, что нам не следовало прогонять белых.

— Может, он и прав,— сказал я.

— Ну, нет,— возразил Макс.— Отец так считает только потому, что лично он мало что выиграл от независимости. Просто-напросто с уходом белых не открылось ни одной вакансии, которую он мог бы занять. В его епархии один епископ, и тот африканец.

— Ты несправедлив к своему старику,— сказал я, смеясь.

— Послушал бы ты, как он говорит обо мне! В последний раз, когда я приехал навестить вместе с Юнис, он съязвил: «Похоже, у тебя скоро будет сын, и боюсь, скорее станет взрослым, чем мой». У нас в ходу такие шуточки.

— Ты у него единственный сын?

— Да.

Я позавидовал ему.

— Ты знаешь, Одили,— сказал он после долгой паузы,— я не верю в провидение и все такое прочее, но твой приезд как раз в этот момент — просто подарок судьбы. Мы собирались послать в каждый район страны способного и деятельного организатора. Теперь, когда ты с нами, нам не придется ломать себе голову, кого направить в Юго-Восток.

— Я сделаю все, что в моих силах, Макс,— ответил я.

Я узнал от Макса много нового, но, пожалуй, больше всего меня поразило, что оппозиционирующуюся партию тайно поддерживает один из министров.

— Что же он делает в правительстве, если так критически относится к его политике? — наивно спросил я.— Почему он не подает в отставку?

— В отставку? — рассмеялся Макс.— Да где мы живем, в Англии, что ли? Не говори глупостей, Одили.

— Это вовсе не глупости,— ответил я, быть может, даже с чрезмерной горячностью.

Я прекрасно знал, и мне не надо было напоминать, что мы живем не в Англии, что у нас уходят в отставку или меняют флаг только в том случае, если рассчитывают на этом выгадать, как выгадали несколько лет назад десять вновь избранных членов парламента от ПНС, которые дружно перешли в ППС, обеспечив этой партии устойчивое большинство, за что и получили министерские посты, а если верить слухам — еще и круглую сумму наличными. Все это было широко известно, но мне думалось, что наша партия должна вступить на политическую арену незапятнанной и чуждой циничной философии своих противников.

— Я понимаю твои чувства, Одили,— сказал Макс слегка покровительственным тоном.— На первых порах и я к этому так относился. Но мы должны трезво смотреть на вещи. Возьми такого человека, как Нанга. Он получает четыре тысячи фунтов плюс всякого рода дополнительные доходы — ты понимаешь, о чем я говорю. А сколько он зарабатывал, когда был учителем? Фунтов восемь в месяц, не больше. Так неужели ты думаешь, что подобный человек способен выйти в отставку из-за таких пустяков, как принципиальные разногласия?

— Если предположить, что он имеет какое-нибудь представление о принципах,— добавил я немного высокопарно.

— Вот именно... Я вовсе не хочу сказать, что министр, который нас поддерживает, того же поля ягода, что и Нанга. Нет, это настоящий патриот, и он без колебаний подал бы в отставку, если бы считал, что это действительно необходимо. Но, как он сам говорит, не кончают же люди самоубийством всякий раз, когда чувствуют себя не в ладах с миром.

— Ну, это, положим, не совсем то же самое,— сказал я.

— Согласен. Но иметь своего человека в правительстве для нас очень важно, можешь мне поверить. Он держит меня в курсе всех событий.

— С этой точки зрения, ты, наверно, прав. Как говорится, хочешь узнать, что будет на обед, понюхай, чем пахнет на кухне.

Глава девятая

23 декабря я вернулся в Анату, хотя Макс и Юнис уговаривали меня провести рождество в Бори. Попутный грузовик довез меня до придорожного базарчика, под названием Уайя, недавно возникшего неподалеку от школы. Сойдя с машины, я сразу заметил, что возле лавки Джошиа что-то случилось. Там толпился народ, сбежавшийся со всего базара. До меня доносились громкие, взволнованные голоса, выражавшие не то возмущение, не то радость, но по жестикуляции толпы я вскоре понял, что произошло что-то неладное. Я видел, как одна из старух обвела несколько раз рукой вокруг головы и сделала такой жест, будто, размахнувшись, швыряет что-то в лавку Джошиа, а это, как мне было известно, означало зловещую угрозу.

Один из жителей деревни, заметив меня, подошел поздороваться. Имени его я не знал.

— Уже вернулись, учитель? — спросил он.— Давайте я поднесу ваш чемодан. Надеюсь, дома у вас все здоровы?

Я пожал ему руку и ответил, что оставил своих родных в добром здравии, потом поинтересовался, что творится около лавки.

— Да все этот Джошиа,— ответил он, забирая у меня чемодан и ставя его себе на голову.— Я всегда говорил, что деньги белых нас до добра не доведут. Вы знаете Азоге?

— Слепого нищего?

— Ну да. Так Джошиа, вместо того чтобы пожалеть беднягу, задумал сделать себе из его палки амулет — мало ему, что он и так нас всех обирает.

В это время мой спутник поздоровался с каким-то знакомым, который попался нам навстречу, и оба они остановились и сокрушенно покачали головой, дивясь человеческой подлости.

— Я что-то ничего не понял,— сказал я, когда мы снова тронулись в путь.

— Джошиа зазвал Азоге к себе в лавку и угостил рисом и пальмовым вином. Азоге обрадовался, что напал на доброго человека, и стал есть и пить, а Джошиа тем временем забрал его палку — ну, слыханное ли это дело? — и подложил вместо нее другую. Он думал, что Азоге не заметит, но уж как слепому не знать своей палки. Когда Азоге собрался уходить и взялся за палку, он сразу понял, что ее подменили, и поднял крик...

— Да Джошиа-то на что эта палка?

— Странный вопрос, учитель! На зелье — вот на что.

— Ужасно,— сказал я, по-прежнему ничего не понимая, но уже стараясь это не показать.

— Вот я и говорю — деньги счастье сулят, да горе таят.

Когда мы подошли к моему дому, я дал ему шиллинг, и он, поблагодарив меня сообщив еще несколько ничего не прояснивших подробностей ужасного происшествия, отправился обратно на базар, чтобы снова присоединиться к толпе. Я и сам охотно пошел бы туда, но слишком устал с дороги, и к тому же у меня были другие планы. Я собирался немного отдохнуть, умыться и отправиться с визитом к миссис Нанга. Однако шум, доносившийся с базара, становился все громче, и в конце концов не выдержал и решил пойти посмотреть, в чем там дело.

Джошиа, по-видимому, забаррикадировался у себя в лавке и, наверно, со страхом прислушивался к крикам анатцев, поносивших его самого и его ремесло. Слепой Нвоге все еще расхаживал в толпе и снова и снова рассказывал всем, что с ним случилось. Я подходил то к одной, то к другой кучке людей, прислушиваясь к разговорам.

— Мало этому негодяю тех денежек, которые он из нас вытягивает,— говорила какая-то старуха,— он еще хотел ослепить нас своим зельем, чтобы мы покупали у него все без разбору. Пусть накликает слепоту на свою мать, на своего отца, только не на меня,— и с этими словами она очертила правой рукой круг над своей головой и швырнула проклятие прямо в лавку.

— У некоторых людей утроба что бочка бездонная, прости господи,— изрек торговец вином. Я знал его; кажется, это он поставлял пальмовое вино для Джошиа, который продавал его в розницу в пивных бутылках.

Но самые знаменательные слова я услышал от плотника Тимоти, человека пожилого и набожного.

— Воруй, да знай меру, не то хозяин заметит,— сказал он и, повторив это несколько раз, добавил:— пусть у меня отнимутся ноги, если я еще раз переступлю порог этой лавки. Джошиа меры не знал, вот хозяин и вывел его на чистую воду.

Впоследствии я много думал над этими словами. В устах моего народа они звучали как самое суровое осуждение. И дело здесь было совсем не в том, что человек поживался за чужой счет. Пусть себе набивает мошну, лишь бы никто об этом не узнал. Но Джошиа зарвался и тем самым поглумился над хозяином, а хозяином, как я понял, был весь народ, и народ сказал свое слово.

В течение недели Джошиа был разорен. Ни один человек и близко не подошел к его лавке. Даже приезжих и пассажиров автобуса, останавливающегося у рынка всего на несколько минут, успевали предупредить. Не прошло и месяца, как Джошиа навсегда закрыл свою лавчонку, а сам — правда, только на время — исчез из деревни.

Однако вернемся к моему рассказу. Вечером того же дня я зашел в велосипедную мастерскую, взял напрокат велосипед и отправился к миссис Нанга. Мне необходимо было повидать ее до того, как в деревню дойдут слухи о моей ссоре с ее мужем, так как в противном случае я лишился бы возможности разыскать Эдну, будущую «главную» жену мистера Нанги. Конечно, сам Нанга едва ли стал бы распространять эти слухи, хотя с полной уверенностью никогда нельзя было сказать, как он поступит, но в Бори всегда найдется достаточно людей, готовых разнести любую сплетню — даже всякого умысла, просто от скуки.

Миссис Нанга очень удивилась, увидев меня, но у меня уже было наготове правдоподобное объяснение: внезапное изменение планов и тому подобное. Дети вышли поздороваться со мной. Я заметил, что с них уже успел слететь весь их столичный лоск, а их безукоризненный английский язык звучал здесь как-то нелепо.

— Пойди принеси Одили чего-нибудь выпить,— сказала миссис Нанга старшему сыну.

Он вскоре вернулся с бутылкой холодного, как лед, пива, что было после моей изматывающей поездки на велосипеде как нельзя более кстати. Я залпом выпил первый стакан, потом налил себе второй и стал прихлебывать пиво маленькими глотками, обдумывая тем временем, как завести разговор об Эдне, не вызывая излишних подозрений.

— Когда вы собираетесь вернуться в Бори? — спросил я.— В доме так пусто без вас и детей.

— Не говорите мне про Бори, мой друг. Я хочу отдохнуть здесь еще немного. Отец Эдди считает, что я должна вернуться в конце следующего месяца, до того как он уедет в Америку, но я еще не знаю...

— Я думал, вы едете с ним.

— Я? — засмеялась она.

— Ну да. А почему бы и нет?

— Люди повыше нас, мой друг, не до всякого яблочка дотянутся, чего уж говорить о таких, как я? Слыханное ли дело, чтобы женщина, которая двух слов связать не может, отправилась в Америку?

«Прекрасно»,— подумал я и совсем уже было собрался заговорить о том, что меня занимало, но миссис Нанга сама пришла мне на помощь.

— Вот когда Эдна переедет, пусть она и разъезжает. А я старая и неученая.

— Эдна? Кто это?

— Вы разве не знаете Эдну? Это наша новая жена.

— Ах, эта девушка... Глупости. Вы образованнее ее.

— Нет уж, куда мне. Я в теперешних школах не обучалась,— переходя на пид жин, возразила миссис Нанга.

— Да, но ваши шесть классов стоят больше, чем нынешний Кембридж,— сказа я на родном языке, не желая в такой важный для меня момент пользоваться легко весным пиджин.

— Вы так говорите, будто я училась в прошлом столетии,— обиженно заметил миссис Нанга.

— Нет, что вы! — воскликнул я.— Но уровень нашего образования падает с кам дым годом. Даже в прошлом году выпуск в средних школах был лучше, чем в этом

Впрочем, мне, вероятно, только показалось, что она обиделась. Она думала чем-то своем.

— Я сдала вступительные экзамены в среднюю школу,— грустно сказала она,- но отец Эдди и его родственники приставали ко мне, чтобы я выходила замуж, а потом и мои родители стали меня уговаривать, все твердили: на что молоденькой девуш так много учиться? И я по глупости согласилась. Я была слишком молода, не умел настоять на своем. Вот и Эдна попалась в ту же ловушку. Подумать только, девуш окончила колледж, а ей не дают и года поработать в школе, она даже не успела огля деться. Ну, да мне что за дело? Пусть себе выскакивает замуж и транжирит мужник денежки, пока еще есть, что транжирить,— миссис Нанга горько рассмеялась.

Я чувствовал себя очень неловко, главным образом потому, что это все говори лось в присутствии ее пятнадцатилетнего сына.

— И скоро она к вам переедет? — спросил я.

— Не знаю. Какое мне дело? По мне, пусть приходит хоть завтра — места хва тит. Пускай сидит вместо меня с гостями до поздней ночи и показывает свою уч ность. Велика радость! Вся пропахнет табаком и запахом белых.

Я невольно рассмеялся.

— Почему вы не поговорите с ней? — спросил я.— Ей бы надо переждать хот годик, поработать, оглядеться. Я уверен, вас бы она послушала, ведь она еще совси девчонка.

— Вы так думаете? Что же она, младенец, что ли? Уж не дать ли ей сиську? И она ткнула себя пальцем в грудь.— Нет, мой друг, я не стану мешать ее счасть Когда меня выдавали замуж, я была куда моложе ее. Как только ее мать поправится пусть приходит и прибирает к рукам мужнино добро. Всякий чует, где вкусно пахне А ведь когда не было всех этих денег, кто-то гнул спину и недоедал куска, но теперь уж никто об этом не помнит...

Миссис Нанга вытерла глаза подолом юбки и высморкалась в него.

— Где она живет? Я сам поговорю с ней, завтра же. Я просто обязан это сделать

Я не забыл о присутствии Эдди, сына миссис Нанга, но, взвесив свои шанс решил рискнуть, потому что мальчик, скорее всего, был на стороне матери, хотя ег красивое личико абсолютно ничего не выражало и не дрогнуло даже тогда, когд мать уже готова была прослезиться.

— Ступайте, если хотите,— сказала миссис Нанга с наигранным безразличием, но не говорите потом, что я вас послала. Я свое место знаю и не заношусь, но и ун жаться не стану.

Оказалось, что я не ошибся относительно Эдди. Он охотно и очень подроб рассказал мне, как пройти к дому Эдны, который был на другом конце деревни, д вольно далеко отсюда. Он предложил даже, чтобы их шофер отвез меня туда на м шине, из чего можно было заключить, что, несмотря на высокий рост, он еще ост вался совсем ребенком.

Я не без труда отыскал дом Одо, отца Эдны,— ничем не примечательную хижи из красной глины, крытую пальмовыми листьями. В передней комнате сидел сам хозя и сучил веревку, по всей вероятности предназначавшуюся для того, чтобы подвя вать батат, который сушат, развешивая на шестах. Рядом лежало три пачки волок одна из них была уже наполовину израсходована. Клубок готовой веревки лежал полу, и Одо, придерживая его ногами, чтобы не укатился, надвязывал свободн конец. Когда я вошел, он, скаля стиснутые от напряжения зубы, изо всех сил затяги узел. Его голый, блестящий от пота живот вываливался из набедренной повязки. Э был огромный, широкоплечий человек, уже немолодой, с красными воспаленными гл зами и сединой в волосах.

Я подошел, поздоровался с ним за руку и сел на стул спиной к двери. Не брос работу, он несколько раз повторил:

— Добро пожаловать, рад вас видеть... Жаль, что мне нечем вас угостить,— с зал он несколько минут спустя, вновь завязывая узел, который разошелся, когда он тянул веревку.— Только сегодня кончилась кола.

— Не беспокойтесь,— ответил я и, немного помолчав, добавил: — Вы, верно, ме не знаете. Я учитель из здешней школы.

— То-то мне ваше лицо показалось знакомым,— заметил Одо, отрываясь от боты, чтобы взглянуть на меня.

Мы еще раз обменялись рукопожатием, и он опять сказал. «Добро пожаловать» — и извинился, что ему нечем меня угостить, а я опять попросил его не беспокоиться — не всегда же у людей есть угощение наготове.

— С тех пор как жена в больнице, некому за этим присмотреть,— пожаловался он.

— Надеюсь, она скоро поправится.

— Мы уповаем на господа.

Для приличия выждав немного, я спросил, дома ли Эдна.

— Она готовит матери еду, чтобы отнести в больницу,— ответил он холодно.

— У меня к ней поручение от моего друга мистера Нанги.

— Вы друг моего зятя? Что же вы сразу не сказали? Так вы из Бори?

— Только вчера вернулся.

— В самом деле? Ну, как там поживает мой зятек?

— Прекрасно.

Не вставая с места, он повернулся к двери, которая вела в другую комнату, и позвал Эдну. Из глубины дома, как отдаленный звук флейты, донесся ее голос.

— Выйди поздоровайся с гостем,— все так же громко крикнул отец.

Пока мы ждали Эдну, он не сводил с меня глаз, и я постарался принять самый непринужденный вид. Повернувшись на стуле, я даже стал смотреть в окно и при этом сложил губы так, будто насвистываю про себя.

— Ваша жена давно в больнице? — спросил я.

— Третью неделю. А до того все перемогалась, еще с тех пор как начались дожди.

— Бог даст поправится.

— Да, все в его воле.

Через дверь я увидел Эдну. Она, по-видимому, только что сполоснула лицо и сейчас, направляясь к нам, на ходу утиралась подолом юбки, который она тотчас же опустила, заметив меня. У меня вдруг подкатил комок к горлу. На Эдне была просторная блуза, выпущенная поверх юбки, и какой-то старенький шелковый платок на голове. Когда она вошла, я вдруг утратил все свое самообладание. Вместо того чтобы протянуть ей руку, оставаясь сидеть, как подобает мужчине, да еще старшему по возрасту, я вскочил, словно какой-нибудь англичанин, привыкший расшаркиваться перед девицами. Она слегка наморщила лоб, видно, пытаясь меня припомнить.

— Я учитель из здешней школы,— сказал я как-то неожиданно хрипло.— Мы уже встречались с вами в тот день, когда мистер Нанга выступал...

— Ах да, правда,— просияла Эдна.— Вы мистер Самалу.

Я был польщен.

— Совершенно верно,— подтвердил я и добавил по-английски, чтобы не понял ее отец: — Ваша память поражает меня не меньше, чем ваша красота.

— Спасибо,— сказала Эдна.

Возможно, ее домашний наряд или роль хозяйки, которую она теперь играла, делали ее старше, а быть может, она действительно повзрослела со времени нашей встречи, во всяком случае, эта красивая молодая женщина, которая сейчас стояла передо мной, уже не напоминала девочку-послушницу, только что вывезенную из монастыря.

— Что ж вы не сядете, учитель? — спросил отец Эдны, и мне показалось, что в голосе его прозвучало раздражение. Потом, повернувшись к дочери, он объяснил, что у меня к ней поручение из Бори. Она взглянула на меня своими большими сияющими глазами.

— Да нет,— пробормотал я смущенно,— ничего особенного; просто мистер Нанга просил меня зайти, передать вам привет и узнать, как здоровье вашей матери.

— Скажите ему, что она еще в больнице,— ворчливым тоном ответил за Эдну отец,— и на ее лекарства уходит пропасть денег, а она не успела посадить ни батата, ни маниока.

— Не слушайте его,— вмешалась Эдна, и глаза ее сразу утратили свой веселый блеск.— Ведь он уже передал тебе деньги через жену,— сердито сказала она отцу.

— Вы только посмотрите на нее! — воскликнул отец.— По-твоему, кто вчера поел, тот и сегодня сыт будет? Нет, дочь моя, сейчас самое время попользоваться от богатого зятя, а уж когда он заберет жену к себе — пиши пропало. Недаром у нас говорят: если ты не отнял меч у противника, когда он был повержен наземь, разве он отдаст его, когда поднимется на ноги? Нет, дочка, ты в наши дела не мешайся. Он от меня так просто не отвертится. Уж я наемся до отвала из этой кормушки. Слава богу, у него добра хватит.

— Извините меня,— сказала Эдна по-английски и, перейдя на родной язык, объяснила, что ей нужно кончить стряпню, чтобы до часу отнести завтрак в больницу, иначе ее не впустят. Она смущенно улыбнулась и вышла из комнаты, а я, глядя ей вслед, успел заметить, что у нее на редкость красивая фигура.

И вот я остался наедине с ее папашей, с первого раза поразившим меня своей личностью. Мы больше молчали. Я беззвучно насвистывал и смотрел, как Одо ловко вращивает веревку и сматывает ее в клубок.

Через некоторое время в соседнюю комнату вышла Эдна и через раскрытую дверь спросила отца, не забыл ли он угостить господина колой.

— У меня ее нет,— ответил он,— но, если ты нам принесешь, мы не откажемся

— Я ведь купила вчера несколько орехов, разве я тебе не сказала?

Она тут же принесла на блюдце большой орех и протянула его отцу, а он, скоро говоркой пробормотав молитву — наверно, о ниспослании неисчерпаемой кормушки,— расколол его, одну за другой отправил себе в рот две дольки и принялся с громким чавканьем жевать их. Блюдце с двумя оставшимися дольками он передал мне, я взя одну и вернул ему блюдце.

С орехом было покончено, а я все не уходил и не знал, как мне теперь быт Встать и уйти? Едва ли это было разумно — следовало бы, по крайней мере, дождаться Эдны, даже если мне не удастся поговорить с ней с глазу на глаз. И тут у меня мель кнула блестящая мысль: почему бы мне не подвезти ее в больницу? Ведь отсюда до больницы добрых две мили, а у меня на велосипеде отличный багажник, к которому можно привязать посуду с едой.

— Раз уж я здесь,— обратился я к своему трудолюбивому хозяину,— мне бы следовало самому навестить мать Эдны, чтобы я мог потом обо всем написать мистеру Нанге.

— Вы не слушайте, что тут моя дочка болтает,— сказал он, поднимая глаза от ра боты,— а напишите-ка моему зятьку, что эти врачи дерут с меня шкуру.

— Напишу непременно,— заверил я его.

Я понимал, что, каков бы он ни был, мне придется, если я хочу подъехать к его дочке, иметь дело с ним, потому что обойти себя он не даст.

Эдну мое предложение нисколько не удивило; как видно, она была очень про стодушна, что меня вполне устраивало. Я привязал бидон с едой к багажнику и вывел свой велосипед на дорогу, потому что у самого дома земля была неровной и я по боялся тряски; Эдна в красно-зеленом цветастом платье шла рядом со мной. Вскочил на велосипед, когда сзади привязан бидон, а на раме сидит девушка, не так-то просто но я не растерялся: сначала я сам сел на седло и одной ногой уперся в землю, удер живая велосипед в равновесии, потом Эдна примостилась на раме, свесив ноги в одн сторону, и тогда я оттолкнулся и поехал. Эдна оказалась так близко от меня, чуть л не в моих объятиях, я вдыхал запах ее волос, и в другое время у меня, вероятно, за кружилась бы от волнения голова, но сейчас я как-то не успел даже об этом подумать Дорога в больницу шла через холмы, и я очень скоро выбился из сил, а мне совсем не хотелось признаваться в этом перед своей пассажиркой. Хотя сердце у меня и ко лотилось, как бешеное, я, не останавливаясь, одолевал один подъем за другим, что разумеется, было просто глупо.

— А вы, оказывается, очень сильный,— сказала Эдна.

— Почему же? — спросил или, вернее, выдохнул я, переваливая через очередно пригорок.

— Дорога все время в гору, а вам нипочем.

— Ну, где там в гору,— отвечал я, переводя дыхание, потому что теперь мы лег ко катились вниз по приветливому зеленому склону. Однако не успел я договорит как на дорогу выскочила какая-то дура овца со своими ягнятами. Я резко затормози К несчастью, Эдна спиной опиралась на мою левую руку, так что я не сумел как сл дует нажать на тормоз, и в результате велосипед накренился и рухнул наземь. Пада Эдна закричала: «Что скажет отец!» — или что-то в этом роде. Она отлетела далеко сторону, и я, вскочив на ноги, бросился ее поднимать. Потом я оглянулся назад увидел валявшиеся в песке клецки и лужицу пролитого супа. Я чуть не заплака Я стоял и смотрел на следы катастрофы, кусая от досады губы. И тут Эдна разра лась истерическим смехом, что совсем меня доконало. Я боялся взглянуть на не Не поднимая глаз, я пробормотал какие-то извинения.

— Вы не виноваты,— сказала Эдна,— все эта глупая овца.

Покосившись в ее сторону, я увидел, что она наклонилась и разглядывает сво колено — оно было расцарапано.

— Боже мой, Эдна, что я наделал!

Она поспешно опустила платье и, подойдя поближе, попыталась отчистить огром ное коричневого цвета пятно, красовавшееся на моей новой белоснежной рубаше Потом она подняла бидон и стала листьями стирать с него песок и брызги супа. К сво ему удивлению, я заметил, что она плачет, и, прислушавшись к ее бормотанию, раз брал: «Бедная моя мама, она умрет от голода». Я думаю, что на самом деле он плакала от унижения, потому что остатки жалкого завтрака, разбросанные по земл ясно свидетельствовали о бедности ее семьи. Впрочем, может быть, я ошибаюсь. всяком случае, при виде ее слез я был ужасно расстроен.

— А что, если отнести ей хлеба и банку консервов? — спросил я.— Мы бы мог купить это по дороге.

— Я не захватила денег,— сказала Эдна.

— У меня есть при себе немного.— Я вздохнул с облегчением.— Кстати, мы д станем что-нибудь, чтобы смазать ваше колено. Эдна, дорогая, мне ужасно жаль, ч так получилось.

(Окончание следует)

МИКЕЛАНДЖЕЛО АНТОНИОНИ

Красная пустыня

СЦЕНАРИЙ *

Перевод с итальянского Г. БОГЕМСКОГО

ЗДАНИЕ ЗАВОДА «ФИЛИПС», ПРОИЗВОДЯЩЕГО ГАЗОВУЮ САЖУ. ДЕНЬ

Время близится к полудню. Вдоль стены завода стоят автомобили рабочих. Почти все они белые. У машин неподвижно застыла безмолвная толпа. Воздух серый, влажный. Только что прошел дождь, время от времени вновь начинает моросить: может быть, это капли конденсированного пара, вырывающегося из высоких труб завода компании АНИК, корпуса которого тянутся вдоль противоположной стороны улицы.

Под охраной двух полицейских к заводским воротам идет рабочий. Толпа сдвигается к проезжей части улицы, чтобы посмотреть на штрейкбрехера. Он идет молча, опустив голову, на руке у него висит зонт.

В глубине улицы, с другой стороны, появляется Джулиана с сыном. Увидев полицейских и скопление людей, она берет мальчика за руку и ускоряет шаг.

У стены останавливается машина одного из профсоюзных руководителей — к дверцам ее прикреплены плакаты с лозунгами забастовки, на крыше установлены мегафоны. Один из профсоюзников влезает на крышу автомобиля и направляет рупор мегафона в сторону заводского двора, другой выходит из машины и, поднеся к губам микрофон, начинает говорить:

— Ромео Сальвиати, что ты там делаешь? Ты ведь не начальство, ты трудишься, чтобы заработать на кусок хлеба своим детям. Уходи оттуда, иди сюда, к нам. Твоя жена стыдится выйти из дому, ей стыдно за тебя...

Штрейкбрехер бредет по пустынному заводскому двору. На мгновение он оборачивается, потом идет дальше, шагая нарочито уверенно и неторопливо.

Между тем забастовщики направляются к заводским воротам. Один из них останавливается и, облокотившись о стоящую рядом машину, начинает есть булку. Увидев, как он ест, Джулиана внезапно ощущает острый голод. Это нервный голод, он судорожно сжимает ей желудок, ей кажется, что она не в силах вытерпеть больше ни секунды. Растерянно смотрит она на рабочего, на его булку и наконец решается:

— Простите... Где вы ее купили?

Рабочий глядит на нее с удивлением и отвечает:

— В лавке, на углу.

Это для Джулианы слишком далеко. Она делает испуганное движение и еле слышно шепчет:

— Вы мне ее не продадите?

Рабочий не в силах скрыть все возрастающее изумление.

РАБОЧИЙ. Но ведь я ее уже начал...

ДЖУЛИАНА. Не важно.

Она не в состоянии справиться с собой, резким движением вырывает булку из рук юноши, нервно шарит в сумочке и достает деньги.

РАБОЧИЙ. Нет, нет, не надо...

ДЖУЛИАНА. Держите, держите...

Она сует ему в руку две тысячи лир и подносит булку ко рту. Но тут же, словно вдруг устыдившись и пытаясь найти сообщника, обращается к сыну:

---

* В работе над сценарием участвовал Тонино Гуэрра.

— Валерио! Иди сюда... Хочешь?

МАЛЬЧИК. Нет... нет.

Смущенная, не в силах справиться с собой, Джулиана уходит.

Укрывшись за рощицей покрытых густым слоем копоти низкорослых пиний, рядом с черными кучами мусора, она начинает торопливо есть. Джулиана ест с такой жадностью, что у нее перехватывает дыхание. Она с опаской озирается вокруг. Над закопченными мусорными кучами — грудами консервных банок, картонных коробок, обрывков бумаги — вьется легкий дымок.

К рощице бежит Валерио. Джулиана поспешно вытирает рот, потом как ни в чем не бывало берет подбежавшего мальчика за руку и уходит.

ЗАВОД, НА КОТОРОМ РАБОТАЕТ УГО. ДЕНЬ

Унылое, полутемное помещение без окон, все стены сплошь заставлены электронной аппаратурой. В центре — пульт управления. Шум машин не умолкает ни на секунду. Несколько человек следят за приборами и записывают их показания.

Уго говорит по телефону. Он то и дело кивает головой, словно выражая согласие с невидимым собеседником. Вдруг раздается сирена — сигнал внутренней тревоги — и на стене загорается табло. К прибору подбегает рабочий и докладывает Уго:

— Поднялась температура пара, господин инженер.

Уго опускает телефонную трубку и говорит:

— Прикрой немного сопла.

Потом обращается к стоящему подле Коррадо, продолжая прерванный разговор:

— Он говорит, что к ним каждый день поступают просьбы об устройстве на работу, но только не за границу. Они тоже ломают себе голову над тем, где найти рабочую силу для отправки...

Отвечает в телефонную трубку:

— Нет-нет, я не вам, это я своему приятелю...

КОНТОРА ЗАВОДА КОМПАНИИ САРОМ. ДЕНЬ

В окне виднеются два огромных темных газгольдера. Кабинет весь белый. За металлическим письменным столом сидит мужчина и разговаривает по телефону — по-видимому, с Уго.

СЛУЖАЩИЙ. Но почему бы тебе не дать ему своих рабочих...— Улыбается, слыша ответ Уго. И продолжает:— А ты не пробовал узнать у Бельтрами? Подожди, я позвоню ему сам, мне надо поговорить с ним заодно по другому делу.

Нажимает кнопку селектора. В ответ раздается женский голос:

— Слушаю...

СЛУЖАЩИЙ. Соедините с «Филипсом».

ЖЕНСКИЙ ГОЛОС. Готово, господин инженер.

ЦЕХ РАСФАСОВКИ САЖИ. ДЕНЬ

Огромный, совершенно черный от сажи цех.

В середине цеха с потолка спускаются конические донышки резервуаров — к ним прикреплены мешки, которые наполняют сажей.

Бельтрами, в ослепительно белом шлеме, подходит к телефону, снимает трубку и произносит:

— Бельтрами слушает. Кто говорит? Ах, это ты, привет!..

Выслушав то, что ему говорят на другом конце провода, качает головой:

— Если бы только они у меня были...

ЗАВОДОУПРАВЛЕНИЕ АНИК. ДЕНЬ

Около большого окна, за которым открывается панорама завода, звонит телефон. К телефону подходит один из руководителей предприятия.

— Нет, это ты меня извини. Как ты только мог вообразить...

Несколько секунд слушает молча, потом, улыбаясь, продолжает:

— Да ты с ума сошел!.. Об этом нельзя даже и думать. Мы государственное предприятие и никого не можем уволить.

ЗАВОД, НА КОТОРОМ РАБОТАЕТ УГО. ДЕНЬ

Уго еще мгновение слушает, что говорит ему по телефону собеседник, потом вешает трубку. Коррадо по-прежнему стоит рядом, ожидая ответа.

УГО. Ничего не выходит и на АНИКЕ. Я тебе говорил. Пока что возьми хотя бы этих.

И, направляясь к машинному залу, он протягивает Коррадо листок со списком рабочих.

УГО. Это люди, окончившие курсы повышения квалификации. Они должны были поступить к нам, но потом, к сожалению... Прекрасные специалисты. Например, это Бони — начальник цеха.

Коррадо читает список.

КОРРАДО. Он живет в Ферраре?.. Да ведь это километров 70—80 отсюда...

УГО. За ним стоило бы съездить даже на Сицилию, если это необходимо.

Стеклянная дверь ведет в огромный зал, полный машин и трубопроводов. Почти все трубы белые или серебристые. Пол металлический, решетчатый, в просветы видны находящиеся внизу заводские помещения. В цехе стоит оглушительный шум.

По лесенке спускается Джулиана. Вдруг перед ней с яростным шипением из какого-то клапана турбины вырывается струя воздуха, женщина в испуге останавливается и взглядом ищет мужа. Уго идет ей навстречу.

ДЖУЛИАНА. Я искала тебя.

Коррадо разглядывает ее. Уго знакомит Джулиану с приятелем:

— Инженер Коррадо Целлер. Моя жена.

Джулиана, явно спеша и не намереваясь терять время на пустые любезности, небрежно подает ему руку. И сразу же говорит мужу:

— Послушай, я буду ждать тебя в кабинете.

И, не протянув вновь руки Коррадо и даже не кивнув, уходит. Мужчины направляются к выходу, возобновляя прерванный разговор.

ЗАВОД, ГДЕ РАБОТАЕТ УГО. ДЕНЬ

Через дверь в конце машинного зала Коррадо и Уго выходят на заводской двор, к подножию высящейся у стены огромной, красной от ржавчины цистерны. Уго продолжает рассказывать:

— Наверно, дорога обледенела... она затормозила... но права она получила совсем недавно... а кроме того, она, когда ведет машину, всегда так рассеянна... К счастью, грузовик остановился.

КОРРАДО. Она сильно пострадала?

УГО. Нет, слава богу, не очень. Несколько ушибов. Но дело не в них, а в шоке, в сильнейшем шоке. Ее не выпускали из клиники больше месяца, и до сих пор она еще никак не может...— ищет подходящее слово — войти в колею. Теперь ей взбрело в голову открыть лавку, не знаю, на что она ей только сдалась. На улице Алигьери. Кроме того, мне кажется, что это будет не слишком прилично выглядеть...

КОРРАДО. Почему?

Уго не отвечает, ему явно неприятно об этом говорить. Удары молотка заставляют Коррадо поглядеть вверх. На самом верху цистерны возятся двое рабочих. Уго говорит с улыбкой:

— Напрасно пялишь на них глаза. Здесь не заповедник — охота запрещена.

Коррадо делает несколько шагов, останавливается и, глядя перед собой, спрашивает:

— А ты знаешь, что их монтировал мой отец?

И указывает на длинный ряд четко вырисовывающихся на сером небе высоких газгольдеров, которые тянутся на несколько сот метров за оградой завода.

УГО. Не могу себе представить, что ты этим занимаешься. Разве ты не горный инженер?

Коррадо кивает:

— Когда я начинал, то думал, что придется лезть вниз, а теперь вот лезу наверх. Что поделаешь?

Указывает пальцем на землю, а потом на цистерны.

— После смерти отца забота о фирме лежит на моих плечах, поэтому...

Предшествуемая легкими облачками дыма, а потом неожиданно превратившись в угрожающе свистящее облако, над заводской оградой яростно взвивается струя пара, затмевая неяркий свет пасмурного дня, закрывая небо, цистерны, цеха. Постепенно усиливаясь, свист вскоре становится невыносимым. Коррадо закрывает руками уши, в то время как Уго, чуть ли не крича, объясняет ему, почему необходимо вот так спускать пар.

КВАРТИРА ДЖУЛИАНЫ. НОЧЬ

Джулиана внезапно просыпается. Тяжело дыша, она садится в постели, лицо ее искажено не страхом, а скорее тоской и отчаянием, которые сильнее страха. Она трогает ладонью лоб, потом шею, словно хочет проверить, нет ли у нее жара. Глубоко вздыхает, делает резкие, нервные движения. Потом среди пузырьков и коробочек с лекарствами ищет на тумбочке термометр и сует его под мышку. Только теперь она различает какой-то шум, который доносится, по-видимому, из коридора. Джулиана встает, набрасывает на плечи белый шерстяной халатик и выходит на площадку: в соседней комнате, дверь в которую приотворена, раздается негромкое тиканье.

Джулиана подходит к двери, осторожно ее открывает. В темноте детской мелькает, перемещаясь по полу, какой-то слабый свет. Это шагает взад и вперед по комнате игрушечный робот, на его металлическом лице сверкает красная лампочка и блестят стеклянные глаза. Джулиана входит и выключает робота. Потом приближается к спящему сыну и, протянув руку, как-то неуверенно гладит его. Резко отойдя от кроватки, выходит из комнаты и неслышно затворяет за собою дверь. Все это она проделывает с градусником под мышкой.

Она начинает спускаться с лестницы, но вдруг останавливается, судорожно вцепившись в железные перила,— глаза у нее широко раскрыты, словно она испугана мраком, в который погружен нижний этаж квартиры. Она вновь поднимается на верхнюю площадку, смотрит термометр, садится. Ей кажется, что она задыхается, от ее бурного дыхания на груди раскрывается рубашка.

В дверях появляется Уго. Сразу же поняв, что у Джулианы новый приступ, он опускается перед ней на колени, смотрит термометр. И произносит успокаивающим тоном:

— Всего каких-нибудь несколько десятых...

ДЖУЛИАНА. Тридцать шесть и восемь... Почти тридцать семь.

Вместо ответа Уго гладит ей ноги. Джулиана начинает говорить, голос у нее прерывается:

— Мне снилось, что я лежу в постели, а постель качается. Тогда я поглядела и увидела, что вокруг зыбучие пески... и я проваливаюсь... проваливаюсь...

Уго покровительственно улыбается, продолжая ее гладить. Потом несколько раз нежно целует ее в шею. Джулиана словно не замечает, но так как Уго становится все настойчивей и его ласки из нежных делаются все более откровенными, она поднимается и отстраняется от мужа. Уго, не желая признать себя побежденным, подходит к ней и вновь обнимает. Джулиана по-прежнему пытается сопротивляться, извиваясь всем телом словно от боли, но потом покоряется ласкам мужа.

УЛИЦА, НА КОТОРОЙ НАХОДИТСЯ ЛАВКА ДЖУЛИАНЫ. ДЕНЬ

Коррадо подъезжает на машине и останавливается. Подходит к какой-то двери — по-видимому, это и есть вход в лавку Джулианы. Дверь плотно закрыта. Стекла витрины грязные. Коррадо пытается заглянуть внутрь. Но сквозь мутные стекла разглядеть, есть ли кто-либо в лавке, невозможно. Тогда он пробует толкнуть дверь, и она поддается. В узкую щелку Коррадо видит Джулиану, стоящую посреди лавки спиной к нему. Он тотчас же закрывает дверь и, отойдя в сторону, прижимается к стене.

Но сразу же вслед за этим на пороге появляется Джулиана.

ДЖУЛИАНА. Вы искали меня?

Коррадо несколько смущен.

КОРРАДО. Я ехал в одно место тут неподалеку... и видел, как вы вошли.— После короткого молчания продолжает: — Нет, это неправда. Я не хочу начинать со лжи.

ДЖУЛИАНА. Что начинать?

Смущение Коррадо еще больше возрастает:

— Ничего... Говорить с вами. Мне очень жаль, что я...

Он замолкает на полуслове, видя, что Джулиана, уже больше не проявляя никакого интереса, поворачивается к нему спиной и возвращается в лавку.

ЛАВКА ДЖУЛИАНЫ. ДЕНЬ

Джулиана, остановившись посреди комнаты, озирается вокруг. Она всецело погружена в свои мысли. На ней слишком легкое для этого холодного помещения платье, на плечи накинут черный шарф. Пальто ее брошено на табуретке, единственной мебели во всей комнате. Лавка в самом деле совсем пуста, если не считать множества банок с краской, стоящих на полу под окнами. Выложенный крупным кирпичом щербатый пол там и тут испещрен яркими пятнами.

Джулиана оборачивается и совершенно спокойным тоном, словно разговаривая сама с собой, глядя на стену, произносит:

— Может быть, лучше голубые.

Коррадо, немного приободрившись, подходит к ней ближе и спрашивает:

— Что голубые?

ДЖУЛИАНА. Стены. А потолок зеленый. Это холодные цвета, они не должны мешать.

Коррадо не удается уловить смысл того, что говорит Джулиана, и он за ней повторяет:

— Мешать?

ДЖУЛИАНА. Ну да. Дисгармонировать с тем, что продается... С товаром...

Короткое молчание. Коррадо старается вникнуть в каждое ее слово. Джулиана же по-прежнему полностью погружена в свои мысли. Вдруг она спрашивает:

— Как вы считаете, чем мне было бы лучше торговать?

КОРРАДО. Но разве вы еще не решили?

ДЖУЛИАНА. Мне хотелось бы продавать керамику, но я в ней ничего не понимаю... Я ничего не знаю...

КОРРАДО. Но отсюда в двух шагах Фаенца — она славится своей керамикой.

ДЖУЛИАНА. Ах, да-да... Надо записать.

КОРРАДО. Что записать?

Коррадо тактично старается не выказать удивления, которое у него вызывает поведение Джулианы, ее рассеянность, нервозность. Женщина между тем, доставая из сумочки блокнот, объясняет:

— Про Фаенцу... Поехать туда...

Джулиана уже собралась было записать это в блокнот, но вдруг ее внимание привлекает другая запись, и она с отчаянием восклицает:

— Боже мой! Я должна была позвонить стольким людям...

Продолжая читать записи в блокноте, она подходит к стоящему на полу в углу комнаты телефону. Коррадо следит за каждым ее движением. Он видит, как она набирает номер, но из скромности отворачивается и принимается расхаживать по комнате, рассматривая потолок и стены. Неожиданно Джулиана, не дожидаясь ответа, вешает трубку и подходит к нему.

ДЖУЛИАНА. Уго вам говорил обо мне?

Коррадо не знает, что ответить.

КОРРАДО. Нет... то есть... он рассказывал, что у вас есть ребенок... Я слышал, что Уго женат, но не знал на ком.

ДЖУЛИАНА. И ничего больше?

Коррадо колеблется.

КОРРАДО. Ну... еще о вашей лавке.

Джулиана пристально глядит на него, пытаясь прочесть по его лицу, говорит ли он правду. Однако тотчас же вновь отходит и садится на табурет. Коррадо, подбежав, берет пальто, на которое она было уселась, и протягивает ей. Но Джулиана поднимается, в ней вдруг просыпается интерес к Коррадо, она спрашивает:

— Скажите, а когда вы приехали?

Берет у него из рук пальто, но вместо того, чтобы надеть, вновь роняет его на табурет.

Внезапная перемена темы разговора и неожиданный интерес к его персоне, после того как она с таким подозрением задавала ему вопросы, касающиеся ее самой, вызывают у Коррадо улыбку.

КОРРАДО. Сегодня утром. У меня чемоданы еще в машине. А почему вы спрашиваете?

ДЖУЛИАНА. Вы нашли место в гостинице?

КОРРАДО. Нет, но пусть вас это не беспокоит.

ДЖУЛИАНА. А чем вы занимаетесь?

КОРРАДО. То есть как чем занимаюсь?

ДЖУЛИАНА. Где вы живете? В Болонье?

КОРРАДО. Нет, я живу в Милане. То есть... сам-то я из Триеста. Когда я был маленький, мои родители перебрались в Болонью, потом я переехал в Милан, а теперь вернулся в Болонью. Но должен ездить также и в Милан. В общем, все это довольно сложно.

Улыбается.

ДЖУЛИАНА. Почему сложно?

КОРРАДО. Говоря по правде, мне не хочется больше оставаться ни там, ни там. И поэтому я решил уехать.

ДЖУЛИАНА. И куда же вы уезжаете?

Коррадо собирается ответить, но Джулиана вновь утратила к нему всякий интерес. Она ищет сумочку, надевает пальто, затем направляется к двери. Коррадо следует за ней. У порога она пропускает его вперед, потом тоже выходит на улицу, предварительно вынув из замочной скважины ключ, чтобы запереть дверь снаружи.

КОРРАДО. Вы оставляете зажженным свет?

ДЖУЛИАНА. Да, так лучше.

В глубине лавки действительно горит висящая на проводе электрическая лампочка. Джулиана рассеянно указывает на нее рукой, словно это вполне естественно — уходя, не гасить электричество.

УЛИЦА, НА КОТОРОЙ НАХОДИТСЯ ЛАВКА ДЖУЛИАНЫ. ДЕНЬ

Коррадо наблюдает за Джулианой в то время, как она тщательно запирает на ключ стеклянную дверь лавки. Потом направляется вместе с ней вниз по улочке. День довольно ветреный. Ветер бросает под ноги Джулиане газетный лист, она наклоняется и читает.

ДЖУЛИАНА. Подумайте только, сегодняшняя!

Она смотрит на газету чуть ли не с состраданием, придерживая ее носком туфли, потом отпускает и глядит ей вслед. Газета улетает прочь. Джулиана идет дальше, но замедляет шаг, ранее быстрый и даже энергичный. В нескольких метрах от нее — тележка уличного торговца с моченым горохом, каштанами, фруктами. Рядом с тележкой — стул. Джулиана буквально падает на него. Старик торговец с землистым, морщинистым лицом невозмутимо продолжает жарить каштаны, сидя по другую сторону тележки. Джулиана бросает на него боязливый взгляд.

КОРРАДО. Вы устали?

Джулиана утвердительно кивает головой:

— Я всегда чувствую себя усталой... Нет, пожалуй, не всегда, а только иногда.

Подносит руку ко лбу. Искоса глядит на безмолвного старика, переворачивающего на огне каштаны, потом, словно жалея о том, что присела, встает и продолжает путь.

Пройдя несколько шагов, останавливается и спрашивает:

— Куда мы идем?

КОРРАДО. Не знаю, я думал, что вы...

Джулиана разражается смехом. Но внезапно лицо ее принимает вновь серьезное выражение, и она говорит:

— В таком случае до свиданья...

КОРРАДО. Я провожу вас...

Джулиана ему даже не отвечает. Она уходит, идя вдоль самых стен домов, чуть ли не касаясь их. Коррадо, как зачарованный, смотрит ей вслед. Пройдя несколько шагов, Джулиана вновь оборачивается:

— Что вы сейчас собираетесь делать?

КОРРАДО. Право, не знаю... Мне нужно съездить в Феррару.

ДЖУЛИАНА. Сейчас? Дело в том, что я должна идти домой. Но, может быть, во второй половине дня...

Коррадо не может сдержать улыбки, глядя, как она уходит, даже не дождавшись его ответа.

РАБОЧАЯ ОКРАИНА. ВЕЧЕР

Джулиана и Коррадо направляются к одному из жилых домов, высящихся на самой окраине Феррары. За домами простирается голая, пустынная равнина. Холодно. Перед домом стоит крытый грузовичок, полный рыбы. Торговец запускает руки в груду угрей и наполняет ими желтый бумажный кулек, лежащий на весах. Рядом стоят две женщины. Одна из них говорит:

— Нет, дайте вот тех.

ТОРГОВЕЦ. Но те дороже.

ЖЕНЩИНА. Не важно, я хочу тех. Потому что они живые.

Торговец убирает с весов кулек и принимается накладывать в другой живых угрей. Одна рыбка выскальзывает у него из рук и шлепается на землю у самых ног Джулианы. Джулиана бросается к ограде дома, за которой виднеется зелень сада, и исчезает за ней.

Коррадо, смеясь, догоняет ее.

КОРРАДО. А ведь рыбы бывают удивительно красивы. В морской глубине... там, где очень глубоко, встречаются совершенно прозрачные. Вы слыхали об этом?

Джулиана вздрагивает:

— Ради бога, не говорите мне о таких вещах. Они нагоняют на меня страх. Вы себе даже не представляете, сколь многого на свете я боюсь.

КОРРАДО. Тогда, значит, вы можете есть лишь ту живность, которая вам нравится... вы должны ее любить.

ДЖУЛИАНА. Да, пожалуй, это так.

КОРРАДО. Например?

ДЖУЛИАНА. Не знаю.

КОРРАДО. Цыплята... а может быть, котята, такие маленькие, пушистые, грациозные...

ДЖУЛИАНА. Да полно вам!

Входят в один из подъездов.

ДОМ НА РАБОЧЕЙ ОКРАИНЕ. ВЕЧЕР

Джулиана делает несколько шагов по лестнице.

КОРРАДО. Может быть, вы могли бы съесть меня?

Джулиана, улыбаясь, отвечает:

— Если бы я тебя любила...

Столь неожиданный и ничем не оправданный переход на «ты» изумляет Коррадо, и улыбка исчезает с его лица.

Джулиана и Коррадо останавливаются перед одной из дверей. Им открывает женщина средних лет. У нее красивое лицо и хорошая фигура, но тяжелая работа ее уже состарила.

КОРРАДО. Марио дома, синьора?

Женщина, окинув его подозрительным взглядом, отвечает:

— Нет.

КОРРАДО. А когда он придет?

Женщина оборачивается и смотрит на стоящие на буфете часы:

— Скоро. Однако иногда он запаздывает.

Теперь женщина разглядывает Джулиану.

КОРРАДО. Вы позволите нам его подождать?

ЖЕНЩИНА. Конечно.

Квартирка очень чистая. Мебели мало, и она дурного вкуса. В углу телевизор, вдоль стены, напротив двери, диван с яркой обивкой. За занавесками фасады домов, точно таких же, как тот, в котором сейчас находятся Коррадо и Джулиана. Вокруг тишина, она создает ощущение полной изоляции от внешнего мира. Джулиана смотрит, как женщина суетится, наводя порядок в комнате: переставляет стулья, отдергивает занавески на окнах, чтобы гостям было светлее, убирает забытые на столе три

ки и моток шерсти. Она делает все с таким видом, словно это самое важное на свете, а на самом деле лишь для того, чтобы получше рассмотреть пришедшую пару. Через несколько секунд, словно опомнившись, она возвращается к своим обязанностям хозяйки:

— Садитесь, пожалуйста. Хотите немного вина?

КОРРАДО. Спасибо, не беспокойтесь.

ДЖУЛИАНА. А я хочу.

Коррадо глядит на нее — ее ответ удивил и рассмешил его. Женщина скрывается в соседней комнате, такое впечатление, что она вообще ушла из дома. Шаги ее затихают, ничто больше не выдает ее присутствия. Коррадо рассматривает фотографию за стеклом буфета. На ней изображен рабочий в белом шлеме, взобравшийся на самую верхушку высокой опорной башни и повисший в пустоте. Джулиана с задумчивым видом сидит на диване. Вдруг она поворачивается к Коррадо и спрашивает:

— Скажи мне правду, он говорил тебе об этом?

КОРРАДО. Кто?

ДЖУЛИАНА. Уго, об аварии.

КОРРАДО. Гм... да... Но ведь она была не очень серьезная?

Джулиана качает головой.

КОРРАДО. Он сказал мне, что тебе после шока пришлось немного полежать в клинике.

Джулиана кивает. Некоторое время помолчав, продолжает начатый разговор:

— Я познакомилась с одной девушкой.

КОРРАДО. Где?

ДЖУЛИАНА. Там.

КОРРАДО. Ты хочешь сказать, в клинике?

ДЖУЛИАНА. Да. С ней было очень плохо.

Коррадо ждет, что последует за этим, но Джулиана умолкает. Она встает и делает несколько шагов по комнате.

ДЖУЛИАНА. Дело в том, что... она хотела иметь все.

КОРРАДО. Что все?

ДЖУЛИАНА. Доктор ей говорил: «Вам надо было бы научиться любить. Любить какого-нибудь человека или даже какую-нибудь вещь: своего мужа, своего ребенка, работу или хотя бы собаку... Но не мужа, ребенка, работу, собаку, деревья, реку...»

Голос ее неожиданно начинает звучать громко и резко.

КОРРАДО. Но что же она чувствовала?

Джулиана нервно сжимает руки.

ДЖУЛИАНА. У нее из-под ног уходил пол. Такое впечатление, что скользишь по наклонной плоскости... Куда-то падаешь, все ниже и ниже... и все время ждешь, что вот-вот утонешь... и у тебя нет ничего... никого...

Делает жесты, словно хочет сказать: ничего, за что можно было бы ухватиться и крепко держаться.

КОРРАДО. Даже мужа?

ДЖУЛИАНА. Даже мужа.

И поспешно, словно придя в себя, добавляет:

— И потом, его не было... он был в отъезде.

КОРРАДО. А сын?

ДЖУЛИАНА. Сын? Да, конечно... Но у той девушки не было детей.

Она ходит по комнате, потом садится на стул.

ДЖУЛИАНА. Когда она выписалась из клиники, то дошла до того, что спрашивала себя: «А кто же я?» И просила всех объяснить ей это... и меня просила тоже.

И тотчас добавляет:

— Но теперь она выздоровела.

Возвращается женщина с бокалами и бутылкой вина. Она еще слегка задыхается, это свидетельствует о том, что за вином она ходила в лавку. Наливает вино в бокалы. Джулиана пьет. Коррадо вновь начинает расспросы:

— Где теперь работает ваш муж?

ЖЕНЩИНА. На радиостанции в Медичине. Вы пришли предложить ему какую-то работу?

КОРРАДО. Да.

Женщина по-прежнему смотрит на него с недоверием. Коррадо настойчиво продолжает:

— Это работа, за которую можно получить большие деньги.

Женщина уже поняла, куда гнет Коррадо. Она спрашивает:

— Где?

Коррадо медлит с ответом.

ЖЕНЩИНА. Если для этого надо куда-то ехать, то скажу вам прямо: пусть нам и не легко сводить концы с концами, но я лично предпочитаю не трогаться с места.

КОРРАДО. Это не очень надолго.

ЖЕНЩИНА. Нет, нет... Однажды ему пришлось поехать на похороны одного своего родственника, так я думала, что сойду с ума, до того я боялась.

КОРРАДО. Но если бы вы захотели, то могли бы к нему приехать.

ЖЕНЩИНА. А ваша супруга едет с вами?

И, повернувшись, смотрит на Джулиану.

РАБОЧАЯ ОКРАИНА. ВЕЧЕР

Джулиана и Коррадо выходят из подъезда. Джулиана немного расстроена разговором с женщиной. Коррадо же что-то обдумывает. Он останавливается и говорит:

— Знаешь, что мы сделаем? Поедем в Медичину и поговорим с ним самим. Вот увидишь, он не откажется.

Джулиана ошеломленно глядит на него. Она настолько удивлена его бесчувственностью, что не осмеливается возражать.

ПОЛЯ И РАДИОТЕЛЕСКОП ВОЗЛЕ МЕДИЧИНЫ. ДЕНЬ

На белесом небе четко вырисовывается длинный ряд белых и красных стальных мачт. Это радиотелескопы, строящиеся в Медичине. Джулиана и Коррадо выходят из белого автомобиля и направляются к ним. Вокруг в полях царит глубокая тишина. Коррадо спрашивает у какого-то рабочего, где найти Марио, и тот указывает ему куда-то вдаль.

Встреча с Марио происходит на тропинке, идущей вдоль цепи металлических опор. Коррадо чуть впереди, а Джулиана замедлила шаг и удивленно рассматривает упершиеся в небо антенны. Рабочий идет им навстречу и проходит между ними. Вид у него немного возбужденный, глаза лихорадочно блестят. Коррадо изучающе смотрит на него. Когда Марио всего уже в нескольких шагах от Джулианы, она тоже глядит ему в лицо. Рабочий с любопытством уставился на двух приезжих, особенно на Джулиану. Прежде чем Коррадо успевает решить, заговорить с ним или нет, Джулиана обращается к рабочему:

— Здравствуйте.

Мужчина останавливается. Потом, узнав Джулиану, возвращается и протягивает ей руку:

— Ах, это вы! Здравствуйте...

Они смотрят друг на друга, по-видимому обрадованные встречей, и улыбаются, хотя оба немножко смущены. Коррадо наблюдает за ними, не в силах скрыть любопытство.

ДЖУЛИАНА. Как поживаете?.. Хорошо себя чувствуете?

РАБОЧИЙ. Да, хорошо... А вы?

ДЖУЛИАНА. Я тоже. Очень хорошо, спасибо.

В словах обоих чувствуется искреннее участие, горячее желание узнать друг друге, но они смущены столь неожиданной встречей. Их разговору явно мешает присутствие Коррадо. Поэтому после неловкого молчания Джулиана указывает на Коррадо, вновь придавая их приезду деловой характер:

— Этот господин хотел с вами поговорить.

Рабочий поворачивается к Коррадо, и Джулиана отходит в сторону, чтобы не мешать их беседе. Она останавливается в нескольких шагах впереди. Негромкое жужжание антенны, поворачивающейся на своей оси, заставляет ее поднять глаза вверх. Над тропинкой медленно опускается край лопасти антенны. На перекладинах вращающейся лопасти стоит за чем-то наблюдающий техник.

Джулиана его спрашивает:

— Кому принадлежат эти штуки?

ТЕХНИК. Эти? Болонскому университету.

ДЖУЛИАНА. А вы не боитесь?

ТЕХНИК. Нет. Теперь уже привык.

ДЖУЛИАНА. А для чего они служат?

ТЕХНИК. Они образуют систему антенн, чтобы слушать шум звезд.

Джулиана весело смеется.

ДЖУЛИАНА. Вы дадите мне послушать?

Техник смеется вместе с ней и шутя предлагает:

— Попробуйте залезть сюда.

ДЖУЛИАНА. Нет, нет...

Коррадо возвращается к ней и тоном шутливого упрека говорит:

— Что же ты мне не сказала, что знаешь его?

Джулиана думает, что он имеет в виду техника наверху башни, и отвечает:

— Да нет, я с ним только сейчас познакомилась.

Коррадо уточняет:

— Я говорю о том рабочем.

Лицо Джулианы становится серьезным. Она поспешно говорит:

— Он жил по соседству со мной.— Меняя тон.— Что он сказал?

КОРРАДО. Ничего не выходит.

Они, беседуя, удаляются.

КОРРАДО. Он говорит, что если я хочу заставить его сдвинуться с места, должен его как следует насмешить.

ДЖУЛИАНА. Что-что?

КОРРАДО. Да, насмешить. Предложить ему столько денег, чтобы ему стало смешно.

Джулиана разражается смехом. Коррадо тоже смеется, но не слишком естественно.

Они уходят.

МЕСТНОСТЬ, ИЗРЕЗАННАЯ КАНАЛАМИ ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД, СТОРОЖКА УГО. ДЕНЬ

Над серым болотом небо, затянутое облаками. Джулиана, Коррадо и Уго стоят подле дощатой рыбачьей сторожки на берегу канала на окраине заводского района. Обычный пейзаж — фабрики, дымящие трубы, башни нефтеочистительных заводов. Неподалеку — другие рыбачьи домики, такие же заброшенные и ветхие, как и лачуга Уго.

Джулиана кутается в шарф, она совсем замерзла. День выдался очень холодный. Коррадо тянет канат, привязанный к шесту стоящей у берега мережи. Канат прогнил и обрывается.

КОРРАДО. Однако, какая жалость!

УГО. Но должны же все эти заводы куда-нибудь спускать свои отходы.

Все трое смотрят в мутную, пенистую воду канала. Она черная от нефти, как и трава и грязь на берегу. Эта вода вызывает отвращение. Джулиана идет вперед и, указывая пальцем на Коррадо, говорит:

— На днях мы с ним зашли в Медичине перекусить в какой-то ресторанчик. И там один посетитель жаловался... Ты помнишь?

Прежде она обращалась к Уго, а теперь смотрит на Коррадо, и он за нее продолжает:

— Да... Он возмущался, что угорь пахнет керосином.

Уго направляется к двери домика, Коррадо и Джулиана идут за ним следом.

УГО. Вот уже два года, как я сюда не приезжал. Я совсем его забросил.

Дергает за ручку. Еле держащаяся на петлях дверь жалобно скрипит. Уго входит в домик. Джулиана и Коррадо остаются стоять на пороге. Внутри домика — плесень и сырость. Во многих местах со стен осыпалась штукатурка. Одну из стен до сих пор почти полностью закрывает большой рекламный плакат агентства путешествий. На плакате изображена опушка тропического леса с пасущимися зебрами: глядя на него, кажется, что находишься где-то далеко отсюда, совсем на другой планете. Коррадо, прислонившись к косяку двери, смотрит на плакат и говорит:

— Иногда мне кажется, что я не имею никакого права находиться там, где я нахожусь. Может быть, именно поэтому мне всегда хочется уехать.

Джулиана с интересом наблюдает за ним. Потом отходит в сторону, на пороге появляется Уго. Видя, что жене холодно, он заботливо обращается к ней:

— Хочешь мои перчатки?

ДЖУЛИАНА. Спасибо, Уго... Мне тепло и так.

Взгляд Уго падает на ее очень старые и даже немного рваные туфли.

УГО. Подумать только, в каких туфлях ты ходишь, когда у тебя их некуда девать...

Джулиана в ответ только молча улыбается, словно извиняясь.

УГО. Знаете, что мы сделаем? Мы подождем их в машине и пока что включим отопление.

Джулиана направляется к шоссе. Уго затворяет дверь домика и, обращаясь к стоящему подле него Коррадо, говорит:

— Пошли?

Они идут следом за Джулианой — она впереди них метрах в тридцати. Идя рядом с Уго, Коррадо спрашивает:

— В тот день, когда Джулиана попала в аварию, ты где был?

Уго поворачивается и смотрит на него с некоторым удивлением.

УГО. В Лондоне. А что?

КОРРАДО. И ты сразу вернулся?

УГО. Нет... Мне сказали, что в этом нет необходимости... что я могу... Джулиана тебе жаловалась на это?

КОРРАДО. Нет, и не думала.

УГО. Тогда почему же ты задаешь мне эти вопросы?

Коррадо не отвечает.

Спеша встретить своих друзей, Уго прибавляет шаг и скрывается из виду. Оставшись один, Коррадо бредет по берегу заросшего пруда. Мутная, зацветшая вода кажется густой. Коррадо поднимает камешек и швыряет в пруд.

Потом видит впереди Джулиану и направляется к ней.

КОРРАДО. Я вижу над трубами «Филипса» дым. Значит, забастовка кончилась?

ДЖУЛИАНА. Не знаю. Наверно.

И после паузы спрашивает:

— А ты левый или правый?

КОРРАДО. Что это тебе вздумалось задавать такие вопросы? Разве ты интересуешься политикой?

ДЖУЛИАНА. Да нет, что ты... Просто так.

КОРРАДО. Это все равно что спросить человека: во что ты веришь? Это слова, Джулиана, за которыми стоят очень важные вещи, и они требуют точного ответа. Но в сущности, кто толком знает, во что мы верим? Мы верим, в известном смысле, в человеческую гуманность. Немного меньше — в справедливость. Немного больше — в прогресс. Верим, быть может, в социализм... Но самое главное — это всегда поступать так, как считаешь правильным, справедливым и для самого себя, и для других, то есть чтобы совесть у тебя была спокойна. У меня совесть довольно спокойна, если это то, о чем ты спрашиваешь.

Джулиана снимает шарф и говорит с некоторой иронией:

— Сколько красивых слов разом... Как это тебе удалось?

Оба смеются. Вдалеке слышны автомобильные гудки.

ДЖУЛИАНА. Вот и они.

Вновь прибывшая пара — мужчина лет сорока и женщина лет тридцати с книгой под мышкой. Уго спешит представить им своего приятеля:

— Инженер Коррадо Целлер, коммендатор...*

Он не успевает кончить. Макс прерывает его:

— Вы немец?

КОРРАДО. Нет, нет... Если хотите, я расскажу вам всю мою родословную.

Макс протягивает руку Коррадо:

— Впрочем, мое имя тоже наполовину немецкое: меня зовут Макс.

Коррадо вяло подает руку, и Макс ее энергично трясет.

Макс продолжает:

— Это моя жена.

Коррадо протягивает руку Линде:

— Рад познакомиться с вами, синьора.

ЛИНДА. Очень приятно. Как поживаете?

Уго неудобно перед друзьями за то, что он заставил их приехать в это унылое, пустынное место, к этим грязным каналам, и он пытается как-то оправдаться:

— Это была не слишком удачная мысль — тащить вас сюда.

КОРРАДО. В этом виноват я: я никак не мог поверить.

Он имеет в виду сточные каналы.

МАКС. А я прекрасно знал. И даже велел приготовить для всех нас рыбу в своем домике.

Он обращается к Коррадо:

— Мой домик на берегу моря. И рыба выловлена в море, далеко от берега. Наверно, она уже готова. Я сказал, чтобы приготовили к часу дня.

Джулиана отходит в сторону и глядит на внезапно появившийся корабль, такое впечатление, что он движется сквозь сосновую рощу. В действительности судно неслышно плывет по каналу, скрытому зарослями кустарника. Она вздрагивает от голоса Линды:

— Едем?

Макс смотрит на часы, потом вместе со всеми направляется к машине, спросив у жены:

— А Мили?

ЛИНДА. Она приедет туда.

УГО. Джулиана, ты идешь?

Джулиана не тронулась с места. Она неподвижно стоит у обочины дороги, немного в стороне, и взгляд ее устремлен на болото — туда, где посредине виднеется островок красноватой травы; трудно представить себе пейзаж более печальный.

Коррадо подходит к Джулиане и спрашивает:

— На что ты смотришь?

Джулиана ничего не отвечает, вновь она вдруг замкнулась в себе. Она идет в ту сторону, где стоит муж и ее знакомые. Коррадо следует за ней.

Машина Макса трогается с места и, набирая скорость, мчится меж стволами пиний. Уго ждет жену возле своего «фиата-1500».

РЫБАЧИЙ ДОМИК МАКСА. ДЕНЬ

В топящейся печи прыгает яркое пламя, и сразу же понимаешь, что в домике тепло. Вокруг царит невообразимый беспорядок: тарелки с остатками рыбы, цыплят фруктов. На столе и на полу пустые винные бутылки, неаполитанский кофейник, пепельницы, полные окурков, коробки из-под сигар и сигарет; судя по всему, обед удался на славу.

Эмилия, развалясь на стуле, вытянула ноги и греет их у огня. Эмилия — ее все называют Мили — женщина лет тридцати двух с чувственным лицом.

За исключением Джулианы, которая стоит, все остальные, как и Эмилия, расположились кто где.

Линда растянулась на кровати в соседней комнатушке, отделенной от большой

* Почетный гражданский титул в Италии.

комнаты перегородкой. Это крошечная каморка примерно тех же размеров, что и широченная, более чем двуспальная постель, которая ее почти полностью занимает. Войти в комнату можно, только забравшись на постель, у изножия которой стоит зеркало, явно свидетельствующее о том, для чего оно предназначено. Линда, лежа ничком, не отрываясь читает свою книгу; юбка у нее задралась, высоко открывая ноги.

Уго кончил приготавливать кофе и наливает его себе в чашечку.

Между ним и Мили стоит Макс — он откупоривает бутылку вина.

Джулиана, прислонившись к окну, с внимательным видом слушает разглагольствования Макса.

Коррадо сидит совсем близко от нее. В руках у него наполовину наполненный бокал с вином, и он отпивает глоток. Голова у Коррадо слегка затуманена, он тоже отяжелел от еды и вина.

Открывая бутылку, Макс говорит, обращаясь к Эмилии:

— Поверь мне. Это перепелиные яйца.

ЭМИЛИЯ. Да перестань!

Макс, налив себе вина, ставит бутылку и берет в руки тарелку с лежащими на ней тремя крошечными яичками.

МАКС. Вот эти? И ты можешь думать, что я не знаю? Я же развожу птицу.

Делает большой глоток.

МАКС. Яйца перепелки содержат возбуждающее вещество.

Призывает в свидетели Уго:

— Уго!

УГО. Это правда, они оказывают возбуждающее действие.

МАКС. Гораздо более сильное, чем оплодотворенные яйца.

ДЖУЛИАНА. Чем что?

КОРРАДО. Что это еще за оплодотворенные яйца?

Эмилия слушает разговор мужчин с недоверчивым видом, но он ее, видимо, занимает: она встает со стула и, пройдя в маленькую комнату, растягивается на постели, положив голову на бедро Линды.

Макс положительно потрясен наивностью своих друзей. Не в силах скрыть своего изумления, он восклицает:

— Вы что, вчера родились? Вы не знаете, что такое оплодотворенные яйца? Это высиженные яйца.

Захватив с собой бутылку, Макс тоже втискивается в комнатушку, перелезая через лежащих на постели женщин. Ставит бутылку на полку и садится на краю постели. Усаживаясь, он чуть не падает — или делает вид, что теряет равновесие,— и опирается рукой на грудь Эмилии. Женщина шутливо дает ему подзатыльник. Наконец, устроившись поудобнее, он продолжает начатый разговор, все время стараясь при этом как можно теснее прижаться к Эмилии.

МАКС. Есть такое лечение, курс которого проходят осенью и весной. Надо пить их на девятый день, когда желток уже начинает превращаться в птенца.

Чтобы лучше слышать, Джулиана также подходит поближе и ищет, где бы пристроиться. Теперь на постели уже четверо. Линда и Эмилия подвигаются, чтобы освободить ей место. Макс, разумеется, тоже подвигается вслед за Эмилией и, ни на секунду не умолкая, продолжает:

— Я их пил. Я покупал их у монахов и помню, что на них были две маленькие черные точки... Я спросил: что это такое, святой отец? Это глазки, сын мой. Глотай, глотай, не рассматривай.

ДЖУЛИАНА. И ты их глотал?

Последовавший за ее словами взрыв смеха выводит Уго из задумчивости. Он тоже протискивается в комнатку, прокладывая себе путь между лежащими. Наконец находит свободное местечко и пристраивается возле Линды, юбка которой задралась до самых бедер.

ЭМИЛИЯ. Во всяком случае, я даже не дотронулась до этих яиц.

ЛИНДА. Дотронулась или нет, Мили, но у тебя всегда глаза словно пьяные. Поглядите на нее...

Коррадо, оставшийся один в большой комнате, прислонил спинку стула к перегородке и слушает разговор через стену. Ему вовсе не хочется сидеть в одиночестве, совсем напротив, он желал бы тоже втиснуться в соседнюю комнатушку. Он ставит свой бокал на буфет. По ту сторону перегородки Линда продолжает:

— Почему ты не взяла с собой Аугусто?

ЭМИЛИЯ. Я его бросила.

ЛИНДА. Не может быть!

ЭМИЛИЯ. Я не могу ложиться в постель с человеком, который зарабатывает меньше меня.

Снова все смеются. Эмилии приходится потесниться, чтобы дать возможность войти появившемуся на пороге Коррадо. Она делает это весьма охотно, стараясь освободить для него местечко рядом с собой. Но он сразу же подсаживается к Джулиане. Однако Эмилия не сдается, пробирается к нему ползком по постели и говорит:

— Вы знаете эту игру?

КОРРАДО. Какую игру?

Среди всеобщего внимания Эмилия берет ногу Коррадо и сгибает ее, потом легко касается кончиками пальцев колена и затем медленно сжимает его в руке. Это движение Эмилия повторяет два-три раза, пристально смотря в глаза Коррадо. Затем, уверенная в том, что это возымело действие, спрашивает:

— Что вы чувствуете?

Коррадо же, однако, по-прежнему хранит невозмутимый вид и ледяным тоном отвечает:

— Почти ничего.

Макс протискивается поближе, предвкушая неизведанное удовольствие, и говорит:

— И мне тоже, мне тоже.

Он ставит ногу в такое же положение и просительно смотрит на Эмилию.

— Вот увидишь, что со мной приятнее иметь дело.

Эмилия легонько проводит рукой по колену Макса. Макс закрывает глаза, и это вызывает у Джулианы смех. В этой тесноте Коррадо и Джулиана неминуемо вынуждены касаться друг друга, но Джулиана, по-видимому, не замечает этого. В наступившей на мгновение тишине, вызванной игрой, за окном слышится крик — далекий, жалобный зов. Джулиана тотчас поворачивается к стене и прислушивается, не повторится ли он; Линда тоже обернулась, но вид у нее рассеянный. Впрочем, и Джулиана уже забыла о крике и вновь поворачивается к друзьям. Выражение лица у нее какое-то странное, она смеется, и смех ее звучит немного двусмысленно. Игра, затеянная Эмилией, кончилась, и теперь все уставились на Джулиану, удивленные ее необычной шумной веселостью. Джулиана поднимает сжатый кулак, в котором что-то прячет, и продолжает как-то странно смеяться.

МАКС. Что у тебя там?

У Джулианы невероятно довольный вид, как у маленькой девочки, задумавшей какую-то шалость. Она медленно разжимает руку: там спрятано перепелиное яйцо. Джулиана начинает его есть и спрашивает Макса:

— Оно действует сразу?

МАКС. Еще как... Съешь остальные.

Джулиана не заставляет себя просить дважды. Она перелезает через лежащих, спрыгивает с кровати, подходит к столу и принимается за другое яйцо. Линда, наблюдающая за ней через открытую дверь, просит:

— Принеси мне тоже одно.

А затем укоризненно обращается к Максу:

— Ты, Макс, все же мог бы мне об этом сказать...

МАКС. Ты молчи, ты и так всегда слишком взвинчена. Включи лучше транзистор.

Джулиана возвращается в комнатку и, стоя в ногах постели, не спеша доедая яйцо, сосредоточенно прислушиваясь к своим ощущениям. Из транзисторного приемничка несется мелодия сёрфа.

ЛИНДА. Что ты чувствуешь?

Джулиана несколько раз причмокивает губами, словно стараясь подольше удержать во рту вкус этого странного блюда, и отвечает:

— Пока что ничего.

Она продолжает прислушиваться к происходящему у нее внутри, словно ожидая, что должно что-то случиться, и чувство напряженного ожидания постепенно передается всем присутствующим. Воспользовавшись этим, Макс принимается преспокойно расстегивать сзади платье Мили. Потом начинает поглаживать ее по голой спине. Мили делает легкое движение.

ДЖУЛИАНА. Погодите... Может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, что действительно...

Вновь на мгновение умолкает, закрывает глаза, потом открывает и очень естественным тоном заканчивает:

— Я испытываю желание.

Слова Джулианы вызывают взрыв смеха и восклицаний, оживленную жестикуляцию. Макс выражает свое веселье, разумеется, обнимая Эмилию. Линда катается по постели от смеха, и голова ее оказывается на коленях Уго. Коррадо не сводит глаз с Джулианы. Царящее в комнате веселое возбуждение достигло апогея. Макс роняет бокал и обливает вином Линду. Женщина громко вскрикивает. Макс берет бутылку и швыряет ее в раскрытую дверь. Коррадо, хохоча, упирается ногами в перегородку, вдруг он чувствует, что одна из досок поддается и нога его просовывается в соседнюю комнату. Он с расстроенным видом поворачивается к Максу:

— Извините...

МАКС. Не обращайте внимания!

Внезапно посреди этой веселой неразберихи слышится скрип открываемой двери. Макс высовывает голову посмотреть, кто пришел, и восклицает:

— Кого я вижу!

Это рабочий, одетый довольно элегантно. Он стоит на пороге с немного расс

рянным видом — парень явно не ожидал, что домик занят другими. С ним девушка, она тоже застыла у двери. Рабочий пытается оправдаться:

— Прошу извинить меня, синьор Макс... Я ведь не знал...

Макс не дает ему кончить:

— Да ну что ты, Орландо... Заходи!

Он свешивается с постели, чтобы лучше разглядеть девушку, и говорит ей:

— А это кто? Проходите, проходите и вы, синьорина... Выпейте хотя бы стаканчик... Возьми бутылку, вон там на столе.

Потом, повернувшись, объясняет друзьям:

— Это один из моих рабочих. Он прямо как еж — каждый день у него новая. Потрясающе!

Девушка — пышущая здоровьем, плотная и пышная брюнетка. Макс старается помочь ей побороть смущение:

— Как зовут эту красивую синьорину?

РАБОЧИЙ. Иоле.

Макс вновь обращается к своим друзьям, сгрудившимся у двери комнатки, чтобы рассмотреть пришедшую парочку:

— Ее зовут Иоле — так же, как мою лодку.

Потом снова оборачивается к рабочему:

— Мы тут говорили кое о чем, что, наверно, интересует и вас обоих. Ведь это ты, Орландо, помнится, рассказывал мне про жир?

РАБОЧИЙ. Какой жир?

МАКС. Тот, который употребляют негры для того... ну, для того, чтобы, скажем, быть сильнее. Что это за штука?

Рабочий чуть смущенно улыбается:

— Ах, вы про это... Ничего особенного, крокодиловый жир... крокодиловый жир и разные другие вещи... пряные травы, которые там у них растут. Они этим натираются, прежде чем...

Он замолкает, словно подыскивая слово, которое означало бы то же самое, но которое можно было бы произнести.

ЭМИЛИЯ. А что они себе натирают?

ЛИНДА. Мили, не строй из себя дуру.

РАБОЧИЙ. Ну, в общем... Это действует в течение нескольких часов.

МАКС. Подумай только, Мили: несколько часов!

ЭМИЛИЯ. Я этому не верю.

Коррадо, который чувствует себя в этой атмосфере вполне привычно и легко, с горячностью вмешивается в разговор:

— Это правда, правда... Вы даже не можете себе представить, к каким средствам прибегают люди в некоторых странах. В Иордании я видел, как утром завтракают бараньим жиром с двумя ложечками меда.

МАКС. А что вы скажете про китайцев, которые едят растертый рог носорога?

УГО. Сушеные акульи плавники тоже придают силы.

МАКС. Знаете, я могу вам кое в чем признаться: я пробовал королевскую кашу. Она здорово помогает, не правда ли, Линда?

ЛИНДА. Да перестань...

Джулиана спрашивает Уго:

— А что это за королевская каша?

УГО. Это мед пчелиной матки.

Обращаясь к Иоле, Макс продолжает:

— Ее едят также и для того, чтобы помолодеть. Не забудьте об этом, синьорина,— пригодится, когда станете старше.

КОРРАДО. Но только в том случае, если тогда вы еще будете хотеть любить.

МАКС. Вы слышали?.. Что вы об этом скажете?

ДЕВУШКА. Что до меня, то я скажу: есть вещи, которые мне нравится делать, но о которых не нравится говорить.

Все смеются.

ЛИНДА. Браво!

ЭМИЛИЯ. Почему? За неимением другого мне нравится об этом хотя бы говорить.

ЛИНДА. Это потому, что ты порядочная свинья.

Опять все смеются. Орландо наливает себе еще вина.

МОЛ. ДЕНЬ

Домик погружен в туман. На молу раздается глухой рев сирены, подающей сигналы. Орландо и его девушка выходят из лачуги.

ДОМИК МАКСА. ДЕНЬ

Шестеро друзей еще лежат на постели. Кто из них спит, кто уже проснулся. Джулиана нервно кусает ногти, вид у нее совершенно отсутствующий. Коррадо не сводит с нее глаз. Уго просыпается, поднимает голову и говорит:

— Почему же это тут так холодно?.. Джулиана, ты не замерзла?

ДЖУЛИАНА. Я? Да, мне холодно.

Уго поднимается, перешагивает через Линду, которая тоже проснулась, добирается до двери и слезает с постели. Подходит к печи, в которой лишь едва тлеют угли. Озирается вокруг, ища дрова, но нигде их не видит.

УГО. Макс, где дрова?

МАКС. Должны быть там.

Уго продолжает искать и наконец находит несколько поленьев.

УГО. От этих мало толку.

МАКС. Сейчас я тебе принесу еще.

Слезает с постели и заходит в крошечный чуланчик. Выносит оттуда охапку дров и идет к печке.

В то время как Уго с Максом возятся у печки, в маленькой комнатке Джулиана пытается слезть с постели. При этом она волей-неволей вынуждена всем телом навалиться на лежащего рядом Коррадо. Коррадо внешне невозмутим, однако ему жаль, что Джулиана уходит, и он провожает ее взглядом, выдающим всю его досаду.

Джулиана берет сумочку и, достав какой-то тюбик, вынимает из него таблетку, которую растворяет в стакане с водой. Она стоит у окна, выходящего на мол. Подняв глаза от стакана, она восклицает:

— Смотрите!

Макс и Уго подходят и выглядывают в окно.

МАКС. Останавливается здесь. Не понимаю почему.

УГО. Наверно, из-за тумана.

Из тумана, как гигантский призрак, вырастает какая-то огромная темная масса. Кажется, что она движется прямо на домик. Джулиана инстинктивно отшатывается от стекла, к ней подбегают все остальные и смотрят в окно. Тишину трижды разрывает глухой и мрачный рев сирены. Это старое черное судно. На несколько секунд в лачуге все замолкают. Судно останавливается. Коррадо тоже встал и смотрит, высунувшись в дверь. Появление корабля вызывает у него профессиональный интерес:

— Из Южной Америки сюда тоже приходят?

УГО. Еще бы. Но то большие суда, они бросают якорь у острова САРОМа.

Коррадо что-то обдумывает, потом говорит:

— Я спрашиваю потому, что мне пришла в голову одна идея... вернее, пока что пол-идеи... Что, если грузить весь материал не в Генуе или Неаполе, а здесь? Я скорее закончу погрузку, и возможно, это мне дешевле обойдется. Они ведь обратно идут, наверно, порожняком?

Как раз напротив окна на корабле показывается моряк.

МАКС. Мили, если тебя это интересует, то имей в виду, что он месяца два не видел женщин.

Эмилия пожимает плечами. Макс подходит к ней и вполголоса говорит:

— Это была очень милая игра. Ты знаешь и другие в таком же роде?

ЭМИЛИЯ. Конечно... сколько угодно.

МАКС. Где же это ты им научилась?

Эмилия насмешливо смотрит на него и отвечает:

— А как ты думаешь, где я могла научиться?

МАКС. Ах ты негодница!

Ухмыляется вслед уходящей Эмилии. Та приближается к Линде и с неожиданной и еле сдерживаемой злобой говорит тихо, но не настолько, чтобы этого не могла услышать стоящая рядом Джулиана:

— Как я его ненавижу!

ЛИНДА. Кого?

ЭМИЛИЯ. Твоего мужа. Потому что он всегда как стервятник... набрасывается на предприятие, хозяева которого обанкротились, или на женщину, которая переживает душевную драму... Вот увидишь, дело кончится тем, что ему удастся получить и меня.

Джулиана ошеломленно глядит на нее.

ЭМИЛИЯ. Он правильно выбрал момент, чтобы заполучить меня, понимаешь?

Джулиана оборачивается к Линде, ожидая с ее стороны какой-то реакции. Однако Линда ограничивается тем, что отходит в сторону — то ли ей нет до этого дела, то ли она уже примирилась. Джулиана продолжает пристально на нее смотреть, не понимая ее поведения. Потом вновь опускается на стул. Повернув голову, замечает стакан с водой, который она приготовила для мужа. Встает и со стаканом в руке направляется к окну. Там по-прежнему Коррадо, который разговаривает с Уго.

КОРРАДО. Как правило, это танкеры. Кто знает, возьмут ли они груз.

УГО. Возможно, возьмут. Всегда найдется сухое место на корме.

Джулиана протягивает стакан мужу:

— Вот, держи.

УГО. Спасибо.

Уго пьет. Коррадо пристально глядит на Джулиану, которая, в свою очередь, внимательно смотрит, как пьет муж. Отчасти из-за скромности, отчасти чувствуя, что он лишний — он почувствовал это по интимному тону супругов,— Коррадо уходит. Как

только он от них отходит, Джулиана приближается к мужу вплотную и со странным выражением лица говорит:

— Знаешь, когда я сказала, что испытываю желание, это была правда.

Уго улыбается — он несколько удивлен этим признанием, а также хочет скрыть свое смущение:

— Да... но как же тут быть?

Он озирается вокруг, как бы говоря: увы, здесь это невозможно. Джулиана тоже улыбается. Раздаются голоса Макса и Коррадо.

МАКС. Хотите, я раскрою вам один секрет? Никогда не надо гоняться за делами. Я стою на месте, а они вертятся вокруг.

Он заходит в чулан и шарит в карманах своего плаща.

КОРРАДО. Да я никогда ни за чем и не гоняюсь. Я уезжаю, потому что мне нравится... а также потому, что считаю нужным время от времени менять образ жизни, работу... Путешествовать имеет смысл, если при этом попадаешь — как бы это сказать?..— в другую историческую обстановку... А иначе к чему же?

Он разговаривает с Максом холодным тоном делового человека. Однако в его словах сквозит желание выговориться, облегчить душу. Макс выходит из чулана, не найдя того, что искал.

МАКС. За два последних года я купил два земельных участка, потом сразу же их перепродал, чтобы приобрести консервный завод. Эту лачугу...

КОРРАДО. Вы ее тоже продаете?

МАКС. Уже продал — тому рабочему, что заходил,— за гроши. Покупать и тотчас же продавать... быстро... быстро...

В то время как Макс разглагольствует, Джулиана подходит к окну: за стеклом корабль, туман... Эмилия сидит возле перегородки и дергает доску, до того проломленную Коррадо, пытаясь ее отодрать. Макс восклицает:

— Да что ты делаешь?

ЭМИЛИЯ. Можно сдохнуть от холода, можно сдохнуть.

И несет доску к печке, чтобы бросить ее в огонь. Проходя мимо Коррадо, говорит ему:

— Ну-ка, вставай, помоги мне.

Идет вновь к перегородке и начинает отдирать другую доску. Коррадо, после недолгого замешательства, также принимается ломать перегородку — его забавляет выдумка Эмилии, кроме того, протесты Макса не слишком категоричны.

МАКС. Ну, не надо, Мили... Перестань!..

Вновь раздается треск, который привлекает всеобщее внимание,— это старается Коррадо. Линда откладывает книгу и решает тоже принять участие в разгроме. Она весело кричит:

— Правильно, правильно!

Уже выломаны четыре доски. Затем наступает очередь колченогого стула. Вслед за тем отправляются в печь новые и новые доски. Постепенно бурное оживление охватывает всех присутствующих.

Коррадо и Эмилия — самые активные. Они передают топливо Линде, Уго и наконец Джулиане, которая бросает его в печь. Макс же, упав без сил на стул, корчится от смеха. Между приступами смеха он, задыхаясь, шепчет, обращаясь к снующим мимо него друзьям:

— Ну, не надо, ребята, нельзя же... ведь я его продал... Он теперь принадлежит Орландо... он ему нужен для его брюнетки...

Перегородка уже наполовину сломана. Виднеющаяся по другую сторону мятая постель, зажатая меж красных стен комнатки, столь живо напоминает о нелепом и бессмысленном недавнем возбуждении, что Джулиане становится чуточку стыдно за всех. В самом деле, она первая перестает ломать стены, ее примеру тотчас следует Коррадо. Вскоре все успокаиваются и валятся на стулья, ослабев от смеха. Остается стоять только Джулиана. Вдруг став серьезной, она подходит к окну, смотрит на море — вернее, тот кусочек моря за шестами расставленных сетей, который можно разглядеть в тумане.

ДЖУЛИАНА. Оно всегда в движении. Всегда, всегда, всегда...

Она говорит эту фразу тихим голосом подошедшему к ней сзади Коррадо. И продолжает:

— Я не могу долго смотреть на море — иначе все, что случается на земле, перестает меня интересовать.

Коррадо, глотнув вина, произносит:

— Да... Иногда я спрашиваю себя, не напрасно ли все это... Я говорю про то, что мы вкладываем в нашу работу, про ту серьезность, с которой мы к ней относимся. Не находишь ли и ты ее смешной?

Джулиана все так же не отрываясь смотрит на море. Еле слышно шепчет:

— Мне кажется, у меня на глазах слезы.

Потом резко поворачивается лицом к комнате и глядит на присутствующих.

ДЖУЛИАНА. Но что они хотят, чтобы я сделала со своими глазами?.. На что я должна смотреть?

КОРРАДО. Ты спрашиваешь: на что я должна смотреть? А я спрашиваю: как я должен жить? Это одно и то же.

За окном на молу появляется темный автомобиль. Из него выходят двое мужчин — один из них с маленьким чемоданчиком — и направляются к трапу корабля.

Подошедший к окну Уго указывает на мужчину, который поднимается по веревочному трапу на борт судна.

— Это врач.

Линда встает, смотрит в окно и говорит:

— Значит, они приехали за тем, который кричал.

К окну подходит и Макс. Он спрашивает:

— А кто кричал?

ЛИНДА. Не знаю... Помните, мы слышали крик...

УГО. Прости, пожалуйста, но при чем тут крик? Ведь тогда судна еще не было.

ЛИНДА. Как не было?

УГО. Да, не было. Оно приплыло, когда я пошел посмотреть огонь в печке.

ЭМИЛИЯ. Да ты с ума сошел. Оно уже полчаса как там стояло.

МАКС. А вы слышали крик?

КОРРАДО. Я не обратил внимания.

ЛИНДА. Да вы что, шутите?

МАКС. Этот крик, наверно, был в твоем романе.

Линда сразу сдается:

— Ты так думаешь?.. Может быть.

И вновь углубляется в книгу. Джулиана, стоя неподвижно, говорит:

— Я его слышала.

Все изумленно на нее смотрят. Уго решает вмешаться, чтобы сразу с этим покончить:

— Хватит вам, прошу вас, перестаньте. Слышали мы крик или не слышали, ну разве это имеет значение?

ДЖУЛИАНА. Да, имеет! Кто-то действительно кричал... Линда вовсе это не выдумала...

Все удивлены горячностью, с которой спорит Джулиана. Уго вновь вмешивается и говорит умиротворяющим тоном:

— Ну, хорошо, Джулиана, допустим, кто-то кричал...

Джулиана очень возбуждена. Она прерывает мужа:

— Нет, вы не должны соглашаться со мной просто так... будто я какая-то...

Умолкает, словно собственные слова, особенно те, которые она не захотела произнести, испугали ее.

МАКС. Прости, Джулиана, но кто тут мог кричать? Ведь мы фактически среди моря...

ДЖУЛИАНА. Но, боже правый, Линда, почему ты сказала «может быть»?

Линда поднимает голову от книги и спрашивает:

— Я разве сказала «может быть»?

С судна доносится какой-то шум. Линда кладет книгу, распахивает дверь, и у нее вырывается восклицание:

— Черт возьми!

Они видят, как в тумане по мачте судна ползет вверх желтый флаг.

МАКС. Вот влипли: оспа, холера или проказа.

ЭМИЛИЯ. Может быть... Не будем преувеличивать.

УГО. В случае заразной болезни поднимают один или два флага?

МАКС. Один, один...

Услышав это известие, несколько секунд все, будто остолбенев, стоят неподвижно. Уго, словно раскаиваясь в том, что был слишком резок с женой, оборачивается и смотрит на нее, словно пытаясь ее приободрить.

ДЖУЛИАНА. Уйдем отсюда... сейчас же уйдем, прошу вас...

УГО. Ну что ты... может быть, это лишь мера предосторожности...

МАКС. Наверно, у кого-то просто колики.

КОРРАДО. Я посоветовал бы подождать врача.

УГО. Правильно. Тем более мы с ним знакомы. Ты тоже его знаешь, Джулиана, мы у него спросим, что случилось...

Но Джулиана вне себя от страха и волнения. Она мечется по комнате, ища пальто.

ДЖУЛИАНА. Нет... ты его ни с чем не спрашивай... Прошу вас, уедем... Где мои перчатки?..

Остальные тоже поспешно собираются, хватая свои пальто, перчатки, шляпы. Все молчат. Тишину нарушает лишь шум их суетливых движений.

Джулиана первой идет к двери, даже не успев как следует надеть пальто.

МОЛ. ДЕНЬ

Джулиана выходит из лачуги, за ней следом идут Коррадо и остальные. В спешке ей никак не удается попасть в рукав пальто. Она бросает сумочку на ступеньку и наконец попадает в рукав. Тотчас пускается бежать, за ней следуют все остальные.

передался ее панический страх. По молу и по каналу низко плывут клубы тумана, окутывая темную громаду судна.

Подбежав к месту, где стоят их машины, Джулиана спрашивает мужа:

— Моя сумочка у тебя?

УГО. Нет.

Джулиана секунду думает, потом вспоминает:

— Она на ступеньке.

КОРРАДО. Я сбегаю за ней.

И направляется обратно к домику. Но Джулиана начинает горячо возражать:

— Нет, нет... не ходи... я не хочу... она мне совершенно не нужна.

КОРРАДО. Мне ведь уже сделали все прививки, влили все сыворотки, какие только возможно... Я ни капельки не рискую.

ДЖУЛИАНА. Все равно, я не хочу.

Уго вмешивается и нарочито спокойным тоном говорит:

— Джулиана, веди себя разумно... садись в машину. За сумкой схожу я.

С шоссе сворачивает санитарная машина и на полной скорости мчится к кораблю. Джулиана в ужасе провожает ее взглядом. Коррадо поворачивается и уже было направляется назад, к домику, но Уго говорит ему:

— Нет, Коррадо, подожди, схожу я.

Он делает несколько шагов, чтобы догнать приятеля, но Джулиана хватает его за руку и останавливает. На ней нет лица. Потом подбегает к Коррадо, останавливает его. Все молча смотрят на нее, обступив полукольцом. Она одиноко стоит в середине под их изумленными и вопросительными взглядами. Только Коррадо с ней рядом.

Джулиана пристально глядит на четырех стоящих перед ней людей. Принесенный ветром туман почти полностью закрыл все за их спинами. Мало-помалу и их фигуры начинают терять свои очертания, расплываться, и даже те немногие цвета и краски, которые можно было еще различить, исчезают.

Проходит несколько секунд. Потом Джулиана направляется к стоящим машинам и садится в свой автомобиль. Она включает мотор, но вместо того, чтобы повернуть в сторону твердой земли, к шоссе, решительно поворачивает в сторону мола.

Мол, по мере того как уходит в море, делается все уже, он там настолько узок, что с трудом может пройти одна машина. Кроме того, из-за тумана не разглядеть, где он кончается. Как только автомобиль трогается, вся группа приходит в движение. Все инстинктивно делают несколько шагов вперед, словно их подталкивает общее беспокойство — опасение, что Джулиана из-за тумана свернула не в ту сторону, не заметит, где кончается мол, и упадет в море.

Линда пускается вслед за машиной, за ней бегут Уго и Коррадо. Коррадо первым достигает конца мола и с облегчением видит: машина остановилась у маяка, всего в нескольких сантиметрах от воды.

Через несколько секунд подбегают Уго и Линда.

Джулиана сидит в машине, руки на руле. Мотор автомобиля еще включен. Ногами женщина изо всех сил уперлась в педаль сцепления и тормоз, лицо ее искажено страхом. Она не решается или не может пошевельнуться. Коррадо спокойно открывает дверцу машины, выключает мотор и тянет ручной тормоз, в то время как Уго, подойдя с другой стороны, что-то говорит Джулиане — слов не разобрать, так как их заглушает прерывистый рев сирены маяка.

Джулиана отвечает мужу, но отчасти также и самой себе, стараясь убедить себя в том, что все обстояло действительно так, как она говорит:

— Я знаю, Уго... я ошиблась...

Она выходит из машины. Уго говорит ей:

— Да как ты могла ошибиться? Ты разве не видела судна? Только что ты так боялась, а потом вдруг...

Джулиана дрожит. В отчаянии она цепляется за дверцу машины. Она умоляет ей поверить:

— Я его не видела, я о нем совсем забыла... я хотела поехать домой, только попасть домой... это все из-за тумана... я запуталась, я просто ошиблась, Уго, клянусь тебе... А ты-то чего плачешь, скажи на милость?

Линда в самом деле громко всхлипывает. Джулиана сама еле сдерживает слезы. Она молчит, и никто из троих тоже не нарушает молчания. Глубоко потрясенный Коррадо лишь смотрит на нее. Над морем вокруг мола разносятся крики невидимых в тумане чаек.

КВАРТИРА ДЖУЛИАНЫ. ПОЗДНИЙ ВЕЧЕР

Уго и мальчик сидят у столика, заставленного игрушками, вернее, пособиями для физических и химических опытов. На подоконнике, на полках — словом, во всей комнате полно игрушек, таких, как, например, сердце из пластика, ракетная база, большой разбирающийся человеческий глаз из цветной пластмассы и тому подобное. Приходит Джулиана и останавливается на пороге. Она смотрит, как отец с сыном увлеченно возятся с микроскопом.

УГО. Ух, как здорово!

ДЖУЛИАНА. Я укладываю твой чемодан. На сколько дней ты едешь?

УГО. Дней на пять... шесть...

Джулиана уже собирается уйти, но мальчик спрашивает:

— Мама, сколько будет один и один?

ДЖУЛИАНА. Что за вопросы ты задаешь: два.

МАЛЬЧИК. Неправильно. Смотри.

Джулиана подходит поближе, а мальчик тем временем берет пипетку и стеклышко и капает на стекло каплю темной жидкости.

МАЛЬЧИК. Одна...

Потом на первую каплю выдавливает из пипетки еще одну.

МАЛЬЧИК. И еще одна...

С торжествующим видом показывает стеклышко, на котором обе капли, разумеется, слились в одну.

МАЛЬЧИК. Сколько их?

Джулиана несколько растерянно глядит на стекло и соглашается:

— Одна. Верно. Скажи, пожалуйста...

Наклоняется и целует сына в голову. Лицо ее внезапно принимает серьезное, напряженное выражение. Она выпрямляется и уходит.

Джулиана в спальне продолжает укладывать чемодан. Почти тотчас вслед за ней входит Уго и говорит:

— Я думаю, тебе следовало бы сказать Линде, чтобы она, пока меня не будет, спала здесь.

Джулиана смотрит на мужа с подозрением:

— Зачем?

Уго отвечает, стараясь придавать своим словам как можно меньше значения:

— Да просто так. Если ты вдруг проснешься ночью, по крайней мере кто-то будет рядом.

Джулиана прекрасно понимает беспокойство мужа и растерянно произносит:

— Хорошо... Я могу ей сказать.

Желая скрыть свое волнение, вновь склоняется над стоящим на постели раскрытым чемоданом. Но тотчас она словно жалеет, что согласилась — ведь это ее согласие даст возможность строить бог знает какие предположения: вдруг еще подумают, что она до сих пор больна,— и поспешно добавляет:

— Но лучше, может быть, не стоит.

Уго несколько удивлен. Ничего не сказав, он уходит. Джулиана вновь принимается укладывать вещи в чемодан, но тут же бросает и поспешно выходит из комнаты.

Она возвращается в детскую, где мальчик теперь играет с заводным пластмассовым «летающим блюдцем». Уго сидит на краю постели и заводит игрушку. Он держит ее некоторое время за бечевку в воздухе, потом осторожно опускает на пол. Диск, снабженный жироскопом, начинает вращаться. Ребенок смотрит на него как зачарованный.

УГО. Смотри, как интересно. Ты видишь, как он вертится?

Диск вращается все быстрее.

УГО. Попробуй поставить его прямо.

МАЛЬЧИК. Сейчас.

Берет игрушку и приводит ее в вертикальное положение.

Волчок описывает медленные круги, наклоняется, ударяется о колено Валерио, отскакивает, но не падает.

УГО. Знаешь, почему он не падает?

МАЛЬЧИК. Почему?

УГО. Потому что в середине у него жироскоп.

МАЛЬЧИК. А что такое жироскоп?

УГО. Это такой прибор. Большие жироскопы ставят в трюмах судов, чтобы придать им устойчивость, когда на море буря.

МОРЕ И ОСТРОВ САРОМа. ДЕНЬ

Стальной остров САРОМа находится в шести километрах от берега. К нему пришвартован кормой большой танкер. Нефть льется по большому черному рукаву, подвешенному к стреле подъемного крана.

Джулиана стоит на платформе, разглядывая сложные переплетения металлических конструкций надстроек острова. Потом, перегнувшись через перила, смотрит на море, над которым совсем низко летает стая чаек, затем поворачивается и прослеживает взглядом изгибы висящего в воздухе нефтяного шланга. С судна на блоке спускается Коррадо; сидя на укрепленной на двух канатах перекладине, он жестами прощается с капитаном, который в ответ тоже машет ему рукой. Коррадо опускают на островок, и он направляется к Джулиане, знаками показывая ей, что все в порядке.

КОРРАДО. Это будет стоить мне вполовину дешевле — перевозка людей и материалов. Правда, выгрузка в Буэнос-Айресе, но все равно неплохо.

Джулиана молчит. Коррадо говорит, все более воодушевляясь. Отъезд, плавание, организационные хлопоты, практические заботы, по-видимому, полностью занимают все его мысли.

ДЖУЛИАНА. Что ты берешь с собой?

КОРРАДО. Электрогенераторные установки, грузовики с подъемными кранами, трубы... разное оборудование для целого предприятия.

ДЖУЛИАНА. Нет, я спрашиваю о тебе... о твоих личных вещах.

КОРРАДО. Ничего. Пару чемоданов.

Снова молчание. Слышится лишь глухой стук мотора и шум волн, беспрестанно бьющихся о стальные опоры, поддерживающие остров.

ДЖУЛИАНА. А если бы пришлось уезжать мне, то я увезла бы с собой все, все, что я вижу, все, что каждый день находится у меня под рукой, даже пепельницы.

КОРРАДО. Ну тогда лучше оставаться там, где ты есть, иначе еще начнешь оплакивать все, с чем расстался,— улицу, на которой жил, родной город...

ДЖУЛИАНА. Иногда читаешь объявления в газете: «В связи с отъездом продается...», словно это просто предлог для того чтобы бросить все, что имеешь, или хотя бы какую-то часть...

Вдруг оживившись, делает нервное движение.

ДЖУЛИАНА. Зачем?.. Так не следовало бы делать. Откуда знаешь, что тебе понадобится?.. А кроме того, разве можно быть уверенным, что по возвращении ты найдешь вновь вещи и людей, которых оставляешь?.. А если и найдешь, то будут ли они такими, как прежде?

КОРРАДО. Возможно, что я больше не вернусь.

ДЖУЛИАНА. Если бы мне пришлось уехать, чтобы больше не возвращаться, то я взяла бы с собой и тебя.

Коррадо, пораженный словами Джулианы, становится серьезен.

ДЖУЛИАНА. Да, потому что теперь уже ты — это часть меня. То есть часть того, что меня окружает.

Оба молчат. Коррадо подходит к Джулиане, с любовью смотрит на нее. В этот короткий миг интимности Джулиана отвечает ему таким же откровенно нежным взглядом и говорит:

— Если бы Уго посмотрел на меня так, как смотришь ты в эти дни, он многое бы понял.

Коррадо, помолчав минутку, спрашивает:

— Эту историю с аварией?

Джулиана утвердительно кивает.

КОРРАДО. И твою знакомую по клинике?

Джулиана вновь кивает головой.

КОРРАДО. Это была ты?

ДЖУЛИАНА. Я не хотела тебе говорить, стыдилась. Этого не знает даже Уго, я просила врачей.— После короткого молчания.— Я пыталась покончить с собой.

Отойдя на несколько шагов, Джулиана продолжает:

— Ты помнишь того рабочего в Медичине?

КОРРАДО. Да.

ДЖУЛИАНА. Я знаю его потому, что он лежал вместе со мной в клинике: он был совсем плох.

КОРРАДО. Он тоже пытался умереть?

ДЖУЛИАНА. Нет, он нет.

КОРРАДО. Но теперь он выздоровел, раз снова работает...

Джулиана кивает.

КОРРАДО. А ты как себя чувствуешь?

ДЖУЛИАНА. Хорошо.

И направляется к трапу, чтобы спуститься к ожидающей их лодке. Коррадо идет за ней.

СКЛАД. ДЕНЬ

На стене большая карта Южной Америки. Коррадо выступает перед рабочими — в просторном помещении склада собралось человек тридцать.

КОРРАДО. Как вы видите, Патагония находится неподалеку от Южного полюса. Сначала плывем до Буэнос-Айреса... из Буэнос-Айреса летим самолетом в Комодоро-Ривадавиа, а оттуда собственными средствами пятьсот километров добираемся до Калеты-Оливии.

Рабочие слушают его молча. Позади них высится груда корзин и больших оплетенных бутылей.

ПЕРВЫЙ РАБОЧИЙ. А где мы там разместимся?

ВТОРОЙ РАБОЧИЙ. Кто нам гарантирует, что вы заплатите...

ГОВОНИ. Не все сразу, не все сразу...

ПЕРВЫЙ РАБОЧИЙ. Где мы будет жить?

КОРРАДО. Мы везем сборные бараки со всеми удобствами.

Повернувшись к карте, хочет продолжить объяснения, но его прерывает второй рабочий:

— Кто нам гарантирует, что по окончании работ вы заплатите? Не могли ли бы мы получить какие-нибудь гарантии? Я не знаю... например, счет в банке... или что-нибудь вроде этого.

КОРРАДО. Потом мы поговорим и об этом. Имейте терпение, обсудим все по порядку.

Но его настигает новый вопрос.

ТРЕТИЙ РАБОЧИЙ. А там есть больница?

КОРРАДО. Есть, и очень хорошо оборудованная. Врач — итальянец из Турина.

ЧЕТВЕРТЫЙ РАБОЧИЙ. Через сколько времени можно будет выписать жену?

КОРРАДО. Не раньше чем через год... Но вы сможете раз в месяц разговаривать с вашими семьями по телефону.

ЧЕТВЕРТЫЙ РАБОЧИЙ. За чей счет?

КОРРАДО. За счет фирмы. Разумеется, если кто-то захочет говорить чаще...

Подняв руку, его прерывает другой.

ПЯТЫЙ РАБОЧИЙ. А «Спортивная газета» туда приходит?

Коррадо, державшийся в течение всего разговора очень спокойно и даже как-то отрешенно, теперь не может скрыть легкого раздражения. Его помощник отвечает за него:

— Приходит, приходит.

ПЯТЫЙ РАБОЧИЙ. Порядок.

ГОВОНИ. Вы сможете получать все итальянские газеты... только с некоторым опозданием.

ШЕСТОЙ РАБОЧИЙ. Там есть телевидение?

Этот вопрос вызывает общее оживление, и поднимается шум, заглушающий остальные вопросы.

СЕДЬМОЙ РАБОЧИЙ. Правда, что женщины там ходят с открытой грудью?

Коррадо внезапно теряет всякий интерес к происходящему и принимается разглядывать стоящие вокруг предметы и стены помещения. .

ДВОР СКЛАДА. ДЕНЬ

Коррадо выходит и пробирается между грудами оплетенных бутылей. Вид у него задумчивый и усталый. В туманном воздухе раздается вой сирены.

КВАРТИРА ДЖУЛИАНЫ. УТРО

Джулиана входит в детскую. Следом за ней идет прислуга. Джулиана еще в халате. Мальчик лежит в кроватке. Он слышит, что вошла мать, но молчит и хмуро смотрит на нее. Джулиана останавливается у постели.

ПРИСЛУГА. Он говорит, что не может стоять... больно ножки.

ДЖУЛИАНА. Что это еще за новости?

Мальчик не отвечает. Джулиана решительным жестом откидывает одеяло и начинает ощупывать ему колени, бедра.

ДЖУЛИАНА. Тут больно?

Валерио отрицательно качает головой. Джулиана щупает ножку под коленом.

ДЖУЛИАНА. А здесь?

МАЛЬЧИК. Нет.

ДЖУЛИАНА. А здесь?.. Здесь?

Она стучит по щиколотке, снова ударяет несколько раз по колену. Обеспокоенно наблюдает за реакцией мальчика. Тот не двигается. Джулиана ударяет еще сильнее.

ДЖУЛИАНА. Я тебе делаю больно?

МАЛЬЧИК. Я не чувствую.

Джулиану охватывает тревога.

ДЖУЛИАНА. Как не чувствуешь?.. Ты не чувствуешь, когда я тебе делаю вот так?

И вновь ударяет сына по колену. Мальчик качает головой. Джулиана поднимается и смотрит ему в лицо.

ДЖУЛИАНА. Ты знаешь, что с тобой? Тебе просто не хочется сегодня идти в детский сад.

Поскольку мальчик не отвечает, она отходит от кроватки и смотрит в окно. Всего в каких-нибудь нескольких десятках метров к причалу соседнего завода пришвартовалось судно.

ДЖУЛИАНА. Скорей беги сюда! Погляди, какой приплыл красивый корабль. Ах, какой красивый! Какой большой! Весь белый...

Мальчик упрямо уставился в стену. Джулиана вновь подходит к кровати. Несмотря на все ее усилия не делать из этого трагедии, видно, что она опасается самого худшего. Джулиана обменивается взглядом с прислугой, которая стоит рядом, не понимая толком, что происходит, и снова принимается ласкать мальчика.

ДЖУЛИАНА. Ну, дорогой... если ты не скажешь мне, где тебе больно, как же...

ПРИСЛУГА. Погодите, синьора, я попробую поднять его.

ДЖУЛИАНА. Да... попробуйте поставить его на ножки.

Прислуга приподнимает мальчика, но Валерио валится, словно его не держат ноги. Джулиана сжимает ему ножки, теперь уже не в силах справиться со страхом и тревогой.

ДЖУЛИАНА. Любовь моя, если ты мне не будешь помогать, как же я тебя вылечу?... Поднимите его.

Прислуга берет ребенка на руки, и Джулиана ударяет его по колену, проверяя рефлексы. Никакой реакции.

ДЖУЛИАНА. Нет, это невозможно!.. Любовь моя, иди ко мне... Как это началось? Ну, расскажи мне... прошу тебя...

Мальчик молчит. Джулиана продолжает:

— Ты почувствовал это, когда проснулся сегодня утром или же еще ночью? Скажи же...

Так как мальчик продолжает молчать, Джулиана поспешно говорит, обращаясь к прислуге:

— Принесите термометр.

11 часов.

Джулиана и Линда сидят в гостиной.

ДЖУЛИАНА. Но сделала ли я ему четвертую прививку против полиомиелита?

ЛИНДА. Да, конечно сделала. Ты что, думаешь, доктор не знает?

ДЖУЛИАНА. Отчего же тогда он сказал, что сможет поставить диагноз только через сутки? Я не в состоянии ждать так долго, я позову другого врача.

В отчаянии выходит из комнаты. Пытаясь ее остановить, Линда задевает лежащий на краю стола журнал и сбрасывает его на пол. Нагнувшись за журналом, она видит изображенного во всю страницу ребенка с искусственными конечностями. Она листает журнал — и здесь ужасные фотографии детей с деформированными телами из-за того, что их матери принимали талидомид.

14 часов.

Джулиана совершенно подавлена. Растерянным взглядом следит она за движениями сына, который играет в принесенные ему в постель игрушки. Мальчик, держа в руке вертолет, изображает его полет. Но вдруг бросает игрушку на пол.

МАЛЬЧИК. Мне надоело играть. Нарисуй мне еще картинку.

Джулиана, не отвечая ему, подходит к грифельной доске, словно автомат, не глядя, берет наугад цветной мелок и рисует лиловый круг. Потом выбирает черный мелок и проводит полосу поперек круга, затем желтым мелком добавляет еще одну полосу. Нарисовав это, застывает в неподвижности. Валерио ждет, что мать его еще как-нибудь развлечет, но Джулиана не в состоянии ничего больше придумать.

МАЛЬЧИК. Почему ты не расскажешь мне сказку?

Джулиана, пытаясь сосредоточиться, отвечает:

— Потому что я тебе уже рассказала все, которые знала.

МАЛЬЧИК. Почему ты мне не расскажешь ту, что вчера?

ДЖУЛИАНА. Какую?

МАЛЬЧИК. Про воздушного змея.

ДЖУЛИАНА. А почему бы тебе не подремать? А?

Подходит к кроватке, садится подле сына и гладит его.

ДЖУЛИАНА. Поспи немножко. Потом я тебе ее расскажу.

На экране сказка, которую рассказывает Джулиана сыну. Изображения сопровождает ее голос за кадром:

— Когда-то на одном острове жила-была девочка. Ей было скучно со взрослыми, она их боялась. С детьми, своими сверстниками, она не водилась потому, что они играли во взрослых. И поэтому она целые дни проводила в одиночестве среди бакланов, чаек, диких кроликов.

Она обнаружила вдали от селения маленький пляж, где море было прозрачно, а песок совсем розовый. Девочка полюбила этот уголок. Природа окрасила там все в такие красивые цвета, и ничто не нарушало тишины. Она уходила оттуда лишь тогда, когда и солнце исчезало с небосвода.

В одно прекрасное утро на море появился парусный корабль. Обычно там можно было увидеть лишь рыбачьи лодки. А это был настоящий большой парусник — такой, какие не боятся бурь и бороздят моря по всему свету и, кто знает, быть может, даже далеко за его пределами. Издали он казался ослепительно красивым.

Когда же он приблизился, то к этому прибавилось какое-то ощущение таинственности. На борту его не было видно ни одной живой души.

Корабль на несколько минут остановился, потом повернул и уплыл так же бесшумно, как и появился.

Девочка привыкла к человеческим странностям и не удивилась. Но едва она приплыла обратно и вышла на берег, как услышала...

....Женский голос, поющий очень нежную мелодию.

Одна таинственная загадка — куда ни шло, но две — это уже слишком! Кто это пел? На пляже, как всегда, не было никого, однако голос доносился все-таки оттуда. Он слышался то ближе, то дальше, и вдруг девочке показалось, что он идет из самого моря... из расщелин между скал... Их тут было так много... Девочка никогда раньше этого не замечала... Скалы были розовые, как человеческое тело... и голос звучал все слаще и слаще...

МАЛЬЧИК. Но кто же это пел?

ДЖУЛИАНА. Все пело... все вокруг...

16 часов.

Джулиана неподвижно стоит перед стеклянной балконной дверью и как зачарованная смотрит на плывущее по каналу судно. По лестнице поднимается прислуга с детскими газетами в руке. Она говорит:

— Синьора... Синьора... Вот газеты.

Джулиана берет газеты и направляется в детскую. Подойдя к приотворенной двери, она резко останавливается. То, что Джулиана увидела в щелку, повергает ее в такое изумление, что она неподвижно застывает и не может вымолвить ни слова. В комнате мальчик встал с постели, подошел к столику с игрушками и играет в одну из них, возя ее взад и вперед по столу, не замечая присутствия Джулианы. Потом берет игрушку и ложится обратно в постель. Но скрип открывающейся двери заставляет его обернуться. Джулиана входит в детскую. Мальчик тотчас же перестает вертеться и неподвижно замирает, избегая смотреть на мать. Первый естественный порыв Джулианы — она бросается к сыну, ощупывает его, удостоверяясь, что он здоров, что ножки у него двигаются, сжимает в объятиях, гладит, судорожно смеясь и плача одновременно. Но потом вдруг отстраняется от ребенка: она опустошена, словно окаменела. Ее начинает бить как в лихорадке. Еле слышно она шепчет:

— Как же так? Почему же ты мне сказал...

Ей снова кажется, что все кругом куда-то ускользает, пол уходит из-под ног. Ее сотрясает нервная дрожь, и она всхлипывает, рыдая без слез. Наконец, словно вдруг придя в себя, вскакивает, выбегает из комнаты, спускается по лестнице и распахивает входную дверь.

УЛИЦА, ПРИЧАЛ. СУМЕРКИ

Джулиана бежит по улице, идущей вдоль канала. Приближается к железным воротам, за которыми виднеется стоящее у стенки причала судно.

ОГРАДА НЕФТЕХРАНИЛИЩА АНИК. СУМЕРКИ

Джулиана поспешно шагает вдоль серой стены нефтехранилища АНИК, за которой высятся огромные круглые цистерны. Вдруг она пускается бежать, но потом приостанавливается и усталой походкой бредет дальше.

ГОСТИНИЦА КОРРАДО. ВЕЧЕР

Джулиана, задыхаясь, входит в вестибюль, направляется к стойке и спрашивает портье:

— Какая у него комната?

Портье смотрит на нее с изумлением:

— Простите, синьора... у кого?

ДЖУЛИАНА. Как у кого?

Вид у нее растерянный, она не в силах поверить, что кто-то может не знать, про кого она спрашивает. Портье продолжает:

— Вы не помните фамилию?

ДЖУЛИАНА. Фамилию?.. Фамилия...

Старается вспомнить фамилию, но у нее словно на мгновение отшибло память. Наконец вспоминает:

— Его зовут Коррадо.

Портье заглядывает в список постояльцев:

— Инженер Целлер?

Джулиана утвердительно кивает, словно желая сказать: ну, конечно, кто же может быть еще.

ПОРТЬЕ. Комната номер 309.

Джулиана взбегает по лестнице в то время, как портье спрашивает:

— Извините, синьора. У вас есть какой-нибудь документ?

По коридору навстречу ей идет Коррадо. Джулиана бредет, держась за стену: единственно реальное, конкретное на свете для нее сейчас — это Коррадо.

Джулиана входит в номер, Коррадо затворяет дверь и спрашивает тихо и неуверенно, словно боясь задать этот вопрос:

— ...Твой сын?

ДЖУЛИАНА. Нет, нет, он здоров... Я ему не нужна. Это я в нем нуждаюсь.

КОРРАДО. Да что с тобой?

ДЖУЛИАНА. У меня болят волосы, глаза, горло, рот...

Подходит к Коррадо, протягивая ему руки.

ДЖУЛИАНА. Скажи мне: я дрожу?

Коррадо берет ее руки в свои

КОРРАДО. Да, немного... Но, может быть, тебе холодно.

ДЖУЛИАНА. Да, мне холодно... мне холодно... холодно...

Она хочет подойти к отопительной батарее, но вместо того снимает пальто. Она объята беспокойством и не в силах его сдержать. В комнате царит беспорядок: чемоданы и раскиданная повсюду одежда придают ей вид кратковременного привала. Джу-

лиана трогает то одно, то другое, словно желая навести порядок, потом останавливается перед Коррадо и говорит:

— Ты ведь меня не любишь, не так ли?

Коррадо застигнут врасплох и медлит с ответом.

— Почему ты меня об этом спрашиваешь?

Джулиана отходит от него, говоря как бы сама с собой:

— Я и сама не знаю почему... Мне всегда кого-то не хватает... Почему я вечно нуждаюсь в других?.. Наверно, я просто дура: поэтому-то мне никак не удается от этого избавиться.

Коррадо делает несколько шагов по направлению к ней, но Джулиана отходит в глубь комнаты.

ДЖУЛИАНА. Ты знаешь, чего мне бы хотелось?.. Чтобы все те, кто когда-нибудь любил меня... были бы сейчас здесь, рядом со мной, закрыли бы меня, как стена.

КОРРАДО. Джулиана, ты наконец скажешь мне, что случилось?

ДЖУЛИАНА. Ничего. Подумай только: ничего.

Ее охватывает все более и более сильное волнение, она не в состоянии спокойно стоять на месте. Опустившись на колени подле кресла, она шепчет:

— Я не выздоровела.

Эта внезапно мелькнувшая мысль приводит Джулиану в ужас, а вслед затем ей в голову тотчас приходит другая:

— Я никогда не выздоровлю... Никогда... Никогда...

Она застывает, неподвижная, как статуя, глаза у нее полны слез. Но потом сразу же резко вскакивает и идет к окну. Коррадо подходит к ней и говорит:

— Ты слишком много думаешь о своей болезни. А ведь это самая обыкновенная болезнь... как и другие... Мы все ею немножко больны. Более или менее все мы нуждаемся в лечении.

Он пытается улыбнуться, но Джулиана не глядит на него. Она расхаживает взад и вперед по комнате, беспорядочно размахивая руками. Коррадо, нежно взяв ее за плечи, останавливает. Джулиана садится. На столике возле постели лежит географическая карта, она берет ее и разворачивает. Чтобы было удобнее рассматривать, Джулиана опускается на ковер и расстилает карту на полу. Это карта Южной Америки. Джулиана водит пальцем по странам, обозначенным зеленым, желтым, коричневым цветом, по голубому океану. Коррадо садится рядом с ней.

ДЖУЛИАНА. Хотела бы я знать, куда уехать, где было бы легче жить. Есть ли на земле такой уголок? Наверно, нет.

Коррадо, воспользовавшись ее словами, пытается придать разговору менее напряженный характер:

— По всей вероятности, ты права. Человек мотается, мотается по всему свету, а потом вдруг обнаруживает, что он все такой же, как прежде, ничуть не изменился. Со мной именно это и происходит. Я чувствую, что ни капельки не отличаюсь от того, каким был шесть лет назад... Но не знаю, это ли заставляет меня принимать решение — уехать или остаться.

Говоря это, Коррадо привлекает к себе Джулиану. Но она встает, словно боится задохнуться в его объятиях. Ощущение удушья заставляет ее стащить с себя шерстяную кофточку и бросить на пол. Потом она садится на постель по другую сторону от Коррадо и спрашивает:

— Когда ты уезжаешь, Коррадо?

КОРРАДО. Не знаю.

Он подходит к ней и садится рядом. Но Джулиана уже словно забыла о нем. Она смотрит вверх, напряженно во что-то вглядываясь.

КОРРАДО. Куда ты смотришь?

Джулиана указывает на стену и говорит:

— Туда.

Она медленно опускается на постель. Взгляд ее скользит по потолку, на котором появляется разноцветное пятно. Чтобы не видеть его, Джулиана накрывается с головой одеялом. Коррадо молча глядит на очертания ее тела под одеялом. Искушение дотронуться до нее слишком велико. Немного выждав и видя, что Джулиана не двигается, он протягивает руку. Женщина сильно вздрагивает. Она откидывает одеяло и пристально смотрит на Коррадо, крепко сжав кулачки.

ДЖУЛИАНА. Иногда мне хочется кого-нибудь избить.

Коррадо пытается пошутить:

— И это, по-твоему, симптом, внушающий опасение? Знаешь, мне тоже иной раз...

Но Джулиане сейчас вовсе не до шуток. Она дрожит всем телом. Поднявшись на колени, она прислоняется спиной к стене и несколько раз подряд проводит по ней рукой, точно желая проверить, достаточно ли она крепка, выдержит ли ее тяжесть. Потом начинает говорить, сначала тихо, но постепенно все громче и громче:

— Помоги мне... Помоги мне, прошу тебя... я... я боюсь, что мне одной не справиться. Я боюсь!

Охватившие Джулиану тоска и отчаяние, по-видимому, поистине невыносимы — она судорожно извивается всем телом, голос ее прерывается, ей не хватает воздуха.

Она не в силах совладать с собой. Коррадо берет ее за руки и говорит:

— Ну, не надо так, успокойся. Почему ты боишься? Чего?

Джулиана пытается справиться со своим голосом, но это ей не удается, и она кричит все громче и громче:

— Улиц... заводов... красок... людей... всего!..

Охватив Коррадо руками за шею, она изо всех сил прижимает его к себе и разражается отчаянными рыданиями.

Коррадо тоже обнимает ее и начинает нежно гладить, словно желая успокоить. Но постепенно движения его рук, сначала неуверенные, приобретают все большую определенность, ласки становятся все откровеннее. Джулиана даже не в состоянии это заметить. Поэтому когда Коррадо укладывает ее на постель, она инертно ему подчиняется. Коррадо начинает целовать ее. Джулиана вздрагивает всем телом. Это какое-то исступление, бессознательное бесстыдство, то вдруг вспышки сопротивления, вновь сменяющегося нескрываемым наслаждением.

Неожиданно Джулиана соскакивает с постели, подбегает к шкафу и захлопывает дверцу. Потом подходит к окну и смотрит вниз — на паперть соседней церкви. Наконец, полуодетая, свертывается клубочком в кресле. Вокруг нее все тонет в лиловой дымке. Подойдя к Джулиане, Коррадо вновь начинает осыпать ее поцелуями. Джулиана, забыв обо всем, отдается его ласкам.

Некоторое время спустя Джулиана и Коррадо, совершенно нагие, обессиленно лежат в постели в розовом, нереальном свете. Вся комната розовая, розовые все вещи, мебель, пол, одежда.

МАЛЕНЬКАЯ ПЛОЩАДЬ ПЕРЕД ГОСТИНИЦЕЙ КОРРАДО. НОЧЬ

Бегущая Джулиана сворачивает за угол. Ее настигает Коррадо, на ходу надевая пальто. Джулиана ему что-то говорит, потом, словно смирившись, позволяет подвести себя к машине и садится в нее.

ЛАВКА ДЖУЛИАНЫ. НОЧЬ

Джулиана и Коррадо внутри лавки. Оба молчат. Джулиана с ироническим видом рассматривает белые стены.

После продолжительного молчания Коррадо спрашивает:

— Джулиана... скажи мне, какие у тебя намерения? Что ты собираешься делать?

ДЖУЛИАНА. Ничего.

КОРРАДО. Но это же абсурд.

Джулиана отделяется от стены. Ироническое выражение с ее лица исчезло, она в отчаянии, в голосе ее слышны слезы:

— Напрасно ты обо мне беспокоишься... Вот уже много месяцев, как все только этим и занимаются... Я иду к врачам, а они мне рассказывают обо мне... А я себя плохо чувствую, как раз когда остаюсь одна... Я не могу этого больше вынести.

На мгновение замолкает, потом продолжает:

— Я сделала все для того, чтобы вновь... как это называется в клинике, включиться в реальную действительность. Можно сказать, мне это удалось. Я сумела даже стать неверной женой.

КОРРАДО. Ты не должна об этом думать, Джулиана.

ДЖУЛИАНА. Ну, конечно, достаточно об этом лишь не думать. Неплохой выход.

Делает несколько шагов по направлению к стене.

ДЖУЛИАНА. В реальной действительности есть что-то ужасное, но я не знаю, что именно. И никто мне этого не говорит.

Она поворачивается, глядит на Коррадо и, подойдя к нему ближе, заканчивает:

— И ты тоже мне не помог, Коррадо.

Эти слова Джулиана произносит мягко, но для Коррадо они звучат как обвинение. Он несколько секунд пристально смотрит ей в лицо, потом берет пальто и уходит.

ПРИЧАЛ В ПОРТУ. НОЧЬ ПЕРЕД РАССВЕТОМ

Высокий, цвета сурика, борт старого судна, стоящего на ремонте. Трубы, куски ржавого железа, потемневшие от сырости обломки надпалубных построек усеивают длинный причал, к которому напротив большого нефтехранилища пришвартованы еще два корабля.

По походке Джулианы ясно, что она, несмотря на страх, который ей внушают гигантские тени корпусов ремонтируемых кораблей, идет с какой-то определенной целью. Она движется осторожно, в изумлении глядя на раскрывающийся перед ее глазами доселе неведомый ей мир, и, несомненно, испытывает страх, но состояние нервного кризиса, который она переживает, придает ей смелость продолжать путь. Она останавливается неподалеку от трапа, спущенного с корабля против нефтехранилища. После короткого колебания она начинает подниматься по трапу, но, пройдя несколько метров, резко вздрогнув, неподвижно замирает: сверху по этому же трапу спускается мужчина. Это моряк в черном свитере, с бледным и худым лицом, с всклокоченной бородой. Джулиана глядит на него, и у нее нет сил вернуться назад. Мужчина смотрит на нее с любопытством, потом очень нежно и мягко говорит на каком-то незнакомом языке:

— Аксамлар хэйирли олсун.

Джулиана не понимает, но ощущает необходимость ответить, что-то сказать.

ДЖУЛИАНА. Я... не можете ли вы... я... извините, не можете ли вы мне сказать...

МОРЯК. Бириними арийонурсунуц? Бирсейе ихтийачиниц варми?

ДЖУЛИАНА. Нет, я не хотела... нет... На этом судне могут плавать также и пассажиры?

Совершенно очевидно, что моряк тоже ее не понимает, он говорит ей что-то на своем непонятном языке, сопровождая слова вполне ясным жестом — приглашением подняться на корабль:

— Бир кахве истермизинир?

Джулиана уже раскаивается в том, что задала вопрос, и ее охватывает беспокойство. Словно этот иностранец мог понять ее, она теперь пытается исправить положение и приуменьшить то значение, какое имел для нее заданный ею вопрос.

ДЖУЛИАНА. Нет, нет... я еще вовсе не решила...

Проницательный взгляд турка, который слегка склонился к ней, пытаясь уловить смысл ее слов или хотя бы догадаться об их значении по движению губ, внезапно пугает Джулиану. Она делает несколько шагов назад. Турок идет за ней по трапу и говорит:

— Анламийорум.

Джулиана охвачена тоской и отчаянием. Ей необходимо выговориться, рассказать кому-нибудь о том, что с ней творится. Поэтому, сделав несколько шагов, она останавливается под металлическими опорами площадки, на которой стоят моторы разгрузочных механизмов. И говорит очень робко и смущенно:

— Я не могу принять решение... потому что я не одинокая женщина... хотя... иногда... я чувствую себя так... словно я разведенная... нет, не в разводе с мужем, но наши тела... они чужие друг другу... Вот если бы вы мне сделали больно, вам ведь не было бы меня жаль? Так о чем я говорила? Ах, да... Я действительно была больна... но не должна об этом думать, то есть я должна думать так: все, что со мной происходит, это и есть моя жизнь... вот... мне очень жаль... Извините.

Турок слушает Джулиану с чуть грустным видом, он огорчен тем, что не может понять ее слов. Джулиана поворачивается и уходит. Турок печально качает головой и повторяет:

— Байян! Егер кендиници ийи хиссетмийорсаниц сице йярдим эдейим. Неден эве гиомийорсунуц? Бураси ок согук. Анламийорум, анламийорум!

Джулиана его уже не слушает и удаляется.

ПЛОЩАДЬ ПЕРЕД ЗАВОДОМ АНИК И БУЛЬВАРЫ. ДЕНЬ

Из-под травы на лужайке и из трещин в земле вырываются фонтанчики пара. Неподалеку от Джулианы играет Валерио — он топчет эти дымящиеся трещины, словно хочет погасить огонь. Лица его не видно из-за пара. Через несколько секунд мать его зовет:

— Валерио!.. Валерио, пойдем...

Мальчик останавливается и смотрит на кран, из которого вылетает пар и капает в лужу горячая вода. Повернувшись к Джулиане, он спрашивает:

— Почему он всегда так делает?

ДЖУЛИАНА. Не знаю.

Они идут по направлению к воротам огромного завода, но мальчик, вырвавшись от матери, убегает вперед и входит на заводской двор. Он останавливается посреди двора и задирает голову вверх: черные башни, огромные трубы, из которых валят густые клубы пара; из двух тонких фабричных труб поднимается желтый дым. Обеспокоенная Джулиана догоняет сына и берет его за руку; она тоже глядит на все эти установки, вид которых, как всегда, непонятным образом действует на нее угнетающе.

МАЛЬЧИК. Почему этот дым желтый?

ДЖУЛИАНА. Потому что он ядовитый.

МАЛЬЧИК. Значит, если в него попадет птичка, она умрет?

ДЖУЛИАНА. Да, но птицы теперь уже это знают и больше в него не попадают. Пошли.

Джулиана поворачивается, и перед глазами у нее плывут пятна: на заводском дворе, переливаясь всеми цветами радуги, стоят в ряд сотни бидонов и слышится жужжание моторов, постепенно оно становится все тоньше и переходит в пронзительный свист.

Это длится одно мгновение. Джулиана, ведя за руку сына, стремительно выходит за ограду и исчезает из виду.

В кадре остается завод — высокие трубы, белый и желтый дым, клубы пара, разноцветные бидоны...

КАДРЫ ИЗ ФИЛЬМА. В роли Джулианы — Моника Витти, в роли Коррадо — английский актер Ричард Харрис.

А. КАРАГАНОВ

АНТОНИОНИ И ЕГО «КРАСНАЯ ПУСТЫНЯ»

Еще несколько лет назад слова «итальянское кино» неизбежно ассоциировались с понятием «неореализм». Сейчас в Италии есть кино Феллини, есть кино Антониони, кино Висконти, Рози, Пазолини, но нет определенной школы, направления или тенденции, которые можно было бы сравнить с неореализмом. «Конечно,— пишет по этому поводу итальянский критик Уго Казираги,— нынешние наши индивидуальности в какой-то степени являются продуктом неореализма, и нет среди них никого, кто мог бы от него отречься. Однако ясно, что на смену новаторству и совместной борьбе тех времен, на смену изумительному энтузиазму, который для того далекого времени был так типичен, теперь пришли индивидуальные взлеты, находки, иногда даже гениальные, но не способные оказать решающего влияния на общее положение, «накалить атмосферу» до того предела, какой был достигнут в период цветения неореализма».

В искусстве неореализма был не только пафос социальной критики — в нем жили надежды на обновление освободившейся от фашизма Италии. Далеко не всегда эти надежды становились отчетливой программой действий: неореализм объединял художников разных политических взглядов; но и оставаясь просто душевным стремлением, они помогали противостоять фальшивому утешительству, презирать бутафорское искусство. Ведь даже и в этих случаях фильмы неореалистов строились на коллизиях народной жизни, исследуемых с заинтересованным вниманием. Когда неореалисты не видели выхода из драм и противоречий жизни, ими изображаемых, они создавали фильмы-вопросы с многоточиями в конце — вместо отчетливой финальной точки. Надо ли говорить, что такая «неопределенность» неизмеримо выше «определенности» тех фильмов, чей сюжет завершается по канонам голливудской жизнерадостности какой-нибудь сочиненной киношной красивостью.

Расцвет неореализма был бурным, но недолгим. Вскоре на его пути возникли трудно преодолимые помехи. Правительственные круги начали впрямую противодействовать наиболее демократическим тенденциям неореалистического искусства. Эти тенденции осуждались идеологическими институтами католической церкви — а их влияние в Италии велико. Все большую остроту приобретала проблема финансирования фильмопроизводства.

В годы, когда неореализм набирал силу, итальянские продюсеры не могли пренебречь его всемирным успехом. Хотя им претил критический дух фильмов де Сика, Росселини, Де Сантиса и других режиссеров неореализма, они финансировали их ради прибылей, какие они приносили. Но естественно, что с большей охотой они финансировали развлекательные фильмы, в которых неореализм оставался лишь внешней оболочкой. Количество таких произведений стало бурно расти. Во многих из них приметы, приемы и стиль неореализма становятся предметом циничной спекуляции.

А рядом с фильмами, имитирующими внешние формы неореализма, все большее распространение получают откровенно «коммерческие» ленты, в которых делается ставка на звезд, на постановочные эффекты. Происходит «американизация» значительной части итальянской кинематографии.

Эта альтернатива национальному и демократическому движению неореализма остается реальной опасностью и сейчас.

Справедливости ради надо сказать, что лучшие мастера итальянского кино не дали увлечь себя на путь подражания голливудским стандартам. Шум вокруг «итальянского чуда» (так буржуазная пропаганда назвала экономические достижения пятидесятых годов) не помешал им видеть противоречия и драмы современной жизни. В годы, когда изощренные забавы богатых бездельников питали веселые сюжеты «коммерческих» фильмов, Феллини создает «Сладкую жизнь», где все — от горькой иронии названия до убеждающе точных и потому страшных деталей в изображении оргий — наполнено гневом. Пазолини с беспощадной резкостью обнажает внешние и внутренние драмы людей, в которых жизнь растоптала, подавила все человеческое. Франческо Рози, Нанни Лой, Луиджи Комменчини продолжают работать над фильмами в духе неореализма.

Микеланджело Антониони является одной из центральных фигур современного итальянского кино. В его творчестве особенно драматично отразился переход от идей и настроений, вдохновлявших неореализм, к исследованию опустошенности человека и человеческих отношений, к душевному состоянию, в каком былые надежды кажутся иллюзиями, утешительство — изменой искусству и морали, а стоицизм отчаяния — реалистической позицией, достойной современного художника.

Объясняя свой творческий путь, Антониони в одном из интервью специально подчеркнул, что он пришел в кино, когда началось увядание первого цветения неореализма. В тогдашних условиях ему показалось, что «гораздо важнее не столько анализировать

взаимоотношения между героем и средой, сколько остановиться на самом герое, заглянуть в его душу».

Антониони открывает для себя дополнительные возможности «лабораторного» исследования психологических и нравственных состояний человека — на них он сосредоточивается, освобождая себя от других задач. Одновременно — таков драматический парадокс его творчества — он сужает сферу кинематографических исследований: ведь ясно, что углубление в душу героя не может быть достаточно эффективным, когда оно противопоставляется анализу взаимоотношений между героем и средой — только через эти взаимоотношения можно до конца понять жизненные истоки, социальную биографию нравственных и психологических состояний человека.

Знатоки и поклонники искусства Антониони сошлись на том, что главное для него — наблюдение, а не суждение. Этот своеобразный «академизм» они объясняют моральной усталостью и ощущением безнадежности — болезнями, какими поражены не только герои Антониони, но и сам их создатель. Антониони считает, что раз опустошенность человека и человеческих отношений не выдумка, а реальность, надо изучать ее, изучать упорно и последовательно, не предаваясь романтическим надеждам и желаниям найти другой, более приятный предмет для кинематографического исследования; самое важное для художника, понимающего драматизм мира, не утешать себя иллюзиями, а смотреть в лицо реальности — такой, какова она есть, быть стоиком, а не утопистом.

Итальянские исследователи творчества Антониони подчеркивают, что его фильмы — зеркальное отражение его личной неспособности осмыслить кризис общественного бытия, современные проблемы народной жизни. Свою неспособность что-то увидеть и понять за пределами сравнительно узкого мира, им изображаемого, отказ от изучения живых сил народа режиссер делает нормой эстетического отношения к действительности и даже нормой человеческой жизни.

С этим связаны и существенные особенности стиля Антониони. Автор «Красной пустыни» не рассказывает каких-то историй, взятых в их сюжетной организованности и завершенности. Главное для него — показать эволюцию переживаний. Поэтому он сохраняет на экране и те моменты из жизни персонажей, когда ничего не происходит, поскольку они имеют значение, как и моменты, насыщенные событиями. Он стремится показать события в их реальной продолжительности — без драматургического сжатия, чтобы зритель мог почувствовать реальную тягостность их развития. Антониони обычно ведет кинематографическое повествование как бы на одной ноте, подчеркнуто замедленно. Детализация психологических состояний доводится им до таких степеней, так теснит все остальное, что кинематографическое действие часто утрачивает напряженность, а то и вовсе затухает.

Героями фильмов Антониони обычно выступают люди, не находящие в жизни никакого существенного содержания, кроме любовных историй, да и эти истории не скрашивают их унылого существования, не наполняют его поэзией, не рождают энергии борьбы: душевный разлад, взаимное непонимание людей влияют и на любовь, делая ее какой-то сумеречной, безрадостной.

«В жизни человека бывает всякое,— говорил Антониони в беседе с автором этих строк.— Бывает и счастливая любовь. Но может ли стать предметом искусства такая безоблачная любовь — без всякой мысли о несчастьях человека, в том числе и драмах любви, которые реально существуют? В любви часто возникают кризисы. Тогда-то и появляется материал для искусства: я показываю драмы и кризисы любви. Когда я говорю о драматизме жизни, несовершенстве мира и несчастьях людей, я имею в виду прежде всего противоречия между научно-техническим и нравственным развитием человечества. В науке и технике люди ушли далеко, до Луны добрались, а мораль осталась как при Гомере».

В связи с этими рассуждениями Антониони хочется подчеркнуть, что, пожалуй, никогда еще кинематограф не выступал в такой драматической роли в отношении любви, в какой он выступает сейчас. И дело не только в том, что мировой экран ныне заполнен сексуальными боевиками, в которых любовь заменяется стриптизом. Большинство «серьезных» фильмов, построенных на любовных коллизиях, это фактически фильмы об отсутствии любви. Через драмы любви их авторы стремятся показать все сложности современной жизни.

Любовь всесильна, но и она не выдерживает такой нагрузки. Изображением драм современного мира только через драмы любви очень часто ослабляется социальность искусства. И еще чаще убивается поэзия любви, естественное «самодвижение» чувства. В сюжеты фильмов включаются лишь изломы любовных отношений, их изображение зачастую становится расчетливо назидательным, чтобы не сказать иллюстративным, логика авторской мысли подчиняет себе даже всесильную страсть.

«Красная пустыня» — из тех фильмов, где через трагедию любви Антониони показывает трагедию одинокого, опустошенного человека.

В начальных сценах фильма мы видим завод, на котором работает Уго, муж героини фильма Джулианы. Даже в сценарном изложении ощутима тональность изображения: вдоль стены завода выстроились в ряд автомобили, почти все они белые, около них неподвижно застыла безмолвная толпа; воздух серый, влажный; только что прошел дождь и время от времени начинает моросить вновь: может быть, это капли

конденсированного пара, вырывающегося из высоких труб завода... На экране завод представлен еще страшнее: адские всполохи пламени, скрежет металла, оглушающий треск моторов — все это в сопровождении «конкретной музыки». Перед этой шумной и подавляющей мощью техники люди кажутся маленькими, бессильными.

Свою мысль о драматизме жизни человека, ставшего рабом техники, Антониони доводит до наглядности, бьющей по мозгам. Уго и Коррадо встречаются на заводском дворе, начинают разговор, но скоро зритель их перестает понимать, и они сами не слышат друг друга — заводской шум заглушает человеческие голоса.

Героиня фильма, чья психика травмирована недавней автомобильной катастрофой, живет в страшном, нелюдимом мире — по крайней мере таким она его ощущает. Ее постоянно преследует страх, тоска и отчаяние. Жизнь беспросветна. Нет настоящего счастья дома, в семье. Безрадостна встреча с приятелями в каком-то нелепом рыбацком домике. Невыразимо уныла дорога, пугающе бесцветно и мрачно болото, около которого остановилась загулявшая компания (и дорога и болото «загримированы» — Антониони подкрашивал снимаемую натуру, чтобы усилить нужный ему эффект), густым туманом скрыты морские дали, а в тумане — корабль с желтым флагом, предупреждающим о страшной болезни...

По ходу фильма завязывается роман Джулианы и Коррадо, инженера, работающего с Уго. В ухаживаниях Коррадо Джулиана почуяла какой-то просвет. И она просит, молит Коррадо помочь ей избавиться от болезни, от страха, какой вызывают улицы, заводы, краски, люди, все на свете...

«— Я сделала все для того, чтобы вновь... как это называется в клинике, включиться в реальную действительность. Можно сказать, мне это удалось. Я сумела даже стать неверной женой.

— Ты не должна об этом думать, Джулиана.

— Ну, конечно, достаточно об этом лишь не думать. Неплохой выход.

Делает несколько шагов по направлению к стене.

— В реальной действительности есть что-то ужасное, но я не знаю, что именно. И никто мне этого не говорит.

Она поворачивается, глядит на Коррадо и, подойдя к нему ближе, заканчивает:

— И ты тоже мне не помог, Коррадо».

В «Красной пустыне» мир как бы увиден глазами Джулианы. Режиссер и оператор фильма часто используют внефокусные съемки вторых планов: в фокусе — только сама Джулиана, все остальное размыто, зыбко, туманно. Цвет ленты во многих случаях не повторяет натуральных красок земли, это «психологический цвет», являющийся проекцией ощущений Джулианы: окружающий ее мир окрашен в трагические тона ее души.

В фильме имеется только один прорыв в иную жизнь. Маленький сынишка Джулианы, насмотревшись книжек про полиомиелит, довольно успешно имитирует болезнь. Джулиана — в отчаянии, она мечется в поисках спасения, хочет найти какие-то слова, могущие доставить радость больному ребенку. Она рассказывает ему сказку про чудесный остров с золотым пляжем, лазурным морем и поющими скалами. Этот рассказ звучит не в словах, а в изображениях. И тут мир словно бы оживает, мы видим реальную его красоту, его реальные краски, не заретушированные под настроения Джулианы. Но этот прорыв в романтику остается эпизодом, намеком на мечту и не изменяет общей тональности фильма, тональности трагической, основанной на том, что люди разобщены, понять друг друга не могут, жизнь их страшна своей беспросветностью.

Некоторые знатоки искусства Антониони считают, что фильмом «Красная пустыня» завершается целая полоса в творчестве режиссера — вслед за этим фильмом должен появиться какой-то иной Антониони, во многом не похожий на себя вчерашнего. Такие предположения основаны на том, что при сопоставлении фильмов «Крик», «Приключение», «Затмение», «Ночь» бросается в глаза известная монотонность искусства Антониони, повторяемость тем, мотивов, героев и доминирующих состояний их души. Хотя ко всему ранее виденному Антониони в «Красной пустыне» прибавил цвет, этот фильм тоже повторяет предыдущие, лишь заостряя их тему и главенствующий мотив: болезнь Джулианы используется режиссером как повод, чтобы еще резче, драматичнее сказать о драме одиночества, о неспособности людей понять друг друга и любить друг друга.

Отвечая на вопрос о смысле названия фильма «Красная пустыня», Антониони говорил в уже цитированной беседе: «Этим названием я хотел подчеркнуть, что человеческая жизнь — пустыня, иссушенная и безрадостная. А красная потому, что она все же живая: красный цвет — цвет крови. Это объяснение звучит несколько элементарно. Я хотел вложить в название фильма более сложный смысл, воспринимаемый скорее интуитивно и эмоционально, нежели в элементарном логическом истолковании».

Фильм сложен, как сложны авторские объяснения его названия, и не поддается однозначной оценке, он глубоко противоречив, как противоречивы и другие фильмы Антониони. Естественно, что эта противоречивость не может не отражаться на зрительном восприятии искусства Антониони.

Многие зрители фильмов Антониони, как и сам режиссер, ощущают драматизм жизни в собственническом мире, разобщающем людей, в мире, который обрушивает на

человека пестроту идей и не может вооружить его такими обогащающими душу верованиями, которые помогали бы жить и строить жизнь по законам красоты. Как и Антониони, многие зрители его фильмов драматически переживают современный, кричащий в условиях капитализма разрыв между научно-техническим прогрессом и нравственным развитием человека. Однако и этим зрителям жизнь героев Антониони часто не кажется узнаваемой, соотнесенной с их опытом. Повседневная жизнь, которой зритель не может не мерить правду любого претендующего на реалистичность произведения, бывает столь же драматичной, как и жизнь героев Антониони. Но она пестрее. И в ней всегда есть элементы борьбы и надежды, пусть еле-еле пробивающиеся сквозь напластования невзгод, в ней всегда есть какие-то импульсы к действию по изменению мира, пусть эти импульсы столь хитро и старательно подавляются идеологическими институтами буржуазии.

Антониони настолько «обобщает» реальные драмы людей, что они часто теряют свои земные корни (при всей поразительной «заземленности» художественной фактуры его фильмов, при всей реалистической точности в отработке деталей). Он придает человеческим драмам настолько «философское» выражение, что кинематографическое повествование об этих драмах утрачивает свою эмоциональность (если не для всех, то для очень многих зрителей).

Нет, Антониони не кокетничает, не лукавит, когда он говорит, что воспринимает жизнь как пустыню. Но в его кинематографическом мышлении, думается мне, действует инерция мысли. Увлеченный своей мыслью художник придает ей характер размашистой формулы и служит ей, служит искренне, приспособляя к ней увиденные факты, незаметно для себя отбрасывая те из них, которые ей противоречат. Пафос «любимой мысли» настолько заворожил художника, что он и в новом своем фильме не смог проверить себя критериями многослойной общественной практики, отсюда — ослабление реалистического, критического начала в искусстве: при всей своей драматичности и философской многозначительности, фильм оказался недостаточно социальным, недостаточно укорененным в сегодняшней жизни итальянского общества.

Н. НАУМОВ

В СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ

Три года назад на страницах итальянского еженедельника «Ринашита» развернулась примечательная литературная дискуссия. В ней участвовали не критики и литературоведы, а рабочие и профсоюзные активисты; их суждения, иногда спорные, но неизменно серьезные и глубокие, отличались такой широтой взгляда и зрелостью мысли, которой могли бы позавидовать многие профессиональные литераторы и социологи. Автор книги, послужившей предметом дискуссии, в своем заключительном выступлении с удовлетворением отметил, что она верно прочитана и понята — писатель и читатели поистине нашли общий язык.

Книгой, о которой шла речь, был роман «Воспоминания» Паоло Вольпони, а интерес, вызванный ею в рабочей среде, объясняется не только ее неоспоримыми художественными достоинствами, но и — прежде всего — актуальностью проблематики. Как пишет Эмилио Микаэли, рабочий завода «Италсидер» в Пьомбино, коммунист, секретарь ячейки имени Антонио Грамши, «тема, поднятая и разработанная в этой книге, представляет огромный интерес, особенно сейчас, в неокапиталистической Италии, где нам пытаются внушить, что все пороки старого капитализма будут уничтожены, а все его противоречия разрешены благодаря «второй промышленной революции», породившей неокапитализм».

Герой романа Альбино Салуджа в конце 1945 года возвращается из немецкого плена в селение Кандиа близ Турина, где на отшибе, в одиноком доме на берегу озера живет его мать. Но возвращение в родной дом не означает для него возвращения к прерванной войной привычной жизни. Детство его прошло во Франции, куда эмигрировал его отец после первой мировой войны, молодость — в окопах и концлагерях, и привычную жизнь предстоит еще создать, так сказать, на голом месте. Крестьянин по происхождению, но не по судьбе, человек без профессии, без жизненного опыта, сохраняющего свое значение вне особых обстоятельств, в которых он накапливался, без прочных связей, Салуджа должен сначала укорениться в почве, распаханной войной. Больной туберкулезом, психически травмированный и бесконечно одинокий (у него нет иных советчиков и собеседников, кроме Индейца и Башмака — мифических друзей, которые мерещатся ему в причудливых пятнах на стенах сарая), он должен очнуться от кошмара пережитого и научиться дышать воздухом новой повседневности.

Воспоминания Альбино Салуджи и есть история его безуспешных попыток укоренения и акклиматизации в послевоенной действительности, в чуждой ему атмосфере и инородной среде.

Салуджа поступает на большую современную фабрику, в которой можно без труда узнать завод Оливетти или ФИАТ — «образцовое» неокапиталистическое предприятие. Воплощение индустриальной мощи и технического совершенства, ratio, одетое в стекло и алюминий, она на первых порах покоряет Альбино и внушает ему благоговейное, почти религиозное чувство — «словно церковь или суд». И подобно тому, как преисполненный горячей веры неофит чувствует себя в храме наедине с богом, не замечая теснящихся вокруг него прихожан, которые машинально крестятся, рассеянно следя за привычным обрядом, он вступает в особые, личные отношения с фабрикой, олицетворяющей в его глазах разумную волю, осмысленный порядок и

деятельную жизнь. «Фабрика казалась мне все более прекрасной,— вспоминает Альбино,— и мне чудилось, что она обращается прямо ко мне, будто я был единственным или одним из немногих, кто способен и склонен ее понять».

Но скоро в эту светлую мелодию вкрадываются диссонирующие ноты. Обретенная гармония оказывается призрачной. Альбино Салуджа начинает чувствовать, что не принадлежит к немногим избранным, что по отношению к фабрике он всего лишь одна из взаимозаменяемых деталей, подобных тем, которые он сам обрабатывает на своем станке, что фабрика не нуждается ни в его любви, ни в его понимании, ни тем более в его творческой инициативе — напротив, все направлено к тому, чтобы заключить его в магический круг раз навсегда предписанных механических движений, запрограммировать, превратить в автомат.

На фабрике, где работает Альбино, в каждом цехе есть своего рода часы, которые отсчитывают не минуты, а операции. Здесь «не только люди, но и время другое — оно следует за жизнью деталей». Есть в этом горький смысл. Истинной жизнью наделены вещи — из заготовок они превращаются в изделия, переходят в другой цех, монтируются, становятся частями агрегата, и потому именно с ними связано течение времени. Напротив, жизнедеятельность человека здесь настолько лишена человеческого содержания, настолько чужда ему как личности, настолько «страдательна» («не столько мои руки управляли машиной, сколько машина водила моими руками»), что для него самого время, отданное фабрике, есть мертвое время, пробел, «выпадение пульса» действительной жизни.

Мотив противоестественного фабричного времени, которое «как бы не движется или, наоборот, уходит все разом», времени, несовместимого с человеческим и враждебного человеческому, и становится мало-помалу доминирующим в лирической исповеди Альбино Салуджи. Работа, которую он выполняет, не позволяет ему реализовать и развить свои способности и задатки, следовательно, не обогащает, а опустошает его. Она не занимает его мыслей, не требует от него ни знаний, ни сметки, ни даже сноровки, она требует только самоотречения и самозабвения в буквальном, этимологическом смысле слова. Поэтому время, затраченное на нее, есть не просто отчужденное время, а время полного и всестороннего самоотчуждения. Глубокое чувство неудовлетворенности овладевает Альбино. «Чего же ищет и не находит он в безупречно функционирующем механизме фабрики?— комментирует роман Вольпони Таурино Константини, рабочий завода «Полимер» концерна Монтекатини.— Он ищет, как он сам говорит в момент просветления, того, что дало бы ему ощущение полноты жизни; он хочет, чтобы часы, которые он проводит на фабрике, не протекали бы вовне по отношению к нему самому, не были бы провалом в его существовании. Но это справедливое и глубоко человеческое стремление непрестанно сталкивается с суровой и бесчеловечной действительностью фабрики, где господствует беспощадный закон максимальной прибыли».

Альбино ищет выхода в том, чтобы получить квалификацию; это значило бы, как ему кажется, избавиться от монотонности и отупляющего автоматизма фабричной жизни, внести в свой труд элемент сознательности, активности, инициативы — словом, «почувствовать себя человеком». Однако выясняется, что получить квалификацию он может лишь на определенных условиях: инженер Пиньотти, в компетенцию которого входит этот вопрос, сначала обиняком, а потом и напрямик предлагает Альбино стать тайным осведомителем администрации. За право «почувствовать себя человеком» нужно заплатить собою как нравственной личностью.

Не в силах «освоить», то есть сделать своим, бесцветное фабричное время, Альбино окрашивает его в цвет своего озлобления. Ревностный прозелит становится, правда, не богоборцем, но богоотступником и святотатцем. «Часто я пинком ноги опрокидывал ящик с деталями,— вспоминает он,— и грохот металла как бы подстрекал меня к разрушению, к еще более диким выходкам. И вот я ломал и разбивал все, что попадалось мне под руку, от цепи в уборной до дверных ручек и стаканов в раздевалке. Я грубил товарищам и был готов их избить, если бы только мог. Работа у меня не ладилась; процент выполнения нормы снижался, а чувство унижения толкало меня работать еще хуже, словно кому-то назло».

Но «фабрика не прощает». Альбино отстает от фабричного времени, и его переводят на еще более однообразную ручную работу в сборочный цех. Теперь он хочет обогнать время. Подобно тому, как, ломая вещи, он безотчетно пытался доказать себе самому, что он человек, а не вещь, здесь он пытается доказать себе и другим, что он не просто пятый с края сборщик, работающий, как и все, в заданном ритме и темпе, а личность — Альбино Салуджа, и для этого ставит своего рода рекорд скоростной сборки. Но и этот жест не приносит ему ни признания, ни морального удовлетворения — его рекорд никому не нужен и как прецедент даже опасен для остальных рабочих, которым могут повысить норму: фабричное время одно для всех.

Фабрика не прощает ни строптивости, ни болезни, и Альбино Салуджа не только не поднимается выше положения человека-детали, но и спускается еще одной ступенькой ниже. Когда в очередной раз он возвращается из туберкулезного санатория его уже не допускают к работе в цеху, делают вахтером. И тут он остается один на один с очищенным, дистиллированным фабричным временем. Ему практически не чего делать, более того — его обязанность в том и состоит, чтобы ничего не делать: он служит лишь безмолвным предостережением, запретительным знаком, эмблемой

собственности и власти. Его работа — это титанический труд кариатиды на фасаде здания, и в своей бессодержательности она представляется наглядным проявлением абстрактного человеческого труда, истинного содержания стоимости.

Оказавшись за стенами фабрики, Альбино с особой остротой чувствует себя в стенах тюрьмы: важнейший элемент наказания, которому подвергается заключенный, составляет именно вынужденная бездеятельность. Стоя на своем посту, «даже не как дерево, а как вбитый в землю кол», он с особой ясностью сознает себя собственностью, вещью. Так фабричное время, к которому приложимы только отрицательные определения — время бессмысленного, бессодержательного, бездеятельного, то есть в самом точном смысле слова бесчеловечного существования,— обретает здесь значение бесконечно емкого символа капиталистической эксплуатации и капиталистического рабства.

С мотивом фабричного времени в «Воспоминаниях» Вольпони переплетается другой, не менее явственный мотив, который можно назвать мотивом скрытой угрозы. С того дня, когда фабричный врач, к которому, почувствовав недомогание, обратился Альбино, объявляет ему, что он серьезно болен и должен лечиться, им овладевает ощущение уязвимости и подкрадывающейся опасности. То, что в социологической литературе и публицистике именуется неуверенностью в завтрашнем дне, переходит в трагическую уверенность, в чувство обреченности, как только человек по тем или иным причинам перестает соответствовать норме, стандарту, установленной «кондиции». И смутная тревога мало-помалу вырастает у Альбино в предчувствие неотвратимой катастрофы, но эта катастрофа в его сознании связывается не с самой болезнью, а с направленными против него тайными происками, для которых его болезнь, реальная или мнимая,— только предлог. Доктор Тортора и профессор Бомпьеро представляются ему орудиями некой темной силы, свирепого и неумолимого бога, сделавшего его не своим избранником, как ему казалось вначале, а своей жертвой. Он видит в них соучастников дьявольского заговора, имеющего целью его погубить, в рентгеновских снимках — фальшивки, которыми они хотят заменить отсутствующие улики, а в больнице и в санатории, куда его направляют,— ссылку, предваряющую смертный приговор — увольнение.

Когда инженер Пиньотти предлагает Альбино стать осведомителем, тот, полный сомнений, обращается за советом к своему исповеднику, и духовник поучает его:

«Видишь ли, Альбино, управлять людьми нелегко. Это не нашего ума дело. А что, если инженер хочет этого ради общего блага? Нужно покончить с коммунизмом, восстановить порядок и добрые нравы, поставить все на свои места. На фабрике неблагополучно, и ты это прекрасно знаешь. Там сеют семена равнодушия к богу. Мои прихожане, нанявшись на фабрику, вскоре перестают ходить в церковь. Женщины забывают стыд, мужчины — христианское смирение. Может быть, Пиньотти это и имел в виду. Поступай, как велит тебе совесть, но не волнуйся заранее. Попробуй еще раз поговорить с ним и получше понять, в чем его цель». «Но ведь он хочет, чтобы я стал шпионом!» — восклицает Альбино. «Что за грубое слово! — увещевает его священник.— Кому нужны шпионы? Разве на фабрике идет война?»

«Да, на фабрике идет война! — отвечает мастер Гроссет, социалист, которому Альбино передает этот разговор.— Вот именно идет война, и Пиньотти заставил бы нас работать из-под палки, если бы только мог».

Но Альбино Салуджа не понимает ни природы, ни смысла, ни размаха этой войны и не желает в ней участвовать. Он ведет свою собственную, сепаратную войну с фабрикой, вернее, с химерическими врагами, которые в его глазах представляют ее, войну отчаянную, изнурительную и — безнадежную, ибо исход ее предрешен. И в этой ситуации не только прорисовывается образ странного героя Вольпони, но и находит отражение объективное своеобразие тех условий, в которых развертывается классовая борьба на современном неокапиталистическом предприятии. Участница дискуссии Лина Тамбуррино, журналистка, занимающаяся вопросами профсоюзного движения, справедливо пишет по этому поводу: «На отсталой фабрике, где эксплуатация проявляется в голодной заработной плате и попрании самых основных профсоюзных и политических свобод, трудящийся знает, кто его враг, и классовая противоположность обнаруживается явно и непосредственно. Напротив, на такой фабрике, какая описана у Вольпони, где соблюдается коллективный договор, уважаются права профсоюза и, на первый взгляд, господствует демократическая атмосфера... трудящийся не сталкивается непосредственно со своим врагом и не сразу осознает корни своей неудовлетворенности».

Война с ветряными мельницами, которую ведет Альбино, не отодвигает на задний план большую, настоящую войну, о которой говорит Гроссет, а входит в нее, «как образ входит в образ и как предмет сечет предмет». И в кульминационные моменты повествования этим достигается своего рода стереоскопический эффект, позволяющий, с одной стороны, увидеть события изнутри глазами Альбино, как видит бой человек, оказавшийся на «ничейной земле», а с другой стороны — историю самого Альбино в общей перспективе классовых битв. Пример тому — пожалуй, самый яркий — финальный эпизод романа, когда Альбино, в пароксизме гнева и ненависти покинув свой пост и взяв на себя роль посланца стачечного комитета, добивающегося немедленного прекращения работы во всех цехах, для чего в силу обстоятельств необходимо, чтобы

Н. НАУМОВ
В СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ

работу бросил и персонал заводской столовой, оказывается на мгновение на гребне забастовки, подобно тому как Чарли в «Новых временах», размахивая подобранным знаменем, помимо своей воли оказывается во главе демонстрации.

Альбино Салуджа так же далек от подлинного героя нашего времени, как его наивные и больные стихи, в которых он проклинает доктора Тортору,— от попавшегося ему на глаза лапидарного воззвания профсоюза, в котором говорится и о его, Альбино, истинных, а не мифических врагах, и о реальном пути борьбы за его, Альбино, человеческие права. Но парадоксальным образом этот странный герой именно в силу своей ограниченности, ущербности и даже патологичности в романе Вольпони играет главную роль в художественно реалистическом отражении важнейших социальных проблем современности. Попробуем разобраться, как это получается.

Как уже говорилось вначале, Альбино очень одинок. Убожество и пустоту его частной, воскресной, житейской жизни не скрадывает, как у других, даже эрзац «домашнего очага», даже суррогат человеческого общения, даже патина традиций и привычек. И потому-то полноту жизни он ищет именно на фабрике, которая его товарищам по работе представляется лишь переходом, нескончаемо длинным и безрадостным, как путь через пустыню, но все же лишь переходом от одного воскресенья к другому, от одного отпуска к другому, как бы мало эти воскресенья и отпуска ни были похожи на цветущие оазисы. И потому-то с такой остротой ощущает он несовместимость требований, которые рабочий предъявляет фабрике как человек, и требований, которые фабрика предъявляет к человеку как к рабочему: если индивид «только вне труда чувствует себя самим собой, а в процессе труда он чувствует себя оторванным от самого себя»*, то это чувство оторванности, отчужденности тем сильнее, тем драматичнее, чем скуднее та компенсация, пусть иллюзорная, которую он получает в сфере внетрудовой деятельности. Таким образом, в художественном плане Альбино играет роль затравки в насыщенном растворе: благодаря его погружению в фабричную атмосферу выпадает и растет «кристалл отчуждения».

Альбино болен, и каждая мысль, каждое упоминание о болезни у него ассоциируются с угрозой увольнения и звучат для него как memento mori: «Право сидеть дома — это уже начало смерти». Неуверенность в завтрашнем дне, которая в мироощущении других остается, так сказать, обертоном, определяет самую тональность мироощущения Альбино. Таким образом, и в этом отношении он служит «центром кристаллизации».

Альбино человек отсталый и темный. «Из уважения к церкви» он неизменно голосует за демо-христиан. С недоверием и подозрительностью относится к людям его положения, которые «активничают в других партиях». Сторонится профсоюза и всех иных форм организации и общественной деятельности. Верит всем измышлениям реакционной пропаганды и охотно расцвечивает их своими собственными, рассказывая фантастические истории, якобы пережитые им во время войны в России, где он в действительности никогда не был. Предпочитает скорее лечиться у шарлатана — «профессора» Фьораванти,— который делает ему инъекции сомнительного препарата собственного изготовления, чем довериться квалифицированным врачам амбулатории и диспансера. Видит в священнике и полицейском своих естественных защитников и к ним обращается с жалобами на злокозненного Тортору и администрацию фабрики. И как раз поэтому, в силу своей неразвитости, заскорузлости, политической инертности, своих предрассудков и суеверий, он оказывается на «ничейной земле» — между инженером Пиньотти и мастером Гроссетом, между коммунистом Гуалатроном и подонком Пинной, продавшимся фабричному начальству, между духовником, проповедующим «христианское смирение», и стачечным комитетом. Как раз поэтому он оказывается точкой приложения, объектом воздействия противоположно направленных сил, которые и раскрываются в этом воздействии. К сознательному и закаленному в классовых боях потомственному пролетарию Пиньотти не рискнул бы обратиться со своим предложением, такой рабочий не пришел бы за советом к священнику, а Гроссету не пришлось бы объяснять ему, что «на фабрике идет война» и что Пиньотти руководствуется отнюдь не заботой об «общем благе».

Наконец, Альбино — человек психически больной, страдающий явно выраженной манией преследования. Но это патологическое душевное состояние героя не является, как в литературе декадентского толка, предметом поэтизации, не проецируется на действительность, изначально рассматриваемую сквозь призму философии абсурда и отчаяния, не противопоставляется «убожеству дискурсивного мышления» и «пошлости здравого смысла». Паранойя Альбино Салуджи играет в романе Вольпони сугубо функциональную, или, как говорит сам писатель в своем заключительном выступлении на страницах «Ринашита», инструментальную роль. Это роль линзы, собирающей в фокусе рассеянные лучи. Все формы отчуждения, все проявления «неприспособленности» человека к условиям, в которые он поставлен — а в действительности неприспособленности этих условий к тому, что нужно человеку,— находят в безумии Альбино, в неадекватности его восприятий и реакций свое конденсированное — метафорическое и гиперболическое — выражение.

Специфические черты, которыми Вольпони наделяет своего героя, позволяют существенно расширить и углубить самое проблематику романа.

Заскорузлость Альбино не просто аномалия или курьезный анахронизм для страны «экономического чуда», мощного рабочего

* К. Маркс и Ф. Энгельс. Из ранних произведений. М., 1956, стр. 563.

движения, самой многочисленной и влиятельной коммунистической партии в Западной Европе. Салуджа представляет определенный социальный тип, в самом существовании которого проявляется противоречивость общественно-исторического развития при капитализме. «Мы плохо знали бы Италию, какой она не перестала быть и в наши дни,— пишет по этому поводу Умберто Кардона, секретарь сардинской областной организации КПИ,— плохо знали бы «глубинку» пролетарских и полупролетарских масс города и деревни, если бы думали, что рабочие с таким уровнем сознания даже и в наши дни представляют исключения, которыми можно пренебречь... Я думаю, напротив, что формирование передового классового сознания у миллионов промышленных рабочих, то есть исторический процесс этого формирования протекает различными путями и что среди этих путей есть и тропинка мытарств героя «Воспоминаний».

Аральдо Гамбини, рабочий Анконских судостроительных верфей, добавляет к этому еще одно важное соображение, помогающее уяснить типичность характера Альбино: «Несомненен факт, что ныне промышленные предприятия ищут рабочую силу среди массы трудящихся деревни, чтобы иметь рабочих без классового сознания, без какой бы то ни было интеллектуальной подготовки, с религиозными понятиями, смешанными с суевериями».

Воплотив в образе своего героя этот тип современного рабочего, Вольпони напомнил ту истину, которую многократно, настойчиво подчеркивал В. И. Ленин: «Дело как раз в том, чтобы *не* принять изжитого *для нас* за изжитое *для класса*, за изжитое *для масс*» *. Тем самым он выдвигает проблему первостепенной важности и актуальности, которую мы назвали бы проблемой субъективного фактора.

Фабрика сама развеивает «коммунитарные» иллюзии Альбино, сама каждодневно просвещает его. Жизненные условия, в которые он «пересажен», создают объективную предпосылку для того, чтобы и он изжил уже изжитое для Гроссета и Гуалатрона. Предпосылка эта, однако, необходима, но недостаточна. Равнодействующая тех сил, которые воздействуют на него, не предначертана. В огромной (применительно не к личности, а к массе — решающей) мере она зависит от сознательной и целенаправленной деятельности пролетарского авангарда, от идейно-политического воспитания, которое он сумеет распространить на заскорузлых альбино. И значение этого субъективного фактора существенно возрастает в нашу эпоху, когда, с одной стороны, в наиболее развитых капиталистических странах достигнут относительно высокий жизненный уровень и к революционному действию низы уже не побуждает непосредственно давление абсолютно властной нужды, этого «практического выражения необходимости», а с другой стороны, монополистический капитал находит новые формы идеологического влияния на трудящиеся массы, чему пример — социальная демагогия патернализма. В этом и увидели «урок» романа Вольпони многие участники дискуссии.

Но есть и другой аспект той же проблемы. Воспоминания Альбино оканчиваются знаменательной фразой: «Тут я понял, что никто не может мне помочь». Ему действительно нельзя помочь, пока он сам себе не поможет. Одиночество Альбино, в котором и коренится безысходность его положения, отнюдь не предстает в романе Вольпони как некая метафизическая данность, как условие человеческого существования — в духе экзистенциалистских концепций. В нем нет ничего фатально неизбежного и непреодолимого. И все же прав Гроссет, когда говорит Альбино: «Никакие профсоюзы и даже вся Россия не могут сделать так, чтобы ты не чувствовал себя одиноким. Это сидит в тебе самом, в том, как ты смотришь на мир». Правильно понятые, эти слова означают, что одиночество Альбино не только его беда, но и его вина. Что судьба личности, по отношению к которой то, что мы назвали выше субъективным фактором, в свою очередь, становится объективным условием, зависит и от самой личности — от ее жизненной позиции, от ее способности и ее воли расширить свой взгляд на мир, как прекрасно сказал Элюар, «от горизонта одного до горизонта всех». И в этом тоже урок «Воспоминаний».

■

«Мировая машина», второй роман Паоло Вольпони, вышедший в 1965 году,— тоже лирическая исповедь, на этот раз исповедь деревенского философа-самоучки. Перед нами снова «странный герой», который именно в силу своей исключительности «остраняет» обыденность. Но в противоположность Альбино это сильный, волевой, огнеупорный характер, самобытная, богато одаренная индивидуальность, мыслящая личность, не обороняющаяся от непонятной и враждебной действительности, а атакующая старый, прогнивший мир.

В жизнеописании Антео Крочоне неразделимы история его жизни и дело его жизни — философский трактат, который должен явить собою новую систему природы, положить основание новой морали и предвосхитить новое общество.

Нет ничего проще, чем подвергнуть этот трактат уничтожающему критическому разбору: детски наивные представления, давно отброшенные наукой, сочетаются в нем с методологической беспомощностью, фантастические догадки — с примитивным механицизмом, отголоски «Рассуждения о методе» — с реминисценциями из «Нового органона», стихийное бунтарство — с просветительскими иллюзиями. Рассуждения Антео о неких, быть может, уже исчезнувших суще-

* В. И. Ленин. Собр. соч., изд. пятое, т. 41, стр. 42.

ствах, создавших и растения, и животных, и человека, подобно тому как конструктор создает все более совершенные модели, не могут не вызывать улыбки, а его дефиниции и схемы с буквенным и графическим обозначением моральных категорий, которые он пытается вывести непосредственно из своей натурфилософии, могут показаться чистейшим графоманством. Но при всем том философия Антео Крочоне не просто доморощенная схоластика — в ней есть живая душа.

Идея, которая служит краеугольным камнем этой философии, в незавершенном трактате Антео выражена формулой: «Автомат-автор=homo sapiens; автомат-неавтор=минеральное и растительное царство». Формула эта, к которой Антео приходит путем пытливых наблюдений над природой, запойного чтения научных и философских трудов, раздобытых всеми правдами и неправдами, и напряженных раздумий над явлениями общественной жизни и над своим собственным жизненным опытом, совсем не так проста и наивна, как кажется на первый взгляд. Она означает, во-первых, что человек как «автомат», как машина, пусть самая сложная из всех существующих, есть частица «мировой машины», действующей по своим имманентным законам, а не эманация и воплощение некой духовной субстанции и что поэтому его, человека, царствие — «от мира сего». Она означает, во-вторых, что человек как «автор» по природе своей есть «машина» особого рода — созидающая и самосозидающая, программирующая действительность, а не только запрограммированная действительностью,— и что, следовательно, его право, более того, его долг, поскольку он хочет оставаться верным своей природе,— быть сознательным двигателем, продолжателем, ускорителем всемирно-исторической эволюции, продуктом которой является он сам, отвергать окостеневшие, исчерпавшие себя и творить новые формы жизни.

В противном случае, говорится в трактате Антео, «мы должны были бы сделать вывод, что являемся частью несовершенного творения или что все порождено капризом бесконечного, лишенного всякой цели и бессмертного промысла; таким образом, мы пришли бы к отрицанию существования бога или того, что мы сами так назвали... Но в действительности это творение столь совершенно, что избавляет творца от необходимости какого бы то ни было прямого вмешательства, хотя косвенным образом он всегда присутствует, поскольку управляющие, то есть автоматы-авторы получили полную свободу действия лишь для того, чтобы служить закону, который движет вселенной. Только верно служа этому закону, автомат-автор может выполнить свою миссию; вне этого служения он не найдет ничего, кроме саморазрушения».

Нельзя не увидеть здесь налет своеобразного деизма, но нельзя не понять и того, что деизм Антео Крочоне как нельзя лучше подходит под знаменитое определение Боссюэ: «переодетый атеизм». Существо его философии, конечно, не в онтологическом доказательстве бытия бога или «того, что мы сами так назвали», а в учении о развитии как «законе, который движет вселенной», и в горячей вере в безграничные творческие возможности человека и в его историческую инициативу.

В этой вере Антео укрепляют великие научно-технические завоевания нашей эпохи. Разве успехи кибернетики, о которых он узнает из популярной статьи английского ученого, опубликованной в «Мессаджеро», не подтверждают его идеи? И разве запущенный в космос «красный спутник, прорвавший все покровы ада и рая»,— не «освободительная машина», которая окрыляет мысль, разгоняет страх и заставляет поднимать голову даже темных крестьян? Но энтузиазм, который эти свершения, еще не ставшие такими же обыкновенными чудесами, как электрический свет или телефон, вызывают у Антео, еще не разучившегося удивляться и ликовать, не приводит его к обожествлению техники и к позитивистским иллюзиям.

Научно-техническая революция интересует Антео не с утилитарно-прагматической, а с морально-философской, если угодно, антропологической точки зрения. Она делает поистине вопиющим противоречие между прометеевским началом, заложенным в человеке, и его рабьей покорностью традиции, авторитету, власти, между его дерзаниями и его приниженностью, потенциальным богатством и реальною нищетой. И весь пафос трактата и жизни Антео Крочоне — в протесте против этой покорности, приниженности, нищеты, в низвержении идолов, табу и догм. Человек должен распрямить спину — вот суть его поэтической философии или философской поэзии. Стершееся выражение это в его устах вновь обретает первозданную яркость метафоры. Случайный попутчик подвозит его на мотоцикле в Перголу, и Антео читает по его согбенной спине горестную поэму о крестьянском тяжком труде, о крестьянской неизбывной заботе, о крестьянском потомственном страхе перед богом и гербовой бумагой, перед городом и газетой, перед помещиком, карабинером и хорошо одетым господином. На этой спине написано, что «природа, вместо того чтобы быть слугой, стала самой жестокой хозяйкой, от которой никуда не уйдешь, словно человек построил дом, чтобы поселиться в нем, но, забыв, где двери, оказался в тюрьме».

Человек должен распрямить спину, ибо он не отягощен никакой метафизической виной, никаким первородным грехом, «и это нужно петь в лицо монахам погромче завтрени». Его рабство и унижение тоже от мира сего: «если эта спина стала такой, то причиной тому — социальная организация, выродившаяся на протяжении веков из-за эгоизма немногих, и это стало возможным как раз потому, что на социальную организацию всегда смотрели как на что-то неприкосновенное и как на средство распределить между людьми их вину».

Человек *должен* распрямить спину, и слово «должен» под пером Антео обретает свой первоначальный, повелительный смысл: это

долг, а не только право, потребность и возможность, это новый категорический императив. «Я подумал тогда,— рассказывает Антео,— что, быть может, в конце концов действительно нужен и неизбежен страшный суд и что когда-нибудь, собрав нас в широкой долине, выровненной машинами, автоматы-авторы потребуют у нас отчета и произнесут свой приговор. Они спросят у нас, как мы допустили, что наши человеческие машины износились и пришли в негодность, вместо того чтобы освободиться и совершенствоваться до тех пор, пока не станут безупречным орудием самого разума авторов и не достигнут свободы, означающей жизнь, не стесненную никакими правилами и ограничениями и полную во всех своих проявлениях, но всегда отвечающую духу всеобщей дружбы и гармонии между народами, такой гармонии, что будут превзойдены сами народы и пределы их различных миров».

Весьма примечательно, что на этом «страшном суде», явно противопоставляемом библейскому мифу, роль судей играют «автоматы-авторы» — определение, которое Антео в своем трактате дает не божествам, а людям. В этом контексте «страшный суд» приобретает аллегорическое значение ответственности человека перед бесчисленными поколениями, которые, завещав далеким потомкам свои знания, накопленные на протяжении веков, свой трагический опыт и свои чаяния, возложили на них свои надежды,— иначе говоря, ответственности перед судом истории.

Однако Антео чувствует, что постулат морального долга, которым человечество упорно пренебрегает,— слишком непрочный фундамент для всесветного общества свободы и гармонии. Он ищет «то, что делает человека живым и свободным», он хочет положить в основание своей «Академии дружбы между народами» научную истину, в которой всеобщий закон развития получил бы особое выражение применительно к общественной жизни. Но хотя он угадывает — и для крестьянина-самоучки это поистине гениальная догадка,— что ключ к будущему человечества нужно искать в его прошлом, что сознательное историческое творчество должно исходить из объективных тенденций стихийного развития («найти прошлое естественного и таким образом вычислить будущее искусственного»), он лишь ощупью подходит к вопросу о том, в чем же состоит «правило, которое движет и располагает» жизнью общества, понимаемой как естественно-исторический процесс, и — останавливается перед этим вопросом. Не только марксизм, который дает на него единственный ответ, но и «прошлое естественного», то есть сама история, включающая и историю общественной мысли, в которой марксизм берет свои истоки, остается для Антео terra incognita, а потому и «будущее искусственного», его «Академия», сохраняет все черты утопии, а сам он оказывается трагикомической фигурой сродни Дон Кихоту.

В основе «Мировой машины» лежит именно донкихотская ситуация, существо которой, как показал Л. Пинский в своей превосходной работе «Реализм эпохи Возрождения», «в изображении *активной* натуры, которая не мирится с убожеством жизненных условий и протестует против них, воодушевленная представлением о жизни, достойной человека, о его высоком призвании», но при этом «отвергает подчинение объективным обстоятельствам, вплоть до комического игнорирования их». И так же, как в великом романе Сервантеса, который и в этом отношении был произведением глубоко новаторским, в «Мировой машине» ситуация стоит как основное за различными «историями» и даже за всей историей Антео Крочоне, и по отношению к ней сама фабула отступает на второй план, что вовсе не исключает реалистического изображения жизненных обстоятельств и характеров.

Отвергая общепринятые нормы и общепризнанные ценности, Антео непрестанно сталкивается с консервативными силами и традициями. Еще юношей Антео забирается в библиотеку графини Карсидони, лишь изредка наезжающей в свою загородную виллу, и та, застав «на месте преступления», с позором изгоняет непрошеного пришельца. Однако ни преподанный ему урок, ни палка отца, не преминувшего со своей стороны проучить сына за чрезмерную любознательность, не останавливают Антео, поистине одержимого жаждой знаний, и некоторое время спустя он снова наведывается в библиотеку графини и, не найдя того, что искал — графиня явно предпочитает романы ученым материям,— пробирается в гостиную и похищает вместе с приглянувшейся ему статуэткой две серебряные шкатулки, которые потом продает, чтобы на вырученные деньги купить словарь, атлас, учебник геометрии. Через несколько лет, перед поездкою в Рим, Антео снова прибегает к этому средству уравновесить свой бюджет. В обоих случаях это ему сходит с рук. Добропорядочные ювелиры, хотя и догадываются, что он сбывает краденое, охотно покупают у него за бесценок фамильное серебро и колье графини Карсидони и отнюдь не считают нужным ставить в известность об этом полицию: «не пойман — не вор». Пока поступки Антео согласуются с лежалой мудростью пословиц, с максимами, выражающими практическую мораль общества, в котором он живет, как бы эти максимы ни противоречили прописным истинам и катехизису, то есть парадной морали, он остается «своим», и его безнаказанность зависит только от его ловкости и удачи. Но стоит ему хотя бы в мыслях поднять руки на «устои», посягнуть не на собственность графини Карсидони, а на «священную и неприкосновенную Собственность», поставить под сомнение разумность и справедливость порядка, охраняемого традицией, законом и религией, он становится отщепенцем и врагом общества.

Узловые эпизоды «Мировой машины», в

Н. НАУМОВ
В СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ

которых Антео выступает прямым противником власть имущих и сильных мира сего, неизменно одерживающим над ними моральную победу и неизменно терпящим поражение в практическом смысле, и представляют собой различные варианты и проявления донкихотской ситуации.

В ответ помещику Морди, который, воодушевившись победой демо-христиан на выборах, обращается к крестьянам с «отеческим поучением», Антео произносит «злонамеренную и богопротивную» речь. Он доказывает, что патриархальные отношения, которые надеется укрепить и увековечить Морди, давно изжили себя, что хозяйство его, которое ведется по старинке, на основе испольщины и кабальной аренды, в современных условиях обречено на разорение и что для крестьян единственная альтернатива полному обнищанию и единственная реальная надежда на лучшее будущее состоит в объединении на кооперативных началах.

Взбешенный Морди объявляет его большевиком. Не находит Антео поддержки и у своих соседей-крестьян, которые видят в нем то ли юродивого, то ли смутьяна. Но, глядя на заброшенные поля и опустевшие дома на холмах Монлионе, напоминающие о тех, кого нищета погнала в Рим «вербоваться в армию рабов», он снова и снова возвращается к мысли о том, что для этих крестьян «была бы возможна свободная и более счастливая жизнь, если бы Монлионе стал колхозом, богатым машинами и новыми культурами, сильным геометрией и техникой и управляемым самими крестьянами».

Антео излагает приходскому священнику свои философские взгляды и с наивной хитростью пытается убедить его, что в конечном счете они совместимы с религиозными убеждениями. «Священник мне сказал, чтобы я бросил все это, а если не хочу быть крестьянином, уехал работать куда-нибудь, хотя бы в Бельгию или во Францию. На это я сказал, что он слуга невежества. А он ответил, что он слуга бога и церкви и что я оскорбляю и церковь и бога». Антео пишет епископу и посылает ему отрывок из своего трактата. «Но и епископ решил, что надо как можно скорее покончить со мной и с моими идеями». И Антео незамедлительно убеждается в том, что решение это — не пустые слова. После того как его отец, бывший управляющий Морди, которого победа демо-христиан действительно не спасла от разорения, распродав все свое имущество, уезжает в Рим, у Антео остается только дом и маленький клочок земли, завещанный ему бабушкой. Но и этот клочок у него отнимают церковники в наказание за его еретические писания и крамольные речи, извлекши на свет сомнительную дарственную Конгрегации милосердия, сделанную покойной еще до войны.

В Риме, куда Антео уезжает в надежде встретиться с учеными, которые по достоинству оценят его трактат, найти учеников и последователей, а быть может, и разыскать покинувшую его жену, он после многих перипетий, оставшись почти без гроша, становится уличным продавцом маслин и бобов. Этим нехитрым товаром снабжает Антео, как и многих других бедолаг, его землячка, продувная и прижимистая торговка, сумевшая сколотить деньжат и «вывести в люди» детей. Однажды, незадолго до очередных выборов, она созывает всех своих разносчиков — человек тридцать обнищавших крестьян и безработных — будто бы для того, чтобы условиться о новых ценах и отчислениях, и перед этим сборищем выступает ее зять, доктор Коломбари, призывающий поддержать христианско-демократическую партию — «оплот семьи, труда и религии» и голосовать за кандидата этой партии, его друга-врача, который как нельзя лучше будет пользовать своих избирателей. Чувствуя себя в полной зависимости от хозяйки, все изъявляют согласие, но Антео, ко всеобщему удивлению, задает доктору Коломбари вопрос, что он имеет в виду, говоря о семье, труде и религии. Не ту ли семью, которая для многих из них «обуза или проклятие», не тот ли труд, плодом которого была нищета, заставившая их покинуть родные селения, и не ту ли религию, которая освящает гнет и невежество? Разъяренная хозяйка накидывается на Антео с бранью и угрозами и взывает к здравому смыслу и благодарности разносчиков: «Вы же знаете, что надо работать, чтобы жить, и что мы вам даем работу в Риме, а Рим такой город, куда все хотели бы перебраться... Так что слушайте тех, кто знает, что для вас хорошо, и цените ваше счастье!» С горьким сарказмом Антео отвечает: «Да уж вы-то знаете, что значит жить в Риме и продавать всякое дерьмо на панели!.. Забитые и темные, вы боитесь любого хорошо одетого человека, и дай он вам пинка в зад, вы бы еще поблагодарили его, только бы не накликать беды. Мирясь со своей судьбой, вы поистине предаете тех, кто вас создал, вы низводите себя до уровня червей и сами понимаете это — недаром вы обходите стороной главные улицы, опасаясь, что от вас смердит. Вы даже не решаетесь войти в свой дом, если ваша дочь — любовница какого-нибудь синьора...» Тут и разносчики, «чтобы показать свою преданность хозяйке и синьору Коломбари», набрасываются на возмутителя спокойствия, и этот своеобразный митинг переходит в потасовку. Но, выбравшись из свалки, Антео, прежде чем уйти, в свою очередь призывает бедняков голосовать — за коммунистическую партию. «Если вы собираетесь голосовать за христианскую демократию вместе с этой торговкой и ее зятем, значит, вы в самом деле надеетесь, что после голосования у вас будут те же права, что у них, и что вы сравняетесь с ними. Если же вы хотите голосовать, чтобы стать сильнее, и потому, что вы не ровня ей и ее зятю, потому что вы приехали в Рим, а в Риме вам плохо, потому что вас гнетет страх и потому что вы хотели бы вернуться в свои селения и мечтаете о том, чтобы ваши селения стали иными и чтобы в них,

в этих селениях бедняков, можно было бы жить простой и радостной жизнью, как в юности,— тогда голосуйте за коммунистическую партию».

Таким образом, в этом эпизоде, напоминающем ту сцену из «Дон Кихота», где каторжники побивают камнями своего незадачливого избавителя, Антео оказывается в конфликте не только с сильными мира сего, но и с «проклятьем заклейменными». Нищие в буквальном смысле слова и нищие духом, они одновременно вызывают у него чувство солидарности и чувство презрения, жалость и гнев. Он плоть от плоти этих людей, и он их антипод.

Этот второй аспект донкихотской ситуации, которая лежит в основе «Мировой машины», получает наиболее полное и яркое выражение в истории отношений Антео со своей женой Массиминой Мелески. Унаследовавшая собственнические инстинкты «крепких» крестьян, их ограниченность и их дремучие предрассудки, свято верящая в незыблемость векового уклада («не нами заведено, не нами и кончится») и в спасительность житейской мудрости («с сильным не борись, с богатым не судись»), мечтающая только о том, чтобы «все было как у людей», Массимина являет собой прямую противоположность Антео. Ученые занятия мужа кажутся ей пустой блажью, его идеи — сумасбродными фантазиями, а поступки — опасным чудачеством, и она безуспешно пытается образумить его. Антео, со своей стороны, не может примириться со скептически-насмешливым отношением Массимины к тому, в чем он видит смысл своей жизни, и он столь же безуспешно борется с ее умственной ленью, вместо аргументов подчас пуская в ход кулаки.

Но при всем том Антео нежно и горячо любит жену, и, когда она внезапно покидает его и, как потом выясняется, уезжает в Рим, где поступает в прислуги, он воспринимает это как жестокий удар, и страницы, на которых он описывает дни, последовавшие за исчезновением Массимины, исполнены пронзительной тоски.

Семейный разлад в свою очередь становится источником донкихотских ситуаций. Так, в поисках Массимины Антео сталкивается с ее хозяином, влиятельным адвокатом, советником Фруджиференти, который препятствует их встрече и грозит Антео, если он не прекратит свои домогательства, упечь его в тюрьму. Антео по телефону обличает советника как сбира «вождемократического, буржуазного государства», как высокопоставленного стражника, который «всю жизнь только и делал, что надевал на людей наручники» своею подписью, как живой анахронизм в век атомной энергии. Но у синьора Фруджиференти есть куда более сильные средства выйти победителем из этого спора, чем доводы и оправдания: Антео «за бродяжничество и хулиганство» под конвоем двух полицейских высылают из Рима. Так, на процессе, возбужденном против него родственниками Массимины, Антео, понимая, что его судят не за побои, а за «подрывные идеи», обличает судью, прокурора и официального защитника, которые ведут бесчестную игру, пуская в ход «такие сальные и грязные карты, каких не сыщешь ни в одной остерии», и пытаясь «перекрестить, замаскировать и громкими словами оправдать насилие, которое не имеет иного оправдания, кроме силы». Более того, бросая им вызов, он объявляет себя коммунистом: «Я коммунист, хотя и не состою в партии и хотя до партии мне мало дела. Мне мало дела и до классовой борьбы в этой неразберихе, которая нарочно создана буржуазией. Я коммунист потому, что для меня наука — основа и смысл жизни. Коммунистическое общество не может быть таким окостеневшим, как это, потому что оно всегда будет идти следом за научной эволюцией и постоянно обновляться, усовершенствуя существующие машины и создавая новые, как оно уже начало это делать». Но эти обличения и заявления Антео разумеется, лишь укрепляют судью в решении вынести ему обвинительный приговор.

Церковь и государство, полиция и суд на стороне Массимины, ибо Массимина на стороне порядка, который люди благонамеренные и богобоязненные считают справедливым и естественным. Но именно преданность этому «естественному» порядку толкает ее на противоестественное преступление. С невероятной выдержкой и изобретательностью она скрывает свою беременность, а когда в доме синьора Фруджиференти у нее рождается сын, душит его, из страха, что он пойдет в безумца отца. Этот чудовищный акт глубоко символичен: страшась обновления жизни, судорожно цепляясь за прошлое, Массимина душит свое будущее.

Преступление Массимины, о котором Антео узнает из газет, служит последним толчком к осуществлению уже созревавшего у него замысла покончить с собой. Мы расстаемся с Антео в ту минуту, когда он, высверлив отверстие в статуэтке, похищенной в юности у графини Карсидони, и заложив в нее динамит, собирается приложить ее к груди или к голове и взорвать заряд.

Роковое решение Антео вызвано чувством глубокого одиночества и бессилия. «Как смогу я, один, придать моим идеям силу, необходимую для того, чтобы всколыхнуть массу моих ближних, столь опустившихся и нищих духом? Если я и достигну в науке какого-нибудь результата, то этот результат не будет понят и признан и останется лишь следом упавшей звезды». Но и принимая это решение, Антео остается верен своей неукротимой натуре. Он не привык, как другие, пассивно «ждать, чтобы хозяин тебя освободил или стал платить тебе лучше, ждать, чтобы его превосходительство умер, или исправился,

---

Н. НАУМОВ
В СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ

или впал в детство и дал себя обмануть; ждать, чтобы священники или профессора сказали тебе правду; ждать старости, когда человеку ничего не нужно; ждать, чтобы враждебное время, посаженное в клетку, убаюкало тебя своей монотонной песней». И теперь, когда он сам забраковал себя как «машину», слишком несовершенную, чтобы переделать мир, он не хочет ждать смерти, а бросается ей навстречу, как бросаются на врага. Его самоубийство столько же жест отчаяния, сколько жест протеста — недаром он выбрал не петлю или омут, а динамит. Антео уходит из этого мира, хлопнув дверью.

«Донкихотская ситуация» — формула столь общая, что ее правомерно прилагать к произведениям, относящимся к различным эпохам и различным литературам, начиная с самого «Дон Кихота». Но в каждом из них и конфликт, и образ главного героя нельзя отделить от изображенных социально-исторических условий, а уже потому содержание этих произведений отнюдь не сводится к вариациям на вечную тему.

Основой донкихотской ситуации в «Мировой машине» Вольпони являются противоречия современной национальной действительности в ее самых глубинных пластах, и именно потому прежде всего это роман глубоконациональный и современный, хотя по отношению к борьбе широких масс за демократию и социализм, борьбе, от которой в наши дни неотделим подлинный — реальный и действенный — гуманизм, донкихотская ситуация сама по себе — явление производное и побочное.

Вольпони показал в «Мировой машине» на срезе социальной психологии крестьянства силу и слабость итальянского революционного движения. В лице Антео Крочоне он изобразил урбинского мужика, который сбрасывает с себя ветхого Адама: не желает «ждать правды от священников и профессоров», а начинает сам искать правду; не желает больше довольствоваться вопросами и ответами, которые дает катехизис, а начинает сам ставить жизненно важные для него вопросы и сам доискиваться ответов; не желает больше видеть в помещике отца и благодетеля, а начинает задумываться о том, как построить хозяйство на более разумных и справедливых началах; не желает больше признавать авторитет и мириться с произволом господ Фруджиференти, а начинает отстаивать свое человеческое достоинство и свои гражданские права; не желает больше верить демо-христианским защитникам «семьи, труда и религии», а начинает прислушиваться к тому, что говорят коммунисты.

Вольпони почувствовал и дал почувствовать в своем романе не только революционный потенциал, который таит в себе трудовое крестьянство, но и необратимый сдвиг, уже совершающийся в его сознании. Но, чуждый благодушия, которое так охотно принимает желаемое за действительное, и предвзятости, которая не становится лучше оттого, что это оптимистическая предвзятость, он вместе с тем показал, как мучительно труден и медлителен этот сдвиг, какие горы косности, заскорузлости, предрассудков еще надо сдвинуть, чтобы потенциальная энергия революционного действия превратилась в энергию кинетическую.

Антео Крочоне — «положительный герой» в том смысле, что сочувствие автора и читателей безусловно на его стороне (хотя это и не безусловное сочувствие). И не только потому, что нам близки одушевляющие его стремления и идеалы, какую бы превратную форму они порой ни принимали, но и потому, что сама его личность воплощает в себе многие черты, которые мы связываем с гуманистическим идеалом «Человека с большой буквы». Есть в Антео нечто родственное людям Возрождения с присущим им, по известной характеристике Энгельса, «титанизмом». Когда урбинский судья в насмешку называет его «маленьким Галилеем», он, не подозревая того, лишь отдает должное благородному духу исканий, который отличает этого самоучку, презирающего авторитет «маленьких Аристотелей». И какой бы произвольной или искусственной ни показалась на первый взгляд эта ассоциация, многое в его трактате и в его исповеди приводит на память мыслителей и художников итальянского Ренессанса: то же убеждение, что человек «по собственному произволу чертит границы своей природы», как говорил Пико делла Мирандола, та же цельная и героическая натура, не знающая, «какого цвета бывает страх», как писал о себе Бенвенуто Челлини.

Но при всем том в этом «положительном герое» нет ничего агиографического, и мы вместе с писателем не можем не относиться к нему критически, а в какой-то мере и иронически. Его слабости — продолжения его достоинств, и потому-то этот образ художественно столь органичен. Благородная бескомпромиссность, максимализм и вера в свое высокое призвание, отличающие Антео, имеют своей оборотной стороной пренебрежение к объективным обстоятельствам, к силе социальной инерции, к неподатливому человеческому материалу, из которого нельзя вылепить «Академию дружбы», как скульптор лепит статую из глины.

Презрению к убогому практицизму и пошлому здравомыслию он приносит в жертву практичность и здравый смысл, праву сильного противопоставляет лишь силу своей правоты и, в вольном полете мысли преодолевая путь, который еще надо проделать пешком, забывает о том, что зовет за собой людей, обремененных тяжелым грузом, и что избавиться от этого груза не легко и не просто. Короче, он лишен, выражаясь словами Белинского о Дон Кихоте, «такта действительности», и действительность мстит ему за себя. В этом корень трагедии Антео Крочоне, и в этом же источник комического в «Мировой машине». Проблема «субъективного фактора»

к которой нас возвращает роман Вольпони, таким образом поворачивается к нам новыми гранями.

Действительно, всестороннее, критическое осмысление действительности не сводится к разоблачению и бичеванию. Оно должно включить в себя и критику иллюзий относительно этой действительности, и критику критики, которой она подвергается, а в некотором смысле также и самокритику. «Мировая машина» отвечает и этой последней задаче.

Антео не случайно черпает вдохновение в «красном спутнике», связывает свои надежды на признание с Академией наук СССР, а свои представления о новой жизни в деревне — с колхозами и в коммунистах видит своих союзников. Его тяга к цельному и всеобъемлющему научному мировоззрению и его революционные устремления стихийно влекут его к марксизму и социалистическому движению. Его беда в том, что он так и не находит пути, так и не пробивается ни к научному социализму, ни к коммунистической партии. Но и коммунистическая партия еще не всегда и не всюду пробивается в самую толщу крестьянской массы, которая выдвигает из своей среды таких самородков, как Антео. А именно от этого встречного движения зависит в огромной мере национальное будущее.

Позволим себе здесь маленькое отступление. В зарубежной критике, даже и марксистской, в последние годы явственно намечается тенденция противопоставлять искусству как отражению объективной действительности искусство как выражение творческих сил и устремлений человека. При этом внушается мысль, что лишь произведение, «реконструирующее» действительность подобно кибернетической модели и оставляющее за порогом «наличное бытие», пробуждает в людях, как пишет Роже Гароди, «сознание их творческой мощи и делает для них еще более непереносимыми все формы отчуждения, порождающие представление, что мир дан раз навсегда, совершен, неподвижен». Не вдаваясь здесь в теорию вопроса, заметим только, что действительно значительные и талантливые произведения современной литературы всем своим содержанием, как это видно на примере романов Вольпони, опровергают такого рода искусственные и узкие концепции. Их сила — не в отрыве субъективного от объективного, «выражения» от «отражения», не в абсолютизации одного из этих моментов, которую освящает теория мифа как центральной эстетической категории, а в подлинном реализме, понимаемом как проникновение в диалектику живой жизни, в органическом единстве беспощадной правдивости и активного, критического и творческого начала. Мы постараемся показать это и на другом примере.

■

Почти одновременно с «Мировой машиной» вышел в свет «Хозяин» Гоффредо Паризе*, и один итальянский критик не без основания назвал эти два романа «параллельными», хотя ни по сюжету, ни по художественной манере между ними нет ничего общего.

Молодой человек из провинции, от имени которого ведется повествование, приезжает в крупный промышленный центр и поступает на службу в известную торговую фирму. Мы так и не узнаем, как зовут этого молодого человека, что это за город и что это за фирма — все происходит, так сказать, в некотором царстве, в некотором государстве, и уже одно это придает роману Паризе своеобразный притчевый склад.

Молодой человек надеется оправдать ожидания своих родителей и со временем сделать карьеру, занять достойное положение в обществе и обеспечить себе известное благосостояние. Мечты эти сбываются. «Итак,— пишет наш герой на последней странице романа,— у меня есть жена, квартира, холодильник и стиральная машина — все необходимое для того, чтобы быть полноправным членом общества. Я получаю прекрасное жалованье, доктор Макс подарил мне совершенно новую машину, и сегодня в потоке служащих, направляющихся утром на работу, никто бы не признал во мне того, кем я был когда-то». Другой вопрос — каким путем и, главное, какой ценой достигнуто это благополучие. Ответ на него и составляет все содержание романа.

«Хозяин» Паризе в некотором роде Erziehungsroman — роман воспитания; но в отличие от классического романа воспитания, где личность формируется так или иначе под воздействием стихийно сложившихся отношений и обстоятельств, герой Паризе — объект сознательной, целенаправленной воли «воспитателя», в роли которого выступает доктор Макс, фактический хозяин фирмы. В подающем надежды юном провинциале доктор Макс видит великолепный человеческий материал, из которого можно вылепить образец идеального служащего. Каков именно этот идеал, который во всяком случае не сводится к молчалинской «умеренности и аккуратности», выясняется не сразу, но по крайней мере одну из его важнейших черт воплощает второстепенный персонаж романа — привратник Лотар. Лотар — первый, с кем встречается наш герой, переступив порог фирмы, и, будь молодой человек более проницателен, он прочел бы на его лице «оставь надежду всяк сюда входящий» — эта встреча, как едва ли не все эпизоды романа, без сомнения, имеет символический смысл. В мастерском портрете швейцара, напоминающего юноше старого орангутанга, проникшегося презрением к себе подобным и вместе с тем утратившего надежду стать человеком и приобщиться к пестрой толпе, которая с утра

* См. «Иностранную литературу» № 8 за 1966 г.

Н. НАУМОВ

В СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ

до вечера фланирует перед его глазами, сливаются воедино его индивидуальные и «видовые» качества — животная натура и социальная психология лакея. Из таких людей, как Лотар, выходят образцовые палачи и охранники — это их призвание, и, как мы потом узнаем, Лотар действительно был в свое время ординарцем эсэсовца в концентрационном лагере. Швейцар, медбрат, садовник, шофер, прислуга, шпион, словом, мастер на все руки, он знает только одну профессию — подчинение, только одну добродетель — преданность хозяину, только одну заповедь — выполняй приказ. «Для него фирма — все равно что церковь, и единственная религия, которую он исповедует,— это послушание».

Его индивидуальность сводится к доминирующему инстинкту, его самостоятельность ограничена сферой чисто животных отправлений, и вне этой сферы он только орудие. Все в нем ненавистно нашему герою — и «точность робота», и «звериный азарт», но тем не менее именно в Лотаре перед ним его собственный прообраз: ему тоже предначертано стать для доктора Макса и его семьи «неодушевленным предметом и в то же время живым существом, над которым они имеют абсолютную, тоталитарную, сверхъестественную власть». Конечно, как «особь», он сохранит известные особенности, скажем, будет походить не на Лотара с его «мощным зарядом эротики», а на курьера, который кажется ему кастратом. Но не в этом суть: по замыслу «воспитателя», он во всяком случае должен превратиться в instrumentum vocale *.

Однако это еще не идеал, хотя и важнейший компонент идеала. Хозяину нужен умный робот, человек-машина, но машина совершенная, отвечающая масштабам и сложности современного производства и сбыта, разветвленности экономических связей, непрерывно меняющейся конъюнктуре,— машина, самопрограммирующая в определенных, наперед заданных пределах. Неоспоримые достоинства Лотара необходимы, но недостаточны — доктор Макс мечтает создать «такие руководящие кадры, которые обладали бы обоими качествами: безграничной преданностью и в то же время личной инициативой». Но это требует определенной культуры, уже несовместимой с безотчетной, инстинктивной, собачьей верностью, а потому раба по крови нужно заменить рабом по убеждению, просвещенным и в некотором роде свободным рабом — в соответствии с духом нашего демократического века, а религию рабства дополнить философией и моралью.

Мораль — ключевое понятие в романе Паризе. Доктор Макс не просто высоконравственный человек — он непрерывно терзаем моральными проблемами, и слова «аморально», «безнравственно» не сходят у него с языка. Правда, в его понимании существует две морали: одна — для собственного употребления, другая — для подчиненных. Первая отличается необыкновенной гибкостью и, главное, странным образом предъявляет ему лишь такие требования, которые совпадают с его практическими интересами, а если и толкают его на маленькие жертвы, то эти жертвы с лихвой окупаются весьма существенными выгодами. Так, доктор Макс ходит на работу в рваных ботинках, но это дает ему моральное право обрушиться на Диабете за то, что он сшил себе дорогой костюм, нарушив таким образом заповедь бережливости, и даже урезать ему за это жалованье — разумеется, в воспитательных целях, а следовательно, для его же блага. К тому же нравственный голос, диктующий хозяину его поступки, не так уж непререкаем, и, когда дело касается его удобств, доктор Макс не впадает в чрезмерный ригоризм: садясь в свою новую машину, воплощение роскоши и комфорта, он произносит фразу, несколько неожиданную в его устах: «Знаю, знаю, что это безнравственно, но мне наплевать».

И все же хозяйская мораль ставит перед доктором Максом почти неразрешимую проблему. С одной стороны, «нравственное начало, голос совести» побуждает его печься о процветании фирмы, от которого зависит благополучие и самая жизнь его служащих, а значит, сурово взыскивать с них за халатность или недобросовестность и пресекать всякое «расточительство». С другой стороны, он не может, как советует ему неопытный молодой человек, «послушавшись голоса совести», прибегнуть в борьбе против «людей, лишенных моральных устоев», к решительным мерам вплоть до массового увольнения: «Знаете ли вы, что значит всех разогнать? Это значит платить миллионные неустойки, вступить в затяжной конфликт с профсоюзами; начнутся забастовки, и, кроме всего прочего, придется заменить уволенных служащих другими, совершенно несведущими людьми, которые могут оказаться еще хуже, гораздо хуже прежних. Это значит вывести фирму из строя на многие месяцы, а может быть, и годы. Вот что это значит! К тому же не следует забывать и о моральной стороне дела: вы мне предлагаете выставить на улицу людей, на иждивении которых — жены, дети... Вы понимаете, что вы говорите?»

Из этого нравственного противоречия, таким образом, нет выхода в рамках хозяйской морали. Тут нужна помощь морали другого рода, предназначенной для служащих, но, в отличие от хозяйской, отнюдь не совпадающей с их интересами — разумеется, превратно понимаемыми. Нужно, «чтобы эти люди поняли, что они моя собственность и я могу делать с ними все, что хочу. Если бы можно было втемяшить им это в голову, мы сделали бы великое дело».

Усилия доктора Макса направлены к тому, чтобы втемяшить это в голову по крайней мере молодому человеку, на которого он возлагает большие надежды, притом так, чтобы он сжился с этой идеей, чтобы она стала его собственным убеждением, чтобы он поступал согласно основополагающему принципу морали «pour les gens» не по при-

* Говорящее орудие (*лат.*).

нуждению или в силу необходимости, а по собственной воле, иначе говоря, чтобы его рабство имело видимость свободы. Поэтому ему недостаточно поместить своего питомца в уборную, а надо еще, чтобы он сам выбрал хозяйскую уборную в качестве своего кабинета и даже был благодарен хозяину за то, что тот хочет иметь его под рукой и ради этого согласен пользоваться общим туалетом. Поэтому ему мало того, что молодой человек никогда не опаздывает на работу, ему надо еще, чтобы он приходил вовремя или даже раньше времени, несмотря на то что хозяин разрешает ему не отмечаться по утрам, и в этом черпал моральное удовлетворение и был благодарен за доверие (хотя Лотар поглядывает на часы). «Вы правильно делаете, что рассматриваете себя как мою собственность,— замечает он своему подчиненному,— это свидетельствует о наличии у вас практического ума... И тем не менее вы все равно можете считать себя свободным». В одной этой фразе вся мораль «свободного раба», которую культивирует хозяин. Ее тайна — лицемерие и самообман.

Но и этого мало. В «Критике практического разума» Кант проводит различие между «легальным» актом, который сам по себе согласуется с категорическим императивом, но не противоречит и непосредственным целям удовольствия и счастья или благополучия, и актом «моральным», красота которого в том и состоит, что он осуществляется вопреки естественным влечениям человека и «прагматическим правилам благоразумия». И доктор Макс, добившись того, что молодой человек признает себя такой же собственностью хозяина, как мебель и пишущие машинки, все еще считает неполным свое торжество, пока не поднимает воспитуемого до высоты истинно морального акта, до полного самоотречения. Этот акт — добровольная — о, совершенно добровольная! — женитьба молодого человека на воспитаннице матери хозяина, идиотке Цильетте. Их брак знаменует собой достижение нашим героем summum bonum — высшего блага, которое, по определению Канта, «есть единство добродетели и благополучия»: теперь ему больше нечего желать, разве только того, чтобы его сын унаследовал слабоумие матери и уже от рождения был человеком-вещью, избавленным от постылой свободы, а значит, и от необходимости решать, выбирать, бороться. Вместе с тем этот союз являет собою не только «прообраз идеальной семейной ячейки, то есть шедевр абсолютной собственности», но и залог возникновения *нового вида* — «единственной формы оков, которые не могут быть разбиты».

Достигнутая в этом частном случае вожделенная гармония между хозяйской и рабской моралью (равно как и гармония между прямыми интересами хозяина и «правильно понятыми» интересами раба) обещает таким образом, по мысли доктора Макса, вырасти такие общественные отношения, которым трудно подыскать другое название, нежели капиталистический социализм. Этот «социализм» — противоположность утопической «Академии» Антео Крочоне, разумеется, тоже утопическая. И утопия эта выражает истинную сущность «человеческих отношений», к которым, как функция к пределу, стремится современный патернализм.

«Гениальный проект» доктора Макса невольно приводит на память карамазовского великого инквизитора, который «ставит в заслугу себе и своим, что наконец-то они побороли свободу и сделали так для того, чтобы сделать людей счастливыми», и с гордостью объявляет своему узнику: «Теперь и именно ныне эти люди уверены более чем когда-нибудь, что свободны вполне, а между тем сами же они принесли нам свободу свою и покорно положили ее к ногам нашим». В своем сатирическом романе Гоффредо Паризе показал, откуда в действительности исходит угроза свободе личности и личности, как таковой. И в этом смысле его «Хозяин» противостоит реакционной социально-философской фантастике XX века от Замятина до Оруэлла, главную идею которой — несовместимость свободы личности и коммунизма — в буржуазном литературоведении так часто возводят к знаменитой «поэме» Ивана Карамазова, пытаясь освятить именем Достоевского.

Как уже сказано, в отличие от «прирожденного раба», каким предстает в романе Паризе привратник Лотар, молодой человек становится человеком-вещью в результате упорной и методической воспитательной работы. В «Хозяине» раскрывается, таким образом, весьма важный аспект проблемы отчуждения, который в буржуазной литературе, как философской, так и художественной, неизменно остается в тени. Паризе показывает субъективную сторону этой проблемы (хозяин сознательно добивается «расчеловечения» человека, ибо оно отвечает его классовым интересам) и тем самым срывает с отчуждения своего рода мистический покров, под которым это понятие приобретает такую безбрежную широту и неопределенность, что сближается, как остроумно заметил французский писатель и публицист Жан-Мари Доменак, с понятием первородного греха в христианской догматике.

Воспитательная работа хозяина характеризуется сочетанием методов принуждения и убеждения, насилия и софистики (хотя известную роль играют и подачки). Эта методика великолепно раскрывается в письме доктора Макса молодому человеку, которое несомненно принадлежит к лучшим страницам романа и, не побоимся сказать, к лучшим образцам современной социально-философской сатиры. Доктор Макс доказывает взбунтовавшемуся рабу, что его попытка вырваться из-под власти хозяина, отказавшись жениться на Цильетте, во-первых, безнравственна, а во-вторых, безнадежна. К тому же самому направлены все меры воздействия, к которым прибегает хозяин, чтобы взрастить из молодого человека уникальное дерево и привить ему «идею сада» — от болезненных уколов витамина до душеспа-

---

Н. НАУМОВ

В СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ

сительных бесед, от урезанного жалованья до унизительного безделья. Подобно тому, как мораль хозяина всегда совпадает с его интересами, безвыходное положение подчиненного заставляет поступать его точно так же, как повелевает ему моральный долг. Когда молодой человек проникнется этой мыслью, когда он поверит, что положение его действительно безвыходно, и нравственный императив в понимании хозяина отождествится в его сознании с объективной необходимостью, можно будет без всякого риска открыть ему выход и предоставить свободный выбор. И вот является адвокат, который готов устроить молодого человека в любую другую фирму, но тот отказывается от его услуг. Так в известном эксперименте клетку заменяют меловым кругом, очерченным вокруг животного, и оно остается на месте.

Но превратить человека в вещь не так-то просто, и, как ни высок уровень воспитательной работы доктора Макса, она все-таки не дала бы желаемых результатов, если бы молодой человек не был предрасположен к такому превращению, если бы в деле воспитания воспитуемый не сотрудничал с воспитателем. В чем же корни этой предрасположенности?

Прежде всего как раз в том, что наш герой — человек без корней или, во всяком случае, со слабыми, хилыми корнями. Если его прошлое, среда, в которой он вырос, словом, та почва, из которой он перенесен в «сад» хозяина, обрисована в его исповеди так скудно, то не потому ли, что это скудная почва, не способная напоить молодой росток живыми соками: замкнутый, мещански ограниченный мирок семьи мелкого провинциального чиновника, живущего в вечном страхе перед столоначальником и в безрадостном ожидании мизерной пенсии. И если молодой человек в первый же раз, когда он приезжает в отпуск домой, вынужден констатировать: «ничто больше не связывает меня ни с отцом, ни с матерью, ни с Марией, ни с городом, в котором я родился. Ничего не осталось — ни чувств, ни воспоминаний»,— то не значит ли это, что его связи с семьей, любимой женщиной, людьми, с которыми он общался, были непрочными и случайными, а жизнь, которую он вел в родном городе,— бедной событиями и впечатлениями, сонной, бессодержательной.

Узнав о предполагаемой женитьбе молодого человека на Цильетте, его отец немедленно приезжает, чтобы предотвратить этот брак. Он полон негодования, клеймит малодушие сына и рвется в бой с доктором Максом. Но одной символической инъекции символического витамина, которую по указанию хозяина делает ему все тот же Лотар, оказывается достаточно для того, чтобы весь его боевый пыл пропал и он убрался восвояси, сменив свои гневные протесты и энергичные призывы на спасительные советы («Главное, думай о своем здоровье».) и сомнительные утешения («Вот увидишь, все обойдется».). Уж не у него ли мог почерпнуть юноша моральную сопротивляемость, стойкость и мужество?

В бесхребетности героя Паризе просвечивает социальная психология мещанина. Просвечивает она и в его пиетете перед капиталом. Молодой человек видит хозяина, так сказать, двойным зрением. С одной стороны, доктор Макс представляется ему столь ничтожным и антипатичным, что он постоянно сравнивает его со злобным и омерзительным насекомым: доктор Макс протягивает «свою руку-лапку», его рот напоминает «хоботок большого раненого насекомого», а голос — «стрекот, слабый и в то же время шипящий, агрессивный звук»; он впадает в «тягостное оцепенение, характерное для больных насекомых в тот период, когда у них появляются эти отвратительные пятна»; он смотрит на подчиненного, «как насекомое, готовое ужалить»; его ярость, «как и сходство с насекомым», достигает предела и т. д. и т. д. Доктор Макс жалок, когда его третирует отец, доктор Сатурно, доктор Макс смешон, когда его невеста Минни объясняется с ним дурацкими жестами и междометиями героев комиксов. Но с другой стороны, доктор Макс владеет миллионами, и одна мысль об этом приводит молодого человека в суеверный трепет. Перед ним a priori высшее существо, сверхчеловек, и даже его слабости представляются юноше свидетельством избранничества: «богатство, то есть деньги,— это прерогатива людей особого вида, не похожих на бедняков, причем слово «вид» здесь употребляется как биологический термин: речь идет о сумме определенных физических, психических и психологических особенностей, которые почти никогда не наблюдаются у особей другого вида».

Этот пиетет, это благоговение маленького человека перед большими деньгами и эксплуатирует доктор Макс.

Но он эксплуатирует и то, в основе своей здоровое и привлекательное качество нашего героя, которое в старину называли идеализмом. Молодой человек, удостоившийся благосклонного внимания доктора Макса, отнюдь не стяжатель или карьерист. Он мечтает не только и даже не столько о собственном преуспеянии, сколько о том, чтобы приобщиться к деятельной жизни, стать необходимым винтиком дела и клеточкой общественного организма. Но лишь одухотворенная благородной целью жизнь обретает истинно человеческое величие и красоту. Между тем реальное содержание, смысл и цель дела, которому хочет служить наш герой, остаются за пределами его интересов — недаром мы даже не знаем, чем занимается фирма, где он работает и в чем состоит его собственная работа. Молодого человека влечет абстрактное дело, сама причастность к тем, кого оно связывает незримыми узами, служение, как таковое, и это стремление именно в силу его отвлеченности может быть направлено в любое русло и своекорыстно использовано, как использовал, скажем, фашизм в преддверии катастрофы даже романтические порывы мальчиков, одетых в форму гитлерюгенда.

Затерявшись в толпе, молодой человек испытывает чувство опьянения и счастья:

«Есть в этом отрешении от собственной личности, в этой безымянности нечто от природы, от религиозного экстаза. В таком же бессознательном возбуждении, наверно, пребывают муравьи, когда они лихорадочно, вереницами снуют туда-сюда от муравейника к источнику пропитания и обратно. Я чувствую себя совсем как один из этих муравьев: готов приветствовать каждого встречного и видеть свое сходство с другими... Я думаю, что аналогичным образом сближает людей и религия».

Этой муравьиной религии недостает только идеи личного бога, в служении которому муравей видел бы свое назначение; к ней и приходит наш герой. Бог в образе насекомого с апигментными пятнами ниспосылает ему благодать: «Что б я делал, не будь у меня хозяина, то есть человека, который считает меня своей собственностью и ежедневно пользуется мной, как если бы я был стаканом, автомобилем, стулом, кроватью? Что бы со мной было? Я был бы стаканом, автомобилем, стулом или кроватью, которые никому не нужны и, стало быть, не выполняют никакой функции. И не только не выполняют никакой функции, но и лишены смысла существования: стакан, которым никто не пользуется, нельзя назвать стаканом, он не достоин даже упоминания, это лишь пустая оболочка, нечто бывшее раньше стаканом, но сейчас выброшенное на помойку и переставшее быть тем, чем было раньше».

Нетрудно понять, в каком смысле итальянский критик назвал «Мировую машину» Вольпони и «Хозяина» Паризе параллельными романами.

Патетическое утверждение в первом из них соотносится с сатирическим отрицанием во втором, как позитив с негативом. Happy end «Хозяина» — доказательство от противного той высокой истины, которой остается верен герой «Мировой машины» даже в ее трагическом финале. Проблема субъективного фактора получает в романе Паризе новое освещение, но источник света остается тем же, что и в романе Вольпони. Этот источник — социалистическая перспектива, в которой человек, пользуясь выражением Маркса, возвращается к самому себе, освобожденный от всего, что его принижало и сковывало, и обогащенный завоеваниями всего предшествующего исторического развития.

И речь идет здесь не только об идейно-политических воззрениях писателей, хотя растущее влияние марксизма на деятелей мировой, и в частности итальянской, культуры неоспоримо и очевидно. Социалистическая перспектива раскрывается в произведениях художников, верных жизненной правде, потому что она раскрывается в самой жизни: ныне нет в Италии кардинально важной национальной проблемы, которая не ставила бы на повестку дня борьбу за социализм как единственно возможную почву ее реального и коренного решения. Разбирая романы Вольпони и Паризе, завоевавшие в Италии широкое общественное признание, мы и пытались это показать или хотя бы дать почувствовать.

Писатель и время

КАРТАР СИНГХ ДУГГАЛ

О ПЕНДЖАБСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ НАШИХ ДНЕЙ

Пенджаби — язык мужественного народа, населяющего северо-западную часть полуострова Индостан; этот язык распространен в Индии и Пакистане. Эта земля веками первой принимала удар завоевателей. Пенджабцы первыми оказывали сопротивление и дрались на поле боя; враги первыми покоряли их и старались расположить к себе. На этой земле были созданы книги Вед. На этой земле потерпел поражение и повернул вспять Александр Македонский. Но после этого народу Пенджаба сотни лет приходилось терпеть набеги захватчиков и видеть, как они возвращались из глубины страны, унося баснословные богатства Индии, гоня перед собой полки рабов-индийцев. Поколения пенджабцев были свидетелями того, как вновь и вновь повторялась эта страшная картина.

Пенджаб — это значит пять рек. Пять рек — Джелам, Ченаб, Рави, Беас и Сетледж — протекают по этим плодороднейшим землям. Они начинаются в Гималаях и, прежде чем влиться в Аравийское море, весело несутся меж тучных полей. Они добряки — эти пять рек — и не очень много бед доставляют людям; и люди, в свою очередь, никогда раньше не беспокоили их; лишь совсем недавно они преградили им бег могучими дамбами, поставили гигантские турбины, чтобы получить энергию, и широкой сетью каналов оросили огромные пустыни Синда и Раджастхана.

Отделенный от соседних областей с двух сторон равнинами, а с двух — высокими горами, Пенджаб отличается резко континентальным климатом. Зимой здесь холодновато, летом — невыносимый зной. Сезона дождей ждут долго и празднуют его с великим торжеством. Сказители ткут пряжу эпических поэм о любви, и покинутые девы поют песни о возлюбленном-воине.

Народные песни Пенджаба — это либо баллады, воспевающие подвиги воинов, либо неторопливые лирические сказания о страданиях разлученных любовников. Баллады отличаются строгой композицией, причем течение их прерывается вставными эпизодами, а любовные песни более свободны по форме и большей частью представляют собой цепь куплетов. Лучшие из них сохранились в веках, а менее интересные отсеиваются или вытесняются новыми. Процесс этот идет из года в год. Таким образом песня живет вновь в каждом новом поколении. Баллады исполняются группами народных певцов под аккомпанемент иктары, однострунного инструмента, или саранги, подобия скрипки. Народные певцы особенно популярны на ярмарках и на праздниках. Они ходят от деревни к деревне, их песня говорит о героях и их делах, об их преданности своей стране. Любовные песни исполняют во время тринджан — на своего рода посиделках, где женщины собираются после дневных хлопот. Или же эти песни служат вокальным аккомпанементом к гидхе, популярному народному танцу.

Народные песни Пенджаба — важное объединяющее начало в этом краю многочисленных религий и каст. Все — мусульмане, индусы, сикхи — воспевают подвиги одних и тех же героев и богов: свадебная песня, восхваляющая Кришну, одинаково популярна и у индусов, и у мусульман, и у сикхов.

Песни остались общими, язык — также, но пенджабская земля оказалась расколота надвое в 1947 году, в то время, когда страна добилась независимости. Народ раз-

делили на мусульман, говорящих на пенджаби, и на сикхов и индусов, также говорящих на пенджаби. В одну ночь рассекли монолитное общество, богатую культуру, возникшую в результате усилий многих поколений. И это имело далеко идущие последствия для языка и литературы. Письменность и живая речь на пенджаби в Восточном Пенджабе, вошедшем в Пакистан, все более подвергаются влиянию персидского языка, а язык индийской части Пенджаба явно склоняется в сторону санскрита и хинди.

Пенджабские мусульмане не пользовались шрифтом гурмукхи, так как он тесно связан с сикхской религией. Поэтому они используют арабский алфавит. Сикхи и индусы сохранили письменность гурмукхи: особенно питают к ней пристрастие сикхи, потому что их гуру — вероучители — применяли ее для священного писания. Письменность неизбежно влияет на характер разговорного языка. И теперь, после многих лет отчуждения художественные средства пенджабского поэта из Пакистана явно отличаются от творческой манеры индийского поэта, пишущего на пенджаби.

Если интеллигенции не удастся найти пути к воссоединению, то есть опасность, что у нас появятся две независимых ветви пенджабского языка и литературы. Одна в Западном, другая — в Восточном Пенджабе.

Национальный язык Пакистана — урду, и лучшие поэты (Фирак Горакхпури, Сардар Джафри), прозаики (Кришан Чандар, Исмат Чугтаи, Раджиндра Сингх Беди) и критики (Сарур и Сиддики) урду принадлежат Индии. В Пакистане каждое их слово читается с жадностью. Странное положение, не правда ли?

Независимость изменила наши взгляды и принесла новое понимание наших трудностей и задач. В Индии теперь каждый язык нашел свое место. Все они признаны официальными в соответствующих районах. Для развития каждого языка важно, чтобы на нем велось обучение в учебных заведениях вплоть до университетов. За это и идет борьба. И подобно бенгали в Бенгалии, маратхи в Махараштре или гуджарати в Гуджарате, можно было предположить, что пенджаби станет единственным государственным языком в Пенджабе и на нем будет вестись преподавание в здешних школах. Но этому не суждено было осуществиться. Это тяжкое бедствие, но современный писатель неповинен в том, что оно легло ему на плечи. Чувство собственной несостоятельности, мысли о бесполезности своего труда невыносимы для художника. Жизнь, которую он не способен уловить, смотрит ему в глаза и смеется над ним.

В целом современная пенджабская литература — здоровая литература. Не считая нескольких эпигонов, которых никто не принимает всерьез, новая литература Пенджаби развивается довольно успешно. За последнее время пенджабская общественность серьезно встревожена судьбой молодых поэтов, среди которых появились экспериментал**и**сты. По-моему, эта тревога неосновательна. Не надо спешить наклеивать ярлыки на новых талантливых поэтов. Многие из лучших наших писателей — Мохан Сингх, Сант Сингх Секхон и Гурбакш Сингх — начали с эксперимента. Каждый отход от традиции питает новый опыт. А ведь очень многое в нашем обществе необходимо отбросить и оставить позади. В эксперименте нет ничего дурного. Только я глубоко убежден, что эксперимент должен быть привилегией лишь тех, кто достиг совершенства в традиционных формах. Притам Сингх Сафир — вот образец писателя, который достиг блестящего мастерства в эксперименте благодаря свободному владению традиционными формами. Уважение к традициям до достижения определенной зрелости дает писателю необходимую дисциплину. И до тех пор пока общая атмосфера — здоровая, можно не обращать внимания на некоторые отклонения. Однако следует предостеречь от некоторых «экспериментов» в области содержания.

Основные человеческие ценности созданы жизнью. Их нельзя опрокидывать. Вы не можете любить соседа, если вы не готовы разделить с ним свое состояние. Экспериментал**и**сты в любой области слегка крикливы, слегка любят командовать, слегка агрессивны; не надо раздражаться из-за них. Настанет время, и они войдут в общий поток: так будет с наиболее талантливыми, остальные умрут естественной смертью. На мой взгляд, многие из экспериментал**и**стов Пенджаба талантливы. Они хотя бы не страдают конформизмом. Мелкие политические дрязги не должны губить литературу. Охота за ведьмами отвратительна повсеместно; в мире искусства и литературы она совершенно нежелательна. Как часто мы из-за недостатка собственного воображения заглушаем новые голоса и гоним прочь талант. И литературная традиция, как правило, скудеет от этого.

Мне кажется, главное, о чем должен думать новый писатель,— это его багаж. У меня такое ощущение, что все писатели страшно спешат. Университетское образование — это еще не все. Молодой писатель не читает своих классиков. Он совсем не знает литературы, созданной на братских языках его страны. Плохо знает крупнейших писателей других стран, других языков. В его жизни не чувствуется борьбы. Его предшественники должны были бороться против англичан. Это был великий подвиг, они получили богатый жизненный опыт. Вся страна десятилетиями была точно наэлектризована. Лозунги, демонстрации, преследования, мученики. Но и сейчас в стране остались враги, худшие, чем иностранные властители. Мы должны победить нищету, темноту, отсталость и — наш бич — неравенство в индийском обществе. Если даже это будет не ненасильст-

---

КАРТАР СИНГХ ДУГГАЛ
О ПЕНДЖАБСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ НАШИХ ДНЕЙ

венная борьба, она будет долгой и изнурительной. И новый писатель должен ощущать себя участником этой борьбы. А соответственно и багаж его должен быть двоякого рода.

Прежде всего он должен знать литературную традицию. Кроме того — участвовать в движении к новому. Он должен знать свой народ. Это единение с народом может происходить в разных пластах общественной жизни. Новая Индия вовсе не будет только крестьянской страной. Рабочие Бхилаи и Читтаранджана, шахтеры Чхота-Нагпура, рудокопы Мадхья-Прадеша, квалифицированные рабочие электропромышленности Бхопала, техники Тромбея — все требуют внимания писателя. Возможно, завтра они станут его читателями. И он должен отобразить их жизнь. Сегодня Пенджаб может похвастать самой высокой железобетонной плотиной, широкой сетью самых современных каналов, развитой промышленностью, изобилием продуктов питания и полным отсутствием упоминания об этих достижениях в литературе. Не считая правительственных журналов и изданий, очень немногие писатели упоминают об этих изменениях, которые мы все видим. Они не чувствуют гордости за это, как за свое. Ни один поэт не воспел строительство электростанции Бхакра, от которой зависят планы страны на будущее, которая должна изменить лицо Пенджаба. Вот почему произведения писателей иногда кажутся совсем далекими от действительности. Я не принадлежу к тем скептикам, для которых будущее пенджабской литературы представляется мрачным, оттого что талантливые писатели не хотят идти путем, проложенным предыдущими поколениями; однако я твердо убежден, что новый писатель должен быть отлично оснащен, чтобы ответить требованиям нового времени и взять на себя новую ответственность. Чуть больше серьезности. Чуть больше труда. Чуть больше глубины в подходе к жизненным явлениям. У нового писателя огромные возможности. Перед ним открываются новые горизонты. Вокруг происходят большие перемены. Он должен все слышать и все видеть. Надо идти в ногу со временем. Его работа особенно трудная. Ему необходимо внутренне перестроиться, расширить круг своих симпатий, усилить остроту восприятия, развить в себе чувство сопричастности. Он должен помочь раскрыть смысл и значение новой жизни, обозначить, конкретизировать требования этой жизни, конкретизировать чаяния нового человека, изобразить его жажду деятельности. Это воистину высокая задача.

Создается впечатление, что новый писатель прежде всего торопится добиться определенного результата. Он пишет рассказ и заставляет трех друзей написать рецензии на этот рассказ. Порой просто поражаешься, видя, как он попусту растрачивает силы и энергию. На языке хинди месяцами ведется спор о том, что такое «новый» рассказ. В этот спор были втянуты все журналы. Вся литература превращена в военный лагерь. Создаются клики, ссорятся друзья. Стоит встретиться двум писателям, как начинаются споры. Однажды меня попросили высказать свое суждение по поводу этого спора на страницах самого крупного на языке хинди журнала ««Гьянодай». Я сказал, что, по-моему, не бывает рассказа нового или старого; есть рассказы плохие или хорошие.

Такие же споры разгорелись и среди пенджабских писателей о новой поэзии. Они не столько писали стихи, сколько — о стихах. И слишком часто меняли позицию. Преклонение — вещь плохая, но традиции нельзя отбрасывать слишком легко.

Великая литература — крик человеческого сердца. Писатель проводит свое утро в чайных, день — в кафе, вечер — в кабинете. Вокруг него всегда шум. Его нервы расшатаны звуками джаза и уличным шумом. Оставшись один, он чувствует себя несчастным. Шумы настигают его повсюду, телефоны и транзисторы надрываются во всякий час, передавая дешевую музыку вперемежку с рекламой пилюль от невропатии, слабоумия и т. п. Поссорившись, он быстро мирится с возлюбленной. Иначе она рассердится. Разве тут до стихов, когда надо стоять в очереди к автобусу; он сочиняет рассказы в поезде по дороге в столицу.

У современного писателя на пенджаби свои горести. И ему можно посочувствовать. Но есть, пожалуй, трудности общие у всех писателей его поколения: редакторы журналов их не печатают. Приходится издавать свой журнал. Журнал этот трудно вести. Он погибает раньше, чем думает новый редактор. К издателям не пробьешься. Они ничего не хотят знать, не сочувствуют, не понимают. Большей частью приходится издавать свои книги за собственный счет. Он и на это согласен. Но в среде читателей много равнодушия. Вкус его неразвит. Его надо сначала образовать. А это требует времени. У нового писателя лопается терпение. Жесток мир, в который он брошен. И можно понять его, когда он использует незаконные методы. Он сердит, озлоблен, циничен. Это видно по его одежде, по его поведению и отражается в его сочинениях.

Было время, в 30—40-х годах, когда Кхалса-колледж в Амритсаре был Меккой литераторов, пишущих на пенджаби. В числе преподавателей колледжа работали историк профессор Теджа Сингх, поэт Мохан Сингх, прозаик Сант Сингх Секхон, критик Гурбачан Сингх Талиб. В числе студентов были Гопал Сингх Дарди и Притам Сингх Сафир. Здесь расцвел их талант. Здесь, при содействии профессора Теджа Сингха, вышел первый сборник стихов Мохана Сингха. Здесь Сант Сингх Секхон выпустил первый сборник своих рассказов, в том числе «Дети Пеми», который открыл новую эру в художественной прозе на пенджаби. Сюда принес и я свою первую рукопись. Известно, что профессор Теджа Сингх собирал студентов у себя дома и читал им стихи из первого сборника Моха-

на Сингха. Позже, когда он стал главой Мохиндра-колледж в Патиале, на чтение стихов на пенджаби приходил и главный министр штата. Здесь же после выхода в свет читали по частям мой роман «Андран». С тех пор как эти выдающиеся люди покинули колледж, пенджабские литераторы потеряли пристанище, где они получали совет и беспристрастную оценку своих произведений. После кончины профессора Теджи Сингха не осталось никого, кто бы заботливо прочитал сочинения молодого писателя и подбодрил его похвалой. Нет никого, кто бы пестовал новые таланты с таким старанием и любовью, как Теджа Сингх. Департамент языка, Пенджабский университет в Чандигархе, Пенджабский университет в Патиале могли бы обеспечить руководство литературой, но они пока что не заботятся об этом. Может быть, они слишком заняты организационными вопросами. Найти талант и развить его — дело, которое требует любви и заинтересованности, а это так редко встречается сегодня в нашем обществе. Гурбакш Сингх и его журнал «Прит-лари» по-своему трудятся на этой ниве. Но редактор такого журнала, как «Прит-лари», ограничен в своих возможностях. У него слишком много дел. Куда же обратиться молодому писателю? Он точно лодка без руля и без ветрил. Его бросает как щепку в волнах. Знаменитые писатели чересчур надменны — с ним не подступиться. Конечно, молодой писатель тоже виноват: он слишком самоуверен и ведет себя вызывающе.

Новое осложнение вызывается тем, что у молодого писателя нет прочных корней. Мохан Сингх пришел из деревни. Сант Сингх Секхон вырос в крестьянской семье. Теджа Сингх также родился и вырос в деревне. Большинство писателей нового поколения — горожане, их опыт связан с обществом, которое еще не устоялось. Оно все еще бурлит под воздействием новых сил и прогрессивного мышления. И находится в процессе изменения. Иногда оно цепляется за прошлое, а порой его вздымает на гребне нового. Мать полна предрассудков, а дочь изучает технику. Сын покупает мотоцикл, а отец никак не расстанется с упряжкой неторопливых лошадей. И каждый уверен, что он прав. Старшее поколение вышло из деревень, а новое, молодое — родилось в промышленном городе, и ему еще только предстоит выйти из младенческого возраста. Современный писатель стоит посреди, не принадлежит ни городу, ни деревне. Тем более что город сегодняшней Индии — странный общественный организм. Он соткан из противоречий. Мы осуждаем коррупцию, но охотно идем на подкуп мелкого чиновника, когда можем добиться чего-нибудь этой ценой. Мы говорим о законных методах, но, если незаконные пути приведут к цели, мы используем их без угрызений совести. Такое общество интересно для тех, кто смотрит на него со стороны, но на своих членов оно оказывает деморализующее действие. Некоторые рассказы романистов старшего поколения о нашей городской жизни очаровательны. Весьма интересны некоторые стихи Мохана Сингха, Притама Сингха Сафира, Амриты Притам и Харибхаджана Сингха, порицающие духовные ценности этого мира. Но когда писатель, принадлежащий к этому обществу, пытается писать о собственных, волнующих его вопросах, он вдруг начинает путаться и теряет перспективу. Чтобы создать большую литературу о маленьком человеке, требуется великое перо.

Но, пожалуй, несправедливо было бы во всем винить только молодого писателя. У него есть будущее. Он серьезно относится к своей работе. Он хорошо начал. И далеко продвинулся вперед. Но куда лежит его путь? Он сам не знает. От нас зависит придать смысл его жизни. Не потускнел ли образ свободной Индии, такой, каким он нам рисовался во время борьбы за независимость? Надо вновь оживить его. Надо вновь посвятить себя делу, которое было дорого нам все эти годы. Идея «общества социалистического образца» не должна превращаться в пустой лозунг. Мы должны обеспечить хорошую жизнь для каждого индийца на мирной земле.

г. Дели

АНКЕТА «Иностранной литературы»

РЕАЛИЗМ СЕГОДНЯ

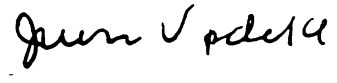
Журнал «Иностранная литература» направил писателям и критикам разных стран приглашение ответить на вопрос:

Ваше понимание реализма и какие, по Вашему мнению, новые черты свойственны реализму сегодня?

В этом номере мы печатаем полученные нами ответы (начало см. в № 12 за 1966 год). Статья советского критика Л. Новиченко «К обсуждению проблем реализма» завершает публикацию.

ДЖОН АПДАЙК (США)

Я понимаю реализм как верность правде в самом широком смысле слова. Есть писатели, которые истолковывают события жизни человека главным образом через экономические условия его существования; для других важнее мечты людей, их духовный мир. Неизбежно приходится делать выбор, а следовательно, и что-то упускать. Писателю открыты многие пути — нужно лишь, чтобы он писал честно и добросовестно и воспроизводил реальность, в которую он верит. Мне кажется, что во всем мире литературе грозит опасность опуститься до уровня простой пропаганды; и противостоять этой тенденции может лишь мужество писателя, защищающего свое субъективное видение жизни.



ГЕНРИХ БЁЛЬ * (ФРГ)

На современную литературу ложится ответственность, которая ей не по плечу. Пустая политика, пустое общество, какая-то беспомощность церкви, которая ищет контактов с социальной действительностью и все более робко настаивает на обязательности своей морали, ищет для себя научное алиби, что ей вовсе не подобает, делает пустые заявления, а время от времени, подобно обществу, подобно политике, прибегает к вкрадчивым словам, звучащим как донос,— все это, как я уже сказал, возлагает на современную литературу ответственность, навязывая ей эротические, сексуальные, религиозные и социальные проблемы, и в то же время ей инкриминируют постановку этих проблем. Там, где политика не срабатывает или терпит поражение, слóва, связующего слова, требуют именно от писателей — напомню истерическую манию во что бы то ни стало вымогать у писателей высказывания против стены в Берлине. От них ждут по возможности просто сформулированного заявления, которое политики могли бы использовать для взаимных доносов. Но когда писателей хотят заставить высказываться по социальным, политическим, религиозным вопросам, это не случайность и не всегда только проявление злобности или цинизма. Это высокая честь, я сказал бы даже — слишком высокая честь и в то же время дерзость, когда в джунглях всевоз-

* Отрывок из книги «Франкфуртские лекции», присланный Генрихом Бёлем как ответ на анкету.

можных определений ищут того прямого слова, которое налагает обязательства. Спрашивают не науку, не политику, не церковь — писатели должны сказать то, чего другие явно не желают говорить: что потерянное потеряно и не может быть возвращено иначе, как за вознаграждение. Они должны назвать вещи своими именами. Политики прячутся, церковники хитрят — бесхитростного, правдивого слова ждут от писателей, но стоит им только произнести это слово, и машина демагогии начинает выть, как сирена воздушной тревоги. Промедление опасно, после того как сказано слово, поднявшееся над пустыми прописными истинами ходячих официальных заявлений.

Более или менее сознательным подтверждением такого положения вещей я считаю пропаганду той литературы, которая с образцовым изяществом выражает пустоту, которая лишает человека гуманности, ощущения взаимосвязи с другими людьми, солидарности, помещая его пустым в пустое пространство, которая сковывает язык немотою, не позволяя ни одному звуку проникнуть наружу; ни одного сообщения, ни одного слова, способного забить тревогу. Остаться в пределах круга, кружка, без всякого движения вовне, довольствоваться лишь ритмом собственных колебаний. Однако даже великие глашатаи поэтического одиночества — Георге, Бенн, Юнгер — не были избавлены от общества и от публики, и в том, что и Музиль не избежал этой участи, я усматриваю не иронию, а трагизм. Писанное, а в особенности печатное слово в ту минуту, когда оно написано, напечатано, обретает социальную реальность, оно оказывает влияние — желал этого его автор или нет — на взгляды публики, общества, перестройку мира. В культовом служении искусству, которому посвятили себя великие глашатаи одиночества, есть всегда что-то чуть-чуть неприятное. Там, где нажимают на стиль, где ремесло превращено в культ, появляется ремесленничество, возникает нечто роковым образом дилетантское, и туда, где на жаргоне элиты отрицают общественные связи, общество вторгается глубже всего. Возникает узость, нечто частное, кружковое — это относится и к меценатам, которые заводятся возле таких кружков.

Круг и кружок одинаково замкнуты, атмосфера поклонения проникает в такие области, которым она более всего противопоказана. Претенциозно бывает только ремесленничество; «вкус», «со вкусом», «гурман» и тому подобное — это лексика посвященных, которые заимствуют ее из кулинарии, и в конце концов то, что могло быть великим, в руках посвященных дорастает лишь до уровня посредственности, а потом становится модой. Я думаю, что литература предполагает не только читателей, но и толкователей, социальность и связь с другими явлениями, но я не думаю, что она требует посвященности. Даже великому Кафке не нужна посвященность, сколько бы там ни пытались замкнуть его в круги или в кружки. Освящается церковь, но благодаря этому акту освящения она не закрывается, а открывается, и открывается для всех. В круг впускают, из него выталкивают — так возникают понятия «святотатство» и «святотатец». Я давал даже своим детям и домашней работнице читать Кафку и Фолкнера, и не из самонадеянного убеждения, что искусство принадлежит народу, а из уважения к Фолкнеру и Кафке: я не думаю, что они писали для посвященных. А понятие «мало доступны» относительно, сказки Гриммов тоже мало доступны, писатель не исключает никаких читателей, но не из самоограничения, а из высокомерия. Ограниченность — в замкнутом круге.

Я излагаю здесь эти суждения, чтобы объяснить самому себе, куда, в какую обстановку попадает написанное после того, как оно обретает социальную реальность. С какими силами сталкивается писатель, который бессильно произносит слова и выходит за границы круга. Да, теперь у меня с глаз иногда будто спадает пелена. Самое скромное условие: повествовательная проза требует других приемов для толкования, чем передовица массовой газеты,— это скромное условие все еще кажется кому-то нескромным. Если я обнародую здесь кое-какой опыт, который я накопил как объект критики, то лишь ту его часть, что может иметь значение для всех и не привязана к данному объекту. Возьму известный пример.

Если в какой-нибудь радиопьесе или в романе с крыши падает трубочист, **должен** упасть по композиционным, драматургическим, то есть эстетическим причинам, то сразу же начинают сыпаться жалобы из цеха трубочистов: трубочист не может упасть с крыши. Протесты, претензии, волнения обычно вызваны поверхностными причинами, а значит и не стоят внимания, ведь в задачу писателя отнюдь не входит читать цеху трубочистов обзорную лекцию о западной эстетике от Аристотеля до Брехта. Минимальных предпосылок для этого нет даже там, где кто-то способен торжествовать по поводу падения трубочиста. Писатель не может обеспечить эти предпосылки: трубочисты, как таковые, его нимало не интересуют. Писатель никогда не соответствует вполне классификации, под которую он подпадает,— марксист, католик, советник министерства и т. п.,— даже если он забавы ради однажды сдал экзамен на звание трубочиста; все его профессии, кроме писательской,— побочные, и его связь с окружающим — не подлинная связь, коль скоро она не семикратна, по меньшей мере; допустим, он даже ищет нечто вроде середины, но те, другие, услышав слово «середина», сразу же думают о середине круга, который обтекаем, а значит эстетически непригоден. Середина существует также у трех-,

девяти- и пятидесятисемиугольников. Может быть, есть тысяча причин сбросить с крыши именно этого трубочиста. Может быть, автор знает, что в желобе крыши вот уже двадцать лет лежит хорошенький стеклянный шарик и ждет человеческого прикосновения, тот самый шарик, который обнаруживает трубочист, когда держится за желоб, пока на помощь ему спешат пожарные. А может быть, ему, автору, хочется окольным путем, через падение, балансирование в воздухе и нащупывание ногою подоконника привести трубочиста в комнату, где чем-то занимается или хворает некая молодая дама, сгорающая от любви к нему; может быть и так, что ему, автору, понадобился тот шорох, который производят спортивные ботинки, скользя по черепице крыши; для него, может быть, важно, чтобы падающий человек болтался на желобе, который вот-вот оторвется,— скажем, для того, чтобы навязать этому человеку всякие там внутренние монологи и лирические излияния. Причины все уважительные, могущие быть столь же безобидными, сколь безразличными, абстрактными, человечными, нелепыми и бесчеловечными. Короче говоря, партии, группки, церковь видят завербованность всегда не там, где она есть: они не интересуются стеклянными шариками, молодыми дамами, сгорающими от любви, им не приходит в голову, что упавший трубочист может оказаться переодетым Казановой или Дон Жуаном, а это образует опять-таки два различных эстетических аспекта — но все это их не занимает. Это то же самое, что бывает с авиакомпаниями: они не любят, когда в радиопьесах или романах разбиваются самолеты, и сразу начинают подозревать, что автор состоит на службе у железнодорожных компаний или подкуплен велосипедной промышленностью. Больше вряд ли можно сказать обо всех этих раздражениях, обидах, протестах. Конечно, у писателя всегда есть свой замысел: возможно, что раскачивая кровельный желоб, он хочет заставить шарик описать крутую дугу в пятьсот метров и угодить в каску жандарма; возможно, у него на уме чисто физические явления, он хотел бы испытать, может ли шарик, пущенный таким образом, пробить картон, стекло или даже железо; у него на уме баллистика, а ему приписывают подрыв коммерции и политические мотивы. И хватит об этом.

А. ГРАВИНА (УРУГВАЙ)

Реализм — это, на мой взгляд, художественное воплощение человека как конкретной, исторической личности во всем многообразии его общественных и личных связей (борьба классов, движение за освобождение, строительство социализма, любовь, семья и т. д.). В наше время это предполагает в авторе, стремящемся извлечь из реалистического метода максимум того, что он может дать, научный диалектический критерий в подходе к обществу и индивидууму. Этот критерий не предполагает, как думают некоторые, подчинение искусства общественно-политическим интересам рабочего класса или борьбе народов за независимость и построение социализма, но в то же время он, безусловно, исключает разрыв между интересами рабочего класса и искусством. Напротив, такой разрыв характерен как раз для нереалистических тенденций в литературе и искусстве.

Подобные утверждения могут показаться слишком примитивными и схематичными. Возможно, что так оно и есть. Во всяком случае, они принадлежат писателю, чей долг перед литературой не противоречит его долгу гражданина перед обществом и человечеством, в то время как нередко случается, что художник во имя свободы творчества отчуждается от масс, невольно тем самым отвечая интересам буржуазного строя, где господствует эксплуатация человека человеком. Я вовсе не хочу нападать на тех художников, которые, честно и искренне заблуждаясь, попадают в расставленную ловушку. Ведь продукцию литераторов, которые считают возможным искажать действительность в угоду своим идеологическим и политическим воззрениям, тоже нельзя назвать искусством, так же как не представляют большой ценности произведения писателей, с большим уважением относящихся к реальности, но не умеющих добиться художественной, **эстетической реальности.**

Реализм не исключает, как утверждают многие, изображения самых интимных и таинственных глубин человеческой души, что, разумеется, не имеет ничего общего с ложной метафизикой имманентного. Более того, я считаю, что без попытки постичь глубочайшие подводные течения духовного мира человека, независимо от того, отражаются они в его поведении и действиях или нет, рискованно говорить об истинном реализме. Меня могут спросить: «Если эти психологические нюансы никак не отражаются на поведении человека, то какое они имеют значение?» или: «Возможно ли, чтобы они никак не проявлялись в человеческих действиях?» Думаю, что диапазон внешнего выражения подспудных душевных течений достаточно широк — от открытого проявления до полной герметичности. В любом случае для писателя это очень важно.

Здесь таится одно из преимуществ и одновременно одна из трудностей реализма. Преимущество его в том, что реализм имеет возможность расширять и расширяет свой арсенал изобразительных средств и средств познания за счет нововведений, внесенных в сферу искусства другими эстетическими течениями, а также открытиями в области социологии, психологии, педагогики и т. д. Это непрерывное обогащение методов выражения необходимо, чтобы постичь по-настоящему всю сложность духовных процессов, происходящих в человеке на современном этапе развития общества, и ни в коем случае не ограничиваться примитивной формулой, согласно которой люди, мир и искусство делятся только на две категории — или они представляют декаданс или прогресс. Старинное библейское предсказание о гибели человечества в результате мировых катаклизмов находит себе аналогию в образе ядерной войны. И безусловно, зловещий призрак атомной бомбы куда страшнее библейской легенды. Мы, те, кто отвергает тезис о неизбежности войны и стремится в борьбе за мир объединить силы мировой системы социализма и народов, отстаивающих свою независимость, не склонны приуменьшать опасность атомной войны. Бомба — это не шутка, особенно когда мы узнаем, что китайские руководители провозглашают неизбежность и историческую необходимость термоядерного конфликта как шаг к построению, по их словам, «светлого мира». Все это порождает смятение и страх в душах рядовых людей, которые еще не совсем осознали смысл происходящего. Прибавьте к этому боязнь безработицы и нищеты, преследования за нелояльность, беспокойство, пессимизм. Ведь в капиталистическом обществе помимо прямых репрессий существует множество средств принуждения и насилия, с помощью которых людей калечат, шантажируют и оглушают. Не успело человечество заплатить меру крови и страданий, разгромив фашизм в последней мировой войне, как чудовище возродилось вновь. Кто бы мог поверить этому? То, что происходит сейчас с человеком, очень сложно, так же как сложен процесс его прозрения, освобождения от либеральных иллюзий, преодоления разочарований и включения в активную борьбу. А разве не сложна сама эта борьба, одновременно мирная и немирная, протекающая по-своему в каждой стране, борьба, где рядом с партизаном-коммунистом сражается и гибнет священник, такой как Камило Торрес?

Реализм, развивая свои методы познания и отражения действительности, может раскрыть индивидуальные и социальные душевные комплексы с остротой, которая не дана другим эстетическим течениям, и выразить их с небывалой силой и глубиной. Может ли литературный авангард выполнить эту миссию, если он избегает типичности, лишь слегка прикасается к реальности, дробит ее, изымая своих героев из общественной и географической среды, а также из конкретной исторической обстановки?

Это и есть преимущество реализма, о котором говорилось ранее. Трудности его тоже вытекают из вышеизложенного. Ведь гораздо сложнее, накладнее, утомительнее и тяжелее охватить действительность во всем ее величии и многообразии, постичь ее до самых глубин, чтобы извлечь ее суть, и только затем дать волю воображению, нем скользить по поверхности реальности, лишь изредка углубляясь в нее. Кроме того, технические средства в реализме, как бы они ни были разнообразны, призваны выполнять лишь функциональную роль, являясь как бы мостом между художественным произведением и теми, кому оно адресовано. Эти формальные средства не должны быть кричащими, бросающимися в глаза, привлекающими внимание показной мишурой. Реализму чужд формальный стриптиз.

С другой стороны, тот факт, что реалистический метод способен ассимилировать и впитывать открытия других художественных течений, отнюдь не означает, на мой взгляд, что понятие «реализм» может распространяться на все, что не является открытым проявлением антиреализма, то есть прямым, сознательным и агрессивным отрицанием реализма. Джон Дос Пассос в своей трилогии «США» выступает, по моему мнению, как настоящий реалист, правдиво критикуя американское общество. В одном из более поздних романов он яростно и несправедливо обрушивается на коммунизм. Этот роман антиреалистичен, его недостаточно назвать нереалистическим. Может быть, я подхожу к этому роману с критерием чисто политическим, а не эстетическим? Нет, я подхожу к нему с критерием эстетическим, но не эклектическим. Исходя из этого критерия, я вижу, что автор этого произведения стал жертвой отчуждения, столь характерного для художника буржуазного общества.

Антикоммунизм существует — это факт нашей действительности. С точки зрения реализма антикоммунизм можно и нужно отражать, как любое другое явление нашей действительности. Более того, необходимо показать его суть, причины, следствия и перспективы. Но не может быть реалистом писатель, примкнувший в своем произведении к антикоммунизму (я не говорю здесь о чисто этическом факторе, который, безусловно, играет немаловажную роль в реалистической эстетике.)

Что я могу сказать о хорошо написанной абстрактной картине, в которой гармонично сочетаются цвет и форма (речь не идет о бездарной коммерческой мазне)? Я могу сказать, что это не фигуративная живопись в обычном классическом значении этого термина, я могу сказать даже, что она антифигуративна и антинатуралистична, но я никогда не осмелился бы утверждать, что передо мной антиреалистическое произведение, если художник не ставил перед собой задачу ниспровергнуть данную реальность.

Он пытался только создать пластическую суперреальность, отказавшись от форм, на его взгляд, устаревших и бессильных. По моему мнению, такой художник просто не реалист. Рассматривая его как антиреалиста, мы рискуем отождествить реализм с фигуративизмом и натурализмом. И все-таки, может быть, полотно, которое производит приятное впечатление и успокаивает, в котором чувствуется терпеливый труд художника, можно считать реалистическим? Хотя бы для того, чтобы включить его в большой, многообразный, меняющийся мир искусства, чтобы не отлучить художника от этого мира, во имя пресловутой шкалы ценности, созданной во славу реализма, чтобы не считать это полотно работой декоратора? Подобный вопрос может возникнуть и в отношении некоторых литературных произведений не очень глубоких, весьма далеких от реальности, но изящных, хорошо написанных и богатых стилевыми находками. Я бы так ответил на этот вопрос: реализм не может вместить в себя все это и объять необъятное.

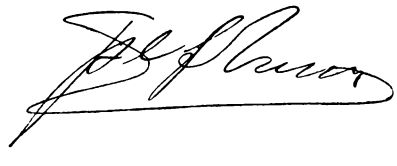
Желание выторговать для реализма известнейшие произведения мировой литературы и живописи, независимо от того, осуществимо оно или нет, ничего не изменит в судьбе этих творений. Но на фоне этого грандиозного мероприятия, проводящегося в международных масштабах, затерялись бы, возможно, менее значительные и не претендующие на бессмертие произведения, существование которых, однако, стало фактом и даже событием там, где они родились, например, в моей маленькой стране. Какие же из них мы отберем для реализма? С каким критерием мы в таком случае подойдем к ним? С критерием хорошего и плохого? С мерками чисто эстетическими? Если мы поступим так, то придем в противоречие с истинной концепцией реализма, уже не говоря о том, какая путаница произойдет, когда придется оценить то, что не хорошо, не плохо, а средне. При таких обстоятельствах теория современного реалистического искусства оказалась бы вконец запутанной и бесплодной.

С другой стороны, часто в произведении искусства происходит смешение реалистических и нереалистических, идеалистических, если хотите, элементов, что отнюдь его не портит. Молодая латиноамериканская поэзия, в том числе и уругвайская,— пример искренних и упорных поисков, стремления ассимилировать формальные средства нереалистических течений, чтобы по-новому, свежо и живо выразить наши реальные проблемы.

Итак, для меня существуют произведения реалистические, нереалистические и антиреалистические (не говоря о различных промежуточных областях). К первой категории относятся творения, которые более или менее соответствуют тому определению, несколько ограниченному и примитивному, которое открывает эту статью. Они лучше других выполняют социальную функцию искусства и надолго останутся в литературе. Вторую категорию составляют книги и картины, по своей гуманистической и эстетической ценности и стилистическим достоинствам завоевавшие право на существование у современных и будущих читателей, то есть в последней инстанции, решающей вопрос о жизни и смерти произведения. И третья категория — произведения, содержащие в себе империалистическую идеологию, ненависть к роду человеческому, к жизни и труду, разнузданную пропаганду зла или все это, вместе взятое. Они умрут вместе с империализмом.

Касаясь новых черт современного реализма, я хотел бы развить некоторые положения, которые уже упоминались в этих несколько затянувшихся комментариях. Реализм неустанно развивает средства выразительности. Поэзия освобождается от шаблонных форм и ищет свежие, оригинальные методы, способные более свободно, ярко и точно создать поэтический образ, заставить читателя более глубоко проникнуть в поэтический мир. Брехт, взывающий к совести и разуму зрителя, требующий расширения, рационализации и в то же время упрощения техники выражения, оставил глубокий след в современном театре. Роман уже не следует классической композиции и с необыкновенной ловкостью и непринужденностью маневрирует в пространстве и времени, легко справляясь с множественностью тем и с чудесами стилистической техники. Возьмите хотя бы роман «Смерть Артемио Круса» мексиканца Карлоса Фуэнтеса, или «Срок давности» советского писателя Ильи Константиновского, или «Антиамериканцы» Альвы Бесси. Неутомимой эпохе литература отвечает динамизмом формы и ростом диалектического сознания. Гватемалец Мигель Анхель Астуриас, проецирующий в трагическую современность своей страны старинный индейский миф, создает так называемый «магический реализм».

Я думаю, что реализм сегодня — широкое поле для эксперимента, и каждая одержанная им победа — ценнейший вклад в сокровищницу мировой литературы.



РАДОВАН ЗОГОВИЧ (ЮГОСЛАВИЯ)

ЗА РЕАЛИЗМ, НО — С БЕРЕГАМИ

Защищая реализм от монополистических претензий модернистов, мой недавно скончавшийся друг Марьян Юркович почувствовал потребность на пленуме Союза писателей Югославии в 1954 году заявить: «В заключение должен сказать, что я лично вовсе не являюсь ортодоксальным сторонником реализма».

И я, продолжая теперь наши споры и беседы, не примирившись с тем, что Юркович не слышит меня и не ответит мне больше, подчеркиваю со своей стороны нечто обратное: я являюсь именно ортодоксальным сторонником реализма.

Юркович дополнил еще свое заявление и тогда же сказал: «Не думаю, что это **единственный** и **вечный** метод, хотя знаю, что еще далеко до того дня, когда он допишет свою последнюю страницу».

Теперь я дополню свою мысль: **Единственный** метод? Конечно нет. Однако он один открывает самую сущность действительности, ее взаимные связи. Он единственный в своей высшей форме, в виде метода социалистического реализма, зиждется на ленинской теории отражения и мысли Энгельса о типичном. Он вечен, этот метод настолько, насколько вечен и философский материализм, являющийся его стержнем. Вечен в непрерывном изменении, в обновлении формы, как этого требует всякий раз новое содержание. Он всегда в движении, хотя и не в прямолинейном, но в движении от низших форм к высшим, ко все большему разнообразию художественных средств, жанров и стилей. То есть он сам по себе являет собой движение, антишаблон.

Возникнув из стремления искусства — еще в самом его зачатке — уловить и показать смысл тех или иных сторон действительности, реализм развивался, обновляясь с точки зрения формы, как в борьбе, так и во взаимодействии с другими литературными направлениями. Таким же образом развивается и обновляется современный реализм — в борьбе и некотором взаимодействии с другими художественными направлениями. Современный реализм, например, не только отрицает нынешние модернистские направления. Он еще и перенимает иногда, перерабатывает, подчиняет себе, ставит на соответствующее место кое-что из опыта этих направлений. А кое-что и переносит без разбора, поддаваясь некоторым преувеличениям и модам (напомним лишь о преувеличенной роли снов и «видений» в произведениях некоторых современных западных и югославских реалистических писателей!). Речь здесь идет, конечно, об известном взаимодействии реализма и тех модернистских направлений, которые в своих устремлениях все еще остаются демократическими и гуманистическими, а в своем формальном экспериментировании не доходят до абсурда. Однако все это еще не означает интегрирования реализма и модернизма. И я, разумеется, не собираюсь аплодировать «реализму без берегов».

Не собираюсь, хотя — грешен человек — чувствую слабость к необычным сочетаниям слов и поэтическим образам — «реализм без берегов»! Не собираюсь не только потому, что остаюсь сторонником литературных форм, которые кроме новизны и необычности должны еще быть до конца логичными. А реки течения без берегов, если можно предположить существование таковых, угрожают опустошающими разливами, превращаются в болота, в трясину. Идея «реализма без берегов» могла бы с марксистской точки зрения хоть на первый взгляд иметь смысл только в том случае, если предположить, что речь идет о процессе художественного познания и воспроизведения действительности, являющемся бесконечным во времени и в развитии, как и сама действительность. Подобное содержание придал этой идее в своих дополнительных пояснениях и сам ее автор. И все-таки она — и такая — не может существовать: не может срастись с пересаженной кожей — ткани разнородные! Положение бы не поправилось и в том случае, если бы вместо «реализма **без берегов**» сказать «реализм **без границ**». Потому что это разные вещи: сам **материальный** мир без границ или ход его **развития без границ** (между прочим термин «без берегов» не подходит и к понятию «развитие»). А реализм при всем богатстве форм и оттенков художественной мысли имеет — и еще как имеет! — свои берега и свои границы. Для того, чтобы определить эти берега для социалистического реализма, как и для социалистической культуры вообще, надо обратиться к мысли Ленина. В каждой современной буржуазной нации — две нации, в каждой национальной культуре — две культуры, разве не так? И эта ленинская характеристика методологически крайне важна. Ее следует тем больше подчеркивать, чем больше некоторые люди, числящие себя марксистами, обходят сторонкой эти руководящие принципы марксизма, стесняются обращаться к ним, требуют, чтобы социалистический реализм принял достижения кубизма, абстракционизма, защищают модернистские направления как «национальную традицию», как нечто «здоровое и большое» в этой национальной традиции.

Ну и велика же действительно смелость людей, которые вдруг начинают защищать точки зрения, до сих пор ими отвергавшиеся, и которые без такого рода смелости не могли бы даже и защищаться! И эта «смелость» растет, становится все наступательней, все развязней по мере того, как она исчерпывает свои аргументы. Напомним слова, которые сказал в подобной ситуации серьезный писатель-философ, посвятивший

марксистской гносеологии, этике и эстетике несколько объемистых монографий. Нападая на критику модернистских деформаций, трактуя эти деформации «как формирование нового понимания перспективы», как условность, которая «соответствует новому положению человека в мире», этот писатель (Р. Гароди) говорит: «Пейзаж представляется нам разным в зависимости от того, передвигаемся ли мы пешком, по железной дороге, в автомобиле или в самолете. При скоростях, к которым мы привыкли, очертания вещей неизбежно упрощаются, иногда сводятся к простому знаку, а впечатления сжимаются, накладываются одно на другое. Наши восприятия и ощущения, которые, как подчеркивал Маркс, являются продуктом истории, глубоко изменились».

Об этих нескольких предложениях, о ходе мысли в них, об их действительном значении можно было бы написать целую работу. Понятие перспективы — разве это совсем произвольная условность? Разве оно не выражает пространственные отношения в действительности и разве оно не проверяется действительностью? «Новое положение человека в мире» — в чем оно конкретно состоит, это радикальное изменение «положения человека в мире»? Разве уже во всем мире изменилось классовое положение человека, в котором преломляются и его отношения с природой? Разве можно свести к технике, к скоростям и т. п. факторы, изменяющие человеческие наблюдения и чувства? И можно ли из числа этих факторов исключить общество и общественные отношения? А эта скорость, которая все сжимает и которая все объясняет, это новейшее открытие и откровение — разве оно не напоминает манифесты итальянских футуристов начала текущего века, их культ динамизма и техники, их фетишизацию ритма городского уличного движения, их апофеоз скоростей, мистику «закона скоростей, господствующего» над людьми? «Мы заявляем, что великолепие мира обогатилось новой красотой — красотой скорости»,— писал лет шестьдесят назад не кто иной, как сам Маринетти.

Скорость, как мы видели, «упрощает», «сводит к обычному знаку», «сжимает», «стирает» контуры предметов и действительности. Она сжимает, сводит к условным знакам или просто стирает и живопись — в Галерее современного искусства в Белграде уже висит холст, на котором ничего не изображено: холст, покрытый чистой белой краской. А посередине он даже и краской не покрыт. И это должно являть собой «богатые эксперименты», и это произведения, «которые соответствуют современной структуре чувств» (абстрактного, надклассового человека?) и «открывают новые пути поисков будущего»? А представляет ли собой человек, находящийся в автомобиле, в самолете, правило или «отдельный случай» во всей системе отношений человека и действительности? Разве восприятие действительности из мчащегося автомобиля, из самолета, разве впечатления, «сжатые и сгромоздившиеся», являют собой все то, что человечеству надо сказать о действительности? Будет ли это достоверно как вид познания — ведь скорость, с которой мы мчимся, по сути дела не меняет формы действительности? Чем же после этой теории следовало бы проверять достоверность, силу художественного познания — количеством километров в минуту? Я не исключаю возможности того, чтобы кто-нибудь иногда воспевал или рисовал свои восприятия, свои впечатления, подсказанные скоростями. Но ведь одно дело — отдельные впечатления, а другое — скорость как доминанта, как «демиург» форм действительности, которую искусство должно отобразить, скорость как объяснение и оправдание целого художественного направления. И вообще, разве в том, что люди бывают близоруки или жмурят глаза, или в том, что отроду слепыми ходят по городу, разве в том, что человек блуждает в тумане или кружится в карусели, может найтись оправдание для искусства, которое производит и развешивает по музеям пустые полотна, полотна, покрытые белилами или черной краской, расписанные кругами или равномерно выкрашенные? Разве возможно, чтоб формы в искусстве (живописи, скульптуре и т. д.) зависели не от всех объективных и субъективных факторов, которые его предопределяют, а от скорости, с которой человек едет или летит? И, наконец, не заключается ли здесь все-таки дело в чистом субъективизме, невзирая на то, с какой скоростью субъект движется? Не возвращаемся ли мы к мысли, которая в варианте, предложенном сербским поэтом-символистом и реакционером Иованом Дучичем, звучит так: «Вещи обладают такой формой, какую придает им наша душа»?

Логика тех, кто говорит, будто поиски живописи в плане деформации объекта являют собой революционные направления, потому что выражают протест против тривиальных и серых буржуазных будней, потому что отрицают уверенность в существовании и обнажают иллюзорность благополучия,— логика их сводится по сути дела к следующему:

Ты не хочешь тривиальности, ты рассердился на обман, ну и хлопнул в праведном гневе кистью по холсту, плеснул краской без кисти или бросил и кисть, и краску и оставил холст пустым. Я понимаю, я уважаю само возмущение, но при чем здесь живопись? Если ты художник, если хочешь, чтоб и мы почувствовали и восприняли твой бунт как искусство, не выдумывай деформаций, которые ничего не означают, изобрази, вырази деформации жизни современного буржуазного общества — вот в чем суть. Между тем теоретики «реализма без берегов», ставя в один ряд и импрессионизм, и кубизм, и абстракционизм, борясь за интеграцию социалистического реализма с этими направлениями, считают примерно так: достижения импрессионизма — хоть и с ого-

ворками — признают уже сейчас все. А когда-то и против него возражали многие. Даже многие марксисты. Разве из этого не следует извлечь урока в отношении кубизма и абстракционизма, в отношении к «искусству» деформации, деструкции и т. д.

И все-таки при таком ходе мысли не придешь ни к чему точному и определенному. И в развитии и в смене «измов» существует какая-то граница, до которой каждый из этих «измов» являет собой нечто одно, а перейдя ее, то есть границу,— уже нечто иное. Нельзя, в конце концов, забывать ту истину, что и буржуазия до какой-то границы боролась за победу разума, правды, а когда она перешла эту границу, начал нарастать ее страх перед историей и разумом — пришла эпоха, когда, как говорил Уайлд, «знать — значит страдать».

Так глашатаи «реализма без берегов», защитники современных модернистских направлений в искусстве, даже самых крайних, доведенных до апокалипсического и формалистического абсурда, становятся алхимиками авангардизированного «социалистического реализма». Точно Энгельс, обозначая путь и направление будущего социалистического искусства, никогда не писал, что оно возникает в полном слиянии большой идейной глубины с шекспировским реализмом. Будто Ленин никогда не говорил, что мы из каждой национальной культуры берем только ее демократические и социалистические элементы и берем их исключительно и безусловно в противовес буржуазной культуре, будто он никогда ничего решительно не сказал о футуризме, кубизме и о других модернистских направлениях. Однако глашатаи «реализма без берегов» совершают еще и непонятные поступки. Приходя в ужас от полного отрицания «таких богатых экспериментов Кандинского», защищая Малевича, Гароди словно между прочим роняет, что Кандинского «во времена Ленина Луначарский пригласил в Наркомпрос и привлек его к участию в реформе художественных школ», что этот же Кандинский «в 1920 году получил звание профессора Московского университета, а в 1921 году основал Академию художественных наук и был первым заместителем президента», что в это же (ленинское!) время «Малевич был профессором Академии в Москве, а затем в Ленинграде». Таким образом Гароди хотелось бы самого Ленина заполучить в свои сторонники в отношении к абстракционизму. И снова — будто Ленин ничего противоположного не писал и не делал. Будто кроме всего прочего, не существует ленинской заметки, где как раз во времена, на которые Гароди ссылается (1921 год), Ленин просит Покровского: «т. Покровский! Паки и паки прошу Вас помочь в борьбе с футуризмом и т. п... Кекелиса, к[ото]рый, говорят, художник-**«реалист»,** Луначарский-де опять выжил, проведя-де футуриста и прямо и **косвенно...** Нельзя ли найти надежных **анти**футуристов?» Существует еще и другая заметка, относящаяся к тому же году и к тому же дню: «А Луначарского сечь за футуризм» («Коммунист» № 18, 1957 г., стр. 76—77).

Итак, интеграция любыми средствами и любой ценой! Интеграция, которая в конце концов сводится к отрицанию классовых границ в каждой национальной культуре буржуазного общества, к тому, что классы, классовая борьба, классовый характер идеологии упускается из виду, к тому, что стирается граница между идеализмом и материализмом. И поэтому упомянутая интеграция, вся ее мотивировка очень похожа на слова одного югославского философа, утверждающего, будто проводить границы между материализмом и идеализмом точно так же бессмысленно, как бессмысленно проводить географические границы между социализмом и капитализмом.

Насколько же последовательней и непримиримей выступают защитники «современного авангардистского искусства», которые открыто нападают на социалистический реализм! Например, Миладин Животич, белградский сотрудник загребского философского журнала «Праксис», о котором белградский корреспондент «Нью-Йорк таймс» любезно сообщил мне, что это лучший марксистский журнал на свете.

М. Животич в своей статье «Социализм и массовая культура» говорит кратко и ясно, что в основе теории социалистического реализма лежит «реакционная теория культуры», что искусство социалистического реализма является «апологетическим квазиискусством». В статье, которая должна рассматривать вопросы культуры при социализме, отношения между социализмом и культурой, он цитирует Ортега-и-Гассета, Хайдеггера и Ницше («один из самых крупных критиков массовой культуры нашего времени»!), А. Тойнби и Т. С. Элиота, О. Шпенглера и И. Кресби, И. Гауа, Д. Рисмана и Дж. Селдеса, совсем между прочим и только для вида критикует их взгляды, которых фактически сам придерживается и которые служат ему крестом, для того чтобы распять на нем живую проблему социалистической культуры. Маркса, Энгельса, Ленина, Плеханова или Меринга, их исчерпывающие взгляды на вопросы культуры вообще, на вопросы социализма и культуры он даже не упомянул. Слегка прикрывая свой ницшеанский пессимизм, свои «аристократическо»-метафизические взгляды на взаимоотношения массы и личности, «художника-диктатора» и безликой «толпы», прикрывая декларацией о каком-то абстрактном социализме, таинственном по своему происхождению, размахивая, как настоящий философ-диктатор, надклассовыми формулами «современный человек», «отчуждение», «культура», «гуманизм», «подлинная индивидуальность» и т. п., он ставит знак равенства между революционным просвещением масс и контрреволюционным развращением, оглуплением, развенчанием личности в человеке. Недостатки и искривление социалистической культуры он выдает за ее принципы, за

то, что от нее якобы требуется, что ей якобы «предписано». Коммунистические взгляды на культуру он сводит к «требованию, чтоб социалистическая культура стала производством, удовлетворяющим существующие вкусы масс».

Культуру, доступную миллионам нормальных, просвещенных или просвещаемых трудовых людей, он называет «безликой коллективистской культурой», а на социалистическое искусство клевещет, будто оно «создается по заказу», будто оно отказывает в признании «неповторимым, подлинным творческим личностям», «индивидуальным творческим замыслам», любым «индивидуальным поискам... в области культурного творчества».

«Социалистический реализм,— говорит этот самый М. Животич,— покоится на требовании к искусству воспроизводить современную ему действительность, на требовании, чтоб данная действительность в процессе этого воспроизведения была показана приподнятой до ранга ценности... Теория социалистического реализма,— пишет Животич,— требует такого ангажированного искусства, которое в сущности означает не что иное, как стремление провозгласить основной темой и основным содержанием искусства фиктивное постижение смысла жизни, то есть процесс лжеперсонализации. Потребность в положительном герое в этого рода искусстве является не чем иным, как потребностью показать лжепреодоление отчужденности мира, лжепроникновение в подлинную человеческую сущность, то есть потребностью в лжеперсонализации».

Социалистическому реализму, чьими потребителями, по мнению Животича, являются «не личности, а толпа», противостоит «современное авангардное искусство», единственное искусство, несущее спасение, показывающее «обесцененность мира». Это искусство «нельзя обвинить в том, что оно обнаруживает бессмысленность и иррациональность действительности». Оно не «перекрашивает действительность по заказу, а является результатом подлинного восприятия мира», и только в качестве такового «оно может осуществлять свою гуманистическую роль в существующей трагедии человеческого отчуждения». «Современное авангардное искусство,— заключает Животич,— на первый взгляд в ценностном отношении является нейтральным (!?). Однако, решительно вникая в отчужденность и иррациональность современного мира (всего мира, разумеется,— и капиталистического и социалистического.— **Р. З.**), оно **единственное** оставляет заветы гуманности, оно является **единственным** искусством, способным ангажировать гуманностью». (Сборник «Смысл и перспектива социализма», издание «Праксис», 1965 г., стр. 333—334, подчеркнуто мной.— **Р. З.**)

Итак, все здесь есть: и ницшеанское презрение к «толпе», к ее культуре, и экзистенционалистская «обесцененность мира», и «трагедия отчуждения человека» даже при социализме, и дюринговский стиль, и старые, на собственной желчи разведенные инсинуации о социалистической культуре, особенно о литературе социалистического реализма. И что важней всего: «современное авангардное искусство» оказывается единственным, монополией. Достижения же социалистического реализма как «апологетическое искусство» не заслуживают даже и того, чтоб «авангардизм» вобрал его и переработал! И все это у Животича, у его единомышленников напоминает мне текст обвинения из одного довоенного полицейского протокола: «Как утверждают, он — писатель, а по сути дела — заядлый коммунист».

Здесь еще, как мы видим, и неизбежные «заветы», настолько характерные, настолько модные, что их, как и многие другие импортированные термины (ангажированность, неангажированность, эстрадность, присутствие и т. д.), мы встречаем в каждом пятом предложении каждой второй опубликованной у нас литературной статьи. Литература, искусство не являются, видите ли, познанием особого рода — они представляют собой некое темное пророчество, иррациональную формулу пифий. А поскольку современное деперсонализированное человечество не доросло еще до того, чтобы понимать все эти формулы и знаки, создатели таких формул и знаков, лишенные своей «деструкцией» «всех функций воспроизведения», великодушно обращаются в «творчестве» к далеким поколениям. И будущие поколения, поднявшись наконец до высоты нынешних «приверженцев Апокалипсиса» и «деструкторов», должны открыть в их «заветах» тайный смысл XX столетия. Как же похожа «деструкция» Животича на «деформацию» Гароди, на ее толкование и оправдание! Трагикомичные, «непонятые» пророки, их кафкианская мистика об «обесцененности мира» является лишь перевернутой на голову, давно опошленной буржуазной оптимистической мистикой XVIII века о «лучшем из всех миров»!

Для меня социалистический реализм как теория и как практика весь зиждится на мысли Ленина о том, что идея — это познание и стремление (желание) человека. И именно поэтому я никак не могу отделаться от некоторых мучительных вопросов. Например:

Рабочему классу необходимы объективное познание жизни и мира, вера в собственные способности, в разумность усилий человека изменить общество, природу и себя самого. Как же могут некоторые участники коммунистического движения даже в социалистических странах вводить в миропонимание рабочего класса направления, которые являются последствием и выражением именно незаинтересованности буржуазии в объективном познании мира, ее панического страха перед истиной, ее потребности убить в человеке веру в ценность жизни и всяческих усилий? Как это обществу, социалистической цивилизации, которая только зарождается, могут быть ра-

комендованы, даже навязаны и при этом в качестве высших образцов и «авангардных норм» художественные направления и результаты художественного творчества, которые являются выражением духовного кризиса и плодами всеобщей паники капиталистического общества, всей умирающей собственнической цивилизации? Разве составной частью социализма не является и духовная надстройка? Разве духовную надстройку социализма дано создавать представителям цивилизации собственников, охваченным индивидуализмом и апокалипсическими настроениями? Разве они могут в процессе создания этой надстройки служить образцами и «законодателями»? Разве социализм, невзирая на все жертвы и усилия, не должен создавать в искусстве, в танце, даже в моде, в характере городских улиц и площадей (вспомним Кампанеллу) **свое** современное, **свое** новое и новейшее? Разве новое и новейшее следует лишь просто копировать, ввозить из капиталистического мира? Разве оголтелые нападки на социалистический реализм со стороны всяческих крестоносцев и паникеров не являются именно доказательством оправданности его существования? Разве его поборники должны проявлять примиренчество, колебания, должны отрекаться от его имени вместо упорства, решительности, классовой гордости и энтузиазма?

Радован Зогович

ЮСУФ ИДРИС (ОАР)

Я считаю, что понятие «реализм» изменилось. Ведь у каждой эпохи свои понятия, так же как у каждой эпохи своя мораль, свои интеллектуальные и духовные потребности. Эпоха XIX—XX вв. была отмечена великим духом изменений, который господствовал над умами в то время. Благодаря открытиям науки восприятие человеческим разумом мира и всего окружающего переменилось настолько, что человек уже не мог идти проторенными путями прошлых столетий. Теперь ему нужно было преобразовать действительность, чтобы она пришла в соответствие с его новым представлением о ней, подобно тому как в прошлые эпохи человеческое мировоззрение стремилось соответствовать действительности. Именно благодаря этому великому духу изменений, тому самому, который создал марксистскую теорию и коммунистические партии, возник реализм, возник социалистический реализм, не просто как новая литературная школа, но чтобы изменить характер литературы, самое роль литературы и искусства, поставив их на службу процессу, который должен был неизбежно изменить человеческую жизнь в целом.

Люди, жившие на рубеже XIX—XX столетий, были большими оптимистами. Они думали, что все перемены произойдут в один прекрасный день. И чаяния намного превосходили способность видеть действительность и ее возможности. Великие изменения начались с Октябрьской социалистической революции, когда социалистический реализм утвердился в советской литературе и искусстве, а также в творчестве ряда прогрессивных писателей других стран.

Воистину этот опыт — опыт изменения мира так, чтобы он подходил человеку, и изменения человека так, чтобы он подходил новому миру,— открыл тем, кто пережил его или наблюдал его вблизи, многие истины, не принимавшиеся раньше во внимание, открыл ошибочность романтических взглядов на действительность. Сами политические доктрины стали иными перед необходимостью принимать во внимание многие вещи, с которыми прежде не считались. Социалистический реализм вышел из своего романтического возраста, чтобы стать более реалистичным, более социалистическим и более материалистичным. Он уже больше не обращается с человеком, как математик с неравенством, которое можно немедленно преобразовать, заменив входящие в его состав величины, но знает, что человек должен быть к этому подготовлен всем ходом событий.

В то время как мыслители прошлого века представляли себе, что можно создать новый мир, совершенно оторвав его от старого мира, теперь стало господствовать убеждение, что новое никогда не бывает совершенно новым и что прошлое никогда не было только «проклятым прошлым». Из-за горизонта показались лучи более реалистического, более великодушного и гуманного мира. С ними вместе взошла заря нового реализма и нового социалистического реализма.

Творческая продукция этого нового реализма еще не столь велика, чтобы можно было полностью судить о нем, однако в целом она говорит о том, что прежние понятия реализма существенно изменились. Я убежден, что реализм больше не нуждается в положительном герое в поверхностно-романтическом понимании этого слова, как не нуждается и в предвзятом оптимизме по отношению к жизни и действительности — правдивый пессимизм иногда бывает более гуманным, чем ложь-

ный оптимизм, а негативизм, идущий от правды о человеке и самой его сущности, иногда больше и вернее говорит о человеке, чем искусственный, неправдивый позитивизм. От художника или писателя больше не требуется, чтобы он творил по определенным рецептам,— эти рецепты вырабатывает сам писатель, сам художник. И поскольку социализм верит в человека, давайте дадим ему возможность творить и дерзать. О писателе не всегда можно судить по отдельным его произведениям. Он иногда говорит свое слово всей своей жизнью, всем своим творчеством.

Я считаю, что все эти изменения— не только движение в сторону лучшего и более глубокого понимания действительности, но и изменения неизбежные, подобно тому как неизбежен был период «детских болезней» в развитии реализма и социалистического реализма. Неизбежность нового понимания реализма проистекает не только из того, что оно более гуманно и более научно, но и потому, что оно также более революционно, ибо и само понятие революционности, как я полагаю, изменилось. Революционность враждебна пустому энтузиазму и повторению красивых лозунгов. Революционность стала глубже, шире и дальновиднее. Изменения, которые произошли в понимании реализма, привели его в соответствие с духом времени, и если эпоха XIX—начала XX века была порой великого желания изменить мир и все его законы, изменить немедленно, одним ударом, то наша современная эпоха, как я убежден,— это эпоха таких изменений, при которых человека не приносят в жертву, а, напротив, ради человека жертвуют иногда, я подчеркиваю иногда, возможностью что-то изменить.

ДУМИТРУ МИКУ (РУМЫНИЯ)

С тех пор как существует искусство, наиболее плодотворным направлением было то, которое вело творчество к самой сути действительности, к самым широким аспектам бытия ради создания правдивого образа окружающего мира и ради выражения вековых чаяний человека. А барский культ чистой формы, презрение к содержанию всегда были присущи временам духовного упадка и лишали искусство жизненных сил. То, что мы называем «реализмом» в широком и неточном смысле слова (отображение в искусстве наиболее существенных сторон действительности) — не что иное, как один из способов человеческого самопознания: открывая мир, человек открывает самого себя, постигает возможности собственного разума.

Познание, в частности познание человеческой натуры, обусловлено исторически. Человек осознает свои творческие возможности, исследуя и преобразуя окружающий мир. Этот факт отражается и на эволюции искусства.

У искусства, говорил Гете, всегда есть своя цель. Позволим себе добавить: оно преследует цель (иначе говоря, само выражает себя), становясь выражением человеческого духа на какой-то определенной стадии его развития. Прогресс художественного познания (не следует смешивать его с художественной ценностью) не чужд, следовательно, развитию общества, эволюции наук, техники, социально-историческому бытию. Подобно другим формам социального сознания, искусство отражает классовую борьбу, участвует в ней. Развитие производительных сил, политическая, культурная и научная деятельность передовых классов расширяют рамки познания, накладывают отпечаток на облик людей, их образ мышления, восприимчивость. Понятия, гипотезы, утверждения, внушавшие в период средневековья страх, мистический ужас, кажутся забавными человеку Возрождения, а в наши дни даже любой крестьянский ребенок из самого отдаленного села знает, как устроен самолет, пугавший в детстве его отца.

Достигнув апогея, тенденция к пристальному исследованию бытия вылилась в прошлом веке в литературное направление, давшее богатые плоды. Об этом говорит творчество таких авторов, как Диккенс, Бальзак, Стендаль, Гоголь, Толстой, Достоевский, а в румынской литературе — Караджале, Славич, Ребряну. Как подчеркивал Энгельс, реализм классического типа («критический реализм», как его называл Горький) пошатнул — в период стабильности капитализма — оптимизм буржуазии, «разрывая господствующие условные иллюзии о природе этих отношений, расшатывая оптимизм буржуазного мира, вселяя сомнения по поводу неизменности основ существующего порядка — хотя бы автор и не предлагал при этом никакого определенного решения и даже иной раз не становился явно на чью-либо сторону».

Реализм классического типа, получивший наиболее полное выражение в тот исторический период, «... когда революционность буржуазной демократии **уже** умирала (в Европе), а революционность социалистического пролетариата **еще** не созрела (Ленин),— это констатирующий реализм, даже если объективно (а подчас и субъективно) утверждение подразумевает вынесение приговора. В конце прошлого века во всех областях искусства наблюдаются глубокие изменения, серьезные преобразования, что, безусловно, связано с происходящими в тот период социально-историческими процессами. Историки всех родов искусств отмечают реакцию на сложившиеся ранее теории — реакцию против искусства, копирующего жизнь. В литературе симво-

листы отвергают парнасцев и натурализм, в живописи восстают импрессионисты и экспрессионисты, в скульптуре утверждается новаторский гений Родена, музыка вздернута на дыбу могучим повстанческим духом Вагнера. Все эти творцы стремятся к искусству, не подражающему действительности, а открывающему возможность иного бытия «au delà» за видимым, за частным. Неприятие подражательных форм в искусстве является, несомненно, вырвавшимся из сферы искусства более широким протестом против ненавистной социальной действительности, которую изображает литература критического реализма. Начался кризис человеческого восприятия. Искусство, которое ограничивалось отображением зла, не указывало выхода, не спорило и не признавало мечты, не могло больше удовлетворять. Все более явное предпочтение отдавалось проблемному искусству, искусству поисков, откровений, внутреннего опыта и оценок.

В конце XIX века наблюдается общая тенденция к отходу от объективного изображения действительности, утверждения лирического начала в искусстве.

В чем причина таких изменений? Недостаточно видеть в этом лишь результат давления буржуазной идеологии, усилий реакционного класса, направленных к тому, чтобы отвлечь внимание от реальной действительности. Правда, ряд произведений свидетельствует о том, что художники, их создавшие, вообще отрекаются от объективной действительности, а не только буржуазной. Но многие из них, отрицая существование в обществе, в истории, отрицают фактически ограниченную, жалкую жизнь в том обществе, где, как мы читаем в «Манифесте Коммунистической партии», «буржуазия лишила священного ореола все роды деятельности, которые до тех пор считались почетными и на которые смотрели с благоговейным трепетом. Врача, юриста, священника, поэта, человека науки она превратила в своих платных наемных работников». Во многих случаях бывало, что присущие буржуазному обществу и буржуазному образу жизни черты неправильно приписывались социальному бытию вообще и даже человеческому характеру. Писатели делали подобные необоснованные обобщения, поскольку они не знали механизма человеческих отношений, не были в состоянии понять поступательное движение истории и не могли (как следствие) противиться некоторым буржуазным идеологическим влияниям. Однако о литературных произведениях не следует судить лишь по одним вытекающим из них философским выводам и обобщениям. Порожденные антибуржуазными (а порою и антикапиталистическими) настроениями, новые течения в искусстве, возникшие в конце прошлого века, не указывают путей освобождения человечества от социального порабощения. Но они ищут эти пути. Выражают законное недовольство, мятежные настроения. Не принимая позицию поэтов-символистов в чисто философском, социологическом и моральном плане, воспевающих одиночество и бегство от действительности, мы принимаем мятеж, нередко пронизывающий их поэзию. Источник этого мятежа, отлившегося в новые лирические формы,— отчасти в социальных волнениях эпохи, с которыми совпало появление символизма, импрессионизма и экспрессионизма. Революционное движение пролетариата, приведшее в 1871 году к созданию Парижской Коммуны, выявляет изменения в соотношении общественных сил, открывает неведомые исторические перспективы. Наличие последовательно революционного класса дает основание сомневаться не только в «вечности существующей ситуации», но и предвидеть перевороты и неизбежные социальные изменения. Перспектива преобразования социального строя вызывает разные чувства: надежду, веру, страх, отчаяние, смятение. Изменяется все мироощущение человека, его способность реагировать на события. Бытие становится беспокойнее, интеллектуальная жизнь — сложнее и противоречивее. Связанные по своим истокам с мелкой буржуазией, символисты питали ненависть к буржуазному миру, к его отдельным проявлениям и стремились к «чему-то другому». Однако они и сами не всегда понимали свои стремления, а нередко переносили их в сферу ирреального, химерического. В лирике одни из них противопоставляют «удушливым испарениям», в которых они задыхаются, оторванную от действительности мечту, другие — игру художественного ума, магию слова, или «Абсолют». Некоторые из них, будучи участниками социалистического движения или сочувствуя ему, прославляют будущее, переносят в него мечту (более или менее несбыточную, туманную) о новом, справедливом мире.

Отрицание настоящего и воспевание будущего присуще не только мечтательной лирике символистов. Мы найдем эти мотивы у разных поэтов — в том числе и румынских — конца прошлого и начала нашего века, например у румынского поэта Октавиана Гоги («Барщинные крестьяне»). Единственно верный путь к будущему рабочих масс, к «берегу справедливости» указывает (при всей своей художественной неумелости) только пролетарская литература. Жажда будущего, тяга к «чему-то другому» разве не представляет с точки зрения истории литературы стремление вырваться за рамки реализма?

Во всяком случае, констатирующего и разоблачающего реализма, «критического реализма» становится недостаточно. Возник ли как следствие этого в мировой литературе новый реализм? Или большое искусство нашей эпохи (включая социалистическое искусство) развивается вне или не только в рамках реализма? Долгое время понятие реализма в марксистской критике отождествлялось с критерием оценки художественного произведения. Утверждалось даже, что история искусства склады-

валась в борьбе реализма и антиреализма, как история философии сводилась в конечном итоге к борьбе материализма и идеализма. Если рассуждать подобным образом, то окажется, что все хорошее в литературе принадлежит реализму или, во всяком случае, что реалистическое направление плодотворнее всех существующих художественных течений. Подобное мнение бытовало как аксиома до недавнего времени в марксистской критике. Весь вопрос состоял в том, чтобы выяснить, что является хорошим и заслуживает быть включенным в реализм. Очень многие критики в социалистических странах осуждали как нереалистическую значительную часть современной западной литературы и искусства, и — по той же причине несовместимости с реализмом — отвергали опыт и очень интересные поиски некоторых молодых писателей. В дискуссиях по проблемам реализма, имевших место в прошлые годы в румынской прессе, и всякий раз, когда предоставлялся случай, я настойчиво придерживался той точки зрения (до Роже Гароди, но, разумеется, с более слабой аргументацией), согласно которой значение термина «реализм» должно быть настолько расширено, чтобы оно могло включать все наиболее значительное в художественном творчестве писателей всех народов, всех времен. Итак, вопрос в следующем: либо признать, что только реалистическое направление совместимо с нашей эстетической концепцией, и тогда понятие «реализм» следует избавить от любых ограничений, которые препятствуют творческому подъему, новаторству, индивидуальности писателя, либо точно определить сферу реализма, не превращать его в критерий оценки произведений и признать, что произведения, противоположные реализму по структуре (с точки зрения художественной формы), могут быть более значительными, чем некоторые произведения, чисто реалистические по своему характеру.

Второе положение мне кажется более приемлемым, более научно обоснованным. Между реализмом и критерием оценки художественного произведения нельзя ставить знака равенства. Роман, раскрывающий с реалистической силой социальные предпосылки забастовки или восстания, естественно, бесконечно выше другого, в котором извращенно представлено соотношение социальных сил. Но «Старуха Изергиль» Горького — превосходное произведение, хотя и не реалистическое. Величайшие достижения современного искусства — пьесы Беккета, Ионеско, Адамова,— по-моему, тоже не реалистические. Ни драматургия Брехта, ни, скажем «Страна Муравия» Твардовского не подходят под определение реализма. Разумеется, в строгом понимании этого термина. Не следует включать в реализм все, что говорит о реальности. Почему определенное течение — а именно, реализм, как таковой,— на определенном историческом этапе (вторая половина прошлого века) должно быть абсолютизировано, почему оно должно ставиться над классицизмом, романтизмом, символизмом? Почему под его знаком должно развиваться все социалистическое искусство? Почему только «социалистический реализм», а не, скажем, социалистический романтизм? И вообще зачем наклеивать ярлыки? Употребляя термин «реализм» — как бы мы ни расширили его значение (если, конечно, мы не хотим полностью распылить его смысл),— мы все равно навязываем творчеству определенную норму, указываем, направляем, руководим. Между тем искусство несовместимо с «методом», с нормированием, с руководством. Творчество — выражение индивидуальности, и, следовательно, оно единственное, неповторимое, несерийное, а произведение тем ценнее, чем оно неожиданнее, непредвиденнее. Конечно, реализм позволяет в большей мере, чем другие художественные направления, непосредственно отражать общественные отношения, но цель искусства — не в отображении социальных проблем, как таковых, а в передаче общественного в сочетании с человеческим и индивидуальным. Общественные отношения исследует социология, литература изображает драмы человечества. Разумеется, общественные отношения влияют на душу человека, но не абсолютно все, что мы чувствуем — беспокойство, чаяния, наваждения,— уходит своими корнями в конкретную социально-историческую действительность. Во всяком случае, преломление общественных отношений в психологии человека так сложно, что его трудно отобразить одними реалистическими приемами. Хотим ли мы того или нет, классический реализм, реализм Стендаля, Бальзака, Диккенса и даже Толстого и Достоевского на практике изжил себя. Невозможно создавать современную прозу без Пруста, Джойса, без аналитического романа XX века, без Кафки, Камю, «нового романа» (это не значит, что им нужно подражать). Что же касается поэзии, она создается принципиально вне рамок реализма.

Итак, я полагаю, что реализм (если употреблять этот термин в точном литературоведческом смысле, а не в безгранично широком) в наши дни остается плодотворным в прозе и драматургии, но далеко не единственным значительным направлением. В поэзии сфера его действия еще более ограниченная, побочная. Литература, воодушевляемая идеалами нашей эпохи, социалистическая литература не может быть, как мне кажется, целиком реалистической. Она может содержать и развивать самые разнообразные художественные приемы и формы — от классически реалистических до экспрессионизма и сюрреализма.

ДЖОН МОРРИСОН (АВСТРАЛИЯ)

Вы спрашиваете, как я понимаю сущность реализма и какие новые черты я вижу в реалистическом искусстве наших дней. Я вынужден быть краток, поскольку ответить нужно по возможности быстрее и к тому же я занят сейчас другой работой.

Не так давно один из моих коллег, который издавна был непоколебимым сторонником **социалистического реализма,** сообщил мне прелюбопытную вещь: он считает, что социалистический реализм умер навсегда. Я не разделяю его уверенности, но мне от души хотелось бы, чтобы он оказался прав, ибо я никогда не принимал идей этого направления и никогда не переставал на это указывать.

Я всегда понимал реализм как метод, одухотворенный верой в присущее человеку благородство. Реалист должен изображать жизнь такой, как она **есть,** а поступки людей такими, каковы они **на самом деле.** Нет нужды говорить, что я разделяю мысль об ответственности писателя перед обществом, о том, что он должен любить людей и участвовать в битве добра и зла на стороне добра.

Но социалистический реализм требует, конечно, гораздо большего. Он требует, чтобы моральные обязанности человека изображались лишь в одном направлении, что лишает их величия, ведет к узости и однобокости и зачеркивает результаты труда многих прекрасных писателей. Хуже того, он открывает двери для своекорыстия, для писателей, которые описывают жизнь не такой, как она есть, а так, как им было указано ее изображать. Нельзя отрицать, что писателей побуждали именно к этому, а в результате возникали чреватые опасностями упрощения, основанные на той сомнительной идее, что все беды людей проистекают из окружающей их среды, из природы общества, в котором они живут. В основном это предположение совершенно справедливо, и писатель обязан способствовать своим трудом усовершенствованию общества. Как правило, на том и останавливаются, но тогда творчество начинает отдавать однообразием и неправдой, подменяется доктринерством, ибо высказанное предположение — это лишь часть правды. В подобных произведениях люди превращаются в марионеток, в бескровные манекены, призванные проиллюстрировать содержащееся в книге назидание.

Нет нужды доказывать, что писатель лишь тот, кого читают, а если писатель хочет, чтобы его читали, ему не следует закрывать глаза на то обстоятельство, что человек не только благороден, но и слаб. И слабость человеческую нужно изображать столь же достоверно, как и благородство человека, вступающее в конфликт с пороками общества. Я не убежден, что танцевать нужно обязательно от печки, и не берусь решать, надлежит ли изменить общество, чтобы изменился человек, или наоборот. Социалистический подход к этому вопросу, конечно, таков: одно невозможно без другого — в процессе социалистической перестройки общества воспитывается новый человек.

Но вернемся к литературе. Если писатель стремится быть значимым, он должен прежде всего признать, что величайшая слабость человека — это его стремление превзойти других, стать лучше, чем они. Я не имею здесь возможности пояснить мою мысль; следовало бы сказать и о причинах чисто биологического характера, и о самосовершенствовании. Однако я подразумеваю прежде всего стремление подчинить других своей воле; в той или иной степени, в разных формах оно живет чуть ли не во всех нас. Об этом стремлении написаны великие книги, и все же о нем надо писать снова и снова.

Говоря кратко, я считаю, что писатели должны главным образом изображать конфликт человека с самим собой и лишь затем — конфликт человека с обществом. Социалистический реализм, наоборот, уделяет основное внимание конфликту между индивидом и обществом, и для любителей упрощать действительное положение вещей здесь открывается широкая тропа.

Я считаю истинными реалистами таких писателей, как Шолохов, Симонов, Панова, Стефан Гейм,— да разве мало писателей, показавших, как нужно писать книги! Из ваших молодых прозаиков мне нравятся Бондарев и Гранин.

Смотреть фактам в лицо и говорить правду, какой бы горькой она ни была,— в этом, по-моему, и состоит реализм. Я убежден, что лишь на этом пути прогрессивные писатели обретут оружие против модного сейчас — во всяком случае, модного у нас — увлечения отвратительными подробностями, обскурантизмом, пессимизмом и настроениями ожидания всеобщей гибели.

ХИРОСИ НОМА (ЯПОНИЯ)

О РЕАЛИЗМЕ

Мне кажется, это чрезвычайно ценное и нужное начинание — предоставить писателям разных стран возможность высказать на страницах одного журнала свои взгляды по вопросу о реализме, какими бы краткими ни были эти высказывания. Ибо хотя в наше время уже полностью ясно, что реализм вносит богатый и, можно сказать, наиболее значительный вклад в литературное творчество, все же во многих странах продолжает существовать литература, не способная признать великую силу реализма, продолжаются попытки увести литературу в сторону от реализма, направить ее развитие по иному пути — по узким дорожкам, нередко заводящим в тупик.

В сущности, это закономерно. Во многих странах мы наблюдаем, как писатели, стоящие перед лицом страшной угрозы — третьей мировой войны,— отворачивают взгляд от этой опасности, пытаются уговорить себя, будто ее вовсе не существует, стараются направить свое внимание в совсем иные сферы.

Наша современная действительность, наша эпоха чрезвычайно сложны. Понять и правильно отобразить их — очень и очень трудно. Не менее трудно создать образы отдельных людей, живущих в эту эпоху, воссоздать на страницах литературного произведения определенные типажи. Огромные перемены, произошедшие в мире после второй мировой войны, еще более усложняют и затрудняют правильное постижение истинной сущности нашей современной действительности. Но именно поэтому писатель обязан стремиться как можно глубже вторгаться в эту действительность, смело разрывая узы всех ранее существовавших творческих приемов. И начинать при этом нужно с того, чтобы полагаться не на умозрительные концепции, живущие в собственном воображении, а на то, чтобы всей своей жизнью и пером смело вторгаться в окружающую действительность.

Токио, город, в котором я живу, очень изменился по сравнению с довоенными временами, неузнаваемо изменились и отношения, связывающие людей, живущих в Токио. Молодежь готова на любые жертвы ради получения высшего образования, множится число карьеристов, бросается в глаза, как велик круг людей, целиком связавших себя с современным капиталистическим строем. Газетные сообщения о налетах американской авиации на города ужаснули людей. Вместе с тем в биржевых кругах слышатся предостережения: воздерживайтесь от дальнейших капиталовложений, война во Вьетнаме скоро закончится, и тогда неизбежен спад... Японское правительство заявило о своей поддержке американского курса и все же колеблется — слишком велик бурный гнев японского народа, протестующего против бомбежек Северного Вьетнама...

Я набросал картину жизни Токио, города, в котором живу, предельно кратко, в самых общих чертах, ни в коей мере не дающих возможность представить себе всесторонне действительность современного Токио и всей Японии. Однако тот, кто именует себя писателем, обязан отразить эту действительность во всей ее полноте. Отразить действительность не означает, разумеется, попросту копировать ее. При простом копировании ускользают и не видимая глазу перспектива будущего развития, и связи с прошлым, и так далее. Писатель же обязан нащупать и указать перспективы, к которым движется современность, вскрыть подлинный облик зачастую непонятного настоящего. Справиться с такой задачей он способен, разумеется, не с помощью умозрительных идей, обитающих в его голове, а только путем непрерывного сопоставления этих идей с живой действительностью, которая помогает проверять и шлифовать их.

Понять и отобразить действительность современной Японии очень трудно, но я отнюдь не отчаиваюсь. Для этого необходимо учитывать целый ряд факторов — вторую мировую войну, поражение Японии в этой войне и множество обстоятельств, связанных с этими событиями. Было бы большой ошибкой представлять себе современную Японию в отрыве от прошлого. Писатели из поколения тридцатилетних, не знающие минувшей войны и поражения Японии, каким бы острым и свежим зрением они ни обладали, зачастую не умеют правильно отразить современность именно потому, что недостаточно понимают связь современности с тем, что принесла Японии минувшая война и последовавшая затем капитуляция. Точно так же многие писатели, которым сейчас больше пятидесяти лет, несмотря на выдающееся дарование нередко не способны отобразить современную жизнь Японии во всей ее полноте, потому что недостаточно понимают огромные перемены, принесенные войной и капитуляцией, и не умеют острым взглядом провидеть будущее.

Иногда приходится слышать мнение, будто в современной Японии произошли значительные перемены в архитектуре, одежде, бытовом укладе, однако отношения между людьми остались якобы почти такими же, как и раньше. Другие утверждают, что и человеческие отношения в Японии также претерпели огромные изменения. Да, конечно, Япония очень изменилась, но в то же время многое в ней осталось таким же, как до войны. Приведу в качестве примера движение за уничтожение касты париев, в котором я тоже принимаю участие. Дискриминация людей, принадлежащих к касте париев, хотя и носит теперь несколько иные формы, чем в ту пору, когда Си-

мадзаки Тосон написал свой роман «Нарушенный завет», однако как существовала до войны, так и продолжает существовать.

Да, отразить облик современной Японии очень трудно, и потому у ряда писателей наблюдается тенденция ограничиваться изображением семейных событий или же своей собственной личности. Я решительно против таких тенденций. Описывать события семейной жизни — вовсе не плохо, но я считаю, что прежде всего нужно показывать облик всей современной японской действительности, вскрывать таящиеся в этой действительности противоречия. В современной Японии, где господствует монополистический капитал, где монополистический капитал властвует над народом, в то же время постепенно создаются условия для перехода к социализму — вот о чем в первую очередь должен, по-моему, писать писатель, вот какие противоречия он должен вскрывать. Для этого писатель должен, разумеется, обладать определенным мировоззрением, однако я убежден, что если мировоззрение носит догматический характер, от этого не будет ни малейшего проку. Застывшее мировоззрение, застывшая система взглядов — такая опасность вообще свойственна людям — должны непрерывно проверяться соприкосновением с живой действительностью. Глубокое вторжение в жизнь должно помогать писателю обновлять, освежать свои убеждения — тогда они станут действенными, живыми. Реализм не должен просто-напросто отвергать романтизм, символизм и другие литературные методы — он должен вобрать в себя все действенное, полезное, что имеется в этих методах. Я считаю, что современную действительность Японии во всей ее полноте, со всеми ее противоречиями нужно показывать, изображая человека и его окружение методом реализма, изображая определенные личности. Элементы, определяющие личность,— это ее биологические, психологические, социальные (классовые) особенности.

Итак, литература начинается с создания личности, с помощью которой выявляются действительность современной Японии и таящиеся в ней противоречия. Этот вымышленный герой и другие персонажи произведения противостоят друг другу, соприкасаются между собой, рядом с ними действуют и другие второстепенные персонажи, и мир литературы, подобно вселенной, находящейся в постоянном движении, тоже живет и движется в непрерывных взаимосвязях между людьми, созданными воображением автора. Думая о реализме, я и сейчас считаю одним из наиболее важных его условий идею, высказанную Энгельсом в связи с Бальзаком:

«Я считаю одной из величайших побед реализма, одной из наиболее ценных черт старика Бальзака то, что он принужден был идти против собственных классовых симпатий и политических предрассудков, то, что он **видел** неизбежность падения своих излюбленных аристократов и описывал их как людей, не заслуживающих лучшей участи, и то, что он **видел** настоящих людей будущего там, где их единственно и можно было найти».

ЙЛА ПЕННАНЕН (ФИНЛЯНДИЯ)

Реализм или объективное, стремящееся к простоте и точности, базирующееся на еальности направление литературы является, по-моему, первоосновой всякого литературного творчества.

Современный реализм, однако, сложнее, чем реализм прошлого столетия. Долг исателя — изображать действительность такой, какой он ее сам ощущает. Таким образом, требование объективности литературно-художественного изображения несколько еняется: писатель сравнивает свое субъективное изображение действительности с ем объективным образом, который возник у него как у члена общества и определенной социальной группы в процессе общественной жизни. Тем самым реалистическая становка приобретает новую привлекательность, степень которой зависит от глубины щущений писателя.

В наше время реалистический роман по необходимости менее национален, чем в режние времена. Всеобщие, глобальные проблемы определяют ориентацию романа; ез осознания, например, угрозы атомной войны современный роман не является еалистичным в нынешнем смысле. Конечно, общественный строй в очень большой епени определяет характер реализма, так же как и положение, зачимаемое данным исателем в обществе. Писателю необходимы знания об обществе, которых ему не жет дать непосредственное восприятие. И все равно индивидуальная человеческая изнь по-прежнему остается душой реализма, чувства и мысли отдельного человека разуют ту сеть, которой писатель ловит и фиксирует свое знание. Столкновение лич-

ности и общества уже с давних пор является для реализма одним из основных факторов. Но теперь это столкновение требует более широкого и ясного понимания, так как некоторые общественные системы в наше время представляют действительную, конкретно осязаемую опасность для счастья личности.

По-моему, реалистическое отражение действительности всегда состоит прежде всего в констатации существующего положения. Но мировоззрение автора в процессе его работы все же производит отбор, отсеивание фактов. Принятые им оценки явлений действительности неизбежно определяют направление его интересов. Его задача состоит в том, чтобы доказать читателю правильность своих оценок.

ХОСЕ АНТОНИО ПОРТУОНДО (КУБА)

О ПРОБЛЕМЕ РЕАЛИЗМА

Предлагая нам анкету о проблеме реализма, московский журнал «Иностранная литература» заставляет нас коснуться самой сущности одной из наиболее важных проблем современной эстетики. Думается, что экстремизм некоторых позиций при обсуждении этого вопроса происходит от недостаточно четкого определения разбираемой темы. Реализм — категория историческая, которой обозначается искусство на определенном этапе литературного и художественного процесса XIX века. Это, например, роман Бальзака и Диккенса, живопись и гравюры Хогарта. Именно такого рода реализм имел в виду Энгельс, когда он определял его как искусство, которое характеризуется не только точностью деталей, но и показом типичных характеров в типичных обстоятельствах.

Итак, следует спросить, относится ли определение Энгельса только к исторической категории — к великому критическому реализму XIX века — и в силу этого неповторимо, или напротив, оно характеризует логическую — и эстетическую — категорию реализма, понимаемую уже не как стиль одной эпохи, а как кульминационный классический стиль для всех эпох. Вот здесь и начинаются разногласия. Для Лукача, например, нет иного проявления реализма, чем великий критический реализм XIX века и реализм его продолжателей, таких как Томас Манн, тогда как для Гароди границы реализма расширяются, включая в себя все проявления современного искусства. Полемика становится еще более горячей и острой, когда упоминают социалистический реализм. Эрнст Фишер «решает» задачу, заменяя «социалистический реализм» понятием «социалистическое искусство», а это не что иное, как элегантный способ уклониться от ответа.

Мы считаем, что реализм прежде всего категория историческая, обозначающая стиль определенной эпохи — стиль, характерные черты которого указал Энгельс: точность деталей и показ типичных характеров в типичных обстоятельствах. Но — как произошло с категориями классицизма, барокко и др., первоначально понимаемыми лишь исторически,— реализм обозначает также категорию эстетическую, некую вершину всех стилей, которая соответствует историческому этапу их классического равновесия, то есть такому этапу, когда точное соответствие метода художника окружающей его действительности, соответствие содержания — художественному выражению (иначе — владение выразительными средствами) определяют совершенное отражение реальности в искусстве. Художник преодолел свою неспособность понять сущность действительности за ее оболочкой — а это бывает лишь при непрямом, символическом ее изображении — и показал нам сущность действительности в ее будничном облике, доходчивом, повсеместно понятном. Еще один этап — уход от будничного облика действительности ради поисков неизменных, метафизических основ, что на самом деле позволяет художнику уйти от социальных обстоятельств, которые он не принимает. Не следует забывать, что абстрактное — тоже категория эстетическая, столь же значительная, как конкретное в чувственном восприятии, и потому долг эстетика и критика не просто осуждать, но и объяснять его появление.

Но подобно тому как человек каждый день открывает для себя новые стороны действительности, так и реализм, который хочет отражать ее, неизбежно расширяет свои берега, не теряя их, однако, в соседних областях.

Существовал великий критический реализм XIX века, выражавший видение человека того времени, и должен быть социалистический реализм, который выражает марксистско-ленинское видение человека космической эры. И если современные «авангардизм» и «абстракционизм» отрицают критический реализм вчерашнего дня, то социалистический реализм диалектически должен стать отрицанием отрицания, синтезом обоих предшествующих понятий, он должен отражать новую действительность, более богатую по содержанию и форме, тесное единение нового человека

коммуниста, с окружающим его миром, уже полностью и социально осмысленным. Как все это проявится в искусстве — предстоит открыть художникам. В такое время, как наше, не только космонавтам предназначено открывать звездные пути. И для этих путешествий еще не составлено карт, еще нельзя указать самую легкую дорогу.

Надеюсь, что я не сказал здесь слишком много глупостей. В противном случае приношу тысячу извинений терпеливому читателю.

ЕЖИ СТАВИНСКИЙ (ПОЛЬША)

Ваше письмо поставило меня в довольно затруднительное положение. Во-первых, потому, что я не теоретик литературы и не критик, которых хлебом не корми — предоставь только возможность давать оценки и определения литературным течениям; во-вторых, думается, термин «реализм» употребляют слишком часто и даже злоупотребляют им, так что мне становится не по себе, едва я услышу это слово. Просто удивительно, насколько живуч этот термин, ведь еще сто лет назад Шанфлёри сказал: «Слово «реализм» — слово преходящее, которое не продержится больше тридцати лет: это один из тех двусмысленных терминов, которые могут служить любой цели...»

Как вы могли легко заметить, сделав выводы из моих произведений, которые вы так любезно опубликовали в вашем журнале, меня, без сомнения, причисляют к «реалистам», поскольку я черпаю материал для моих произведений непосредственно из наблюдений над окружающей действительностью или же он представляет собой синтез моего жизненного опыта. Не знаю, удастся ли мне здесь объединить жизнь и искусство, я об этом не думаю: попросту я не смогу раскрыть мои замыслы другим методом.

Разумеется, термином «реализм» невозможно ограничивать только один период в истории литературы. Это явление сопровождает литературу на протяжении всей ее истории и особенно дает о себе знать тогда, когда в мире рождаются революционные идеи и происходят революционные перемены. Не случайно расцвет реализма в литературе XIX века связан с такими событиями, как «весна народов», как выход «Коммунистического манифеста» и Парижская коммуна. Наша эпоха — еще более бурная и революционная. Я глубоко убежден в том, что жизнь моего поколения в Польше — это мост, переброшенный между совершенно различными эпохами. Именно поэтому, чтобы быть в состоянии хоть в малой степени выразить мой опыт и мое мироощущение, я обращаюсь к реализму и по возможности показываю, что считаю самым важным, и стараюсь дать правдивое свидетельство того, что я вижу. Может быть, кроме того, я стараюсь быть объективным, но это всегда самое трудное, потому что мне приходится руководствоваться чувством.

Вот несколько слов на тему о реализме. Специалисты напишут больше и лучше.

ГАНС МАГНУС ЭНЦЕНСБЕРГЕР (ФРГ)

Благодарю вас за ваше приглашение к разговору о реализме, но я чувствую себя неспособным принять участие в этом начинании. И не просто потому, что я занят. Это было бы легкомысленно с моей стороны. С такой просьбой надо обращаться к специалистам. Вот, например, известный критик Лукач — он много думал и много писал по вопросам реализма. Я не согласен с его выводами, повторяю, не согласен. Но я не могу сказать, что его работы легковесны. Но если я сяду и напишу две страницы о том, что такое реализм, с моей стороны это будет несерьезно. Это мое мнение никому не будет интересно. Поставленный вопрос слишком значителен, ответ же будет слишком простым и спонтанным. Поэтому я и не провожу анкет в своем журнале. Я не доверяю людям, которые могут в субботу после обеда высказать мнение о любви, о дружбе, о господе боге или о коммунизме. О сущности реализма можно писать большие статьи или не надо ничего писать. О том, над чем я думаю всю жизнь, я не могу высказываться так легкомысленно.

МАКС ВАЛЬТЕР ШУЛЬЦ (ГДР)

Я посылаю эту статью как ответ на ваш вопрос; в ней нет ничего нового о проблемах реализма, она разве только пытается показать необходимую преемственность.

ВСТРЕЧА С ПРОИЗВЕДЕНИЕМ ИСКУССТВА (О прозаическом фрагменте Георга Бюхнера «Ленц»)

Эстетическое чувство тоже может обрасти жирком, если из почтения к предмету оно застынет в неподвижности. А в случае с «Ленцем» мое суждение весьма близко к тому, чтобы застыть в неподвижности. Вместе с другими я утверждаю: это произведение, написанное сто тридцать лет назад, не что иное, как солидная современная немецкая проза и реализм первого сорта. И мне представляется более чем естественным создать этой вещи заслуженно хорошую прессу. Осторожно! Слишком естественное всегда тяготеет к тому, чтобы подавить в искусстве все истинно живое. Фильм, который глубоко взволновал вас, надо смотреть еще и еще раз. И я еще раз просмотрю «Ленца». Сначала переворошу свою память, где как бы случайно, но настойчиво всплывают неизгладимые пластические образы этого творения. Что я могу еще увидеть мысленным взором? Я могу увидеть начало истории — переход Ленца через горы. Я знаю: очарование этого начала в необычайном (здесь просто чудовищном) эстетическом контрасте. Я ворошу свою память и мысленно восстанавливаю текст. И этот восстановленный, вновь прочитанный мною текст точно соответствует запомнившимся картинам. Вот незамутненная сторона контраста — мастерское описание природы:

«20 января Ленц отправился в горы. Заснеженные вершины и плоскогорья, внизу — долины, сплошь серые камни, зеленые луга, скалы и ели... По небу плыли серые тучи, плотные, непроницаемые, а потом поднялся туман и тяжелой сырой пеленой накрыл кустарник, так лениво, так грубо... Тогда буря швырнула в долины стаи туч... А солнечный луч мелькал и пропадал, взмахивая сверкающим мечом над снежинками, и его яркий, ослепительный свет падал с вершин в долины...» и т. д.

А в противоположность этому — замутненная сторона, мастерски противопоставленное природе состояние духа, воплощенное в образе полубезумного поэта Ленца, «домашнего учителя» и «солдата» Ленца, выходца из Прибалтики, которому баловень судьбы Гете, так сказать, перепоручил Фридерику Брион из Зезенгейма, однако Ленц не нашел пути к сердцу покинутой девушки и последовал за преуспевающим другом в Веймар, но там не поладил при дворе, был выслан и теперь направляется к деятельному и подвижному пастору Оберлину. Впоследствии он вернется на родину, в тоскливые будни учительства, и умрет бедняком в Москве в 1792 году. И вот Ленц идет: «Усталости он не чувствовал, только иногда ему было неприятно, что он не может идти на голове... Вначале что-то рвалось у него из груди, когда рядом с ним отскакивали камни, внизу колыхался седой лес, а туман то поглощал предметы, то вновь полуобнажал их гигантские формы: что-то рвалось наружу, он напряженно искал что-то, словно бы потерянные сны, но ничего не находил...»

Я уже знал: мое мнение об этом начале, впаянное в мою память, устоит при новой встрече. Это не что иное, как солидная современная немецкая проза и реализм первого сорта (см. выше). Однако кроме начала я запомнил лишь семантические компоненты (за редкими исключениями), то есть развитие событий и социальную мораль этой истории. Интеллектуальная память, помещенная в нашем сознании этажом выше, берет на себя задачу мысленного воспроизведения. Но вместо образов она предлагает нам познавательные формулы. Здесь перед нами фрагментарное, но четкое жизнеописание талантливого драматурга Ленца, которого сломило убожество мира, ограниченность и тупость немецкой мелкокняжеской действительности. Итак, здесь перед нами один из многих исторически зафиксированных примеров жизни и гибели немецких гуманистических деятелей, которые после гениального восхождения кончали помрачением рассудка из-за отсутствия «возможности существования», то есть в конечном итоге из-за отсутствия гуманистического и революционного национального сознания. Серия подобных трагедий открывается духовной катастрофой — крушением надежд, возлагавшихся в Германии на французскую революцию: Гёльдерлин... Национальное отчаяние, просочившееся (и пронесенное) сквозь века и затронувшее еще Иоганнеса Р. Бехера. Но он сумел справиться со своей бедой. Причина безумия Ленца, сформулированная Бюхнером, сохраняет свое значение вплоть до поэтической summa summarum этого явления, до Адриана Леверкюна из «Доктора Фаустуса»: «В мире, который он хотел использовать, обнаружилась чудовищная трещина...» Отсюда возникает лапидарное определение трагической исходной ситуации: «Он ничего не имел». С этими мыслями в голове я вновь принимаюсь за чтение. Да, горемыка Ленц больше ничего не имел, а значит ничего и не мог дать. Но что «имел» Бюхнер? В его сочинениях изданных в Инзель-ферлаг, помещены его письма. Октябрь 1835 года, Страсбург: «Я здесь раздобыл интересные сведения об одном друге Гете, несчастном поэте по фамилии Ленц, который жил здесь в те же годы, что и Гете, и почти сошел с ума. Я намерен поместить в «Дейче ревю» статью о нем...» Кроме того, говорится в том же письме, он занят поисками материала для трактата на какую-либо тему из философии или естественной истории и он отнюдь не спорит с теми, кто пророчит ему блестящую будущность

Итак, кое-чего Бюхнер не имеет — трагического мироощущения. Напротив, он имеет уверенность, что ему известен тот якорь, который можно забросить в будущее. Это он, по меньшей мере, имеет. И еще мужество для духовной и политической деятельности: он полон идей, предприимчив и несентиментален: всю свою духовную энергию он как одержимый обращает на дело материалистического познания мира — он, немецкий эмигрант Бюхнер, которого на родине ищет полиция. И у него нет ничего похожего на побуждение: «Дай я помогу тебе подняться, брат мой Ленц: я взвалю на себя бремя твоего горя — ты возьмешь на себя тяжесть моего, и рука об руку мы пойдем своей дорогой, являя собой истинный, печальный и отталкивающий облик человечества». Нет, он намерен написать статью об этом несчастном, видимо, историю болезни в форме очерка, параллельно с исследованием головного мозга.

Далее писатель сливается с естествоиспытателем. Описание симптоматических отклонений в поведении полубезумного Ленца перерастает в художественное творчество. Творчество ощупью стремится к исчерпывающему объяснению поведения, к единству естественного и общественного поведения. Природа пока еще одерживает верх над сознанием. Однако после классицизма и прогрессивного течения в романтизме появляется новый, отвечающий духу времени метод реалистического познания — материалистический. Дух приходит к познанию не путем самоуглубления, а познавая вне его существующий, независимый от него объективный мир. Кроме того, дух живет не в железных несгораемых шкафах — сознании и характере,— а прежде всего в чувствительном к боли и радости бренном теле. Все это — желание определить поистине человечные жизненные ценности путем методически правильного познания объективной действительности,— все это действительно предсказывает Бюхнеру блестящую будущность: он сумел бы без промедления слить классицизм и романтизм в реализме, оснащенном самыми лучшими средствами познания, хотя и оставаясь всю жизнь в эмиграции, как Гейне, как Маркс, как Энгельс. Эта блестящая будущность, правда, не смогла бы преодолеть немецкого убожества, но все же бросила бы отнюдь не романтический свет на декадентский идеализм какого-нибудь Ницше. (Бюхнер умер от тифа в Цюрихе в 1837 г., в возрасте 24 лет).

Еще раз — и это открывается при новой встрече с «Ленцем» — описание симптоматических отклонений в поведении перерастает в реалистическое художественное творчество. Но здесь необходимо прибавить: изображение этих отклонений не становится самоцелью. Художник сохраняет за собой право многое говорить прямо, не облекая в художественные образы. Так, например, в тех немногих ясных мыслях, которые высказывает в разговоре Ленц, Бюхнер, на мой взгляд, без стеснения прямо выражает собственные полемические суждения об искусстве. Бюхнер творит и говорит. И в разговорах об искусстве, в эстетических и этических спорах с самим собой он не обходит политические проблемы, а формулирует их для речей с трибуны. Так, Ленц говорит в беседе об искусстве, нападая на тех, кто хочет «приукрасить» действительность: «Я требую во всем жизни, возможности для существования — тогда это хорошо, тогда не надо спрашивать, прекрасно это или безобразно. Ощущение, что созданное художником несет в себе жизнь, выше этих представлений и служит единственным критерием в суждении об искусстве. Впрочем, мы редко испытываем это ощущение: мы встречаемся с ним у Шекспира, его несут к нам навстречу народные песни, иногда мы находим его у Гете, все остальное можно бросить в огонь. Люди не способны нарисовать даже собачью конуру. Они добиваются идеальных образов, но все, что мне довелось видеть, были деревянные куклы. Такой идеализм — постыднейшее пренебрежение природой человека... Надо любить человечество, чтобы проникнуть в неповторимую сущность каждого: для художника ни один человек не может быть слишком ничтожен, слишком безобразен — только так можно понять людей...»

Впрочем, у адепта мелких филантропических реформ Оберлина не находится «возможности существования» для Ленца. Оберлин вздыхает с облегчением, когда Ленц наконец покидает его дом. Наш Оберлин снова обретает идиллию. Ленц уходит в бесконечную нищету... Реквием Бюхнера несчастному, не от мира сего Ленцу нигде не граничит с абсурдом. Автор не плачет вместе с полупомешанным, не роется вместе с ним в отбросах, не пачкается — он держит его на расстоянии и тем не менее захватывает читателя как бы интеллектуальным волнением. Реализм Бюхнера поднимает несчастного Ленца.

Теперь мы подошли к моменту, когда так и хочется перейти к современному состоянию дискуссии о реализме. Но поскольку мы избрали такой метод — встречу с произведением искусства,— предоставим читателю непосредственно к нему обратиться.

Запомним только (потому что это нам еще пригодится), что Бюхнер писал из эмиграции своему покровителю, помогавшему ему, Карлу Гуцкову, в прошлом нонконформисту (а впоследствии доброму буржуа): «Впрочем, если быть откровенным, мне кажется, что Вы и Ваши друзья пошли не самым умным путем. Реформировать общество при помощи идеи, исходящей от образованного класса? Невозможно! Наше время всецело материалистично, и если бы Вы непосредственно политически взялись за дело, то вскоре наступил бы такой момент, когда реформа кончилась бы сама собой. Вам никогда не удастся преодолеть разрыв между образованной и необразованной частью общества... Я полагаю, что в социальных делах надо исходить из абсо-

лютного правового принципа, искать в народе истоки новой духовной жизни, а отжившее современное общество послать к черту».

У реализма Бюхнера оказалось достаточно материи для того, чтобы поднять несчастного Ленца. Когда мы говорим или пишем о нашем, социалистическом реализме, мы должны иметь (а не только постулировать) достаточно материи для того, чтобы поднять незавершенного Бюхнера.

Л. НОВИЧЕНКО

К ОБСУЖДЕНИЮ ПРОБЛЕМ РЕАЛИЗМА

Итак, разговор о реализме, о его месте в современной литературе, об отношении к нему писателей, представляющих различные политические убеждения и художественные взгляды. Среди участников этого разговора — и романисты, и поэты, и критики; здесь есть краткие писательские кредо и пространные декларации, есть подтверждение неизменности прежних позиций и раздумья вслух, поиски для себя новых путей.

За словами писателя о себе и своем ремесле стоят его книги, его читатели, стоит его опыт и опыт его народа, живой литературный процесс, неотделимый от процессов в самой действительности. Поэтому так ценны и вызывают такой интерес писательские встречи, очные и заочные, поэтому они наводят на многие мысли.

Начнем с того, что знакомиться с этими противоречивыми мнениями, пришедшими из самых разных стран, от самых разных людей, было в высшей степени интересно и просто по-человечески приятно. Да, приятно, хоть это чисто эмоциональное понятие как будто и не совсем подходит к строгому предмету дискуссии. Хорошо, что писатели разных стран, разных воззрений и художественных приверженностей так серьезно отнеслись к самой теме обсуждения. Хорошо, что разговор получился откровенный, сосредоточенный на действительно больших и сложных проблемах, что в нем высказано немало свежих мыслей, наблюдений, гипотез, отражающих многообразие практического художественного опыта современной литературы. За последнее время мы стали свидетелями многих международных писательских «круглых столов». Совсем недавно состоялся большой, по-настоящему заинтересованный разговор о поэзии наших дней во время празднования 800-летия со дня рождения Шота Руставели*. Участие 34 писателей из 18 стран в анкете журнала «Иностранная литература» — еще одно доказательство плодотворности международных дискуссий и встреч. Эти дискуссии объективно объединяют прогрессивную литературную мысль — объединяют уже тем, что помогают вскрыть глубинные основы художественного миросозерцания, на которых так или иначе способны сойтись художники, дорожащие исконным предметом своего искусства — человеком и миром, в котором он живет.

Тема этого заочного «круглого стола» отнюдь не нова. Она возникает на каждой писательской встрече, обнаруживая подчас серьезные расхождения во мнениях и приводя в конце концов к подтверждению непримиримого «противостояния» эстетической концепции реализма и весьма агрессивного в своих нападках на него, в своих претензиях и похвальбах декадентствующего модернизма.

Реализм как художественный метод, разумеется, не совпадает с чисто мировоззренческими категориями, однако давние споры вокруг него, чрезвычайно обострившиеся в наше время, неизменно обретали и обретают принципиальный идеологический характер. Слишком о многом идет речь в противоборстве реализма с антиреалистическими направлениями, для того чтобы оно оставляло кого-либо нейтральным и безучастным в условиях современной идейной борьбы между силами общественного прогресса и общественной реакции. Наиболее последовательные и непримиримые отрицатели реализма отрицают в конечном счете самое возможность познания действительности искусством и его способность содействовать разумному изменению этой действительности: бесчисленные ниспровергатели нападают на реализм потому, что он предполагает объективную, достоверную правду об обществе и человеке в противовес беспредельному субъективистскому своеволию отчаявшихся или больных мизантропией художников; потому, что человек, которого он исследует и изображает, любит или ненавидит, бы

* См. журнал «Иностранная литература» № 2 за 1967 год.

всегда человеком историческим, социально и психологически детерминированным, «общественным человеком в многочисленных его проявлениях» (Бальзак) и, следовательно, так или иначе побуждающим, через свой образ в искусстве, к участию в решении насущных жизненных вопросов, которые волнуют человечество; наконец, реализм, хотя бы в потенции, при всей неподкупности своей правды, подчас суровой, даже жестокой — искусство жизнеутверждающее, ибо за ним логика самой жизни в ее непрестанном развитии и обновлении, и уже поэтому он в корне враждебен той философии пессимизма и бессилия, которой проникнуты наиболее упадочные течения современного буржуазного искусства.

Представители модернистских и «сверхмодернистских» течений потратили немало усилий, доказывая, что реализм не в силах передать «подлинную реальность» XX века — разорванность мира, отчужденность человека, алогизм бытия и властвование над жизнью невидимых и непознаваемых сил, чуждых всякой объективной закономерности. Действительно, для воплощения таких представлений о жизни реализм решительно не подходит. Но если с точки зрения сторонников сей мрачной философии в этом — смертный грех реалистического искусства, то для нас именно здесь лежит первейшая ценность реализма, доказательство его здоровой художественной природы, его сопротивляемости ложным, реакционным идеям, его принципиальной несовместимости с попытками уничтожения жизни «вообще», человека «вообще».

Известна мысль Ф. Энгельса о методе научного познания как «аналоге» процессов и связей, свойственных самой природе. Художественное познание имеет, естественно, свою специфику; но метод, на основе которого создана, например, пьеса С. Беккета «В ожидании Годо», вполне справедливо можно назвать «аналогом» незнания и бессилия (этими словами, кстати, сам Беккет довольно точно определил ту «зону существования», которая его больше всего интересует). За реализмом с давних пор закрепилось понятие художественного **исследования** жизни, находящего, открывающего в ней не только объективные сущности, но и свои собственные «несущие конструкции», свои приемы и формы, свой постоянно изменяющийся художественный облик.

Кстати, сразу же внесем одно уточнение в понятие «модернизм», употребляемое здесь в смысле идейно-эстетического антипода реализма. Мы не собираемся безоговорочно причислять к модернизму тех художников, которые испытывают определенные воздействия упадочной философии и эстетики, но все же способны создавать в своих произведениях реальные образы объективного и субъективного мира, проникнутые искренним гуманистическим чувством. Таких немало, и они образуют пеструю амальгаму индивидуальностей и течений, о которых надо говорить отдельно; мы же имеем в виду сейчас тот «последовательный» и рафинированный **модернизм, который представляется** нам совокупностью наиболее крайних тенденций, характеризующих современное буржуазное искусство как выражение духовного тупика и полного субъективистского разрыва с реальной действительностью.

Но перейдем от этих общих соображений к конкретному содержанию разговора о реализме в современной литературе.

Почти для всех участников анкеты, живут ли они в социалистическом или в капиталистическом мире, нет никаких сомнений в жизненности и плодотворности реализма как главного, генерального направления в современном художественном творчестве. Эти очень разные писатели из стран Запада и Востока, авторы книг, многие из которых получили признание во всем мире, в общем единодушно утверждают, что их основные симпатии и надежды в искусстве связаны с реалистической эстетикой правды, с эстетикой уважения и доверия к живой действительности. Речь идет не о формулах — к ним многие писатели, по меньшей мере, равнодушны,— а о свойственной серьезному художнику ответственности перед жизнью, направляющей его по пути художественного реализма. «Я успел уже порядочно написать, прежде чем убедился, что я реалист, во всяком случае, сторонник этого метода: реализм пришел ко мне так же естественно, как яблоки появляются на яблоне»,— пишет английский романист С. Чаплин Почти теми же словами, утверждая сложное единство жизни писателя, его убеждений и привязанностей с тем, что называется творческим методом, говорит о себе известный турецкий сатирик А. Несин: «Я видел мир как реалист и социалист, ибо прожитая мною жизнь сделала меня реалистом и социалистом».

Реализм как правдивое изображение действительности несомненен и незыблем и для Ч. Сноу («Я убежденный реалист».), и для Э. Колдуэлла («Изображение и истолкование действительной жизни — это непременное условие настоящей литературы».), и для А. Маршалла («Моя задача — писать правду, воплощая ее в живых людях».), и для К. Абэ («В наше время реализм по-прежнему эффективен».), и для З. Посмыш («Самое глубокое течение действительности — реалистическое течение».). Выписки можно было бы продолжить. Нельзя не отметить знаменательности этого факта в условиях нынешней идейно-эстетической борьбы, идущей по всему фронту мировой литературы, вопреки шумным атакам реакции на реализм с политических, философских и эстетических позиций. Это верное жизни искусство вовсе не теряет своих сторонников, наоборот, их ряды неизменно растут.

Что такое современный реализм? Чем отличается он от реализма XIX века? Каково соотношение его с другими методами и направлениями современного искусства? Эти вопросы привлекли к себе живейшее внима-

ние участников разговора. Именно здесь, при общем признании реализма как наиболее авторитетного метода художественного познания и изображения действительности, проявилось многообразие точек зрения, концепций и прогнозов — и наибольшее расхождение во взглядах.

Реализм непрестанно развивается, вслед за изменениями жизни приобретает новые черты, обогащается средствами выразительности, которые были неизвестны мастерам прошлого,— все это так, и понимание этого, кажется, объединяет подавляющее большинство участников «круглого стола». «Со времени мастеров реалистической школы XIX века в мире и литературе произошли такие изменения, которые не могли не повлиять на методы современных писателей-реалистов, не внести новые черты в современный реализм»,— пишет Л. Делано. Это обусловило, по его мнению, неизбежность возникновения новых способов и форм выражения, которыми располагает современное реалистическое искусство,— «параллельно развивающихся тем, различных планов повествования, смешения времен, настоящего и прошлого, «потока сознания», внутреннего монолога и многих форм, на первый взгляд усложненных, а на самом деле способствующих более точной передаче картины современного мира».

Реализм, утверждает А. Гравина, расширяет свой арсенал изобразительных средств и средств познания за счет нововведений, внесенных в сферу искусства другими эстетическими течениями, а также открытиями в области социологии, психологии, педагогики и т. д. Это непрерывное обогащение методов выражения необходимо, чтобы постичь по-настоящему всю сложность духовных процессов, происходящих в человеке на современном этапе развития общества, и ни в коем случае не ограничиваться примитивной формулой, согласно которой люди, мир и искусство делятся только на две категории — или они представляют декаданс или прогресс». Развитие литературы опровергает плоские представления о реализме как искусстве, скованном эстетической догмой обязательного внешнего жизнеподобия и поэтому неизменно «традиционном», чуждом энергичным и смелым новаторским поискам в области формы, выразительных средств. Отнюдь ненадуманным является вопрос и о художественном взаимодействии реализма с нереалистическими течениями. При внимательном изучении оказывается, что открытия, приписываемые модернизму, ведут свое начало от самого, казалось бы, «традиционного» искусства. (Кто открыл, например, для современной мировой литературы внутренний монолог — Дж. Джойс или последовательнейший реалист Л. Толстой? На этом же примере, кстати, можно убедиться, какой несовпадающей, даже противоположной бывает познавательная и идейная природа одного и того же приема в различных художественных системах.)

Однако все это не дает основания допускать, что на почве новаторского развития современного реализма происходит некое размывание границ между реалистическим искусством и декадансом или, того проще, трансформация «старого» реализма в «новый», который, по существу, охватывает всю пестроту нынешних модернистских течений.

Так, в сущности, ставит вопрос В. Линна. «Новый реализм», по его определению, не признает никакой объективной правды, он крайне субъективен, вплоть до откровенного соллипсизма. («Реальность для него лишь субъективное поле зрения индивидуума, и она рисуется ему абсурдной».) Под внешне эстетической приметой «строжайшего запрета всякого комментирования» — то есть выявления авторского отношения к изображаемому — В. Линна проницательно видит коренную идейно-философскую суть этого искусства: утверждение исторического тупика, безвыходности и тщетности любых человеческих усилий. («Старый реализм ставил на путях человеческих как позитивные, так и негативные дорожные знаки. В новом реализме мы видим лишь знаки, запрещающие движение».)

Философские выводы такого искусства (в качестве одного из примеров назван французский «новый роман») В. Линна, в своем творчестве, кстати сказать, твердый и убежденный реалист, явно не приемлет, однако странное и, с нашей точки зрения, совершенно неприемлемое заключается в том, что он все это называет «реализмом», хотя бы и «новым». Не будет ли вернее сказать, что В. Линна, вопреки своей терминологии, дал довольно точное «клиническое описание» как раз того направления, которое от реализма отделено глубочайшей духовной пропастью, а именно — декадентствующего модернизма? Объективно В. Линна доказывает именно наличие явственной линии идейно-эстетического размежевания между реализмом и модернизмом. А то, что «новый реализм», по мнению автора, все же ставит своей целью «раскрытие и воссоздание реальности» (мы помним, что эта «реальность»—субъективное представление художника о мире как абсурде), лишь свидетельствует о том, что понятиям «действительность» и «реальность» можно в иных случаях придать и вовсе чуждый им смысл.

Уважение к подлинной, а не «призрачной» действительности, здоровое единство объективного и субъективного, историческая конкретность, пытливое внимание к типическому, закономерному, органическая социальность мышления, обращенность к передовым идеалам и передовым силам общества — все это коренным образом отличает реализм, к каким бы формам воссоздания и «пересоздания» жизни он ни прибегал, от различных течений модернизма. И глубоко прав А. Гравина, когда, говоря о познавательной глубине и духовной действенности реалистического искусства, противопоставляет ему в этом смысле так называемый «авангард». «Может ли литературный авангард выполнить эту миссию, если он избегает типичности, лишь слегка прикасается к реальности, дробит ее, изымая своих героев из общест

менной и географической среды, а также из конкретной исторической обстановки?»

Интересно говорит об этом польская писательница З. Посмыш. Главным критерием в сложных вопросах новаторского развития художественных форм и средств она считает их соответствие цели — созданию полезных в широком смысле, познавательных и эстетических ценностей. «Внутренний монолог, ломка традиционной временной конструкции — и что там еще? А ведь все это средства из арсенала современных литературных «приемов»! Пусть эти средства служат писателям, если еще могут служить, лишь бы они не заслоняли цели! А вот выдержит ли натиск времени «новый роман», который программно отказывается от создания образа героя, сможет ли он закрепиться в сознании, в памяти читателей? Не стоит заранее строить прогнозы. Время — самый справедливый судья. Лично я придерживаюсь мнения, что расплывчатый, размазанный, исчезающий образ героя в некоторых новейших произведениях означает отход от вопросов читателей».

З. Посмыш отмечает, что современные писатели в Польше (как и в других социалистических странах) живут «в период большой творческой свободы», когда отсутствует «обязательная модель формы», и встречают понимание различные художественные индивидуальности и способы видения мира. И вполне понятен отмеченный писательницей факт, что многие художники слова ищут источники обновления формы не только в новейших образцах, но и в творчестве старых мастеров, которые и сегодня понятны и дороги читателю. «Примеров этого можно найти множество — и именно среди наиболее современных и знаменитых писателей». Свидетельство, еще и еще раз подтверждающее живительную силу традиций и бессмысленность слепых «взаимоотрицаний»,— в извечном споре «традиционалистов» и «новаторов»!

Не столь определенна позиция Д. Мику; его статья во многом показательна для некоторых современных концепций о соотношении реализма с другими методами и направлениями. Она изобилует противоречиями, и не просто логического свойства. Он автор заявляет, что еще до появления книги Р. Гароди «Реализм без берегов» он горячо отстаивал именно «безбрежный» реализм, включая в него «все наиболее значительное в художественном творчестве писателей всех народов, всех времен», то приходит к заключению, что понятие «реализм» тем же лучше было бы ограничить, к тому же так строго и узко, чтобы в него входил, по существу, лишь реализм «второй половины XIX века». То, пренебрегая явной опасностью эклектизма, он предлагает «включить» в современную социалистическую литературу «самые разнообразные» направления — «от классически реалистических до экспрессионизма и сюрреализма», то тут же констатирует, что классический реализм — от Бальзака до Толстого и Достоевского — «изжил себя» (из чего, кстати, явствует, что он не такой уж эклектик, поскольку его «разнообразие» — это, так сказать, разнообразие минус реализм). То он ратует за педантически точное разграничение направлений, течений, стилей, то тут же весьма категорически заявляет, что «искусство несовместимо с «методом», с нормированием, с руководством» (тогда к чему все споры и все попытки научно осмыслить проблему методов и направлений в искусстве?).

Что и говорить, вопросы, ставшие предметом раздумий Д. Мику, таят в себе трудности, и не на все из них уже дан достаточно ясный ответ. Но нам кажется, что решению этих вопросов меньше всего может способствовать стремление умалить роль реализма и растворить его в разных пестрых течениях и теченьицах. На наш взгляд, Д. Мику кое-что явно упрощает. Например, когда смешивает воедино два разных вопроса, давая на них одинаково отрицательный ответ. Первый из них: является ли реализм универсальным «критерием оценки качества художественных произведений», независимо от того, в духе какого метода, направления или школы они созданы? Вместе с Д. Мику можно твердо ответить: нет, не является — времена недолгого цветения вульгарной теории «реализм-антиреализм», укладывавшей в эту плоскую схему всю историю литературы и искусства от Гомера и Фидия до наших дней, прошли, будем надеяться, безвозвратно. Да, образ Данко — великий образ, хотя и не реалистический (правда, о романтизме в его определенных течениях, шедшем нередко «рука об руку» с реализмом и сохранившем до сих пор действенную силу, должен быть вообще особый разговор). Да, «Герника» Пикассо — сильное, тревожащее и мучающее зрителя произведение, хотя к реализму отнести его невозможно. Да, Велемир Хлебников не был поэтом-реалистом, но это не мешает нам ценить своеобразное художественное обаяние его лучших стихов и поэм.

Но вот другой вопрос: можно ли считать реализм наиболее плодотворным среди других ныне существующих направлений? Д. Мику и на него отвечает отрицательно (даже резко отрицательно: ведь, например, пьесы Беккета — «величайшие», как он полагает, произведения современного искусства — вовсе не принадлежат к реализму). Мы позволим себе с ним не согласиться в оценке современного реализма. Людям материалистического мировоззрения, людям, стремящимся «видеть все так, как оно есть, для того чтобы изменять то, что есть» (как размышлял Левинсон из фадеевского «Разгрома»), незачем скрывать своих симпатий, своей глубокой приверженности к реализму в искусстве. Не отождествляя реализм с правдой искусства вообще, марксистско-ленинская эстетика вместе с тем утверждает, что именно реалистический метод позволяет добыть наиболее достоверное и глубокое художественное знание о мире и человеке во

всем богатстве и многообразии их взаимосвязей. «Единственный метод? Конечно нет. Однако он один открывает самую сущность действительности, ее взаимные связи,— пишет Р. Зогович.— ...Он всегда в движении, хотя и не в прямолинейном, но в движении от низших форм к высшим, ко все большему разнообразию художественных средств, жанров и стилей. То есть он сам по себе являет собой движение, антишаблон». И если модернизм присваивает себе некую монополию на изображение духовного, субъективного мира личности, то надо сказать, что о подлинных глубинах человеческого сознания и психической жизни, глубинах, и восхищающих и тревожащих, мы до сих пор знаем не по Беккету и Ионеско и даже не по Кафке, а главным образом по Толстому, Достоевскому, Горькому, Шолохову, Манну, Хемингуэю, Фолкнеру.

Короче говоря, нам представляются глубоко несостоятельными попытки и прямо умалить роль реализма в современной литературе, объявив его одной из бесчисленных мелких «школ», и превратить его в «реализм без берегов», понятие настолько широкое и аморфное, что из него улетучиваются самые существенные черты и признаки подлинного реализма.

Р. Зогович, выступая против вольных или невольных попыток «интегрировать» реализм с упадочными течениями современной буржуазной литературы и искусства, с полным основанием напоминает о ленинском учении о двух культурах в каждой национальной культуре. Очень актуальна и приведенная автором мысль Ф. Энгельса, предвидевшего в искусстве будущего слияние «большой идейной глубины, осознанного исторического смысла... с шекспировской живостью и действенностью»,— кому, как не представителям современного социалистического искусства, взять эти слова как знамя в борьбе против идеологических мистификаций и художественной «бледной немочи» декаданса! Стоит привести также и резонные вопросы, с которыми Р. Зогович обращается к некоторым своим оппонентам:

«Рабочему классу необходимы объективное познание жизни и мира, вера в собственные способности, в разумность усилий человека изменить общество, природу и себя самого. Как же могут некоторые участники коммунистического движения даже в социалистических странах вводить в миропонимание рабочего класса направления, которые являются последствием и выражением именно незаинтересованности буржуазии в объективном познании мира, ее панического страха перед истиной, ее потребности убить в человеке веру в ценность жизни и всяческих усилий? Как это обществу социалистической цивилизации, которая только зарождается, могут быть рекомендованы, даже навязаны, и при этом в качестве высших образцов и «авангардных норм», художественные направления и результаты художественного творчества, которые являются выражением духовного кризиса и плодами всеобщей паники капиталистического общества, всей умирающей собственнической цивилизации?»

Весьма недвусмысленно говорит о «реализме без берегов» и Л. Стоянов, считающий эту концепцию бесперспективной, потому что она «может объединить все и не достичь ничего». Х. А. Портуондо современный реализм, по крайней мере, в идеале, представляется «некой вершиной всех стилей, которая соответствует историческому этапу их классического равновесия» и подразумевает «совершенное отражение реальности в искусстве». Очевидно, речь идет о естественном художественном многообразии реализма, который в XX веке еще более обогатил палитру своих стилей, жанров и форм. Близкий смысл, нам кажется, имеют и замечания А. Лану и А. Карпентьера о том, что надо говорить о «различных видах реализма», о множестве его оттенков.

Большое искусство жизненной правды, самостоятельно открываемой художником, искусство, в котором воедино сплавлены смелая, ищущая мысль, богатство эмоций, роскошь воображения,— подлинный реализм далек как небо от земли от всяческих подделок под него, какими бы намерениями они ни диктовались. Вдохновенно говорят о чуде искусства Эва и Эрвин Штриттматтер — без этого «чуда» нет реалистического произведения. И так же правы они, осуждая псевдореализм, когда «нагромождается реквизит «всамделишной» жизни, все, казалось бы, соответствует, а на деле — все неправда. Недостает волшебства, приводящего все в движение». В современной культуре Запада приходится сталкиваться с особенно отвратительными видами этого псевдореализма — с литературой, рассчитанной на «массового потребителя», которая часто, используя всякие «реалистические» формы и приемы, служит делу духовного отупления или развращения читателя. Но разве холодно-иллюстративный, или ремесленнически-«занимательный», или безыдейно-отображательский «реализмы» окончательно изжиты из литературной практики и в социалистических странах, в том числе и в советской литературе? Ясное понимание вреда, который приносит художественно хилый, серый, плоский «реализм», шаблонизирующий мысль читателя и прививающий ему дурные вкусы, так же важно, как и четкое осознание опасности формалистических влияний.

Литература, вдохновленная передовыми идеалами, дает обществу, его здоровым силам, по точному выражению Г. Бёля, «связующее слово». Кровная связь реалистического искусства с высокой идейностью и гражданственностью, с большой социальной проблематикой, с борьбой за возвышение человека ясно осознается почти всеми участниками разговора. А. Маршалл, например, решительно отказываясь подчиняться «диктатуре ярлыков» в стилевом отношении, видит образец подлинного понимания писательской миссии в великом социалистическом реалисте Максиме Горьком: «Писателем может стать только тот, кто любит людей, верит в них, думает о их

будущем и не стремится их принизить. Таким писателем был Горький». По выразительному определению А. Несина, реалистическое произведение — это такое произведение, которое изменяет человека в сторону добра и совершенства (причем, добавляет автор, изменяет двояким образом — ломая «старого человека» и помогая на его месте возродиться новому). О неразрывной связи реалистического метода с гуманистическими устремлениями убежденно говорит А. Лану: «Полнота реализма измеряется той же меркой, что и полнота человека. Он — гуманизм. Он — сам человек». И это не только лирические признания и общие декларации. Огромное большинство писателей, принявших участие в разговоре, с тревогой и гневом осуждают «расчеловечивание» человека, которому посвящает свои усилия откровенно декадентская и бульварная литература, сделавшая своим главным предметом изображение жестокости, разнузданного секса, всяческих низменных сторон жизни, сеющая тотальный пессимизм и безверие или же мерзкий эгоистический «оптимизм» завтрашних насильников и убийц.

Реализм — это, в конечном счете, осознанная гражданская ответственность писателя, общественная активность его позиции. «Мир ныне таков, что в нем нет посторонних»,— пишет Памела Джонсон.

Стали уже ходячей фразой рассуждения о сложности нашего века, о бурлящих в нем противоречиях, о джинах, которых порой выпускают из бутылки и не могут загнать обратно... Сознание этой сложности, вселяющей в умы иных художников сомнения и тревоги, так или иначе сказывается — не может не сказываться — и при обсуждении больших проблем современной литературы. Именно потому особенно ценны и знаменательны мысли тех писателей, которые в глубоком философском смысле сопрягают понятия реализма с понятием мужества, исторической активности. Хорошо сказал об этом М. Бенюк: сегодня нужен **мужественный реализм**, реализм борьбы и надежды. Писатель как нельзя более уместно вспоминает о лесе из «Освобожденного Иерусалима» Торквато Тассо: о нем известно, что он населен чудовищами, но достаточно подойти ближе, как чудовища рассеиваются и появляются деревья...

Ясно, что исчерпывающий ответ на вопрос о том, каковы новые черты современного реализма, реализма середины XX века, лежит во многих плоскостях, в том числе и таких, которые далеко выходят за пределы чисто эстетических категорий. Как и все в искусстве, развитие реалистического метода определяется, в конечном счете, развитием общества, борьбой классов и социальных систем, новыми общественными отношениями и новым типом человека, складывающимся на этой почве. Реализм, как и всякий художественный метод,— прежде всего, концепция действительности, и наиболее важную, наиболее существенную новизну реализму XX века придала именно социалистическая идеология, атмосфера коренных революционных преобразований, которые произошли и происходят в жизни многих народов. Как заметил в свое время М. Горький, новый тип реализма возникает на основе «фактов социалистического опыта», а этот опыт сегодня прочно вошел в жизнь, в мышление, в этику и эстетику миллионов людей — прежде всего в странах социализма, но не только в этих странах, поскольку борьба против социального и национального гнета в капиталистическом мире приобщает к идеям социализма передовые отряды трудящихся и близких к ним, наиболее зорких и чутких художников. Нельзя поэтому не присоединиться к мыслям М. Бенюка, видящего «первооснову» новаторского развития реализма именно в огромных социально-исторических переменах, происходящих в нынешнем мире, начиная с 1917 года.

Нельзя не отметить здесь и то, какое большое место занял в ответах на анкету вопрос о социалистическом реализме. Некоторые из отвечающих считают своим долгом отметить свое несогласие с ним, многие, наоборот, отстаивают его, исходя из собственного опыта и из опыта целых литератур, ставших на новый путь развития. В целом перед нами еще одно доказательство того, что само понятие социалистического реализма, столько раз изничтожавшегося его противниками, сегодня прочно вошло в мировую литературную мысль, вызывает живейший интерес далеко за пределами социалистического лагеря и играет немалую роль в современных идеологических и эстетических спорах.

Возникновение социалистического реализма, который познает и изображает жизнь в ее революционном развитии, который поставил в новую, диалектическую взаимосвязь понятие социально-исторической детерминированности человека и его способности активно воздействовать на исторические обстоятельства,— возникновение этой новой формации реализма оказало и оказывает глубокое влияние на художественное мышление прогрессивных писателей мира. Как хорошо сказал Ю. Идрис, новый исторический этап — «опыт изменения мира так, чтобы он подходил человеку, и изменения человека так, чтобы он подходил новому миру» — не может не учитываться теперь самыми различными художниками, тяготеющими к реалистическому искусству.

Стремясь осмыслить изменения, происходящие в современном реализме, ряд авторов обращает внимание на то, как отражает литература сложнейшие взаимоотношения человека и стремительно движущегося исторического потока, к которому он принадлежит и в «формировании» которого принимает, со своей стороны, то или иное участие. По мнению И. Гаека, например, главное, что отличает современный реализм (автор подчеркивает, что он имеет в виду реализм социалистической литературы и

искусства) от наследия классиков XIX века — вернее, от некоторых старых концепций реалистического искусства,— это перенесение акцента на человека как на творца истории, и—соответственно—воплощение в искусстве «всех проявлений человеческой активности». Для нашего читателя эта мысль близка и понятна, ее не раз высказывали основоположники советской литературы, в частности, М. Горький. Правда, И. Гаек формулирует ее, мы бы сказали, чересчур броско (не «тотальность эпохи», а «тотальность человека»), несколько рискованно оставляя в тени вопрос о всестороннем изображении реальной исторической почвы, на которой только и возможна любая деятельность человека «как существа, которое создает общественную действительность». И, кроме того, если важной задачей социалистической литературы является критика всего, что мешает полному осуществлению человеческих возможностей, то ведь и утверждение «человечных обстоятельств» есть, как известно, непременное условие действенной борьбы искусства за возвышение и победу человека. Думается, впрочем, что этим моментом не склонен пренебрегать и И. Гаек.

Иной и, на первый взгляд, противоположный аспект интересует Ю. Идриса, также размышляющего о новых явлениях в современном реалистическом искусстве, в том числе и в литературе социалистического реализма (и даже преимущественно в ней). Если отвлечься от слишком прямолинейного, на наш взгляд, деления социалистического реализма на «новый» и «старый» («старый» социалистический реализм, по мнению автора, поверхностно-романтически преувеличивал возможности быстрого и «легкого» изменения человека — это «Тихий Дон»-то? «Разгром»? «Вор»? и «Дорога на океан»?), если отвлечься от этого, то со многими соображениями Ю. Идриса нельзя не согласиться. Главная мысль его выступления сводится к тому, что писатели социалистических стран, успешно освобождаясь от некоторых влияний догматической и субъективистской эстетики, все более углубленно исследуют сегодня всю сложность современного мира и современного человека, всю «ухватимую» цепь реальных взаимозависимостей и взаимосвязей между личностью и обществом. Да, если случалось так, что временами в творчестве какой-то части писателей человек оказывался как бы вознесенным, приподнятым над реальными обстоятельствами, то есть недостаточно «детерминированным» и, следовательно, его изображение — недостаточно жизненным (что вовсе не характерно для всей литературы социалистического реализма на каком-либо из этапов ее развития), то именно стремление реалистически обосновать все движения внешней и внутренней биографии героя ныне стало предметом особого внимания писателей, обращающихся к изображению мира социализма. В этом смысле можно принять мысль Ю. Идриса об углублении «научного» характера социалистического реализма.

Исследуя сложное, подчас драматически противоречивое взаимодействие характеров и обстоятельств, литература социалистического реализма делает это во имя всестороннего повышения исторической активности человеческой личности — всякая созерцательность несовместима с самим духом этой литературы. И поэтому пристальное внимание к сложному многообразию условий и обстоятельств, формирующих человека, стремление аналитически разобраться в «конкретной социологии» окружающего мира — да разве только социологии! — не ослабляет и не может ослабить у зрелого художника тот активный, волевой гражданственный пафос, который всегда был свойствен социалистическому искусству. «Человек творимый» в нем одновременно выступает и как «человек творящий» — в этом коренная особенность героя всей новой исторической эпохи.

Многие произведения многонациональной советской литературы последнего периода наглядно демонстрируют, с одной стороны, трезвый и строгий реалистический анализ объективной действительности, вкус к которому явно усилился,— и стремление, с другой стороны, выявить и утвердить возросшую роль личности, степень ее готовности к творческому и общественному самоосуществлению, высокий уровень ее нравственного потенциала. Хорошо известные слова из поэмы А. Твардовского «Мы стали полностью в ответе за все на свете — до конца» характеризуют не только примечательную черту современного общественного самосознания, но и «героическое настроение» искусства советского народа. Концепция, подчеркивающая закономерно увеличившуюся ответственность человека перед обществом и общества перед человеком, ясно читается в лучших книгах, снискавших читательское признание,— будь то «Иду на грозу» Д. Гранина, или «Солдатами не рождаются» К. Симонова, или «Прощай, Гульсары!» Ч. Айтматова, или «Дикий мед» Л. Первомайского, или «Лестница в небо» М. Слуцкиса, или «Трудная книга» Г. Медынского, или ряд других, не названных здесь произведений. Я сказал о проблематике, но дело не только в ней, но и в реально-художественной, гуманистической наполненности образов, создаваемых советской литературой, в повышенном внимании современных писателей к нравственной, интеллектуальной, эмоциональной, психологической жизни человека. Литература наших дней принимает реальное и многостороннее участие в осуществлении той миссии, которую И. Гаек справедливо назвал борьбой «за создание богатого и многообразного мира человеческих ценностей».

Все это — сегодняшний день литературы социалистического реализма, творимой как в Советском Союзе, так и в других социалистических странах. К оценке его можно подходить по-разному; необходимы только объективность и непредубежденность. Суждение, отдающее дурным шаблоном или же элементарной неинформированностью, вряд ли поможет вдумчивому обсуждению про-

блем современного реалистического искусства. Это можно отнести, прежде всего, к беглому, но решительному отрицанию социалистического реализма, которое высказал, например, Б. Уолл, ограничившийся, по существу, лишь ссылкой на свою солидарность с одной из статей А. Моравиа. При этом Б. Уолл считает, что изменения, вносимые в человеческую жизнь «веком техники», куда важнее для будущего, чем «любая революция чисто социального порядка». Мысль хотя и не новая, но явно далекая от истины. Вряд ли, придерживаясь таких воззрений, можно многое понять в теории социалистического реализма, утверждающей необходимость познания и изображения жизни в ее революционном развитии. Но ведь кроме теории есть еще непосредственный язык искусства, есть художественная реальность, способная эстетически убедить (или же оставить равнодушным) человека, который к ней обращается. Однако о конкретном опыте литературы социалистического реализма, которую он критикует, Б. Уолл не говорит ни слова. Впрочем, в своем понимании реализма он вообще далек от намерения пользоваться какими-либо историческими, идейными и эстетическими критериями: наряду с Шекспиром и Достоевским к реалистам он причисляет на равных правах и Гомера, и Джойса, и Т. С. Элиота...

Д. Моррисон убедительно говорит об основах основ реалистического искусства — правдивости и ответственности писателя перед обществом. Когда же он обращается к советской литературе, в его рассуждениях явно ощущается прежде всего недостаток информации и зависимость от широко распространенных на Западе ходячих суждений и предрассудков. Ему представляется, что социалистический реализм требует от писателя лишь иллюстрировать определенные истины, что он предвзят и однобок в подходе к нравственной жизни человека, что в угоду методу писатели вынуждены изображение действительности такой, как она есть, подменять доктринерством, творчеством по подсказке, даже приказу. При этом странным образом Д. Моррисон очень одобряет («истинные реалисты»!) и Шолохова, и таких советских писателей, как Симонов, Панова, Бондарев, Гранин,— но ведь не только критика, но и эти авторы сами причисляют себя к литературе социалистического реализма! А относительно греха иллюстративности и вольного или невольного упростительства, то никто более строго не осудил его, чем советская критика, обстоятельно раскрывшая также и противоречащую социалистической эстетике природу подобных явлений. Судить же любые принципы по их искажениям и вульгаризации, оценивать любую литературу не по книгам подлинно представительным, а по произведениям малоталантливым и поверхностным — дело заведомо ненадежное.

Нельзя согласиться и с предлагаемой Д. Моррисоном решительной заменой конфликтов объективных, то есть имеющих, в конечном счете, совершенно зримую социально-историческую почву, конфликтами субъективно-психологическими («конфликт человека с самим собой»). Но здесь, несмотря на неприемлемость общего вывода, имеется, на наш взгляд, повод для раздумий и споров, а именно — о реальном идейно-психологическом содержании таких «внутренних» конфликтов и об их месте в социалистической литературе нашего времени (на эту тему, помнится, интересно говорил Д. Линдсей в своем выступлении на III съезде советских писателей). Но для верного освещения этой проблемы нужно обратиться к конкретным произведениям, здесь не помогут умозрительные схемы.

Обсуждение проблем реализма на страницах «Иностранной литературы», естественно, было заочным, и его участники не могли столковаться между собой о терминах (включая самый главный — реализм), в понимании которых иной раз обнаруживаются немалые разногласия. Впрочем, часто ли достигается это и в непосредственном разговоре? Но дело в конце концов не в педантическом единообразии трактовки тех или иных терминов. Конечно, теоретическая точность в вопросах эстетики важна, как и в любых иных. Однако решается ведь все в живом творчестве писателя, а жизнь, реальная общественная практика, была и будет могучим союзником и питательным источником художественного реализма. Без учета многообразия нынешнего реализма, многообразия впитываемых им традиций, национальных особенностей, современных социально-психологических сдвигов и научных открытий любая теоретическая формула его будет неминуемо обедненной и неполной. Можно было бы поспорить еще с некоторыми утверждениями, содержащимися в ответах (например, с тем, как говорит Г. Бёль о свободе творчества, с оценкой Д. Мику отдельных явлений румынской литературы, с пониманием Ю. Идрисом «духа времени» и др.), но отметим сейчас главное — при всем разнообразии оттенков во мнениях общий итог дискуссии — безусловное преобладание той концепции, которая исходит из неувядающей силы и огромных художественных возможностей правдивого, исполненного веры в человека реалистического искусства. И если вспомнить, как много говорится о мнимой устарелости реализма, о призраке его неминуемой смерти, этот итог становится еще более красноречивым и значительным. Искусство, кровно заинтересованное в глубоком и всестороннем познании мира и человека, не может не привлекать к себе самые широкие круги художников уже потому, что оно — правда, а правда — неизменное оружие в борьбе за торжество идеалов справедливости и гуманизма, за то, чтобы мир и человек стали лучше и счастливее.

Знаменательному юбилею советского народа редакция посвящает рубрику под названием «Летопись нового мира». На протяжении нынешнего года мы предполагаем опубликовать в этом разделе главы из ряда книг зарубежных авторов, в разные годы побывавших в Советской стране и запечатлевших этапы ее славного пути...

Начинает рубрику публикация из книги английского журналиста Александра Верта. Тема этой книги — подвиг советского народа в Великой Отечественной войне.

Всю войну и первые послевоенные годы Верт находился в СССР как корреспондент газеты «Санди таймс» и радиокомпании Би-би-си.

Появление книги А. Верта было с большим интересом встречено за рубежом. Она вышла двумя изданиями — в США в 1964 и 1965 годах и почти одновременно была опубликована в Англии, Франции, ФРГ и ряде других стран. Рецензия на эту книгу, помещенная журналом «Нью-Йорк таймс бук ревью», так определяет ее содержание: «...Верт попытался показать, как война пришла в Россию и благодаря каким факторам в конечном счете не вермахт оказался в Кремле, а Красная Армия очутилась в Берлине».

Разумеется, не во всем концепция Александра Верта совпадает с положениями советской исторической науки. Однако это не меняет общего значения книги — вдумчивого свидетельства наблюдателя, дружественно расположенного к нашей стране, которому понятна решимость нашего народа предотвратить возрождение германского милитаризма. Говоря о недоверии советских людей к Германии, Верт, разумеется, имеет в виду милитаристскую Германию, воплощенную сегодня в образе реваншистов из ФРГ.

Советские читатели уже знакомы по нескольким публикациям в нашей печати с отрывками из этой книги, выпускаемой в ближайшее время на русском языке издательством «Прогресс». Мы печатаем предисловие А. Верта к советскому изданию книги.

АЛЕКСАНДР ВЕРТ

РОССИЯ В ВОЙНЕ

Всю Великую Отечественную войну советского народа я провел в Советской стране, поэтому, когда мне исполнилось шестьдесят лет, я острее, чем когда-либо, почувствовал, что должен написать эту книгу — прежде всего как долг и выражение признательности советскому народу. Именно советский народ вынес на себе основную тяжесть второй мировой войны; именно он потерял в ней 20 миллионов людей. Надо напомнить об этом Западу — ведь у многих там память коротка. К их числу относится, например, президент США Джонсон: в своей речи по случаю 20-й годовщины победы союзников над Германией он даже не упомянул о жертвах, которые принес для общей победы Советский Союз. А если говорить только о человеческих жертвах, то Америка потеряла во второй мировой войне в сорок раз меньше людей, чем Советский Союз.

У его предшественника, Кеннеди, память была лучше. 10 июня 1963 г. он сказал:

«Во всей истории войн еще не было страны, которая выстрадала бы больше, чем Россия во время второй мировой войны.

Печатается в сокращении.

Не меньше двадцати миллионов было убито. Многие миллионы домов и крестьянских дворов были сожжены или разграблены. Третья часть (европейской) территории страны, включая почти две трети ее основных промышленных районов, была превращена в пустыню».

Нечего и говорить, что столь тяжкие потери оставили глубокий след в жизни Советского Союза и именно они, нравится это западным политикам или нет, определяли курс внешней политики Советского правительства после войны. Недоверие советских людей к Германии и к любой стране, которая помогает ей снова стать великой военной державой, остается очень сильным. Ведь в СССР нет, пожалуй, ни одной семьи, которой фашистское нашествие не коснулось бы самым непосредственным и чаще всего самым трагическим образом. Память о 1941—1945 гг. и теперь свежа в каждом советском человеке старшего возраста, а молодому поколению постоянно рассказывают и напоминают в книгах, кинофильмах, радио- и телевизионных передачах о том, что выстрадала страна и какую борьбу пришлось ей вынести для того, чтобы сначала выстоять, а потом завоевать победу.

Было бы пустым занятием строить сейчас догадки, что произошло бы с СССР, Англией и США в 1941—1945 гг., если бы они не объединились в своей решимости сокрушить нацистскую Германию. Может быть, это и был «странный союз» (а именно так и назвал его в конце войны генерал Джон Р. Дин, возглавлявший военную миссию США в Москве), может быть, после того как дело было сделано, он и должен был неизбежно распасться, несмотря на официальный договор о двадцатилетнем союзе, который СССР и Англия подписали в 1942 г., и другие благие решения военного времени. Но что бы члены «Общества Джона Берча» и другие политические психопаты ни болтали сегодня насчет того, что мы-де сражались «не на той стороне», мы до сих пор должны говорить: «Слава тебе, господи, за этот «странный союз».

Еще одна причина, по которой я взялся за эту книгу, заключается в том, что молодое поколение на Западе очень мало знает о тех днях. Французское радио недавно провело опрос среди некоторой части молодежи на тему о второй мировой войне, и довольно многие ответили, например «Гитлер? Не знаю, кто это». Когда несколько лет назад я преподавал в одном американском университете, то убедился, что многие студенты-первокурсники имеют лишь очень смутное представление о Гитлере, Сталине и о Черчилле. Но имеет ли даже большинство взрослого населения на Западе достаточно ясное представление о том, как, какой ценой была достигнута победа над нацистской Германией? Естественно, что англичане интересуются главным образом военными усилиями Англии, американцы — военными усилиями Соединенных Штатов, и интерес этот поддерживается в них множеством выходящих в свет мемуаров английских и американских генералов. Но в целом авторы этих мемуаров склонны затушевывать тот важный факт, что не кто иной, как русские, говоря словами Черчилля, сказанными в 1944 г., «выпотрошили германскую армию». В силу исторических и географических причин случилось так, что действительно именно Советский Союз вынес самое тяжелое бремя в войне против нацистской Германии и что именно благодаря его борьбе были спасены миллионы жизней англичан и американцев. И во время войны как Америка, так и Англия отчетливо это сознавали. «Англия охвачена волной национальной признательности (к СССР)»,— говорил в 1942 г. английский историк Бернард Пэрс. Аналогичные чувства открыто высказывались и в более официальных кругах. Так, 21 июня 1942 г. Эрнест Бевин заявил:

«Вся помощь, какую мы смогли оказать, невелика, если сравнить ее с титаническими усилиями советского народа. Наши внуки, сидя за своими учебниками истории, будут думать о прошлом, полные восхищения и благодарности перед героизмом великого русского народа». Теперь я сомневаюсь, что даже дети современников Бевина, не говоря уже о внуках, испытывают подобные чувства. И я надеюсь, что этот мой «учебник истории» напомнит им о некоторых вещах, которые имел в виду Бевин.

Надо добавить, разумеется, что советские люди во время войны прекрасно отдавали себе отчет в том, что члены Большой тройки несут «неравные жертвы». «Малый второй фронт» (высадка в Северной Африке) был открыт только в конце 1942 г., а «большой второй фронт» — лишь летом 1944 г. Эти, с примесью холодка, чувства, которые народные массы СССР испытывали во время войны по отношению к союзникам, являются одной из тем, к которым я не раз буду возвращаться в своей книге.

Я старался рассматривать все важнейшие военные события на советско-германском фронте в их общем значении как для СССР, так и для всей международной обстановки, потому что ход войны очень заметно влиял не только на моральное состояние Советской страны, но и на межсоюзнические отношения. Не случайно, например, мы наблюдали активизацию советской внешней политики после Сталинграда, так же как не

случаен тот факт, что Тегеранская конференция состоялась не до, а после советской победы под Курском, которая с военной точки зрения была настоящим поворотным пунктом в войне — даже в большей степени, чем битва под Сталинградом, которая, по словам немецкого историка Вальтера Герлица, имела, скорее, характер «политико-психологического поворотного пункта». За исключением лишь первых месяцев 1942 г., я находился в Советском Союзе всю войну и три года после войны, и что меня интересовало больше всего, так это поведение, реакция советского народа перед лицом как поражения, так и победы. В страшные дни 1941—1942 гг. и на протяжении следующих двух с половиной лет тяжело и дорого доставшихся побед меня никогда не покидало ощущение, что то была подлинно народная война. Сначала это была война народа, поднявшегося против намного превосходящих сил врага (а в 1941, так же как отчасти и в 1942 г., немцы обладали страшной ударной силой), чтобы отстоять свою родину и собственное существование, а потом — война неагрессивного в душе народа, но теперь разъяренного и решившего доказать врагу свое военное превосходство. Сознание того, что это была их собственная война, было, в общем, одинаково сильно как у гражданского населения, так и у солдат. Несмотря на то, что жизненные условия были очень тяжелы в течение всей войны, а в некоторые периоды — поистине ужасны, люди работали так, как никогда прежде им не приходилось работать: работали иной раз до того, что падали и умирали. Несомненно, и в армии, и среди гражданского населения бывали моменты паники и деморализации — я расскажу и об этом. Но тем не менее дух подлинной патриотической преданности и самопожертвования, проявленный советским народом за эти четыре года, имеет мало подобных примеров в человеческой истории, а история осады Ленинграда (и в меньшем масштабе Севастополя) является вообще единственной в своем роде.

На Западе некоторые спрашивали у меня, как Россия могла вести и выиграть эту титаническую народную войну в условиях жесткой власти Сталина? Но народ сражался, и он сражался прежде всего, чтобы защитить «самого себя», то есть свою Родину; и у Сталина было достаточно здравого смысла, чтобы с самого начала понять, что это прежде всего война отечественная. В черные дни 1941 г. он не только прямо провозгласил, что народ сражается в этой войне за Россию и за свои национальные традиции, пробудив тем самым в советских людях чувство национальной гордости и чувство задетого национального самолюбия, но и сумел добиться того, что его признали национальным вождем. Было бы, разумеется, слишком большим упрощением считать (как считают некоторые), что это была «национальная» или даже «националистическая» война и ничего больше. Нет, в этой национальной, народной войне советские люди сражались также за Советскую власть.

Я достаточно жил на свете, чтобы помнить первую мировую войну: там, с одной стороны, тоже можно было видеть патриотизм солдат, но царский режим, с другой стороны, был и в экономическом, и в организационном отношении совершенно бессилен и не мог одержать победу, хотя тогдашняя германская армия, сражавшаяся на двух огромной протяженности фронтах (в России и во Франции), представляла для России куда меньшую опасность, чем гитлеровские захватчики, бросившие в 1941 г. на Восток всю свою военную мощь и фактически державшие ее там вплоть до 1944 г. Промышленность в России 1914—1917 гг. была не в состоянии снабдить армию всем необходимым, и русские войска несли несравненно более крупные людские потери, чем германские.

Конечно, и Красная Армия в 1941 г. (а иной раз и в 1942 г.) ощущала кое в чем страшные нехватки, но советский строй за период, прошедший с 1928 г., создал мощную промышленную базу для ведения войны, и те две с половиной пятилетки, которые СССР успешно выполнил, позволили ему организовать оборону против чужеземного захватчика. Правда, огромной важности промышленные районы в европейской части Советского Союза в 1941 г. были оккупированы немцами, но опять-таки советский строй, Советское государство, партия совершили в этих условиях великолепнейший организаторский подвиг, сумев в разгар германского вторжения эвакуировать значительную часть промышленности на Восток. Без мощной промышленной базы на Востоке и без этой эвакуации промышленности СССР потерпел бы поражение. Очень характерно также то, что, хотя Германия и подвластные ей страны производили во время войны больше угля, стали и других важнейших материалов, чем Советский Союз, советский строй, советская организация обеспечивали лучшее использование имеющихся ресурсов, чем это было у немцев.

В отношении к немцам и к каждому из них в отдельности у советских воинов не было никакой национальной, ни тем более «расовой» ненависти. Даже в Сталинграде, помню, один сержант так отозвался о двух немецких военнопленных, находившихся у него под охраной: «Да что, люди как люди...» Вспоминаю также, с каким спокойным достоинством толпы москвичей смотрели в июле 1944 г. на проходивших по улицам города пленных немцев — их было 57 тысяч...

Больше двадцати лет прошло со дня окончания войны, и я теперь, пожалуй,

единственный здравствующий поныне представитель Запада, который пробыл в СССР все военные годы и который почти каждый день записывал в свой дневник обо всем, что видел и слышал. Среди иностранных корреспондентов я, можно сказать, находился в привилегированном положении; я родился в Ленинграде и говорю по-русски, как на родном языке. Поэтому я мог свободно и неофициально беседовать с тысячами людей, военных и гражданских. Я находился в особом положении еще и потому, что был не только корреспондентом крупной английской газеты «Санди таймс», но, что самое главное, корреспондентом Би-би-си, которая каждое воскресенье передавала мои «Русские комментарии», собиравшие у приемников рекордное число — 12 или 13 миллионов слушателей в Англии, не считая еще многих миллионов в оккупированной Европе и в других странах; я делал все, что было в моих силах, чтобы рассказать Западу правду о военных усилиях советского народа *.

Я был рад оказать эту услугу советскому народу, и советские власти ценили мою работу, а потому создавали исключительно хорошие условия, чтобы я мог посещать фронтовые районы, освобожденные территории и встречаться как можно с большим числом людей. Бывало, что организовывались поездки небольшими группами по пять-шесть корреспондентов, в которых, естественно, принимал участие и я, но я часто ездил и один. В числе таких поездок, самых достопамятных для меня, было мое пребывание в Ленинграде во время блокады, поездка в Воронеж сразу после его освобождения, неделя, которую я провел на Украине в марте 1944 г. с войсками 2-го Украинского фронта, которыми командовал Маршал Советского Союза И. С. Конев. Я был на Смоленском фронте в сентябре 1941 г., в районе Сталинграда в январе и в самом Сталинграде в феврале 1943 г., потом в Харькове (дважды в 1943 г.), Орле (в августе 1943 г.), в Киеве, Одессе и Севастополе после их освобождения в 1944 г., в Румынии и Польше — тоже в 1944 г. и, наконец, снова в Польше и в Германии в 1945 г. Я не говорю уже о поездках в тыловые районы — в Тулу, Горький и другие города.

Во время этих поездок я имел возможность встречаться со многими знаменитыми генералами, в том числе с генералом В. Д. Соколовским в Вязьме трагической осенью 1941 г., с генералами В. И. Чуйковым и Р. Я. Малиновским в районе Сталинграда, с К. К. Рокоссовским в Польше и, наконец, с маршалом Г. К. Жуковым в Берлине.

И потом — жить в Москве все эти военные годы было тоже исключительно интересно. Как на фронте, так и в Москве я пользовался каждой возможностью, чтобы поговорить с людьми. Так, разговаривая с многими солдатами, рабочими, интеллигентами, я мог видеть, как менялись настроения в народе от некоторой растерянности 1941—1942 гг. к оптимизму и ликованию 1943 г. и дальше, несмотря на многочисленные личные потери, лишения и огромные трудности, которые испытывало большинство населения. В Москве я познакомился со многими представителями советской интеллигенции — с писателями К. М. Симоновым, А. А. Сурковым, И. Г. Эренбургом, М. А. Шолоховым, А. А. Фадеевым, Б. Л. Пастернаком; композиторами С. С. Прокофьевым и Д. Д. Шостаковичем; знаменитыми кинорежиссерами В. И. Пудовкиным, С. М. Эйзенштейном, А. П. Довженко и многими другими. Некоторые из них уже умерли, но с иными я продолжаю поддерживать теплые дружеские отношения, в частности, с К. М. Симоновым, А. А. Сурковым и Б. Н. Полевым. Естественно, во время войны я имел также возможность встречаться с высшими руководителями партии и правительства, а в сентябре 1946 г. состоялось мое известное интервью со Сталиным.

Все эти контакты позволили мне составить широкую картину советского общественного мнения — в Москве, на фронте, в только что освобожденных районах,— и я думаю, мне не нужно извиняться за то, что я уделил такую большую часть этой книги моим личным наблюдениям за жизнью и настроениями в Советском Союзе в годы войны.

Я довольно подробно касаюсь также дипломатической истории войны, так как некоторые эпизоды ее я имел возможность наблюдать непосредственно. Отношение дипломатов к Советскому Союзу было самое различное. Даже в американском посольстве были люди, которые симпатизировали Советскому Союзу (генерал Филипп Фэймонвил, например), и всегда, даже в самые трудные моменты верили в конечную победу Красной Армии, но были и «пессимисты», только и занимавшиеся предсказанием всяких «катастроф». Так, один американский военный «эксперт» (генерал Микела) расценил окружение 6-й германской армии под Сталинградом как... «гениальный стратегический ход» немцев!

Моя книга уже вышла во многих странах и на многих языках. Впервые опубликованная в Англии и США в конце 1964 г., она потом была издана во Франции, Западной Германии, Японии, Италии, Голландии, Мексике, Бразилии и других странах. Всюду, включая ГДР, она встретила горячий прием у читате-

* Характерно, что Би-би-си прекратила мои комментарии из Москвы немедленно после капитуляции Германии в мае 1945 г.

лей. Только в Западной Германии комментарии были кисло-сладкие, а некоторые неонацисты пришли в настоящую ярость от того, что я якобы возвел «клевету» и «ложь» на вермахт.

Но я особенно счастлив тем, что моя книга — горячая и искренняя дань признательности героическому советскому народу — теперь будет опубликована в Советском Союзе.

Если, как я надеюсь, эта моя книга помогла внешнему миру лучше понять Советский Союз и его народ, если она хоть в какой-то мере способствует делу мира во всем мире, я могу считать, что ее задача выполнена. Тем более что битва за мир еще не выиграна, что у поджигателей новой войны еще большая сила в руках и что в Вашингтоне, Бонне и других местах есть еще люди, которые ничему не научились. Дух гитлеризма, хоть он и рядится теперь в маску идеологии «свободного мира», все еще жив. Может быть, США и демократическая страна, но, как сказал недавно французский историк Морис Дюверже, «американская демократия» такова, что она верит в экспорт фашизма во Вьетнам, Доминиканскую Республику и другие «непокорные» страны.

Париж, июль 1966 г.

ПРОЧТИ И ПЕРЕДАЙ ДАЛЬШЕ!

Во Франкфурте-на-Майне вышло в свет весьма необычное издание. Это не книга, не альбом, не тетрадь, скорее всего блокнот в красной глянцевой обложке. На обложке заглавие «Памфлеты. Нелегальные листовки против ожидаемой диктатуры». Под обложкой 41 листовка, напечатанная на дешевой цветной бумаге. Многие из листовок иллюстрированы. Каждую можно вырвать из блокнота по специальной линии отрыва, прочесть и передать дальше.

Выходные данные издания:

Автор: РУДОЛЬФ РОЛЬФС.

Графическое оформление: ГЕРХАРД МАТЦАТ

Издательство: «ШМИРЕ», ФРАНКФУРТ-НА-МАЙНЕ

Тираж: 300(!) экземпляров.

Кто такой Рудольф Рольфс?

Он — артист кабаре. Может быть, самый беспощадный, самый остроумный в ФРГ кабаретист.

«Он не щадит публику. Он говорит то, что не решаются сказать другие, и говорит так, как надо говорить... Рольфс сознательно шокирует, сознательно провоцирует. Он честен и борется за правду. И за это его уважают... Такой человек, как Рольфс, должен быть. Если ему когда-нибудь запретят появляться на сцене, найдется еще кто-нибудь... если найдется еще кто-нибудь»,— писала в 1965 году о Рольфсе западногерманская газета «Ди андере цейтунг».

В официальных кругах Рольфса объявили «ненормальным».

Его это не удивляет. «Правящая партия,— говорит Рольфс,— которая считает «ненормальными» сторонников мирного сосуществования,— страшная опасность для человечества. Вот я и думаю: если я «ненормальный», то кто же «нормален»? Что такое «разумная норма» в нашем государстве? Тайный арест главного редактора германского радио?.. Назначение субъекта, подобного Глобке, на важнейший государственный пост? Демократия на острие штыка? Ну, разве не великая честь быть «ненормальным» в этой стране?»

16 лет назад Рольфс снял винный погребок, арендовал у хозяина ближайшего кафе несколько десятков стульев и организовал литературно-политическое кабаре. Так возникла «Шмире».

В переводе с немецкого «Schmiere» означает бродячую труппу, маленький второразрядный театр. Кроме того, «Schmiere stehen» значит «стоять на стреме», «быть начеку».

«Шмире» демонстративно объявила себя «самым плохим театром на свете» и начала свой первый сезон программой под многозначительным названием «Для людей и скотов». Однако начало было малообнадеживающим: так, например, 22 сентября 1950 года кассовый сбор исчислялся анекдотической суммой — 13 марок 80 пфеннигов. Тогда Рольфс раздарил билеты на 14 представлений вперед. Появилась публика, а затем и деньги в кассе. Пришла известность. По-

том «Шмире» начали потихоньку травить. В один прекрасный день хозяин ближайшего кафе забрал из зрительного зала все стулья. Но зрители явились на спектакль со своими стульями.

За 16 лет своего существования «Шмире» предложила вниманию публики 28 программ. Наиболее стойко в репертуаре держится обозрение «Спящая красавица в навозной куче». Навозная куча символизирует в этом спектакле западногерманскую действительность, а спящая красавица — критическое начало в мышлении западных немцев. К чести этой особы следует сказать, что она время от времени просыпается и весьма трезво оценивает окружающую ее грязь. Этот спектакль играли больше 1000 раз.

Потом были гастроли в Вене, Амстердаме, Роттердаме, Гааге и Антверпене. «Шмире» совсем было уже собралась на гастроли в Польшу, но «из-за бюрократических трудностей», истинный смысл которых не сложно понять, поездка сорвалась.

Вот уже десять лет, как на премьерах «Шмире» перестали появляться работники радио и телевидения. Им там делать нечего. Рольфс для них неприемлем. Слишком зол, слишком смел, слишком непримирим. «Шмире» — это некоторым образом фирменная марка политической оппозиции в ФРГ. Какое уж тут телевидение! Впрочем, Рольфс идет на это вполне сознательно. «Цель сатирика в том, чтобы его запретили или чтобы в нем отпала надобность»,— сказал он как-то.

«Беспокойство — гражданский долг каждого»,— считает Рольфс. Его остроты и анекдоты часто очень терпки. «Сегодня в борделе «У германского орла» — новый аттракцион! Германский орел публично насилует голубок мира».

Выступая, как он заявляет, от имени правительства, Рольфс разыгрывает «иллюзионистский трюк». Фокус состоит в том, что правительство доказывает почтеннейшей публике, что у него нет никаких тайных планов, а затем отдает распоряжение об аресте журналистов, которые выдали тайные планы, которых нет. Все хлопают. Рольфс раскланивается и благодарит... от имени правительства.

Говорить правду в ФРГ — не так-то просто. В начале прошлого года был объявлен бойкот известному западноберлинскому кабаретисту Вольфгангу Нейссу. Его исключили из СДПГ за то, что он принимал участие в митингах против войны во Вьетнаме. Нейсс эмигрировал в Швецию.

По этому поводу у Рольфса имелось свое мнение, и он высказал его на страницах прессы.

«Когда Нейсс видит вокруг все в черном и коричневом свете, это отнюдь не означает, что он дальтоник. Но складывать оружие рано... Надо не капитулировать, а оставаться здесь, быть для конформистов бельмом в глазу. Уступать им поле боя — значит брать на себя ответственность за то, что у нас творится. Да и вообще: хороший врач не бросает тяжелобольного».*

В прессе ГДР имя Рольфса упоминается в числе тех деятелей культуры, которые участвовали во Франкфурте-на-Майне в митингах протеста против чрезвычайных законов.

Разумеется, Рольфсу трудно найти издателя. Уже двенадцать лет он сам издает афиши и рекламы «Шмире», написанные им тексты театральных обозрений и фельетоны, памфлеты. Все его 19 изданий общим тиражом в 100 000 экземпляров давно расхватаны и теперь продаются по букинистическим ценам.

Одним из таких изданий и были «Памфлеты» под красной глянцевой обложкой. Предоставляем слово Рудольфу Рольфсу.

Э. ВЕНГЕРОВА

---

* В июле 1966 года Нейсс вернулся и заявил: «О раскаянии не может быть и речи. Но попробуем начать все сначала».

Мы, немцы, всегда (но не всегда втайне) мечтаем о поводке в сильной руке, чтобы по приказу начать лаять хором. Как только находится повод (поводок!), многочисленные «защитники демократии» кричат нам «куш!» — и мы покорно ложимся на брюхо.

Нелегальным листовкам я дивился еще в детстве. Но передавал дальше те, которые совали мне взрослые,— тогда слово «Германия» не сходило у них с языка, потом они преспокойно отправили его в мусорную корзину.

Увы! История повторяется. Поразительно, до чего похожи современные стартовые площадки на те, с которых мы некогда начали трагический марафон к позорному финишу.

Команда «на старт!» уже дана. У меня мало времени. Я хочу успеть сказать сегодня то, чего не смогу, может быть, сказать завтра.

В чем смысл этих листовок?

Дай бог, чтобы все смеялись над ними, как над невероятными преувеличениями.

Только бы не сглазить!

РАЗЫСКИВАЕТСЯ (срочно!)

ГАНС ИОАХИМ ДЕЙЧЕ (он же Майер, Леман, Шульце, Мюллер, Губер и т. д. и т. п., известный также под другими именами: см. адресные книги ФРГ).

Рост: какой прикажут.

Глаза: загораются при звуках «Германия, Германия превыше всего».

Волосы: (если есть) всегда тщательно приглажены.

Здороваясь, непроизвольно выбрасывает правую руку вперед и вверх.

Щелкает каблуками убежденно, заученно, элегантно.

Особые приметы: стремление таковых не иметь. Любимая песня: «Прекрасный Вестервальд» (после третьей кружки пива).

В политических собраниях, кроме «Дня озеленения», «Всемирного дня защиты животных» и «Праздника стрелков», не участвует.

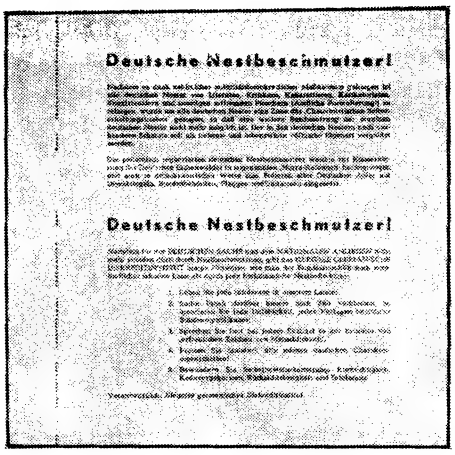
Выдает себя громкими заверениями в том, что он «истинный немец», «искренний демократ» и «верующий христианин».

Считает главной ошибкой Гитлера экстравагантный подход к решению еврейской проблемы.

За ликвидацию верноподданнических свойств его характера обещается вознаграждение в

1000

проблесков надежды из фонда Нелегального Общества по содействию антитоталитарным устремлениям.



НЕМЕЦКИЕ ОСКВЕРНИТЕЛИ СВЯТЫНЬ!

Благодаря многочисленным принудительно-демократическим мероприятиям удалось очистить немецкие святыни от литераторов, критиков, кабаретистов, карикатуристов, пацифистов и прочих чужеродных шавок (официальная формулировка *).

Вокруг всех немецких святынь создана зона «шовинистической обороны», так что больше их загадить невозможно. Все оставшееся дерьмо должно быть покрыто позолотой как драгоценное национальное достояние, заслуживающее любви и восхищения.

В целях консервации святых традиций доброго старого времени все вышеупомянутые осквернители подлежат строжайшей регистрации и призыву в так называемые «Ура-батальоны», а также добровольно обязательно назначаются на чистку гербовых орлов на служебных мундирах, печатях, флагах и униформах.

НЕМЕЦКИЕ ОСКВЕРНИТЕЛИ!

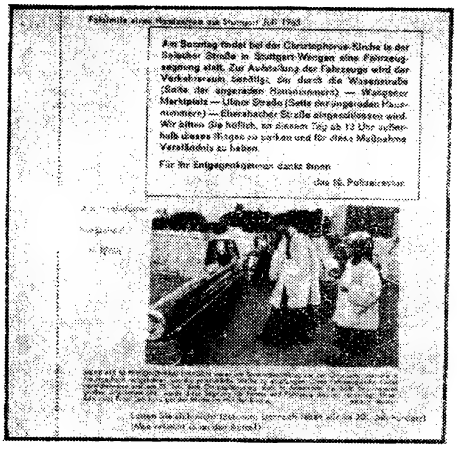
Теперь вы лишены права вредить Германии, загаживая святые места!

Нелегальный Германский Институт Общественного СО-МНЕНИЯ дает вам некоторые рекомендации и ручается, что предлагаемые эффективные меры принесут Федеративной Республике значительно больший вред, чем традиционное осквернение святынь.

1. Восхваляйте всякое проявление нетерпимости!
2. Игнорируйте все политические промахи, всю политическую несостоятельность своих высокопоставленных соотечественников.
3. Приветствуйте любой скандал в верхах как «трогательную человеческую слабость».
4. Восхищайтесь близорукостью, слепым повиновением, бесцеремонностью и нетерпимостью.

Нелегальный Германский Институт Общественного СО-МНЕНИЯ.

* Как известно, бывший канцлер ФРГ Эрхард назвал «шавками» западногерманских писателей, находящихся в оппозиции к правительству.



Факсимиле полицейского объявления. Штутгарт. Июль 1965.

В воскресенье возле церкви св. Христофора на Залахерштрассе, в районе Штутгарт-Ванген состоится освящение автомобилей.

Для машин, имеющих прибыть на освящение, отводится территория, включающая Вазенштрассе (нечетная сторона) — Вангенер марктплац — Ульмерштрассе (нечетная сторона) — Эберсбахерштрассе. Мы почтительно просим всех прочих граждан в 13 часов дня ставить свои машины за пределы обозначенной территории.

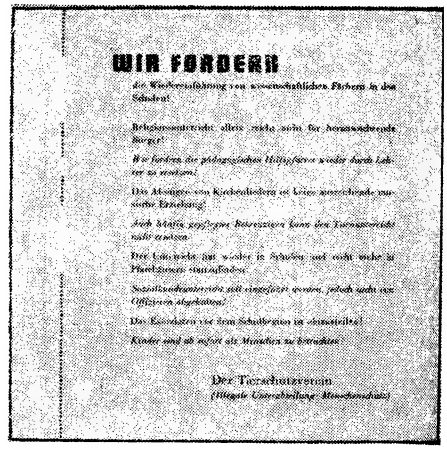
Просьба отнестись к этому мероприятию с пониманием.

Благодарим за любезность.
10-й полицейский участок.

«Франкфуртер рундшау». Июль 1965.

Более 50 персональных машин съехались в воскресенье утром к церкви св. Христофора в Пройнгесхейме, чтобы получить пасторское благословение и освящение. Обычно эта церемония назначается на 25 июля, день св. Христофора. Однако в связи с началом больших школьных каникул благословение автомобилей и их владельцев перенесено на более раннее число. На фото — отец Леонгард, освящающий машины в церковном дворе.

**Только не ошибитесь!
Мы все-таки живем в XX веке.
Это сразу заметно по маркам
автомобилей.**



МЫ ТРЕБУЕМ!

Восстановить в школах преподавание наук!

Одного религиозного образования недостаточно!

Верните в школу учителей! Пасторы — не педагоги!

Церковные гимны не заменят эстетического воспитания!

Осенять себя крестным знамением — не значит заниматься физкультурой!

Проводите обучение в школах, а не в церквах!

Введите преподавание социальных наук! Не поручайте этого дела офицерам!

Прекратите военную муштру перед началом школьных занятий!

Дети — тоже люди!

СОЮЗ ЗАЩИТЫ ЖИВОТНЫХ
Нелегальный подотдел
«Защита людей».

«ТЮРЬМУ НА СНОС!»

**НЕТЕРПИМОСТЬ.
НАЦИОНАЛИЗМ.
ЗАПРЕТЫ.**

**ЕЗВЫЧАЙНЫЕ ЗАКОНЫ.
МИЛИТАРИЗМ.**

**БИРЖА. КОРПОРАЦИИ.
ФАШИЗМ. ОРДЕНА.**

**ШПИОНАЖ. ЛОЖЬ.
РАСОВАЯ НЕНАВИСТЬ.**

**ВЛАСТИ. СЛЕЖКА.
НЕВЕЖЕСТВО. ЦЕРКОВЬ.**

**КОРРУПЦИЯ. ЗНАМЕНА.
КАЗАРМЫ. ОРУЖИЕ.**

**УВОЛЬНЕНИЕ. РЕЛИГИЯ.
ООРУЖЕНИЕ. ЦЕНЗУРА.**

**КАПИТАЛ. КОМИССИИ.
ОЛИТИЧЕСКИЕ ДЕЯТЕЛИ.**

**ПАРАДЫ. ПАСПОРТА.
ТРАДИЦИИ. КЛЕВЕТА.**

ОРЕЛ

НА КАЖДОЙ
СЛУЖЕБНОЙ ПЕЧАТИ

ОРЕЛ

НА КАЖДОЙ УНИФОРМЕ

ОРЕЛ

НА КАЖДОМ ЗНАМЕНИ

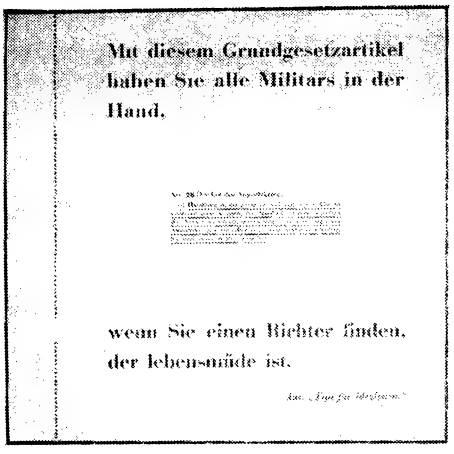
ОРЕЛ

НА КАЖДОЙ
ПОЧТОВОЙ МАРКЕ

ОРЕЛ

НА КАЖДОЙ ТАБЛИЧКЕ
В УЧРЕЖДЕНИИ

**ОРЕЛ — ХИЩНИК!
УНИЧТОЖАЙТЕ
ХИЩНЫХ ПТИЦ!**



Ссылаясь на ст. 26 Основного Закона, вы можете прибрать к рукам всех милитаристов,

Ст. 26

Запрещение пропаганды захватнических войн. Действия, направленные против мира, и, в частности, подготовка захватнической войны — противозаконны и уголовно наказуемы.

если найдется судья, которому надоело жить.

Из «Советов идеалистам».

●

К СВЕДЕНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ!

С недавнего времени исчезли из употребления все кисти, перья, музыкальные инструменты и т. п.

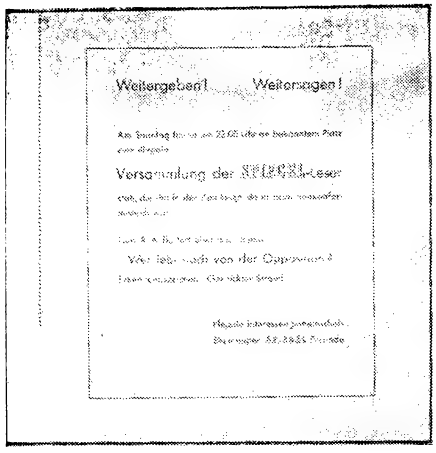
В продаже осталось только одно патентованное средство — инструмент для простофиль отечественного производства. Пользуясь им, можно изготовлять портреты канцлера, патриотические марши, героические сюжеты и т. п.

Специальный держатель, предусмотренный в инструкции, предохраняет инструмент от соскальзывания на антивоенные темы и тому подобных нежелательных колебаний.

Мы советуем... инструмент прокипятить. Стряхнуть образующуюся при этом коричнево-черную накипь.

Только после этого вы сможете лично пользоваться инструментом, не боясь массовой инфекции.

Без этой процедуры инструмент не применять! Будьте осторожны! Берегитесь нового патентованного средства для простофиль отечественного производства!


Weitergeben! Weitersagen!

Versammlung der SPIEGEL-Leser

ПРОЧТИ
И ПЕРЕДАЙ ДАЛЬШЕ!

В воскресенье в 23.00 на известном месте состоится

гражданская панихида по журналу «Шпигель».

Приглашаются читатели, знавшие журнал во время его оппозиционности.

Г-н Р. А.* будет причитать на тему:

«Спи спокойно, дорогая оппозиция!»

Опознавательный знак: Штраусово перо.

Нелегальный Союз бывших друзей «Шпигеля».

* Г-н Рудольф Аугштейн — главный редактор «Шпигеля».

ОЧКАРИКИ!

Вам грозит опасность!

Теперь уже не удается объявлять всех евреев врагами государства, шпионами и диверсантами, а всех некатоликов — коммунистами. В самое ближайшее время наше правительство начнет борьбу с новым государственным преступником. Его уже раскрыли. Это — очкарик.

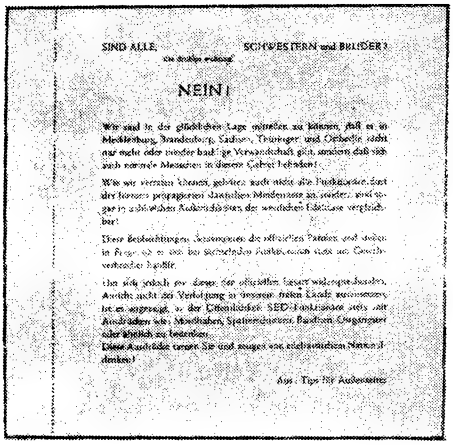
А Вы — очкарик?

Согласно чрезвычайному демократическому решению парламента в рамках обычного нарушения законности планируется ряд мер, направленных против очкариков.

Им предъявят обвинение в том, что благодаря очкам, этому вспомогательному средству интеллектуалов, они присвоили себе более ясный и широкий взгляд на вещи, чем дозволяется лояльным гражданам и патриотам. Ношение очков квалифицируется как преступный антинародный объективизм. Посему опередите шпиков и наденьте шоры. Полезно также держать дома горшок с песком и, следуя моде, прятать туда голову. Не показывайте, что вы видите дальше дозволенного властями. Не подвергайте себя преследованию! Притворяйтесь, что вы не видите дальше своего носа!

ОЧКАРИКИ!

Вам грозит опасность!



ВСЕ ЛИ,

кто живет в ГДР,

НАШИ СТРАЖДУЩИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ?

НЕТ!

Мы имеем счастливый случай сообщить вам, что в Мекленбурге, Бранденбурге, Саксонии, Тюрингии и Восточном Берлине живут не только более или менее бедные родственники, но также и нормальные люди.

Нам известно, что не все тамошние политические деятели относятся к низшей славянской расе. Некоторые из них имеют вполне благородную внешность представителей западной расы.

Эти наблюдения дезавуируют официальные лозунги. Они вызывают сомнение в том, что все политические деятели с саксонским акцентом — насильники и убийцы.

Однако высказывание подобного мнения в нашей свободной стране может повлечь за собой преследование со стороны официальных властей, поэтому мы рекомендуем всегда публично называть деятелей СЕПГ убийцами, негодяями, гангстерами, раскольниками и т. п.

Это будет свидетельствовать о вашем благородном расовом образе мыслей.

■

Из «Советов инакомыслящим».

■

ТАНКИ ВПЕРЕД!

Спасаем Европу:

Человечность

МЫСЛЬ Девушки

РОЗЫ МЕЧТЫ

БЕЗОПАСНОСТЬ

Искусство НАУКА

ПОЛИТИКА

Литература Театр

ЕВРОПА музей

ЖИЗНЬ *Любовь*

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

МИР

■

Вы слышите, как растет трава?

КАЖДАЯ ДИКТАТУРА НАЧИНАЕТСЯ НЕЗАМЕТНО.

СЕГОДНЯ — НАБОЖНЫЕ ВЗГЛЯДЫ, УСТРЕМЛЕННЫЕ В НЕБЕСА, ЗАВТРА — КОСТРЫ ИЗ КНИГ!

ВЧЕРА—УВЕРЕНИЯ В МИРЕ, СЕГОДНЯ—ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ ЗАКОНЫ!

ВЧЕРА — ФАЛЬШИВЫЙ АНТИМИЛИТАРИЗМ, СЕГОДНЯ—ДВАДЦАТИМИЛЛИАРДНЫЙ ВОЕННЫЙ БЮДЖЕТ.

ВЧЕРА — УВАЖЕНИЕ К ЗАКОНАМ, СЕГОДНЯ — ДИКТАТУРА.

ВЧЕРА — СВОБОДА ПРЕССЫ, СЕГОДНЯ — БОРЬБА С НЕЙ!

ВЧЕРА—ИНТЕЛЛИГЕНТЫ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ, СЕГОДНЯ — КЛЕВЕТА НА ВСЕХ МЫСЛЯЩИХ!

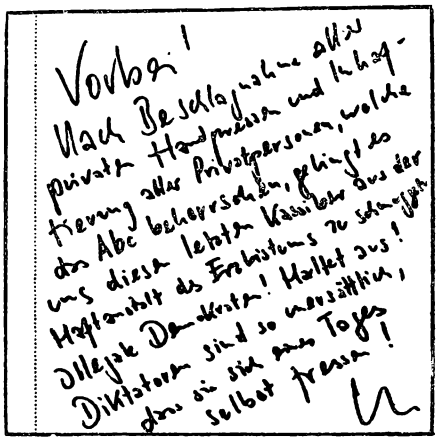
ВЧЕРА — УНИЧТОЖЕНИЕ МОНОПОЛИЙ, СЕГОДНЯ — КОНЦЕНТРАЦИЯ ТРЕСТОВ!

ВЧЕРА — ЗАИСКИВАНИЕ ПЕРЕД ИЗБИРАТЕЛЯМИ, СЕГОДНЯ — МАССОВЫЙ ПРЕДВЫБОРНЫЙ ГИПНОЗ.

Слушайте, как растет трава!

ВЫ

МОЖЕТЕ КОЕ-ЧТО ИЗМЕНИТЬ В ЭТОМ ГОСУДАРСТВЕ!



После конфискации всех частных типографий и ареста всех грамотных людей нам удалось передать из тюрьмы архиепископства эту последнюю секретную записку. Нелегальные демократы! Держитесь! Диктаторы так ненасытны, что в один прекрасный день сожрут друг друга.

Перевод с немецкого
С. КОМАРОВА И Э. ВЕНГЕРОВОЙ

НАШИ ПУБЛИКАЦИИ

АНТУАН ДЕ СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ

ПОСЛАНИЕ МОЛОДЫМ АМЕРИКАНЦАМ

Как часто к запаху еще не просохшей типографской краски примешивается запах плесени: в кричащие одежды новомодной, ультрасовременной фразеологии облекаются старые, отжившие свой век иллюзии, мифы, софизмы. Но, по счастью, бывает и обратное: затерянные строки, связанные с событиями, которые уже стали историей, доходят до нас, сохранив всю свою силу и свежесть. Тому пример — «Послание молодым американцам» Сент-Экзюпери, которое мы предлагаем вниманию читателей.

Написанное в 1942 году, в разгар великой битвы против фашизма, оно звучит как завет участников этой битвы тем, кто призван созидать и отстаивать достойное человека будущее, во имя которого они сражались и умирали.

Это будущее для Сент-Экзюпери означало свободу и демократию. Не формальную, бесплотную, мнимую свободу, освящаемую буржуазным индивидуализмом, а свободу, наполненную реальным содержанием, основанную на осознанной связи и глубокой гармонии между человеком и обществом. Не псевдодемократию, уживающуюся с расизмом и человеконенавистничеством, а демократию, не отделимую от гуманизма.

«Послание молодым американцам» согрето мечтой о человеческом братстве, об общественных отношениях, которые зиждутся «не на возвеличении личностей, а на культе Человека».

Конечно, и в «Послании» дает себя знать известная абстрактность, умозрительность в подходе к социальным проблемам, присущая Сент-Экзюпери. Даже в его фразеологии («христианская цивилизация», «религиозный дух» и т. п.) слышатся отголоски некоторых ложных представлений, от которых не был свободен этот большой художник.

Но все это не может заслонить от нас существа благородных, гуманистических идей Сент-Экзюпери, как нельзя более созвучных нашему времени, когда «поставлен вопрос о счастье» — не для человека как изолированной личности, а для человека как члена человеческого сообщества. Эти идеи не могут не быть нам близки и дороги.

Дороти Томпсон попросила меня сказать вам несколько слов, и я с радостью согласился. Я не чувствую себя здесь писателем, который обращается к какой-то абстрактной аудитории. Мне кажется, я просто сижу среди вас, молодых людей доброй воли, сижу как ваш товарищ и вместе с вами размышляю над одной из тех проблем, которые нас особенно тревожат. А главное — я говорю сейчас с вами так, как мне хотелось бы говорить с моими соотечественниками. Но они далеко. Будьте же вы моими друзьями.

Вы живете в военное время. Вы молоды. Вы готовите себя к тому, чтобы работать и сражаться за свою страну. Но ведь вы знаете, что дело идет о чем-то большем, чем судьба вашей страны. На карту поставлена судьба всего мира. И вы готовите себя к тому, чтобы работать и сражаться за свободу во всем мире.

Если бы вы были только солдатами, я говорил бы с вами как с солдатами. Я сказал бы вам: «Отложите в сторону все проблемы. Сейчас есть только одна проблема — война». Но вы молоды, и на вас лежит ответственность более серьезная, чем ответственность солдат. На вас — двойная ответственность. Вы готовите себя к тому, чтобы сражаться за свободу. Но эту свободу вам еще предстоит осознать и создать.

Слова в человеческом обиходе ветшают и теряют свой смысл. Ветшают научные теории. Ветшают социальные формулы. Такова цена, которую человечество платит за свое движение вперед. Если вы не хотите жить мертвыми идеями, вы должны непрестанно их обновлять. Ведь свобода — это не та проблема, которую можно изолировать от всех остальных. Ибо человеку, чтобы стать свободным, нужно прежде стать человеком. Таким образом, в основе всех проблем, с которыми вы столкнетесь, лежит проблема человека.

Ведь понятие свободы можно наполнить самым различным содержанием. Она может явиться свободой отказа от своих обычаев, разрыва со своими традициями, равнодушия к коллективу — в той мере, в какой вы не ущемляете других людей. Вы можете сказать: «Свобода личности кончается там, где эта свобода начинает ущемлять ближнего». А вы нисколько не ущемляете своего ближнего, если ваша общественная жизнь ограничена лишь самыми необходимыми связями, такими, как труд ради хлеба насущного. Вы получаете только то, что вам причитается. Вас нет, и ваше отсутствие ничего не меняет. Но оказывается, что если ваше отсутствие и не ущемляет ближнего, оно ущемляет коллектив, ибо без вас он уже не так богат. Необходимо делать коллектив богаче, потому что он, и только он, в свою очередь делает богаче каждого человека. Каждый из нас — это человек, принадлежащий родине, профессии, цивилизации, религии. Не бывает просто человека. Собор сложен из камней. Камни составляют собор. Но собор облагораживает собою эти камни. Камни становятся камнями собора. Так же и ваше братство: вы обретете его лишь в чем-то гораздо более обширном, чем вы сами. Ибо братом можно быть в чем-то. Нельзя быть просто братом.

Люди жаждут обрести узы. Эти узы могут быть частными. Горбуны могут организовать секту горбунов. Любой негорбун будет из нее исключен. Но гордость христианской цивилизации, из которой все мы вышли и которую все мы, верующие и неверующие, считаем своей, состоит в том, чтобы искать эти узы во всеобщем.

Нацист силится определить германца или, что еще труднее, арийца, чтобы сделать его объектом изолированной религии. Мы пытаемся определить человека, чтобы сделать его объектом нашей религии. Вся наша цивилизация всегда и прежде всего пыталась определить человека. Когда вы требуете от врача, самого знаменитого и самого полезного, чтобы он, несмотря на свою значимость, рисковал собственной жизнью, спасая какого-нибудь заразного больного, вы ставите личность этого врача в подчиненное положение не к другой личности, а к человеку, и неведомый заразный больной, как бы мало значителен ни был он сам по себе, оказывается представителем Человека. Если вы хотите освободить слово Демократия от всех недоразумений, затуманивших его лицо, скажите себе, что уважение к свободе определяется демократией как уважение к человеку и что для привнесения в демократию братства нужно строить человеческий коллектив не на возвеличивании личностей, а на подчинении личностей культу Человека.

Ну, а для того, чтобы создать такое существо, которое будет шире, чем вы, и которое, в свою очередь, будет делать вас богаче благодаря самому факту своего существования,— для этого есть только одно средство. Единственное. Самые древние религии открыли его задолго до нас. Оно — сама основа всякого религиозного духа. Всякого общественного духа. Оно, если хотите, является главным «фокусом». И этот фокус мало-помалу забыли с тех пор, как начался материальный прогресс. Этот фокус — жертва. А под жертвой я разумею не отказ от жизненных благ и не покаяние. Под жертвой я разумею бескорыстный дар. Дар, который не требует ничего взамен. Вас создает не то, что вы получаете. А то, что вы даете. То, что вы даете коллективу, созидает коллектив. И существование коллектива делает богаче вашу собственную личность.

Видите ли, настоятельная необходимость для человечества вырвать человека из оков рабства, гарантируя ему плоды его труда, заставила главное внимание напра-

вить на труд как на меновую стоимость. На труд как на товар. Но мы не должны забывать, что один из главных аспектов труда — это не заработная плата, которую он обеспечивает человеку, а духовное обогащение, которое он человеку приносит. Хирург, физик, садовник как люди богаче, чем игрок в бридж. Одна часть труда нас кормит, другая нас созидает, и созидает нас тот бескорыстный дар, который мы отдаем труду.

Дороти Томпсон призывает и вас: приносите свой дар. Она призывает вас создать коллектив. Когда вы, не требуя платы, соберете урожай на благо Соединенных Штатов и их победы в этой войне, вы тем самым поможете создать коллектив, носящий имя Соединенных Штатов. И создадите свое братство.

Мне хотелось бы рассказать о собственном опыте.

Целых восемь лет я жил жизнью летчика гражданской авиации. Я получал заработную плату. Я мог на заработанные деньги каждый месяц приобретать что-либо из жизненных благ. Но если моя работа летчика гражданской авиации не давала мне ничего иного, кроме этих материальных выгод, почему я ее так любил? Она дала мне гораздо большее. Вот тут-то и следует признать, что работа делала меня по-настоящему богаче только тогда, когда я отдавал ей больше, чем получал. Ночи, сделавшие меня выше и лучше,— это совсем не те ночи, когда я тратил заработанные мной деньги; нет, это другие ночи, там, в Буэнос-Айресе, в пору создания первых почтовых авиалиний, когда в третьем часу утра меня, только-только задремавшего после бесконечных полетов, после тридцати часов, проведенных в самолете без сна, неумолимый телефонный звонок, сообщавший о дальней аварии, подымал с постели: «Приезжай на аэродром... Нужно пролететь над Магеллановым проливом...» И я глотал черный кофе, чтобы не клевать носом в полете. Потом битый час тряски в машине по грязным ухабистым дорогам — и я на аэродроме, и вокруг — товарищи. Я молча пожимал руки, заспанный, злой, скрученный ревматическими болями, которые зима вам обязательно всучит после двух бессонных ночей... Я приказывал запустить моторы. Я читал метеорологические прогнозы, как читают отчеты рабочих бригад: грозы, изморозь, снег... и поднимался с земли и летел в ночь, навстречу неверному мерцанью рассвета. И вот теперь, когда я взвешиваю, какой вклад внесли в мое сердце события жизни, я обнаруживаю, что чего-то стоит лишь память об этих тяжких трудах. Их светлый след волнует меня. Я снова ощущаю на вкус это братство по оружию в последние часы отступающей ночи. Недовольно ворча, пожимал я руки друзей, а теперь с удивлением понимаю, что эти руки оставили во мне могучий след — любовное воспоминание. Розыск пропавших товарищей, спешный ремонт, безмерная усталость — словом, та часть деятельности, за которую не идет зарплата, оказывается, она, и только она, дала мне рождение, хотя в то время я мог и не понимать всего ее могущества. А память о ночах, когда я растрачивал получку,— она лишь серый пепел, не больше.

Нет, я ничего не получил за свою работу, если считать ее ценность по километровому тарифу для пилотов почтовых линий. Моя работа ничего бы не стоила, если бы, питая меня материально, она в то же время не делала меня человеком «чего-то». Если бы она не делала меня летчиком «такой-то» почтовой линии, садовником «такого-то» сада, зодчим «такого-то» собора, солдатом «такой-то» Франции. Если наши свершения на почтовых линиях делали нас богаче сердцем, это происходило из-за тех даров, которых от нас почтовые линии требовали. Линия рождалась из наших даров. А родившись, она рождала нас. И сегодня, встречая товарища, я могу ему сказать: «А помнишь?..» То была удивительная пора, потому что, связанные общими дарами, мы друг друга любили.

25 мая 1942 г.

Перевод с французского М. ВАКСМАХЕРА

ГУСТАВ ВИГЕЛАНН—СКУЛЬПТОР НОРВЕГИИ

На открытии памятника замечательному норвежскому поэту прошлого века Бьёрнстьерне Бьёрнсон сказал:

— Вам, конечно, случалось слышать, что Хенрик Вергеланн одно время расхаживал с карманами, полными семенами различных деревьев, и во время прогулок разбрасывал эти семена, убеждая и товарищей делать то же самое, «потому что никто не знает, что может произрасти из них». В этих его словах выражается такая трогательная, искренняя, поэтическая любовь к отечеству, что по впечатлению, которое они производят, их можно поставить наряду с самыми великими его произведениями.

МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА.
Скульптура у Монолита. Фрогнер-парк.

ВИГЕЛАНН МОДЕЛИРУЕТ РУКИ ГЕНИЯ.

ОТШЕЛЬНИК.

Теперь в центре норвежской столицы, на главной улице Карл-Юхан, в парке между парламентом и университетом возвышается другой памятник Вергеланну. Держа за спиной в руках трость, откинув голову, он полузакрыл глаза, сосредоточенный в своем поэтическом вдохновении. И кажется, вот-вот зазвучат только что рожденные им стихи или рука протянется к карману, чтобы достать оттуда горсть семян. Памятник этот изваял скульптор Густав Вигеланн.

А немного дальше, на пригорке за университетом, там, где начинается Королевский парк, на глыбе неотесанного гранита вы видите скульптурное изображение другого гения норвежского народа — великого математика Абеля, умершего почти что в юношеском возрасте. Торжествующий, с лицом мыслителя и воителя, он попирает босыми ногами невежество и зависть... И эта скульптура — тоже работа Вигеланна.

Дальше, в том же Королевском парке, с высокого постамента взирает на резвящуюся в траве детвору сестра поэта Вергеланна Камилла Коллет, выдающаяся писательница, ратовавшая за равноправие женщин. И этот памятник сделан тем же мастером — Вигеланном.

Пожалуй, слова Бьёрнсона о трогательной, искренней, поэтической любви к отечеству можно отнести к самому Вигеланну, запечатлевшему в камне и бронзе образы норвежцев, принесших славу своему народу.

Бьёрнстьерне Бьёрнсон. Эдвард Григ. Генрик Ибсен. Ионас Ли, Рихард Нурдрок — композитор, автор национального гимна. Музыкант Уле Булль, Альфред Нобель... Целая портретная галерея современников создана Вигеланном. И не только современников. Полководец Торденскьольд, союзник Петра Первого; прославленный викинг и скальд Эгиль Скалла-Гримссон. Знаменитый ученый двенадцатого века исландец Снорри Стурлусон, записавший и Эдду, и исторические саги Норвегии.

В историю народа, в его искусство Вигеланн врастал не только темами своих скульптур, но и корнями своего творчества. Как мастера средневековья, он начинал свой путь художника резьбой по дереву и деревянной скульптурой, а в начале века отдал несколько лет труда реставрации старинных изваяний знаменитого древнего Нидаросского храма в Тронхей-

ме. Четырнадцатилетним юношей сын столяра пришел из родного Манделя в Христианию, чтобы овладеть ремеслом резчика по дереву. Родные его, суровые пуритане севера, были фанатически религиозны.

— Я всегда носил с собой свое детство,—говаривал Вигеланн, когда речь заходила о таких его ранних творениях, как «Ад», «Проклятье», «Каин», «Нищий», «Пьяница».

Если правильно утверждение, что каждый выдающийся скульптор всегда чрезвычайно работоспособен и плодовит (вспомним скандинавов Торвальдсена и Миллеса или Антокольского и Родена, в студии которого в цехе отливок работал и наш норвежец), то в творчестве Вигеланна оно находит еще одно весьма убедительное доказательство.

Даже мысленно оглядывая то, что он создал, трудно поверить, что все это творение рук одного человека — настолько велика семья, да не семья, а целое племя — мраморное, гранитное, бронзовое, созданное более чем полувековым, непрерывным, вдохновенным, поистине подвижническим трудом. Но самым большим творением Вигеланна, о чем может только мечтать каждый скульптор, стал Фрогнер-парк — пожалуй, главная достопримечательность нынешней столицы Норвегии. Это огромный парк, построенный Вигеланном по единому плану и густо заселенный скульптурой. Замысел этой грандиозной композиции, охватывающей около двухсот статуй и барельефов, впервые возник у художника в последний год прошлого века. Постоянно разрастаясь, он был встречен энтузиазмом одних ценителей искусства и насмешками других.

Как многие замыслы великих художников и архитекторов, как планы Корбюзье или Казакова, он, возможно, так и остался бы невоплощенным, если бы художник родился не в Норвегии, этой маленькой стране, где ныне с большим уважением относятся к отечественным художникам.

Густав Вигеланн был уже известен и за пределами страны, но все еще не имел своей студии, работал в дощатом сарае, куда сквозь щели ветер наметал снег. Скульптор продолжал жить в нужде, а порой и впроголодь, когда в 1921 году муниципалитет столицы заключил с ним необычный договор. Художник передавал городу право собственности на все свои будущие творения, а взамен Коммуна строила ему дом-студию, снабжала материалами, необходимыми для работы, и обеспечивала не ахти какое богатое существование. После смерти скульптора дом-студия его, по договору, становился музеем.

В ОБЪЯТИЯХ.

ПОРТРЕТ Г. ИБСЕНА.

Постройка дома-студии, создание парка, содержание художника и его подручных рабочих, каменотесов, литейщиков, кузнецов, выковывавших решетки оград, и материалы — мрамор, гранит, бронза, гипс, железо и т. д.— на срок, ограниченный только продолжительностью жизни художника, требовали немалых средств. По первоначальной смете, как мне сказала искусствовед Рагна Станг, нынешний директор музея, примерно четырнадцать миллионов крон! Вряд ли на подобное мог бы решиться какой-нибудь богач-меценат. Городское же управление пошло на это во славу родного Осло.

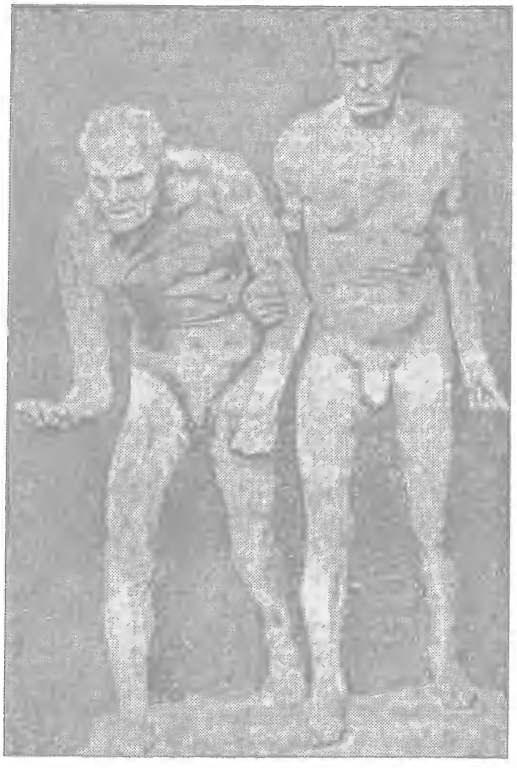
И оно не прогадало в своих расчетах. Парк Вигеланна и его музей привлекают всех посетителей Осло. И не случайно в докторской диссертации, многотомном труде Рагны Станг, посвященной скульптуре эпохи Возрождения в Италии, доказывается, что расцвет ваяния в то время вовсе не был результатом покровительства владетельных феодалов, а в большей мере обязан заботе городских общин. Статуи, прославившие Флоренцию, начали создаваться по заказам, данным Коммуной еще до прихода к власти Козимы Медичи.

...Через порталы главного входа вы попадаете в «царство Вигеланна» — Фрогнер-парк. Чтобы достичь центра грандиозной композиции, посетитель должен миновать широкий мост, пройти сквозь строй бронзовых фигур, расставленных на парапетах. Их больше полусотни. И хотя большинство из них аллегоричны, но выполнены они весьма реалистически и обладают такой жизненной плотью, что кое-кто мог бы обвинить художника в натурализме. Здесь в сплетении тел и «Колесо жизни», и знаменитые группы «Мужчина и женщина».

Миновав мост, мы вместе с литературоведом Мартином Нагом подходим к фонтану.

Шесть гигантов поднимают над головой огромную чашу с льющейся через край водой. Большой бассейн, в который ниспадают струи воды из чаши, обступили двадцать групп бронзовых деревьев, среди ветвей которых изваяны фигуры людей, изображающие различные ступени человеческой жизни со всеми ее страстями, взлетами и падениями — от безмятежной поры детства до бесплодной дряхлой старости. Одна лишь краткая аннотация содержания шестидесяти рельефов на бронзовой ограде, окружающей бассейн, заняла бы целую книгу.

В процессе многолетней работы замысел мастера все расширялся и завершился созданием многофигурного монумента. Высокий семнадцатиметровый обелиск из серого гранита



НИЩИЕ.

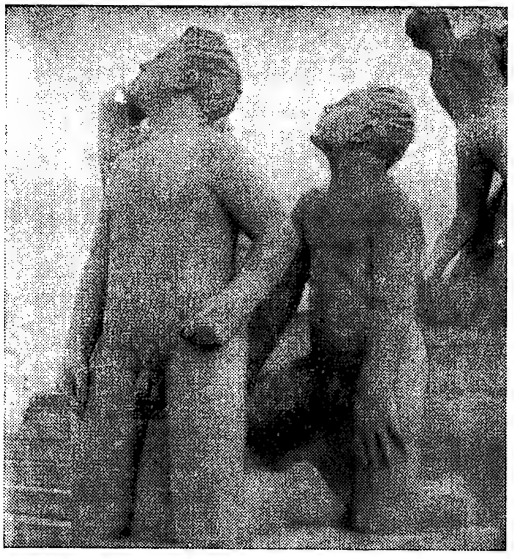
МАТЬ И ДИТЯ. Деталь.

БРОНЗОВОЕ ДЕРЕВО У ФОНТАНА. Деталь. Фрогнер-парк.

стремляется ввысь, возвышаясь над окружающей его лестницей, на ступенях которой в строгом порядке расположены тридцать шесть многофигурных групп, снова «весомо, грубо, зримо» показывающих весь цикл человеческой жизни. И здесь мастерство художника, по-моему, близко к совершенству.

Обелиск, законченный в последний год жизни скульптора, словно вылеплен из массы обнаженных человеческих тел. Мужчины, юноши, женщины, дети, одно поколение на плечах другого, как бы продолжая его, неудержимо поднимая, тянется ввысь, к свету, к солнцу, к истине.

Но не зря вспомнились здесь слова поэта — «весомо, грубо, зримо». Так весомо, так грубо, что создается



МАЛЬЧИКИ, СМОТРЯЩИЕ В НЕБО. Скульптура у Монолита. Фрогнер-парк.

МОНОЛИТ.
Фрогнер-парк.

впечатление, что тянутся они не ввысь, не к свету, а давят, попирают друг друга, напоминая гекатомбы раздавленных тел, словно стоишь перед одним из кругов Дантова Ада. При всей шестиэтажной высоте обелиска нет ощущения той легкости, воздушности, невесомости, которое получаешь от более ранних работ Вигеланна или его шведского собрата Миллеса...

Вместо радости жизни, ее полноты, многообразия здесь доминирует ощущение утяжеленности, физиологичности, безысходности, вместо упоения борьбы — горькое чувство обреченности.

КОЛЕСО ЖИЗНИ.
Фрогнер-парк.

Может быть, это объясняется тем, что последние годы творческой жизни художника совпали с «пятью проклятыми годами» гитлеровской оккупации?

Каждый этап творчества Вигеланна сопровождался горячими спорами между его поклонниками и отрицателями. Эти споры, не угасшие и по сей день,— еще одно доказательство жизненности творений выдающегося норвежского ваятеля.

Но как бы ни относиться к отдельным произведениям Вигеланна, необычность замысла, разнообразие скульптур, огромность размаха его работы и мастерство художника в большом и малом поражают каждого, кому посчастливилось побывать в Осло.

ГЕННАДИЙ ФИШ

■ ■ ■

Культура и современность

Заметки на полях зарубежных газет и журналов

ТРИБУНАЛ СПРАВЕДЛИВОСТИ

«Отныне мы уверены, что когда в будущем какой-нибудь представитель правосудия или какой-нибудь народ возьмет на себя инициативу вынести приговор за преступления, совершенные против всеобщего мира, им не придется столкнуться в качестве возражения с аргументом, что подобные действия незаконны, так как не имеют прецедента».

На эти слова, произнесенные в ходе Нюрнбергского процесса американским прокурором, членом Верховного Суда США Джексоном, опирается известный английский философ Бертран Рассел, по инициативе которого 13 ноября 1966 года в Лондоне был создан международный трибунал, поставивший перед собой задачу провести расследование военных преступлений, совершенных США во Вьетнаме, и назвать лиц, которые несут ответственность за эти преступления. В работе трибунала приняли участие деятели культуры разных стран, в том числе Гюнтер Андерс (Австрия), Петер Вейс (ФРГ), Жан-Поль Сартр, Симона де Бовуар и профессор Лоран Шварц (Франция), президент американского студенческого Координационного комитета ненасильственных действий Стокли Кармайкл (США), Лелио Бассо (Италия), бывший президент Мексики Ласаро Карденас, известный социолог Жозуэ де Кастро (Бразилия), публицист Исаак Дейчер (Англия), Амадо Эрнандес (Филиппины), Махмуд Али Кайсури (Пакистан) и другие.

Трибунал направил во Вьетнам свои комиссии, которые должны провести расследование.

«Данные, собранные комиссиями,— как говорит Рассел в своей статье, опубликованной в газете «Монд»,— будут изучены самым систематическим образом, подвергнуты всякий раз, когда в этом представится необходимость, научной экспертизе. Мы не можем принудить свидетелей защиты выступить в суде. Однако правительству США и президенту Джонсону официально предложено прислать своих представителей... Юристы, которые будут помогать работе трибунала, проследят за тем, чтоб доказательства виновности были юридически неоспоримыми, а также за тем, чтоб США была дана юридическая гарантия того, что все доводы — если они приведут таковые в свою защиту — были досконально изучены».

Трибунал соберется вторично весной 1967 года, чтобы изучить результаты расследования и вынести свой вердикт. Разумеется, приговор этот будет только приговором совести — не обладая никакой реальной силой, международный трибунал, разбирающий дело о военных преступлениях США, не собирается никого приговаривать к повешению или долгосрочному заключению, как это сделал по отношению к нацистам Нюрнбергский суд.

«Наша цель иная,— объяснил в интервью еженедельнику «Нувель обсерватер» член трибунала Жан-Поль Сартр,— наша цель в том, чтоб изучить совокупность документов о войне во Вьетнаме, выслушать возможно большее число свидетелей — американцев и вьетнамцев — и определить, как велит душа и совесть, попадают ли определенные действия под юрисдикцию тех законов, о которых я говорил *. Мы не создаем нового законодательства. Мы только скажем, если это будет установлено, я ничего сейчас не предрешаю: «такие-то и такие-то действия, совершенные в таком-то и таком-то месте, представляют собой нарушение таких-то и таких-то международных законов и в силу этого являются преступными. Ответственность за это несут...»

* Сартр упоминает выше, кроме решений Нюрнбергского процесса, пакт Бриана—Келлога, Женевскую конвенцию и другие международные соглашения.

Сартр подчеркивает, что задача трибунала не просто

«выразить негодование честных граждан, но выработать юридический критерий в подходе к актам международной политики, идя тем самым наперекор стремлению большинства людей давать только утилитарную или нравственную оценку деятельности определенной социальной группы или определенного правительства».

Сартр разъясняет, что грибунал отнюдь не предполагает «очеловечить» захватническую войну, которую США ведут во Вьетнаме:

«Империалистическая политика — историческая реальность, выражение исторической необходимости, и, как таковая, она не подлежит нравственному или юридическому осуждению С ней можно только бороться... Я признаю, что, как и другие члены трибунала, являюсь открытым противником империализма и солидарен со всеми, кто с ним борется». О какой же «законности» идет речь в таком случае? — спрашивает Сартр. И, отвечая на этот вопрос, говорит: «Развитие истории не обусловлено ни правом, ни моралью, которые являются продуктами истории,— однако эти две надстройки оказывают «обратное влияние» на развитие истории. Это и дает возможность судить общество, исходя из критериев, им самим созданных».

В догитлеровскую пору политику того или иного деятеля, того или иного правительства оценивали как благоразумную или неблагоразумную, благотворную или неблаготворную. Сартр цитирует знаменитую фразу Талейрана: «Это хуже, чем преступление,— это ошибка». О преступной политике речи не было. Понятие «политического преступления», преступления против мира и человечности возникло вместе с фашизмом, юридически оно было оформлено на Нюрнбергском процессе.

«Однако осуждение главарей нацистской Германии,— справедливо замечает Сартр,— Нюрнбергским трибуналом имело смысл только в том случае, если оно подразумевало, что любое правительство, которое в будущем совершит акты, подсудные той или иной статье Нюрнбергского законодательства, будет подвергнуто аналогичному суду. Наш трибунал намерен судить империализм по его собственным законам... Повторяю еще раз, речь идет не о том, чтоб осудить определенную политику от имени истории, не о том, чтоб решать, идет ли она в разрез с интересами человечества, а только о том, чтоб сказать — подпадает она или нет под существующие законы».

Коль скоро следственные комиссии трибунала подтвердят, что США нарушили договора и межгосударственные соглашения, что они ведут захватническую войну, что они экспериментируют во Вьетнаме с новыми, запрещенными видами оружия (газ, химическое и бактериологическое оружие), что они бомбардируют больницы, школы, плотины и другие сугубо гражданские объекты, что они пытают и калечат пленных, сгоняют в концентрационные лагеря мирное население,— а все это не может не быть засвидетельствовано,— правительство США будет признано виновным, согласно международному законодательству, разработанному совместно капиталистическими и социалистическими странами в их борьбе против фашизма. И тогда будут названы преступники, сидящие в Капитолии и Пентагоне.

И хотя ни одному из осужденных трибуналом Рассела реально не грозит тюрьма или виселица, еще не вынесенный приговор уже вызывает волнение в американском лагере. Одни отвечают на призыв Рассела прямым панегириком антикоммунизму и американскому солдату, который «подобно римскому легионеру встал на защиту границ Запада, оказавшихся под угрозой». «Спасибо американскому солдату!» — умиленно восклицает Флориан де ла Орб, бывший член секретариата Лиги Наций. Другие, действуя несколько тоньше и завуалированней, подобно генеральному секретарю Европейского общества культуры профессору Умберто Кампаньоло, пытаются отрицать право «частных лиц» брать на себя роль судей и уговаривают членов трибунала отказаться от их нелепой затеи, «смеси гордыни и наивности», которая якобы «не может не вызвать улыбки» и даже «может дискредитировать деятелей культуры в целом, и без того являющихся мишенью для упреков в безответственности, часто вполне заслуженных». Трибунал Рассела, утверждает Кампаньоло, не может вынести приговор президенту США Джонсону ни «де юре, ни де факто». Почему же, в таком случае, генеральный секретарь Европейского общества культуры так волнуется? Да потому, что, как он сам пишет, «обращаясь к высшим принципам», трибунал «делает объектом процесса не личности и их политику, а саму систему». «К этому выводу,— вынужден признаться Кампаньоло,— нас действительно подводит сравнение с Нюрнбергским процессом, в котором члены трибунала Рассела признают прецедент». Вот где, оказывается, собака зарыта: те, кто ответствен за войну во Вьетнаме, не прочь использовать опыт гитлеровцев, но сидеть с ними на одной скамье подсудимых им не лестно. Не лестно и опасно. Потому что, как ни «абстрактен» приговор суда, вынесенный несколькими деятелями культуры, известными во всем мире своей непримиримостью к социальной несправедливости, он окажет влияние на мировое общественное мнение, он затруднит вашингтонским преступникам возможность маскировки под защитников демократии.

«Нас упрекают в мелкобуржуазном преклонении перед законностью,— сказал Сартр в том же интервью.— Это правда, я принимаю этот упрек. Но кого мы стремимся убедить? Те классы, которые борются с капитализмом и которые давно убеждены, что с империализмом нужно покончить (независимо от того, можно или нельзя с юридической точки зрения рассматривать ту или иную его акцию как преступление), или широкий слой средних классов, занимающий колеблющуюся позицию? Сейчас важно пробудить, подтолкнуть мелкобуржуазную массу, потому что союз с ней необходим рабочему классу. А чтобы открыть ей глаза, надо отстаивать неукоснительное соблюдение законности. Впрочем, и трудящимся классам, которых слишком часто убеждали в том, что важна только эффективность действий, невредно напомнить, что у любого исторического деяния есть этико-юридическая структура».

Мы знаем, что американская молодежь, отказывающаяся подобно Дэвиду Митчелу воевать во Вьетнаме, опирается на вердикт Нюрнбергского процесса как на международный закон, требующий, чтобы каждый нес ответственность за совершенное им преступление, и квалифицирующий как преступления против человечности агрессивную войну, убийство мирного населения.

«Наше расследование,— подчеркивает Сартр,— если оно приведет к заключению о виновности США, должно дать возможность всем молодым американцам, борющимся против политики Джонсона, опираться не только на Нюрнбергский устав, но и на приговор, вынесенный несколькими свободными людьми, которые не представляют никакой державы, никакой партии... Наша позиция сильна, потому что мы ставим перед собой цель не отправить в тюрьму несколько человек, а пробудить в общественном мнении, на тягостном этапе нашей истории, мысль о том, что существует политика, преступная объективно и юридически».

Иногда приходится защищать культуру оружием — к этому вынужден народ Вьетнама. Но у культуры есть и свое оружие. Идея справедливости и права, голос общественной совести — не звук пустой. В этом убеждены деятели культуры, создавшие по призыву Рассела трибунал, который будет судить американских военных преступников.

Л. ЗОНИНА

«СУДЕБНОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО» В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ

Наконец вейсовское «Судебное разбирательство» («Дознание») дошло до Соединенных Штатов Америки... В течение двух лет пьеса потрясала Европу, среди миллионов зрителей, смотревших ее в театрах или по телевидению, были люди, обожженные Освенцимом, так или иначе причастные к нему: бывшие узники, бывшие охранники, палачи и жертвы, пленники и освободители, те, по которым прошлась страшная машина гитлеровской оккупации, и те, кто эту машину разбил. Одни, слушая монологи персонажей, перепалку между свидетелями и подсудимыми, между обвинителями и адвокатами, изнывали от боли, в них клокотали гнев и ярость, другие позевывали: ах, все это известно, все надоело, пора переходить к новым темам, сколько можно говорить об одном и том же?..

Собственно, весь обвинительный пафос пьесы направлен против этих последних. Не требуется особой отваги, чтобы сегодня назвать зверства Освенцима преступлением. Важнее другое — заклеймить забвение, равнодушие, самодовольство, злорадство эгоистов, которые счастливы хотя бы тем, что живут «не в то время»...

Когда я переводил пьесу (по-русски ее в отрывках можно прочитать в пятом номере журнала «Иностранная литература» за прошлый год), я вспоминал мою встречу с Петером Вейсом. Мы встретились на антифашистском писательском форуме возле «музейных» печей Бухенвальда. Вейс тогда только что закончил «Судебное разбирательство». Я спросил, что его больше всего взволновало на франкфуртском процессе. Вейс грустно ответил: «Апатия».

Идейный «центр» пьесы я увидел в заключительном монологе Подсудимого № 1 — Мулки, когда он возмущенно требует забыть Освенцим «за давностью лет».

Позднее эта фраза стала разоблачительным рефреном в постановке, осуществленной Московским театром на Таганке. Однако режиссер спектакля Петр Фоменко и художественный руководитель театра Юрий Любимов «вытянули» из текста и другую важную мысль: «Освенцим — крайнее выражение нашего мира, в котором мы с вами живем» и — дальше: «Смеем ли мы ждать, покуда нас уничтожат, причем намного страшнее, чем тогда... в Освенциме?!».

Это разговор живых с живыми, во имя живых.

Передо мной несколько рецензий на нью-йоркскую постановку Иона Свона и Улу Гросбарда.

Уолтер Керр в статье, опубликованной в «Нью-Йорк таймс», пишет:

«В течение целого вечера мы находились среди мертвых — двух типов мертвых...»

Первый тип — это «собственно мертвецы», фактические жертвы, о которых рассказывают свидетели и подсудимые. Второй «тип» — те, кто... выжил. В понимании Уолтера Керра мертвецами второго «типа» являются и чудом уцелевшие узники, и (отнюдь уже не чудом) уцелевшие палачи.

«Все они — изломанные, превратившиеся в прах люди, масса бесчувственной плоти... они совершенно мертвы по отношению к тому, что произошло...»

Конечно, нет ничего более мертвящего, убивающего сердце и разум, чем Освенцим. Кто станет отрицать, что Освенцим оставил глубочайшую травму в душах людей? Однако судебный процесс не «долина молчания» (термин Уолтера Керра), не загробный мир, что же касается палачей, то их, как показала послевоенная практика, отличала особая живучесть и изворотливость. Если обратиться непосредственно к пьесе, то эта живучесть палачей (причем не в биологическом, а в социальном и политическом смысле) представляет для Петера Вейса особенно большой интерес: почти каждый из «его» подсудимых — фигура, играющая весьма активную роль в современной западногерманской политике и экономике, задающая «тон» современной жизни Федеративной Республики, и если уж говорить об «апатии», то «апатия» эта распространяется лишь на их отношение к жертвам. Напротив, по отношению к собственной участи и к возможному приговору их никак нельзя назвать равнодушными: они огрызаются, отвечая на реплики прокуроров, грубо «полемизируют» со свидетелями, из обороны переходят в наглое наступление и т. д. и т. п.

В том-то и значение пьесы Петера Вейса, что фашистские убийцы выступают в ней отнюдь не как «бесчувственный», а следовательно, и безвредный «прах», но как реальная политическая сила, способная и сегодня причинить огромный вред человечеству.

Впрочем, и те, кто выступает в пьесе в роли свидетелей обвинения, люди, перенесшие небывалые физические и душевные муки, вовсе не являются мертвецами. Через двадцать лет после Освенцима они сохранили жгучую ненависть к своим палачам, ясность мысли и неутолимое желание перед лицом всего мира до конца разобраться в том, «как это могло случиться».

Вейс ничего не упрощает, меньше всего он стремится к «идеализации» жертв и к поискам некоего «героического смысла» в бессмысленной гибели ни в чем не повинных детей, стариков, женщин, которые в большинстве случаев даже не знали, зачем и для чего их со всех оккупированных фашистами европейских стран привезли в неведомый им Аушвиц — Освенцим.

Однако можем ли мы согласиться с Уолтером Керром, когда он, рецензируя нью-йоркский спектакль, пишет:

«...Это не просто горсточка каких-то людей. Это нечто более серьезное и более страшное. Это не что иное, как воплощение радости самого человечества, освобождающегося от человечности, воплощение внутренней способности человека интересоваться механикой избавления от самого себя».

Ничего общего с таким психологическим мазохизмом пьеса Петера Вейса, страстно клеймящая фашистскую попытку «расчеловечивания человека», разумеется, не имеет. Напротив, одной из форм антинацистского сопротивления была воля людей оставаться людьми даже в чудовищных условиях Освенцима, воля, которую Вейс в пьесе «Судебное разбирательство», в «Песне о гибели Лили Тофлер», трактует как естественное, присущее каждому нормальному человеку качество.

Но, видимо, «механика избавления человека от самого себя» в сегодняшнем Нью-Йорке — не просто философская «мода», а часть политической программы, которая самым непосредственным образом связана с тем, что делают «освободившиеся от человечности» убийцы вьетнамских детей: еще одно доказательство идеологической злободневности пьесы Петера Вейса, который, как известно, выступает в качестве решительного противника агрессии во Вьетнаме...

«В конце концов, способность человека к жестокости остается в основном неизменной в течение веков»,— пишет в «Сатердей ревью» другой рецензент — Форин Меттер, который за несколько строк до этого утверждает, что Вейс не стремится вызвать «жалость к жертвам и гнев по отношению к преследователям...» По Меттеру получается, что Вейс говорит: «Иного выхода нет».

Но все это не более чем клевета на автора пьесы. Не случайно Меттеру спектакль кажется скучным, его утомляют «протокольность», перечень фактов. Думаю, что для такого упрека у Меттера есть свои причины: именно протокольная достоверность понадобилась Вейсу, чтобы раскрыть «жестокость» Освенцима не как абстрактное, испокон веков присущее человеку и человечеству свойство, а как средство и орудие

бесчеловечной политики фашизма и стоящих за ним (это в пьесе подчеркнуто особо!) германского империализма и милитаризма. Блестящий знаток сцены, который в своем «Марате» свободно владеет разнообразными драматическими приемами — от площадного бурлеска до напряженной «драмы идей»,— Петер Вейс преднамеренно заключает освенцимскую эпопею в строгие рамки судебного разбирательства, почти начисто отказавшись от каких бы то ни было внешних эффектов, рассчитанных на неприхотливого зрителя. Но та информация, которая поступает со сцены в зрительный зал, до предела насыщена драматургией мысли, драматическим столкновением идей и сама по себе содержит некий «прием», на который справедливо указывает в «Нью рипаблик» критик Гордон Рогов:

«Драматургическое воздействие возникает из тех доводов, которые живут в сознании человека...»

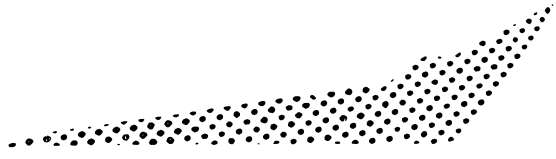
Касаясь изображенных в пьесе Вейса преступников, Рогов пишет:

«Когда-то их аргументом была кровь, а теперь лед... Разбить лед молчания— ...один из стимулов для драматурга. Однако это молчание может быть нарушено только изнутри...»

Шагнув через океан, пьеса Петера Вейса встретила озлобление реакции, снобистские придирки гурманов и театральных обывателей и вместе с тем серьезные попытки разобраться в ее идейной и художественной структуре со стороны подлинных ценителей театра.

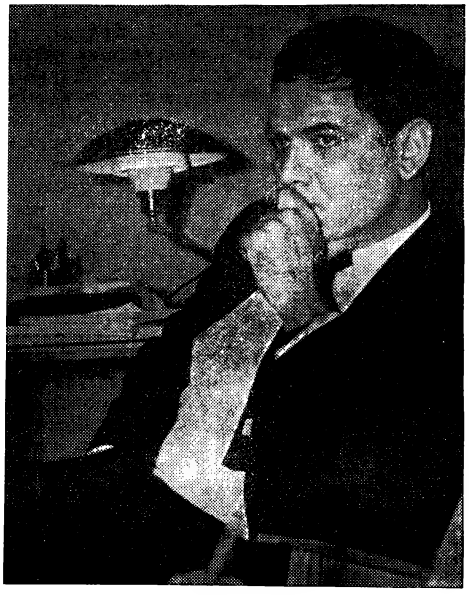
Однако важнее статей и рецензий тот отклик, который нашла пьеса в сердцах людей, ненавидящих Освенцим в любом его проявлении. Слушая горестную историю далеких лет, эти люди производят внутреннее дознание в своей собственной душе, и их охватывает живое чувство плодотворной тревоги и ответственности.

ЛЕВ ГИНЗБУРГ



НАШИ ГОСТИ

РЕВОЛЮЦИЯ ДЕЛАЕТ НАС БОЛЕЕ ЗРЕЛЫМИ



— Я очень доволен, что смог приехать в СССР в преддверии вашего юбилейного года, когда советский народ будет отмечать дату, имевшую такое огромное значение для судеб всего человечества,— говорит директор журнала «Куба», кубинский романист Лисандро Отеро.

Его называют «молодой надеждой кубинской литературы». И он действительно молод. Быть может, даже не столько по возрасту (год его рождения — 1932) и не по писательскому опыту (за плечами два опубликованных романа, один из которых, «Так было», получил первую премию на IV конкурсе «Дома Америк», несколько сборников рассказов, книги репортажей). Молод он свойственной ему любознательностью, даже любопытством к жизни, ко всему, что видит и слышит.

Если бы нужно было охарактеризовать Лисандро Отеро одной фразой, я бы сказала: «Это человек, которому до всего есть дело». Об этом свидетельствует диапазон его творчества: первый роман — о перевороте Батисты, о жизни и борьбе кубинской молодежи в этот трудный и противоречивый период, второй роман — о 30-х годах на Кубе, книга об Алжире, очерк о Хемингуэе, репортаж об аграрной реформе...

Мне вспоминается наша встреча в Гаване осенью 1963 года. Просторный дом на берегу небольшой бухты в устье реки Альмендарес. Волны разбиваются почти у самого подножья каменной террасы; напротив, через пролив, квадратная каменная башенка, поставленная, как говорят, еще Колумбом... Приветливо улыбаясь, Лисандро Отеро приглашает в большую комнату, почти сплошь уставленную книжными полками и какими-то растениями, вьющимися по стенам, по большой стеклянной двери, ведущей на балкон. Шумит море, напротив, за полоской воды, встают в дымке корпуса новых районов Гаваны. Мы говорим о Кубе, но не только о ней. Выясняется, что наш хозяин за свои тридцать с небольшим лет успел уже побывать во многих странах Латинской Америки, два года прожил в Европе в качестве корреспондента одного из крупнейших кубинских журналов «Боэмия», совершил большую поездку по Алжиру... Узнав о том, что я из СССР, он с искренней заинтересованностью расспрашивает меня об образовании РСДРП, о деятельности Ленина, о революции 1905 года. Видно, что много читал, думал и во всем старается разобраться сам. Беседа переходит на внутреннее положение США, на новую программу компартии Италии...

И вот спустя три года — наша вторая встреча в Москве — в редакции журнала «Иностранная литература».

— Революция делает нас более зрелыми,— сказал Лисандро Отеро. За прошедшие три года он был избран в Центральный Комитет Кубинской коммунистической партии, опубликовал еще один роман.

В чем-то он стал старше, солиднее, наш тогда еще очень юный, как и сама кубинская революция, хозяин дома на берегу реки Альмандарес. Но у него все тот же интерес ко всему, что происходит в мире.

— ...да... Москва очень нравится... успел побывать в Ленинграде... жаль, что не хватает времени посетить Тбилиси, надо еще съездить в Париж, а потом пора на Кубу — там сейчас много работы...

— А что нового за последнее время в кубинской литературе, как работают молодые кубинские писатели?

— За последний год на Кубе вышло несколько хороших книг,— отвечает Лисандро Отеро.— Самое интересное, пожалуй, сборник рассказов молодого писателя Хесуса Диаса «Трудные годы», получивший первую премию на последнем конкурсе «Дома Америк». Хесусу Диасу сейчас 25 лет, он преподает философию в Гаванском университете. Это его первая книга. Мы сви-

таем автора одним из самых талантливых молодых прозаиков Кубы. С большой силой и, я бы сказал, страстностью рассказывает он о первых годах революции, когда перед кубинцами вплотную встала проблема выбора своего пути. Нужно было четко определить для себя, с кем ты, за кого. По-моему, достоинство книги Диаса прежде всего в том, что он не решает эту проблему прямолинейно. Ведь формирование революционного сознания — не только длительный, но и сложный процесс. Вот Хесус Диас и показывает, через сколько колебаний и заблуждений проходит человек, прежде чем находит верный путь.

Хесус Диас очень правдив в своих рассказах. Вот он повествует о случае с одним студентом, который принимал участие в демонстрации против Батисты. Демонстрация кончается неудачей, студента, которому совсем уж было удалось скрыться, выдает один из профессоров. В полиции его подвергают пыткам, и он на всю жизнь остается калекой. В первые месяцы после победы революции юноша поджидает профессора на улице. Он убивает его. В рассказе всего два события: демонстрация и встреча студента с профессором. Промежуток заполнен внутренним монологом, который отображает переживания героя. Конечно, то, о чем рассказано у Диаса, это первые годы революции, когда мы еще неясно отдавали себе отчет в происходящем, когда в наших умах еще царило замешательство. Убийство — не тот путь, которым надо идти, но в рассказе Диаса много достоверного, а это мы ценим больше всего. А вот другой рассказ — о бригаде, уехавшей рубить сахарный тростник. Один из героев этого рассказа не выдерживает трудностей тяжелой работы под палящим солнцем; он пишет домой письмо, в котором просит жену под предлогом тяжелой болезни вызвать его в Гавану, но, постепенно заражаясь энтузиазмом окружающих, остается.

Диас затрагивает в «Трудных годах» множество животрепещущих вопросов, хотя ставит перед собой всегда одну задачу — показать становление революционного самосознания нашего народа. Книга насыщена подлинно революционной страстью. Это неудивительно, ведь Хесус Диас — член народной милиции и сам принимал участие в битве на Плайя Хирон — он был тогда артиллеристом. Правда, читать эту книгу нелегко, по форме она сложна. Тут от читателя требуются почти такие же усилия, как и от писателя. Но мы стремимся поднять читателя до высокого уровня подлинно художественного восприятия.

На мой взгляд, за последние годы самое значительное явление кубинской литературы — группа молодых, объединившихся вокруг молодежной газеты «Хувентуд ребельде» и ее литературного приложения «Кайман барбудо». Это издание рассчитано прежде всего на молодежь. Главный редактор его — Хесус Диас. Первая наша задача — формировать революционное сознание молодежи. Для этого мы ищем настоящее революционное содержание, много внимания уделяем форме. Новое революционное содержание в новой революционной форме — вот наш лозунг. Сейчас, в середине XX века, мы хотим использовать все достижения современного искусства. Но мы не хотим ничего перенимать механически. Мы хотим создавать свое национальное кубинское искусство. Влияния? В прошлом на нашу поэзию сильно влиял Поль Элюар, но теперь это уже позади. Мы стремимся быть самобытными.

В этой связи я хочу рассказать еще об одной книге, вышедшей на Кубе тоже в прошлом году. Это «Жизнеописание беглого раба» молодого кубинского поэта и этнографа Мигеля Барнета. Трудно определить вот так, сразу жанр этой книги,— пожалуй, это романизированная биография. Мигель Барнет встретил негра, которому сейчас сто шесть лет, и записал его рассказ о своей судьбе. Книга начинается как социологический очерк, а кончается как самый увлекательный роман. Сколько эпох охватывает жизнь героя! От тех времен, когда Куба была колонией, от рабства, через освободительную борьбу, возглавляемую Хосе Марти, вплоть до кубинской революции, когда бывший раб вступил в компартию Кубы... Хотя в книге огромный исторический материал, читается она легко. От нее невозможно оторваться...

Мои собственные планы? Есть одна интересная тема. 13 марта 1957 года группа кубинской молодежи атаковала президентский дворец. Они хотели уничтожить диктатора Батисту. Это был героический и одновременно трагический акт. Было ясно, что отряд смельчаков вряд ли достигнет цели. Но какие это были чистые и смелые люди! Мне хочется рассказать о них в своей новой книге, если, конечно,— Лисандро Отеро улыбается,— работа в журнале оставит мне для этого время. О штурме президентского дворца писали много, но это были в основном статьи. Я собрал новые материалы, подолгу беседовал с оставшимися в живых участниками событий и вот теперь хочу написать что-то в духе «литературы факта», соединить официальные документы и мои интервью в единое целое... В Буэнос-Айресе в 1966 году вышел мой последний роман «Страсти отца Уррутия». Это история одного священника, время действия — 30-е годы на Кубе. На историческом материале мне хотелось поставить и попытаться разрешить все ту же проблему, которая нас так интересует сегодня,— выбор человеком своего жизненного пути, человек лицом к лицу с обществом... Хочу закончить вторую часть романа «Так было», которая охватывает период от 1952 года, то есть от переворота Батисты, до победы кубинской революции... Написал уже 350 страниц... Вот пока и все...

Желаю больших успехов вам всем, всему Советскому Союзу. Верю, что дружба кубинской и советской литератур будет всегда такой же крепкой и плодотворной, как дружба двух наших народов.

Н. БУЛГАКОВА

СРЕДИ КНИГ

ИЗДАНО В СССР

НОВАЯ ВСТРЕЧА

Николас Гильен. Новые стихи. Перевод с испанского. Составитель О. Савич. Предисловие П. Грушко. Москва, «Прогресс», 1966. 120 стр.

В небольшом вступлении к этой книге Павел Грушко описывает картину, которую он наблюдал в Гаване. Был март 1964 года. Перед книжным магазином на одной из гаванских улиц стояла длинная очередь. Внутри магазина поэт Николас Гильен надписывал экземпляры новой книги стихов «Что есть у меня?». Людей в очереди было много: и школьницы, и служащие, и милисианос, и крестьяне, приехавшие в столицу,— все хотели иметь эту книгу с автографом любимого поэта.

Никто бы не удивился, если бы точно такая же сцена произошла с поэтом в Москве или Ленинграде. Советский Союз—вторая родина Гильена, и имя его у нас, как и на Кубе, известно миллионам людей. Советский читатель хорошо знает его стихи, его книги «Мотивы сона», «Сонгоро косонго», «Вест-Индская компания», «Вся песня», «Голубь народа в полете» и другие. Велика и критическая литература об этом знаменитом поэте.

Книгу «Новые стихи» составили два самых последних цикла поэта: «Что есть у меня?» и «Песни о любви».

Однажды один из французских друзей Гильена, критик и переводчик Клод Куффон, спросил у него, какие изменения внесла революция в его поэзию. Гильен ответил ему: «До победы революции моя поэзия воспевала надежду. Теперь она воспевает реальность, ставшую фактом, революционную действительность». Эти слова полностью подтверждаются книгой «Что есть у меня?», центральное место в которой занимает образ нового человека, хозяина революционной страны, который еще недавно был Хуаном Неимущим, а теперь стал Хуаном Всемогущим. От его лица и идет лирическое повествование о борьбе барбудос Фиделя против диктатуры Батисты, о борьбе против старого врага кубинского народа — американского империализма, о коренных преобразованиях, происшедших на Кубе за последние годы.

Новая тематика вызвала к жизни и новые формы. Гильен отходит от афро-кубинских ритмов, от танцевально-песенных «мотивов сона», в которых он прежде видел основу для создания истинно народной поэзии. Теперь он все больше использует традиционные испанские формы, редко встречавшиеся в его прежних сборниках. Правда, Гильен по-прежнему любит «свободный стих». Но все-таки это уже другой Гильен. Ориентация на агитаторскую, патетически приподнятую речь очевидна, но нельзя не заметить, что стремление поэта донести до читателя идейную сторону стихотворения, его содержание местами реализуется иными, чем прежде, выразительными средствами. Это признает и сам Гильен. В той же беседе с Клодом Куффоном поэт говорит: «...мой теперешний язык гораздо более прямой». Пожалуй, наиболее удачным примером синтеза традиционной испанской формы и нового революционного содержания является в книге «Что есть у меня?» цикл «Романсеро», где поэт использовал народный испанский романс для эпического рассказа о кубинской революции.

Некоторые из стихов, включенных в сборник, относятся к послевоенному периоду, другие же внутренне связаны с любовной лирикой Гильена периода «Мотивов сона» или «Сонгоро косонго». Гильен щедро пользуется атрибутами традиционной любовной лирики. Образ любимой видится поэту на

фоне вечности. Разлука, прощанье, смерть — обычные спутники любви в испанской лирике. Печаль, местами граничащая с трагизмом, господствует в этих стихах. Кто она, эта женщина, к которой обращены стихи, мы не знаем. Это и Хульета, и Лусия, и Ана-Мария, и «золотая мулатка», и «девушка из тростника и мака», и «печальная роза». Все эти образы проходят перед поэтом, и в них он воскрешает и материализует то, что является для него самым существенным,— печаль одухотворенного чувства.

Советским переводчикам не всегда удавалось справиться со сложной музыкальной системой, по которой строятся стихи Гильена. Они впадали порой в повествовательное, почти прозаическое пересказывание, которое у нас довольно часто выступает под флагом «свободного стиха». При этом забывается, что свободный стих романских языков строится на особой ритмико-фонической основе, а в русском языке стих прежде всего требует тонического принципа. В русской же поэзии свободный стих встречается сравнительно редко (за последние годы его можно было встретить по преимуществу в переводных изданиях); ссылки на его использование крупными русскими поэтами всегда ограничиваются одними и теми же немногочисленными примерами.

Вопрос о свободном стихе — вопрос сложный. Но несомненно одно: синтаксически упорядоченный подстрочник, написанный строчкой, «лесенкой» или каким угодно другим «стихотворным» образом, еще не относится к миру поэзии. Многие советские переводчики (И. Чежегова, А. Гелескул и др.) в работе над испанскими стихами ориентируются на традиционные нормы русского поэтического языка. Другие же пытаются воспроизвести в русском языке некоторые особенности испанского стихосложения. Какому же методу следует отдать предпочтение? Вряд ли мы можем сегодня окончательно ответить на этот вопрос, но если судить по результатам, то все же придется признать, что первый метод — эффективнее.

Что касается Гильена, то лучшие образцы переводов его стихов на русский язык (прежде всего переводы О. Савича) убедительно воспроизводят его яркую поэтическую манеру и, не отклоняясь от законов силлабо-тонической системы стихосложения, передают и ритмическое разнообразие стихов кубинского поэта, и их живую народную лексику, и их высокую простоту.

Новая манера Гильена, особо проявившаяся в сборнике «Что есть у меня?», вызывает при переводе ряд существенных трудностей. Преодолеть их можно было бы, либо, насыщая русский стих музыкально-эвфоническими моментами, либо привнеся в него тоническую определенность. Стремление передать содержание подлинника белым стихом привело переводчиков в ряде случаев к отступлениям от духа поэтического произведения.

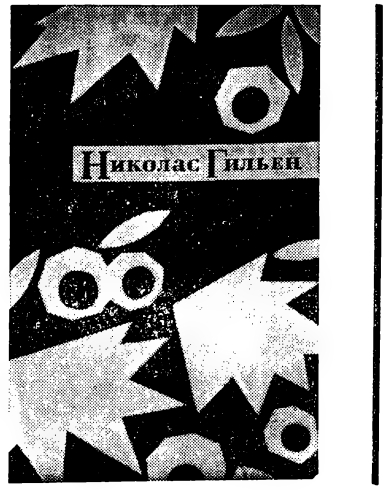
Вызывает сомнение и та система, к которой часто прибегает в своих переводах М. Самаев. Система эта основана на введении в свободный стих ритмических долей и скреплении его точными или неточными рифмами. Это, конечно, читается лучше, чем просто написанная в столбик проза, но оказать эстетически сильное поэтическое воздействие на русского читателя испанские стихи, решенные переводчиком таким образом, мне кажется, не могут. Ясно, что переводчик стремится сохранить специфические особенности оригинала и в то же время несколько приблизить перевод к более привычной для нас стиховой системе. Сомнительно, однако, чтобы читатель почувствовал латиноамериканский колорит, например, в следующих строках (несмотря на настойчивое обрамление перевода креольским орнаментом):

И золотятся руки, и зубы блещут зловеще.
И вдруг эти сладостные, обманутые глаза.
Вот кожа твоя — в ожидании сиесты,
твой запах — неожиданный запах сельвы,
от которого кружится голова.
И твой голос — орущий, молящий и
стонущий, твой голос,
глубокий и чистый,
даже когда ты закручиваешь
недозволенные слова.

Но тот же переводчик добивается хороших результатов, как только он отказывается от системы свободного стиха, слабо скрепленного рифмами и ритмическими перебоями, в пользу более традиционных форм.

И когда взглянешь на берег, вздрогнешь
краешком век,
лишь скользнет там стремительной легкой
ласковой тенью
тот, кто кос твоих золото закурчавил
навек.

Некоторые переводчики «Новых стихов» Гильена очень нетребовательны к себе даже в работе над самыми «обычными» размерами. Приведем, к примеру, строки из стихотворения «Цветы растут высоко» в переводе М. Замаховской:



Мы для янки не больше чем шлак и дрянь,
Кому легко сбыть стекляшки и всякую
рвань.

Или:

А гнусный Юг расправляется
с поколеньем,
Разрешая проблемы собаками, кострами,
избиеньем.

Приблизительно такое же впечатление производят и некоторые другие стихотворения: «Как мы хотели...», «В прошлые времена было хуже...» (перев. М. Замаховской), «Генерал в своем Пентагоне» (перев. Н. Горской).

Все это не мелочи. Но тем не менее встреча с «Новыми стихами» Гильена состоялась. И мы верим, что еще не раз прочтем и запомним яркие, талантливые переводы будущих новых стихов Гильена. Наши читатели ждут таких переводов!

К. АЗАДОВСКИЙ

РОМАНЫ АНДРЕ МОРУА

Андре Моруа. Превратности любви. Семейный круг. Перевод с французского Е. А. Гунста. Редактор Н. Хуцишвили. Вступительная статья Л. Зониной. Москва, «Художественная литература», 1966. 460 стр.

Для творчества Андре Моруа характерны глубокая культура и привлекательная разносторонность. Его произведения многообразны и по материалу и по жанрам. А. Моруа известен как автор романизированных биографий политических деятелей и писателей (например, Дизраэли, Тургенева, Гюго); его книга «Три Дюма» полюбилась читателям, как и биография ученого Флеминга. Не так давно в Париже вышла интересная и насыщенная конкретным материалом книга «Прометей, или Жизнь Бальзака».

До тонкости зная «Человеческую комедию», будучи знаком с бесчисленными изысканиями бальзаковедов, А. Моруа написал биографию и вместе с тем работу литературоведческого характера. С ее страниц встает образ писателя, воображение которого всегда опиралось на реальность, который «прочно стоял на земле», убежденный, что «отдаление от природы» разрушительно для искусства. «Бальзак хотел быть секретарем общества, а я — только секретарь Бальзака»,— говорит А. Моруа, прослеживая, как создавалась «Человеческая комедия» — «история внутри Истории». Природа, говорит он, предлагает художнику элементы, художник ими располагает. Так была создана Бальзаком картина эпохи, подчиненной власти денег. Осуществилась гордая мечта писателя: «В моей голове поместится все общество целиком». Бальзак, перевоплощаясь, «был по очереди святым, каторжником, честным судьей, продажным судьей, министром, денди, куртизанкой, герцогиней и всегда — гением».

Роман-биография — жанр опасный. Его легко использовать для того, чтобы снискать успех у мещанина, дав ему возможность с удовлетворением сказать своей супруге: «Эти великие ничуть не лучше нас!» Книги А. Моруа внушают читателю уважение к искателям и созидателям, они богаты фактами и познавательно ценны.

Андре Моруа также выступал в качестве историка (как автор истории Соединенных Штатов Америки, составившей вместе с историей Советского Союза, написанной Арагоном, издание, озаглавленное «Параллельная история СССР и США»*). Ему принадлежит много эссе и литературно-критических этюдов. Он превосходно знает литературу и с удовольствием делится своими мыслями о Вольтере и Гоголе, о Руссо и Франсе, о Льве Толстом и Прусте.

Особенности творческого облика А. Моруа (они верно охарактеризованы в предисловии Л. Зониной к «Превратностям любви» и «Семейному кругу», с большим знанием переведенному Е. А. Гунстом) сказались и на его художественных произведениях. Когда читаешь романы А. Моруа, все время видишь: его творчество питают классические традиции, литература даже участвует в содержании этих произведений. Имена Тургенева, Чехова, героев Стендаля, названия романов («Доминик» Фромантена, «Жан Баруа» Роже Мартен дю Гара — своеобразные ключи к характерам героев романов А. Моруа «Превратности любви» и «Семейный круг».

В годы, когда были написаны эти романы (на рубеже двадцатых и тридцатых годов), вершиной французской прозы признавали утонченный психологизм Пруста, очень известен был Жан Жироду. Пристальное внимание к рождению ревности из любви в романах А. Моруа заставляет вспомнить о разработке этой темы у Пруста; подчас замечаешь у А. Моруа «светскую» элегантность стиля, перекликающуюся с нарядной изысканностью импрессионизма Жироду. И вдруг ощущаешь в «Превратностях любви» веяние поэзии «Вешних вод» Тургенева. И ближе всего этот роман «Доминику» Фромантена.

Нравы «светского» общества, любовь, семья, удел буржуазной женщины — содержание романов «Превратности любви» и «Семейный круг», объединенных однотипностью основных мотивов (недостижимость счастья, неудовлетворенность жизнью). В центре обоих романов — образы женщин. А. Моруа по-своему разрабатывает старую, но еще не устаревшую тему «Кукольного дома» Ибсена. В среде, которую он изображает, для женщин «рамки реальной жизни

* Статья об этой книге была опубликована в «Иностранной литературе» № 4 за 1964 г.

так тесны, что им всегда хочется выскочить из них». Существование женщины монотонно, скучно, ей трудно найти свой собственный увлекательный путь в жизни. Она лишь «может жить жизнью всех мужчин, которых... любит...» В этом уделе буржуазной женщины А. Моруа ничего увлекательного не обнаруживает.

В основе сложных характеров Одилии («Превратности любви») и Денизы («Семейный круг») — противоречие между потребностью во встрече с неизведанным, с опасностями, желанием испытать свои силы и беспомощностью, невозможностью по-настоящему удовлетворить эту потребность. И Одилия и Дениза женственны, одухотворенны, честны и благородны по натуре, но фатально оказываются на пути, чуждом их природе и ломающем ее.

«Превратности любви» — роман в письмах. Эта форма помогает раскрыть внутренний мир персонажей, но делает произведение узкоинтимным. Роман «Семейный круг» менее камерный, чем «Превратности любви», более связанный с изображением эпохи,— как бы реплика на уже изданные ранее части «Очарованной души» Ромена Роллана. Таких, как Аннета Ривьер, немного; у большинства, говорит А. Моруа, благие порывы недолговечны и сменяются прозой нравов, пропитанных ложью; со времен Бальзака и Флобера эти нравы изменились только в том отношении, что усовершенствовалось умение жить, обманывая друг друга.

Дениза с малолетства видела, что ее красивая мать хладнокровно изменяла доброму и слабовольному отцу. Это искалечило детство и юность Денизы. Характер девушки закаляет сила ненависти, и, когда отец умирает, она, став перед дверью, не пускает мать проститься с ним. Сцена, достойная автора «Госпожи Бовари»! Проходят годы, и Дениза против своей воли, обвиняя себя, начинает поступать подобно своей матери. Потом постепенно привыкает.

В подтексте неизменен грустный лейтмотив: увы, иначе быть не может. Такое представление о неподвижности жизни отражено и в композиции обоих романов А. Моруа, в которой финал лишь немного варьирует начало и которая образует кольцо. А из замкнутого круга, как известно, выхода нет. Все же эти мотивы А. Моруа разработал с явным презрением к условиям, которые созданы господством буржуазии.

А. Моруа говорит: «Разумеется, Мопассан — не Толстой, но надо сопоставлять сопоставимое». Читая романы А. Моруа, подчас хочется сказать: уже написан «Вертер», уже созданы шедевры интимно-психологического романа. Но с романом Мопассана «Сильна, как смерть» произведения Моруа, переведенные ныне на русский язык, сопоставить можно. И современного читателя они, может быть, заинтересуют более, чем «Сильна, как смерть». А это совсем не мало!

Н. МИЛОВИДОВА

ТО ЛИ ФАНТАЗИЯ, ТО ЛИ НЕТ

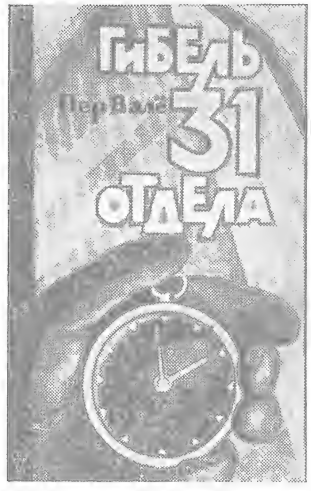
Пер Валё. Гибель 31 отдела. Перевод со шведского С. Фридлянд. Москва, «Молодая гвардия», 1966. 159 стр.

Небольшую эту книжку, что называется, проглатываешь — она написана по законам детектива, более того, с отменным знанием требований и возможностей детективного жанра. Впрочем, уже с первых страниц становится очевидным, что приключения усталого и страдающего несварением желудка (как же без оживляющей детали!) комиссара полиции в поисках таинственного автора анонимного письма — повод для размышлений о куда более значительных материях, нежели случай из уголовной практики.

Если оставить в покое детективную оболочку и определить жанр книги по существу, то обнаружится ее явное сродство с социальной фантастикой, с произведениями Брэдбери и Абэ. С одной лишь оговоркой — Пер Валё решительно отказывается от воссоздания материальных, вещных контуров грядущего, и действие движет не фантастическая, то есть нереальная при нынешнем уровне техники ситуация, но ситуация, устрашающая именно своей прозаической реальностью, мотивированная достоверными фактами, которые сегодня, быть может, еще и редкостны и смутны, но имеют несомненную тенденцию к злокачественному росту.

Очевидно, в рецензии на эту книгу предпочтительнее всего будет избрать самый бесхитростный путь: сопоставить содержание мрачной утопии с некоторыми аспектами сегодняшнего бытия благополучной, демократической, преуспевающей Швеции.

Конечно, Швеция ...года в книге Пера Валё не выдержит пунктуального наложения на доподлинную, нынешнюю Швецию.



К примеру, страна еще далека от разрешения жилищного кризиса, и кварталы опустелых, заброшенных за ненадобностью многоэтажных зданий, описанные в книге, пока что действительно из области фантастики. И бракосочетание принцессы с руководителем центрального объединения профсоюзов — чистейшая выдумка, хотя, как увидим далее, не лишенная известного смысла.

Однако оставим частности и обратимся к тому, что составляет основное содержание книги. Анонимка, из-за которой разгорается детективный сыр-бор, сообщает о предстоящем якобы взрыве небоскреба, где расположен гигантский издательский концерн. По ходу дела комиссар Иенсен, а вместе с ним и мы, подробно знакомится с деятельностью этого предприятия. И оказывается, что концерну — «красе и гордости свободного предпринимательства» — принадлежат все газеты и журналы, издаваемые в стране. Произошло это, согласно объяснению государственного секретаря по делам печати, следующим образом: «До того как проблема единого общества (запомним это выражение. — *Вл. М.*) была решена, издание газет носило раздробленный характер. Политические партии и профсоюзы издавали свои газеты. Но по мере того как эти газеты сталкивались с экономическими трудностями, концерн либо закрывал, либо присоединял их».

А теперь несколько действительных фактов. На протяжении долгого времени силы передовой шведской интеллигенции объединялись вокруг еженедельника «Фолькет и бильд». Два года назад, в связи с экономическими затруднениями, журнал был продан крупнейшей издательской монополии и ныне ровно ничем не отличается от десятков пустых, вульгарных, сугубо эскепистских по своей тенденции журнальчиков, исчерпывающее представление о содержании которых можно получить на тех страницах «фантастической» повести Пера Валё, где описываются издания концерна. В декабре 1965 года в шведском газетном мире разорвалась бомба — было объявлено о закрытии крупнейшего и, по сути дела, единственного массового органа социал-демократов, газеты «Стокгольмс-тиднинген». Премьер-министр Т. Эрландер заявил, что «решение о закрытии «Стокгольмс-тиднинген» усиливает монополию одного-единственного газетного предприятия в Стокгольме». Лидер социал-демократов имел, очевидно, в виду тот факт, что теперь сотни тысяч читателей в столице и далеко за ее пределами оказываются во власти тех органов печати, которые уже подмяли под себя или уничтожили в конкурентной борьбе ряд газет, издававшихся в «социал-демократической» Швеции.

Стало быть, гротескный образ концерна, осуществляющего мрачную духовную диктатуру в стране «идеальной» демократии, не столь уж гротескный. Но куда интереснее абсолютное соответствие идейно-политических процессов, которыми автор объясняет итоговую ситуацию, и реальных процессов, происходящих в Швеции сегодня. Они слишком сложны и специфичны, чтобы можно было сколько-нибудь полно охарактеризовать их здесь; отметим лишь самую суть.

По ходу следствия комиссар Иенсен встречается с честным мыслящим журналистом, изгнанным из концерна, и тот анализирует путь, которым шла страна от демократии к тоталитарному духовному мракобесию. Началось с того, что «социалисты сами признали социализм излишним»; в партийной программе появился тезис о «едином обществе»; затем «слова «благоденствие» и «единое общество» начали произноситься все чаще, покуда оба эти явления не слились в нечто цельное и не были признаны неотделимыми одно от другого»; иными словами, состоялась полная идеологическая капитуляция социал-демократии в стране могущественных капиталистических монополий. Тут самое место и время процитировать одно из программных выступлений ныне покойной «Стокгольмс-тиднинген»: «Средний класс все более растет и процветает, частично в результате значительного прироста армии служащих, частично вследствие того, что проводимая политика повышения благосостояния и уравнивания доходов приобщает к этой социальной группе все большее число лиц наемного труда. Скоро все мы будем принадлежать к среднему классу. Это уже большой шаг вперед по направлению к бесклассовому обществу». То есть «единому обществу»...

Пер Валё не упоминает еще одной стороны этого трагического в сущности процесса, который получил название «деидеологизация» и становится теоретическим обоснованием идейного саморазоружения. Явление это подробно рассматривается в вышедшем недавно сборнике эссе влиятельного шведского публициста Свена Эрика Лидмана. Поборники «деидеологизации», искренне убежденные, что именно они поспешают впереди прогресса, выдвигают следующие мотивировки: во-первых, постепенно стираются различия между программами «демократических» партий (а к их числу отнесены чуть ли не все шведские партии), следовательно, идеологические принципы становятся излишней роскошью; во-вторых, идеология противоречит подлинной индивидуальной свободе. Такова схема, обросшая, естественно, множеством изящных словесных пассажей, настойчиво внедряемая в массовое сознание.

Так прав ли Пер Валё, точнее, его персонаж, вопиющий о «духовном убийстве»? Не вернее ли говорить о духовном самоубийстве определенных слоев шведских интеллектуалов? И правильно ли рассматривать этих интеллектуалов в качестве убиенных, а не пособников убийства?

Впрочем, автор фантастической повести в достаточной мере реалист, чтобы не игнорировать этой стороны проблемы. Горест-

ный пафос книги — это прежде всего трагедия той интеллигенции, которая ведет мучительное существование в мертвящем вакууме бездеятельности. Вместе с тем Пер Валё отнюдь не намерен представлять роль интеллектуалов в происходящем безвинно жертвенной. «Тайна», непременная в любом детективе, здесь оказывается не столько тайной автора угрожающей анонимки, сколько «тайной» 31-го отдела. Здесь на чердаке небоскреба, в обстановке сугубой секретности, предусмотрительно собраны концерном «самые сильные, самые взрывные, самые динамичные из всех деятелей культуры, населяющих нашу страну». И обезврежены с дьявольским хитроумием: им предоставлена возможность, от них прямо-таки с нетерпением ждут выпуска остродискуссионного, резко критического журнала, просто революционной смелости. И такой журнал выпускается, но дело не идет дальше великолепно отпечатанного сигнального экземпляра.

Это горький и страшный образ — жалкие остатки интеллектуальной элиты, загнанные на чердак. Но самое страшное — впереди. Мы, читатели, с естественным нетерпением ждем: каковы они, те смелые идеи, которые рождает эта самая элита. Наконец, перед нами раскрываются страницы запрещенного журнала, и это действительно самый горький миг в книге П. Валё: «Он (комиссар Иенсен.— *Вл. М.*) принялся изучать разворот, посвященный выяснению физиологической стороны вопроса: почему падает рождаемость и растет импотентность? По обе стороны текста были помещены две большие фотографии голых женщин»... И все.

Вот уж где ни грана художественного домысла или преувеличения! Сейчас в Швеции появилась довольно многочисленная группа молодых, радикально настроенных, действительно талантливых писателей и кинематографистов. Творчество их, неоднородное, противоречивое, естественно, требует особого разговора. Но вот что в высшей степени характерно для работ большинства из них: радикализм, антибуржуазность, оппозиционность странным образом сводятся к упорному штурму цензурных бастионов, но в одном лишь направлении — сексуальной свободы. На эту примечательную особенность «бунта» молодых интеллектуалов обратил внимание критик Йорн Доннер, полемизируя с режиссером Вильготом Шёманом относительно «стремления художника к преодолению цензурных табу» (сам Шёман сражается с «табу» крайне активно и недавно поставил фильм «Постель брата и сестры», название которого почти полностью отражает его содержание). Доннер резонно замечал на страницах журнала «БЛМ», что «борьба с ограничениями в сфере эротического не есть акт высшего мужества. Существует «табу» на многие проблемы политического и социального порядка, «табу» окружает церковь, жизнь рабочих и чиновничества, но с этими «табу» никто не осмеливается сражаться...»

К жуткому финалу приводит свое повествование Пер Валё. Руководство концерна взрывает небоскреб, чтобы окончательно и бесповоротно стереть с лица земли заточенную в 31-м отделе интеллектуальную элиту. До чего наивная фантазия: концерны обычно возглавляют неглупые люди, так станут ли они портить добро, дабы избавиться от «революционеров», пытающихся сотрясти устои буржуазного общества скандальными порнографическими эскападами.

ВЛ. МАТУСЕВИЧ

ИЗДАНО ЗА РУБЕЖОМ

ТРАДИЦИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ В АВСТРИЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Literatur und Kritik. Wien-Salzburg, April—November, 1966.

В апреле 1966 года австрийские читатели получили первый номер нового литературного журнала «Литературунд критик». «Основная наша задача,— писали издатели,— документировать существование австрийской литературы. Может быть, нам удастся в каждом номере прибавлять несколько новых имен к числу тех, которые в сознании читателя связаны с Австрией, даже если носители их и живут за границей. Вторую задачу мы усматриваем в столь часто упоминаемой посреднической роли Австрии. Можно надеяться, что нам *и впредь* (курсив мой.— *С. Ш.*) удастся публиковать новые произведения, написанные на славянских и некоторых других языках, поскольку пути сообщения, связывающие Вену с Прагой, Варшавой, Будапештом, Бухарестом, Белградом, Софией и — кто знает,— пожалуй, даже с Москвой, все еще короче, чем какие-либо другие коммуникации. Наша третья задача — критика».

Мы не зря выделили здесь слова «и впредь» — они недвусмысленно свидетельствуют о том, что журнал «Литературунд критик» возник не на пустом месте. В самом деле, стоит только взглянуть на имена людей, подписывающих журнал: Герхард Фрич, Рудольф Генц, Пауль Крунторад — три писателя, возглавляющие ныне редакцию нового журнала, много лет подряд руководили изданием литературно-художественного ежемесячника «Ворт ин дер цейт», который прекратил существование в декабре 1965 года и за одиннадцать лет своей деятельности успел составить себе прочную репутацию радетеля национальной австрийской литературы.

Перед нами — только несколько номеров нового журнала, и пока еще трудно сказать,

сколь существенно будет его отличие от «Ворт ин дер цейт», но сходство уже очевидно: «Литературе унд критик» так же стремится представлять читателю новые произведения австрийской литературы и ее новых авторов, так же стремится развивать связи с литературами социалистических стран Европы.

Чем же порадовали читателя первые выпуски нового журнала? Они показывают, что редакция намерена с научной обстоятельностью рассматривать существенные проблемы истории и теории литературы — истории литературы преимущественно австрийской, теории литературы применительно к современным ее аспектам.

Помещенная во втором номере статья Курта Кролопа «К истории и предыстории немецкой литературы в Праге» освещает интересную и сравнительно мало изученную главу литературы XX века — деятельность пражских авторов Франца Верфеля, Эгона Эрвина Киша, Макса Брода, Густава Мейринка, Франца Кафки и других литераторов, писавших на немецком языке. Подданные Австро-Венгрии, этой «организованной путаницы из десятка языков и наций» (Энгельс), они жили в самом горниле национальных и социальных противоречий, не затухавших в обширной империи Габсбургов. Кролоп отмечает существенные этапы идейной и эстетической эволюции «немецкого острова» в Праге, взаимоотношения отдельных группировок на этом острове, противоборствующие тенденции, которые привели в итоге к политическому размежеванию таких писателей, как Верфель и Киш; сообщает немаловажные подробности из истории создания или публикации тех или иных произведений. (Для читателей Кафки, в частности, небезынтересен эпизод из его биографии, побудивший его к написанию рассказа «Голодарь».)

Интересные вопросы ставит напечатанный в третьем номере журнала автореферат книги итальянского исследователя Клаудио Магриса «Габсбургский миф в австрийской литературе». Действительно, даже при самом беглом обзоре австрийской литературы, сложившейся после краха империи, то есть после 1918 года, бросается в глаза обилие произведений, посвященных судьбам «Какании», начиная с романа Роберта Музиля «Человек без качеств» (первое издание 1931—1932), где родилось это ироническое наименование Австро-Венгрии *, вплоть до романов и повестей, созданных уже после второй мировой войны, как «Штрудельхофштиге, или Мельцер и толща лет» (1951) Хеймито фон Додерера или «Жертвенник» (1961) Георга Зайко.

События 1918 года — окончание войны и крушение многовековой империи Габсбургов — вызвали к жизни особую тему австрийской литературы, тему «падения». Как и почему пала империя и что ждет в будущем самое Австрию — «туловище с обрубленными членами»? К началу 30-х годов, когда образовавшаяся дистанция позволяла уже более спокойным взором окинуть прошлое, а надвигавшаяся угроза фашизма вызывала глубокую тревогу за будущее, эти проблемы оказались в центре австрийского романа, где рядом с «Человеком без качеств» стоят «Марш Радецкого» и «Склеп капуцинов» Йозефа Рота.

Но Клаудио Магриса, автора упомянутой статьи, занимает не внешняя общность темы и не эволюция жанра — он рассматривает наряду с известными романами рассказы и драмы, автобиографии и мемуары. В центре его внимания — любопытный историко-социологический феномен: своеобразное мифотворчество при воссоздании прошлого Австрии, идеализация этого прошлого в противовес настоящему. Миф об утраченной идиллии, объясняет автор статьи, родился не вдруг: он опирается на извечную привычку к лестному преображению действительности, усвоенную подданными Дунайской империи и сохранявшуюся ими долгие годы после гибели самой империи. Путем кропотливого анализа множества произведений Магрис воссоздает общую для многих австрийских писателей идеализированную картину «патриархальной семьи народов», во главе которой стоял воплощенный символ монархии — «героическая посредственность» — престарелый Франц-Иосиф. Бесперспективный застой, царивший в империи, представлен в этой картине как некая норма неторопливого, размеренного существования — в отличие от последующих «бурных» времен; мещанская самоуспокоенность и декадентский культ наслаждения — как некий потерянный языческий рай.

Однако, как ни убедителен анализ итальянского исследователя, сколь ни обилен привлеченный им материал, трудно понять, почему для него существует только один исторический рубеж — 1918 год. Многие из цитируемых им произведений сложились не после 1918, а после 1938 года, то есть после «аншлюсса» и эмиграции лучших сил австрийской культуры за границу, и хотя «габсбургский миф», элегическая грусть о былом величии действительно свойственны австрийской литературе в период между двумя мировыми войнами, истинно трагическое звучание эти мотивы приобретают уже в годы фашизма.

В этом смысле очень характерны две части эпопеи Йозефа Рота. «Марш Радецкого» — первая часть дилогии, изданная в 1933 году,— сочетает в себе насмешку над косной бюрократией и чванливой военщиной «Какании» с легитимистским оправданием монархии и тоской по невозвратимому прошлому. В «Склепе капуцинов», где повествование доходит до марта 1938 года — до вступления нацистских полчищ в Вену,— прощание с прошлым носит уже глубоко трагический характер.

В третьем же номере много материалов из современной австрийской литературы — фрагмент из неоконченного романа недавно

* От сокращения «K. und K.» («Kaiserlich und Königlich») — императорская и королевская.

погибшего молодого писателя Конрада Байера «Шестое чувство», новые стихи — автор их Альфред Коллерич, поэт и журналист из Граца, член весьма своеобразного объединения писателей, художников, музыкантов и архитекторов «Форум Штадтпарк», сложившегося в этом городе. И, наконец, статья Петера Хотевича об Артмане, организаторе одной из литературных групп послевоенной Австрии «Нейе веге» при журнале того же названия, и «душе» многих других литературно-эстетических кружков. Итак: прошлое и настоящее австрийской литературы, традиция и современность.

Хотя существование австрийской литературы, отличной от немецкой, ныне общепризнанный факт, все же то там, то здесь на страницах периодической печати вновь вспыхивает спор по этому вопросу. В самом деле, как определить в наши дни границы и признаки той или иной национальной литературы, если не принимать во внимание ее историю и унаследованные ею традиции? Симптомы общих «болезней» роднят ныне литературы многих стран Запада. А здесь еще прибавляется общность языка, на котором пишут в Германии и Австрии, и тот факт, что многие австрийские писатели — Элиас Канетти, Эрих Фрид, Пауль Селан, Ингеборг Бахман и другие — живут и работают вдали от родины, стремясь найти для себя более широкую читательскую аудиторию и более благоприятные издательские возможности; все это, видимо, еще долгое время не даст поставить точку в столь давнем споре.

В мае 1965 года редакция журнала «Ворт ин дер цейт» открыла дискуссию на тему «Австрийская литература или литература в Австрии» и в ходе ее напечатала одноактную пьесу Артмана «Для Чермака перца нет».

Пьеса Артмана — убедительный пример сочетания национальной традиции с приметами литературной современности. По существу это театр абсурда, по форме — венский народный фарс с традиционными типами венского предместья (где, кстати, родился и вырос сам Артман), с традиционной обстановкой, к тому же написанный на венском диалекте, на котором писал и классик австрийской драматургии Иоганн Непомук Нестрой.

Особое внимание к творчеству Ганса Карла Артмана позволяет заключить, что редакция журнала ставит его в первый ряд ныне здравствующих австрийских писателей, хотя и Артман — блудный сын, пока еще не возвратившийся под отчий кров: он живет в Западном Берлине.

Большой портрет Кафки смотрит на нас с обложки четвертого номера. Сенсация: здесь впервые опубликована якобы принадлежащая Кафке пьеса «Полет вокруг лампы». История пьесы сложна и запутанна: это не подлинный текст, а перевод с перевода, более того — это и не подлинная пьеса, а драматизация прозаических набросков, сделанная в 1922 г. режиссером Людеком Мандаусом. Редакция печатает пьесу в дискуссионном порядке и призывает читателей, которым что-либо известно о ее происхождении, поделиться своими сведениями.

Пересказать содержание пьесы, равно как и дать какое-либо однозначное толкование заключенным в ней символам, почти невозможно. Здесь причудливо смешиваются два мира — живых и мертвых: призраки умерших подчас выходят из тела живого человека, и над обоими мирами время от времени кружит муха, летающая вокруг лампы и странным образом захватившая воображение героини пьесы, юной Клэр.

Участники дискуссии, завязавшейся вскоре после опубликования пьесы (см. №№ 6 и 8), почти единодушно отвергают версию об авторстве Кафки, обвиняя Мандауса в неуклюжей литературной мистификации. А по мнению писателя Иоганнеса Урцидиля, друга Кафки, Мандаус «перекафкал» Кафку, навязав ему такие элементы абсурдности, которых у него не было.

«Полет вокруг лампы» занял почти весь четвертый номер журнала, оставив лишь немного места для короткой новеллы и скудного критического материала. Автор новеллы (она называется «Разносчик») — Петер Хандке, молодой австрийский прозаик (род. в 1943 году), так же как и Коллерич, член объединения «Форум Штадтпарк», недавно выпустивший свой первый роман «Шершни» (история ослепшего человека, который мысленно восстанавливает эпизоды прожитой жизни). В первом номере журнала «Литератур унд критик» есть рецензия на эту книгу, в которой она причисляется к роду микро- или предметных романов (видимо, близких к французскому «новому роману»), а сам Петер Хандке объявляется «надеждой австрийской литературы». Своеобразие манеры Хандке ощутимо и в этом коротком фрагменте его прозы: протокольная точность описаний сочетается с глубоким драматизмом ситуации.

На страницах первого номера журнала, к которому теперь было бы уместно вернуться, в полном соответствии с редакционной декларацией уделено много внимания молодым и относительно молодым австрийским писателям.

Здесь выступает с новеллой Томас Бернгард, уже стяжавший себе славу романом «Холод», удостоенным в 1965 году литературной премии города Бремена. Роман этот написан от лица врача, который инкогнито ведет наблюдение за художником, удалившимся от мирской суеты в суровый горный край. И в этом романе и в следующем произведении — повести «Амрас» Томас Бернгард обнаруживает интерес к глубинам подсознания и сложным состояниям человеческой психики. Новелла «Яурегг», напечатанная в первом номере,— еще один шаг автора по уже намеченному пути: герой новеллы, молодой человек, загнанный, как зверь в клетку, в тесный мирок уединенного поселка возле каменоломни, мучительно борется с грозящим ему душевным недугом.

Первый номер предоставляет трибуну также поэту и новеллисту Гергарду Рюму, сподвижнику Артмана и Байера; и самому Артману, публикующему здесь новые стихи «Курс наук в семь дней творенья»; и совсем юному дарованию — поэту Рейнгарду Присницу (род. в 1945 году), который печатается впервые.

Встречаем мы на страницах журнала имя уже сравнительно «маститого» и признанного поэта Андреаса Окопенко, автора нашумевшего в свое время сборника стихов «Зеленый ноябрь» (1957). Еще в 1954 году Окопенко был удостоен премии Георга Тракля; вскоре после этого он возглавил группу молодых авторов, которая занималась поэтическими экспериментами и одно время даже выпускала авангардистский листок «Публикации группы молодых авторов». В «Литератур унд критик» Окопенко печатает новеллу опять-таки с формальным изыском: повествование — записки молодого человека об экскурсии за город с коллегами — разворачивается не с начала событий, а с конца, постепенно возвращаясь к началу. Как мы уже упоминали, третий и четвертый номера преподносят читателю произведения Конрада Байера и Петера Хандке, а в пятом большое место занимает лирика — здесь выступает с новыми стихами Фридерика Майрёккер, известная больше как новеллистка; недавно она выпустила очередной сборник стихов «Умерщвленная музами». Признаться, автор этих строк не усмотрел в стихах Фридерики Майрёккер, построенных на игре аллитераций, на сочетании «синтаксических фрагментов» и чисто случайных смысловых ассоциациях, ничего кроме голого экспериментаторства и литературной позы. Верный своему курсу — традиция и современность,— журнал помещает в шестом номере обстоятельную статью о творчестве недавно умершего австрийского романиста Хеймито фон Додерера, мастера монументального романа, и в восьмом — отрывок из нового романа писателя среднего поколения, начавшего путь литератора уже после второй мировой войны,— Ганса Леберта. Первый роман Ганса Леберта «Волчья шкура» (1960), с четкой антифашистской тенденцией, был переведен на многие языки и удостоен австрийской государственной премии. Война и ее следы в душах людей — эта тема звучит и в новом произведении Леберта, романе «Огненный круг».

В первых номерах журнал представил также произведения чеха Богумила Грабала и поляка Стефана Киселевского, венгра Ференца Юхаса и серба Миодрага Павловича.

Создается впечатление, что журнал «Литератур унд критик» делает серьезные усилия для того, чтобы расширить представления читателей об австрийской литературе, и стремится стать существенным звеном в той цепи, которая издавна связывала австрийскую культуру с культурами стран Восточной Европы.

С. ШЛАПОБЕРСКАЯ

БУНТ В ОДИНОЧКУ

William Mcilvaney. Remedy is None. London, Eyre and Spottiswoode, 1966.

Первый роман молодого шотландского писателя Уильяма Макилвени носит пессимистическое название — «Лекарства нет». Еще один юный герой, еще одна печальная судьба. Равнодушие и непримиримость, отчужденность и желание изменить мир, бунт и туманность цели — вот противоречия, в которых запутался герой романа Чарли Грант, столкнувшись с первым трагическим событием в своей жизни. Поначалу кажется, что повествование звучит камерно, приглушенно. Автор не торопится заинтересовать своим героем. Мы впервые встречаем его в университетской аудитории, где он в пол-уха слушает лекцию о Ромео и Джульетте. Что там Ромео, вот у него, у Чарли, действительно трудное положение! Похоже, что Мэри беременна, а жениться сейчас совсем некстати — нужно кончить университет. Обыкновенный молодой человек, обычные благоразумные рассуждения Но это естественное течение жизни нарушается известием, что умирает его отец. Телеграмма застает Чарли в студенческой столовой, и он не сразу постигает глубину и неотвратимость события, а видит только ближайшие его последствия: может быть, придется бросить университет, а главное — он встретится с Мэри раньше, чем предполагал.

И только в поезде, когда он едет в родной город, и позже, во время разговора с умирающим отцом, до него доходит весь смысл происходящего. Умирает сильный, жизнерадостный, добрый человек, но как бессмысленно и бесплодно прошла его жизнь! Не его вина, что жена покинула его, простого рабочего, с тремя детьми на руках и ушла к другому, ловкому, преуспевающему. Еще страшнее, что отец готов признать себя виновным во всех неудачах. Умирая, он просит сына продолжать учиться, чтобы стать человеком, а не ничтожеством, каким всю жизнь был его отец. Чарли не может примириться с этим смирением. «Кто решил, что человека можно расценивать по ярлычкам, не имеющим никакого отношения к его личности, что деньги — мерило человеческих достоинств? И как случилось, что этот человек согласился с тем, что все, чем он обладал, ничего не стоит по сравнению с домом на восемь комнат, дощечкой с его именем на дверях, с машиной, со счетом в банке?»

По шотландскому обычаю, у постели умирающего сходятся дальние и близкие родственники, выражая печальным безмолвием притворную или искреннюю скорбь. Чарли ужасает это лицемерие и беспомощность. Надо что-то делать. Вот уже похоронили отца, и жизнь продолжается. Все так же за-

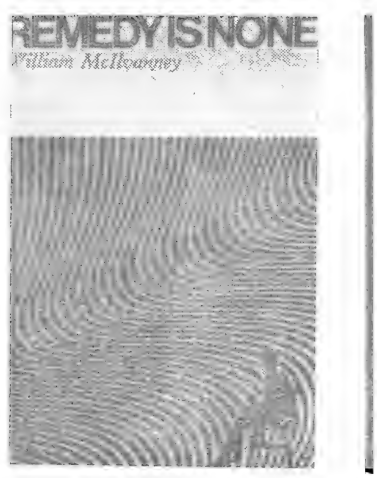
нят работой и семьей старший брат Джон, все так же нежничает с женихом сестра Элизабет; беззастенчиво пытается присвоить жалкие накопления покойного — кучку металлолома — его приятель Мик.

Надо действовать. Бунтующая, слепая, наивная мысль Чарли ищет выхода в поступках. Он избивает Мика, он обрушивает негодующие тирады на Элизабет и ее жениха, он порывает с Мэри, а когда приезжает его мать со своим вторым мужем Уайтмором и предлагает детям помощь, Чарли на минуту кажется, что он нашел истинных виновников мировой несправедливости, и он в яростной драке убивает Уайтмора.

Только в тюрьме он понимает, что его поступок никому не открыл глаза, все осталось по-прежнему. Таким же ужасающим, как равнодушие к смерти отца, кажется ему теперь участие в его судьбе родных и друзей, уловки адвокатов. Он тщетно пытается объяснить это своему защитнику. «Я убил человека. Вы можете судить об этом, как вам угодно. Но вы не можете рассматривать мое преступление и не видеть того, другого. Я хочу сказать, что отвечаю за то, что мое. И пусть я буду за это расплачиваться. Но кто ответит за то, другое? И кто будет расплачиваться за него? Вот что важно. Множество людей ответственны за то преступление. Все, кто хоть когда-нибудь задумался над тем, что такое человек. Все равнодушные заслуживают осуждения... Нельзя делать вид, что люди ничего не значат. Людям нужны не только пища, питье и постель. Каждый должен иметь возможность быть человеком. Каждый. Каждый бесконечно много значит. Или никто. Даже бог. Никто».

Роман постепенно набирает более широкое социальное звучание, достигающее кульминации в сцене с адвокатом. Тут сталкиваются два взгляда — наивное и в то же время активное отношение к жизни Чарли упирается в равнодушие умудренного опытом юриста. Он пытается объяснить своему подзащитному, что юстиция не занимается предупреждением преступлений, ей нет дела до социальных установлений, она определяет только меру вины преступника. Собеседники не могут понять друг друга, не может понять истинных мотивов преступления и суд. Чарли приговаривают к пожизненному заключению, которое, может быть, сведется к десяти-двенадцати годам тюрьмы.

В английской прессе высказывалось мнение, что Чарли Грант — Гамлет наших дней. Суждение это основывалось на сходстве сюжетной ситуации: месть за отца, уход от любимой девушки, попытки отвлечь от глубоких размышлений. И действительно, сюжеты легко накладываются один на другой, но как далек от Гамлета сам герой. Рефлексия Гамлета — результат его душевной и интеллектуальной зрелости. Месть ни-



чего не изменит в этом «море зла». Чарли не умеет размышлять, он торопится действовать, он полон решимости и веры в силу поступка. Размышления приходят позже, когда убийство уже совершено.

Негодование, бунт против лицемерного, несправедливого устройства мира скорее роднят Чарли Гранта с героями Осборна и Уэйна, но есть одна очень существенная черта, которая отделяет его от них. Чарли бескорыстен. Его не занимает собственная судьба, он думает обо всем человечестве. Он не знает и не ищет путей, какими можно идти к социальному переустройству, но не хочет мириться с несправедливостью. И не догадывается, что ничего нельзя изменить в одиночку.

Роман написан рукой талантливого писателя. Трудно представить, что это первая книга молодого прозаика. Жесткая сюжетная основа тонет в глубоком изображении внутренней жизни героя, в колоритных бытовых сценах. Автор смело вводит под конец целую главу, в которой вся история Чарли Гранта трактуется с пошлой, обывательской точки зрения. Ее выражает Эванс — репортер провинциальной газеты, ранее не действовавший в романе. Эванс вполне доволен законами жизни, счастливо применился к ним и считает, что раскусил этого Чарли Гранта. Все дело в зависти сына-бедняка к преуспевающему дельцу Уайтмору и в дурацком пуританском воспитании, а может быть, и в эдиповом комплексе.

Как будто грустный конец у романа: и Чарли остается в тупике, и автор считает, что «лекарства нет», а все-таки вопреки пессимистическому выводу Макилвени читателю верится: если существуют люди, неравнодушные к судьбам мира, рано или поздно они найдут верный путь.

К. АТАРОВА

Памяти Л. В. Никулина

Тяжелую, невозместимую утрату понес коллектив «Иностранной литературы». Скончался талантливый писатель, неутомимый исследователь, один из основателей «Иностранной литературы», бессменный член редакционной коллегии журнала Лев Вениаминович Никулин.

Писатель Лев Никулин прожил необычайно богатую событиями, напряженную и многотрудную жизнь. Никогда, с самых молодых лет, он не искал средостения между собой и временем, потому что с первых лет революции вместе с лучшими представителями интеллигенции посвятил себя общему делу.

Не только писателем, не только очевидцем исторических событий был Лев Никулин. Политработник Красной Армии, газетчик, лектор, дипломат — таким его знали в первые годы Советской власти: активного, преданного борца за идеи революции. Таким он и прошел всю свою жизнь — беспокойным, неутомимым, ищущим.

Широк был круг интересов писателя, неизменно ощущавшего пульс своего времени. Читателям запомнились и его «Письма об Испании» начала тридцатых годов, и очерки о Турции, и автобиографическая эпопея «Время, пространство, движение».

Тяготение писателя к большим историческим темам, к широкому охвату действительности, присущее ему еще в двадцатые годы, нашло свое воплощение в создании широко известных романов «России верные сыны» и «Московские зори». Заслуженным признанием пользуются произведения последних лет: «С новым счастьем», «Трус», «Мертвая зыбь», книга о маршале Тухачевском.

Работоспособность Л. В. Никулина, взыскательность к себе и уважительное, доброжелательное отношение к труду своих собратьев по перу, широта его интересов и умение глубоко вникнуть в описываемые события могут служить примером для нас.

Признанный писатель, чей талант заметил в свое время и окрылил добрым напутствием Горький, Лев Вениаминович был человеком творчески общительным, жизнелюбивым. Книга воспоминаний Л. В. Никулина о людях русского искусства собрала такие имена, как Репин, Шаляпин, Лариса Рейснер, Блок, Бунин, Луначарский, Маяковский, Алексей Толстой, Бабель. Ему были близки интересы современной зарубежной литературы. Он был деятельным членом редакционной коллегии журнала — архив журнала хранит множество его рукописных рецензий на произведения, напечатанные в журнале, рецензий конкретных, всегда вскрывающих суть произведения.

Он поддерживал широкие связи с деятелями зарубежного искусства. Его ежегодные поездки во Францию, где он в течение многих лет лечился, использовались им для укрепления этих связей. Он возвращался на родину, обнаружив новые, неизвестные нам материалы из творческого наследия деятелей нашей революции и нашей литературы.

О многом хотелось бы сказать, прощаясь со Львом Вениаминовичем Никулиным. Нам всегда будет не хватать его, прекрасного товарища, неутомимого труженика, обаятельного и умного собеседника, так много сделавшего для нашей литературы и культуры.

Редакция журнала «Иностранная литература»

ИЗ МЕСЯЦА В МЕСЯЦ

АВСТРАЛИЯ

«ПОРА МОЛОДОСТИ»

Вышел в свет новый роман известного австралийского писателя Джуды Уотена—«Пора молодости». В нем рассказана история буржуазной мельбурнской семьи, один из отпрысков которой становится писателем. Судьбы главных действующих лиц обрисовываются на фоне жизни рабочих кварталов Мельбурна и Сиднея 20-х годов нашего века. Эта двуплановость повествования, способствующая правдивому отображению социальных контрастов, по словам рецензента еженедельника «Трибюн» Джун Миллз, делает книгу яркой и убедительной.

«Мой роман,— говорится в авторском предисловии,— ни в коей мере не автобиографичен, и главные его герои не списаны с каких-либо конкретных людей».

Джун Миллз отмечает, что писателю особенно хорошо удалось показать атмосферу дома богатой меценатки, у которой собираются поэты, литераторы и журналисты. Быту именно этих людей и противопоставляется трудовая и полная лишений жизнь обитателей рабочих кварталов.

АВСТРИЯ

НОВЫЙ «ТАГЕБУХ»

«К читателям, подписчикам и друзьям!» — такое обращение поместил австрийский журнал «Тагебух» в последнем номере за 1966 год. Начиная с января 1967 года журнал выходит только 6 раз в год. Журнал вообще едва не прекратил своего существования из-за финансовых трудностей: у него нет средств на оплату сотрудников.

«Перед нами встал вопрос: может ли журнал как-то существовать дальше, или он должен послужить еще одним доказательством «умирания» австрийской прессы?» — говорится в редакционном обращении. Однако выход нашелся: отныне сотрудники не будут получать жалованья. Они решили выпускать журнал безвозмездно, на общественных началах. «Тагебух» расширит круг тем, постарается охватить разные области знаний. Редакция надеется на поддержку интеллигенции, ученых, писателей, художников.

АНГЛИЯ

АНТИВОЕННЫЙ СПЕКТАКЛЬ ПИТЕРА БРУКА

Известный английский режиссер Питер Брук осуществил недавно на сцене лондонского театра «Олдвич» силами Королевского Шекспировского театра постановку под названием «US» (сокращенное обозначение Соединенных Штатов.— *Прим. ред.*), которая вызвала широкий отклик английской и зарубежной прессы.

«US» — безусловно, значительная веха в театральной жизни Англии»,— пишет критик Майкл Биллингтон в журнале «Плейз энд плейерз». Постановка этой «документальной программы», как ее называют газеты, осуществлена по тексту Дениса Кеннана, в ней использованы положенные на музыку стихи Адриана Митчелла и подлинные документы. Спектакль идет 3 часа, в нем заняты 25 актеров. Репетиции спектакля проводились под строгим секретом; за пределами театра знали лишь, что Питер Брук готовит пьесу о Вьетнаме. Представление распадается на две части, различные по настроению, но органически связанные между собой. Первая часть рассказывает о событиях во Вьетнаме, вторая касается реакции публики на увиденное на сцене, отношения каждого зрителя к войне, которую ведут США во Вьетнаме.

В этом спектакле Питеру Бруку, по мнению рецензента, удалось соединить несколько театральных стилей. Реалистическая манера прекрасно уживается здесь с условной, в спектакле использованы элементы восточного театра, интересно задумано музыкальное и световое оформление. Если до этой постановки на английской сцене жанр документальной драмы по традиции был обращен к прошлому, то в «US» Питеру Бруку, по словам Биллингтона, «удалось соединить тему огромной современной значимости с высоким театральным мастерством».

История вьетнамского кон-

Сцена из спектакля «US».

(Журнал «Плейз энд плейгрз»)

фликта наглядно и кратко излагается с помощью стилизованных афиш, сменяющих одна другую. Затем идет сцена подготовки морских пехотинцев США перед отправкой во Вьетнам, далее — налет американской авиации на вьетнамские города и села. Большое впечатление производит сцена самосожжения буддийского монаха... В знак протеста против зверств американцев во Вьетнаме сжигает себя перед зданием Пентагона американский квакер Норман Моррисон... Девушка с микрофоном здесь же, на сцене, комментирует все эти события (ее роль исполняет Гленда Джексон, мастерство которой получило высокую оценку рецензента).

Во второй части один из участников спектакля произносит обвинительную речь в адрес всех тех, кому безразличны события, происходящие «где-то» далеко от их дома. «С помощью многообразных средств театрального воздействия Питер Брук обрушил на зрителя простое обвинение в гражданском равнодушии, — пишет критик.—Огромное значение этого спектакля состоит именно в том, что он заставляет каждого сидящего в зале пересмотреть свое отношение к происходящей войне».

Мастерство и гражданское мужество режиссера получили заслуженное признание прогрессивной печати. «Хвала ему за это»,— пишет газета «Морнинг стар».

В то же время лондонский корреспондент американской газеты «Нью-Йорк таймс» Мартин Эсслин разразился бранью по адресу Питера Брука и его постановки. «Это мрачный спектакль,— брюзжит Эсслин.— По-моему, вся постановка катастрофически провалилась». Но он тут же выдает себя с головой: «Весь материал спектакля носит антиамериканский характер, это несправедливо».(!?) И все же мистеру Эсслину пришлось признать, что в спектакле «имеются блестящие актерские и режиссерские находки».

БОЛГАРИЯ

«СВЕТИЛЬНИК ВО ТЬМЕ»

Под таким заголовком газета «Народна култура» опубликовала статью Стояна Стоименова о распространении советской литературы в Болгарии во времена реакции и фашизма.

Весной 1932 года в Софии появилось частное книжное издательство «Нов свят», руководимое находившейся в подполье Коммунистической партией Болгарии. По указанию партии оно начало выпускать советскую литературу в переводе на болгарский язык. Первой книгой, выпущенной издательством, был классический труд В. И. Ленина «Империализм как высшая стадия капитализма». Затем вышла в переводе Г. Бакалова книга В. И. Ленина «Что делать?», его труды по аграрному вопросу. Вышла также книга В. Сорина «Биография Ленина».

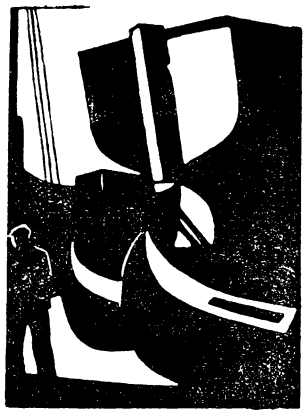
После военного переворота в мае 1934 года для издательства «Нов свят» наступили тяжелые времена. Была введена строгая цензура, и в течение нескольких месяцев после переворота нельзя было выпустить ни одной советской книги. Летом 1934 года Болгария установила дипломатические отношения с Советским Союзом, и издательство «Нов свят» возобновило свою деятельность. Было издано несколько художественных произведений советских писателей, а в 1938 году вышла «Малая философская научная энциклопедия», составленная по советским источникам. В этот период в числе других появились переводы «Поднятой целины» Шолохова, «Энергии» Гладкова.

Наступил 1941 год. Многие работники издательства и переводчики были арестованы. Но и в этот период удавалось нелегально издавать как переводы книг советских писателей, так и революционные произведения болгарских авторов. В это время втайне от цензуры была издана биография В. И. Ленина.

СВИДЕТЕЛЬ ЭПОХИ

Известный болгарский писатель Георгий Караславов закончил четвертую часть исторической эпопеи «Простые люди». Это крупное художественное полотно, рисующее жизнь болгарского села первой половины нашего века. В четвертой части охвачены события военно-фашистского переворота 9 июня 1923 года и Сентябрьское восстание того же года.

Критик Георгий Константинов писал в еженедельни-



«Лодки» — рисунок Г. Вичева, экспонировавшийся на Второй национальной выставке молодых художников.

(Журнал «Изкуство»)

ке «Литературен фронт»: «Четвертая часть, как и вообще вся эпопея «Простые люди», являет собой сознательное и демонстративное противопоставление метода социалистического реализма разного рода модным увлечениям»... Георгий Караславов чужд легковесной импровизации, надуманности и ложного пафоса, продолжал критик. Он — сторонник детального, точного, сознательно бесстрастного реализма.

«Повествование задумано как художественная, документально обоснованная летопись переломной эпохи. Герои, события, выводы — все это раскрывает внутреннюю суть переходного периода, увиденную глазами современника. Таким образом, автор выступает в повествовании не только как художник, но и как свидетель эпохи».

ГДР

ПРИСУЖДЕНИЕ ПРЕМИИ ИМЕНИ ГЕЙНЕ

Десятый раз состоялось традиционное присуждение премий имени Генриха Гейне, приуроченное, как обычно, ко дню рождения великого писателя. На этот раз премию получили поэт Гельмут Прейслер и австрийский писатель и журналист Бруно Фрей.

Во время торжественной церемонии с речью выступил лауреат премии Гейне 1965 года писатель Генрих Кноблох. Он высоко оценил поэтическое творчество Прейслера, автора многих поэтических сборников, отметил заслуги поэта перед обществом. «Поэзия Прейслера — достойный вклад в развитие социалистической национальной литературы ГДР,— сказал Кноблох. — В его стихах отражен мир чувств и мыслей современного человека».

Жизнь и творчество Бруно Фрея тесно связаны с судьбой немецкого народа. Фрей — публицист, писавший о революционном рабочем движении. Его репортаж о Вьетнаме, датированный 1959 годом, до сих пор не потерял своей злободневности. «Основная тема Бруно Фрея — борьба за мир,— сказал Кноблох.— Его девиз: «любить людей и правду».

Заместитель Председателя Совета Министров ГДР Александр Абуш в своем приветствии пожелал Фрею дальнейших успехов и выразил надежду, что он и впредь будет служить образцом для молодого поколения, того поколения, к которому относится и Гельмут Прейслер.

Бруно Фрей поблагодарил правительство ГДР за оказанную ему честь. «ГДР — это государство, где «слово стало делом» именно в том смысле, как понимал его сам Гейне»,— сказал Бруно Фрей.

«ЗОЛОТОЙ ЛАВРОВЫЙ ВЕНОК» ГРЮНУ

«Иностранная литература» уже сообщала (см. № 8, 1966), что по роману западногерманского писателя Макса фон дер Грюна «Светляки и пламя» был создан телевизионный фильм. Этот фильм с большим успехом демонстрировался в ГДР. Телевидение ГДР, как сообщила печать, наградило писателя «Золотым лавровым венком».

ФРГ

МАКСИМИЛИАН ШЕЛЛ — ДРАМАТУРГ

Известный западногерманский киноактер Максимилиан Шелл (советским зрителям он знаком по фильму «Нюрнбергский процесс», где исполнял роль адвоката) недавно дебютировал как драматург. На сцене театра «Каммершпильхауз» в Бохуме состоялась премьера его пьесы «Герострат».

«Герострат» — пьеса сатирическая и, как справедливо заметил автор в беседе с журналистами, «абсолютно современная». Место действия — греческий город Эфес, где в 356 году до нашей эры честолюбивый маньяк сжег знаменитый храм Артемиды. Правда, ныне древний Эфес модернизирован: на улицах асфальт, светофоры, будки телефонов-автоматов. В городском публичном доме — все современные удобства, делами там управляет священник... В храме Артемиды, в одном из залов которого заседает парламент, толпами бродят туристы, жужжат кинокамеры, ведет передачи телевидение. В разгаре предвыборная борьба между политическими партиями...

Сцены заседания парламента и банкета депутатов, речи министров и демагогические выступления политического лидера, написанные Шеллом в остро сатирической манере, вызывают вполне определенные ассоциации и с «банановыми республиками», и с «третьим рейхом», и с событиями в Далласе, и, пожалуй, с Боннom... Как заявил Шелл перед премьерой: «Пьеса не документальная, но в ней нет ничего такого, что я не встречал бы в действительности».

Главный герой пьесы — молодой бездельник Севастьян Микропулос, сын депутата парламента и будущего министра,— жаждет прославиться любым путем. Для начала он затевает скандальную историю: женится на проститутке, поклявшись ей никому не говорить о ее прошлом, но в последнюю минуту церемонии граждан-

ого брака цинично преда-
свою супругу, и та конча-
жизнь самоубийством.
иятельному папаше удает-
«замять» дело. Севасть-
а осеняет новая идея:
джечь храм Артемиды. К
уществлению этого замыс-
он привлекает при помо-
и обмана и шантажа бед-
го грека Никоса. После
жара в храме Никоса аре-
овывают.

«Кандидат в диктаторы»
прокоракас, воспользовав-
ись ситуацией, расправ-
ется со своими политиче-
ими противниками, вешая
расстреливая их без суда
следствия.

Долгожданная «слава»
иходит к Севастьяну лишь
сле того, как он убивает
пистолета арестованного
икоса на глазах у десят-
в фото- и кинорепортеров
у чем не Джек Руби?). В
ремную камеру к «герою»
оникают, разумеется, с ве-
ма властей, представители
мых распространенных
урналов, соперничающих
право первыми опублико-
ть мемуары Севастьяна.
днако последнего триумфа,
котором мечтает Геро-
рат — сесть на электриче-
ий стул перед объектива-
телекамер,— его лишают
казнят в глухом подвале...

ОЛЛАНДИЯ

ЕАТР» К 50-ЛЕТИЮ ТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Одна из ведущих теат-
льных трупп Голландии
еатр», постоянное место
ебывания которого город
нем (в Голландии у те-
ральных коллективов нет
бственных помещений),
ет представления глав-
м образом в восточных
овинциях страны. В ре-
ртуаре труппы произведе-
я Бернарда Шоу («Пиг-
лион» и «Святая Иоан-
»), Жана-Поля Сартра
Дьявол и господь бог») и
ртольта Брехта («Бара-
ны в ночи» и «Господин
унтила и его слуга Мат-
»), Джона Осборна («Ог-
нись во гневе»), Генрика
бсена, Карло Гольдони,
жеймса Джойса и др.
реди премьер — пьеса мо-
лодого американского не-
гритянского писателя Лероя
Джонса.

Как сообщает корреспон-
дент газеты «Хэт фрэйе
фолк», в настоящее время
«Театр» создает своими си-
лами спектакль о Великой
Октябрьской социалистиче-
ской революции, чтобы отме-
тить 50-летие этого всемирно-
исторического события. Дей-
ствие его охватит подго-
товку и осуществление Ок-
тябрьской революции, а
также период борьбы за
победу Советской власти в
России. Корреспондент «Хэт
фрэйе фолк» особо выделя-
ет тот факт, что актриса
труппы Лизолет Бейкмэйер
освобождена от других за-
нятий, с тем чтобы зани-
маться сбором и обработ-
кой материалов для спектак-
ля, который намечено пока-
зать в октябре 1967 года.

ИНДИЯ

НОВОСТИ КИНО

За последнее время индий-
ское кино, по утверждению
национальной критики, обо-
гатилось несколькими пер-
воклассными произведения-
ми.

Большой успех у зрите-
лей имел фильм режиссера
С. Рам Шармы «Борец» о
национальном герое Бха-
гат Сингхе. На экране ожи-
вают страницы истории ин-
дийского народа, его борь-
бы за свободу, против анг-
лийских колонизаторов.

Значение картины для
молодежи современной Ин-
дии трудно переоценить,
пишет рецензент еженe-
дельника «Блиц». Бхагат
Сингх и его соратники бы-
ли выходцами из разных
племен и народов страны,
но родина у них была одна,
и за ее освобождение они
боролись, не жалея жизни.
Образ главного героя соз-
дан талантливым актером
Маноджем Кумаром.

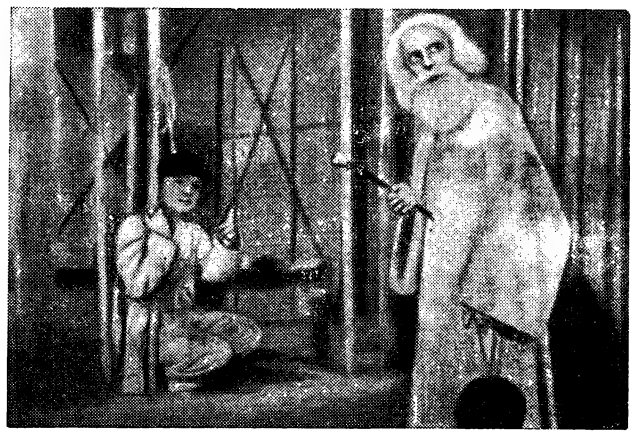
Это произведение отме-
чено одновременно тремя
премиями: специальной на-
градой президента за рас-
крытие темы «Националь-
ное объединение», призом
за лучший сценарий и се-
ребряной медалью прези-
дента за лучший художе-
ственный фильм на хинди.

Золотая медаль прези-
дента за лучший художест-
венный фильм года при-
суждена цветной картине
«Креветки», созданной ре-
жиссером штата Керала —
Раму Кариатом.

«Креветки» — экраниза-
ция одноименного романа
Такажи Шивасанкара Пил-
лэ. Опубликованная в
1956 году, книга эта была
удостоена премии Литера-
турной академии Индии и
медали президента как
лучшее произведение года.
Роман вышел в русском
переводе. По решению
ЮНЕСКО, роман был пе-
реведен также на основные
языки мира.

Кадр из фильма «Почта».

(Журнал «Фильмфэр»)



Неизменным успехом пользуется цветной фильм «Почта», поставленный продюсером - режиссером Зулом Веллани. Критика отмечает великолепную игру ветерана индийского кино Сачина Кумара, создавшего правдивый, глубоко человечный образ Рабиндраната Тагора.

ИСПАНИЯ

РЕПРЕССИИ ПРОТИВ ПИСАТЕЛЕЙ

Недавно в Мадриде начался заочный суд над писателем Мигелем Санчесом Масасом, который вот уже восемь лет вынужден жить в изгнании в Швейцарии. Он обвиняется в «клевете на главу государства» и в «нелегальной, враждебной правительству пропаганде». Поводом для обвинения послужили статьи Масаса «Испанский кризис и новое поколение» и «О проблемах сегодняшней Испании», написанные еще в 1957 г., в которых писатель анализирует положение в Испании. Прокурор потребовал приговорить обвиняемого заочно к восемнадцати годам заключения.

Одновременно в другом зале мадридского суда начался процесс над молодым писателем Исааком Монтеро, автором книги «Один день в апреле». Ему предъявлено аналогичное обвинение.

ИТАЛИЯ

«ЧЕЛОВЕК 1967 ГОДА»

Итальянский писатель-сатирик, известный кинодраматург и теоретик киноискусства Чезаре Дзаваттини, которого в свое время в Италии называли «мозгом неореализма», написал пьесу «Человек 1967 года» для миланского Малого театра («Пикколо театра ди Милано»). Героя этой пьесы зовут... Чезаре Дзаваттини.

Драматург уже давно высказывал намерение создать произведение о современном человеке, которое носило бы чисто автобиографический характер. Однако это должен был быть сценарий фильма (с таким же названием, как и пьеса), который собирался ставить режиссер Витторио Де Сика — тесное творческое содружество между ним и Дзаваттини продолжается уже почти тридцать лет. Впрочем, уже не впервые сначала на свет появляется «театральный вариант», за которым следует фильм (так было с первой комедией Дзаваттини «Как создается киносценарий», пользовавшейся большим успехом на сцене в 50-х годах, вслед за которой был поставлен близкий ей по содержанию фильм «Бум», созданный сценаристом в содружестве с Де Сика). При постановке своих фильмов Де Сика и Дзаваттини, однако, часто наталкиваются на препятствия (главное из них — отсутствие необходимых финансовых средств), на их преодоление уходят порой долгие годы. Так, между написанием сценария о человеке, вынужденном продать глаз, и постановкой фильма «Бум» прошло лет 10—15.

СКАЗКИ, НАПИСАННЫЕ В ТЮРЬМЕ

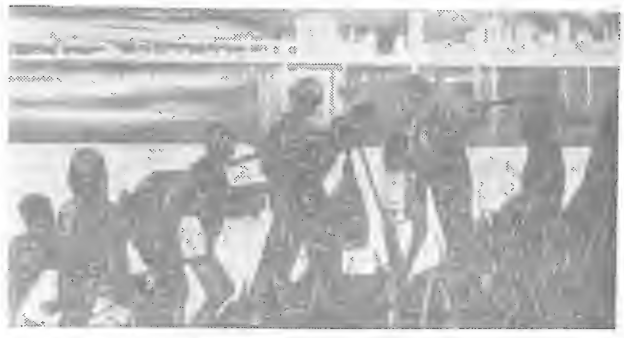
Издательство «Эдитори риунити» выпустило прекрасное подарочное издание книги «Дерево ежа» — сказки, написанные в тюрьме основателем Итальянской коммунистической партии Антонио Грамши. Как известно, Грамши сочинял эти сказки для своих сыновей Делио и Джулиано и отправлял их на свободу в письмах. «Личность Грамши остается исключительной, поистине неповторимой даже в тех случаях, когда он обращается к детям — интересуясь их маленькими повседневными делами, давая им советы, стремясь воодушевить их, воспитать их ум, сердце, пробудить в них фантазию»,— пишет автор рецензии на книгу в литературном приложении к газете «Паэзе сера».— Эти страницы занимательны для детей, столь же интересны для родителей и могут быть весьма полезны для учителей и воспитателей, которые легко обнаружат заложенные в них глубокие и современные мысли о воспитании».

Книга снабжена иллюстрациями известной художницы Марии Энрики Агостинелли.

«СЕРДИТЫЙ» ХУДОЖНИК

Имя молодого художника из Ломбардии Антонио Рекалькати стало известно широкой публике в 1964 году, когда в Риме была устроена его первая персональная выставка. Уже тогда его работы привлекли всеобщее внимание своей выразительностью, острой социальной направленностью и психологизмом. Недавно в римской галерее «Фанте ди Спаде» открылась вторая выставка работ Антонио Рекалькати. По единодушному суждению итальянской критики, новая выставка демонстрирует воз-

Картина Антонио Рекалькати «Цепь».
(Журнал «Ринашита»)



росшее мастерство художни-
ка. Картины Рекалькати ли-
шены описательности, в них
всегда присутствует острый
конфликт и большое напря-
жение, даже когда он обра-
щается к обыденным, на
первый взгляд, темам. Имен-
но поэтому буржуазная пе-
чать назвала его «одним из
самых сердитых художников
нашего времени». Показы-
вая жизнь простых людей,
Рекалькати в своих картинах
одинаково умело использует
как деревенский, так и го-
родской пейзаж.

«Когда смотришь картины
этого художника,— пишет
обозреватель еженедельника
«Ринашита» Антонио Дель
Гверчо,— кажется, будто чи-
таешь рассказ, написанный
от первого лица,— настолько
они выразительны. В них
есть и грустный юмор, и
гнев, и боль... Мастерство
Рекалькати находится в ста-
дии становления, однако
уже совершенно ясно, что
это настоящий художник,
один из лучших среди моло-
дых художников Европы».

МОНГОЛИЯ

ЮБИЛЕЙ ТЕАТРА

Драматическому театру
Улан-Баторе исполнилось
5 лет. За годы своего су-
ществования театр поста-
вил большое количество
пьес национальных и зару-
бежных авторов, в том чис-
ле советских. Одной из пер-
вых пьес, с успехом постав-
ленных в театре, был «Бро-
непоезд № 14-69» Всеволо-
да Иванова.

Много лет не сходит со
сцены театра музыкальная
драма «Среди печальных
гор». Ее либретто было на-
писано одним из основопо-
ложников современной мон-
гольской литературы — Д.
Нацагдоржем, 60-летие ко-
торого недавно отмечалось.

Театр широко популяри-
зирует произведения нацио-
нальной драматургии. В
прошлом году состоялись
премьеры пьес «Хозяева»
Ц. Вангана, «В новом до-
ме» Д. Намдага, «Златокудр
девушка» П. Хорло.

Отмечая большие заслуги
театра в деле развития мон-
гольской культуры, Президиум Великого народного хурала наградил группу артистов театра орденами и медалями, присвоил им почетные звания. Звание Народного артиста республики присвоено известному монгольскому актеру Д. Дамдинсурэну, который создал на сцене образ В. И. Ленина.

ОАР

ПЬЕСА ГОРЬКОГО ПОЛУЧАЕТ ПРЕМИЮ

В Каире прошел фестиваль театрального искусства египетских провинций.

Как пишет обозреватель журнала «Аль-Адаб» Сами Хашба, спектакли провинциальных театров продемонстрировали любителям театрального искусства «радостную, обнадеживающую картину будущего драматургии в Египте».

Большинство показанных на фестивале пьес принадлежит перу египетских авторов. Исключение составили только две пьесы: «На дне» Горького, поставленная театральной труппой города Александрии, и «Мертвые без погребения» Сартра (труппа города Аль-Мансура).

Среди произведений национальной драматургии были представлены как пьесы старых, маститых драматургов вроде Тауфика аль-Хакима, так и пьесы молодых авторов. Некоторые из пьес молодых драматургов каирские зрители увидели впервые. К ним относятся «Солдаты и разбойники» Альфреда Фарага, «Буря» Махмуда Диаба и «Делегат» Михаила Румана.

Первая премия была присуждена жюри фестиваля театру Александрии за постановку пьесы Горького «На дне».

Обозреватель дает высокую оценку пьесе Махмуда Диаба «Буря» в постановке труппы города Кафр эш-Шейх. В пьесе «Буря», талантливо поставленной молодым режиссером Хуссейном Гома, рассказывается о современной египетской деревне, о победе в ней новых отношений между людьми над старыми традициями и предрассудками вроде варварского обычая кровной мести. Хашба считает «Бурю» значительным вкладом в египетскую национальную драматургию.

ПОЛЬША

УНИКАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ

В течение нескольких лет коллектив сотрудников Института истории партии при ЦК ПОРП занят подготовкой объемистого сборника (70 издательских листов!) — об участии поляков в Великой Октябрьской социалистической революции и Гражданской войне в СССР (1917—1920 гг.),— который будет носить название «Книга биографий».

Как известно, в борьбе за победу Советской власти в России принимали участие многие тысячи польских патриотов. «Поляки были среди штурмовавших петроградский Зимний дворец и московский Кремль, были на Балтийском и Черноморском флотах, под Псковом в 1918 году, под Царицыном в 1919 году, в Крыму — в 1920 году»,— пишет историк Александр Коханский в еженедельнике «Польское обозрение».

В «Книге биографий» будут собраны тщательно проверенные данные о 7000 поляков, боровшихся за победу первой в мире социалистической революции. Книга расскажет о таких известных революционных деятелях, как Феликс Дзержинский, Бронислав Веселовский, Франциишек Гжельщак, Станислав Пестковский, Станислав Косиор, Феликс Кон, Юлиан Мархлевский, Михаил Левандовский, и многих других, а также о нескольких тысячах до сих пор неизвестных борцов, сведения о которых работникам Института истории партии удалось обнаружить в польских и советских архивах в результате длительной, кропотливой работы.

«Книга биографий» выйдет из печати накануне 50-летия Октября.

ЖИВЫЕ ОБРАЗЫ

На Варшавской студии документальных фильмов и на Лодзинской студии научно-популярных фильмов создаются короткометражные ленты о современных польских писателях. Недавно по варшавскому телевидению был показан фильм о Марии Домбровской. В нем были использованы документы и фотографии, рассказы людей, близко знавших писательницу, отрывки из постановки драмы «Станислав и Богумил» и документальные съемки Калиша — города, близ которого родилась Мария Домбровская.

В серии «Портреты польских писателей» вышел также фильм «Академия Яна Бжехвы» — об известном литераторе, пишущем для детей. По словам рецензента еженедельника «Жице литерацке», авторы фильма показали, как творчество этого писателя воспринимают дети, как они представляют себе героев его произведений. Любовь молодых читателей свидетельствует о популярности Бжехвы среди детей. Рисунки и пластилиновые фигурки Утки-шалопутки, детские спектакли «Зоопарка» и школьный урок о Бжехве многое говорят о творчестве этого писателя и о его читателях.

Выпущены также фильмы «Ежи Шанявский», «Ян Парандовский», «Игорь Неверли».

«ОТ ЖИЛЕТКИ РУКАВА»

Книгу польской писательницы Ханны Ожоговской под таким названием включил в почетный список имени Ханса Кристиана Андерсена Международный попечительский комитет молодежи, который занимается пропагандой и распространением подлинно художественных книг для детей и юношества.

Книга Ожоговской повествует о первых жителях послевоенной Варшавы, о городе, до основания разрушенном гитлеровскими оккупантами. Как отмечает критика, заслуга Ханны Ожоговской состоит в том, что она показала, как в невыносимо трудных условиях люди сумели сохранить уважение друг к другу, как они совместно — с верой в лучшее будущее — пережили все испытания времени. Именно благодаря их человечности и оптимизму восстала из пепла нынешняя красавица Варшава.

Ожоговская — вторая польская писательница, получившая медаль Международного попечительского комитета молодежи. В 1964 году такая медаль была вручена Ирене Юргелевич за книгу «Тот чужой».

ПОРТУГАЛИЯ

САЛАЗАР БОИТСЯ ПИСАТЕЛЕЙ

Начало 1967 года было ознаменовано в Португалии конфискацией документальной книги «Вьетнам — Второе Сопротивление», сборника сказок «Имитация счастья» Таварэса Родригиса, произведений Сатау Монтейро «Статуя» и «Священная война», а также закрытием издательства «Минотавр», выпустившего упомянутые произведения Монтейро.

Запрещено отмечать пятидесятилетие литературной деятельности известного писателя Феррейры ди Каштру, автора «Девственного леса» — одного из выдающихся произведений современной португальской литературы.

Сатау Монтейро арестован. В двух последних его произведениях — «Статуя» и «Священная война» — содержится резкая критика салазаровской военщины. Ему предъявлено обвинение «в измене родине». Положение его осложняется тем, что он — офицер запаса, и ему может угрожать военный трибунал. Есть сведения, что салазаровская охранка намерена организовать показательный процесс по делу Монтейро.

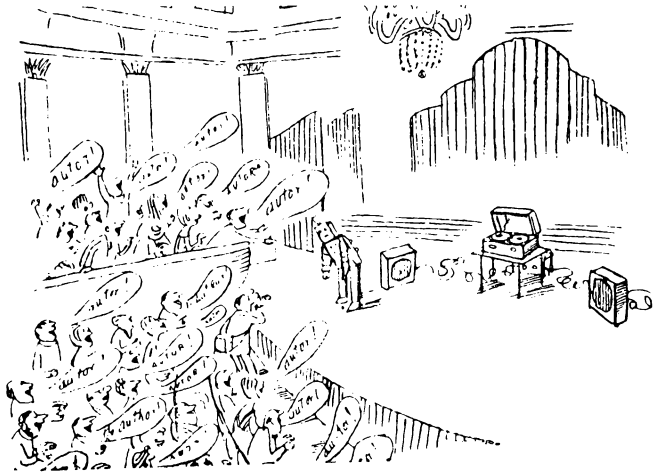
Как сообщает печать, власти предъявили обвинение также писателям Натали Коррейа, Мурао Феррейре и Луису Пашеку.

РУМЫНИЯ

О ПРОБЛЕМАХ ТЕАТРА

Обсуждение проблем современной отечественной драматургии — одна из

Международный фестиваль современной музыки «Варшавская осень» — рисунок Кароля Ферстера из еженедельника «Польское обозрение» (публика вызывает автора).



лавных тем сегодняшней умынской прессы. «Иностранная литература» опубиковала сообщение (см. ь 10, 1966) об интервью раматурга Пауля Эверака. след за ним на страницах женедельника «Контемпоанул» выступили драматурги Х. Ловинеску, Ал. Миодан, Ек. Опрою, Т. Мазиу; в газете «Скынтейя» — . Чулей.

Журнал «Театрул» опубиковал анкету, на которую тветили около 30 писатей, драматургов, театральых деятелей. В их числе— . Ловинеску, Ал. Миродан, . Дориан, П. Эверак, Ал. ойтин, М. Бенюк, Э. Бару, С. Дрэгушану, С. Фэрэшан, Ш. Андраш, Т. Бупекан, И. Бэйешу, Р. Кошу, Х. Станку и др.

«Я думаю, что основное нимание следует уделять ворчеству молодых автоов,— заявил Хория Ловиеску.— Систематическая оранизация экспериментальых спектаклей раскроет еред нами творчество, обаз мышления, проблемы олодых».

Его поддержала драматург Сидония Дрэгушану: Я бы предложила провоить активные поиски ноых талантов...»

Ион Бэйешу сказал: «Сабытные пьесы о совреенности? Их мало потому, то писателей, которые огли бы написать подобые пьесы, не привлекают работе для театра».

Хория Станку говорил о м, что «...надо найти споб публикации большего оличества пьес и смелее убликовать драмы и комеии, если даже они не ень сценичны. Театр — о ведь и литература... одходящую форму можо найти: дешевые массое издания, приложения литературным журналам т. д.».

Дорел Дориан затронул облему экспериментальх студий, Ал. Миродан— емий драматургам, Т. Букан — проблему связей аматурга с театром, Бенюк говорил о репераре театров.

США

«ВЬЕТ-РОК» В ОЦЕНКЕ ЗРИТЕЛЕЙ

На сцене небольшого нью-йоркского театра «Мартиник» идет пьеса «Вьет-рок», направленная против американской войны во Вьетнаме. Газета «Нью-Йорк таймс» опубликовала рецензию своего театрального обозревателя Керра, который обрушивается с нападками на автора и постановщика пьесы Миган Терри, в частности обвиняя ее в том, что она в своем спектакле не предлагает никакого выхода из того тупика, в который зашла американская политика во Вьетнаме.

Рецензия эта вызвала поток писем в редакцию от зрителей, часть из которых «Нью-Йорк таймс» опубликовала под заголовком «Им нравится пьеса «Вьет-рок».

«Если бы Миган Терри, драматург и постановщик, имела готовый ответ на вопрос, поставленный г-ном Керром,— пишет в своем письме Маргарет Баркер из Нью-Йорка,— то она безусловно находилась бы в кресле Раска или Макнамары, а не в театре «Мартиник».

«Вьет-рок» — одна из наиболее оригинальных, захватывающих постановок нового сезона,— так оценивает спектакль Барбара Ричнак из Уайт-Плейнса,— и мне жаль тех, кто не посмотрит ее, поверив статье г-на Керра. Его главный упрек заключается в том, что Миган Терри не предлагает никакого выхода из положения, сложившегося во Вьетнаме. Можно подумать, что в задачу драматурга входит найти решение, которого до сих пор не могут найти ни наш президент, ни конгресс, ни военачальники, ни дипломатический корпус, ни политики... Направляясь в театр, г-н Керр, вероятно, ожидает увидеть спектакль-интригу, знакомые персонажи, и последнее — по счету, но не по значению,— услышать песенки в бравурном ритме. А если постановка, любая постановка, не соответствует этой формуле — бродвейской формуле,— то, по его мнению, такая постановка не выдерживает экзамена».

ДЖЕКУ ЛОНДОНУ ПОСВЯЩАЕТСЯ

Один из номеров издающегося в Чикаго журнала «Американ бук коллектор» посвящен Джеку Лондону в связи с отмечавшейся недавно 50-й годовщиной со дня смерти писателя.

Статьи для номера написаны дочерью писателя Джоан Лондон, литературоведом Филиппом Фонером и другими.

Джоан Лондон пишет о результатах проведенных ею исследований биографии отца писателя, Уильяма Чани, о котором до сих пор почти ничего не было известно. Она впервые подробно характеризует Чани, подчеркивая, что он был не просто странствующим астрологом, как до сих пор сообщали биографы Лондона, но прекрасным математиком, литератором, общественным деятелем.

Фонер посвятил свою статью оценке творчества Лондона. Отдав ему должное как художнику, он указывает на значение его произведений для распространения идей социализма в США.

Две работы журнала содержат анализ наиболее значительных произведений Лоидона. Это статьи К. Петерсона «Тема рассказа «Разжечь костер» и Ф. Фуллера «Мартин Иден» и критический реализм».

Статья Хэла Уотерса посвящена взаимоотношениям Анны Струнской и Джека Лондона, автор ссылается на интервью, взятые у Струнской незадолго до ее смерти. К этой статье примыкает небольшая заметка Джоан Лондон, посвященная обстоятельствам развода Лондона с первой женой, матерью Джоан. Как известно, после ухода Лондона из семьи пресса назвала виновницей развода Анну Струнскую, соавтора романа «Письма Кемптона и Уэйса». И Джоан Лондон и Уотерс с большой тепло-

той говорят о Струнской, называя ее женщиной кристальной чистоты и честности. Назвав по совету адвоката без должных оснований в качестве виновницы разрушения семейного очага Струнскую, мать, по словам Джоан, пыталась таким путем оказать давление на отца, очень уважавшего Анну. Но такой ее поступок лишь ухудшил дело и привел к обратному результату. Два года спустя выяснилось, что Лондон ушел из семьи из-за Чармейн Киттредж, на которой он женился.

Приводятся данные Х. Вудбриджа о последних публикациях произведений Лондона в различных странах: во Франции, Италии, Дании, Швеции, Польше, Румынии и т. д. Только за последние 3—4 года романы и рассказы писателя издавались в Японии, на Кубе, в Югославии, в Чехословакии, Финляндии, Исландии, Венгрии — на языках этих стран.

В номере воспроизведены обложки первых изданий книг Лондона, опубликованных в США и других странах.

РОЖЕ ГАРОДИ В США

Известный французский критик Роже Гароди был недавно приглашен ассоциацией студентов прочесть цикл лекций в Гарвардском и Сент-Луисском университетах. «В консульстве США, — рассказал писатель,— мне дали заполнить бланк со следующими вопросами: «Не наркоман ли вы? Не страдаете ли заразными заболеваниями? Не являетесь ли членом коммунистической партии?» Заполняя анкету, я признался, что состою членом Французской коммунистической партии целую треть века — тридцать три года. В визе мне отказали. Но так как меня приглашали очень почтенные университеты, консульство снеслось с государственным департаментом и через три недели я получил визу.

В США меня ожидало множество приглашений, но, выступив в восьми университетах по вопросам, касающимся марксизма, я не смог воспользоваться остальными, так как меня ограничивал двухнедельный срок пребывания в стране».

«В университетах заметна явная оппозиция войне во Вьетнаме,— продолжал писатель.— Порядок такой: если студенты получают низкие оценки, их отправляют воевать во Вьетнам. И вот, уже одиннадцать университетов отказались представлять отметки на призывные пункты. А в других университетах преподаватели систематически ставят всем студентам завышенные оценки, чтобы спасти их от участия в войне.

Самое мрачное впечатление на меня произвела расовая сегрегация, которая приводит к тому, что в каждом городе, даже на Севере, существуют негритянские гетто... В Филадельфии я жил в доме протестантского теолога. Они с женой усыновили негритянского мальчика. И если наличие негритянских гетто — прошлое, эхо средневековья, то последний факт принадлежит уже будущему Америки».

ТУРЦИЯ

НАД ЧЕМ ВЫ РАБОТАЕТЕ?

С таким вопросом стамбульский литературный журнал «Еди тепе» («Семь холмов») обратился к нескольким турецким писателям.

Крупнейший литературовед профессор Тахир Алангу готовит биографию Омера Сейфеддина — основоположника современного турецкого рассказа. По мнению профессора, до сих пор в Турции не создано ни одной художественной биографии. Его книга будет первой попыткой. Кроме того, Т. Алангу готовит сборник статей о литературе.

Поэт М. Андай закончил перевод автобиографии Б. Пастернака и начал работу над переводом повести И. Эренбурга «Оттепель».

Романист Орхан Ханчерлиоглу готовит издание «Философского словаря» и одновременно работает над книгой «История мысли».

Орхан Кемаль сообщил, что у него готовы к сдаче в печать четыре романа: «Улица Зеленой мечети», «Один из домов», «Скверная дорога» и «Дитя». Кроме того, в производстве находятся сборник рассказов «Прежде — хлеб» и второй том романа «Муртаза».

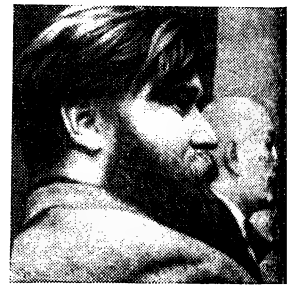
Поэт Невзат Устюн заканчивает комедию «Лотерея» и одновременно работает над книгой рассказов «Говорит мертвец», а также над книгой публицистических статей.

ФИНЛЯНДИЯ

ОСУЖДЕН «ЗА БОГОХУЛЬСТВО»

«Иностранная литература» уже сообщала (см. № 6, 1965) о шумихе, поднятой вокруг книги Ханну Саламы «Танцы в Иванов день». Позорная кампания травли писателя, начатая финским архиепископом и поддержанная бывшим министром юстиции Финляндии, закончилась триумфом ретивых защитников веры. Верховный суд приговорил писателя Ханну Саламу «за богохульство» к трем месяцам условного тюремного заключения и трем годам полицейского надзора. Осужден «за кощунство» также издатель К. Рээнпяя, выпустивший книгу Саламы. Кроме того, автор «Танцев в Иванов день» и издатель

Салама во время судебного заседания.
(Газета «Кансан уутисет»)



во, выпустившее книгу в свет, обязаны уплатить государству 46 000 финских марок — сумму, которая по подсчетам составила доход от продажи книги. Сама же «вредоносная» книга по решению суда должна быть уничтожена.

По словам корреспондента газеты «Дагенс нюхетер», «верховный суд изменил своему долгу, осудив Ханну Саламу и его издателя. Те, кто участвовал в травле Саламы, — пишет корреспондент,— кто внес свою лепту в то, чтобы суд состоялся, а вместе с ними и сами вершители суда похожи на детей или дикарей, которые при встрече с произведением искусства обращают внимание лишь на одну какую-либо его деталь, по тем или иным причинам бросившуюся им в глаза. Нечто подобное произошло и в деле Саламы».

Судьи усмотрели «преступление» в том, что один из героев книги «Танцы в Иванов день», напившись пьяным, позволяет себе иронические и не совсем почтительные высказывания в адрес всевышнего...

Немецкая писательница Криста Вольф, находившаяся в то время в Финляндии, заявила представителям печати: «Я не могла поверить, что эта история с процессом о богохульстве — правда. Сначала я решила, что это просто трудный для понимания финский анекдот...»

ФРАНЦИЯ

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРЕМИИ ЗА 1966 ГОД

Присуждение главных литературных премий года во Франции происходит в торжественной обстановке и является значительным событием в культурной жизни страны. За 1966 год Гонкуровской премии удостоен роман Эдмонды Шарль-Ру «Забыть Палермо», а премии Теофраста Ренодо — роман Жозе Кабаниса «Битва под Тулузой». Это реалистические произведения, ничего общего не имеющие ни с одним из модных течений. Французская критика дает высокую оценку этим книгам.

«Забыть Палермо» (издательство Грассэ) — первый роман журналистки Эдмонды Шарль-Ру — в прошлом участницы вооруженной борьбы против фашизма. Действие романа происходит попеременно в двух противопоставляемых друг другу мирах: в Америке и в Европе. Показан Нью-Йорк—царство шумной рекламы, продажной прессы, где все подчинено наживе. Ему противостоит Палермо — крестьяне и помещики, нищета, мафия, мечты и настоящая любовь...

Рецензент газеты «Юманите» назвал роман «подлинной летописью века». Эльза Триоле написала, что «книга похожа на своего автора. Пылкая, прямая, смелая — превосходная книга».

Обозреватель еженедельника «Юманите-диманш» пишет, что это «роман о невозможности забыть то, что составляет и первую любовь и первое горе. Нельзя забыть Палермо, как нельзя забыть молодость».

Мнение рецензента газеты «Монд»: «Это симфония двух миров. Сопоставление двух континентов, двух систем, двух мифологий. Здесь и Сицилия с ее мечтами, анархией, нищетой и Америка, в которой человек теряет индивидуальные черты, сливается с навязанным ему стереотипом».

Рецензент газеты «Комба» пишет: «Закрыв книгу, я понял, что прочел богатую, многоцветную хронику. Это настоящая литература!»

Обозреватель еженедельника «Нувель обсерватер» подчеркивает многогранность книги: «Книга теплая и щедрая, в ней ощущается дыхание мира и людей».

«Битва под Тулузой» (издательство Галлимара) — шестой роман Жозе Кабаниса. Герой романа давно уже вынашивает замысел написать исторический роман о своих предках, принимавших участие в битве под Тулузой в 1814 году между наполеоновскими войсками и англичанами. Но рассказчику не удается осуществить задуманное. В жизнь властно вторгается современность и отодвигает историю...

Андре Стиль в газете «Юманите» пишет, что автор отобразил французскую действительность — человеческую действительность нашего времени.

Обозреватель еженедельника «Ар-луазир» восторженно отзывается о произведении, язык которого «поэтичен и льется свободно, как песня».

■

Гран-при Французской академии за роман «Французская история» (издательство Грассэ) получил писатель и эссеист Франсуа Нурисье. Его роман «Французская история»—заключительная часть трилогии под общим названием «Всеобщая тревога». Это роман о тревоге, ощущаемой сорокалетним французом, который «плохо себя чувствует в своей шкуре и в своей стране».

«MADE IN USA»

Вышел на экраны фильм Жана-Люка Годара «*Made in USA*», действие которого разворачивается в Атлантик-Сити, городе на побережье Атлантики. Годар переносит зрителя в недалекое будущее. В маленьком бистро с традиционным названием «При выходе из вокзала» снуют секретные агенты разных стран. В обрывках разговоров слышатся упоминания об убийстве Кеннеди, о деле Бен-Барки, о преследованиях коммунистической партии... По словам самого Годара, это фильм политический, фильм о будущем, о событиях, которые могут произойти, но которых прогрессивная общественность не должна допустить.

Альбер Сервони пишет в еженедельнике «Франс нувель»:

«Несмотря на то, что в фильме общество изображено условное, перенесенное из мира реального в мир воображаемый, и что краски сильно сгущены, его значение — в гневном разоблаче-

Кадр из фильма «Made in USA».

(Еженедельник «Леттр франсез»)

нии всякого насилия и пассивного к нему отношения».

В еженедельнике «Леттр франсез» Пьер Дэкс очень высоко оценивает картину, сравнивая ее по силе воздействия с «Герникой» Пикассо. Он считает, что в «*Made in USA*» Годар передвинул часы жизни так, что они перескочили на два-три календарных года вперед. И вот мы по шею, по уши увязли в мире, где так обычны преступления, что убийства Кеннеди и Бен-Барки упоминаются равнодушно, как нечто обыденное...

Фильм впечатляет. Я уверен, что через столетие учителя истории, чтобы показать, как жили в шестидесятые годы XX века, будут демонстрировать своим ученикам этот фильм. И он не потребует объяснений. Его будут смотреть и понимать, как сегодня смотрят и понимают «Гернику».

ШВЕЦИЯ

«БЕСЕДЫ В ХАНОЕ»

В октябре 1965 года известной шведской писательнице Саре Лидман удалось в числе немногих европейцев посетить Демократическую Республику Вьетнам. Это не была туристическая поездка. Писательница встречалась со многими людьми, жила их жизнью, разделяла их боль и страдания, подвергалась вместе с ними опасностям.

Вышедшая недавно книга Сары Лидман «Беседы в Ханое» явилась своего рода отчетом писательницы об этой поездке.

Лидман рассказывает также о вьетнамском движении Сопротивления. Борьба против французов, японцев и теперь против американцев — это только малая часть той борьбы, которую пришлось вести вьетнамскому народу за свою независимость. Первый вьетнамский национальный фронт освобождения, пишет Лидман, был создан еще в начале нашей эры (в 39 году). Вьетнам тогда выступил против феодального Китая. Восстанием руководили сестры Трунг. Так что участие женщин в вооруженной борьбе — это тоже очень старая традиция, отмечает писательница.

Лидман обвиняет в своей книге американцев, принесших горе и страдания вьетнамскому народу, и одновременно выступает против всех тех, кто под видом насаждения в слаборазвитых странах цивилизации пытается эксплуатировать и угнетать целые нации.

В интервью газете «Сёндагс актуельт» Сара Лидман сказала:

«У нас много общего с американцами. За каждый доллар, вложенный в экономику Южной Америки, американцы получают два. Я убеждена, что не менее «талантливо» это получается и у Швеции. Мы приходим в «третий мир» как разбойники».

Прогрессивная печать Скандинавских стран очень высоко оценила книгу Лидман. Газета «Норшкенс фламман» назвала «Беседы в Ханое» «одной из самых значительных книг года», а ее автора — «лучшим до сих пор пропагандистом Вьетнама».

ЮАР

ДНЕВНИК ИЗ РАСИСТСКОГО ЗАСТЕНКА

В Лондоне опубликован «Тюремный дневник Олби Закса» — молодого южноафриканского борца против апартеида. Закс провел сто шестьдесят восемь суток в одиночном заключении в южно-африканской тюрьме, подвергаясь допросам и издевательствам. Все это время он вел дневник, который, по словам литературного критика газеты «Морнинг стар» Тэрри Бэлла, рисует ужасающую картину жизни в этом полицейском государстве.

Олби Закс — не профессиональный литератор; однако южно-африканский апартеид, который по прямой линии унаследовал все от гитлеровского расизма, показан в его «Дневнике» с гражданским мужеством и гневом, напоминающим обличительную силу фучиковского «Репортажа с петлей на шее», пишет Бэлл.

Авторы этого номера

ИРЖИ ТАУФЕР — JIŘI TAUFER (род. в 1911 г.).

Стихи чехословацкого поэта, критика и переводчика Иржи Тауфера часто публикуются в советских периодических изданиях. В 1961 году на русском языке вышел один из наиболее популярных его стихотворных сборников «Летопись» («Letopis»).

Большое место в творчестве Тауфера занимают переводы и литературные исследования. Им переведены многие произведения советской поэзии, написаны исследования о Горьком, Маяковском, Гоголе и соотечественниках Тауфера — Незвале, Библе, Неймане. В 1962 году вышла мемуарно-публицистическая книга Тауфера «Страна, люди, поколение» («Strana, lidé, pokolení»).

В этом номере мы публикуем отрывок из его поэмы «Тема — память» («Téma paměť», 1966).

МАКС ФОН ДЕР ГРЮН — MAX VON DER GRÜN (род. в 1927 г.).

Первая книга западногерманского писателя-шахтера Макса фон дер Грюна «Люди одной ночи» («Männer in zweifacher Nacht») вышла в 1962 году.

Мы публикуем, с небольшими сокращениями, второе крупное произведение писателя «Светляки и пламя» («Irrlicht und Feuer», 1963).

ВИКТОР ГАРСИА РОБЛЕС — VICTOR GARCIA ROBLES (род. в 1933 г.).

Произведения аргентинского писателя — поэта и прозаика, лауреата конкурса «Каса де лас Америкас» в Гаване — В. Гарсиа Роблеса часто публикуются в литературных журналах Латинской Америки.

В этом номере читатель найдет стихи, которые вошли в его сборник «Слушайте, смертные» («Oid, mortales», 1965).

АНДЖЕЙ БРЫХТ — ANDRZEJ BRYCHT (род. в 1935 г.).

Польский писатель Анджей Брыхт дебютировал в 1954 году как поэт. В 1960 году он получил премию города Лодзи за лучший очерк. В последние годы вышли: сборник очерков «Красный уголь» («Czerwony węgiel», 1960), книга стихов «Время без Марии» («Czas bez Marii», 1961) и сборники рассказов «Сухие травы» («Suche trawy», 1961) и «Опускание земли» («Opadanie ziemi», 1962).

Повесть «Дансинг в ставке Гитлера» («Dancing w kwaterze Hitlera») вышла в 1965 году.

РОБЕРТ ЛОУЭЛЛ — ROBERT LOWELL (род. в 1917 г.).

Публикуя подборку стихов Роберта Лоуэлла, мы знакомим читателя с творчеством одного из виднейших представителей современной поэзии США.

Стихи, помещенные в номере, вошли в последнюю книгу Лоуэлла «Павшие за союз» («For the Union Dead», 1964), которая уже выдержала несколько изданий.

ЧИНУА АЧЕБЕ — CHINUA ACHEBE (род. в 1930 г.).

Литературная деятельность нигерийского писателя Чинуа Ачебе началась в 1954 году. Известность ему принесла трилогия «И пришло разрушение» («Things Fall Apart»), «Потеря покоя» («No Longer at Ease») и роман «Божья стрела» («Arrow of God»), получивший премию английского еженедельника «Нью стейтсмен». Первые два романа были переведены на русский язык. Они вышли также в Германии, Италии и Испании.

В этом номере мы публикуем роман «Человек из народа» («A Man of the People»), вышедший в 1966 году.

МИКЕЛАНЖЕЛО АНТОНИОНИ — MICHELANGELO ANTONIONI (род. в 1915 г.).

Итальянский кинорежиссер, одна из крупнейших фигур в современной кинематографии, постановщик фильмов: «Крик», «Затмение», «Ночь», «Приключение», «Красная пустыня».

■

КАРТАР СИНГХ ДУГГАЛ (род. в 1917 г.).

Перу индийского писателя-новеллиста и драматурга К. С. Дуггала принадлежит более 35 книг. Наиболее известные из них: «Войне — нет!» (1953), «Рвать цветы строго воспрещается» (1954), «Семь пьес» (1955) и сборник рассказов «Чудеса» (1957).

Статья, публикуемая в номере, получена редакцией в рукописи.

■

АЛЕКСАНДР ВЕРТ (род в 1901 г.).

Английский журналист А. Верт родился в Петербурге. В 1917 году родители увезли его из России. Но, будучи гражданином Великобритании, он не забыл русский язык, сохранил интерес к СССР. В годы второй мировой войны и после нее он был в СССР в качестве корреспондента. Его сообщения и радиопередачи из Москвы легли в основу книги «Россия в войне 1941—1945 гг.», отрывки из которой мы публикуем в номере.

Книга вышла во многих странах, в том числе в Англии и США в конце 1964 года.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР **Б. С. РЮРИКОВ.**

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: **Б. Г. ГАФУРОВ, С. А. ГЕРАСИМОВ, Л. П. ГРАЧЕВ, С. А. ДАНГУЛОВ** (зам. главного редактора), **Е. А. ДОЛМАТОВСКИЙ, Т. А. КУДРЯВЦЕВА, Т. Л. МОТЫЛЕВА, Л. В. НИКУЛИН, П. В. ПАЛИЕВСКИЙ, М. И. РУДОМИНО, В. П. ТЕРЕШКИН, П. М. ТОПЕР, С. П. ЧЕРНИКОВА, М. А. ШОЛОХОВ, К. ЯШЕН.**

Художественный редактор **С. И. Мухин.** Технический редактор **Л. Д. Фарафонтова.**

Адрес редакции: Пятницкая ул., д. 41. Телефон: В 3-51-47.

А 02965. Сдано в производство 10/I-67 г. Подписано к печати 31/III-67 г.
Бумага 70×108 1/16 = 9 бум. л.; печ. л. 18. Зак. 186.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова, Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 80 коп.

ИНДЕКС 70394